Дмитрий Балашов

5

Дмитрий Балашов

5

Дмитрий Балашов

5

Дмитрий Балашов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

Москва «Художественная литература» 1993

Дмитрий
Балашов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

Ветер времени

РОМАН

Москва «Художественная литература» 1993

ББК 84Р6
Б 20

Издание выпущено по Федеральной
целевой программе книгоиздания России

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

Б $\frac{4702010201-104}{028(01)-93}$ Подписное

ISBN 5-280-02038-9 (Т. 5)
ISBN 5-280-01602-0

Ветер времени

РОМАН

Посвящаю своему учителю
Льву Николаевичу Гумилёву

Ветер!

Незримое течение воздушных струй. Незримое, несамовидное, как бы несуществующее, словно движение времени, внятное оку лишь по изменению тварных сущностей: разрушению древних храмов, одряхлению и смерти нынешней торжествующей молодости...

Так и ветер. Воззри! Незримо движение аэра, но — громоздятся тучи, проносясь рваными лохмами над головою, почти цепляя верхушки смятенно шумящих дерев, волнуется море, ныряют в волнах утлые, со вздутыми ветрилами, отчаянные корабли — это ветер! Гнутся упруго набухающие почками ветви, прихотливым японским рисунком прочерчивая пухлую синеву небес, мощно гудят, посверкивая светлыми изнанками листьев, тяжелошумные кроны летних дерев, жалобно и скорбно трепещут осенние мокрые осины, прореженные донага, в ржавых пятнах последней жухлой украсы своей, гнутся, никнут, уже нагие, почти лишенные цвета кусты, серо-сиреневые в морозном лиловом дыму, обтекаемые серебряными лентами зимних метелей,— все это ветер, только ветер! Один и тот же — и разный в разную пору свою. Как и время, как и те же самые (и такие иные!) катящие сквозь и вдаль волны годов: радостные и живительные юному произрастанию, тревожно-стремительные — молодости, требовательные — мужеству, горько-скорбные — старости и увяданию.

Дует ветер. Проходят века. Никнут и восстают народы. Меняется лик земли. И только гусиное (железное, тростниковое ли) перо летописца дерзает удержать на ветхих страницах харатий приметы текучего вихря, исчезающего в небытии. Трудись, летописец! Ветер времени листает страницы судьбы.

ПРОЛОГ

Вихрь, погубляющий царства, разящий народы, охватывает вновь растревоженный мир. Вихрь зачинается на далеких окраинах вчера еще грозной монгольской империи, сотрясает древнюю Византию, заливает ратной грозою страны Запада. И только в центре этого вихря, в середине беды, там, куда сходят незримые нити желаний и воль, на Руси Владимирской, стоит обманчивая, недобрая тишина.

Князь Семен, умирая, вряд ли подозревал, сколь многое обрушит окрест в ближайшие годы. В лето 1352-е, когда он еще боролся со смертью, поднялось восстание в южном Китае, столетие назад завоеванном конницею Хубилая, и разбитые монголы отступали на север страны. Так, с краю, треща и заворачиваясь, открывая дорогу огню, загорается положенная на костер и почти задавившая пламя конская шкура. Раздуваемые упорным ветром жаркие, беспокойно-яростные языки, взметываясь и сникая, настойчиво лижут дымные края, обращая в рдяный пепел тугую жесткость недавнего бремени своего.

А вот уже и другой край начинает сворачивать неодолимою огненною силой: распадается государство Хулагуидов в Персии, где после смерти ильхана Абу-Саида настало крушение всякого права, кроме права силы, чего выдержать не мог уже никто, и уже оттуда в Золотую Орду, к хану Джанибеку, спустя лишь год после Семеновой смерти, с мольбами о помощи, просьбами вмешаться и навести порядок в стране прибегают ограбленные Ашрафом граждане во главе с духовным судией — кади. Прибегают, поскольку хрупкая тишина, обманчивый мир еще стоит, еще зиждит здесь, на Волге, и пока еще не видит никто, что подточенная тем же размывом Золотая Орда тоже грозит рухнуть в беснующийся провал кровавой резни и смут.

А тогда — затихнут томительные колокольцы на караванных тропах великого шелкового пути, ведущего из глубин Китая через Турфан и Хорезм в Персию, а через ордынские степи и Кафу в Константинополь и страны Запада. Опустеют базары, лишатся навычного труда руки неутомимых мастеров; крестьянина, оторвав от кетменя или сохи, погонят ратником в поле, и пойдет волною: только топот кованых копыт, да сабельный блеск, да пожары, да слезы полоняников на дорогах, да плач сирот по разоренным погостам...

А тогда на ниче ся обратят долгие созидательные усилия покойных князей: Ивана Калиты и Семена, скрепивших до времени ордынскою волею благополучие владимирского великого стола, и Руси вновь придет решать: с кем она? Как устоять, уцелеть в сей гибельной круговерти?

Ибо уже стремятся литовские кони в ржании и лязге сабель в Подолию, к греческому морю. Князья Гедиминова дома, отбрасывая раз за разом татарские рати, захватывают, забирают под себя древнюю великую Киевскую Русь — город за городом, волость за волостью (а латинские попы меж тем деятельно хлопочут об обращении в католичество литовских язычников и вкупе завоеванных ими русичей!). И уже яснеет, что недалек день, отодвигаемый доднесь твердой рукою Семена Гордого, когда и с этой стороны тишину взорвет ярость ратной грозы и хлынут литовские всадники на земли Московии.

Вихрь кружит по миру, захватывая края. И ежели поглядеть теперь на юго-запад, то и там не узришь добра, ибо турки-османы, проглотившие за полстолетия последние малоазийские владения ромейской империи, словно бы даже едва дождавшись гибели великого князя владимирского, что поддерживал русским серебром далекого Кантакузина, в том же 1353 году тигриным прыжком перемахивают проливы, начавши отсюда свой, гибельный для Балканских государств, растянувшийся на столетия поход. И этой беды никто не видит, не зрит, не постигает умом, ибо и Сербия и Болгария тратят силы в тщетной борьбе с умирающей Византией, не ведая о нависшей над ними грозе, не чуя близкой трагедии Косова поля!

Но и владимирской земле беда сия горше всякой иной, ибо с падением Цареграда духовное одиночество зримо обступает православную Русь, зажатую меж

католическим и мусульманским мирами. И не разделит ли она со временем судьбы Фракии, Болгарии, Сербии, Мореи, Армении, Имеретии и прочих стран Византийской ойкумены, разоренных, поруганных, на века утерявших государственную независимость свою?

Вихрь сотрясает мир, сталкивая Польшу и Венгрию с Литвой в борьбе за древний Галич; вихрь уже обрушил Францию, первое государство западного мира, утратившее в битве при Креси (1346 г.) честь своей армии, а вскоре, в сражении при Пуатье (1356 г.), где под стрелами английских йоменов побежит в панике огромное рыцарское войско и сам король Иоанн Добрый попадет в плен к англичанам,— даже и независимость свою. А там уже наступит такое, с чем не в силах будут совладать ни король, ни папа, засевший в Авиньоне, ни англичане, ни ополчения вольных городов, и уже не за горами Жакерия, разбойничьи походы вдоль и поперек Франции и резня, резня, резня, при которой любые усилия власти, любые заботы о грядущей судьбе государств — та же помощь обреченному Константинополю — станут дымом, химерою, несбыточною мечтою политиков и папских прелатов.

Вихрь рушит с трудами созданный и казавшийся еще недавно прочным мир, и только здесь, на Руси Владимирской, еще стоит, еще хранит себя неверная, грозно означенная неспокойно вздыбленными (все ближе и ближе!) окраинами тишина.

I

НА МОСКВЕ

Весной по Москве собирали вытаивавшие из сугробов трупы. Черные, полуразложившиеся тела, застывшие в корчах, в которые бросала их зимою под вой метели черная смерть, были страшны. Откуда прибрел, харкая кровью, тот или иной селянин, нынче было никому неведомо. Мертвецов хоронили безымянными, в общих скудельницах. Всех вместе и отпевали. Над Москвою, над Кремником тек непрестанный погребальный звон.

С оттепелью мор усилил вновь. Люди падали в церквах во время службы. И как-то уже притупело у всех. Не было того, летошнего, темного ужаса. Не разбегались, не шарахали посторонь. Отворачивая лица, подымали, выносили усопших. Каждый знал, ведал: завтра возможет приспеть и его час. И все-таки, когда летом в обезлюженной, пустынной Москве пронесся слух, что занемог старый тысяцкий Василий Протасьич, злая весть всколыхнула весь посад. Город, упрямо державшийся до сих пор, невзирая ни на что, разом осиротел. Тьмочисленные толпы, небрегая заразой, потекли в Кремник, к высокому терему Вельяминовых.

Жара. Пыль в улицах стоит неподвижными дымными столбами. Отсеялись, надо косить. Никита вышел за ворота, постоял, сплевывая. Не парень, мужик уже! Нераспробованная вдосталь Надюха напомнилась до беды. Все стеснялась еще, как девка... В одночасье свернуло черною смертью, пока ездил в Красное...

И ладно, что не зрел мертвую! Досыти нагляделся их, почернелых... И все блазнит, словно выйдет из-за угла с обведенными тенью ждущими, сияющими глазами и, теряя дыхание, безвольно роняя косы, растает в его руках...

По улице от Неглинной несли гроб — а не думалось. Горячий весенний дух бродил в крови. Колокола звонят и звонят: вымирает Москва! А бабы — как шалые. Мор пройдет, дак нарожают того боле!

Матка, исхудалая, присмиревшая в выморенном доме, выкатила за порог.

— Никиша! Пойдешь ли снидать? — нерешительно позвала.

«Сдохла бы, что ли, заместо Любавы! Пятерых в землю проводи́ла, а сама жива, пади́на!» — зло подумал о матери, переведя плечьми. Род! Ихний, михалкинский, федоровский род гибнет! В вечной грязи по уши, пото и не уберегла! Она от грязи, бают, того пуще находит, черная смерть. Може, и от иного чего? Тоже сколь их перетаскали, мертвяков, с Василь Протасьичем! Сколь и своих схоронили, дружины! А ему вон о сю пору как с гуся вода! И не страшно чегой-то! Верно, на роду не писана она, черная смерть. «Чур меня, чур! — одернул себя Никита.— С выхвалы, гляди, и сам закашляешь кровью...»

В уличной пыли показался всадник. На подъезде Никита по роже узнал своего. Отмотнув головою матери: «Недосуг, годи!» — шагнул встречу.

— Протасьич слег! — выдохнул парень.

— Черная?!

— Она...— потерянно отозвался молодший.

Никита молча повернул во двор, через плечо бросив:

— Пожди! Перемет поправь, раззява!

Молча вывел коня. Наложил потник, вскинул седло. Уже когда затягивал подпругу, мать выбежала с блюдом пирогов. Шало глянул, едва не ругнув, но, подумав мгновеньем, сунул за пазуху полпирога: невесть, нынче и накормят ли!

Точно мокрядью за шиворот протекло крутою тревогой: ныне — не при Семен Иваныче — как-то станет ихнее (не отделял уже себя от Протасьева дома) бытье? Сурово подумалось о боярине Алексее Петровиче Хвосте — отмел, и, уже вваливши в седло, подумал вновь. Тыщи народу погибло на Москве, и

все одно: смерть старого тысяцкого опахнула грозою. После князевой, раскинув умом, подумал и понял про себя Никита, самая тяжелая будет утрата на Москве!

Проскакав в Кремник с каплей сумасшедшей надежды, Никита еще на подъезде узрел и постиг сущее: бестолочь в доме, толпы у терема, растрепанная прислуга, кмети, сбившиеся в кучу... «Стойно овцы!» — Никита ругнул о-себе.

Необычно потерянный, с жестким беспомощным ликом, Василь Василич (словно величие отца ушло и осталось одно только темное) шатнулся встречу ему в сенях. Рослые сыновья бестолково путались у него под ногами.

— Ты што? — слепо вперился боярин в Никиту, не вдруг узнал. Вглядясь, пробормотал:

— Поди, тамо...— Не кончив, махнул рукой.

Выбежала простоволосая жонка, девка ли — без повойника, дак и не поймешь. Охнула, увидя мужиков, побежала прочь.

Толпа своих ближников — понял по богатому платью, по сдержанной молви и неложному ропоту горя — наполняла просторную повалушу. Никита, пройдя через и сквозь, подступил к ложу. Умирающий глянул тускло — прошли, видать, сотни, и уже неузнаваемые,— но присмотрелся, понял:

— А, Никита! Помираю, Никиша,— шепотом, словно в палате были они одни.— Не боялся ее, черной, ан настигла... Москвы, Москвы постеречь подмоги, сыну-то...

— Василь Василичу? — прямо уточнил Никита и опустился на колени, припал лбом к откинутой бессильной руке. У самого захолонуло: «А ну как зацепит напоследях?» Но и удаль: перед великими боярынями, перед толпою знати не показать опасу, не уронить чести своей. Встал, невеселой усмешкой отверг одобрительные глаза жонок. (Воину на рати б умирать, а не так!)

— А потаскали,— сказал (вслух, чтоб и иным мочно было услышать),— мы с тобою мертвяков на Москве!

И Василь Протасьич бледной тенью улыбки ответил ему и отозвался словом:

— Потаскали, Никиша! Вот и меня теперь... Пережил князя свово...— Помолчал, пожевал губами, спросил себя: — Владыка едет ли?

Никита перемолчал, да и понял по движению за спиной, что время ему уже отступить посторонь: набольшие тута!

Ясные глаза и точеный обвод лица кинулись в очи. Кто такая? Словно и не зрел — из ближних, видать, а незнакома!

Поглядела скользом, лишь глянула, а одобрение удали своей прочел в мимолетном взоре и круче повел плечьми, отступя, еще раз оглядел ее, уже отвернувшуюся: невысока, стройна... Почти в монашеской сряде — кабы заместо убруса на голове куколь... Кто ж такая-то?! Словно всех жонок вельяминовских знал наперечет! Гостья? А держит себя — словно своя!

Недодумал, позвали. Раздвинув плечом молчаливую толпу, шагнул в обширные сени. Звал Василь Василич. И совсем стороннею мыслью прошло: вот бы обнять такую... Поди, и уста не те, и иное прочее не под нашу стать! Поглядеть и то — в кутерьме этой только и довелось!

Василь Василич стоял, облизывая пересыхающие губы: гневен!

— Слушай, Никит Федорыч! Батько не помер ищо, а там ужо в одночасье у княжого двора хвостовские наших теснят! Погляны! (Вот оно, наступило! Торопитце Алексей Петрович Хвост, ой, торопитце!)

Никита кивнул, зыркнув глазом за точеные перила, туда, где грудились потерявшие строй, растерянные кмети:

— Ентих разрешишь взять?

— Бери! — подумав миг, сумрачно разрешил Василь Василич. И Никита кожею учуял мгновенную растерянность Вельяминова: тысяцким во след отцу должон его ставить новый князь... «Ну, да ведь Протасьич ищо не померши!» — подогнал себя Никита, хоть и знал, как и те, хвостовские, что от «черной» спасения нет.

Уже к ночи (до зуботычин дошло-таки, и до хватанья за копья, и до брани поносной, но хошь без мертвого тела обошлось), когда очистили двор и наряды свежей сторожи вельяминовской прочно стали у княжого терема, погребов и ворот Кремника, Никите, что был на спуске за Фроловскими воротами, подомчавший вершник донес, что Василий Протасьевич

совсем плох и уже при конце. По перепалому лицу догадав остальное, Никита пал на коня и, с бранью расталкивая дуроломную толпу, подскакал к Протасьеву терему, остолпленному плачущим и ропщущим народом. Уже у крыльца понявши, что Василий Протасьич ежели не умер, то вот-вот помрет, решительно распорядив сторожею, врезав плюху растерянному ратному, полез на крыльцо. Жалкие жоночьи голоса сверху из горницы и вопли дворовой чади не дали обмануть себя. Подосадовав на Василь Василича — опоздал-таки! — он в полутьме переходов лез, пихал кого-то и уже при дверях, на последних ступенях, заторопясь, почти в объятия ухватил, так что ощутил тепло живого тела и тонкий аромат аравитских благовоний, встречную жонку боярскую. Еще полный тем, дворовым задором, решительно повернул к себе и обмер: то опять была она! Рыдающая, в сбившемся убрусе и очелье. Боясь оскорбить (а кровь жарко, толчками ходила в груди), под локти проводил, почти занес в какую-то малую припутную клеть, верно, девичью горницу, в темноте опустил на какую-то подвернувшуюся лавку. И пока она, с плачем роняя полуслова, полувсхлипы: «Не могу, не могу!» — и что-то неразборчиво о себе, о своем давнем горе, Никита, страшась укромной темноты и себя самого, нашаривал и нашарил наконец свечу, запалив огарок от лампадного, чуть видного пламени.

Тут только из сбивчивых полуслов и рыданий догадал, откудова взялась она такая и почему не зрел ее допрежь в терему Протасьевом. Вызнавая, лихорадочно прикидывал: кем же она Василь Василичу доводитце? А в голове пожаром, войною билось одно: «Упустишь, потеряешь!»

Была она Вельяминовым свойкой по женской родне. Тестю Василь Василича, кажись, племянница. И молодая вдова. Мужик ее, городовой воевода, погиб черною смертью, и теперь, по сиротству, принял ее Василий Протасьич в дом и был ей «заместо отца». От вызнанного голову закружило мечтой и страхом. И встрепанный, еще ничего толком не решивший, но уже тем обнадеженный, что предложил свои услуги и они не были отторгнуты враз («Впрочем, перед смертью все равны,— одернул себя Никита,— что потом скажет?»), только одно знал, понимал он, что тут ни удали, ни ухваток тех, что с посадскими дев-

ками, не можно допустить, не то враз отставят и забудут, что и на свете-то был!

Как-то внезапно в покой вступил Василий Василич. Никита, не теряясь, словно ему тут и должно было находиться, прихмуря чело, скороговоркой поведал про службу. И лишь по растерянному, недоуменному взору Василь Василича понял, что тому сейчас не до того вовсе, что смерть родителя совсем повергла его в прах, и теперь он с трудом понимает, зачем зашел и сюда-то. (Ишь, даже не удивил тому, что Никита здесь, при свойке евонной!) И все же надо было уходить. Бросив через плечо: «Пойду кликну кого из жонок!» — Никита вышел.

Наверх, к телу тысяцкого, было, почитай, и не пробиться уже. Он обогнул по верхним сеням красные покои и по смотровой вышке, черною лестницею, взошел в повалушу, опять попав в толпу боярынь и боярышень. На него лишь взглядывали, узнавая своего, и сторонились, пропуская. В час беды каждый мужик — защитник и на виду у всех, а жонки, даже и великие, умалились перед бедою, схожею с ратным раззором.

Василья Протасьича уже обрядили в смертное, и уже попы стройно пели над телом. Прислуга зажигала лампады. Во всем тереме белыми льняными покровами завешивали дорогое узорочье, гася блеск серебра и тяжелое мерцание золота, готовили палату и ложе смерти к прилюдному прощанию с городом. И Никита, вновь решительно взявши на себя в сей день обязанности старшого, вышел в летний сумрак, под звезды, проверять сторожу, распорядил накормить сменных: на поварне пришлось растерянного повара тряхнуть за шиворот, а ключнице поднести твердый кулак к носу — только тогда оба восчувствовали и захлопотали погодному.

Усадив наконец кметей за стол с дымящимся варевом, Никита, сухомятью сжевавший кусок материна пирога, и уже досадуя, что набольшего над дружиною, Гаврилы Нежатича, все нет и нет, вновь поднялся наверх, в терем, туда, где под стройное пение в ладанном тумане и мерцании свечей бесконечная вереница горожан прощалась с телом великого тысяцкого Москвы.

Ее он увидел еще раз под утро, но, помыслив умом, решил не подходить, лишь, значительно насупивши очи, кивнул ей со стороны, напоминаясь, но не навязывая себя. И сколь ни устал, проведя на ногах и в заботах

почти сутки, а вновь колыхнуло в нем смутою плоти: то, как держал ее, теплую, трепещущую, в руках на крутой лестнице... Держал и даже поцеловать бы мог, растерянную, дуром, украдом... И про себя тут же усмехнул. Даже отай не мог, не решился сказать: «Моя будет!» Другое сказалось в уме про самого-то себя: «Залетела ворона в высокие хоромы!» И далеким-далеким прошло напоминание о княжне, полюбившей некогда егового, уже сказочного, уже небылого деда Федора. (А серьги те все лежат в скрыне. Не будь их, позабыл бы давно-тово!) И обида, давешняя, детская, от отцовой остуды — мол, не по себе дерева не ломи; и отчаянная удаль молодости... С той поры поумнела головушка, сам стал понимать, что к чему! Эх! Прав отец! Разве что не забудет до завтрева, и то добро! Да и как с нею, с такою? О чем? И отмахнул головой... В нос плыло ладанное тяжелое облако, трещали и колебались, задыхаясь в спертом воздухе переполненного покоя, свечи. Василий Протасьич лежал уже костистый, темный, чужой. А люди шли и шли, и кто-то плакал негромко, всхлипывая. И оглушенный, поверженный водопадом чужого горя, Никита только тут, вновь и опять, почуял ту давнюю угрозу, что ощутил вчера утром, когда перепавший парень донес ему злую весть.

«Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего...» — пел хор.

Новое шевеление и сдержанная молвь прошелестели по толпе. В терем вступила Александра Вельяминова, супруга Иван Иваныча, вот-вот великая княгиня московская и владимирская тож — ежели Ивана утвердят в Орде. Шла властно и слепо, откинув бухарский плат на плечи, и перед ней расступались, шарахали посторонь. Шла, с глазами, полными невылитых слез; посвечивали розовые жемчуга дорогой кики. И Никита, усмотревши приход княгини, бросился расчищать дорогу.

На всходе давешняя знакомка кинулась к Вельяминовой, ойкнув: «Шура!» — и Александра, готовно всхлипнув, упала в открытые объятия, и так, полуобнявши друг друга, две жонки вступили в столовую палату, где лежал труп великого тысяцкого, отца Александры. От гроба отступили. Даже священник отодвинулся посторонь, открыв ей почернелое, зловеще-неживое трупное лицо, из коего с пугающею быстротою уходили, ушли уже последние искры тепла, того, что в

обычном покойнике живет еще под ледяною маскою смерти три дня, в которые он лежит, непогребенный, а родичи — живые, пока еще не перешедшие великий, уравнивающий царя и последнего нищего рубеж,— прощаются с ним. И кто не видал порою, как при звуке голоса любимого ближника, примчавшего на последний погляд, незримо мягчеет в эти три последние дня строгий лик смерти? Но тут, под черною бедою, этого не было. Было тягостное и страшное разложение плоти, и только. И Александра не выдержала, завыла в голос, припав на коленах к ложу отца, и, мотая головою, сцепив зубы, старалась остановить рвущиеся рыдания, замерла было, скрепясь, но тут резкою ознобой подступил к уму и сердцу пугающий, без заступы отцовой, новый нынешний огляд жизни — словно подняли ее ввысь и вот-вот уронят или бросят в ничто,— и молодая княгиня, нежданно поставленная перед престолом власти, сама робея теперь неведомой судьбою Ивана и себя самое, вновь падала, приникая к спасительному ложу, трясясь всем телом, и, стискивая руки, прорывами рыдала, вздрагивая, не в силах унять себя, и вновь крепилась, и вновь начинала реветь навзрыд. А большой терем застыл, застыла стесненная толпа, пережидая горе княгини и дочери. И Никита за дверьми палаты, хмуря чело, взглядывал то в мерцающее свечами, искрами золота и серебра от божницы и драгих облачений нутро покоя, то в настороженную, полную людей тьму сеней, куда долетали сдержанные рыдания княгини над гробом покойного родителя. И вспоминая, как давешняя знакомка (двоюродная сестра жены Василь Василича, овдовевшая во время мора, как успел выяснить он вновь у прислуги) утешала Александру (как-никак теперь, ежели в Орде все пойдет ладным побытом, великую княгиню), он уже не понимал даже, как же это осмеливался держать в объятиях и даже подумать о большем с нею? И вспоминая жестокий взгляд гневного Василь Василича (будущего великого тысяцкого Москвы), его вырезные ноздри, Никита, при всей бесшабашной удали своей, начинал робеть: Василь Василич может и за саблю — недолго у ево! Да ведь и невесть... и не было ничего! В едакой кутерьме... Ну, поддержал бабу... И понимал, нутром понимал, что нет, не все, не прошло, и сам не дозволит, чтобы так прошло, и будет спорить... С судьбою? С самим тысяцким?! И здесь вот становилось страш-

но — до жаркого поту, до мурашек по спине. Но где-то прорывами, как в тяжком поспешном ходе дождевых туч высверкивает голубизна неба, блазнило, что его теперь связало с семьей Вельяминовых иное, не расторжимое ничем, кроме смерти, и тогда пьяное счастье — точно на бою, в сшибке, как давеча, когда выбивали хвостовских со княжого двора,— подкатывало к горлу задавленным дуроломным хохотом... Ништо!

Он дождался выхода великой княгини (про себя уже так величал Александру, чуялось почему-то, что усидит Иваныч на владимирском столе) и еще раз показался «ей» и поймал взгляд, не слепой, а благодарный, мимолетный... Но вот Вельяминова с подругой ушли, и как померкло, как надвинулась вновь непогодь. С жарким сдержанным дыханием новые и новые шли бесконечною чередою, поднимаясь по высокой лестнице встречу Никите, а на улице, на дворе уже засинело, и кровли и верха костров городовой стены уже начали зримо отдалять от просвеченного синью легчающего неба — близил рассвет. И сторожевой у крыльца, зябко переведя плечами, с надеждою и страхом заглянул в лицо Никите, вопросив молча: что-то будет теперь? И хмурый Никита, отмотнув головою, ничего не отмолвил кметю. Сам не ведал, удержит ли Василь Василич власть и что будет с ними тогда. И уже бессонная ночь тяжело налегла на плечи, когда узрел в прогале улицы заляпанного грязью гонца, в проблесках утра до синевы бледного. Из Орды? Нет, пожалуй!

Никита рванул вперерймы. Гонец, подымая плеть, умученно-повелительно возгласил:

— К Василь Протасьичу!

— Помер! — кратко ответил Никита, осенив себя крестным знамением. У мужика глаза полезли из орбит, стала отваливать челюсть.

— Ты что, откуда? — решительно взял на себя Никита боярскую трудноту.— Я старшой, Федоров Никита, знашь, поди?

— Дак... Василь Василича...

— Счас побегу! Позырь, раззява! Говори, ну!

— Лопасня...

— Чево?!

— Лопасня, рязане... Олег захватил изгоном Лопасню и наших...

— Ты! — Никита вздынул кулаки, оглянул по сторонам.— Молчи, тише! — прошипел, стаскивая с коня.—

Грамота где?! — Вспомнив, что воеводою в Лопасне сидел тесть Василь Василича, деловито, негромко уточнил: — От Михайлы Лексаныча грамота?

Гонец помотал головою потерянно, возразил:

— Без грамоты я... Михайло Ляксаныч...

— Ну?!

— Захвачен рязанами...

Никита затейливо и длинно выругался неведомо в чей огород: то ли раззяв-воевод, сдавших Лопасню Олегу, то ли самого боярина Михаила Александровича, то ли князя Олега,— и только тут домекнув, встрепанно воззрился на измотанного гонца. Михайло Лексаныч, тесть Василья Василича, в плену у рязанцев! Стало, теперь Хвосту радость горняя, а Вельяминовым остуда от нового князя, а... она? Ей-то Михал Алексаныч дядя родной, она ж двоюродна... Додумывал, лихорадочно соображая: «Дак тут такое начнется!» И — жаром овеяло, и уже знал, что делать теперь.

Протиснулся назад, в терем, волоча за собою гонца. Опять туда, к ложу смерти, к церковному пению, но уже — живой и о жизни. Пихнув гонца: «Пожди!» — решительно вступил в жоночий покой:

— Госпожа! Выдь на час малый!

Тень улыбки осветила дорогое лицо. Выписная бровь поднята удивленно. С чем другим, с малою заботою какою — дак уже взором этим отодвинула бы посторонь. Но покорилась и вышла и царственно повела шеей, заметив смятенного гонца в сенях. И вот тут, в придверье покоя, склонив голову, но очей не отводя, тихо и твердо повестил:

— Мужайся, госпожа! Дядя твой, Михайло Олексаныч...— И смолк, безотрывно глядючи в недоуменное, чуть надменное лицо. И когда уже ощутила тревогу, домолвил: — Рязане на Лопасню напали!

Охнула, глаза, как подпрыгнув, отворились широко, приоткрылся рот... (Дядя был заступою и обороной сызмлада.)

— Убит?

— Нет, жив. В полон увели! — скороговоркой успокоил Никита и крепко взял за плечи на мгновение (не сумел иначе), повторив: — Мужайся!

Сурово примолвил:

— У Василь Василича слуги верные, от ево не отступим, не боись!

Василь Василич будто ждал — почти влетел в покой.

Закипели гневом глаза, увидя кметя в неподобающем месте. Никита с суровой усмешкой (еще держа за руку и намеренно не разжав ладони) кивнул головой на гонца в углу горницы:

— Беда, боярин! С Лопасни парень подомчал! Рязане, Олег!

— Чево?..— Василь Василич водил глазами, еще не понимая, трудно перенося мысль с мелкого, бабьего, о чем подумал давеча, узнав от сенной девки-наушницы, что Никита вызывал вдову, тестеву ближню, на погляд, к тому, крупному, что нежданно свалилось на них, и не додумывая, не обнимая умом еще всей беды, видя токмо, что старшой неподобно держит боярыню за руку. А Никита, крепче сжав длань (оробевшая, она пыталась тихонько вытащить узкую ладонь из его хватких пальцев), повторял настойчиво и строго, поигрывая бровями:

— Лопасня взята рязанами, слышь, Василь Василич, и тесть твой, Михал Олексаныч, в полон угодил! — И потому, что узрел: все еще не понимает Василь Василич совершившегося, добавил почти грубо: — Нам беда, хвостовским радость!

Тут только Василь Василич понял наконец. Вцепился в гонца, встряхнул, будто тот был виноват в нятьи тестя:

— Сказывай!

И Никита тут только, пожав напоследи пальцы, отпустил ее руку и вполшепота, скороговоркой:

— В горе ли, в радости, кликни только, прикажи — умру, не воздохну!

И новый ее взор, уже тревожный, недоуменный, но не давешний, поймал, прежде чем она, закусив губы, исчезла из покоя.

Никита, раздувая ноздри и подрагивая бровью, пождал неколико, пока Василий Василич, утишая сердце, тряс и выспрашивал гонца, потом, переняв измученного дорогой и страхом кметя, легонько торнул в затылок:

— На поварню ступай, накормят, да не трепли языком, тово!

И, выпроводивши, поворотил решительно к Вельяминову. Василь Василич был страшен. Вот от такого от него шарахали кони и кмети прикрывали глаза от ужаса. Но Никита сейчас играл по крупной, едва ли не голову ставил на кон, и не боялся боярина совсем.

Ткнувши в сумасшедший, побелевший взгляд, дабы враз, как останавливают взыгравшего жеребца, укротить боярина, выдохнул:

— Тысяцкое замогут отобрать! — И глянул строго. И Василий Василич затрепетал, истаивая гневом и ужасом, ибо понял, что Никита бает правду.— Скажут, в сговоре были с Олегом!

— Молчи! — вскинулся было Василь Василич, но Никита лишь повел головою:

— Наталье Никитишне даве баял и тебе скажу: вернее меня нету у тя слуг, боярин! Думай, думать много надо теперь! Велишь — поскачу в Рязань. Чаю, за выкуп — отдадут. А уж серебра считать не придет нам! И Лопасню мочно ли будет забрать у их — невесть! Олег, люди бают, хоть и млад, суров зело!

— Заберем,— просипел Василь Василич, коего лик пошел бурыми пятнами. («Не хватил бы удар боярина! — всерьез подумал Никита.— Уж сорвал бы гнев на чем, што ль!»)

Василь Василич беззвучно жевал ртом, сумасшедше глядя на Никиту, слова удушьем застряли в горле, наконец изо всех сил двинул кулаком по тесовой стене покоя, и еще двинул, и еще... Кровь показалась на кулаке.

«Добро, боярин! — сказал про себя Никита, следя, как Василь Василич осаживает сам себя.— Добро! Учись! И на тебя будет набольший! Учись и себя держать в узде, а не то не быть тебе тысяцким!» И думал, и усмехался, и любовал боярином. По тому самому, верно, что и он в гневе мог так вот трясти кого за грудки, любил и понимал Василь Василича. Свой был боярин, хоть и мог в гневе насмерть зарубить, все мог, а все одно был свой, ближний, понятный Никите.

Наконец Василь Василич почуял боль в пальцах и поднял на своего молодшего обрезанный, мигом просквозивший беззащитностью взор. Хрипло, все еще не справясь с голосом, вопросил:

— В Рязань, говоришь? Дак и серебра не собрано, и князь...

— До князя надобно! — подсказал Никита, понявши, что давешнее, со свестью боярской, то, с чем Василь Василич вбежал было в покой, уже прочно ушло из сознания боярина, заменясь суровою днешней бедой.

— Гонца...— начал было Василь Василич, но Никита махнул рукою:

— Все одно к пабедью вся Москва будет знать, уже и сейчас, поди, языки чешут...— И с легкой усмешкою досказал: — Гонца перенять мочно, а Лопасню куда денем?

И Василий Василич, укрощенный, повесил голову. Слишком многое свалилось на него враз со смертью родителя.

Скрипнула дверь, в покой протиснулись, чуя беду, братья Василь Василича — Федор Воронец с Тимофеем, а чуть позже просунулся боком и младший, Юрий Грунка, за коим вслед, никем не званные, пробрались старшие дети Василь Василича, рослый Иван и Микула, который держался за руку брата. Видимо, Наталья Никитишна уже повестила домашних о свалившейся на них беде. Все рослые, кормленые, в дорогой сряде, Вельяминовы разом наполнили собою тесный покой, и Никита, отступив к стене, уже подумывал, как бы скорее исчезнуть с этого нежданного семейного совета. На него взглядывали рассеянно. Утренний бледный свет разгорался в окошке, разливаясь по невыспанным лицам, бледным в свете зари, настороженным глазам.

— Лопасня взята! — негромко вымолвил Василь Василич, подымая голову.— И наместника, тестя нашего, Михаил Алексаныча, в полон увели.

Полвека тому назад двое бояринов рязанских, Александр и Петр Босоволк, изменив своему господину, схватили на бою рязанского князя Константина и выдали Даниле Александровичу, деду нынешних московских князей. Оба получили волости и места в думе московской.

Много воды утекло с той поры! Петр Босоволк при князе Юрии, рассчитывая получить тысяцкое под Протасием, решился убить полоненного рязанского князя, от какового зла боярин Александр благоразумно себя устранил, и пролитая кровь развела прежних друзей.

Дети наследовали судьбы и характеры отцов. Михайло Александрович спокойно, ни с кем не споря, вошел в ряды московских думцев, породнился с родом Протасия, отдав дочку за Василия Васильича, старшего внука властительного тысяцкого князя Данилы, и теперь судьбы Вельяминовых стали для него, почитай, своими. А сын Петра Босоволка, Алексей Петрович Хвост, унаследовав беспокойную породу родителя, спо-

рил вослед отцу за место тысяцкого на Москве, попадал в остуду при князе Семене, попадал и в честь: сватом великого князя ездил с Кобылою в Тверь, по Марью Александровну, нынешнюю вдовствующую великую княгиню, падал и возникал вновь, терял и вновь получал чины, села и волости, и теперь, на шестом десятке лет, был, кажется, ближе всего к своей давней мечте. Уже он поднял на ноги весь двор князя Ивана («Выдвигайте меня, дурни! Не то и при великом князе оставят вас Вельяминовы назади!») Уже и новонаходный народ рязанский взострил посулами и дарами и теперь объезжал и обаживал великих бояринов московских, на кого только была надея, хоть малая. И вот сидел в тереме Ивана Акинфова, не поминая о прошлой остуде, вновь подбивал его противустать власти Вельяминовых. Злая весть о падении Лопасни и оплошке Михайлы Алексаныча, угодившего в лапы Олегу, прилетевшая в одно со смертью Василья Протасьича (вроде и нету набольшего-то никого теперь, кроме меня!) пришла ему весьма кстати. Только что радовать налично неудобно казало: не оскорбить бы тем кого из думцев невзначай — все ведь осрамились перед рязанами! С Вельяминовыми со своими старою славой живут, а как до дела дошло — и нетушки!

Иван Акинфич слушал гостя, горюнясь. Верно, что без князева догляду раздробилось все, измельчало, как-то вдруг и разом исшаяло на Москве. И полков не соберешь, и бояре поврозь! А все ж таки... Он мигнул слуге, холоп проворно налил опорожненную чару знатному гостю, сам подвинул Алексею Петровичу печеного тетерева (Петров пост только что минул, можно было побаловать себя и боровою дичинкой). Не в пору, не вовремя Протасьича свалило, не след бы ему... И-эх! Василий-то горяч излиха, да и молод-тово! А Иван-князь Хвосту и допрежь мирволил, оно так... да... Но ведь княгиня-то и сама Вельяминова! Чья сила теперь? Кого поддержать, да чтобы не прогадать, не залететь в остуду на старости лет?

Об этом и думал сейчас, понурясь, великий боярин московский, Иван Акинфич, следя скоса за гостем, коего принимал ныне у себя и обихаживал так, как еще немного месяцев назад не стал бы его ни принимать, ни обихаживать.

Алексей Петрович сидел большой, рассерженный, гневный, сидел воскресшей бедою, а Акинфич нынче,

после нужной и скорой смерти брата Федора (брат помер черною смертью в исходе зимы), круто почуявший уже тягостное склонение лет, все гадал, как поворотит, и что поворотить оно очень даже могло! Рязанских нагнало на Москву тучей. Тут земля оскудела от мора, а те осильнели. Опять — дума Ивана Иваныча... Теперича все они к власти рвутьце... Как бы не прогадать, тово!

Много ли лет прошло с той поры, когда так же сидел Хвост в егово терему, похожий на сердитого шмеля, запутавшегося в траве, а он, Иван Акинфич, обхаживал гостя, сплавляя куда подале. Тогда сила была не на его стороне. Князь Семен Иваныч круто забирал — и забрал! И держал! И как держал-то! А вот десяток летов с небольшим (и сколь содеяно за те годы!) — и нету, нету Семен Иваныча, уже нет! И неведомо, как у Чанибека повернет! И суздальский князь голову поднял, и новогородцы-ти... И вот теперича рязане экую пакость сотворили! Лопасню! Торговый город на путях к Брянску, дорогой город! И им, москвичам, и рязанам... Так-то повестить, стойно Коломны, рязанский город Лопасня, дак ить... Кто силен, тот и прав! О-хо-хо! Семен Иваныч не допустил бы, не допустил, не отдал... А без ево и все врозь! И князя нетути, и владыки Алексия! Экая пакость, прости господи!

Оба понимали, конечно, почему Хвост сидит, забывши прежнюю обиду, за этим столом. Ибо и сын Акинфа Великого, когда-то убитого московитами под Переяславлем, полуизменивший Юрию, переманенный из Твери Иваном Калитой (нет-нет да и вспомнят, что тверской, что не свой, природный, не московит! Нет-нет да и вспомнят, да и перевертнем назовут в недобрый час!), Иван Акинфов, хоть и потишел и пообвык, не был, не мог быть другом Вельяминовых.

Говорили о том же, о чем нынче судачила вся Москва: о взятии Лопасни Олегом и о том, что наместник Михайло Алексаныч, тесть Вельяминовых, не токмо сдал город Олегу, но и позорно сам попал в полон к рязанам и теперь сидит в крепком нятьи в Переяславле-Рязанском. Вельяминовы, слышно, посылали уже и с выкупом, но Олег требует признать захваченную Лопасню своею, и приходит сожидать князя из Орды.

— Поди, сами и подговорили ево! — ворчливо льет ядовитую напраслину Алексей Петрович.

— Ну, самим-то зачем? — останавливает было Иван.

— Зачем?! — гневно вскипает Алексей Петрович.— Да оченно просто! Михайле отцовы рязански вотчины получить — ето раз! Покойному Андрею напакостить — два! Скажут, вдова да сосунок не удержали, мол, волости! То, се — великому князю передать надобно пол-удела, а уж сами Вельяминовы попользуютце тем куском того боле! А може ищо каку измену учудили... У их тут...— Он не докончил, фыркнул, зыркнул глазом на Акинфича.

Пыхая ратным духом, заново переживая обиду свою на то, что и нынче одолели еговых молодцов вельяминовские, Хвост нес на молодого супротивника сейчас подобное с неподобным. Кричал:

— Словно великий князь на Москве! Батько помер, кто ноне тысяцкой? — гневно прошал Хвост.— Пошто власть забрали под себя? И князь не во князя им!

— Василий Василич мыслит во отца место! — осторожно отмолвил Иван.

— Щенок он передо мной, вота што! — рычал Алексей Петрович.— Токмо не восхотел рати на Москве, не то бы...

— Рати не надобе на Москве! — возражал, покачивая головою, Иван Акинфич.— Спешишь, Алексей Петрович, все спешишь! Ты ить тоже не тысяцкой пока!

Сын Ивана Акинфова, Андрей, седатый (боярин давно уже!), вступил в горницу. Отдал поклон гостю. Переглянул с родителем. Иван с душевным облегчением встретил старшего своего, сказал сыну и гостю, обоим:

— Вельяминовы великую власть забрали, а токмо решать о том не нам!

— А кому?! — взревел Алексей Хвост.

— Москве! — без робости, так же сурово, отозвался Андрей.— И князю великому! Пошли, Господи, удачи Ивану у Чанибека-царя!

— Вишь, Алексей Петрович,— обрадованно подхватил Иван Акинфич,— великий князь токмо и волен поставить тебя в Вельяминовых место!

— И владыка! — докончил Андрей.— Слать надобно грамоты тому и другому. А в Лопасне, не гневай, Алексей Петрович,— отнесся Андрей Иваныч к гостю,— не одни Вельяминовы в вине, все мы в той беде виноваты! И ты, Петрович, тож: раскоторовали, рати распустили, не было кому подомчать с помогой, ан грех и про-

изошел! При Семене Иваныче так ли берегли порубежье?.. Я, отец, с иной вестью к тебе. Ольгерд рати поднял. Из Брянска гонец подомчал!

Все трое замолкли под новой бедой. Алексей Петрович, ударив по колену, воскликнул:

— Опять Вельяминовы!

— Да... как? — растерялся даже Иван Акинфов.

— Как? По завещанию все волости великого князя, весь удел — вдове, Марье Александровне, тверянке! Дак как тут крепить полки да сторожу слать, с каких животов? — Алексей Петрович привирал, и сам знал, что привирает, но... не он один желал, чтобы служебные Семеновы волости перешли в руки ежели не свои, то, по крайности, великокняжеские.

Вылезли еще трое ближних бояринов, созванных Иваном для ради Хвоста. Речь пошла злая, о главном, как показалось теперь, о князевом завещании, порушить которое Вельяминовы не соглашались никак (берегли память Семена). И как тут отобрать, как поладить? Без тысяцкого такого дела немочно было поворотить никому, а Хвост сам предлагал...

— А ты возможешь? — сурово вопросил Иван, разумея Семеново завещание.

— С етого и начну! — твердо отмолвил Хвост.

— Тогда...— озирая полюдневшую горницу и просительно глянув в глаза сыну, протянул Иван Акинфов, но Андрей, супясь, смолчал. («Навряд Вельяминовы отступят от вдовы Семена!» — подумалось.) — А тогда... (На нехорошее дело такое и человек надобен экой... как Хвост.) — Тяжело поглядел на гостя хозяин и приговорил-припечатал: — Тогда... Поможем! Токмо — думою штоб!

Ничего уже не хотел Иван Акинфов, кроме покоя и вотчин своих. Но для вотчин, для покою, для седатого сына и внуков надобно было держать руку сильного. И потому он ныне, сам не очень и желая того, предавал род Вельяминовых. Ежели бы хотя Андрей Иваныч остался жив! Но из троих сыновей Калиты в живых остался один лишь Иван Красный, женатый, однако же, на дочери Вельяминова! И как повернет боярская пря, что совершит еще в московском княжении и с московским княжением — было неведомо.

Олег ехал, легко приотпустив поводья. Атласная шкура коня переливалась на солнце. Тугими складками

ходили мускулы, когда конь упруго сгибал шею, вполглаза, искоса взглядывая на седока. Солнце с ощутимою тяжестью палило богатую сытую землю. Горячий ветер клонил долу хлеба, и по ним перекатывались такие же, как по холке коня, тугие блестящие волны зноя и света, земной, налитой солнцем полноты.

Он был счастлив. Позади осталась взятая им, разгромленная и заново укрепленная Лопасня, древний рязанский пригород, отбитый им наконец у жадных москвичей. Город, стоивший Коломны. Город, который он теперь никому не отдаст! И с этою победой пришло, снизошло на него возмужание. Доселе все были мелкие ратные стычки, почти мальчишество, в коих токмо и проверялась юношеская удаль молодого пронского и рязанского князя. Давний, губивший рязанскую землю спор городов и рек — Прони и Оки, Пронска и Рязани, Пронска и Переяславля-Рязанского — счастливо завершен нужною смертью беспокойного убийцы Ивана Коротопола и последующим объединением земли, в которой по праву наследования стал он теперь князем. Будет еще пря и с Москвою, и с Ольгердом, будет кого укрощать и в самой рязанской земле, и вечно будет грозить степное порубежье, но теперь, от дубовых стен Лопасни, путь его прям и смел: возвеличить Рязань! Собрать, подчинить, возвысить эту богатую и несчастливую, исстрадавшуюся землю! Землю, где было все: и братоубийственная рознь князей, и предательства (полоненный московский боярин Михайло Александрыч должен будет заплатить за давнюю измену отца, за удавленного князя Константина, захваченную Коломну, за все!). Землю, которую зорили и татары, и владимирские князья, землю, которую еще князь Всеволод «сотворял пусту», где что ни год, то поход, где грубость ратная привычна и не тяжка, а древнее черниговское рыцарство все еще светит, пробиваясь сквозь раззор и смуты, высоким речением украшенных словес, сумасшедшею удалью и гордостью княжеской. Просторами и ширью, раскидистою красою дубрав, густыми хлебами богата и славна земля рязанская!

Он снисходительно взглядывает на кметей, что стремглав слетают на конях с головокружительной кручи к слепительной, голубо-парчовой излуке Оки и с хохотом, слышным даже отсюдова, скинув верхнее платье и сапоги, кидаются в прохладные струи, подымая тучи серебряных брызг, снисходительно слушает грубую

речь и наивные похвальбы победителей, молчит, слегка раздувая ноздри, вознесенный и отделенный ото всех свершившеюся победой. Чуть улыбается краем губ, словами старинной повести, про себя, любуя удалью своих кметей: «Удальцы и резвецы, узорочье и воспитание рязанское!»

Ворот у князя распахнут, боевая кольчуга, в которой он мыслит победителем въехать в Рязань, сейчас приторочена к седлу. Прежде, до Лопасни, не задумался бы искупаться в Оке наравне с кметями, а теперь, когда новая, непривычная еще властность прилила к нему, властность князя и победителя, он медлит, не ведая, как ему в этом малом деле достойно поступить. Наконец, усмотрев пологий спуск, сам шагом подъезжает к реке. Стремянный, бояре, кмети, все — рядом, все наперебой предлагают свои услуги. Один держит стремя, другой почтительно принимает из рук княжескую пропыленную и влажную от пота ферязь.

— Сюда, княже! — кричат ему ратные, и Олег, откинув последние колебания, освобождается от рубахи, забелев на солнце мускулистым подбористым телом, и решительно кидается в сверкающую упоительную воду, выныривает и крупными саженками плывет вкось, супротив течения, чуя, как ласкает и гладит горячее тело прогретая солнцем река.

На берегу ему подают свежую рубаху. Холоп, присев на одно колено, быстро заматывает ему ноги в сухие онучи, заботно подвязывает ремешками узорчатые княжеские кожаные поршни. Конь, тоже выкупанный, фыркает, встряхивается, рассыпая облако мелких брызг, играя, перебирает копытами. И по тому, как седлают коня, как заботливо укрепляют праздничную чешму на груди скакуна, Олег чует, видит все то ж: новое, рожденное после Лопасни и Лопаснею почтение к нему кметей, бояр и служилой чади.

Он вздымает в седло, едва тронув стремя. Молодой, с первым пухом на щеках и подбородке, великий рязанский князь, самый значительный из владык рязанской земли, с княжением коего она поднимется так высоко, как только могла, означив еще одну утраченную историей возможность: стать столицею новой Руси; поднимется, столкнувшись, с подымающейся и уже заматеревшей Москвою, и с ним же, с Олегом, окончит путь своей воскресшей и прерванной славы...

Какие событии определяют время? И какие идут вперекор, супротив времени своего?

Если бы Рязань не разорялась непрерывными набегами степи, если бы у Олега было больше сил и срока жизни, если бы не подымалась неодолимо Москва, перенявшая старое наследие Владимирской Руси,— быть может, великая Рязань и состоялась бы!

Но и то скажем: есть эпохи событий, и далеко не все понимают, что события не возникают сами собой, и им предшествуют эпохи подготовки событий, оказывающиеся порою более важными, более трудными и даже более доблестными. Невесть, состоялась бы Москва, ежели Калита с Симеоном не добились стольких лет покоя земле, избавив страну от блеска побед и от раззора победных усилий. А к той поре, когда ветер времени, закручиваясь воронкою, уже достиг Орды и сорвалось, и пошло, и возникла пора дел, Москва имела больше за спиною накопленных сил: людей, зажитка (ибо война дорога), а главное, духовного права стоять во главе. Ибо, ежели в Рязани и подготовлялся свой духовный подъем, то осознавался он только как свое, рязанское дело, и не было тут общего, общенационального замысла. А великое всегда шире, чем свое. И политики, страны, народы, ставящие перед собою одну сиюминутную злобу дня или одну цель замкнутого в себе, особного существования, выигрывая сперва, неизбежно проигрывают потом, ибо забота о себе токмо, замыкание в своем, ограниченном и рождает ограниченность, а с нею — разброд и раздоры при первых же успехах. Да без отречения и невозможен прочный успех! Хоть отречение и губительно для тех, кто жертвует собою. И ключевым в эпоху ту оказалось то, что стояло за Москвою, медленно и трудно прорезываясь и восставая в тишине и укромности, о чем Сергий хлопотал в лесах и чего Алексий добивался в Константинополе. Ковалось, закладывалось, подходило время духовного подвига, и Олегу еще предстояло столкнуться с этою силой, столкнуться и уступить ей. Но это — повесть иных времен. Пока же казалось и было — стремительное одоление на враги, и вставала Рязань, и ширила радость, и плыл конь, и плыли строки древней величавой повести, читанной отроком: «О, Бояне, соловию старого времени! Абы ты сия полкы ущекотал, скача славию по мыслену древу, летая умом под облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню чрез поля на горы!»

И было легко! И Мирослав был горд, воевода. Ему, его замыслу обязан был Олег тем, что так просто взяли город и полонили московского наместника. И радовались старые бояре отцовы, углядевшие трудноту московита, почему и решился нынешний поход. Ибо суздальский князь тоже поехал хлопотать о ярлыке, и новогородцы помчали в Орду хлопотать за суздальского князя, и мор, унесший пол-Москвы, унес, казалось, всех, кто мог и умел держать власть, вкупе с Симеоном и его братом Андреем. А Иван? Даст ли еще Джанибек ему великий стол? И даже ежели даст — Рязань не подвластна владимирскому великому князю! И даже митрополит будет ли еще сидеть на Ивановом уделе? По слухам, тверичи послали своего ставленника, Романа, вперебой московиту Алексию. А теперь еще, доносят, котора в боярах началась на Москве... Нет, с севера беды не будет! От Орды — тоже. Тревожил, подбираясь к Северским княжествам, пока лишь Ольгерд.

Рыцарство сверкало гордым юным задором. Сверкало оружие. Ходко шли отдохнувшие кони. Мимо рощ и дубрав, мимо спеющих хлебов, и ничто не сулило беды на ратном пути молодого рязанского князя.

К Петрову дню стало ясно, что войны не будет. Подходил покос. Покосной порою, уже, почитай, в исходе мора, когда Никита с Услюмом были оба в деревне под Звенигородом, дошла переданная через соседей весть, что не стало отца. Мишук, нынешний старец Мисаил, возвращался с монастырским обозом с Пахры, где-то там его и зацепило дорогою. Привезли чуть живого. Весть приползла поздно, все, кто имел руки, были в эти дни в полях, и братья, понимая, что уже не застанут отца в живых — черная никому еще не давала лишнего сроку,— торопливо сметали в омет сухое сено (не под дождь оставлять!), и, оседлав коней, горячие, устремили в Москву.

Дома встретила рыдающая мать. Отца, и верно, как повестила она сынам, уже схоронили в одной из заранее отрытых монастырских могил. Наскоро перекусив и покормив коней, оба поскакали к Богоявлению.

Услюм зарыдал, узрев новую, необсохшую еще могилу над прахом отца, а Никита стоял, свесив обнаженную голову, теплый ветерок ласково ерошил волосы, точно в детстве отцова рука,— стоял и думал...

Отец, даже уйдя в монахи, держал семью. Только теперь, по смерти родителя, это и понял. Чего-то важного не узнал у него, не спросил, что-то чуял батька, неведомое покамест ему, Никите... Теплый ветер. Облака. Свежая могила в ограде среди прочих, тоже свежих еще могил. Крест. Кончившаяся жизнь. Недоспрошено про деда Федора, и чего не знал (а как мало знал!), так и осталось... И слез не было, только сиротство до звона в ушах. Высокая пустота, облака, даль... И нет дома, ничего нет! Все брошено, и все еще там, впереди!

Справили торопливые малолюдные поминки. Никита ел кутью и студень, не глядя на мать, жалостно и робко заглядывавшую в очи старшему сыну. Ел и думал, и звоном в ушах отдавало нынешнее заботное одиночество.

Покос поджимал, и братья тою же ночью поехали назад. Никита молчал всю дорогу. Молчал и назавтра, когда, не передохнув с пути, оба, распояской, пошли с горбушами валить траву.

Откосившись — одно налезало на другое,— парили пары. Уже когда черная земля лежала готовой и целая стая галок дралась и копошилась в бороздах, Никита, лежа рядом с Услюмом на сухом бугре и покусывая травинку, лениво выговорил:

— Доправишь сам! На жатву матку вези и баб наймуй!

Услюм не понял сперва, озабоченный не столько тем, что говорит Никита (служба есть служба), сколько новым, чужим голосом брата.

— Може... жать-то...— нерешительно начал он.

Никита перекатил голову, ощутив щекотную сухость колючей травы.

— Ты ето, бери себе всю землю ту... Я грамоту поделаю на тебя, а то словно ты на меня работашь... Недосуг мне!

Услюм аж вскинулся, испуганный, ничего толком не понимая. Никита нехотя глянул и отвел глаза. Как ему объяснить? Не любовь к брату подвигла его на нынешнее решенье и не ненависть к хозяйству, ненависти не было тоже... А было, скорее, безразличие... Услюм отрывался, уходил от него в хозяйство, в крестьянскую жизнь, а нужна ли она ему, Никите? Он перекатился на живот. Забытая изжеванная травинка висела у него на губе.

— Бери землю! Не одюжить мне, понимашь? И охоты нет! — настойчиво повторил он.

Перед жатвою Никита уехал в Москву.

Ее он видел теперь только урывками. Редко за глаза звал по имени — Натальей Никитишной, а все боле — так нравилось и большею горечью счастья светило душе — «своею княжной». И уже не пораз примеривал ей мысленно те золотые княжеские серьги, два невесомых крохотных солнца. Иного дара, достойного ее, не было у него, грубого ратника, пропахшего дымом молодечной и потом коня. И будто ушли, отвалили сумасшедшие дни смерти и вспыхнувшей радугой любви. Прошли безумие, жар и надежда на скорое свершение желаний. Минуло — и, дожив до тридцати, все парнем был и держался парнем, а тут повзрослел, ожесточел — разом перешло на мужество. В считанные недели — годы бешеной скачью коней пронесли. И окреп. И знал теперь: не отступит. И она знала, поняла — такое передается,— молча постигла, почуяла и оробела вдруг. И вчера еще поймал взгляд ее — смятенный, недоумевающий...

«Беды бы какой! Развалило вельяминовские хоромы, и стала бы своя, со мною...» — подумал с холодною жесточью сердца... Не было нужной беды, была тягота, бестолочь, боярские пересуды — всё мимо! Ему-то, ему что до них всех?

Осень уже вступала в свои права. Лист желтел, и хлеб был сжат, с полей возили последние снопы. Услюму он — нашел время — выправил грамоту. И как прояснел, как зарозовел брат, ставший нежданно для себя хозяином ихнего поля! Никите хотелось самому скорей обрезать все, чтобы уж и не стало дороги назад!

Нынче, в который раз, направляли его в Рязань. Михал Лексаныча держали в крепком нятьи, поминая ему полувековой давности отцову измену, и пока не собирались выпускать. Никита ехал один, с грамотами. «Стойно деду! — пошутил-подумал.— Тот-то был, кажись, гонцом у князя свово!»

Где-то под Бяконтовым селом, остановясь на дневку, Никита стреножил коня, пустив на лужок в сосновой рощице, на отаву, а сам повалился на сухой склон, на колкий, пересыпанный сосновыми иглами черничник, навзничь, глядючи в небеса, и горечь осени, словно сиротливый крик улетающих птиц, вдруг незнакомою болью проникла ему в сердце.

Заметут снега, будут девки сбираться на супрядки, Услюм повезет лес на новую клеть. Будет Рождество, пойдут ряженые в личинах по Москве. Свадебные сани под коврами, кони в жаркой, медью украшенной сбруе, в лентах с посвистом и радостным визгом девок полетят вдоль улиц. Кончится год, и в марте начнется новый. Услюм будет ладить соху, оттягивать в кузне сошники, готовить загодя косы, чинить телегу, обтянет дубовые колеса новым железом. В апреле начнут пахать, и Услюм пойдет, похожий в тот час на покойного родителя-батюшку, крепко сжимая рукояти сохи, и первая крошащаяся черная борозда проляжет вослед пахарю и коню. А в мае, десятого, начнут сеять, и Услюм, разувшись, босиком, впервые один, без него, Никиты, пойдет с полным пестерем на шее, разбрасывая тугими полукружьями семенное зерно. И, верно, жонку пошлет с бороною-суковаткой следом, чтоб не выклевали семени жадные грачи. Будет сеять яровое, жито, ячмень, после овес и горох. Жена — и матку припрягут — станет сажать огороды: капусту, редьку, лук и морковь, будет, набирая в рот, расплевывать мелкое репяное семя там, по-за баней, на репяном поле. И гречиху посеют без него...

С Петровок начнется покос... Ну, на покос, може, и подомчу, подмогу! Поставят высокие пахучие стога. Услюм станет парить пары, а двадцатого июля начнут жать зимовую рожь. Главная тут страда деревенская! А с начала августа уже сеют рожь новыми семенами и убирают яровое до сентября. И хватает — почти не спавши! — на хохот, на песни, на веселые празднества зажинок, отжинок и первого снопа. А в сентябре уже убирать огороды, и к первому октября на чистых осенних полях расстилают льны. И зимою бабы сядут трепать, золить, прясть, сновать и ткать.

А Услюм? Услюм опять повезет лес или пойдет с обозом. И так весь свой век. Всю жизнь? Нет, много жизней, века за веками! Вечно будет Услюм, немногословный и старательный, переживши черную смерть, раззоры, войны и прочие многоразличные беды, пахать землю, рубить (и беречь!) лес, сажать яблони, зимою топить печи жгутами соломы и льняною костеркой, и будет поле отдыхать под паром, и лес будет расти все в той же вечной версте от околицы и никуда не отступит, и в тот же березняк будут ходить девки веснами зави-

вать венки, а старухи летом — вязать веники, и березняк будет стоять нерушимо.

И Услюм остареет, и оставит детей, и навряд который из них захочет, как он, Никита, иной жизни! А ему все это и родное, да не свое! И всегда хотел большего. Большего ли? Скорее — иного! Чем краше заплеванная молодечная, брань и тычки, и чад, и грубый хохот дружины? К чему и куда тянет его самого? Почему он теперь отверг ту, вечную, идущую по знакомому кругу жизнь и рвется невесть куда — в хоромы ли боярские, в бой ли, в дорогу? И эта пристигшая его, точно черная смерть, любовь не пото ли прильнула к сердцу, что простого и ясного мало смятенной душе?! Что все блазнит дорога и свершения там, впереди, за синим окоемом лесных незнакомых далей, куда конь не доскачет и только облака доплывут, нет ли? И куда-то вверх, вровень ли с Василь Васильичем, в костер, на плаху ли — все одно! Нет, Услюм! Не гадай, что дарил тебя от щедрой души. Душа просит воли! Хотел себя освободить для иного — иной беды, иной судьбы и удачи иной! И она — будь посадскою жонкой соседской — нужна ли была бы тебе? Эх, Никита!

Зло усмехнув, воспомнил, как намедни в терему боярском при его приходе говорили-баяли с учителем своим Василь Василича сыны. И ученый поп объяснял им, что земля — она круглая, как яйцо, и сколь до неба над нами, столь и под нами, со всех сторон. И вся она, с лесами, горами и водами, летает в аэре, яко некое перо, ничем не держась, окруженная воздухом, как яйцо скорлупой. А он стоял, слушал, мало что понимая, дурак дураком, и все гадал: как же люди не падают с той-то стороны, с оборота земного? Или, ежели сказать, ночь настанет, дак мы головой вниз висим? От солнышка-то? Дак опосле того сказанья ночью и глянуть страшно было на звезды! Ну как оторвет от земли и улетишь в ничто! И другояко подумал тогда же: а ну как и она ведает такое всякое мудреное? Наслышалась всего в терему вельяминовском! А он перед нею станет — с чем? С шутками солеными из молодечной да со знатьем того, как бабе подол повыше задрать! Вот и деда, верно... Полюбились там, нет ли, ну подарила сережки свои ему, а дальше-то што? И воротил восвояси! И ему, верно, придет на рати ли за нее пасть али от Василь Василича принять истому смертную, и не знай, помянет ли опосле когда?

Крепко сцепив зубы, Никита зажмуривает глаза и со стоном перекатывает голову по колкому ложу своему. И две слезинки, стыдные для него, мужика, просверкивают в уголках зажмуренных глаз, на челе, обращенном к небу, по которому плывут холодные, навестием осени, высокие облака. И совсем не ведает гонец вельяминовский, что в эти вот миги высокого отречения и становится он достойным своей любви.

II

В ОБИТЕЛИ

Проходит, скатывает назад, в степи, черная смерть, оставив за собою обезлюженные города и вымершие деревни. Серебристый снег, косо и вьюжно проносясь над землею, засыпает сиренево-синие немые поля и острова леса, вздымает сугробы у околиц утонувших в зимнем серебре селений, кружит и вьется над дымниками бревенчатых истобок и соломенными кровлями клетей, где живые, собрав урожай, посеянный мертвыми, греют себя в дымном тепле курных хоромин, жгут лучины, прядут или ладят утварь, чинят сбрую и иной, надобный в хозяйстве припас, шьют и тачают сапоги, задают корм скотине, своей и чужой, собранной по вымершим починкам, и вновь сказывают сказки и песни поют, ибо смерть прошла и жизнь опять набирает силу свою — в мычании сытой скотины, в тугих животах баб, уцелевших от чумы и уже беременных, в хозяйственной уверенности уцелевших от мора мужиков, что сейчас, в сутемнях, выводят запряженных коней, готовясь еще до зари возить дрова и сено или лес для новых, измысленных по осени хором, и, уверенно щурясь в серо-синюю тьму, крякают, туже заматывая тканный жонкою узорный пояс и укрепляя в дровнях сточенный, на ладном топорище, потемнелом и отполированном жесткою дланью древодели и земледельца, навычный к руке и работе, кованный в три, а то и в пять слоев закаленного металла рабочий топор.

Забившиеся было в глушь, на дальние росчисти мужики присматривают уже теперь себе выморочные пустоши: пахано, дак как не обиходить по весне?! Подростки изо всех силенок тянут за старшими в доме. Неопытными еще руками от зари до зари гнут по-

лозья, тешут доски, плетут короба, мнут кожи, узорят сбрую, расцветая от каждой невзначай брошенной стариком дедом похвалы. Неутомимо, почти круглыми сутками, летают трепала в руках девок, пляшут веретена, со скрипом поворачиваются просторные воробы, стучат уже кое-где и ткацкие станки, упреждая общую для всех пору великого поста. Скотины, своей и чужой, ныне много. В достатке хлеб. И потому спешно правят свадьбы — рабочие руки дороги по нынешней поре! Мор отошел, досыти ополонясь трупами, и уже только отдельные неживые деревни с охолодалыми, расхристанными клетями погибших хором напоминают о сбавленной народом, протекшей над страною беде.

Укрытая милосердными снегами владимирская земля отдыхает в недолгой уже тишине вырванных у жестокого времени мирных лет. Земля еще не ведает, не провидит грядущих испытаний своих, и тот, кто окажет в средостении грозных событий, кто будет духовно съединять силы страны, пока еще тоже не ведает сужденной ему провидением великой судьбы. Вернее — не заботит о ней.

И ежели было бы мочно сверху обозреть холмистый, в богатой шубе лесов, рассеченный белыми недвижимыми по зиме струями рек край в тоненьких ниточках дорог, в дымках топящихся печей, с раскиданными там и сям росчистями, не отличимыми в зимнюю пору от лесных озер и болот,— то не враз и возможно бы было увидеть махонькую, убеленную инеем церковушку на лесистой горе Маковец, верстах в пятнадцати от городка Радонежа и в стольких же поприщах от Хотькова монастыря. Не вдруг увидеть и крохотный скит, оградку да горсть келий, тем паче теперь, в ночную пору, когда мерно покачивают головами высокие ели да сыплет и сыплет звездчатый пуховый снег и когда, лишь низко-понизку приникнув к земле, так, чтобы скрылись уже за зубчатою оградой леса и переяславская дорога, и дымки остатнего далекого селения, возможно узреть под тяжелыми еловыми лапами следы полузасыпанного снегом человечьего жилья, в коем не замычит корова, не протопочет глухо конь, не заплачет спросонок дитя, только ветер проходит над кровлями да глухо ропщет лес, и разве чуть осеребрит изнутри ледяное оконце тусклым светом лампадного пламени в келейке, срубленной в одно с хижиною, где замер сейчас между сном и явью отчитавший ноч-

ные часы молодой монах, унесясь мечтою к давно погибшим людям и временам.

Прошлое, совершавшееся некогда с ним и вокруг него, проходит сейчас пред мысленными очами инока, но уже видимое им как бы и со стороны, как бы и свыше, словно туда, в детские воспоминания свои, принесен он теперь по аэру на крыльях морозного ветра.

Метет. Мокрый снег залепляет глаза. Во взбесившейся снежной круговерти смутно темнеют оснеженные и вновь ободранные ветром крытые дранью и соломой кровли боярских хором. Выбеленный снегом тын то проглянет острыми зубьями своих заостренных кольев, то вновь весь скроется в воющем потоке снегов. Деревня мертва, оттуда все убежали в лес. Только здесь чуется еле видное шевеление. Мелькнет огонь, скрипнет дверь, промаячат по-за тыном широкая рогатина и облепленный снегом шелом сторожевого. В бараньих шубах сверх броней и байдан, кто с копьем, кто с рогатиной, кто с луком и стрелами, кто со старинным прямым мечом, кто с татарскою саблей, с шестопером, а то и просто с самодельною булавою да топором, они толпятся во дворе, смахивая снег с бровей и усов, сами оробелые, ибо что смогут они тут, ежели татарские рати Туралыкова и Федорчукова, что валят сейчас по-за лесом, отходя от разгромленной, сожженной Твери, волоча за собою полон и скот, вдруг пожалуют к ним, в пределы ростовской земли, на Могзу и Которосль? Недолго стоять им тогда в обороне! И счастлив останется тот, кого не убьют, а с арканом на шее погонят в дикую степь! Ибо татары громят и зорят все подряд, не глядя, тверская или иная какая земля у них по дороге. В Сарае уже ждут жадные купцы-перекупщики. «Давай! Давай!» Полон, обмороженный, слабый, пойдет за бесценок, а семью — татарок своих — тоже надо кормить! Нещадно, с маху, бьет ременная плеть: «Бе-га-а-ай!» Спотыкающиеся, спутанные полоняники втягивают головы в плечи, бредут через сугробы, падают, встают, ползут на карачках, с хрипом выплевывая кровь, умирают в снегу. «Бега-а-ай!» Гонят стада скотины. Громкое блеяние, испуганный рев недоенных голодных коров, ржанье крестьянских, согнанных в насильные

табуны коней тонут в метельном вое и свисте. Обезножевшую скотину, прирезав и тут же пихнув в сугроб, оставляют в пути. Волки, наглея, стаями бегут за татарскою ратью. Вороны, каркая, срываются с трупов и вновь тяжко падают вниз сквозь метель.

Пять туменов, пятьдесят тысяч воинов, послал Узбек громить мятежную Тверь, и с ними шли, верною обслугою хану, рати москвичей и суздальцев... Только в книгах о седой старине да в мятежных умах книгочиев была, сохраняла себя в те горькие годы былая единая Русь. О вы, великие князья киевские! О слава предков! О вещий голос пророков и учителей твоих, святая русская земля! Где ты? В каких лесах, за какими холмами сокрыта? В каких водах, словно Китеж, утонули твердыни твои? Иссякли кладези духа твоего, и кто приидет, препоясавший чресла на брань и труд, иссечь источники новые? Кто вырубит из скалы забвения родник живой и омоет и воскресит хладное тело твое? О Русь! Земля отцов! Горечь моя и боль!

За воротами боярских хором царапанье, не то стон, не то плач. Отворяется калитка, ратник бредет ощупью, выставив ради всякого случая ножевое острие. Наклоняется, спрятав нож и натужась, волочит под мышки комок лохмотьев с долгими, набитыми снегом волосами, свесившимися посторонь. Баба! Убеглая, видно! Без валенок, без рукавиц...

— Тамо,— шепчет она хрипло,— тамо еще! — И машет рукою, закатывая глаза.

— Где? Где? — кричит ратник ей в ухо, стараясь перекричать вой метели.

— Тамо... За деревней... бредут...

Распахиваются створы ворот. Боярин Кирилл в шубе и шишаке сам правит конем. Яков, тоже оборуженный, держит одною рукой боевой топор и господинову саблю, другою, вцепляясь в развалы саней, пытается, щуря глаза, разглядеть что-либо сквозь синюю чернь и потоки снежного ветра. Сани ныряют, конь, по грудь окунаясь в снег, отфыркивает лед из ноздрей, тяжко дышит; в ложбинах, где снег особенно глубок, извиваясь, почти плывет, сильно напруживая ноги.

Вот и околица. Конь пятит, натягивает на уши хомут. Чья-то рука тянется из белого дыма, чьи-то голоса не то воют, не то стонут во тьме. Яков, оставя оружие, швыряет людей, как дрова, в розвальни, кричит:

— Все ли?

— Все, родимый! — отвечают из тьмы не то детские, не то старушечьи голоса.

— Девонька ищо была тута! — вспоминает хриплый старческий зык.— Ма-ахонькая!

Конь, уже завернувши, тяжко бежит, разгребая снег, и внезапно, прянув, дергает посторонь. Кирилл, нагнувшись, подхватывает едва видный крохотный комочек обмороженного тряпья, кидает в сани. Конь — хороший боевой конь боярина — идет тяжелою рысью, изредка поворачивая голову, дико глядит назад...

В хоромах беглецов затаскивают в подклеть: преже всего спрятать! Там снегом растирают обмороженных, вливают в черные рты горячий сбитень. Мечется пламя лучин в четырех светцах, дымится корыто с кипятком. Мария, со сведенными судорогой скулами, молча и споро забинтовывает увечную руку обмороженного мужика, а тот, кривясь от боли, скрипит зубами и только бормочет: «Спаси Христос, спаси Христос, спаси... Спасибо тебе, боярыня!» Стонет, качаясь, держась за живот, старуха. Мечутся слуги. Сенные девки, нещадно расплескивая воду, обмывают страшную в бескровной выпитой наготе, потерявшую сознание беременную бабу. Голова на тонкой шее бессильно свесилась вбок, распухшие в коленях и стопах ноги, покрытые вшами, волочатся, цепляясь, по земле, никак не влезают в корыто.

Старший из боярчат, Стефан, путается под ногами людей, силясь помочь, хватает то одно, то другое, ищет, кого бы послать на поварню.

— Живей! Ты! — кричит сорвавшимся, звенящим голосом мать.— Где горячая вода?! — И он, забыв искать холопа, сам хватает ведро и, как есть, без шапки, несется за кипятком.

Другой мужик в углу, молча и сосредоточенно кривясь, сам отрезает себе ножом черные неживые персты на ногах. Одна из подобранных жонок вставляет новые лучины в светцы. Кто-то из слуг раздает хлеб...

Кирилл, весь в снегу, входит, пригибаясь под притолокою, и молча передает жене маленький тряпичный сверток. Мария, тихо охнув, опускается на колени: «Снегу! Воды!» Девочка лет пяти-шести, не более (это та самая девчушка, что нашли у околицы), открывает глаза, пьет, захлебываясь и кашляя, тонень-

ким хриплым голоском, цепляясь за руки боярыни, тараторит:

— А нас в анбар посадивши всех, а матка бает: «Ты бежи!» А я пала в снег и уползла, и все бежу, бежу! Тетка хлеба дала... Ото самой Твери бежу, где в стогу заночую, где в избе, где в поле, и все бежу и бежу... свойка у нас, материна, в Ярославли-городи!

Глаза у девчушки блестят, и видно, что она уже бредит, хрипло повторяя: «А я все бежу, все бежу...»

— В жару вся! — говорит мать, положив руку ей на лоб, и шепотом прибавляет: — Бедная, отмучилась бы скорей!

Стефан стоит, сгорбясь, нелепо высокий. Он только что притащил дубовое ведро кипятку и, коверкая губы, смотрит, не понимая, не в силах понять, постичь. От самой Твери?! Досюда? Столько брела? Такая сила жизни! И — неужели умрет?!

Мать молча задирает вонючую опрелую рубаху, показывает. На тощем тельце зловеще лоснятся синие пятна, поднявшиеся уже выше колен, в паху и на животе. «Не спасти!» — договаривает мать. У самой у нее черные круги вокруг глаз, и она тоже смотрит на девочку безотрывно, стойно Стефану, шепчет про себя:

— Господи! Такого еще не видала! Унеси в горницу! — приказывает она сыну.

Стефан наклоняется над дитятей, но тут, ощутив смрад гниющего тела, не выдерживает — с жалким всхлипом, не то воем закрывает руками лицо и бросается прочь.

Мать, натужась, сама подымает ребенка и несет, пригибаясь под притолокою, вон из дверей. Она вовсе не замечает, с натугою одолев крутую лестницу, что за нею топочут маленькие ножки и в горницу прокрадывается младший, Варфоломей. Мария в темноте, уронив девочку на постель, долго бьет кресалом. Наконец трут затлел, возгорелась свеча. И тут, оглянувши в поисках помощи, она видит пятилетнего своего малыша, который глядит серьезно и готовно и, не давши ей открыть рта, сам предлагает:

— Поди, мамо! Я посижу с нею!

Мария, проглотив ком в горле, благодарно кивает, шепчет:

— Посиди! Скоро няня придет! Вот,— шарит она в глубине закрытого поставца,— молоко, еще теплое.

Очнется, дай ей! — И, шатнувшись в дверях, уходит опять туда, вниз, где ее ждут и где без хозяйского глаза все пойдет вкривь и вкось.

Девочка, широко открывши глаза, смотрит горячечно. Варфоломей подходит к ней и, остановясь близко-близко, начинает гладить по волосам.

— А я все бежу, бежу...— бормочет девочка.

— Добежала уже! Спи! — говорит Варфоломей, словно взрослый.— Скоро няня придет! Хочешь, дам тебе молока?

— Молока! — повторяет девочка жарким шепотом и, расширив глаза, смотрит, как Варфоломей осторожно наливает густую белую вологу в глиняную чашечку и медленно, боясь пролить, подносит ей. Девочка пьет, захлебываясь и потея. Потом, отвалясь, показывает глазами и пальцем: «И ты попей тоже!» Варфоломей подносит чашечку ко рту, обмакивает губы в молоко, кивает ей: «Выпил!» Девочка смотрит на него долго-долго. Жар то усиливается, то спадает, и тогда она начинает что-то понимать.

— Я умираю, да? — спрашивает она склонившегося к ней мальчика.

— Как тебя зовут?

— Ульяна, Уля!

— Как и мою сестру! — говорит мальчик.

— А тебя как?

— Варфоломей.

— Олфоромей! — повторяет она и вновь спрашивает требовательно: — Я умираю, да?!

Варфоломей, который шел за матерью с самого низу и видел и слышал все, молча утвердительно кивает головой и говорит:

— Тебя унесут ангелы. И ты увидишь фаворский свет!

— Фаворский свет! — повторяет девчушка. Глаза у нее снова начинают блестеть, жар подымается волнами.

— И пряники...— шепчет она в забытьи,— и пряники тоже!

— Нет, тебе не нужно будет и пряников,— объясняет Варфоломей, как маленький мудрый старичок, продолжая гладить девочку по нежным волосикам.— Там все по-другому. Тело останется здесь, а дух уйдет туда. И ты увидишь свет, фаворский свет! — настойчиво повторяет он, низко склоняясь и заглядывая ей

в глаза.— Белый-белый, светлый такой! У кого нету грехов, те все видят фаворский свет!

Девочка пытается улыбнуться, повторяя за ним едва слышно:

— Фаворский свет!..

Двое детей надолго замирают. Но вот девочка вздрагивает, начинает слепо шарить руками, вздрагивает еще раз и вытягивается как струна. Отверстые глаза ее холодеют, становятся цвета бирюзы и гаснут. Варфоломей, помедлив, пальцами натягивает ей веки на глаза и так держит, чтобы закрылись.

Стефан (он давно уже вошел и стыдливо стоял у двери, боясь даже пошевельнуть рукой) спрашивает хрипло:

— Уснула?

— Умерла,— отвечает Варфоломей и, став на колени, сложив руки ладонями вместе перед собою, начинает читать молитву, которую, по его мнению, следует читать над мертвым телом: — Богородице, дево, радуйся! Пресветлая Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего...— Он спотыкается, чувствует, что надо что-то добавить еще, и говорит, чуть подумав: — Прими в лоне своем деву Ульяну и дай ей увидеть фаворский свет!

Теперь все. Можно встать с колен. И теперь, наверно, нужен ей маленький гробик.

А внизу, в подклете, хлопают двери, и Кирилл, с трудом разлепивши набрякшие, обмороженные веки, сбивая сосульки снега с ресниц и бороды, говорит жене:

— Еще троих подобрали, и те чуть живы! Прими, мать!

Поздняя ночь. Все так же колотится в двери и воет вьюга.

— Вьюга — это к добру, татары авось не сунутце! — толкуют ратники, сменяя издрогших товарищей. Передают из рук в руки ледяное железо, крепко охлопывают себя рукавицами. Не глядючи на полузанесенный снегом труп (давеча один дополз до ограды да тут и умер), разумея тех, кто внизу, бормочут: «Беда!»

А боярчата, измученные донельзя, все еще не спят. Только Петюня уснул, посапывая. Стефан (он сейчас чувствует себя маленьким-маленьким, так ничего и не

понявшим в жизни) сидит на постели, обняв Варфоломея, и шепчется с ним:

— А откуда ты слышал про свет фаворский?

— А от тебя! — тоже шепотом отвечает Варфоломей.— Ты лонись много баял о том. Не со мною, с батюшкой... А расскажи и мне тоже! — просит он.

— Вот пойдешь скоро в училище, так узнаешь все до тонкости,— задумчиво отвечает Стефан.— Далеко-далеко, на юге, где Царьград, и дальше еще, там гора Афон. И в горе живут монахи и молятся. И они видят свет, который исходил от Христа на горе Фавор. Фаворский свет! И у них у самих, у тех, кто самый праведный, от лица свет исходит, сияние.

— Как на иконах?

— Как на иконах. Только еще ярче, словно солнце!

— Степа, а для чего им фаворский свет?

— Они так совокупляют в себе дух божий! Божескую силу собирают в себе, чтобы потом людям ее передать! Понимаешь? Из пламени возникает мир и вновь расплавляется в огне. Зрел ты пламя? Оно жжет, но вот угас костер — и нет его! Огонь зримо являет нам связь миров: духовного-горнего и земного, того, который вокруг нас. Огонь также и символ животворящей силы божества, потому и едины суть Бог-отец, Бог-сын и Дух святой, исходящий на ны в виде света... Не просто света, солнечного, а того, божественного, что явил Христос ученикам своим на горе Фаворе!

Варфоломей кивает. Неважно, понимает ли он до конца то, что говорит брат, или нет, но ему хорошо со Стефаном. И он верит еще больше, что теперь хорошо и той упокоившейся девочке, которую завтра обещали похоронить и даже сделать ей маленький гробик.

Беспокойно, вздергиваясь и постанывая, дремлет мать. Легла, не раздеваясь, не разбирая постели, на час малый, да так и уснула, уходившись всмерть. Кирилл не велел ее будить. Сам спустился в подклеть — сменить жену в бессонной ее стороже.

Четверть века минуло с той поры. Не те уже и Русь, и Орда. И отрок Варфоломей, нынешний инок Сергий, возмужал и вырос.

Он подымает голову, глядит во тьму. По-прежнему воет ветер, приходя из далеких времен, мнится, это все тот же ветер прежних суровых лет, которые могут и повторить, могут и вновь явить себя на Руси.

Он немного прочел в своей жизни, достигнув возраста Христа — возраста зрелости, того возраста, начатка четвертого десятка лет, когда все силы души и тела получают полное свое выражение, возраста зрелого творчества, возраста мужества и свершений,— прочел немногое, но умел делать почти все, и потому понятое им было понято прочно, как ладно срубленный угол избы, как толково сработанные сани или любое другое рукомесленное орудие. Ибо и понимал он в работе и через работу. И детское, давешнее — полусказка-полумечта о свете фаворском, с рассказами брата об энергиях, пронизающих мир,— укрепилось в нем, пустило корни и ответвления, возросло, одевшись плотью дел и свершений, и приняло строгий очерк познанного для самого себя и навек, познанного душою и безотрывно от души, по-крестьянски, когда мужик постигает лишь одну из тысячи мыслей, высказанных книгочием, но постигнув — бестрепетно идет за нее на костер.

Так, Сергий понял, что когда ссылаются на то, что греки называют «экономис» или «экономикой» (и что, кстати, означает не более как хозяйскую бережливость), на зажиток, на оскудение животов, на то, что то или иное «коштовато», «не в подъем», что не хватает, мол, серебра, не по средствам (и при этом кивают на иных, те средства имеющих),— то люди обычно лукавят, прикрывая разговорами о зажитке, об «экономике» свое нежелание что-то содеивать или духовную скудоту свою. Ибо надобны лишь топор да руки, и порою тот же самый мужик, который плачется, что по недостатку животов третье-де лето подряд не в силах срубить новую клеть под зерно на задах, вдруг и сразу теряя все нажитое на пожаре, да еще в самом исходе августа месяца, исхитряется (всего-то и есть что топор, да выведенная в последний миг из горящего сарая лошадь, да волокуша, что стояла на усадьбе, вдали от огня, да баба, вымчавшая из того полымя материну икону да испуганного дитенка, тоже в одной рубахе — почитай, как спала, так и выскочила простоволосая и босиком), и тот мужик исхитряется вдруг,— когда и соседи не в помогу, потому как вся деревня взялась огнем до серого пепла! — исхитряется до снегов и избу срубить, и клеть поставить новую, и сарай... И хлеб в клети лежит, и баба за сляпанным кой-как станом, глядишь, уже напряла ниток и

ладит натягивать основу для холста, а сам, крякая, мочит шкуры, и уже дымок завивает из дымника от еще сырой, еще не просохшей, только что сложенной печи, а по первой пороше навозит лесу, и к весне казовитый новый сруб будет стоять на усадьбе, на подрубах — только разбирай и клади на мох,— краше и выше прежнего, и мужик, сплевывая, щурясь, поглядывая на свое хоромное строенье, будет хвастать, привирая малость... Да тут и без прибавки, помыслишь — покачаешь головой! А в ину пору, на ветрах, за пять лет три пожара, и глядь: стоит она, деревня, та же, что и была, и на том же месте стоит!

А уж про ратное дело и говорить не приходит: как ни оборужи воина, а коли духом слаб, коли нет в душе, в сердце тех самых энергий — бросит и щит и бронь, и давай бог ноги! Только его и видели. А в ину пору, когда есть то, незримое, с одними копьями самодельными пойдут и сомнут и кованых рыцарей и татарскую страшную конницу... Какая тут экономика! Когда четверть века тому назад лучший град на Руси, Тверь, дымом унесся в небеса, и все лишь прятались по лесам да молили: минуло б нас только! Да мало ли по земле богатых градов и великих царств, гордых, утопающих в том самом зажитке, но оскудевших энергиею, обращено в пепел и дым, испустошено и разграблено находниками, у которых и вовсе никакой «экономис» нету, только конь, да лук, да копье, да сабля, взятая с бою, как и бронь, у того самого сильного и богатого соседа, исчезнувшего ныне с лица земли.

А энергия, незримая в нашем тварном мире, она есть или нет ее, и ежели нет,— как говорят, ныне настало в Византии, как было еще сто лет назад на Руси, когда пришли татары и не обрели себе супротивника в великой, исшаявшей почти без бою стране,— ежели ее нет, то и сила не сильна, и зажиток!.. Да что тогда зажиток?! Все делается ею, энергией, и когда она есть, то и надо ее соединить, выпестовать и направить на добро. И начинать, не лукавя, надо с себя, а затем... затем наступает черед ближнего своего!

Беседы с Дионисием, к которому в Нижний ходил он после того давнего юношеского бываныя не раз и не два, очень укрепили Сергия в этих его мыслях. А Дионисий требовал противустать татарам, многажды подвизал на то князя своего, и Сергий, молча выслушивая пламенные глаголы «слов» Дионисия, учился

у него пронзительной любви к Родине. Учился думать и сопоставлять, и ныне не зря пришло к нему давнее воспоминание о Щелкановой рати.

Время памяти протекает с разною поспешливостью, высвечивая вершины и минуя налитые мглою забвения лога. И то, что высвечено памятью, оживает порою с такою свежею болью, словно бы совершилось только вчера!

Сергий, медленно приходя в себя, слушает тяжкий, слитный, подобный шуму моря, гул елей. Сознание все еще как в волнах тумана, из которого, твердея, проступают очертания днешних трудов и забот. Вторгается в ум, вытесняя гаснущие видения детства, давешняя пря с братией (вновь угрожали разойтись, коли сам не станет игуменом) и осознание того, что дело, созданное им, и долг христианина — служение ближнему своему — требуют от него (и Алексий требует, и Дионисий, верно, потребовал бы того же!), чтобы он согласился игуменствовать в обители Святой Троицы... и, значит, расстаться совсем с одиночеством, возлюбленною тишиною, с исихией,— ибо в непрестанных трудах руковоженья братией возможет ли он сохранить вовне и внутри себя возлюбленную тишину? Но все — и требовательный голос братии, и воля Алексия, уплывшего в Царьград, и даже давешний сон — говорили ему вновь и опять, что он уже не волен в себе, что хиротония и последующее руковоженье обителью стали его долгом, крестною ношею, а долг, обязанность (это знал из трудового опыта своего) есть первая ступень всякого постижения (ниже и постижения Божества!).

Стать игуменом! В тяготах поприща сего Сергий не обманывал себя нимало. И то, как отнесся к его избранию родной брат Стефан, понимал тоже.

Томительный, с оттяжкою, первый удар в невеликое монастырское било заставил его подняться с колен и поспешить с утренним правилом. Жизнь вступала в свои права, возвращая дух в оболочину бренного тела и телесных, хоть и строго ограниченных им для себя надобностей. Вступив в хижину и мысленно сотворив краткую утреннюю молитву, Сергий подошел к рукомою.

Михей, почуяв наставника восставшим ото сна, подсуетился, стряхивая остатнюю дрему, и, бормоча мо-

литву, начал торопливо бить кресалом по кремню. Скоро первая лучина, разом выхватив из тьмы бревенчатый обвод гр576тесаных стен хижины, затрещала, распространяя в тесноте жила смолистый аромат сосновой щепы. И ветер, и слитный гул леса примолкли, отступили посторонь от светлого круга кованого короткого светца, всаженного в расщеп изогнутой еловой ветви, вокруг которого по стенам хоромины шевелились и плавали огромные тени двух человек, оболакивающих себя к выходу в церковь.

Сейчас, при свете огня, можно рассмотреть хозяина кельи. Сухощавый и просторный в плечах, легкий телом, в коем не чуется ни капли жира, ни золотника лишней плоти, лишь мускулы и сухожилия, обтянувшие ладный костяк, со здоровым румянцем в глубоких западинах щек, он движется с такою скупою точностью движений, которую дают сдержанная сила и многолетний навык к труду. Борода его отемнела и огустела. Прежнее легкое солнечное сияние стало рыжеватою окладистою украсою мужа. Густые пряди долгих, когда-то свободно вьющихся волос заплетены теперь в короткую косицу. Долгий прямой нос выдает породу: не было в боярском роду Кирилла мерянской крови, наградившей московских русичей пресловутой курносостью. Но больше всего с отроческих лет изменился взгляд Сергия. Вместо распахнутого миру и добру почти ангельского открытого взора Варфоломея теперь смотрелся лик того, кто, и соболезнуя, как бы глядит с высоты — высоты опыта и мудрости; усмешливость, прячущаяся в бороде, и умные зоркие глаза, от которых — поглядев подольше — становит грешному человеку торопко и неуютно на земле. Знал ли он сам, как изменился его облик? Навряд Сергий, даже и отроком будучи, гляделся когда в полированное серебро зеркала! Но то, что внутри себя он изменился безмерно, Сергий знал, чуял, да и ближние, те, кто окружали его, не дали б ему ошибиться намного. Вон хоть то, как преданно и тревожно взглядывает на него Михей, стараясь и не умея еще повторить каждое движение наставника... Когда-то он сам старался так же походить на брата Стефана! Сергий усмехнул в душе, наружно не дрогнув и бровью, и выпрямился, затягивая кушак. Собрались круто: даже второй лучины зажигать не пришлось.

На дворе все так же ярилась вьюга. Мглистое

небо низко неслось над землею, и пахнущий сырью ветер больно хлестнул по лицу снежной крупой, прогоняя последние остатки ночного сна.

Мужики в деревнях теперь уже, верно, повыехали в извоз, а бабы затопили печи. Сергию, охлынув сердце теплом, припомнился Радонеж: утренняя дрожь молодого тела, белый пар из конских ноздрей и гордость предстоящим мужеским трудом, когда он, отроком сущим, об эту пору выезжал с возами за сеном.

Из тьмы со всех сторон выныривали темные фигуры монахов, согбенно, с закутанными лицами бредущие сквозь режущий ветер к церкви. Сергий мысленно пересчитывал умножившуюся братию — не пришли трое. Старик Онисим и Микита, повредивший себе ногу топором, лежали больные. Кто же третий? До той поры, пока их было всего двенадцать (тринадцатым стал архимандрит Симон), порядок не нарушался отнюдь. Ставши настоятелем, он должен будет приказывать каждому, как приказывает ныне самому себе,— понимают ли они это? Алексий там, в далеком Царьграде, в белых и сиреневых, как рисуют на иконах, дворцах, понимал. Понимает и Симон, смоленский архимандрит, муж многих добродетелей, оставивший родину, почет, кафедру ради бедного Радонежского монастыря и круто, враз отвергший самую мысль стать игуменом вместо Сергия. (Симон доставил серебро и припас для зиждительства нового храма — в старую церковушку братия уже не вмещалась, и груда ошкуренных бревен, приуготовленных к строительству, высит теперь за оградою обители.)

А Стефана в настоятельское место даже и не предложил никто из братии! Почто? Спросил мысленно, и сам, усмехнув, понял, почто: нелепо было бы знаменитому игумену Святого Богоявления, духовнику покойного великого князя Семена, после града Москвы, после княжого двора и честей боярских... Вдвойне нелепо! И Митрофан в свое время отвергся игуменского служения, хотя он и мог бы... Нет, и он бы не смог! Алексий с братией правы. Иного — некого!

А он? Не пожалеет ли о пустынном одиночестве, о ночах истомы в глухом лесу, со зверьми и гадами вместо людей? Но и та жалость — грех, ибо крест должен быть всегда тяжек на раменах и, значит, возрастать с годами и опытом. Мог ли он тогда, запросто обманутый убеглым вороватым монашком,— мог ли

он взять на себя крест руковоженья людьми? Нет, конечно! Теперь — может. И, значит, должен. И, значит, надо идти в Переяславль. Не тянуть более ни дня, ни часу, разве привести в порядок дела: распорядить работами, разоставить впервые нанятых со стороны излиха юных мастеров (и... эх! лепше бы ему самому браться ныне за рукоять секиры да рубить углы!). Только войдя уже в церковное нутро, он сумел усилием воли отогнать от себя кишение забот, дабы не уподобить жене, за хозяйственною суетою просмотревшей приход Учителя истины.

Ныне вновь в обители не хватило воску. В стоянцах одесную и ошую царских врат горели лучины. Единая свеча была укреплена в алтаре, за престолом.

Невысокие царские врата Сергий резал сам. Сам резал аналой, и тяжелые деревянные паникадила резал и украшал сам в долгие ночи одинокого пустынножительства. На миг стало до боли жаль этой потемневшей церковки, доживавшей свои последние часы, церковки, которую ставили они когда-то вдвоем со Стефаном!

Недолгие первые годы лесного подвижничества мнились теперь бескрайно долгими, столь многое явилось содеянным в нем и вокруг него. И медведь, тот самый, приходивший к нему кормиться две зимы подряд, а затем сгинувший невестимо, казался ныне почти сказкою, передаваемой братией из уст в уста... (Медведя того Сергий сперва опасался: хлеб клал на пень и отходил подальше, пятясь, а потом пообвык и даже нравилось, не так долило одиночество, когда во время работы медведь уютно урчал за спиною. Все-таки приласкать себя Топтыгин не давал, да Сергий, жалеючи зверя, не очень и старался приручать его — ручной-то дуром полезет встречу людям, а те с перепугу, не разобрав, прирежут косолапого!) И глухо, редкою порой, напоминался Ляпун Ерш, едва не убивший его на молитве в этой самой церкви в первое лето подвига...

С ним тогда «это» случилось впервые. Он мог бы теперь, осильнев на лесной работе, руками свободно задавить Ерша, мог вышвырнуть из церкви всю немногочисленную шайку (тогда, в Радонеже, он один пошел к Ляпуну и так же вот подставил ему темя, а потом хватался скользкими от собственной крови руками за вздетый топор), но он не сделал ни того ни другого. Он вторично, теперь уже, почитай, сознательно,

дал себя убивать, потому что стоял на коленях спиною к душегубу и лучшей удачи не могло бы и быть для Ерша! Сергий не шевельнулся, не дрогнул, когда Ерш подскочил с визгом к нему, крича что-то навроде: «Вот ты где, ну, добрался я до тебя, не умолишь!» А Сергий молился. И в миг тот последний, весь собравшись в комок, он вдруг, сам не чуя еще, как это произошло, перешел какую-то незримую грань, до которой допрежь не доходил и в пору самой жаркой молитвы. Было такое, словно вступил в звенящую тишину и там, за нею, точно из-под прозрачного колокола зрел, не оборачиваясь, малую фигурку мечущегося и кривляющегося человечка, который что-то еще орал, подскакивал, на замахе отступая и подскакивая вновь, вдруг завертелся безумно, кинулся вслед прочим, что, отступив к дверям и перемолвивши, начали покидать церковь, опять, уже один, с воем, верно, прянул от двери к алтарю, к стоящему на коленях Сергию, взмахнул рукой и вновь отступил, шатаясь, и вдруг (как тогда, пустившись в неоглядный бег) ринул к порогу церкви, почти выбил дверь и исчез. Сергий помнил еще, что возвращался долго-долго, все никак не мог найти, нащупать себя самого, стоящего на коленях перед алтарем, и еще помнил ясное присутствие Ее в тот миг, незримое, но безошибочно понятое присутствие Матери божией.

Он встал, дочитав канон, выбрался наружу. Разбойники побывали в келье в хижине, перевернули, рассыпав, его небогатую утварь, но унесли лишь одно — хороший, ладный резчицкий нож. И Сергий потом долго ладил новый из обломка горбуши.

Нож нашелся месяц спустя за церковью, воткнутый в расщелину одного из алтарных бревен, уже весь покрытый ржою. Видимо, разбойник, унесший нож, в последний миг опамятовал и воткнул его в бревно сруба, постыдясь, верно, воротить назад, в хижину...

Молитвенный опыт, полученный тогда Сергием, не пропал втуне. Раз за разом он научился постепенно и сам, стоя на молитве, входить в это состояние полного отрешения от собственной плоти, когда дух, воспаряя, видит тело как бы со стороны. Но и то постиг, единожды перебывши несколько часов в глубоком обмороке, что злоупотреблять этим (как и Ее незримым присутствием) не должно и дозволено ему лишь в редкие часы особой трудноты духовной; тогда

лишь и дозволял себе с тех пор прибегать к Ее незримому порогу... Возможно — Сергий еще не решил того — и теперь, нынче, на пути к новой стезе, он попросит опять Матерь божию, вечную заступницу россиян, о знамении и наставлении к подвигу.

Он оглядел плотную, слитую плечо в плечо толпу молящихся, для него состоящую всю из лиц, а отнюдь не из безличного человеческого множества. Вот стоит Василий Сухой, перемогающий свой постоянный недуг с мужеством, коего не вдруг сыщешь и у здорового мужика. За ним виднеется мерянское плоское и слегка косоглазое лицо Якова Якуты, всегдашнего посыльного обители, исполнявшего каждое дело с толковой немногословной обстоятельностью. С таким не пропадешь ни в какой лесной ли, дорожной трудноте. У стены, в полумраке, замер Елисей, сын старика Онисима, молчаливый, все еще угнетенный горем: всю семью Елисея унесла черная смерть. Из Елисея будет вослед отцу новый хороший дьякон для обители. Прямь алтаря замер, самоуглубляясь в молитвенном рвении, Исаакий — муж строгой добродетели, владеющий редким даром духовного делания. Бросилось в очи и светлое лицо Романа невдали от Исаакия, готовно обращенное к нему, Сергию; тоже будет муж великих добродетелей, егда укрепит ум духовным деланием и молитвой. Там, в стороне, вкупе с Ванятою, стоит молодой инок Андроник, ростовчанин, земляк, пришедший пеш в обитель Троицы, едва прослышав о Сергии. И из него вырастет с годами нехудой делатель Господу. Доброй братией наградил его вышний промысел! Со всеми ними Сергий переносил вместе глад, хлад и всяческую скудоту первых годов подвижничества, в них верил (прочие, не выдержавшие искуса, отсеялись и ушли). Но вот иных, новых, что набежали в монастырь в последнее лето, соблазненные восходящей славою Троицкой обители, Сергий еще не постиг, ибо человек растет в подвигах, зачастую обманывая или удивляя воспитателей своих, и с каждым деянием совершенным прибавляет нечто и в самом делателе. Каковы-то будут они пред ликом навычной старым инокам рабочей трудноты? Иных Сергий, испытав, сразу отсылал от себя в мир, другим назначал различные сроки искуса (и делал это, почитай, как не рукоположенный, но молчаливо признаваемый всеми глава обители), соблюдая до последнего лета принятое когда-то не-

изменное число братии в монастыре: двенадцать мнихов, кроме него, Сергия,— по числу апостолов Христовых. Нынче только, с приходом архимандрита Симона, число иноков в монастыре нарушилось, а сошедшие к послушанию и вовсе содеяли обитель многолюдной.

Наконец и отставший послушник, воровато скрипнув дверью и пригибаясь по-за спинами, проник в церковь, пряча глаза и старательно крестясь. Восстал ото сна, дабы приобщиться ко Господу, когда уже любая деревенская жонка, переделав кучу домашних дел, задавши корм скотине, выпахав пол, накормивши дитя в колыбели, засунув горшки в истопленную печь, начинает доить корову!

Смоленский архимандрит Симон, раздвинув морщины чела, мгновенным взглядом со скрытою улыбкою ответил на столь же мгновенный полувзгляд Сергия и тем отеплил душу. Когда-нибудь они заведут — как в сказочном Царьграде, в монастыре «неусыпающих» — непрерывное чтение часов сменяющими друг друга иноками. И даже непрерывное пение... Когда-нибудь. И очень не ско́ро еще!

Он разогнул книгу, услужливо положенную пред ним на аналой верным Михеем, и, властно отодвинув наконец посторонь все заботы, земные и церковные, начал читать, отдавшись тому, что подступало и подступило наконец с первыми гласами хора — мужского хора! — усилившегося и окрепшего с умножением братии. И когда волны стройного славословия наполнили храм, он и вовсе отдался звучному осиянию завораживающей неземной красоты, которая уносила выше и выше, реяла уже где-то за гранью телесного естества, открывая духовному лицезрению помимо и вне сознания горние сияющие миры. Пел хор, пел Сергий. Глубокие, мужественные, басовитые гласы твердили победу добра и света над миром зла, реял в выси чистый детский голос Ваняты, взмывающий к небесной тверди, и рокот старческих голосов крепил победоносное шествие ангельских ратей. Высокий голос Симона легко входил в созвучие с его собственным, и ширила радость в груди, и приходило такое, когда уже не он пел, а пелось само, и уносило на волнах торжества и баюкало, и то облегченной печалью отречения, то мужеством духовной борьбы целило и наполняло святыню сердца.

Редко пелось так, как сегодня. Видимо, и всем передалось несказанное, совершавшееся в душе Сергия, и потому, отпевши канон и акафист, они глядели друг на друга слегка опьяневшие, как пьянеют светом и воздухом вырвавшиеся на волю из тесного, мрачного узилища, и радовали собою, и кто-то утирал восторженную слезу.

До поздней заутрени следовало истопить, выпахать печь и поставить просфоры, а также заквасить новые из намолотой намедни муки, и Сергий, воротясь в хижину, не садясь, скоро принялся за дело. Ощупью найдя чело русской печи, он обнаружил, что дрова были уже наложены и сухая лучина только ждала огня, чтобы весело запылать в прокопченном глиняном чреве. Михей, занятый уборкою церкви, еще не приходил, и Сергий, скупо улыбнувшись, сразу понял, кто озаботил себя дровами и растопкою.

Печи в обители зажигались по утрам от лампадного огня храмовой иконы Живоначальной Троицы, и Михей, назначенный учиненным братом, ежеутренне разносил огонь по кельям. Вскоре он заглянул в дверь, прикрывая полою слюдяной фонарь. Сергий принял огонь, кивком головы отпустив Михея, только еще начавшего свой обход, раздул пламя в очаге, и хижина осветилась теплым и живым трепещущим светом. Уютно потрескивали, распространяя тепло, поленья, дым, загибаясь серыми прядями, медленно потек над головою, нехотя разыскивая черное устье дымника, и Сергий, засучив рукава и омывши руки, начал раскатывать тесто.

Скрипнула дверь, и первее по духовному теплу, чем по легким детским шагам, Сергий угадал Ваняту, младшего сына Стефанова.

Отрок, коему шел двенадцатый год, ожидал пострижения.

Многие качали головами, дивясь юности отрока и про себя ужасаясь суровому нраву родителя и дяди, не поимевших жалости к цветущему детскому возрасту.

Один Онисим знал, что все было иначе, что Ванята сам заставил отца отвести его в монастырь, к «дяде Сереже»; что и того ранее, с первых даже не лет, с первых месяцев бытия, дитятею, оставшись без матери, тянулся он к дяде пуще, чем к родному отцу,

что в минуты редких посещений Сергием радонежского дома лез к нему на колени, плакал, не хотел отпускать. И что истиною решения Сергия с братом была отнюдь не жестокость сердца, а любовь.

Онисим знал и молчал. Молчал и Стефан. Это был их собственный семейный счет и семейная тайна, невнятная более никому.

Покойная Нюша год от году легчает, яснеет. Все то тяжелое, бабье, плотяное, что проявилось в ней в годы ее недолгого замужества за Стефаном, угасает в отдалении лет. В ней все больше света, все меньше земного бытия. Помнятся только легкая задумчивость улыбки, только ветерок радости от бегущей девичьей поступи...

Он без спору уступил ее некогда старшему брату. Даже не уступил, а — отступил посторонь, когда это у них со Стефаном началось. С тяжким недоумением следил непонятные ему чередования семейных ссор и приступов нежности, неизбежные, как начал понимать много спустя, когда любимых связывает, омрачая духовное, голос плоти. У него, Сергия, «это» почуялось много позже, в лесном духовитом одиночестве поздней весны. Ограничив себя в пище и усугубив труды и молитвенное бдение, он сумел раз и навсегда одолеть искус плоти. Одолеть, победить, быть может, сломить себя, но многое понял с тех пор и в себе и в других, приходящих к нему ради духовной помощи. Понял и брата Стефана...

Умирая в бреду родильной горячки, Нюша бормотала покаянно: «Я была такая глу-у-пая! Мне бы тоже уйти в монастырь где-то рядом с тобою. И приходить к тебе на исповедь каждый год, нет, каждый месяц, или, еще лучше, по воскресным дням...»

И вот она пришла к нему, возродясь в этом своем дитяти, которого когда-то он, Сергий, мыл в корыте и пеленал заместо матери. Пришла, задумавши свершить наконец подвиг иночества, к коему призывал ее некогда отрок Варфоломей своими рассказами о святой Марии Египетской...

И Стефан, видимо, понял тоже. И потому так круто решил и содеял, отдав ребенка на руки Сергию.

И вот теперь Ванята подходит к нему сзади, уже понявши, впрочем, что дядя разгадал его приход, и только чтобы поддержать игру, не поворачивает головы. Подходит и трется, словно котенок, щекой о рукав Сер-

гия. Ласкание, даже ребенка, греховно для монаха, но у Сергия своя мера и свое понятие о греховности, и Ванята чует ее, меру эту, никогда не преступая дозволенной грани.

— Что Онисим? — спрашивает Сергий, помолчав.

— Я воды согрел, и кашу сварил, и горшок убрал, и подмел, и дровы наносил,— начинает перечислять Ванята, загибая пальцы,— а деинка Онисим бает...— Ванята опускает голову, замолкая, и, жарко стыдясь, шепотом договаривает: — Бает, какой я добрый... и погладил меня вот так... Отче! А это плохо, да?

— Хорошо, отроче, душевная похвала идет к вышнему! — заглядывая в печь и морщась от жара, отвечает Сергий.— Токмо помни всегда, что иной болящий временем, в тягости, в омрачении ума, и словом огрубит тебя, и ударит... Ты же твори завсегда Господу своему и не приимь остуды в сердце ни на какое нелепое деяние болящего!

Ванята кивает молча. Отроку сему не надобно повторять дважды, как иным. Сказанное тотчас укрепляет в его памяти навсегда.

Вот сейчас он, безотрывно глядючи на ловкие движения дядиных рук, оттискивающих вырезной печатью головки просфорок — символ церкви небесной, тщится что-то спросить, крайне важное для себя, опасаясь, однако, не огорчит ли дядю его вопрошание. Сергий (движения его рук становятся осторожнее и тверже) мысленно разрешает ребенку, и Ванята, нахрабрясь, разжимает уста:

— Отче! А ты теперь станешь игуменом, да? — Он торопится сразу же досказать главное: — И возможешь постричь меня во мнихи?!

На лице дяди колдовская игра света и теней. Глаза безотрывно устремлены на свое делание. Отрок, сам того не понимая, затронул сейчас тайная тайных его души. Он безотчетно поправляет тыльной стороною руки рыжую прядь, выбившуюся из-под ремешка, охватившего потный лоб. Полусогласие, вырванное у него намедни братией, совершенное в разуме и разумом, по понятию долга, еще не было полным согласием, вернее, не взошло еще на ту, вторую ступень, на которой, по словам Иллариона, вослед закону, как высшее его завершение, возникает любовь. (И не дивно ли, что это было первое творение русского иерарха нарождающейся церкви? «Слово о законе и благодати» митрополита

киевского Иллариона все было посвящено этому наиважнейшему для россиян понятию высшей, благодатной любви. Почему и культ Богоматери, почему и «Хождения Богоматери по мукам», почему и века спустя жестокая «прусская» система закона так была чужда русскому сердцу и уму. Да, закон, но после и выше его — благодать, высокая любовь, согревающая сердце, дающая смысл закону, смысл бытию, ибо мертво и убого без того, без любви, без сердечного понимания самое разумное устроение! Так — на Руси. Быть может, даже и перед греческою церковью тем отлична оказалась русская, что больше и сильнее выразилось в ней начало любви господней к миру, созданному величавою любовью, и начало любви граждан, осиянных светом Логоса, друг к другу; почему, по словам летописца, и казнил Господь русичей так прежестоко за отпадение от любви, за измену ближнему своему! Ибо взявший крест на рамена своя уже его взял и не волен сбросить, и грешен, иже уклонит в пути, паче невегласа, не просвещенного светом истины!)

И у Сергия, при всей суровости подвига его, всякое делание поверялось возникающею любовью: к человеку, к труду, к зверю и гаду, ко всякому произрастанию травному (ибо живое — все, вся земля!), и любовью той выверялась истина. И днесь чуял он, что на самом дне души доселева оставалось сомнение в истине, и сейчас вопрошание дитяти потребовало обнажить тайная тайных и решить духом, решить — полюбив избранный путь.

— Да,— отвечает он наконец, ощутив тот теплый ток в сердце, который означал для него всегда правоту избранного решения.— Да, милый! Ежели меня изберут! — поправляется он.

— Тебя изберут! — обрадованно спешит утвердить Ванята и, горячо приникая к Сергию, с детской пронзительной серьезностью проговаривает торопливо: — Я ведаю, что схима — подвиг! И в уныние не впаду! Ты не боись за меня, хорошо?

Сергий молчит, чуть-чуть улыбаясь. Долог путь, отроче, и подвиг труден, но — «Бог есть жизнь и спасение для всех, одаренных свободною волею», долог путь, и благо, что с юных лет путь этот для тебя прям и несомненен, а наставник твой уже взошел по многим ступеням, сужденным тебе в грядущем, и возможет остеречь и поддержать, ежели надо, в подвиге. Но

и прямизна пути возможет стать соблазном для излиха уверенных, как то было с иными великими мужами древности... Когда ты постигнешь все, постигаемое однесь,— и токмо тогда! — приидет час все это не отвергнуть, нет, а отодвинуть от себя, как уже отодвинул он, Сергий, и взвалить на плеча иное, важнейшее и труднейшее, чем хождение с водоносами, и дрова, и уход за болящими, и даже бдения ночные и непрестанность молитв. Ибо сама молитва — только ступень к постижению божества, а постижение божества — лишь начаток жизни духовной. Ибо божество непостижно разуму, безлично и невещественно, и совсем не таково, как рисуют Бога Отца на иконах (это он и сам постиг далеко не вдруг, и то по подсказке Стефановой).

И понять, постигнуть можно не Бога, а токмо истекающие из него энергии, ими же пронизан мир, ими он создается и разрушается. Ибо без них, без энергии света, мир — это тьма, и вещественный свет, видимый смертными очами, свет тварный, тоже сходен с несотворенною тьмой.

Но есть иной свет, немерцающий, эфирный, создающий все живое, цветы и травы и всякое произрастание плодное.

И есть свет чувственный, цветной, свет внутри нас, образующий нашу животную природу и природу всяких тварей земных.

И есть еще иной свет, свет разума, логоса, данный только человеку. Этот свет и принес в мир Христос, поэтому он — Слово. Об том говорит в Евангелии Иоанн: «И свет во тьме светит, и тьма его не объят». Частицу этого света каждый из нас получает при крещении. Она, частица эта, «закваска света», хранится в сердце, доколе человек не начнет осознавать свою небесную прародину. Не жизнь свершений и страстей, а духовную свою принадлежность. Тогда-то и начинается покаяние, иначе — изменение ума, приведение ума в тишину. Начаток чего — сокрушение сердечное, вопль, плач о Господе. И тогда в сердце возникает вихрь, вихрь исцеляющий, вихрь, восходящий до неба. И Господь ответно ниспосылает кающемуся отдарок нетварного света, мир тишины. Про таковых и сказано: «Не от мира сего». И этот свет возможно узреть, увидеть, как бывает видимым сияние у святых. Стяжающий свет становится новым челове-

ком, духовным, то есть светоносным человеком. И нужна строгость, тайна, ибо слуги сатаны, лишенные благодати, воруют свет у верных, отягощают их разнообразною прелестью, суетною игрою ума, содеивают бывшее якобы небывшим, вселяют сомнение, уныние или гордыню в сердце праведника. О таких-то и сказано Иоанном: «Отец ваш дьявол, и похоти отца вашего хощете творити. Он человекоубийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем; егда глаголет — лжу глаголет, ибо он лжец и отец лжи». Посему даже и доброта, не укрепленная верою, лишенная стяжания благодати Святого Духа, может послужить отнюдь не ко благу ближнего твоего.

И только когда ты, дитя, пройдешь и постигнешь весь путь, когда единой молитвой Исусовой возможешь отогнать от себя всякое похотное пристрастие, и более того, всякое пристрастие к миру, совокупив и сосредоточив всего себя токмо на сладчайшем имени Христовом, когда ум твой станет нисходить в сердце, а сердце начнет теплеть, разогреваться и даже как бы гореть в груди, тогда только ты и увидишь своими глазами нетварный фаворский свет и постигнешь непостижное для тебя ныне. Тогда ты сам приобщишься ко Господу.

А когда уже все ступени духовного восхождения будут пройдены тобою, тогда надлежит воспомнить, что ты не лучше и не больше малых сих, и возлюбить их неложною братнею любовью, и умалиться, яко те, нищие духом, коих есть царствие небесное.

К возвращению Михея просфоры были засунуты в печь, закрытую деревянной подгоревшею до цвета ржаной корки заслонкой, и в воздухе стоял сытный хлебный дух.

Сергий вышел в келью, прикрыв за собою тесовую дверь. Здесь стоял застойный холод, легкий иней покрывал аналой и углы. Сергий поглядел в едва видные в лампадном сумраке требовательные глаза Николы, потом в задумчивые очи Матери божьей и, опустившись на колени, замер в молчаливой «умной» молитве. Келейный холод, очищая обоняние, помогал сосредоточению мысли. Он знал, что Михей взошел в хижину, угадал, что с неким важным известием, хотя Михей никогда не дерзал тревожить наставника на молитве.

Уже воротясь в хижину, Сергий, внимательно вглядевшись в лик Михея, спросил, почти утверждая:

— Стефан?

— Воротилси с Москвы! — подхватил Михей торопливо.— Должно, к тебе грядет!

Стефан, действительно, шел к нему, и Сергий понял это прежде жданного стука в дверь.

Братья троекратно облобызались. На лице Стефана, иссеченном ветром, лежала печать усталости; верно, шагал от Москвы всю ночь, проваливаясь в снежных заметах и не отдыхая. Сергий предложил щей. Стефан покачал головою. За немногий срок, оставшийся до обедни, в самом деле не стоило разрушать постного воздержания.

Стефан сидел высокий, прямой, недоступный, уже, верно, прознавший, что брата уговорили стать игуменом.

— Худо на Москве! — сказал, перемолчав и слегка ссутуливая плечи.— В боярах нестроение! В тысяцкие прочат Хвоста, а Вельяминовых — прочь.

— Князь Иван? — вопросил Сергий, подымая очи.

— Князь по сю пору в Орде, да и не возможет противу...— отверг Стефан.— Вовсе не может! — с тенью раздражения добавил он, сдвигая брови.— Слаб! И Алексия нет!

— Почто? — вопросил Сергий хмуро (Михей, сообразив, что ему лучше не быть невольным слушателем важного разговора, вышел на улицу, прикрыв дверь).

— Всему виной духовная Семена, которую я не подписал! Весь удел великого княженья достался вдове Марии, тверянке... А Вельяминовы за нее.

— Великий князь чаял сына хо́тя после смерти своей...— отозвался Сергий, думая о другом.

Омрачение, наступившее на Москве по миновении великого мора, должно было наступить неизбежно. Слишком многие умерли, слишком много прихлынуло из сел и весей нового народу, юного и жадного, не ведающего прежних навычев столичного града. Со смертью старого тысяцкого, Василия Протасьича, власть Вельяминовых стала зело некрепка. Василий Васильич был излиха горяч и нравен. И уделом своим Марии должно самой поделиться с Иваном, не сожидая боярской которы. При слабом князе и долгом отсутствии Алексия любая беда может совершить на Москве! Но не с этим шел сюда Стефан, и не об этом его мысли однесь.

— Ваня у Онисима! Лежит старик! — подсказал Сергий, внимательно глядя в серое лицо брата.

Стефан поднял тёмный взор, понял, кивнул.

— Келья твоя вытоплена,— продолжал Сергий.

Стефан кивнул снова, чуть удивленно поглядев на брата.

— Я посылал давеча Михея,— пояснил Сергий, и лик Стефана тронуло едва заметным румянцем.

Он опустил и вновь решительно поднял глаза. Приходило прошать самому. Прокашляв и еще более ссутулив плечи, он вымолвил наконец, не глядючи в очи брату:

— Ты станешь игуменом?

— Я сожидал тебя! — ясно и твердо ответствовал Сергий.

— Почто? — осекшимся голосом вопросил Стефан, гуще покрываясь румянцем.

— Мы ставили монастырь вместе! — возразил Сергий.— И ты был и есть старейший из нас!

Стефан помолчал, свеся голову, наконец вымолвил совсем тихо:

— Мыслишь, я должен сам избрать тебя игуменом?

— Или стать им вместо меня! — докончил Сергий, по-прежнему невступно глядя в глаза брату.

— Ты знал... ведал, что я приду?

Сергий неторопливо переменил лучину в светце, молча утвердительно кивнул головою.

— Ты искушаешь меня! — с упреком отозвался Стефан.

— Нет! — светло поглядев на брата, возразил Сергий.— Крест сей тяжек и для меня тоже. А ты дружен с Алексием!

Лицо Стефана стало темно-пунцовым, потом побледнело. Сергий не знал — или не хотел знать? Или ведал и молчал — о злосчастной женитьбе Семена Гордого и участии Стефана в этой женитьбе... А значит, знал или не знал о давней остуде Алексия?!

И вот сейчас, в этот миг, подошло самое горькое, ибо смирять самого себя, гнуть, лишить славы и почестей, изгнать из Богоявленского монастыря, отказать в игуменстве мог Стефан сколько угодно и с легкостью, ибо делал все это по воле своей, «никим же гонимый», но тут сидеть и знать, что игуменства его в братней обители (отвергнутой им некогда и, как оказалось, навсегда!) не хочет никто из монахов и вряд ли допустит

сам Алексий, воротясь из Царьграда,— знать все это и слушать слова младшего брата, неведомо как взявшего над ним старейшинство, было непереносно совсем. Вся воля и вся гордость Стефана, задавленные, но не укрощенные, ярились и возмущались пред сею неодолимою препоной. Он то опускал чело, то вновь сумрачно взглядывал в лицо брата, угадавшего нынче его нежданный для самого себя приход, приход-бегство, ибо там, на Москве, почуял Стефан с пронзающей душу яснотою, что жить вне обители братней уже не возможет никогда. Ибо только здесь возможно было, полностью отрешась от суеты и воспарив над злобою дня, помыслить о мире и судьбе, подумать и покаяти, только здесь — понял и постиг он — зачиналась грядущая духовная жизнь Русской земли. И теперь подходило ему смирить себя всеконечно, дозела, но смирения-то и не хватило его душе, хотя разум Стефана властно требовал от него смирения.

И почти падая в обморок, теряя сознание почти, он наконец после страшных и долгих минут молчания тихо выговорил брату:

— Становись игуменом ты, я не достоин сего...

Частые удары монастырского била, призывающие к молитве, милосердно покрыли его последние слова.

Считается, что исихия, умная молитва, тонкое постижение божественных энергий, требует уединенной сосредоточенности, удаления от мира (и от работ мирских!) ради постижения нетварного света, ради приобщения ко Господу — обо́жения.

Сергий всю жизнь работал, и не так, как можно бы там, на юге, в горе Афон, где маслины и виноград, где тепло даже в зимнюю пору; работал в жестоких зимах севера, в снегах по пояс и по грудь, работал в надрыв сил и свыше сил. Сергий к тому еще, очень скоро оставя уединение, поднял на плечи монастырь. К нему приходили тысячи, и в час, когда страна спросила его: идти ли? — он ответил ей: иди! Господь да пребудет с тобою! И был духовно с ними, и люди пошли на смерть.

Сергий мирил князей и строил обители с новым общежительным уставом, где учились и писали иконы и книги, где делали дело культуры, духовное дело, потребное великой стране. Так какой же он был исихаст?

Но ведь и Григорий Палама, дравшийся на соборе с Варлаамом, гонимый и утесняемый, призывал не отринуть от себя гражданское служение, ежели сей крест пришел праведнику! И сам стал епископом Фессалоники, града, много лет раздираемого усобицею зилотов!

Верно так, что эти мужи в пору свою могущественно, укрепив себя самих к служению ближнему, несли идею свою в мир, людям,окрест сущим, и там, где мир окрестный, как и совершилось на Руси, мог подъять сущее для него учение — по слову «могущий вместить, да вместит!» — там сдвигались народы и восставали из пепла царства и города!

Михей устроился за дощатым столом близ света, чтобы мочно было, не вставая, менять лучины в светце, и сейчас неторопливо переписывал крупным красивым уставом напрестольное Евангелие, заказанное радонежским боярином Филиппом из рода Тормосовых, как и Кирилл, отец Сергия со Стефаном, переселившимся четверть века тому назад со всею роднею-природою из разоряемого Ростова в московский Радонеж. Бывшие ростовчане упорно тянули друг к другу, и уже теперь — к «своей» обители Троицы.

Сергий оглядел делание Михея, уже столь навыкшего к книжному рукописанию, что и столичным писцам было бы не в стыд показать работу ту,— остался доволен. Книги переписывали уже трое, кроме самого Сергия. Един из братии, как узналось недавно, был гож и к письму иконному; надобно было теперь и то художество завесть в обители. И врачеванию следовало учить! Монастырь рос, матерел, мужал, как мужает юноша, научась потребному рукомествию. Удаляясь в келью, Сергий сказал одно лишь: «Сегодня не спи!» Михей понятливо кивнул. Ему почасту приходило разделять молитвенное бдение с наставником.

Сергия традиционно связывают со Святою Троицей, так что даже и икона Рублева, написанная двадцать лет спустя после смерти преподобного, мыслится как бы принадлежавшею ему лично. Однако в моленном покое Сергия, в его малой келье, иконы Троицы не было. (Хоть и то не забудем, что наречен был от рождения престолом Святой Троицы, что и дивная икона Андрея Рублева не возникла бы без духовного пастырства Сергия и храм в обители, первый и главный, был

Троицким храмом — все так!) И все же у самого Сергия в молитвенном покое его было два образа, равно близких всякому россиянину и наиболее распространенных впоследствии среди обиходных русских икон: «Никола-угодник» и «Богоматерь Одигитрия», вечная заступница россиян, символ материнской безмерной любви, жалости и терпения. Две сравнительно небольшие иконы плотного, безошибочного в каждой из линий своих древнего письма — творения высокого мастерства, нежданные в убогой келье, если не знать о прошлом боярской семьи Кирилловой. Павел Флоренский оставил нам описание этих икон, сохранившихся до сих пор, и лучше того и даже вровень с тем вряд ли что возможно о них и сказать и измыслить. И теперь, в келье, собираясь на подвиг, означивший всю его дальнейшую судьбу, именно к ней, к Матери божией, заступнице и печальнице человечества, обращал Сергий свою молитву.

В каждом деле, в каждом великом деянии человеческом, кроме долга и истекающего из него волевого позыва к действованию, кроме любви, дающей высший смысл и оправдание всякому деянию, есть еще третье звено: та искра, которая возжигает уже сооруженный костер, приводит в движение налаженный к действованию снаряд, искра эта — откровение или озарение, и приходит оно по-разному и в различные, часто нежданные миги жизни. Но это то — всегда,— после чего неможно уже отступить или уступить, не порушив себя самого дозела, до полного духовного изничтожения своей личности. Как знать, энергия, собираемая молчальниками-исихастами, не была ли, по крайней мере для них самих, именно той энергией «вдохновения свыше», после которого пророки человечества восходили и на амвоны, и на костры?

Сергию, человеку четырнадцатого столетия, нужен был знак, как надобно было небесное знамение воину, как надобно озарение художнику, как надобен катарсис или то, что для верующего человека совершает пресуществление вина и хлеба в тело и кровь Христову. Как надобно чудо — и, признаемся уж хоть самим себе, надобное нам, людям, во все века! Он, конечно, не знал, какой знак и даже будет ли знак ему... Но он молился. И — опустим, не скажем, как молился он. Частью по незнанию, а больше по тому одному, что рассказать этого нельзя. То невыразимое, что происходит в челове-

ке и с человеком в подобные мгновения, невыразимо доподлинно. И простецам ни к чему даже этого и знать.

Михей, окончив труд, вступил в келью и встал на колени рядом и — так получилось по узости места — чуть впереди наставника. Сергий, который только и заповедал ему не спать, возможно, и не хотел присутствия Михея в келье, но ничего не сказал ему, вернее, уже и не мог сказать. Он уже был «там».

Свет струила только одна лампада, и потому фиолетово-вишневый мафорий Богоматери и даже сапфирно-синий ее хитон, как и фиолетовая риза и красный омофорий Николы, казались почти черными. Посвечивала только золотая разделка на хитоне и гиматии младенца Спасителя.

Было тихо. Сергий молился молча. Время как бы остановило течение свое, и Михею, до которого неволею доходило сгущающееся напряжение духовных сил наставника,— подобное тому, как в перенасыщенном грозовым электричеством воздухе сами собою начинают вставать дыбом волоски и шерсть животных струит неживой белый свет,— Михею давно уже было не по себе. Он с трудом находил в уме своем слова молитв и готов был порою закричать от ужаса в голос, кабы не воля Сергия, замкнувшая ему уста и лишившая тело способности к движению. Сколько прошло минут или часов, не ведали ни тот, ни другой.

Тишина текла, струилась, приобретала плотность и вес, становилась уже нестерпимой. Михей, никогда допрежь не испытывавший и десятой доли такого, потерянно оглянул на Сергия, лик которого в резких гранях теней каменел и казался мертвым. («Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй мя, грешного!» — беззвучно повторял Михей, теперь уже одно и то же, одно и то же, боясь остановиться хотя на миг.) Он был так растерян в эти долгие мгновения ужасной для него засасывающей тишины, что, когда в келье осветлело, почти обрадовал, еще ничего не поняв. Сперва показалось даже, что это и не свет вовсе, а попросту глаза привыкли к темноте и видят. Но видимо было теперь и совсем невиденное допрежь того: маленькая скамеечка в углу покоя, и четкий резной узор божницы, и все складки одежды Сергия. Он только спустя минуты понял, что в келье стало светло! И свет был странный, почти без теней, немерцающий, ровный, одевший все точно световым покровом. Каждый предмет был ярок

и виден со сторон, а краски на иконах, одеждах его и наставника выцвели, почти исчезли. Он глянул смятенно перед собой. Лик божией Матери круглился удлиненным овалом, поразительно плавный и девственно-чистый по своим линиям, скорбный и моложавый одновременно и уже как бы отделенный от доски. В лике Николы была мука почти живого трепета: казалось, он жаждет и не может нечто сказать, повестить...

Михей растерянно оглянул на наставника — и обмер. Львиное, чужое лицо Сергия было страшно. Чернели глубокие западины щек. Упорный сведенный взгляд горел волчьим огнем. Михей понял лишь, что он мал, слаб и жалок, и лепше бы ему быть где-то там, вдали, но не зреть, не видеть, не присутствовать при том, что совершалось днесь, при его глазах, но столь безмерно превосходило малые его духовные силы.

Мы знаем теперь то, что передал Михей много спустя, и возможно и даже неизбежно, что виденное им тогда, в ту ночь, с годами приобрело «канонический» вид, изменилось и приблизилось к знакомо-привычному. Не тень, не очерк, не сгущенный из воздуха феномен, а осиянная необычайным светом иконописная Богоматерь, живая, с предстоящими, явилась его взору. Так он повестил несколько десятилетий спустя, будучи глубоким стариком, уже после смерти Сергия, иноку Епифанию, для коего все это была уже иная, прошедшая и ушедшая эпоха, иное время, крупицы коего он старался удержать, создавая свое «Житие Сергия Радонежского», когда уже и сам преподобный даже для тех, кто знал и видел его, становился все более легендою, таял, растворяя зримый свой образ в зыбком мареве воспоминаний.

Сергий, точно поднятый стороннею силою, встал с колен, с молитвенно сложенными руками. Михей глядел, почти теряя сознание. Она была, стояла, светилась и таяла, благословляя. (Странно, он не помнил потом: сидел ли младенец-Спаситель у нее на руках?) Наставник и сам — так во всяком случае казалось Михею — парил в воздухе. Его высокая фигура вытянулась еще больше, отделясь от собственной тени. Лик, пугающе-грозный миг назад, неизъяснимо украсился и прояснел. Лицо блистало, словно бы отдавая льющийся на него свет.

Когда-то в далеком, полузабытом Ростове на изломе

юности своей отрок Варфоломей, будущий Сергий, так же внимал неведомому, потеряв на время всякое ощущение своего веса, и ныне, днесь, вернулось к нему то юное, давнее, и уже никакой словесной молитвы не было в нем, насквозь пронизанном этими ее лучами, смывшими разом всякую трудноту и печаль и муку восхождения, и только горняя радость была, ширилась и торжествовала, заливая его всего целиком, так что и тела уже не было в нем, и не было, не осталось никакого «я», ибо весь он стал точно причастная жертва высшей любви или — луч света при сияющем солнце... Все это Михей зрел, чуял полубредово, на грани обморока. Так же как и слова ее, сказанные в тот миг высокого озарения (бывшие вряд ли словами человеческой молви, скорее — звуком внутреннего гласа души, внятным Михею, как и наставнику). Кажется, Богоматерь просила не ужасаться видению и не скорбеть, заверяла избранника своего, что не оставит Сергиевой обители и верных его учеников без своего покрова и защиты даже после смерти преподобного... Так или приблизительно так передавал впоследствии Михей услышанное. Повторим: вряд ли услышанное слухом, скорее понятое ими обоими душою и из души.

Матерь божия стояла не одна, хоть Сергий и глядел на нее лишь единую. «С апостолами Петром и Иоанном!» — твердо уверял впоследствии Михей. И это тоже был знак ему тайный, как понял потом Сергий, передумывая виденное. И было ли то наваждение или нечто доступное, как мечта, как сон ему одному? И он мог бы не поверить себе, но Михей видел тоже! А где двое, там третий среди нас — Христос. Значит, виденное было не марой, не мечтою, а истиною?

Свет слепительный, необычайный, истинно фаворский свет мерк, становясь давешним бестеневым и холодным. Михей плакал и бился у него в ногах, судорожно восклицая: «Что это, что?» Сергий поднял ученика, как мог успокоил. Говорить и он не мог, повторяя одно лишь: «Потерпи, чадо, потом, после, потом...» Оба не узрели, не поняли, как ушло, растворилось видение, оставив после себя чуть слышную замирающую музыку горнего торжества, которая тоже легчала, гасла, грустнела и гибла, как угасает закат. Сумрак наполнял постепенно келью, заливая углы. Сергий, успокаивая, гладил Михея по голове, а тот целовал, поливая слезами, руки наставника.

Мерцала лампада. Торжественное ушло. Но оно было, оно являлось в мир! И ради него стоило годы терпеть лишения, глад и хлад, ради него одного стоило нести бремя жизни, дабы и жизнь и себя принести некогда к престолу славы ея!

Все в этот день было полно глубокого значения и смысла. И то, как торжественно прошла литургия, и праздничный совокупный обед после нее — одна из тех совместных трапез, на которых Сергий зачастую настаивал, дабы не делить по кельям привозимого в монастырь обилия.

Сегодня настаивать не пришлось. Чуяли сами, что, провожая в путь своего будущего игумена, обязаны соединиться вместе и вместе вкушать. Сидели тесно, плечо в плечо, в самой просторной из келий; и радовало, что приносили не считаясь: и́ной початый каравай хлеба, другой соли, масла, крупы ли на варево, блюдо кв́ашеной капусты или снизку сушеных лещей, кто, смущаясь и краснея, несколько пареных репин — иного не имел у себя в келье. И то, как приняли, как заботно уложили на блюдо эти репины, радовало сугубо. Достали большой, к подобным случаям сберегаемый котел, живо собрали точеную, долбленую и глиняную посуду, деревянные ложки разложили заранее по столу, и все это как бы само собою, уже без прежних подсказов Сергия.

И вот теперь сидели, любуясь друг другом и гордясь собранной ими незамысловатою трапезой, и была благость во всем и на всех. Лица светились улыбками, и готовно делили ломти хлеба, уже не своего, а общего, с пришлыми, с теми, для кого все это — и радование совместное, и совместная трапеза, и неторопливое за трапезою чтение «Житий» — было внове и невнятно еще; а те, неофиты, смущенно принимая из рук братии хлебную вологу, светлели или смущались, каясь в душе, что пожадничали, не донесли своего добра, когда еще был собираем совместный стол. Один даже вылез украдкою и, сбегав к себе, приволок решето мороженой брусницы, косноязычно, с пятнами румянца на лице изъяснив, что запамятовал и что для останка трапезы это-де самая добрая волога. И решето тотчас приняли, не умедлив, будто так и надобно было, не осудив и не опозорив дарителя, и тут же поделили, найдя чистые

мисы, на два конца стола, дабы всем удобно было брать горстью или черпать ложками кисло-сладкую, с лесною благоуханной горчинкой, острым холодком тающую на языке ягоду.

И лишь сам Сергий сидел усталый от пережитого, задумчив и тих. Молча вкушал, молча, исподтиха, озирал братию, гадая, как теперь примут они — и примут ли? — замысленный им вкупе с Алексием общежительный устав. Чтобы так вот, как теперь, было всегда. Всегда вместе и никогда поврозь. Чтобы беда, глад, скорбь ли какая, как и радость, как и праздничное ликование, переживаемы были всеми вместе, испиваемы в равной, единой чаше. Как было некогда в древнем Золотом Киеве, в лавре Печерской у великого Феодосия.

Ради сего многотрудного замысла он и согласился игуменствовать. Но сказать об этом братии прямо доселе не мог. Ибо тяжек для нестойких духом даже не сам по себе иной, ненавычный поряд жизни, но мысленное осознание иного порядка, противного принятым навычаям старины. А за три века, протекших со времен Феодосия, возник и утвердился на Руси иной наряд киновийного жития, когда каждый поврозь, в особой келье, с припасом своим, своим добром, рухлядью, а подчас и слугами. Наряд, коему и он, Сергий, не мог противустать в невеликой своей обители. Наряд, порядок, способный, как понял он уже очень давно, разрушить и на ниче обратить все то, ради чего возникли века и века назад монашеские киновии.

Длится божественное чтение, длится застолье, трапеза верных, почти евангельское содружество двенадцати во главе с учителем своим, а он, устремив взор в незримое отдаление лет, вспоминает иное.

Сергий сам никогда не просил милостыни и не разрешал монахам своего монастыря собирать милостыню по окрестным селам.

— Довольно и того, что доброхоты от избытка своего сами привезут в монастырь! — отвечал он всегда с твердостью, напоминая упрямым, что великие старцы египетские постоянно жили трудами рук своих, не сбирая ничего с мирян, и даже сами от себя почасту творили милостыню.

Сергий в начале своего подвижничества, ежели кончалась мука, толок обычно липовую кору, перебивал-

ся сушеными кореньями, ягодами и грибами. Когда начала собираться братия, стало много труднее.

Единожды в обители кончился весь и всякий снедный припас, и голодать пришлось четыре дня подряд. Ели и до того скудно, сугубо же долило то, что никто не ведал и не чаял конца бедствию: а вдруг впереди еще многие и многие дни и даже недели невольного жестокого поста?

Сергий заранее роздал все, что у него было, ослабевшим и перемогался, по-прежнему не позволяя, однако, идти кому-либо за милостыней к мирянам в ближайшие деревни. Сам он во все эти дни, возвращаясь из церкви (службы блюли неукоснительно), плел лапти или стоял на молитве, но утром пятого дня непрерывного своего голодания понял, что надобно во что бы то ни стало поесть.

А хлеб в монастыре был. В очень малом количестве, но был все-таки! Не потому ли, верно, и роптала и даже бранила Сергия братия? Единый из иноков, позже покинувший монастырь, вслух и поносно обличал его за прещение собирать милостыню:

— Добро бы война, глад! А то — селяне сыты, глянко, пиво варят! А мы зде голодом помираем, вослед пресловутым старцам синайским! Да в том Египте, коли хошь знатья, и снегу николе не бывало, фиги да финики растут, акриды там разные, мед дикий! Поди, и старцы ти без жратья какого ни то ни разу не сиживали!

Кричал поносно, разумея явно не одних только старцев египетских; а Сергий, чуя кружение головное и боль во чреве — его пост оказался долее прочих и потому тяжелее для плоти,— только повторял со спокойною твердостью, не желая подымать братнюю котору в монастыре:

— Нет, нет и нет! Надобно сидеть терпеливо в монастыре и просить и ожидать милости только от Бога.

И вот утром пятого дня изнемог и он. Туго перепоясавшись (так менее чуялось голодное сосание внутри) и взявши топор, он пошел в келью старца Данилы, того самого, у которого был тщательно скрываемый от прочих хлеб, и предложил срубить сени, для устройства коих Данило давно уже припасал лес и доски.

Старец замялся было, помаргивая и щурясь, забормотал, что да, мол, давно задумал, да сожидает делателей из села.

— Ведомо тебе, старче, что я плотник добрый,— возразил Сергий,— и ныне праздно сижу. Найми меня!

Данило сбрусвянел, начал отнекивать, плакаться на скудоту свою: не возможет-де Сергию дати потребное тому воздаяние... Сергий, поморщась в душе, скоро прервал хозяина кельи:

— Великого воздаяния мне не надобно! Гнилой хлеб есть у тебя? Того дашь — и будет! У меня и того нет! — примолвил он строго.— А лепшего, чем я, древоделю тебе не добыть и на селе!

Данило засуетился, забегал глазами, вынес, погодя, решето засохлого ломаного хлеба в корке зеленой плесени.

Сергий не возмог бы никогда и не позволил себе довести хлеб до такого состояния. Видимо, старец, когда ел, откладывал недоеденные куски в это решето, а после же и сам не доедал объедков, и не отдавал другим — из жадности.

Крестьянская скупость эта хорошо была ведома Сергию, и в мужицком обиходе, где лишний кус шел скотине, а запас требовался всегда (наедет боярин, рать ли найдет — давай безо спору!), не возмущала его. Но тут, в голодающем монастыре, видеть хлеб в плесени было соромно.

— Вот и довольно,— ответил он, сдвинув брови.— Токмо погоди, подержи у себя вологу ту, покудова окончу делание свое!

От первого удара топором у Сергия все поплыло перед глазами и он чуть не свалился. Однако тело, навычное к труду, раз за разом, с каждым новым вздыманием секиры все более подчинялось воле, и в конце концов он начал работать ладно и споро, хотя звон в ушах и легкое головное кружение не проходили. Впрочем, и к тому Сергий сумел приноровиться, соразмеряя силу удара с возможностями руки. И дотесал-таки столбы, и поставил, почти не отдыхая (боялся, ежели присядет, уже не заможет встать), и ладно обнес досками, и покрыл, и даже маковицу на кровельке вытесал легкими касаньями кончика топора, и приладил, и только когда слезал с подмостей, на миг приник к дереву, простерев врозь слабнущие руки, ибо так повело и так отемнело в глазах, что едва не рухнул вниз без сознания. Но и тут справился, слез с подмостей и, получив наконец заработанные хлебы, стал есть, сотворивши молитву, стал есть плесневелый хлеб

с водой, и ел тут же, сидя на пне, и после долго помнилось и передавалось меж братии, что у Сергия изо рта от разгрызаемых сухарей «яко дым исходил» — вылетало облачко сухой плесени.

Поевши и сунув несколько сухарей в калиту на поясе, Сергий остальное принялся молча раздавать сотоварищам. И опять буйный брат, отпихнув руку с протянутым сухарем, начал крикливо галиться:

— Думашь, что доказал, да? Доказал? Работник богов! Заработал, вишь, не выпросил! Ну и пишись тогды в холопы к нему! Тебя слушать, да таковую плесень жрать, и еще в мир не ходить за милостыней — дак и помрем всеконечно тута! Делай что хошь, а утром вси разойдемси по весям Христа ради просить да и назад не воротим сюды!

Сергий слушал его молча. Худо было не то, что роптал един нетерпеливый, худо было, что никто не возразил хулителю, не вступился за него, Сергия, с обидою или гневом, а лишь остраненно молчали да низили глаза, и в молчании этом была своя, скрытая, горшая, чем глад и скудость, беда. Ведь хлеб в монастыре был, был хлеб, и голод не съединял, а паки разъединял братию! И оттого все труды его, все дни поста, надежд и молитв грозили обрушить во прах единым часом!

Вот тогда-то, положив в рот очередной сухарь, который он, прежде очистив от плесени, начал медленно сосать, а не грызть, Сергий задумался и понял, что деянием, свершенным им только что в меру своих сил, но отнюдь не в меру сил каждого из братии, он не вразумил ни единого из них и урок его пропал втуне, ибо, заработав гнилой хлеб у имущего брата, он тем самым токмо утвердил рознь духовную и разноту зажитка, скрыто живущую даже в его бедной лесной обители.

И, значит, первейший завет Христа о любви и дружестве ближних не исполнен и не исполняется ныне в русских обителях.

И, значит, совокупления духа, дружества, совокупления русичей на благо родимой земли не творится сим разнотствующим киновийным житием. Каждый спасает тут только себя, но отнюдь не брата своего во Христе!

И, значит, подвиг, начатый им на горе Маковец, грозит изойти на ничто так же, как и многие прочие благие по начатку своему деяния русичей, так же, как

ничем завершился путь брата Стефана, ставшего игуменом столичного монастыря и утерявшего высоту духовную за суетою и прелестью мира.

Все это понял Сергий в тот час, над тем решетом гнилого хлеба.

И слава Господу, что искус престал в тот раз счастливо для обители, ибо назавтра же неизвестным дарителем были присланы в обитель возы с хлебом и обилием, а монахи с той поры уверовали в благодатную прозорливость своего духовного пастыря, хотя Сергий в тот миг воистину не догадывал о нежданном спасителе.

Голод, тем паче такой, временный и случайный, забывается быстро. Братия вскоре уже и не поминала о нем. Но Сергий с тех самых пор положил в сердце непременно устроить общую трапезу и общее житие и ждал теперь лишь обещанной Алексием подмоги, которую привезет... должен привезть! Или сам авва Алексий или даже Леонтий-Станята, Станька попросту, молодой послушник, новогородец, прибившийся было к Троицкой обители, которого Сергий, испытав и понявши, что уединенное киновийное житие не для него, отослал в спутники к Алексию, собиравшемуся в Царьград, благо Станята, неведомо как, почти самоуком, научился разуметь по-гречески...

А монахи дружно работают ложками, черпая варево из больших деревянных мис, оживленно переглядываются, дарят друг друга то улыбкою, то пристойным в застолье словом. Они радуют ныне, что вместе, но продолжат ли радовать, когда «вместе» станет законом и иначе будет уже нельзя?

Сергий облизал досуха ложку, отодвинул порожнюю мису и еще помедлил, глядючи, как Василий Сухой с Якутою ладно прибирают со стола и кутают в зипун горшки с варевом для болящих. Убедясь, что все идет добрым чередом, он запахнул суконную свиту и вышел в холод.

Ветер все еще дул, но уже заметно стихая, и снег почти перестал, и небо бледно засинело над елями, а останние облака в розово-палевом окрасе летели над головою уже нестрашные, подобные тонкому дыму, все

более и более легчающие, обещая ему ясный и легкий путь. Глубоко вздохнув, он направил стопы к келье Онисима.

Старик ел, когда вошел Сергий, и обрадовал ему, словно дитя. Измученный долгою постелью паче самой болести, он торопливо, кашляя и взбулькивая, заговорил, хваля Сергиево согласие стать наконец настоятелем обители, толкуя неразборчиво и о Москве, и о князе Иване, и о Царьграде... Онисим отходил света сего, зримо слабел, и конец его был уже не за горами. Старик и сам понимал это, и в его нынешних наставлениях племяннику скользом то и дело проглядывала печаль скорого расставания. Уходя, Сергий бережно и любовно облобызал старика.

К пабедью собрался келейный совет братии. Все было заранее решено, и теперь надобилось одно: отрядить двоих спутников Сергию. Архимандрит Симон при его преклонных летах не мог одолеть зимнего пути. Обычным ходоком по делам монастырским был Якута, но ныне с Якутою требовалось послать мужа нарочита, добре известного за пределами обители, и взоры предсидящих невольно обратились к Стефану. Брат сидел сумрачный и прямой и, не дав Симону открыть рта, предложил сам:

— Я пойду!

Старцы одобрительно зашумели. Сергий не был удивлен. В трудном смирении своем старший брат должен был дойти теперь до конца, и он лишь поблагодарил Стефана стремительным взглядом.

Якута тотчас, нахлобучив длинноухий малахай, начал сряжаться в путь. Брали, опричь церковных надобностей, короткие лыжи, топор, кресало и трут, мешок с сухарями да сменные лапти. Выходить порешили в ночь, отдохнувши мал час после навечерия. Небо совсем разъяснило, и луна была в полной силе, обещая освещать дорогу трем невзыскательным путникам.

У крыльца Сергия ждали мужики из нового, возникшего невдали от обители, починка, прошали освятить избу, но, узнавши, зачем и куда он направляется, тут же дружно повалились в ноги, упрашивая освятить ихнюю новорубленую хоромину по возвращении, уже будучи игуменом. Сергий, улыбнувшись одними глазами, обещал.

Расставшись наконец с Якутою и братом, он воротился к себе — отдать последние распоряжения

Михею и помолиться. Небо бледнело, гасло — зимний день краток! Когда они выйдут в путь, на отемневшем небосклоне появится первая мерцающая звезда.

Впереди шел Якута, туго запоясанный, подобравший долгие полы подрясника под ремень, в круглом своем малахае, с топором за поясом, почти не отличимый от обычного охотника-лесовика. Ловко ныряя под оснеженными ветвями, Якута вел спутников одному ему ведомою тропинкой, спрямляя пути, и Сергий, навычный к лыжной ходьбе, с трудом поспевал за ним. Стефан упорно шел след в след брату, то отставая, то вновь нагоняя Сергия. Все трое молчали, сберегая дыхание. Порою от колдовской зимней тишины ночного леса начинало марить и мерещить в глазах. То сдвигался куст, то рогатый сук неслышно переползал через дорогу. Якута сплевывал, бормоча когда молитву, когда колдовской оберег. Поскрипывали лыжи, да изредка гулко трескало промороженное дерево в лесу.

Луна уже заходила, прячась за островатые макушки и пуская свои зеленые лучи сквозь узорную хвою, когда Якута, бегло оглянувши на спутников, сказал настуженным голосом:

— Надоть подремать малость!

Стефан подумал было, что они так и остановят в лесу, но скоро меж стволов показалась крохотная избушка, в которой, когда разгребли дверь и пролезли, отряхивая снег, внутрь, нашлись и дрова, и береста, и даже немного крупы и соли, подвешенных в берестяном туеске под потолком.

Запалили каменку, дым повалил густо, как в бане. Якута с Сергием принялись рубить и носить валежник, Стефан же, тут только почуявший, сколь устал, без сил повалился на земляной пол. Когда-то младший брат тянулся за ним во всякой ручной работе! Он все же перемог себя, встал и тоже начал таскать сухие ветви вкупе с Сергием, в то время как Якута, ловко перерубая сушняк топором, складывал его в горку внутри избы.

Каменка прогорела, рдели угли, дым поредел, и стало мочно наконец, закрывши двери, улечься всем троим на жердевые полати над самой печью, застеленные свежим лапником, и подремать, по выражению Якуты, часа два до свету в дымном банном тепле.

Когда, умывшись снегом, поснидав и прибрав за собою, они снова вышли в путь, зеленое ледяное небо уже ясно отделилось от сине-серебряных елей и ветер, предвестник утра и далекого счастья где-то там, впереди, за зарею, за краем дорог, овеял лицо, напомнив Стефану юность, отданную невесть чему, и на долгий миг показалось неважным все, что было и есть на Москве, при дворе, в высоких хоромах княжеских и даже за морями и землями, в Цареграде, у франков и фрягов... Так бы вот и идти вослед брату, угадавшему главный смысл бытия, так и идти к заре, к возгорающему за лесом золотому столбу неземного сияния...

К полудню, миновавши, не останавливаясь, несколько деревень, они подходили к Переяславлю.

Волынский епископ Афанасий, застрявший на Москве во время великого мора, о сю пору пребывал во владимирской земле. Став негаданно для себя наместником Алексия, сиречь почти что митрополитом русским, он не слишком и торопился назад. На Волыни творилось неподобное, шла отчаянная борьба католиков с православными, литовские князья то уступали польскому королю Казимиру, то вновь брали верх над ним. Нынче Казимир привел на Любарта с Кейстутом Людовика Венгерского. Разбитый Кейстут попал в плен, откуда, впрочем, тотчас бежал. Любарт был осажден в Луцке. На выручку братьям явился Ольгерд с татарами, вновь вытеснив поляков с Волыни, опустошил Мазовию. Любарт, в свою очередь, вторгся в Галич; громили и грабили уже всех подряд, не разбираючи веры. Вести оттуда доходили плохо, с великим запозданием. Здесь было тихо. Ратная беда, отодвигаемая твердой рукою покойного князя Семена, доселе не угрожала Залесью. Наместничество было также зело небезвыгодное. Словом, в Переяславле Афанасий присиделся. Занимал палаты покойного Феогноста в Горицком монастыре, судил и правил и с некоторым страхом даже ожидал возвращения Алексия.

Трое лесных монахов, пришедшие из дали дальней, за семьдесят не то осмьдесят верст, поначалу озадачили и почти испугали волынского епископа. Служка доложил их приход, как-то криво улыбаясь, а когда Афанасий, все-таки порешивший принять ходоков, узрел

сам их обмороженные красные лица, почуял острый звериный дух, распространившийся в тепле покоя от их платья и мерзлых лаптей, запах гари, принесенный радонежанами с их последнего ночлега,— ему стало совсем муторно. Поочередно взглядывая то на стоявших у порога иноков, то на лужи, натекшие с их обуви, он долго не мог взять в толк, чего же они от него хотят, и чуть было не отослал их сожидать приезда Алексиева, вовремя вспомнив, однако, что как раз Алексий-то и говорил ему нечто подобное... Да! О каком-то лесном монастыре...

— Под Радонежом?! — переспросил он, начиная догадывать, что иноки, стоящие перед ним, заслуживают большего уважения, чем то, которое он оказал им поначалу.

Афанасий, кивнув служке распорядиться о трапезе, предложил инокам присесть и снять верхнюю оболочину. Оттаивающие монахи уселись на лавку, со спокойным любопытством озирая богатый покой. Афанасий не ведал, что Стефан с Сергием были тут много лет назад у Феогноста, затеивая свое начинание, а Стефан и позже почасту наезжал в Переяславль по делам епархиальным и дворцовым.

Чума унесла многих прежних знакомцев Стефана, иначе его признали бы тотчас при входе в монастырь. Афанасий и сам неоднократно встречал княжеского духовника, знаменитого игумена, но именно потому и не сумел признать Стефана в худом высоком и мрачном иноке, обутом, как и двое прочих, в лапти с онучами и в грубом дорожном вотоле вместо прежней хорьковой шубы, отороченной соболем. Сам же Стефан из гордости не назвал себя в первый након, а теперь, когда они поднялись, чтобы пройти в монастырскую трапезную, стало вроде бы и неловко перед оплошавшим епископом. Положение спас горицкий эконом, заглянувший в палату, дабы проводить гостей в трапезную. Вглядясь в лик Стефана, он ахнул и, расплываясь в улыбках, нарочито громко, дабы подать весть Афанасию, запричитал:

— Брате Стефане! Гость дорогой! Батюшко! Давно ли от Богоявленья? А это не братец ли, к часу? Сергий? Слыхал, слыхал, как же! Слыхом земля полнится!

Настал черед ахнуть Афанасию. Он чуть было не задержал уходящих, намерясь велеть подать снедное сюда, в наместничий покой, но эконом показал ему рукою

в воздухе замысловато: мол, не надо, все сделаю сам! И Афанасий, чая исправить невольное свое невежество, лишь послал следом за гостями иподьякона, веля позвать Стефана после трапезы для укромной беседы с глазу на глаз, и после не мог найти себе места, пока знатный гость не явился вновь перед ним все в той же свите и тех же лаптях, не вкусивший и четверти редких блюд, предложенных гостям заботливым экономом.

Афанасий долго не знал, с чего начать разговор. Покаял, что не признал Стефана, в ответ на что бывший богоявленский игумен повинился тоже, что сразу не назвал себя наместнику. С затруднением, чуя, что у него вспотели чело и руки, Афанасий задал наконец главный вопрос:

— Почто не сам Стефан хочет стать во главе новой обители?

Хмуро улыбнувшись, Стефан отмолвил:

— Иноки избрали Сергия!

— Но братец твой, как понял я,— суетливо возразил Афанасий,— и сам не весьма жаждет стати пастырем стада духовного? Ведь ежели от меня они просят токмо избрать игумена...

Стефан прервал Афанасия, не дав ему докончить:

— Авва! Сам Алексий судил брату моему быти руководителем радонежской обители! Никого иного, ниже и меня самого, не хочет ни единый из братии, и посему поставить над обителью иного игумена — не лепо есть!

Он помолчал и, склонив чело, докончил:

— Владыка Алексий ведает и иное, о чем напомню днесь: еще от юности, и даже поранее того, до рожденья на свет, Господь избрал брата моего к престолу Святой Троицы! Был знак, видение, крик утробный...

— Слышал о том многажды и от многих, даже и от самого кир Алексия; и это совершило с братцем твоим?! — воскликнул Афанасий, тут только уразумев до конца меру события и окончательно смутясь.

— Да, отче! — отозвался Стефан.— И паки свершались...— Он не восхотел сказать «чудеса» и долго искал слова, произнеся наконец: — Совершались знамения... Над ним...— Он поднял строгий, обрезанный взор: — И потому сугубо...— И опять не докончил.

— Да, да, да! — подхватил Афанасий, не очень в сей час поверивший в знамения и чудеса.— Тем паче сам владыка Алексий...

— Да! — подытожил Стефан, решительно обрубая разговор.

Афанасий, свесив голову, задумался. Он мог... а пожалуй, и не мог уже поступить иначе. Природная доброта, впрочем, почти уничтожила в нем первую обиду на монахов, и теперь он лишь о том жалел, что не вгляделся в Сергия пристальнее.

— Баешь, Стефане, вся братия?!

Искус стать игуменом под Радонежом в это мгновение был столь велик у него, что едва не подвел Стефана, и позже остался ядовитою занозою в сердце, но Стефан и тут превозмог. Прожигая волынского епископа взглядом своих огненосных, глубоко посаженных глаз, он повторил вновь все прежереченное, и Афанасий сдался. Вскоре, вызвав Сергия и облобызав его, он нарек всеобщего избранника грядущим игуменом и даже прихмурил брови, когда Сергий по обычаю, заповеданному изустным преданием, стал троекратно отрекаться от уготованной ему стези.

— Тебя, сыну и брате, Бог воззвах от утробы матери твоея и нарек обителью Святой Троицы! — возразил он, примолвив в ответ на новые уставные отрицания Сергия: — Возлюбленне! Вся добрая стяжал еси, а послушания не имеши!

Якута, неведомо как вступивший в покой и доныне молчавший, тут тоже подал голос, подтвердив, что вся братия жаждет видеть Сергия игуменом.

— Как угодно Господу, тако и буди,— сказал Сергий, наконец вставая и кланяясь.— Благослови Господь во веки веков!

— Аминь! — ответили хором все трое, и как-то на миг стало не о чем говорить.

Афанасий, обретший наконец вновь свое прежнее достоинство, благословил и отпустил братьев до утра, до поставления в сан.

Сергий всю ночь, не ложась, простоял на молитве.

Само поставление совершилось торжественно и просто. Епископ Афанасий в праздничных ризах, повелев клирикам войти в алтарь и приготовить потребное, сам ввел Сергия в церковь, пустынную в этот час, и, поставя прямь царских врат, повелел читать символ веры.

— Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и не види-

мым...— читал наизусть Сергий, слушая, как отчетисто отдаются под сводами просторного шатрового рубленого храма древние, утвержденные святыми соборами слова.— И во единого Господа Иисуса Христа, сына божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, им же вся быша...

За каждое из этих слов велась вековая борьба, пролиты потоки крови, споры на святых соборах доходили до драк. «Единосущным» или «подобосущным» называть Спасителя? Во «единого Бога» или «Бога и сына», как говорят латиняне? (И, следовательно, что освещает собою символ веры: соборность, где под властью единого каждый способен к духовному обожению, или феодально-иерархическую лестницу чинов и званий, опрокинутую от земли к небу?)

Сколько пройдено ступеней, пока утвержденный Никейским и Халкидонским соборами символ веры принял его нынешний вид, связав христианство с поздней античной философией и отмежевав от враждебного ему иудаизма, а православный Восток отделивши от католического Запада!

— Нас ради человек и нашего ради спасения,— отчетисто произносит Сергий (и торжественность минуты возрастает с каждым речением),— сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшаяся. («Да, да! Именно так! И все еретики будут, как бешеные псы, кидаться на это утверждение соборных отцов, то сомневаясь, как Арий, в божественной природе Спасителя, то, как монофизиты, отвергая человеческое естество Христа. Меж тем и весь-то зримый мир, пронизанный божественными энергиями, разве не постоянно творимое у нас на глазах двуединое чудо? Чудо, которое создано предвечной любовью, а не силою зла, как утверждают манихеи, и не бесстрастным разумом, «нусом» неоплатников»).

— Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. («Да, страдал! Именно страдал и мучился и молил: «Да минет меня чаша сия!» — как и всякий смертный; и в том, в земных страстях, в страдании Спасителя,— надежда всех тех, за кого отдал он свою земную жизнь, всех христиан».)

— И воскресшего в третий день по Писанием. («Не

о чуде ли воскресения Христова больше всего идет великая пря христиан с иудеями и невегласами?»)

— И восшедшего на небеса, и седяша одесную Отца. И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, его же царствию не будет конца!

Сергий приостанавливается и молча глядит в алтарь. Афанасий, вздрогнув, не враз понимает, что посвящаемый отнюдь не забыл символа веры, а попросту хочет отделить основную часть от дополнения, возникшего после споров о триедином существе Божества. (Триедином и нераздельном, что окончательно отделило христиан от иудеев, как и от позже явившихся мусульман.)

— И в Духа Святого, Господа, Животворящего,— с силою продолжает Сергий,— иже от Отца исходящего, иже со Отцом и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки. Во едину святую Соборную и Апостольскую церковь. И споведую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь!

Проходят тысячелетия, и меняется система символов (неважно, верных или неверных. Принятый символ всегда верен, а отвергнутый — неверен всегда). Но в 1354 году от Рождества Христова в европейском мире все это было основою любого суждения — философского, политического, юридического и, что для нас теперь важнее всего, основою национального бытия Русской земли, основою нашей самостоятельной государственности.

А человек, стоящий сейчас перед алтарем и посвящаемый в сан иерея, сумел найти и сделать внятными для своих современников такие стороны древнего византийского мировоззрения, которые помогли рожденным в эти мгновения детям выйти воинами на Куликово поле и определили духовную и нравственную природу нации на века вперед.

Окончив символ веры, Сергий еще постоял недвижимо, вслушиваясь в замирающую силу священных слов. Потом опустился на одно колено и склонил выю, отдавая себя Афанасию, который, крестообразно ознаменовав склоненную голову Сергия и накрыв его епитрахилью, читает посвятительную молитву, нарекая ставленника иподьяконом, а вслед за тем, еще до литургии и без перерыва,— дьяконом. И затем начинается обедня, во время которой ставленник должен

стоять слева от престола, держа в руках дискос с частью агнца.

До второго дня Сергий, помимо святых даров, опять не вкушал ничего и снова простоял ночь на молитве, читая «неусыпающую» псалтырь.

Назавтра Афанасий — точно так же, перед обеднею,— посвятил Сергия в иерейский сан, поставив его уже теперь на оба колена справа от престола, с челом, склоненным на крестообразно сложенные руки, и вдругорядь накрывши его своею епитрахилью.

Посвящение во священника давало Сергию наконец право стать игуменом Троицкого монастыря.

Теперь Афанасий повелел ему своими руками приготовить и принести причастную жертву, после чего, опять же впервые, совершить литургию в храме.

У Сергия, испекшего многие тысячи просфор и навычного к любому, самому тонкому ручному труду, когда он впервые в жизни крохотным копьецом вынимал освященные частицы, непослушно задрожали руки. Он едва не уронил дискос, не ведал, куда положил копьецо, а когда уже перенес жертвы на алтарь, сложил частицы в потир с разбавленным красным греческим вином и накрыл платом, то в миг пресуществления почти потерял сознание...

После литургии Афанасий зазвал новопоставленного игумена к себе. Духовная беседа их была кратка, ибо волынский епископ, присмотрясь наконец к Сергию, начал понимать, вернее — ощущать незримый ток энергий, исходящий от этого удивительного монаха на окружающих.

— Что мне рещи тебе, брате? — вымолвил он, заключая беседу.— Мню, великую пользу возможешь ты принести людям, окрест сущим, да и всему княжению владимирскому! Трудись! Сам Господь... да и владыко Алексий ходатайствуют за тебя!

III

СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД

Лунный свет обливал бесконечное скопище возвышенных палат и хором, куполов и арок, с гульбищами и террасами, в купах дерев и мраморных цветных колоннадах, называемое большим, священным, богохранимым дворцом византийских владык. И странным образом в при-

зрачном свете луны все здания виделись целыми, хоть и полупрозрачными, открываясь взору от форума Августеона и вплоть до ипподрома и Скил. Даже давно обрушенный триклин Юстиниана с золоченой тусклою кровлею воскресал, подымаясь в отдалении. И во всех залах, переходах, галереях и портиках зарождалось тьмочисленное призрачное движение.

В открытых, украшенных фонтанами фиалах собирались зелено-голубые дружины димов. Чернь в неразличимо серых хламидах заливала Августеон. Не было видно лиц, не слышно гула толпы, но во всем этом неясном движении чуялось нараставшее с каждым мигом напряженное ожидание.

Сквозь льдистые стены дворцов прозревалось мерцание загорающихся друг за другом огней в кандилах и поликандилах под комарами Золотой палаты и в конхах дворцовых храмов.

Вот прошел, побрякивая ключами, великий папия. Отворились украшенные резною слоновою костью двери. Брящая копьями, подрагивая лезвиями обнаженных мечей, с равномерным стуком подкованных калиг по лестницам и мраморной мозаике полов прошла вооруженная этерия.

Сейчас в распахивающиеся двери Хрисотриклина вливает утренняя свежесть садов и воды, далекий шум восстающего ото сна великого города. Чиновники в белых и пурпуровых скарамангиях стройными рядами спешат заполнить мраморные залы, занимая свои, предуказанные церемониалом, места. Магистры, анфипаты, патрикии, доместики схол, чины кувуклия... И все они, обернув лица к Золотой палате, значительно ждут, поталкивая друг друга локтями.

Вот примикарий трижды ударяет в серебряную дверь. Тонкие, подобные переливчатому звону малых колоколов звуки оглашают Хрисотриклин. Стонущий звон серебра замирает, и замирает в почтительных позах толпа чинов. Серебряные двери медленно распахиваются, и начинается священнодействие, торжественное, как служба в соборе.

Китониты на вытянутых руках, склоняя выи, вносят парадный скарамангий императора. Привычно и властно выпрямившись, автократор подставляет голову в отверстие дорогого платья. Китониты бережно опускают, стараясь не задеть василевса, переливчатую ткань на плечи царя. Протяжный возглас: «Повели-

те!» — прорезает трепетную, полную мерцающих огней и сдержанного движения тишину.

Выносят чудом обретенные вновь святыни: жезл Моисея и крест Константина Великого, похищенные некогда крестоносцами.

И вот смутно колышущаяся толпа приобретает текучесть, ползет долгим, все разбухающим хвостом по переходам и лестницам бессчетных узорных палат. Через филак и переходы Сорока мучеников, через сигму Триконха, переливаясь из залы в зал. Вот повелитель ромеев, отделившись от шествия, со свечами в руках почтительно кланяется святыням. Вот шествие вступает в Октагон, где царя облачают в дивитисий, драгоценную хламиду и лор, увенчивают короной, усыпанной самоцветами, с жемчужными подвесками — пропендулиями. Высшие чины синклита — логофет дрома, проедр, каниклий, катепан царский — присоединяются к процессии. Движутся бесчисленные вереницы, колышется в такт шагам золотая парча. Просвечивают белые, синие и пурпуровые хламиды чинов, в мерцающем золоте плывут над головами реликвии и хоругви. Неслышные, вздымаются клики, беззвучно отворяются рты, надуваются щеки флейтистов, звучат органы, палочки музыкантов ударяют в молчаливый металл. Призрачные толпы димов неразличимо запевают священную песнь, и ощетиненные копьями ряды ушедшей в небылое этерии славословят тающего в дымке императора...

Алексий просыпается со стоном. В каменной палате, несмотря на отверстое окно, душно. Глиняный светильник, оставленный на ночь, начадил до синей мглы. Он открывает и закрывает глаза, силясь прогнать ночное видение. Конечно, это все Кавасила, наговоривший ему вчера на развалинах Большого дворца невесть чего! О сю пору блазнит перед глазами! Он протягивает руку к глиняному кувшину с приготовленным на ночь питьем, отпивает, морщась. Жаль, что в Царьграде ни за какие сокровища не достать моченой брусники...

По-прежнему в сводчатом окне резко вырисовываются пятнистая от узоров камня колонна с обрушенной наполовину капителью, пустынный дворик и высокие стебли травы, пробившиеся сквозь выщербленные мраморные полы. Свет льется яркий, почти желтый, и от каждой травинки узорная игольчатая тень, словно

хитрая роспись, недвижимо лежит на рассевшихся и потусклых мозаиках разрушенного крестоносцами триклиния.

Куда исчезло все, что он видел только что во сне? Восторженные толпы, войска, вооруженная этерия? На штурме Цареграда крестоносною ратью полтораста лет тому назад погиб всего один рыцарь!

Алексий представил себе на миг Боровицкую гору, рубленые дубовые городни, терема и праздничную византийскую процессию, извивающейся змеей ползущую среди клетей и амбаров Кремника. И разом отверг. Не получалось. И оба (уже покойные!) князя — крестный его, Иван, и Семен Иваныч — понимали это, чуяли, хоть и не побывавши ни разу в ветшающем Вечном городе Константина...

Алексий вновь протягивает руку к кувшину, но в глиняном нутре сосуда уже не осталось воды. Будить Станяту не хочется, но тот сам, почуяв шевеление в хоромине, просовывает голову в дверь, мигая спросонь.

— Не спишь? — вопрошает Алексий.

— Не! Я рыбак, сызмладу на воде, дак привык ночами-то! У нас, в Новом Городи, о весенню пору светлы ночи ти! — возражает Станята и, живо сообразив святительскую трудноту, боком просовывается в дверь и протягивает руку к кувшину:

— Налить?

Алексий кивает, не сдержавши вздоха:

— Брусницы бы!

Станята только прищелкивает языком:

— Знамо дело! С ентим ихним овощем не сравнить! Дак ить всей родины в калите с собою не унесешь!

Алексий, почти не ошибаясь, догадывает, что под родиною Станята разумеет сейчас свой когда-то оставленный им Новгород, а отнюдь не всю Владимирскую Русь.

Станька первым проведал о приезде послов новгородского владыки Моисея, посланных к патриарху за кресчатыми ризами. (Новый новгородский архиепископ всенепременно хотел сравниться с опочившим Каликою, избежав при этом посредничества московской митрополии.) Сам ходил на их подворье, разыскал старых знакомцев своих, о чем долго рассказывал Алексию.

— Почто покинул Новгород? — как-то вопросил его Алексий. Станята разом оскучнел ликом, отмахнул рукою:

— А! Стригольники енти, споры, свары... Не знай, где и по шее дадут!

Сергий правильно угадал в Станяте вечного странника. За недолгие месяцы пребывания здесь хожалый новогородец сумел стать совершенно незаменимым.

Сейчас вот он живо наполняет кувшин, выдавливает гранат в воду, приговаривая:

— Греки еще и с вином мешают, добрый получается квасок! — Поправляет походя фитиль в светильнике, вздыхает: — У нас об эту пору уже и снег падет! Снег-от есчо не обнастевшой, пуховой, легкой! Кони бежат, дак с-под копыт курева пылит, любота! Ты-то почто не спишь, отче? — спрашивает он, ставя кувшин на стол.— Есчо и заря не алела!

— Думаю! — сознается Алексий.— Давешнее нейдет из головы.

— Двореч-то ихний? — уточняет Станята, останавливаясь в дверях.— Тебе, владыко, все недосуг, да и соромно, а мы, молодшие, поцитай, все ихние палаты излазали! Конецьно, обидно ромеям! И тот-то дворечь, Влахерны, опосле латинов был в отхожее место превращен! Я тута с греками баял ихнею молвью, дак сказывали, как дело-то было! Един царь на другого божьих дворян навел, поцитай — без бою сдались! А потом латины весь город ограбили, цетыре дня жгли, десять тыщ никак церквей одних разволочили по всему-то царству!

Бают, в Софии на святом престоле непотребных девок голыми заставляли плясать. Сказать-то — и то соромно! Тьпфу! — Он зло сплевывает в сторону.— Теперича Анна, царица ихняя, иноземка, фряжского роду, опять за Рим заложить ся удумала... Тут Палама с Акиндиным не зря споры вел! А нам уж, русичам, с латинами никак нельзя, ну никак! Съедят, с костями сгложут! Голых баб на святом престоле, эко...

— Ты поди, ляг! — просит Алексий.

Станята, понятливо кивнув, исчезает.

Луна сместилась, резко очерченный плат света на полу кельи сполз к самому изголовью кровати, и небо неприметно начинало синеть. Алексий вновь прикрыл вежды (рано еще, не звонят и к заутрени!), и вновь с легким головным кружением двинулось златотканое, ушедшее в небылое шествие автократора и синклита.

В Константинополь они прибыли еще в августе. (В августе 1353 года от Рождества Христова. Впрочем, счет времени велся тогда, да и много спустя еще, по-старому, от сотворения мира, то есть с прибавкою пяти тысяч пятисот восьми лет.)

Позади остались речные лесистые излуки, кишащие непуганым зверьем и птицей, жаркие степи, татарские вежи, конные заставы степняков, любопытно выспрашивающих, что за люди и куда путь держат, пыль припутных торговых городов, обезлюженных чумою, почастую и вовсе пустых, заброшенных и уже зарастающих купами тальника, орешником и вездесущей березкой, и наконец слепящее, изнывающее под солнцем море с его соленою влагой, невиданными ими до сей поры студенистыми существами — медузами, крабами и морскими звездами, разноязычье, запах и гомон чужой портовой толпы. Позади — споры и свары: шла война генуэзских фрягов с венецейскими, и неясно было, кто же повезет русское посольство в Константинополь и даже — не заберут ли их в полон ради богатого выкупа?

Но вот и желтые осыпи Киммерийских гор сокрылись в дымке морского отдаления, и потянулись дни, колеблемые стихией; и близился, и восставал из воды, и явился весь в зелени садов, башнях и куполах храмов великий город.

...Не спали уже с вечера. Постились, молились, ожидая выхода в Софию и первого на греческой земле причастия. Корабль стоял, уронив паруса, висел недвижимо в опаловой, потом бирюзовой воде, менявшей свой цвет по мере того, как подымалось солнце. (Их все не пускали чалиться к пристани.) Лодки шныряли к берегу и назад, шла нелепая толковня, поругивались моряки, роптали бояре, поминутно утирающие потные лбы тафтяными и бумажными платами, все не возвращался усланный еще с ночи Михайло Гречин, недоуменно переминались, взглядывая на своего главу, клирошане, и только он сам стоял недвижно и немо, не чуя ни жары, от коей дымилась под ногами просыхающая палуба, ни теплого, с запахом пыли и ароматами незнакомых растений, ветерка. Перед ним был Царьград! Византия, семихолмный град Константина, столица православия! И что перед всем этим было безлепое кишение таможенных доглядатаев, запаздывающий патриарший клирик, наглые вездесущие фряги,

которые и здесь совались почему-то во все щели, подплывали, пробовали даже забраться на корабль...

Наконец, вдосталь покричав, судно привязали вервием к четырем, раскинутым веером, лодьям и на веслах повели к берегу. От ослепительного сверкания воды было плохо видно, кто сидит в лодьях, кто сожидает их на пристани. Близился разноязычный гомон, волна жарких запахов, густое кишение толпы...

И вот они идут вереницею по сходням неверными, отвыкшими от земной твердоты ногами, будто пьяные, иные крестятся, растерянно и смятенно оглядывая окрест.

Грек, встречающий русичей (всего лишь патриарший протодиакон), правильно угадав, подходит прямо к Алексию. Теснятся со стороны цареградские русичи, сбежавшие сюда целою толпой, неважно, тверичи, москвляне, новогородцы ли, тут, вдали от родины, все едино — Русь! Расспрашивают, тормошат, мало не ощупывают приезжих.

Пожилой, крючконосый, высушенный годами фрязин в бархатном платье властно останавливает шествие. У Алексия непроизвольно сдвигаются брови, Семен Михалыч уже берется за рукоять меча на поясе, Артемий Коробьин готов взять невежду за грудки, но грек торопится разрешить недоумение и успокоить русичей: генуэзский бальи в своем праве — на этой пристани они емлют мзду с приезжих наравне с греками. Пока разбирались, Алексий терпеливо разглядывал иноземные плоские шляпы и чулки фрязинов, вчуже стыдясь за греков, допустивших такое непотребство в своем-то городе! (Вздумал бы какой фрязин на Москве не то что власть показать, а хотя и нищего задеть на улице, поди, и головы не сносил, посадские молодцы живо бы приняли на кулаки!) И уже и вонь берега будто сделалась гуще и заметнее рваная, исхудалая портовая толпа нищих, бродяг и калек, заискивающе остолпивших новонаезжих русичей.

Впрочем, как только начали восходить к городу, то, первое, уже и позабылось почти. Разом поразило изобилие каменных хором и палат, мощенная плоским камением дорога, густота уличной толпы, гомон, жаркая пыль, пронзительные крики торговцев. На Руси, воротясь откуда из дальних путей, вылезают из лодьи и первым ходом — на буевище, к могилам родительским; а там тишь да птичий щебет, и в тишине той

хорошо, добро постоять молча, здравствуясь с усопшими.

Алексий плохо слушал протодьякона, передоверив пока все разговоры московскому гречину Михайле, да и враз не очень и доходила быстрая греческая речь к ненавычному уху. Внял токмо, что Каллист обещает принять русичей ввечеру, а не сразу же после литургии, как сожидалось да и было бы пристойно. И Алексий негромко, но твердо попросил передать патриарху настоятельную просьбу посольства хотя благословить их сразу же после литургии. Протодьякон, явно смущенный, засуетился, обещал непременно передать просьбу Алексия его святейшеству.

У столпа Юстиниана московиты чуть было не застряли. Задирая головы, дивились на медное подобие великого императора верхом на коне, с яблоком и жезлом в руках («Яблоко-то знаменует державу!» — тотчас подсказал греческий провожатый).

— Ишь ты, мир охапил в руце своя! — выдохнул кто-то из молодших за спиною, но уже и не было мига глянуть, кто,— начиналась София.

После пылающей солнцем улицы — мрак, после уличных воплей — звучащая стройная тишина, словно бы мрак расступался, наполняясь мерцанием светильников и согласным пением хора. Они шли, поворачивали, миновали первые, вторые, третьи двери. Миновали притвор святого Михаила; кланялись чудотворной иконе Богородицы, некогда воспретившей Марии Египетской, во гресех сущей, вхождение во храм; с опасливым удивлением оглядели двери Ноева ковчега; потрогали железную цепь, носимую апостолом Павлом, подивились на Спаса над дверьми храма и на великую стекляницу с исцеляющим маслом и наконец вступили в собор.

Дальнейшее было как в тумане, и сам Алексий лишь много позже, паки и паки посещая храм, мог восстановить последовательный порядок прохождения святынь: животворящего креста Христова; Авраамлей трапезы; столпа, на коем сидел Учитель, беседуя с самаритянкою; железного одра, на коем мучили святых Георгия и Никиту; ларца с мощами Сорока мучеников; Богородичной иконы, заплакавшей, когда фряги взяли Царьград; Спаса, прехитро вырезанного в камении; могилы святого Иоанна Златоуста; мраморной великой, в шесть саженей, чаши, в коей крещает

сам патриарх,— да и возможно ли было обойти враз и даже окинуть оком все диковины храма, в котором насчитывалось, по словам греков, восемьдесят четыре престола, семьдесят с лишком дверей и триста шестьдесят столпов из камения многоценного!

Патриарх Каллист все же принял русичей после литургии, благословил и беседовал кратко, отнеся и беседу и совокупное застолье к иным, удобнейшим временам.

Патриарх был сух и благолепен. Окружающие его греки в парадных ризах (Константинополь еще мог похвастать узорною шелковою парчою) глядели строго и недоступно. Все являло вид, будто Алексий тут и непрошеный, и чем-то всех заранее раздраживший гость. («Роман!» — догадал Алексий. По-видимому, тверской его соперник сумел многого добиться в Цареграде, пока они неспешно, по-московски, сряжались в путь.)

— Жаль,— скользом и как-то не глядючи в очи русскому ставленнику посетовал Каллист,— что император Иоанн не возможет принять русичей, зане, по нынешнему гибельному разномыслию, силою удален из града!

Алексий едва не возразил, что они как раз и прибыли к императору Иоанну, разумея Иоанна Кантакузина, но поперхнулся и удержал возглас, понявши вдруг, что патриарх разумеет Иоанна V Палеолога, с коим у Кантакузина шла война, и что, более того, Каллист, по-видимому, считает истинным императором не маститого, увенчанного короною полководца, занявшего ныне трон василевсов ромейской империи, а токмо юного сына покойного Андроника.

В патриархии Кантакузина явно не любили, и нелюбовь эту, в чем Алексию пришлось убедиться очень скоро, переносили на московитов, деятельно сносившихся с ним и даже помогавших императору русским серебром.

И застолье у патриарха совершилось в свой черед, но достодолжной беседы опять не получилось. Как сказали греки, до переговоров с императором (и уже неясно стало, с каким?) патриаршьи секреты решать что-либо не властны и не хотят. Каллист хотя и чел грамоту, собственноручно отправленную ему покойным Феогностом, но и чел как-то торопливо, исподлобья взглядывая в требовательные очи Алексия и

тотчас отводя взор посторонь. Все это не обещало легких успехов, ни быстрого возвращения на родину.

Впрочем, пока устраивались, знакомились, размещали тридцать с лишком душ русского посольства по монастырям (только самому Алексию достало чести стать в келье при храме Святой Софии) — казалось не до того.

Надобно было посетить святыни, обойти чтимые обители, приложиться к мощам великих подвижников божьих, побывать в Одигитрийском монастыре, в Манганах, в церкви Спаса, у Андрея Критского, в Перивлептах, у Святой Евфимии и во множестве прочих монастырей, храмов и чтимых мест. И везде толпились нищие, увечные, больные, побродяги из деревень в лохмотьях и рубище, назойливо тянущие руки за подаянием,— живые печати увядания гордого города, коих Алексий старался не замечать. И везде и за все требовали мзду, так что бедному паломнику навряд и проникнуть было к святыням иначе, как по большим праздникам.

Простецы дивились греческим водоводам, устройству бань, да и сам Алексий, немного стыдясь себя, с удивлением разглядывал великий фонарь и огромную деревянную бочку, поставленную царем Львом триста лет назад, в окружении медных стражей, ныне изувеченных фрязинами, из которой непрерывно, столетиями, вплоть до латинского разорения, истекала вода в мовницу. Много дивились московиты также медяным змиям на Игрище, гладким разноцветным столпам, в коих можно было увидеть себя самого, как в зеркале, и многочисленным болванам, из камня и меди созижденным, расставленным по всему городу.

Около «правосудов» на Великой улице, тоже разбитых и изувеченных крестоносцами, меж русичей разгорелась настоящая пря. Иные не верили, что мраморные болваны отшибали зубами вложенную им в рот руку обманщика. Впрочем, о хитростях, измысленных в свое время Львом Премудрым, этим вторым Соломоном великого града, греки рассказывали на каждом углу еще и не эдакие чудеса.

Святыни посещали каждодневно, переходя от монастыря к монастырю, поклоняясь ракам подвижников, известных доднесь лишь по житиям и служебным ми-

неям. В Апостольской церкви прикладывались ко гробам Константина и Елены, основателей святого града, во Влахернах поклонились покрову Богородицы, сокрытому в каменном ларце, в Софии с замиранием сердечным разглядывали мощи великого Иоанна Златоуста...

Бояре тем часом хлопотали о встрече Алексия с Кантакузином, а сам Алексий тщетно добивался неприлюдной толковни с патриархом.

Русские слуги, кто помоложе, озрясь в городе, уже шныряли по рынкам, украдкой бегали глядеть греческих плясуний и певиц, хоть Алексий и унимал, как мог, грозя изгнать гулен назад, в Русь.

Сам он тотчас взялся за перевод Четвероевангелия на русскую молвь, а уразумев, что чиновники в секретах сдерживают невольные улыбки, слушая его греческую речь, тотчас и круто положил исправить произношение, для чего через Михайлу Гречина нанял молодого грамотного послушника Агафанкела, с которым они на диво быстро сошлись до дружбы, невзирая на разницу лет.

Работали много, прихватывая часть ночи. Алексий чувствовал, что на Руси ему будет уже не до ученых трудов. Переводили не одно лишь Благовествование, скупали многие книги: творения отцов церкви, жития, хронографы, сочинения Пселла и Ксефилина, послания Григория Паламы... Агафанкел (русичи скоро стали называть его по-своему, откидывая окончание: Агафоном, Огафоном и даже Огашей) готов был носить книги и свитки целыми охапками. Греки продавали, словно в чаянье пожара или новой крестоносной беды, было бы серебро. Труднота явилась иная: как отличить истинные ценности от ложных, которые греки упорно старались подсунуть иноземцу. Помощь Агафона оказывалась в этих случаях неоценимой.

Как-то между ученых занятий Алексий, растирая пальцами усталые глазницы, вопросил его:

— Поедешь со мною в Русь?

— О! Кир Алексий! — с просветлевшим ликом радостно отозвался юноша.

«Как им нужда ныне разбегать с родины своей!» — подумал невольно Алексий, вчуже ощутив пугающую пустоту души человека, изверившегося в родимой земле.

Роман, ставленник Твери и Ольгерда литовского, как

Алексий убеждался все более и более, напакостил им, в чем только мог. Повсюду Алексий неволею наталкивался на трудноты, заранее созданные мнения, умолчания и недомолвки. Вопреки ясному завещанию Феогноста, здесь, в столице христианского мира, все усложнялось и усложнилось неимоверно.

Он уже привык к путанице переходов, сводчатых палат, каменных лестниц, облепивших громадный Софийский собор, привык уже звать палаты катихумениями, начал вникать в непростую работу патриарщей канцелярии, привык к жаровням, кухням во дворе, к незнакомым прежде греческим сладким овощам...

И всегда, и каждый раз, каждый день,— потрясала София, которую словно и не человеческие руки создали и возвели. Громадная, хоть и полускрытая пристройками патриарших палат, царских опочивален, переходов, приделов, камор, она внутри тем величественнее вдруг открывалась всею своею страшной величиной, грудою потерявшего плоть, вознесенного горé камня, этою круглящеюся в недоступной выси, с ликом Вседержителя, высотой, пронизанной по окружию светом многочисленных окон и потому словно бы отделенной от земли, словно бы висящей в аэре. Здесь, в Софии, паче, чем в развалинах Большого дворца или на просторе замолкшего ипподрома (русичи называли его по-своему «игрищем»), языческое великолепие которого Алексий плохо понимал, становилась внятна ему прежняя великая Византия — центр мира, светоч веры, город — единственный на земле! И то, о чем ему позже толковал Кавасила, именно здесь, под сводами храма Господней мудрости, при звуках греческого торжественного пения, открывалось уму и сердцу с особенною силой. Он порою боялся даже и сравнивать, ибо казалось, что без малого весь Кремник Московский, и уж во всяком случае все храмы покойного Калиты возможно уместить под этою величавою сенью. Даже храм Апостолов, дивно украшенный, не произвел на него такого впечатления, как это неземное сооружение, подаренное Юстинианом грядущим векам.

Но в тесных каменных сотах, облепивших Софию, где, казалось, от близости святыни надобно и ходить иначе, творилась неподобная возня, процветали зависть, злоба и подкупы, в чем неволею должен был участвовать и он сам. И не пораз, и многажды прихо-

дило вспоминать Алексию предсмертное наставление Феогноста: «Не жалей серебра!» — там, на Москве, резанувшее его слух, а здесь понятое им уже и досыти.

Дома, уединившись в своей каменной келье и утвердив на источенном червями столе тяжелую медную чернильницу, привезенную с собою, Алексий переводил пламенные слова Учителя, отвергшегося всякой корысти земной, и тут же поминалось, кому и какую надобно дать завтра мзду в секрете великого хартофилакта и кого не оскорбить, вручив взятку его кровному ворогу.

Ужасом омерзения веяло от рассказов знакомых греков про василиссу Анну, которую в сладостное содрогание приводил вид пролитой крови и растерзанных жертв, отрубленных рук и голов, вздетых на копья... Анну, италийку, ревнующую об унии с Римом! И, однако, в бедах своих греки почему-то винили отнюдь не ее, а Кантакузина, кто явно, кто исподтиха намекая на тайное властолюбие и коварство нынешнего императора.

По счастью, сам Каллист был почитатель Паламы и решительный противник унии. Но он-то как раз и не признавал Кантакузина законным императором!

Патриарший протонотарий был чем-то удивительно похож на того давнего грека, что посещал Москву и столкнулся с Алексием когда-то в споре о свете фаворском. То же гладкое лицо, та же расчесанная волосок к волоску борода, то же выражение вежливого превосходства, доведенного до нежелания спорить о чем-либо с «варваром».

— Ты же видишь, брат! — говорил он, слегка приподнимая брови и разводя пальцы правой руки нарочито беспомощным жестом.— Ваш великий Кантакузин возжелал оттеснить от престола законную династию! По милости его все безмерно запуталось ныне! Безмерно! Ужасы гражданской войны, коих вы, московиты, к счастью для себя, не видали... Да, да, вам это трудно постичь... Я понимаю, да. Потом чума! Власть держится на трех опорах: народе, синклите и войске. Народ истреблен чумой и разорен налогами. Войско наше погибло во Фракии. Синклит? Где он теперь и главное — кто в нем?! «У ромейской державы есть два стража: чины и деньги»,— изрек в свое время великий Пселл. Денег, по милости гражданской войны,

у империи не осталось совсем. Гражданские чины, да будет это вам, русичам, ведомо, расположены в определенном порядке, и существуют неизменные правила возведения в них, вернее — существовали до Кантакузина. Одни он отменил, другие упразднил, управление доверил родичам своей жены, а выскочек из провинции причислил к синклиту. Последовательное течение дел нарушено, нарушено почти непоправимо. Мы совершенно бессильны, наш дорогой русский собрат! Совершенно! (И в том, как протонотарий произносил это «совершенно», чуялось почти сладострастное торжество.) А поборы? Фракия разорена, провинции потеряны. Кантакузин отразил сербов? Но он содеял нечто гораздо более страшное — навел турок на империю! Дело Палеологов, дело мужей, воскресивших страну, отвоевавших великий город у латинян, ныне на краю гибели!

И протонотарий был отнюдь не одинок. В чем только не обвиняли императора в секретах патриархии. Ложь, хитрость, тайное властолюбие — были далеко не самыми страшными из приписываемых василевсу пороков.

Впрочем, Алексий, привыкший полагаться на личное мнение больше, чем на пересуды и слухи, с первой же встречи почувствовал расположение к Кантакузину.

Василевс, принимая русича во Влахернах, на коих также лежала печать едва прикрытого скудными поновлениями запустения, в палате, где выщербленные мозаики были грубо заделаны раскрашенною штукатуркой, а стены и ложа не подходили друг к другу, снисходительно пошутил о бедности империи, обведя стол и приборы царственным мановением большой, старчески красивой руки в узлах вен и шрамах, полученных в давних боях:

— Пока я был только дукой, то тратил на обед в десять раз больше, чем теперь!

Алексий, вглядевшись в накрытый стол, вдруг понял, что слова автократора слишком уж справедливы для шутки, ибо выставлены были только простые глиняные, точеные, медные и оловянные блюда, чары и кувшины. Не то что золота, даже серебра не было на столе повелителя ромеев!

Предсидящие сдержанно засмеялись, улыбками давая понять, что они ценят шутку хозяина, но отметают от себя всякую мысль об истине сказанного. А Алексий,

вскинув взор, углядел в глазах василевса невнятную иным мгновенную искру горечи.

В тот вот миг резкая до боли жалость к обреченному и непонятому великому мужу вонзилась в сердце Алексия, и судьбы их показались удивительно схожими: подобно тому, как Кантакузин мыслит спасти империю при ничтожном Палеологе, так и ему, Алексию, предстоит сохранить дело Калиты при нынешнем слабом государе.

После того памятного приема, выслушивая в секретах патриархии бесконечные упреки Кантакузину, Алексий с трудом сдерживал в себе желание в громком споре защитить царя. Виделось, что все они только говорят, говорят, говорят, а тот, один, пытается что-то содеять и оттого и потому сугубо ненавидим прочими!

В том, что происходит в греческой столице, спутники Алексия разобрались едва ли не лучше его самого и также гневали на волокиту, пакости и бессилие ромеев.

Вечерами или ополдень, в обеденную пору, он почасту приходил к своим спутникам скорее даже не трапезы ради, а ради душевного ободрения в дружеском застолье земляков.

Стол они обычно вытаскивали во двор, под навес, простора и воздуху ради. Подступающая греческая зима русичам, навычным к морозам, казалась не более чем приятной прохладою.

Уже издали, непроизвольно начиная улыбаться, Алексий слышит из-под крытого черепицею навеса стук ложек, смех и громкие крики спорщиков:

— Триста шестьдесят дверей в Софии! И столь же престолов!

— Семьдесят! У Калики писано, што семьдесят две двери и осмьдесят четыре престола всего! Где там триста — и ступить бы некуда было! Ето столпов триста шестьдесят!

— Столпов сто восемь! — доносится спокойный голос Артемья Коробьина.

— Сорок внизу и шестьдесят поверху, да ишо осемь под сводами, сам счел!

— Ну, а по сторонам-то? Да на переходах?! — не уступает спорщик.

— Того не ведаю! — миролюбиво отвечает Артемий, судя по звукам, вдумчиво въедающийся сейчас в

кашу.— Василий Калика дока был по ентим делам, с им спорить не могу!

Алексий, сжавши посох, приодержал шаги. Захотелось послушать своих отсюдова, издалече. Вон сейчас вступает горицкий поп Савва. Этот негромко сказывает про русский ставец с золотом, потерянный нашими каликами на йордани и обретенный в колодце внутри Святой Софии.

— Быть того не могло! — кричит с конца стола городовой послужилец коломенский Парамша.— Экую даль штобы? Застрял бы беспременно в песке твой ставец!

Но тут уж все духовные дружно встают в защиту родимого чуда.

— Дак всем известно, што с йордани вода в Софию проходит! — кричит Ноздря в ответ хулителю.— Найдено, дак! И злато запечатано было в ставце, а греки того не ведали!

— Дементий Давыдыч, поддержи! — взывают уже несколько голосов к маститому костромичу.

Посол великого князя медлит, но в ответ раздается голос боярина Семена Михалыча:

— В Переславле у нас озеро грубое, провалы тамо, дак рыбаки сказывают, и пещеры и ходы есть аж до Берендеева, по рыбе так получатца!

— Дак где Берендеево, а где йордань! — не уступает Парамша.— Да и так-то сказать: ходы тамо, камни, песок... За естолько поприщ застряло бы все едино!

— Дак и не то ищо теряли! Може, сколько тыщ застряло всякой посуды, а тот ставец вынесло водой!

— Годи, годи! А, скажешь, икона, Спасов Лик, не ходила единым днем из Царьграда в Рим и обратно?

— То икона! И по гладкой воде!

— Новгородский архиепископ Илья на бесе вон единою нощью слетал в Царьград и обратно! — раздается густой голос Долгуши.

— Дак на бесе опять!

— А с жидовином тем, что ножом вдарил икону Спаса, и кровь потекла?

— Опять же лик Христов!

— Дак писан!

— А ты ударь, ударь!

— Я-то не ударю ни в жисть!

— То-то! Он, жидовин, уж нехристь, дак и тово... И век они святым иконам ругались!

— Владыко! — воззвал Артемий Коробьин, завидевши наконец наставника. Московиты задвигались, завставали. Перед Алексием тотчас возникла дымящаяся миса с варевом и хлеб, несколько ложек, на выбор, протянулись в его сторону.

— Спорим мы тут! — любовно усаживая Алексия, проговорил Артемий и, с походом, дав Алексию проглотить первые куски, продолжил:

— Почто фряги таку силу в городе забрали? И не стыдно им, грекам-то? Ромеям ентим! Уж до того доходит: тем всё, а ентим ничего!

— В Галате фряги двести тыщ золотых собирают с торгового гостя, а греки тут — только сорок! — поддержал, не подымая головы от тарели, Дементий Давыдович.

— Тридцать, бают! — уточняет Семен Михалыч, отправляя в рот ложку с кашей.

— Словно у их на фрягов и вся надея! — кричит Савва с той стороны стола.

Алексий ест, любуясь своею дружиной. В самом деле, кабы греки дружно таково сказали да порешили: не хотим! Поди, и силы бы нашлись Галату отбить. В едаком городе!

Он поднял взгляд, обнял враз вереницу румяных, молодых и старых, но одинаково решительных лиц, равно уверенных в том, что, ежели какая беда али ворог нагрянет, надея должна быть на себя самих прежде всего! А не так, как гордые греки, ныне поклоняющие силе и потому, стойно Палеологам, ждущие помочи от папы, от западных рыцарей, от венецейских альбо генуэзских фрягов, от турок, сербов, татар — и только не от самих себя!

«А может, и состоится она, уния? — подумал Алексий со смутною тревогой.— Совокупит папа не тех, так других и содеет новый крестовый поход во спасение Палеологов, после которого от Цареграда останут одни развалины, а от православной церкви и тех не будет?» Но Дементий Давыдыч, будто угадав мысли Алексия, кинул глазами семо и овамо (он уже управился с варевом и доскребывал тарель) и начал изъяснять вслух:

— Папа им и обещат! Скажем, что обещат помочь! А откудова он ее возьмет? В Италии ихней рать без перерыву. В Риме свой государь объявился, Николаем, как-то Ренским, зовут, государь не государь, а на-

вроде того. Южане, те и вовсе в стороне. Генуэзски фряги с венецейскими немирны о сю пору, и концакраю той войне не видать, да и прочие грады передрались — ето раз! В гишпанской земле — толковал я с има тут, которые служат у царя, да и купцей прошал — бают, в ихней земле король им не по ндраву, дак жди войны; вот и оттудова кака помочь! В немецких землях такая замятня, што им опеть не до греков! Ну, ближние — дак те хуже всех! Стефан Душан с ромеями рать без перерыву держит; угры тоже не помогут Палеологам ни за што! Ляхи далеко, да и с Литвой у их нынче брань! Одна была надея — франки! Дак у их опять с англянами война пошла, десяток летов тому крепко франков побили англяне, сколь, бают, одних рыцарей полегло! А нынче снова рать, и уже полстраны никак король Иван Добрый потерял, дак не то что помочи грекам дать, а самим бы просить у кого подмоги! Тута Палеолог хоть в Мехметову веру перекрестись, а ни лысого беса они не получат! — заключил Дементий, крепко облизывая ложку, и, кончив, отодвинул тарель и оглядел всех веселыми стариковскими глазами в умно-лукавом прищуре.

— Была бы Русь посильней! — вздохнул Семен Михалыч.— Дак и тогда кому помогать-то?!

И все задумались: как тут помочь грекам, коли и помочи не хотят? А всё «мы самые», да всё «великие»... Была и Русь Киевска! А ныне сидим, не чванимся. Биты, дак поумнели!

Алексий помедлит, пригорбясь, склонив чело. Так не хочется уходить! Горсть русичей из разоренной чумою страны — и то толкуют о помочи Византии, а сами греки? О чем мыслит давешний протонотарий? Почто у них так ослабло зрение, что окроме ненавидимого ближнего своего уже и не зрят, и не мыслят иного?

Собственные нужды Алексия испытывали коловращение, подобное движению коряги, попавшей в омут, которая кружит и кружит, то выныривая, то утопая, но все не попадая на стрежень реки.

Каллист, мельком встречая русского кандидата, выспрашивал об его успехах в переводе с греческого, но все не находил времени или, вернее, не хотел поговорить о главном — нуждах митрополии и поставлении Алексия. В секретах сакеллария, хранителя утвари

и скифилакоса, великого эконома, к нему относились хорошо (да и не диво, памятуя серебряный русский дождь!), но в главном секрете великого хартофилакта, в коем хранился архив, соборные уложения, велись деловые бумаги и вся переписка патриархии, где составлялись указы и проверялось исполнение церковных установлений,— творилось совсем неподобное.

С Алексием были очень любезны, но чуялось нечто затаенное, не имущее ни вида, ни имени. Великий хартофилакт (по-русски — печатник, по-латински — канцлер), правая рука патриарха, вечно отсутствовал, как долагали — по болезни, а ежели бывал, Алексию никак не удавалось его поймать. А протонотарий, помощник хартофилакта, тот самый гладколицый грек, вел себя и вовсе безлепо. Обещал найти нужную Алексию до зарезу грамоту новогородцев (жалобу на покойного Феогноста с просьбою церковного отделения) и искал ее целый месяц. Алексий давал деньги, тем не менее грамота так и не находилась. Должен был списать противни с грамот патриарха в Литву и Галицию о незаконно поставленном Феодорите, и не снимал. Жаловаться Алексий пока не хотел, чая на случай своего отъезда иметь добрые отношения в секретах, но и они не завязывались.

Наконец дьякон Георгий Пердикка из секрета великого скифилакоса объяснил ему сию трудноту. Великий-де хартофилакт предан Каллисту и недруг Кантакузина, к тому же подкуплен Романом, но доказать последнее невозможно, ибо он очень осторожен; а его помощник, протонотарий, поклонник известного Никифора Григоры, историка и хулителя Кантакузина, ныне посаженного василевсом в тюрьму, с ним еще хуже: подкупить-де его невозможно, овиноватить — тоже. Но оба тянут, а остальные — боятся...

— Чего могут бояться они?! — требовательно вопросил Алексий.

Пердикка в свой черед начал вилять, вздыхать, так ничего и не объяснив.

Алексий пробовал заговаривать с разными чинами в секретах патриарха. Отвечали уклончиво, оглядываясь. Наконец один юный монах, получивший от него златницу, сунул Алексию записку с приглашением зайти в монастырь Святого Федора Студита к такому-то старцу. Туман, кажется, начинал рассеивать. Во вся-

ком случае, приглашением сим никак не следовало пренебрегать.

Вечером Алексий, взяв посох, вышел один из покоев, наказав Станяте с Агафанкелом не провожать себя, и пошел не по Месе, ради лишних глаз и ушей, а, уклонившись за ипподром, спустился к гавани Кандоскамии, запиравшейся с моря железною решеткою, и оттуда, минуя церкви святых Фомы и Акакия, извилистою грязною улицей, идущей почти вдоль воды, поза стеною, защищающею Константинополь со стороны Пропонтиды, устремился к западу, в сторону Золотых ворот.

Роскошные портики, хоромы знати, украшенные львами площади остались в стороне. Под ногами пока еще чуялась каменная мостовая из покореженных и полузасыпанных плит, но далее, ближе к Ликосу, улицы становились все грязнее, дома беднее и ниже, пустыри зримо надвигались на остатние жилые кварталы, в коих и жизнь теплилась едва-едва. Словно в деревне, бродили свиньи и козы, кое-как загороженные грядки с зеленью подступали к самой мостовой. Воняло падалью и отбросами, и даже ветер с Пропонтиды, натыкаясь на каменные стены, сникал, не в силах разогнать смрадный дух городских свалок, которые никто явно не собирался ни чистить, ни вывозить за пределы Константинополя. Только уже у самых Псамафийских ворот начали встречаться вновь мраморные палаты, некогда строенные в загородье и попавшие в черту городских стен после того, как была возведена нынешняя тройная стена Феодосия, перепоясавшая полуостров от Золотых ворот и до Влахерн.

Наконец, когда уже южная мягкая темнота оступила город и в сгущающемся горнем эфире началось первое, еще робкое, роение звезд, показался величественный древний монастырь, с возвышенным храмом и роскошною трапезною, воспетый греческими витиями и прославленный русскими паломниками, обитель, откуда Великий Феодосий Печерский получил устав, ставший каноном для русских монастырей, откуда вышли многие и многие подвижники церкви православной. В иную пору Алексий не умедлил бы вновь и опять обойти все местные святыни и отстоять службу, но ныне ему было не до того. Он лишь на миг заглянул в пустой к этому часу храм с удивительными, словно усыпанными жемчугом полами, преклонив колена у нетленных мощей

святых Саввы и Соломониды, прославленных чудесными исцелениями.

Рекомую келью пришлось искать довольно долго в путанице закоулков, иные из коих явно служили отхожими местами для монастырской братии. Наконец, когда Алексий уже отчаивался в своих блужданиях (спрашивать отца эконома или келаря, по необходимости открывая свое имя, ему вовсе не хотелось), в грубой, кое-как сложенной каменной стене показалась отверстая дверь, скорее дыра, в проеме которой стоял знакомый молодой инок (как оказалось, племянник старца), уже сожидавший Алексия.

В тесной каморе на грубом дощатом столе теплилась одна лишь глиняная наливная плошка с зелеными носиками для фитилей. Тусклая лампада освещала небогатую божницу. Ларь для одежды, да скамья, да глиняная корчага, да старинной работы поставец с немногими книгами, да жесткое ложе схимника, застланное рядном,— вот и все убранство бедной монашеской кельи.

— Старец вскоре грядет! — ответил по-гречески молодой монах на молчаливый вопрос Алексия. Тут же, приняв посох гостя и подвинув ему деревянное блюдо со смоквами, он принялся, уже не таясь, изъяснять то, что ранее постигалось Алексием лишь из отрывочных намеков и умолчаний.

При Каллисте в секрете хартофилакта часто бывал Никифор Григора, постригшийся три года назад в монахи. Григора заглазно изрыгал сугубую хулу на Алексия: де, неученый медведь, надеющийся на московское серебро, и вообще-де ныне греков покупают огулом и в розницу кому не лень. Сими словесами он весьма огорчил протонотария, ныне воспомнившего, что он — гордый ромей, коему негоже подчиняться северному варвару...

— Но почему меня словно боятся остальные? — хмуро спросил Алексий.

— В том-то и дело! Старшие нашего секрета считают...— Тут юноша замялся и опустил глаза.

— Что император и его приближенные долго не продержатся? — догадав, вопросил Алексий в лоб.— Но почему не страшатся иные?

— Другие еще верят в императора и его звезду! Я тоже верил... Но ему слишком не везет! Двукратная гибель кораблей, чума, землетрясение... Отец

мой потерял руку, когда пожалел заключенных, убивших Апокавка. Семейство наше бедствует, живет только моим скромным жалованьем. Поэтому я, как видишь, осмелел... Но я тоже не ведаю, в кого верить! Одни ни во что не верят, другие верят еще...

— Но те,— уже не сдерживаясь, перебил Алексий,— кто стоит за Каллиста и молодого Палеолога, верят тверже, а сторонники Кантакузина на всякий случай ищут, как уцелеть, ежели...

— Да, так! — отмолвил молодой монах, опуская очи и покаянно вздыхая.— По слухам — пойми, русич, токмо по слухам! — сам Дмитрий Кидонис, обласканный василевсом, от коего зависит и твоя судьба, и тот ныне склоняет к Варлаамовой ереси и к союзу с латинами!

— Быть может, в людях, а не в судьбе причина неудач императора?! — с силою вопросил Алексий.

Юноша снова вздохнул, произнес неуверенно:

— У него было много верных сторонников. Но он хотел примирить тех и других, а вышло... Сейчас не разобрать концов. В том ли виноват император, что не отстранил Палеологов, или наоборот — в том, что воевал с ними?

В прихожей послышалось шевеление, и вошел старый монах, ширококостный, с кустистыми седыми бровями, со строгим взором на суровом, иссеченном временем лице, неся в руках блюдо со скудною трапезой из вареной капусты.

Алексий встал встречу хозяину, благословил и принял благословение старца, отнесшегося к нему, как к равному себе, что и тронуло Алексия и разом расположило к схимнику.

Помолясь, в молчании приступили к еде.

Отерев рот платком и перекрестясь, старец сам повел речь, словно бы продолжая то, что до него говорил молодой:

— Концы надо искать в давнем! Еще там, где мы потеряли свой некогда могучий флот, без которого империи с ее тысячью островов и изрезанными берегами нельзя жить! Тогда, когда, разорив крестьянина, привыкли полагаться на наемников, которые больше грабили нас, чем защищали. А решающий удар нанес сам спаситель Константинополя, Михаил Палеолог! Он порушил все доброе, что отстояли Ласкари. Я слышал от деда своего, как скромны были никейские им-

ператоры, хозяйственны, доступны для любого крестьянина. Тогда наши пограничные воины, доблестные акриты, железной стеной обнесли Вифинию! Михаил Палеолог ослепил ребенка Ласкаря и уже тем погубил свою династию, которая до сих пор несет проклятие злодейства! Но он содеял и худшее. Ему нужны были деньги, чтобы отвоевать Грецию, и он непосильными налогами разорил храбрых акритов. Когда же те подняли восстание, разгромил всю Вифинию! И турки хлынули туда. Остались островки: Брусса, Никея, Никомидия, которые долго держаться не могли... Мы сами расплодили османов на наших землях! Ранее у османов было очень мало земли, и они вынуждены были бы века драться с сельджуками. Пустив их в Вифинию, мы позволили османам создать нынешнее государство Урхана! А ежели они теперь перейдут на наш берег, как предвещают упорно недруги василевса, империи настанет конец.

— Но разве Андроник Третий не пытался отвоевать земли Никеи? — возразил Алексий, коему противна была мысль о конечности любых потерь, столь многое, потерянное ранее, предстояло отвоевать Руси Владимирской.

Но старик, понурясь, покачал головой:

— Не пустить турок можно было, но отвоевать... Пытались — были разбиты... Грекам уже неоткуда брать воинов! — Он поднял голову, помолчал и твердо вымолвил, блеснув взором из-под мохнатых бровей: — Вина Кантакузина в том, что он не взял власть в свои руки после смерти старого Андроника! Он остался верен семье покойного, но предал тех, кто верил в него, верил, что только великий человек мог спасти империю!

— Но...— Алексий не находил слова,— но... удаление законного императора тоже привело бы к междоусобной брани?

— Нет,— ответил старик.— Я был среди воинов, все были за него, все верили в Кантакузина, как в мессию! Ему не надо было убивать Иоанна Пятого, просто заключить Анну в монастырь, выслать ее вельмож да не давать воли злодею Апокавку... Ах, да что говорить теперь! Я бросил меч и доспехи воина переменил на схиму. Един Господь возможет ныне спасти нашу несчастную страну!

Следующею ночью Алексий уже сидел над списком «Истории» Грегоры, добытом для него Агафанкелом. Протонотария, не желавшего быть подкупленным, следовало подкупить доводами разума, а доводы сии лучше всего было почерпать из сочинений того, на чей авторитет опирался протонотарий в своем нелюбии к московиту. И Алексий, хмурясь, то отчеркивал ногтем иную строку Грегоры, то, откидываясь на сиденье и невступно глядя в пустоту, думал, порою занося найденную мысль своим мелким, красивым, убористым почерком на вощаницы. И даже Станята, сунувшись в келью и узрев лик Алексия, отпрянул, осторожно прикрыв за собою тяжелую дверь.

Упорство умного редко не достигает цели. В секрете хартофилакта Алексию удалось приобрести не то чтобы сторонников, но людей, понявших, что перед ними муж многих государственных добродетелей, необходимых по нынешней поре, и уже потому достойный сугубого уважения. Греков особенно тронуло, что этот скифский «медведь» прилежно изучает науки, собирает иконы, книги и утварь церковную, причем не как-нибудь, не расшвыривая направо и налево зряшное серебро, но проявляя и в сем непростом деле истинное разумение, ум и вкус, недоступные варвару.

Всем и всюду Алексий не уставал рассказывать при этом, что и там, в далекой России, идет борьба с латинами, мнящими одолеть православную церковь и уже премного укрепившимися в Ольгердовой Литве.

Греки вздыхали, соглашались, кивали головами, и все-таки дело не двигалось, и уже яснело, что вина лежала теперь уже и не на чиновниках секретов, а на самом патриархе.

В эти дни тяжких и беспрерывных хождений по канцеляриям Алексий и познакомился с Кавасилою, сподвижником императора, который нынче заставил его неволею увидать во сне торжественное шествие византийских владык.

Вчера, сопровождая Алексия в храм Сергия и Вакха, расположенный внизу за ипподромом, он затеял непременно показать московиту каменный терем Константина и лежащий в развалинах со времен крестоносного взятия Большой дворец, благо от патриарших палат в катихумениях Софии им было как раз по пути.

В Большом дворце императоры не жили еще со времен Комнинов, устроивших себе новое обиталище во Влахернах, пригородном дворце, совсем на другой стороне города, на берегу Золотого Рога. Уже тогда, видимо, содержать этот огромный многопалатный город-дворец с тысячами служителей было не под силу для оскудевшей императорской казны.

Взятие Константинополя крестоносцами и недавнее землетрясение окончательно погубили Большой дворец, хотя еще до крестоносцев многие ценности — резная кость и серебро, ковры, драгоценные столы и ложа, мраморные кумиры, золотые чеканные троны — перекочевали во Влахерны.

Крестоносцы разграбили все, что оставалось во дворце, а чего не могли увезти, доломали и дожгли в пору своего бесславного сиденья на троне греческих василевсов, когда последний латинский «император», не имея денег на дрова, сожигал в печах резную утварь и деревянную обшивку дворцовых стен.

Но и ободранный, но и частично обрушенный, с пустыми провалами вместо дверей и окон, с рухнувшими куполами и выщербленной мозаикой, дворец потрясал воображение.

...Они с Кавасилою были одни. Свита отстала, заблудившись в переходах Магнавры. Только Станята резво поспешал за Алексием, впрочем, по молодости своей и он не стоял близ, а совался во все расщелины и углы, цепким взглядом новгородца выискивая и озирая сохраненные случаем диковины.

Николай Кавасила, приближенный двора, друг самого Кантакузина, был в подчеркнуто простой полумонашеской хламиде (Алексия уже не раз поражало в греках это разномыслие не токмо во взглядах, но и в одеждах своих). В городе, где роскошь, подчеркнутая жалкою бедностью окраин и нищетою сбежавшихся в Царьград разоренных селян, подчас свирепо била по глазам, изливаясь на улицы блеском парчи и шелков, узорными нарядами знати, праздничными хитонами и далматиками, являющими собою чудо ткаческого искусства; среди этой непростой пестроты вдруг поразит глаз благородная бледность льняного хитона и серой, из некрашеной шерстяной деревенской ткани хламиды, наброшенной на плеча ученого мужа или придворного, про коего уже теперь возможно сказать, что со временем, покинув груз интриг и иска-

тельного соперничества, отринув само звание свое, уйдет он в какой-нибудь пригородный монастырь или скроет себя еще далее, на Афоне, и станет там предаваться умной молитве, исихии, да переписывать древние книги убористым греческим минускулом.

Таков был и Кавасила. Выйдя исчезнувшими дверями к полуразрушенному Фару, он только плотнее закутался в свою серую хламиду, отороченную по краю неширокой синей каймой (один этот синий цвет и был намеком на его высокое положение), и замер, торжественно глядя вдаль. Ветер Мраморного моря отдувал его длинную нестриженную бороду и шевелил волосы непокрытой головы. Замер и Алексий, невольно охваченный нежданною красотою сего места и картиною, развернувшеюся под ними и окрест.

Они стояли на илиаке Фара. Внизу и вдали, в разросшихся благоухающих осенних садах, лежал арсенал и порт Вуколеонта, а совсем вдали серел и желтел турецкий берег, и синеющая Пропонтида властно опрокидывалась на них своею неукрощенной колеблемой ширью.

Пройдут века, окончательно падут дворцы ромейских императоров, изменится людская молвь на берегах вечного пролива, но все так же будет дуть теплый ветер с Пропонтиды, все так же глубокою синью и шелком отливать древние волны, помнящие походы язычников-русичей на Царьград, греческие триремы в водах своих, царя Дария, и Ксеркса, и осаду Трои, и поход аргонавтов за золотым руном, и едва различимую, уже в дымке времени загадочную киммерийскую старину...

— Вот здесь был знаменитый Фар! Маяк василевсов Ромейской империи. В этой вот башне! Вот и храм Пресвятой Богородицы Фара! — со вспыхнувшим взором заговорил Кавасила, оборачиваясь к Алексию.— Здесь неусыпная стража принимала вести, передаваемые василевсу от фара к фару, от огня к огню, от самых границ империи: с Евфрата, Кавказа или Аравийской пустыни,— о движении персов, восстаниях, набегах сарацин... И тотчас повелением василевса стратиги подымали акритов и вели тяжелую конницу в катафрактах, чешуйчатых панцирях отражать врага! Здесь, где стоим мы с тобою, некогда стоял автократор, коему принадлежали Вифиния и Понт, Пафлагония и Каппадокия, Армения, Лидия

и Киликия, Исаврия, Сирия и Египет, и сама Святая Земля, и Ливия, и Африка...

Не договорив, внезапно угаснув голосом, Кавасила замолк на полуслове. Дальний скалистый берег, за коим еще недавно простиралась победоносная Никейская империя, ныне принадлежал туркам султана Урхана...

Кавасила медленно отвернулся от Фара. Овладел собою. Начал объяснять вновь, подавляя невольную горечь плетением звучных словес:

— А тут были — вникни! — целых три серебряные двери, каждая из которых стоила иного дворца в какой-нибудь варварской стране! — Он скользнул взглядом по лицу Алексия, поняв с запозданием, что тот мог принять «варварский» на свой счет, но Алексий лишь склонил лобастую голову, показывая сугубое неогорчительное внимание.— Через этот проем, где была главная дверь, заходили в Хрисотриклин. Он выстроен еще Юстинианом Вторым и, как видишь, напоминает церковь! Те же восемь камор, перекрытых сводами, и в центре купол. Вот в этой нише, на возвышении, находился царский трон, нет, целых два трона! По будням василевс садился на золоченое кресло, по воскресеньям — на пурпуровое. Вон там, в вышине, на своде, еще видна мозаичная икона Спасителя, хотя золотую смальту из нее выковыряли алчные латиняне, а кострами, которые они жгли на полу триклина, закоптили все своды...

Ты не можешь представить себе былую роскошь места сего! Какие висели ковры на этих мраморных стенах, какие золотые и серебряные светильники стояли у каждой ниши, какое роскошное серебряное поликандило свешивалось с высоты! А парчовые завесы! А скамьи из эбенового дерева!

В мрачном ободранном зале было пусто и гулко. С закопченных сводов сыпалась пыль. Вспугнутые голуби, хлопая крыльями, реяли кругами, пачкая пол белыми пятнами помета... Но Николай Кавасила зрел красоту, утонувшую в веках и, воскрешая словом древнее величие золотого триклина, заставлял видеть ее и Алексия.

— Есть только одно место, не уступающее Хрисотриклину,— продолжал Кавасила,— ныне обрушенная палата Магнавры! Там тоже была тронная зала, в ней василевсы принимали иноземных государей и

послов. Именно там стоял трон Соломона с рычащими львами и поющими птицами. Там мы принимали вашу Ольгу, архонтессу, или княгиню, как говорят руссы...

В Магнавре была некогда высшая школа, где юноши из разных городов и стран изучали философию, риторское искусство, творения святых отцов и великие законы Юстиниана. Видел ли ты когда-нибудь дворец, в котором было бы столько тронных зал?! — спрашивал Кавасила, лихорадочно блестя глазами, как будто не развалины показывал он и не по развалинам они пробирались, обходя рухнувшие колонны и глыбы камня с провалившихся сводов.— Вот в этой нише, за шелковым занавесом, царь переодевался и надевал венец. В этой небольшой церкви, ныне заброшенной, хранилось царское облачение и многие священные реликвии, например жезл Моисея.

— Где он теперь? — оживившись, спросил Алексий.

— Похищен латинянами! — ответил за Кавасилу подошедший сзади клирик из свиты.— Похищен и вместе с крестом Константина увезен в страну франков!

Все трое смолкли на мгновение, как бывает при воспоминании о погибшем или опочившем ближнике.

— А вот тут выход в китон, царскую спальню! — продолжал Кавасила, поспешив разрушить тягостное молчание.— Это кенургий, построенный Василием Македонянином, приемная зала Китона. Взгляни! Здесь были колонны из зеленого фессалийского мрамора, вот тут еще сохранились остатки изящной резьбы! Все стены здесь были покрыты золотой мозаикой, и по золотому полю изображены сцены царских побед и приемов послов. А тут был изображен сам автократор Василий с царственной супругою Евдокией. А вот здесь, на полу китона, в кругу из карийского мрамора из разноцветных камней был сложен павлин со светозарными перьями, и по углам — четыре орла с распростертыми крыльями, царские птицы в рамах из зеленого мрамора. Потолок тут был усыпан золотыми звездами, и среди них сверкал крест из зеленой мозаики, а вдоль стен мозаичные узоры образовывали как бы кайму из цветов, и выше, по золотому полю, была изображена вся императорская семья... Все это похитили, уничтожили, разорили латиняне!

Там, далее, в жемчужной палате, находилась летняя опочивальня царей с золотым сводом на четырех

мраморных колоннах, с мозаичными украшениями, изображавшими сцены из охотничьей жизни: тут псы, как живые, рвут оленя, и яркая кровь капает из его ран, там медведь встал на дыбы, стараясь достать охотника, выставившего копье, здесь вепрь кидается на всадника, обнажившего меч... Отсюда с двух сторон были выходы в сады, манившие прохладой и ароматами редких цветов...

В тех покоях, называемых карийскими, находилась зимняя опочивальня, защищенная от резких ветров, дующих в январе с Пропонтиды. Тут была и уборная императрицы, с полом, выложенным белым проконийским мрамором, вся украшенная дивною росписью. Но выше всего, доступного воображению, была спальня императрицы — удивительная зала с мраморным полом, казавшаяся усыпанной цветами лужайкой, со стенами, выложенными порфиром, зеленым крапленым мрамором фессалийским, белым мрамором карийским, с парчовыми, затканными золотом завесами,— представлявшая такое счастливое и редкое сочетание цветов, что и сама получила название мусики, или гармонии, ибо только в божественных звуках возможна подобная красота!

Были тут еще покои Эрота и покои порфировые, где рождались дети императоров, «порфирородные»; и от нас, греков, это название разошлось ныне по всему миру!

Представь себе, взирая днесь на эти развалины, домысли разумом великолепие дверей из серебра или слоновой кости, пурпуровые завесы на серебряных прутьях, златотканые покровы на стенах с изображениями чудесных зверей, каких только могла измыслить причудливая древность, большие золотые светильники и поликандила, инкрустации из перламутра, золота и резной слоновой кости.

Тут-то, среди этой неземной красоты, и жила «слава порфиры», «радость мира», «благочестивейшая и блаженная августа», «христолюбивая василисса», как приветствовал ее народ на больших выходах или в садах, на пути в Магнавру, когда императрица шла принять ванну в Магнаврском дворце в сопровождении своего препозита, референдариев и силенциариев, избранных из числа евнухов дворца, несших благовония и одежды августы, в сопровождении опоясанной патрикии и девушек свиты.

Многие наши василиссы собирали у себя писателей и ученых, подобно мужам, умели толковать о тонкостях богословия и даже сами сочиняли книги! Особенно славились этим царицы из рода Комнинов. Ты многого не знаешь еще о величии нашей страны!

А когда императрица дарила императору сына, то через восемь дней по рождении дитяти весь двор торжественно проходил перед роженицей. В опочивальне, обтянутой шелками и златоткаными покровами, сверкающей огнем бесчисленных светильников, молодая мать лежала на постели, покрытой золотыми одеялами. Подле нее стояла колыбель с порфирородным дитятею, и препозит по очереди впускал к августе членов императорского дома. Затем следовали по старшинству жены высших сановников и наконец вся аристократия империи: сенаторы, проконсулы, патрикии, магистры, всякие чины кувуклия и синклита, и каждый приносил августе поздравления и подарки.

Великая Феодора, возвышенная Юстинианом с самых низов до престола ромейской империи, совместно с супругом своим управляла страной, являя в бедах нрав, мудрость и волю, достойные высокоумного мужа!

Идем отсюда! Мне самому тяжко взирать на то, что есть, зная о том, что было в века нашего величия!

Сейчас мы проходим по Лавзиаку. Тут стояли сановники во время больших выходов. Одна из дверей была отделана слоновой костью. Гляди, гляди! Там, сверху, чудом сохранилась пластина! Какая изящная резьба!

Отсюда проходили в Юстиниан, где был потолок с золотою мозаикой, а полы выложены разноцветными блестящими мраморами и плитами порфира, на коих останавливался сам василевс. Тут тоже иногда давались обеды приглашенным гостям. В этом рухнувшем триклине наша царица принимала вашу архонтессу Ольгу. Здесь они обедали с благородными женами из Руссии, а ее мужская свита обедала с царем в Хрисотриклине.

А вот тут, через вестибул Скилы, можно было выйти на ипподром. Выйдем и мы! Отсюда к храму Сергия и Вакха ближе всего.

Ты говоришь, у вас есть монах Сергий, коему ты прочишь судьбу великого подвижника? Мне о нем с твоих слов поведал Филофей Коккин, наш гераклейский митрополит, кажется, знакомый тебе? И ежели...—

Тут Николай Кавасила, оглянувшись на свиту, следовавшую за ними в некотором отдалении, приблизил уста к уху Алексия и произнес скороговоркой, шепотом: — Ежели кто и может помочь в деле твоем, то он — и только он! Не патриарх, не Каллист!

И тут же, углядев приближающегося к ним прежнего клирика, Кавасила вновь поднял голос, расхваливая достоинства царских палат:

— Ты не видел еще тронную залу императора Феофила, Триконх ей имя. Потолок там вызолочен и опирается на колонны из красного оникса. Перед нами серебряная дверь, по бокам — медные! — Он опять говорил так, словно и вправду перед ними сверкали узорчатые металлические двери, хотя и серебряная и даже медные двери были давно перечеканены на монету.— Погляди еще нашу Сигму, балкон. Какой вид! Какие колонны!

— Были! — вновь уточнил прежний клирик.— Их тоже украли латиняне, ибо они были из дорогого камня.

Свита Алексия тою порой столпилась в портике, дивясь своим отражениям в полированной глади сохранившихся колонн. Иные проводили пальцем по гладкому камню, не понимая, как можно было содеять такое...

Кавасила, снисходительно поглядывая на простецов русичей, продолжал объяснять, указывая мановением длани семо и овамо:

— Там вон дворец Дафны! В нем некогда стояла языческая статуя, привезенная еще Константином Великим. Тут, в Августее, короновали цариц! Вон там Онопод, Консистория, Триклин кандидатов, Лихны, Халка...

У Алексия давно кружилась голова от обилия звонких названий, от изобилия былой роскоши и цветного мраморного, хоть и разоренного, великолепия.

Кавасила, заметив наконец, что гость утомлен, вывел Алексия на очередной илиак и усадил на мраморную скамью.

Яркое солнце заливало огромный город, свежий ветерок с моря ласкал лицо. Не верилось, что уже ноябрь, самая пора осенних ненастий, слякоти, снега с дождем и первых суровых заморозков.

«Как-то сейчас на Москве? — гадал Алексий, щурясь, озираясь окрест.— Какая благодатная земля!

Истинный рай!» — почти примиренно думал он, не поминая в сей час томительной волокиты в секретах и канцеляриях патриархии, волокиты, которая держит его с самого августа в неопределенном состоянии просителя, коему хотят, но почему-то не могут отказать.

Свита опять отделилась от них, перейдя на ипподром, и Алексий даже вздрогнул, когда Кавасила, ссутулившийся рядом на скамье, глухим, полным муки голосом выдохнул, невидяще глядя перед собою:

— Я ненавижу этот город! Да, русич! — с горечью продолжал он.— В эту роскошь, в это гнездилище всевозможных пороков и всесветной гордости ушла вся сила нашей империи! Со времен Юстиниана Великого мы вкладываем сюда все, добытое трудами и кровью наших селян и армии! И вот: создали великое скопище охлоса, изнеженных аристократов, жадных чиновников, и надо всем — синклит, что сумел разложить нашу великолепную армию, уничтожить флот, подорвать все силы ромейской державы!

Теперь они предают нашего Кантакузина... Они предают всех, они не умеют любить, и даже ненавидеть не умеют!

У них на глазах сбросили великих Комнинов, и что же? Они венчали славою Андроника Первого! Узурпатора и убийцу!

Андроник разгромил провинцию; Вифинию, щит империи, залил кровью; уничтожил всех тех, кто умел и хотел защищать ромейскую державу!

А как он заигрывал с чернью! Сколько было слов о сокращении налогов, о льготах и вольностях... Для кого?! Себя повелел изобразить в одежде крестьянина с серпом в руках... Смешно! Плешивый сластолюбец, василевс, у коего на пирах громоздились леса дичи и холмы рыбы!

И что же? Норманны берут у него Салонику, второй город империи! Венгры безнаказанно отбирают Далмацию! А он? Трусит! И всего через два года тот же охлос, та же самая чернь, еще недавно прославлявшая в нем спасителя, забыв свои прежние клятвы, возит Андроника на паршивом верблюде по городу, посадив задом наперед, шпарит кипятком, колет мечами и забрасывает грязью. Но дело уже сделано, империя погибла! И сотворили это даже не синклитики, а наглая столичная чернь!

А затем — бездарные Ангелы, потерявшие Влахию

с Болгарией. А затем, вскоре, пришли крестоносцы. И город — краса мира, совокупивший в себе семь чудес света, эллинскую мудрость и древние святыни христианства, столица величайшей в мире империи, падает к их ногам, как источенное червями яблоко; и грубые мужланы жгут, грабят и убивают на площадях богохранимого града, насилуют женщин, разламывают в слепой ярости бесценные эллинские статуи, позорят церкви, потешаются над святынями, обзывая ромеев трусами и бабами, коим прилично сидеть за прялкой! Тех ромеев, предки которых когда-то отбросили персов, отразили арабов и не раз и не два били западных рыцарей!

Так я скажу: слава тем, кто освободил нас от этого города, сожиравшего империю!

Когда осталась одна Никея, когда, казалось бы, все было кончено, то никейские императоры сумели остановить врага и на западе, и на востоке! Остановили латинян, отвоевали у турок Вифинию и берега Понта, разбили болгар, присоединили Эпир и Фессалонику... Оставалось одно: вернуть град Константина. И когда мы вошли сюда, воротились к этим дворцам, колоннадам и стенам, тогдашний друнгарий флота воскликнул: «Теперь все погибло!»

И все было погублено в самом деле. Палеологи начали с преступления, уничтожив законную Никейскую династию. Михаил Восьмой ослепил ребенка Ласкаря... Я понимаю, взрослого мужа, воина — но дитятю?!

Теперь они прославляют победы Михаила, ругая взапуски Кантакузина, который-де наводит турок на земли империи. А кто разорил поборами Азию и утопил в крови восстание гордых акритов, открыв османам ворота Никеи? Михаилу нужны были деньги, дабы отвоевать Грецию! Отвоевал он ее? Его победы совершались руками наемников, а не самих ромеев, и, вот видишь, там, перед нами, лежит потерянная навсегда земля, которая давала империи лучших моряков и лучших воинов.

Трон Палеологов проклят! Они уже почти погубили страну! Кантакузин делал, что мог: отразил турок в Дарданеллах, остановил сербов, отбросил болгар, вернул Морею. Но он... Да! Ты молча спрашиваешь меня! Да, отвечу я, многие корят Кантакузина. Армия требует от него коронации Матвея. Лучшие люди страны недоумевают, почему он не изгнал или не уничтожил

василиссу Анну, кровожадную иноземку, раздающую направо и налево земли и богатства империи. Почему терпел и терпит молодого Палеолога, ставшего теперь прямым врагом державы? Почему, почему, почему...

Но скажи, почему этого ничтожного потомка покойного императора именно теперь, когда он наводил сербов на Солонику, обещая Стефану Душану всю Македонию с Эпиром в придачу, намереваясь — о, мерзость! — свою жену Елену, дочь Кантакузина, передать сербам, яко пленницу, женившись на дочери Душана, когда он дарит острова и земли венецианцам и генуэзцам, нашим врагам, когда он осаждает Адрианополь, бежит на Тенедос и теперь, как враг, жаждет с чужою помощью захватить священный город,— почему именно теперь чернь возносит его до небес, а Кантакузина, спасителя империи, клянет на всех площадях, приписывая ему все грехи прошлых и нынешних Палеологов? Почему?

Они устали от войны? Страшатся турок? Они жаждут покоя? Какого покоя? Генуэзцы в Галате издеваются над нами! Вон она, гляди, торчит над городом, башня Христа, выстроенная фрягами на захваченной у ромеев горе над Галатою! Она видна со всех дворов, со всех улиц! Неужели еще и этого мало?!

Армия давно требует венчать Матвея императорскою короной, чтобы утвердить род Кантакузинов на престоле. Каллист, конечно, решительно против. Он законник, и по «закону» считает истинным василевсом юного негодяя, бежавшего к нашим врагам!

— А Филофей? — встрепенувшись, начиная что-то понимать, вопросил Алексий.

— Филофей Коккин? Он мог бы занять престол Каллиста, но он очень напортил себе историей с Гераклеей, его родным городом, взятым генуэзцами в то время, как их митрополит пребывал в Константинополе. Коккин утверждает теперь, что он лечился, что он вообще тяготился кафедрой и мечтал о монашеской жизни! Он много пишет, сочиняет гимны, шлет письма во все концы. На выкуп пленных гераклеотов собирал деньги по всему Константинополю... Ты не слыхал про эту трагедию? О ней до сих пор судачат на рынках!

Генуэзский флот шел на помощь Галате, осажденной венецианским адмиралом Николаем Пизанским. Остановились у Гераклеи. Это наша лучшая крепость на Мраморном море, пойми! Генуэзцы стали, как водит-

ся, собирать овощи с огородов. Греки набросились на них, двоим отрубили головы. Тогда генуэзцы построили корабли в боевую линию и, пользуясь приливом, поплыли прямо к стенам крепости. Градской епарх тотчас бежал, оставя ворота открытыми. Жители ударились в панику. Город был сразу же взят, и начались резня, насилия, грабежи. Сперва мало кого и брали в плен. Трупы женщин, детей, стариков устилали берег. Только насытясь кровью, они полонили остаток гераклеотов и распродавали их потом в Галате всем желающим... Ромеи при Палеологах окончательно разучились воевать! Теперь винят Филофея Коккина, что того не случилось в городе.

— У нас бы судили градского епарха, бежавшего от врага, а не епископа! — отозвался Алексий, недоуменно пожимая плечами.

— Виноваты греки! — отмолвил Кавасила.— Они напали первые... Эх, да что искать, кто был виноват! Виноваты, конечно, те, кого рубили и обращали в рабов! Виноваты мертвые, а с мертвых какой спрос? Спрашивают с Филофея Коккина, друга Кантакузина, и с Кантакузина, друга Филофея. Поминают Коккину его еврейскую кровь, хотя бежавшие защитники Гераклеи все были чистокровными ромеями!

И вот мы отдали Азию, теперь отдаем Эпир и Македонию, скоро и Фракию отдадим... Чему? Этому городу, убийце империи, этим сбежавшим сюда после чумы, в обезлюдевший город, нищебродам и побирушкам, этой городской знати, ненавидящей свой народ и ненавидимой народом! Вырожденцам, Палеологам, наконец!

Я не знаю, о чем думает Кантакузин, и не знаю, на что надеяться самому... Уйти? От этих дворцов, развалин, от прошлого величия империи, от наших суетных разговоров, речей, энкомиев, славословий, от этой заплатанной пестроты? Мне уже не уйти!

Русич! Ты проходил когда-нибудь по Месе просто так, от форума к форуму, обозревая пестроцветные колонны, статуи, портики, под коими некогда философы вели ученые споры, и арки седой старины? Все эти чудом уцелевшие памятники нашей тысячелетней славы! О-о-о! — простонал Кавасила, закрывая лицо руками.— Как я ненавижу этот город... И жить без него не могу!

Станята неслышно подошел сзади, показывая глазами: время, мол, ждут! Алексий, мягко тронув спутника за рукав, первым поднялся со скамьи...

Да, день был труден, излиха труден даже для него! И затем пришел навеянный Кавасилою тяжелый причудливый сон, когда оживали дворцы и ползла змеею торжественная процессия во главе с автократором — самодержавным повелителем ромеев. Пышное действо, которое когда-нибудь — о, еще очень не скоро! — будет повторено на Руси в шествиях грядущих московских царей-самодержцев, ибо будут переняты и титул, и знаки власти, и даже одеяния... Не скоро еще!

Напившись воды с гранатом и отпустив Станяту, Алексий было задремал, но вскоре пробудился опять и уже не спал — лежал, думал.

Он и сам начинал чувствовать мертвящее, засасывающее очарование гибнущего города Константина, города, который так прекрасен показался ему с воды: изумрудный и многоцветный, весь в садах и башнях... И еще не было видно нищих, роющихся в отбросах и грязи давно не метенных улиц, ни разрушенных дворцов, ни пустырей внутри града, заросших буйною порослью кустов и бурьяна, перевитых плетями дикого винограда и плюща... Эти вонючие улицы, когда по ним в былые века торжественно проходил василевс, украшали коврами и шелковыми тканями, усыпали благовонными миртовыми и буковыми ветвями!

Он вспомнил, как разгневал спервоначалу, узнав, что серебро, посланное князем Семеном на ремонт Софии, Кантакузин употребил для расплаты с турецкими наемниками. Что скажет теперь князь Семен? Не скажет... Разве узрит оттуда...

Алексий поймал себя на том, что говорит с князем Симеоном как с живым, и понял с остро прорезавшимся смыслом, что на Руси, на Москве, нет ныне достойного главы, могущего заменить покойного крестного и его усопшего старшего сына. Нет достойного главы, и он один... Только он?! Алексий поспешил отогнать греховно-гордую мысль, но она вернулась как упрек и призыв, и, нахмуря чело, он понял, что то не суета, а воля Господа и что он, и верно, один. И то, что на нем одном зиждится ныне судьба Владимирской Руси, отнюдь не гордыня, а долг и воля вышнего судии!

Сколь жалка показалась ему, впервые прибывшему в Константинополь, мысль покойного крестного, князя Ивана, что малый древянный град Московский возможет некогда наследовать второму Риму, городу Константина, древнему Византию, Царьграду русских ле-

тописей! Перед этим сонмом святынь в каждом монастыре, в каждой церкви градской! Перед роскошью узорного камня, перед величавою колонной Юстиниана с медяным подобием императора на коне, одержащего в руках державу мира! А теперь, ныне, видит он, что умирает огромный город, все медленнее бьется старое сердце империи и ищет, хочет, жаждет и ждет наследования себе!

Алексий успел уже и вторично повидать Кантакузина. Был за обедом, в покоях царя. И здесь, в малом кругу ближников, был столь же величествен, и грозен, и светел лицом несчастливый повелитель ромеев, упрямо, невзирая на коронацию, считающий себя только лишь наместником при юном сыне покойного Андроника Третьего.

Алексия на этот раз привечали во дворце с некоторым смущением. Виною тому были, почти наверняка, новые происки Ольгерда. «Не мыслят ли Каллист и синклитики опереться на Литву?» — приходило уже не раз ему в голову. Греки явно не хотели допускать ставленника Москвы до митрополичьего престола!

Отступить он не мог. Не предает ли его теперь сам Кантакузин?! Нет, Кантакузину можно верить! Только... только... Надобно ближе сойтись с Филофеем Коккиным!

Довольно он угождал семо и овамо, держась, сколько мог, в стороне от патриаршей грызни!

Довольно он с видом школяра сидел над греческими рукописями и без конца совершенствовал произношение, дабы не казаться смешным ромейским витиям!

Будь что будет! И Христос требовал дел, а не слов!

Престол покойного Феогноста не должен перейти в руки Литвы и ни в чьи другие руки! Не должно допустить и гибельного разделения митрополии!

Он будет драться, он поддержит русским серебром Филофея Коккина против Калиста!

Третьего дня патриарший скифилакос, принимая от него кошель с серебром, с кривою усмешкою вспомнил, что василевс в Великую субботу приносил к престолу Софии мешок с целым кентенарием золота (семь тысяч двести иперперов, или золотников, почти два пуда драгого металла!), а теперь они вынуждены восполнять иссякший поток монарших милостей серебром далекой России. Пусть так! Но и серебро, трудное русское серебро, не должно пропасть втуне!

Он изучит греческий язык.

Он окончит перевод Евангелия.

И он купит, купит у упрямых ромеев митру митрополита русского!

И еще: он переведет наконец митрополичий престол из захваченного Литвою древнего Киева туда, где ему и быть должно,— во Владимир Залесский! Ежели он не свершит этого днесь, то митрополия, а с нею и духовная власть на Руси рано или поздно перейдут в руки Литвы. И тогда сама Русь окончит существование свое!

«И тебе, Сергий, я добуду потребное!» — пообещал Алексий, уже обарываемый дремою.

Напряжение ночи, мучившее его доселе, наконец спало с него, отошло, уплыло, покоренное твердотою принятого решения, и он уснул, так и не разогнав упрямую поперечную морщину чела, и уже не чуял, как потух, выгорев дотла, светильник, а на побледневшем высоком небе разгорается золотая заря.

До Алексия уже дошли смутные слухи о каких-то турецких бесчинствах молодого Сулеймана, сына Урханова, якобы вторгшегося на греческий берег и захватившего маленькую крепостцу Чимпе недалеко от Галлиполи.

Противники Кантакузина едко улыбались, судачили по углам:

— Вот его обещания! Вот куда привела его дружба с османами! Погодите! Мы еще будем горько вздыхать о Палеологах!

Все это говорилось шепотом, с оглядкою, с противным блеском глаз, как будто вторжение врагов в пределы империи доставляло им сугубую радость.

Алексий долго не верил, что слух о турках истинен, однако вскоре о событии толковал уже весь город, и Алексию со скорбью пришлось убедиться, что противники императора в этот раз оказались правы.

Тем более следовало спешить! Добиваться решительного разговора с Кантакузином; но прежде того неприлюдно и откровенно потолковать с Филофеем Коккиным.

Впрочем, гераклейский митрополит, видимо, и сам искал жданной встречи с Алексием, и предлог для нее явился невдолге, ибо Коккин должен был выступить с речью «на хулящих исихию» перед слушателями выс-

шей патриаршей школы, которую Алексий прилежно посещал. Среди преподавателей школы были такие светила, как Планудий и Мосхопул; слушатели приходили сюда хорошо подготовленные, и Алексию, которого к исходу шестого десятка лет начинала оставлять юношеская гибкость ума, зачастую приходилось излиха трудно. Он, однако, упорно ходил на лекции, слушая все подряд, будь то медицина, астрономия, математика, риторское искусство или богословие.

Послушать гераклейского митрополита сошлось приметно больше народу, чем собиралось на обычных схолиях, и обширная сводчатая палата оказалась тесной. Иным не хватило мест, стояли или сидели на полу. Агафанкел с трудом оборонял припоздавшему Алексию его обычное место на скамье.

Филофей поднялся на возвышение. Значительно перемолчал шевеление усаживающихся слушателей, цепко обозрел взором палату и, не умедляя более, высоким звучным голосом, обличавшим в нем хорошего певца, начал:

— Недавно слышали мы на соборе господним промыслом отринутое учение латинянина Варлаама, утверждавшего, что Божество — о стыд, о горе! — не имеет ни энергии, ни воли, ни благодати... Полно бы и говорить о том, осужденном соборно, заблуждении, но коль многим эти споры внушили и все еще внушают страх и подозрение, то и надлежит ныне, ради новых лиц, коих вижу здесь среди вас, и могущего еще тлеть соблазна, кратко обозреть признанные писания великих отцов церкви, дабы показать, что не всуе и не попусту изрекал глаголы свои Григорий Палама, нынешний епископ фессалоникийский! И не вотще, и не суетная новизна — «умное делание» старцев афонских и возлюбленная многими и мною исихия, возлюбленная до того, что и я, грешный, мыслил отврещись суеты, и только отец Палама уговорил меня не снимать крест общественного служения с рамен своих!

Филофей Коккин действительно был нездорово красен лицом, но не от злобы, как утверждал в своей «истории» Никифор Григора — Алексий не узрел свирепости в этом лице,— а скорее от болезни и, возможно, от излишней пылкости нрава, прорывавшейся в остроте жестов и чрезмерном порою возвышении голоса.

Толпа слушателей, взыскующих знания, сегодня отличалась особенною пестротою. Более половины было

мирян. Брадатые мужи и юноши с первым пухом на щеках плотно теснились на скамьях. Многие принесли с собою складные холщовые стулья. Писали на вощаницах, положивши дощечки на левое колено, или просто слушали, отмечая себе стилосом самое главное, вскидывая глаза на гераклейского епископа, когда он произносил основополагающие суждения.

— Конечное наше устремление,— говорил Коккин,— познание, постижение умонепостигаемой и непознаваемой первопричины!

Сосед Алексия просто поставил в своей дощечке два знака, как догадался Алексий, означающие заглавные буквы слов «познание непознаваемого». Антиномии византийского богословия здесь были привычны и понятны всем.

— Как же постигнуть непостижимое? — продолжал Филофей с ударением.— Повторим, что речет Климент Александрийский,— яко же познание основывается на вере!

Вера — априорная предпосылка знания. Она без доказательств, изначально, признает Бога действительно существующим. Вера возбуждает в человеке тоску по учению, возбуждает дух искания, ведущий к истинному знанию.

Взглянем шире окрест: не вера ли основа, предварение всякого делания? Не иначе пахарь сеет зерно в чаянье урожая, кормчий выводит корабль из гавани в море, веря, что достигнет берега, купец отважно везет товары, чая избежать разбойников и получить прибыль; не с верою ли и воин устремляется в бой? Не с верою ли и послушник приходит в монастырь, изначально возлюбив еще неведомую ему монашескую стезю?

Гносис, познание, начинается с простого познания мира, окрест нас простертого; и даже неразумные существа обладают этим знанием. Но только человек способен проникнуть в самую сущность предмета, и потому мы отличаем и именуем последовательные ступени познания...

Алексий не успевал записывать греческие ученые слова, которые его сосед по скамье отмечал лишь немногими литерами, по-видимому, и так хорошо зная предмет.

— Познание,— тут Филофей, приодержавшись, обвел слушателей вспыхнувшим взором,— познание по-

буждает человека к деянию! В том числе и сугубо — к мистическому деянию! К постижению Господа внутри нас! И тут, друзья, обратим ум к глубокому творению Дионисия «Ареопагитикам». Сколь бы не сомневались иные в имени создателя «Ареопагитик», но созданное — создано, и в созданном равно наличествует создатель, назовем ли его Дионисием либо иным именем, неведомым нашему знанию!

Что же речет сей муж? В чем находит он критерий и источник истины? В боговдохновенном предании и делании, сиречь в Святом писании и мистическом опыте каждого, постигшего исихию!

И не зазрим, и не усомнимся, ибо, по словам его же: «Божественное открывается каждому из нас в соответствии с его способностями понимания». И еще речем из тех же «Ареопагитик», где паки и паки повторено, что скуден ум для познания Вышнего, скуден и недостаточен, ибо «Бог пребывает выше всякого знания и выше всякого бытия» и «познать и увидеть Бога можно только через не-познавание и не-видение». «И по преимуществу совершенное незнание есть высшее знание того, что превышает все, доступное познанию».

Вот порог, у коего остановилась мысль древних эллинов, не постигших Христа. Отчаявшись постичь вселенную разумом, пришли они к скепсису, к отказу от поисков истины!

А теперь повторим слова Григория Нисского и иных великих каппадокийцев, повторим мудрые речения Максима Исповедника и Филона Александрийского! Вспомним Григория Назианзина и Иоанна Дамаскина...

Видим мы, что непостижимое божество само стремится быть познано в силу божественной любви и является нам на уровне бытия в виде божественных сил, энергий, божественных разделений. Причем в каждом из своих многообразных проявлений сверхсущностное божество сохраняет изначальное единство, в каждом из своих разделений присутствует все целиком!

Что есть Бог? Бог есть сущее, благо, бытие, свет, мудрость, красота, жизнь, причина, разум... Имена сии бессчетны! Но Бог не является ни светом, ни благом, ни красотой, ни жизнью, ни причиною. Более того! Бог, первопричина всего, является ни благом, ни не-благом, ни подобием, ни не-подобием, ни сущим, ни не-сущим, ни мраком, ни светом, ни заблуждением, ни истиной!

Речем: Бог во всем и вне всего, он по ту сторону бытия и небытия. «Бог познается во всем и вне всего, познается ведением и неведением. Он, будучи всем во всем и ничем в чем-либо, всеми познается из всего и никем из чего-либо. Сиречь познается в творениях, силой своей любви исходя в мир, и не познается в своей сущности, в своем сверхбытии». И потому познание возможно лишь чрез мистическое единение с божеством. «Познание Бога обретаем,— речет Дионисий,— познавая его неведением в превосходящем разум единении, когда наш ум, отрешившись от всего существующего и затем оставив самого себя, соединяется с пресветлыми лучами и оттуда, с того света, осиявается неизведанной бездной премудрости».

Вот противу чего выступили Варлаам с Акиндиным! Вот какими глаголами пренебрегли сии ложновысокоумные мужи, потщившие разум человеческий поставить выше святоотеческих писаний!

Алексий, откидывая исписанные дощечки, почти выхватывал у Агафона новые вощаницы, успевая додумывать меж тем, что Дионисия Ареопагита надобно не токмо достать, но и перевести на русскую молвь, что Лествичника они уже купили, а Григория Синаита надобно срочно доставать...

— Как же мыслит пресловутый Варлаам переспорить святых отцов церкви и заветы самого Христа, требовавшего делания прежде всего?! Теперь, оборотя взор от горних высей к самому человеку, что обретаем мы в нем? «Тело и душу»,— говорят Варлаам с Акиндиным в согласии с латинским лжеучением. Нет, возражаем мы с Григорием Паламою и отцами церкви,— тело, душу и дух, триединое существо! Именно сия третья ипостась позволяет смертному из человека душевного, восходя стезею опытного делания, стать человеком духовным, опытно постичь божество!

Спросим еще и так: ежели Бог токмо непостижим, как мыслят Варлаам с Акиндиным, вообще непостижим тварным человеком и лишь в творении открывает себя мысленному суждению, то, спросим, кому мы поклоняемся? Богу или дьяволу? Кто демиург, создатель сего тварного мира? Быть может, тогда правы манихеи, считающие тварный мир беснующимся мраком?

«Нет! Мы видели Его! — отвечают постигшие умное делание, исихию.— Мы сами видели нетварный фавор-

ский свет!» И тут-то и можно отличить Бога от дьявола! Только в делании, в прямом постижении Высшего!

А ежели нет прямого личного общения с творящею силой, мы не можем утверждать, что Он есть, и не можем, повторяю, даже отличить Бога от дьявола, соблазнителя смертных!

Варлаам на сей вопрос отвечает, мол, это делает церковь. Какая? Та, папская, где возможны трое пап сразу, взаимно проклинающих друг друга, погрязшая в страстях мира сего?!

— И еще, и сугубо, речем,— вбивал Филофей последние гвозди в гроб противников Григория Паламы,— какая слепительная стезя открывается каждому, постигшему исихию: обожение, слияние с непостижимым! В каковом любовном слиянии происходит соединение гносеологии и онтологии, познания себя и мира, человека и божества! «Истинный богослов,— вновь реку словами Дионисия Ареопагита,— не токмо учит божественному, но и сам переживает его!»

Филофей Коккин, переждав одобрительный шум слушателей, начал излагать затем лествицу небесной иерархии, по ступеням которой божественная светоносная энергия нисходит в наш мир, вновь и вновь доказуя необходимость исихии, умного делания.

Слушатели, уже утомясь, откладывали вощаницы, тем паче, что речь зашла о предметах, ясных каждому византийцу: об евхаристии и прочих таинствах, божественном озарении изографа, прозревшего духовным взором недоступное уму, о давних иконоборческих спорах и наконец о чувственном постижении божества как высшей ступени познания (и сверхчувственного знания), в коем ум становит бессилен и должен смолкнуть и отойти посторонь.

Когда схолия окончилась, к гераклейскому епископу тотчас кинулись, окружив его, ученики, завязав диспут, в коем Алексий по осознанию невежества своего не мог принять участия, тем паче, что вокруг начались мирские разговоры о суетных делах: плате за поставление, доходах клириков и прочем. Давешний слушатель-сосед, так понравившийся было Алексию, привлек к себе сотоварища и с похотною улыбкой выговорил:

— Золото, нам, малым, в сей жизни заменяющее блеском своим фаворский свет! — И, понизив голос, продолжил: — Великая Феодора, когда синклит запретил танцовщицам выступать обнаженными, явилась

пред зрителями, имея в виде одеяния на чреслах своих одну лишь златую цепь, коей...— подняв палец и скользом оглянув на Алексия, продолжил он, увлекая молодого спутника своего: — коей сумела привязать к себе великого Юстиниана, а с ним и всю ромейскую империю!

Слышать такое Алексию было соромно, и он уже было порешил исчезнуть, найдя другой, удобнейший повод для встречи, но тут Филофей, отослав настырных слушателей к трудам Синаита, разорвал кольцо столпивших и сам подошел к нему, приветствуя Алексия на классическом древнегреческом языке, и, тронув русича за руку, примолвил тихо:

— Давно, брате, тщусь поговорить с тобою!

Они шли под каменными сводами, минуя переходы и лестницы, ведя несущественную припутную беседу. Алексий понял, что время благоприятно для главного, а посему, не обинуясь более, пригласил Филофея в свою келью.

Коккин вступил в покой, мгновенно оглянувши позадь себя, словно проверяя, не видит ли кто из клириков или слуг его в сей миг. Алексия больно резануло это, уже ставшее привычным среди греков давнее их недоверие друг к другу.

— Я вижу, мой русский брат пребывает в похвальной бедности,— весело произнес Коккин, оглядывая палату,— меж тем как ручей русского серебра уже промыл себе многие русла в дебрях наших канцелярий...

Агафанкел подал хлеб и кисть позднего синего винограда, поставил кувшин с разведенным вином и побежал за рыбой, что готовил Станята на улице, на железной решетке.

Филофей, не чинясь, тотчас приступил к трапезе. Любопытно обегая живыми, с восточною поволокою глазами келью, Коккин остановился на раскрытом Евангелии, прочел вслух:

— «Ежели ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом своим!» — Отчетисто произнося по-гречески слова Спасителя, Филофей вдруг померк, насупился, изронил глухо: — Братней любви очень недостает ромеям в днешней скорбной судьбе!

Алексий, заинтересованный последним тезисом только что прослушанной схолии, вопросил: верно ли он

понял, что чувственное проникновение выше холодного умственного и вернее по постижению божества?

Как только речь коснулась искусства, Филофей Коккин оживился. Отставив чашу, убедительно и ярко стал живописать значение искусства как понятийного уровня для «малых сих», тут же процитировал Григория Нисского: «Мне кажется, что философия, проявляющая себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа».

Алексий посетовал, что истинно великих произведений художества не достать в Константинополе. Коккин усмехнул:

— Не там ищешь, брат! Поезди или лучше пошли иного в Галлиполи, самому тебе не стоит подвергать себя военной опасности. (Да, да! Увы, все правда, я сам не вдруг поверил этой беде!) Туда притекают греческие святыни из Вифинии. Турки продают их христианам, и там ты возможешь купить действительно ценное!

Станята как раз внес блюдо с рыбою, и Алексий, переглянувши с ним, понял без слова готовно вспыхнувший взор новгородца. Поручение съездить в Галлиполи, очень небезопасное, было как раз по Станяте.

Уладив эту стороннюю нужду и легко коснувшись последних неудач императора (Коккин тоже считал, что Кантакузин стал нынче излишне осмотрителен и напрасно осторожничает с османами, захватившими Чимпе), Филофей скользом притронулся и к своим ранам:

— Василевса ныне хают многие! Меня, увы, тоже бранят за Гераклею!

Алексий до сей поры не намеривал касаться гибельного взятия города, но тут уж не выдержал, вопросил:

— Почто ругают тебя, брате, и не хулят сбежавшего епарха и той знатной молодежи, которая, затеяв ссору, после бежала впереди всех?

Коккин махнул рукою:

— Каюсь в том, что небрегал делами города! Но как трудно порою пастырю! Ежедневная пря с властителями и епархом, угрозы от должностных лиц, находящих удовольствие в неслыханных притеснениях и ограблениях бедных и неотступно преследующих всякого, кто дерзнет защитить разоряемых от неправды сильных мира сего! Брат мой! Льщу себя надеждою, что у вас, в варварской стране, не так нестерпимо угнетен труженик! Я давно искал тишины,— продолжал Коккин,

утупив взор в столешню,— желал предать себя целиком книжной мудрости и исихии в уединенном монастыре...— Он поднял беззащитный взор на Алексия.— Даже ждал знака! Но медлил, поскольку въезд в столицу закрыли ради свирепствовавшей чумы. И вот в пасхальную ночь было видение... Вещий сон... Я стоял, вернее, сидел на коне, в городе, захваченном врагами. Ко мне подошла знатная женщина со служанкой, воскликнув: «Уйди!» Ударила плетью моего коня. «Быстро уходи, уходи отсюда!» — «Куда,— вопросил я,— прикажешь мне идти, госпожа?» — «В домик свой иди!» И все растаяло. Проснувшись и помыслив, я понял, что это Богоматерь так человеколюбиво позаботилась обо мне, и в конце Святой недели, покончив с сомнениями, ушел в Константинополь... Далее, ты знаешь, был собор противу варлаамитов, на коем я принял участие в споре православных с худославными... После чего лечил свою плоть и хлопотал перед патриархом, дабы мне вовсе уйти с митрополии на Афон. Тогда вот и явились генуэзцы!

Алексий знал иную версию, Никифора Григоры, но ничего не сказал Филофею. Осуждать или оправдывать кого-либо здесь, на греческой земле, пред лицом творимого всеми и каждым, было нелепо и невместно.

— Но я возродил город! — воскликнул, подымая голову, Филофей.— Собирал деньги, выкупал страдальцев, вся родня коих погибла во время резни! Созывал разбежавшихся граждан из других градов и весей!

— Но почему не дрались?! — не выдержал Алексий в свой черед.— Почему бежали, почему отступили со стен, почто оставили открытыми градские ворота? Почто сами, первыми напав на фрягов, не изготовились тотчас к защите города?! Откуда в греках, при столь глубоком разумении высочайших истин, такая неспособность действования?

Оба иерарха уставились в очи друг другу. В темнопрозрачном взоре Алексия было недоумение и гнев, в глазах Филофея — отрешенная грусть тягостного воспоминания.

— Нам остается верить! — погодя негромко отмолвил он.— Время дел миновало для нас! Вы молоды. У вас есть энергия! Вам токмо не хватает божественных знаний...

— Отче! — Алексий, сам не понимая как и почему, начал сбивчиво, волнуясь и почасту не находя нужных

греческих слов, рассказывать о Сергии, о его малой обители, наваждениях, одиноком подвиге, днешней славе инока и о тех слухах, что уже не раз доходили до Алексия, слухах о чудесах, а быть может, даже и не чудесах? А попросту о мужестве подвижника? И о знаменьях, сопровождавших рождение его...

Филофей слушал, не прерывая. Наконец (понял сам, без подсказки Алексия) произнес:

— Ему надобно возродить общежительный устав!

— Да, но я не хочу... не могу...— возразил Алексий.— Мыслю, совет о том должен изойти свыше, от самого патриарха!

Они опять поглядели в глаза друг другу и перемолчали, понявши, что едва не переступили незримую грань, далее которой любые слова пока были запретны.

— Но почему, брат мой, почему настаиваешь ты на переносе кафедры из Киева во Владимир?! — воскликнул Филофей почти с мукою, обращая к Алексию страдальческий взор.— Ведь митрополиты и так пребывают у вас, в Залесье! Святейший патриарх еще и потому противится твоему поставлению! Твой противник, Роман, оказался сговорчивей!

— Романа выдвигает Ольгерд! — жестко ответил Алексий, неумолимо глядя в эти страдающие (и такие еврейские в этот миг!) глаза гераклейского страстотерпца.

— Еще когда Андрей Боголюбский перенес из Киева во Владимир чудотворную икону «Умиления», ныне зовомую «Владимирской Богоматерью», уже тогда Киев уступил первенство и власть Залесской земле! Но теперь, когда в древней столице Руси вот-вот начнут править службы латинские попы... Да, да, отче! Да! Я ведаю, что говорю однесь! Ныне оставлять кафедру митрополитов русских там — это значит отдать, подарить русскую церковь Риму! Как не ведаешь сего ты?! Ты, друг и сторонник Паламы, пламенный защитник правой веры, коего дивную речь слышал я всего час тому назад!

Филофей простер обе руки вперед, молчаливо останавливая разошедшегося Алексия, и выговорил наконец главное, ради чего и творился весь днешний разговор:

— Русский брат мой, поддержи василевса, и он поддержит тебя!

«Серебром!» — добавил мысленно Алексий, поясняя слова Филофея, но вслух не произнес ничего, только утверждающе склонил голову.

На прощание Филофей с некоторым смущением развернул свиток и протянул Алексию. Это была молитва на пленение и освобождение гераклеотов, сочиненная Коккиным в ту ночь, когда он узнал о бегстве плененных гераклеотов из Галаты в Константинополь. Алексий благодарно принял свиток, твердо пообещав поэту:

— У нас ее переведут на русскую молвь!

— И... Вот еще! — прибавил Филофей, вставая.

— Что это? — вопросил Алексий, вглядываясь в греческие строки и бегло (он все еще не научился мыслить на чужом языке) переводя на русскую речь:

Соделались мы срамом для соседей наших,
Издеваются над нами окружающие нас,
Городами нашими чужестранцы владеют
Прямо на наших глазах...
Рассеяны мы по всем языкам и землям,
Отвергнуты, как дети, позорящие родителей,
Род лукавый и огорчающий.
Железо пронзило душу нашу,
Причислены мы к жертвенным овцам,
И нет избавляющего нас!
Господи, возврати наших пленных!
Спаси сыновей погибших...
Прореки им в сердце хранить мир взаимный
Ради них самих, ради церкви твоей, ради всех твоих людей.

— Что это? — повторил Алексий.— Как хорошо!

— Это о нас,— ответил Филофей тихо.— О нашей беде и тоске!

— И это мы сохраним в сердце своем, брат мой! — ответил Алексий и вновь светло взглянул в очи Филофею.

Когда, проводив Коккина, Алексий воротился к себе, обмысливая беседу, он по сердечной радости почуял, что в день сей обрел друга и ходатая пред лицом сильных мира сего. И теперь одно долило неизвестностью: как поведет себя Кантакузин?

Когда его через малое число дней позвали к царю, Алексий понял, что вот оно: подошло, прихлынуло наконец! Подступило! То, что сдвинет с мели застрявшее судно его посольства (сдернет или уж разобьет дозела). И что Кантакузин надумал наконец

нечто, для чего надобен он, Алексий (или Алексиево серебро — неважно! Русское серебро может дать только он!).

И уже провидя, почти провидя, что, почему и зачем занадобилось от него царю (досыти наслушал уклончивых греческих речей за эти глухие месяцы!), Алексий, хоть и привык сдерживать себя, почуял вновь юношескую щекотную сухость в ладонях, и настойчивый бой сердца, и твердоту во всем теле, как бы собираемом к битве духовным поводырем своим, высшим разумом, который заключен не токмо в голове, но и в сердце, и — прав Григорий Палама — в сердце прежде всего!

У ворот Влахернского замка Алексия со спутниками ждал церемониарий. Каталонская стража в литых панцирях и круглых шлемах с поднятыми забралами расступилась, бряцая копьями. Повелителя ромеев охраняли испанцы-католики.

Алексий бегло оглядел своих бояр, вздевших самые дорогие порты, невзирая на цареградскую слякотную теплынь — собольи шубы, и клир. (Оба попа, Василий и Савва, также приоделись в лучшее платье.)

Вереницею пройдя под аркой из тяжелых, гладко отесанных плит, вступили во двор. Здесь русичей встречали чины двора и сам Дмитрий Кидонис. В пурпурном, расшитом жемчугом скарамангии вышел встречу Алексию. Красивое лицо молодого сановника, обрамленное аккуратною, подвитою и умащенной благовониями бородой, было сдержанно-спокойно, как и во время прежних встреч, но в глазах читалось настороженное, внимательное и вряд ли дружелюбное любопытство. Был ли этот муж из Фессалоники, писавший некогда пылкие послания василевсу, проча ему славу и власть, а ныне — приближенный к престолу царя и правая рука Кантакузина, был ли он истинным другом повелителя ромеев и... благоволит ли к нему, Алексию? Подумалось с невольной тревогою, ибо от Кидониса слишком многое зависело при ромейском дворе!

Филофей Коккин, к счастью, был тут же и поклонился Алексию издали, когда сотрапезующие начали проходить в столовую палату дворца.

Гостей посадили на почетные места близ василевса, и смутная тревога Алексия несколько утихла. Вельможи, чины синклита, новелиссим, друнгарий и иные рас-

саживались согласно чинам и значению, блюдя обычай и ряд, так же как и думные бояре на Руси.

Кантакузин вышел к столу в шелковом алом дивитисии с широкими рукавами и разрезом спереди, расшитом пурпуром и золотыми цветами, и в золотом парчовом оплечье, но без хламиды и лора, в коих он показывался Алексию на торжественном приеме во дворце. Василисса Ирина, супруга императора, была зато в полном облачении: в голубой, сплошь затканной серебром далматике с широченными рукавами, концы которых опускались едва не до полу, в драгоценном оплечье, с перевязью-диадимою и в царском головном уборе. Матвей Кантакузин, крупный, в отца, с тяжелым и сумрачным взглядом, тоже в парче, но с простою нашивкою патрикия на хламиде, опустился в складное кресло рядом с матерью. Гости встали, приветствуя и славословя императорскую чету.

Царь выслушал «Славу», склонив чело, с едва заметною усталостью, и затем молча, мановением руки, велел всем садиться и приступать к трапезе. Пока слуги разносили блюда и кубки, а русские бояре неловко ковыряли рыбу вилками, сердито взглядывая на Алексия (на Руси век ели рыбу руками, вытирая пальцы нарочито разложенным рушником), творилась приличная застолью молвь, и все было словно бы как обычно, как пристойно, как и следует быть. Однако слишком виделось и другое — что, невзирая на исполненное славословие императору, присутствующие тревожно не уверены в нем и в себе. Минутами и речь и смех стихали и повисала напряженная, почти ощутимая по плоти тишина, такая, словно бы ее можно было потрогать рукой. «Чимпе!» — понял Алексий. То, о чем все знают и, зная, упорно молчат, ибо Чимпе, ежели турки не уйдут оттуда, это погибель Кантакузина, ежели не вовсе погибель ромеев...

Друнгарий флота вдруг отодвинул блюдо с плоскою морскою рыбой, залитою дорогим соусом, и сказал, сердито глядя на руки автократора:

— Повелитель! Моряки зело недовольны запретом служить на венецианских судах! Всепокорнейше прошу твое величие принять в слух сказанное мною, не гневая, иначе флот отшатнет от престола, как это уже делает наглая константинопольская чернь!

Стол словно бы замер, хотя разговоры на другом его конце и продолжались. Но все уши при этом явно

были повернуты к тому, что сделает или скажет император.

Кантакузин поглядел внимательно на друнгария, слегка нахмурил чело.

— Что ж они, когда Николай Пизанский бился с генуэзцами, не приняли участия в битве? Сражались только венецианцы и каталонцы, коих погибло больше всего! А наши корабли постыдно уклонялись от боя!

Друнгарий смолчал, густо и враз покраснев. Крупная доля вины в позорном неучастии греческих кораблей в морском сражении была и на нем.

— Мы дважды создавали флот, дабы раздавить Галату! — твердо отмолвил Кантакузин.

— Буря...— начал было друнгарий.

— Да, буря! Чума! Иные бедствия! — прервал его Кантакузин, слегка возвышая речь (и словно бы дальний гром подступающей бури зазвучал в отвердевшем голосе василевса).— Буря! А что свершили они, когда я лежал больной в Дидимотике и без меня, без моего догляда вы позволили генуэзцам напасть на город и уничтожить все наши с такими трудами построенные суда? Я просил у сограждан поделиться своим добром ради общего блага, собрать деньги на новые корабли! Галата иссушает нас, генуэзцы собирают на своих пристанях впятеро больше золота, чем мы! Страдают все! Гибнет ремесло, хиреет торговля, нечем платить армии! И что же? Сограждане дали мне так мало, что пришлось отказаться от борьбы с Галатой! Я не вижу в ромеях воли к победе! Не лучше ли тогда поладить с генуэзцами, чем заключать вновь опасный союз с Венецией, который может стоить нам слишком дорого, ежели Стефан Душан тоже воспользуется этим союзом!

Друнгарий флота так и не поднял глаз. Сказав, Кантакузин обвел застолье, ожидая, быть может, чьей-нибудь речи, но все старательно ели и опять тщились показать, что ничего, в сущности, не произошло.

Отложив вилку, Кантакузин обратился к Алексию с вопросом: кто будет теперь, после смерти Симеона, великим князем на Руси?

— Иван Иваныч, брат покойного! — ответил Алексий и добавил, поняв, к чему было вопрошание, что Джанибек мыслит утвердить Ивана на столе брат-

нем и на великом княжении, о чем была получена грамота. Кантакузин молча кивнул.

Дмитрий Кидонис в свою очередь поинтересовался, какие отношения сейчас у московитов с тверским княжеским домом, примолвив, что новгородцы хлопотали о передаче великого княжения в руки князей суздальских.

— Хан Джанибек был другом нашего покойного князя! — ответил Алексий, медленно и весомо произнося каждое слово.— Он не изменил этой дружбе и после смерти Семена Иваныча! Чаю, не изменит и впредь! Примолвлю к тому, что митрополия остается у нас, в Московском княжестве, нерушимо, почто и прошу я,— отнесся он к Кантакузину,— ваше боговенчанное величие утвердить совокупное, мое и покойного Феогноста, ходатайство о переводе кафедры митрополитов русских во град Владимир, столицу Залесской Руси!

— Перевести кафедру из Киева, порушить старину? Это скорее в ведении патриарха! — задумчиво ответил Кидонис за царя. И вновь вопросил, не давая Алексию отмолвить (по-видимому, он уже заранее знал и взвесил все, сказанное русским претендентом Филофею Коккину): — Со времен обращения Руси в истинную веру митрополия всегда пребывала в Киеве! И ныне в Великой Литве не меньше православных христиан, чем в Залесье. Где же должна, по-твоему, находиться кафедра митрополита русского, ежели не разделять митрополию?

(Алексий кожей, всеми нервами почуял напряжение, какое бывает в воздухе пред грозой: вот оно, главное! Мы или Литва?)

— Престол митрополита при князе-язычнике? — отмолвил он Кидонису, усмехнувшись.

— Ольгерд обещает крещение Литвы! — значительно возразил Кидонис.

Алексий едва заметно перевел плечами. Русские бояре и клирики уже давно оставили вилки и слушали, кое-кто даже приставя ладонь к уху.

— Верить Ольгерду,— медленно начал Алексий, оборачивая чело к императору,— возможно было бы, будь он язычник, но Ольгерд, к сожалению, уже крещен, один раз... и паки отринул Христа! Верить правителю, который говорит одно, а делает другое — опасно!

Кантакузин молча внимательно слушал, прямо глядя в лицо Алексию и, кажется, одобряя.

— Ведомо твоей царственности, что католики, едва вступив в Галицию, почали закрывать церкви божии, поиначив православные храмы на латинское богомерзкое служение! Отдельная литовская митрополия будет неизбежно поглощена латинами, ежели не найдет себе опору в единоверческой княжеской власти. Ты, Дмитрий,— отнесся он к Кидонису,— хочешь верить Ольгерду. Но он уже начал преследованья православных христиан у себя в Вильне, и уже явились первые мученики за веру, имена коих ныне утверждены в святцах константинопольской патриархией! Прибавлю, Вильна полна латинских патеров, ревнующих обратить Литву в католическую веру, и ежели это произойдет, возможет ли уцелеть сама митрополия киевская? Ведомо вам самим,— возвысил голос Алексий, обводя глазами слушателей,— потерпят ли православие латиняне! Разумно, как мыслится мне, было бы дождать, чтобы Ольгерд действительно привел Литву к православию, а уж потом решать, кому подчинить митрополичий престол!

Алексий вновь и прямо поглядел на молчаливо внимавшего ему Кантакузина и примолвил негромко, как бы к одному василевсу обращаясь:

— Русь щедра! Мы уже давали серебро на ремонт Софии. Нам ведомо, что заботы правления не позволили твоей царственности употребить оное целиком на нужды церкви. Мы готовы помогать и вновь... Мог бы и я вручить посильный лепт — как русский митрополит, конечно!

Кантакузин кратко кивнул, молча приняв сказанное, и, отводя речь от того, о чем многим не следовало ведать, вопросил в свой черед:

— Патриарх беспокоится, что мирские заботы правления оторвут нашего русского друга от дел сугубо церковных, коими надлежит ведать митрополиту Руссии!

— Государь! — возразил Алексий.— Василевсы почасту вмешивались в дела церковные, что не мешало им, однако, управлять государством ромеев!

Уста и очи Кантакузина тронула улыбка.

— Но, однако,— вопросил он, любуясь настойчивым русичем,— не зрим ли мы ныне перед собою ис-

тинного главу древней Скифии, ныне называемой Русью?

Алексий первым понял всю опасность высказанной мысли (ибо любой смертный, даже вознесенный на вершину власти, не многое может сотворить, а главное — обещать наперед, ибо не ведает дня и часа своего!).

— Нет, конечно, не на мне одном зиждет судьба русской земли! Земля — это народ: бояре, воинский чин, купцы и смерды; и ежели у народа есть силы к деянию, он находит и вождей надобных, и правителей, достойных себя! — (Это уже было едва ли не в око Кантакузину, но Алексий рискнул довести мысль до конца, а Кантакузин вновь показал свое величие, выслушав и не оскорбясь на правое слово.) — Поверь, повелитель, что Русь на взъеме, она молода и полна сил, не токмо не истраченных, но порой еще и не осознавших себя, лишь пробуждающих к деянию! Возможно задержать, возможно премного утяжелить наши стези, ибо поиски нового главы всегда оплачиваемы кровью сограждан, но остановить Русь ныне не можно! А Ольгерда в границах своих князь Симеон сдерживал, как ведаешь ты, даже не прибегая к силе меча!

— Ты почти убедил меня, русич! — задумчиво отмолвил Кантакузин, подъятием ладони останавливая раскрывшего было рот Кидониса.— Но что скажешь ты, ежели Ольгерд в свой черед потребует от нас учреждения своей, особой, литовской митрополии, чего литовские князья неоднократно старались добиться от ромейской державы?

— Государь! — воскликнул Алексий горячо.— Митрополия должна быть едина! Сам ведаешь, какие неслыханные беды посещают землю, в коей не обретено единой власти и паче того — единства духовного!

Кантакузин задумчиво поглядел в решительные, прозрачно-темные глаза русича, старого видом и такого пламенно-молодого душой, и ответил негромко, словно бы и не обреталось в палате иных председящих, только ему и для него одного:

— Ведаю, Алексие!

Китон василевса во Влахернах был совсем не так роскошен, как некогда китоны Большого дворца; и китониты, всего двое, совсем не торжественно, а быстро, по-деловому, разоблачили царя, отстегнув

оплечье, сняв с него расшитые дивитисий со скарамангием, которые тут же упрятали в деревянный плоский сундук для праздничного платья, и, задернув завесу, скрывавшую нишу в стене, где помещался гардероб царя, удалились.

Оставшись в одном льняном хитоне, Кантакузин почти повалился на высокое кресло с подножием и гнутыми подлокотниками и прикрыл глаза. Он устал.

Предстоял разговор с сыном. Тяжелый разговор, который уже невозможно было более отлагать.

Ирина вошла стремительная, огненноокая, прекрасная и в старости.

Подошла, приложила узкие прохладные ладони к его вискам. Когда-то это помогало, сейчас — нет. Кантакузин улыбнулся вымученной улыбкой; только перед нею позволял себе, да и то иногда, обнаруживать минуты слабости.

— Ты еще не решил, Иоанн? — спросила Ирина, бережно разглаживая мужу виски и массируя затылок. Он промолчал. Сегодня они его, кажется, заставят решить.— Этот русич настойчив! — проговорила Ирина, продолжая растирать и гладить голову мужа.— Он нравится мне! Я ведь из рода Асеней, не забывай! И во мне славянская кровь!

— Да, они молоды! — отозвался Кантакузин.

За дверью китона послышались тяжелые шаги Матвея. Ирина, отступив, уселась в гнутое креслице. Вошел Матвей. Большой, матерый. Второй сын Кантакузина Мануил, который нынче засел в Мистре, упорно вытесняя франков из Мореи, тот легче, светлее весь — и видом, и статью. И удачей! За Матвея, за его неуступчивый нрав и тяжкую судьбу, Кантакузину всегда было немного страшно. Матвей и сам чуял вечное невезение свое, почасту гневая оттого на родителя.

— Садись, сын! — устало произнес Кантакузин.

Матвей молча и грузно опустился на низкое, застонавшее под ним креслице. Кантакузин, приоткрыв веки, встретил хмурый, ждущий, заранее обиженный взгляд сына.

— Что будем делать с Чимпе, отец? — спросил Матвей.— С Сулейманом было всего восемьдесят человек! Не составляло труда выбить их вон из города! Теперь турок в Чимпе, как передают, уже три тысячи!

— Я не могу сейчас ссориться с Урханом. Иоанн Пятый, по слухам, уже побывал в Никомидии. Ежели Палеолог теперь наведет османов на империю — всему конец. Лучше попытаться выкупить Чимпе. Я уже отправил послов к Урхану.

— Чем?! — почти выкрикнул Матвей.— Казна пуста! Или ты рассчитываешь заплатить туркам русским серебром будущего митрополита Алексия?!

— И об этом я тоже подумал, сын, приглашая кир Алексия ныне! — спокойно ответил Кантакузин.

— Ты еще не решил, отец? — глухо спросил Матвей.

— Я уже отдал приказ перестать поминать Палеолога в славословиях и проставлять его имя в государственных грамотах! — сурово ответил Кантакузин.— Но Каллист решительно против твоего венчания на царство!

— Каллиста надо снять! — грудным, глубоким голосом отозвалась Ирина.— Палеолог начал с нами открытую войну! Прошедшей весной, когда он подплыл к Константинополю, я едва удержала стены города! Ему уже хотели отворить ворота! Армия требует объявить наконец императором Матвея! Почему ты не хочешь этого, Иоанн? Я не понимаю тебя!

— Меня никто не понимает! — отозвался Кантакузин с горечью.

— И я не понимаю тебя, отец! — опять вмешался Матвей.— Почему ты так упорно поддерживаешь Палеологов? После всего, что они наделали! После казней, пыток, предательства и войны!

— Супруг мой! — Синие глаза Ирины углубились и потемнели.— Я устала оборонять города! Когда я едва удерживала Дидимотику и слала тебе отчаянные письма, а измученные воины, не видя помощи ниоткуда, готовы были предаться врагу, ты продолжал прославлять Палеолога в каждом из своих хрисовулов! Гляди, как этот русич, Алексий, заботит себя, дабы власть была нераздельной и в единых руках! Устрой сына, и воины поверят в тебя, в нас, в дело Кантакузинов, наконец! Дело, которое не пропадет, ежели ты... ежели мы с тобою...— она задышалась, точно после бега, и смолкла, с глазами, полными слез, не в силах вымолвить жестоких слов о возможной смерти супруга.

Кантакузин стиснул ладонями инкрустированные резною костью подлокотники и весь подался вперед, почти выкрикнув с отчаянием в голосе:

— Пойми! Византия гибнет от этой вот постоянной борьбы за престол! Они там, в России, мнят себе: как устроить власть? Им еще ряд веков хлопотать об этом, а мы уже при Юстиниане Великом устроили все! Империю, синклит, войско, святость власти, финансы, администрацию, пышные церемонии двора... И не добились главного: строгой, в поколениях, продолженности, несменяемости власти! И всё! Все теперь разбивается о вопрос престолонаследия! Борьба за власть разрушает империю! Сколько усилий, средств и лет, сколько человеческих жизней унесли восстания Варды Фоки или Склира, Маниака, Торника и тьмы других! Сил не осталось на отражение внешней беды! И ведь все они знали, что священное место василевса может быть занято кем угодно! Заметь! Никто из них не покусился уничтожить саму должность императора ромеев!

— И ты?

— И я хочу не выиграть одну-две войны, не захватить вновь потерянные Палеологами города и фемы, я хочу спасти империю! Единственную в мире! Светоч веры! Наследницу великой эллинской старины!

— Ты на худшем камени мыслишь создать великое, мой супруг и повелитель! — возразила Ирина.

А Матвей выкрикнул бешено, ударив по колену кулаком:

— Палеологи предатели!

— Тем более! Камень, отвергнутый зодчими, идет в основание угла! Здесь, где меня Бог поставил спасти и утвердить династию, я и утверждаю ее!

— Войско думает иначе!

— Ты мыслишь, мы должны были сменить Палеологов?

— Да, отец!

— Но так думает всякий, рвущийся к власти! О себе! О своих успехах, талантах, удаче, мняще себя бессмертным в столетьях. Всегда только о себе! Довольно! Вспомни же наконец пример Господа нашего Иисуса Христа, отринувшего от себя венец и славу мира! Жизнь конечна, она лишь ступень перед высшим бытием! И ежели строить ее для себя, то лучше, разумнее всего — уйти в монастыры! Иначе

жизнь — подвиг и отречение! Да, да, отречение! «Возлюби Господа своего», а значит, дело свое, судьбы земли, грядущее — «паче себя самого», паче жизни! Когда укрепилась Македонская династия — заметь, династия, а не один человек! — правившая сто пятьдесят лет подряд, империя достигла своего величайшего могущества, отбросив врагов на западе, севере и востоке, воротив Италию, смирив болгар, продвинувшись вновь до Евфрата, вступив в Антиохию и Эдессу! А с концом Македонской династии мы вновь обратились в ничто!

— Но к власти, отец, Василий Македонский пришел, совершив два предательства: клеветою убрав правителя, кесаря Варду, и убив затем законного императора. Что было бы с ромеями, не сделай он этого?!

Кантакузин, отрицая, потряс головой:

— Иная пора! Иные указы времени! Нам надобна жертвенность! Ее не стало у ромеев! Убить — это нынче слишком просто! Апокавк мне это именно и предлагал! Слишком просто — и, значит, неверно! И потом, ты ошибаешься, Матвей! Македонская династия укрепилась не тогда, когда Василий зарезал на пьяном пиру своего благодетеля, а тогда, когда узурпаторы — правители страны Роман Лекапин, Никифор Фока и Иоанн Цимисхий, даже приходя к власти, даже возлагая временем корону на голову свою, упорно сохраняли династию, не отторгая от царствования ни Константина Багрянородного, ни его потомков, коим позволили в конце концов занять законный престол!

Пойми! Я был самым близким и дорогим другом покойного Андроника Третьего! Я был его советником, поверенным всех его мыслей. Мы были больше чем Орест и Пилад! Анна и до сей поры упрекает покойного мужа, что он любил своего фаворита, меня, больше жены и детей. Я подписывал указы пурпурными чернилами, в походах жил в палатке самого царя, делил с ним стол и одежду. Я спасал его не раз и не два! Когда он, больной, лежал в Дидимотике, мы с матерью за свой счет нанимали отряды, прогнавшие турецких наемников Андроника Старшего!

Андроник сам назначил меня хранителем престола. На смертном одре он завещал императрице: «Не поддавайся обману и неверным суждениям некоторых людей, что тебе следует расстаться с этим человеком.

Если это случится, погибнешь ты и дети, погибнет сама империя». Двадцать лет! Более двадцати лет мы были вдвоем!

Да, я знал, что Анна неумна, вспыльчива, мстительна, ревнива, подвержена страстям, падка на лесть, а в злобе способна на страшные жестокости, более того, что она ненавидит греков и по-прежнему предана своей родине и римскому католическому престолу, но не женщина должна была править страной, а род Палеологов! И не из Савойи родом был патриарх Иоанн, у которого, даже по словам моего хулителя Грегоры, только и было священнического что пастырский посох да одеяние! Иоанн, сделавший все, чтобы подвигнуть Анну на борьбу со мною! Уверявший василиссу вместе с Апокавком, что завтра-де Кантакузин всех вас убьет!

Когда я возложил после смерти друга корону на свою голову, у меня не было иной цели, как упрочить престол мальчика — юного сына покойного Андроника! Да, во всех указах, даже и в продолжении гражданской войны, я ставил имя императора Иоанна Пятого и его матери Анны на первое место, а свое — на второе. Я дрался не против Палеологов, а за Родину и за них!

— А они,— перебила мужа Ирина,— едва ты, наведя порядок в армии, уехал спасать империю, вонзили тебе нож в спину, конфисковали наше имущество, похватали твоих сторонников, разграбили их дома и усадьбы!

— Это Апокавк...

— Да! Ты верил ему, ты и эту змею, Апокавка, считал своим другом! Ты позволил ему вернуться в Константинополь! И вот они навели на нас турок Урхана, едва не отдали Душану всю Грецию! Для борьбы с тобою Анна пожертвовала даже церковными ценностями, были проданы образа, посуда, драгоценные украшения, оклады икон отправлены в переплавку! На этом неслыханном разграблении дворца кто только не наживался! Тебя самого, нас всех травили, как диких зверей, имя твое предали анафеме, навели болгар, раздавали направо и налево земли империи! Кралю сербскому Анна обещала всю Македонию до Хрисополя, турки безнаказанно уводили пленных, рыдавших у стен Константинополя! Тысячи убитых, заброшенные поля, потерянные провинции... И всему этому Анна радова-

лась, говоря, что Кантакузину, если он победит, меньше достанется крепостей!

— Апокавк твоими сторонниками заполонил все узилища,— вмешался Матвей,— построил новую тюрьму прямо во дворце, где и был убит доведенными до отчаянья узниками! И что же сделала твоя Анна? Натравила на восставших родню Апокавка, взяла штурмом дворец, пьяная толпа злодеев убивала всех подряд, несчастных резали даже в алтаре церкви! Трупы наших друзей рассекали на куски, головы и руки убитых носили по улицам. Тех, кто осмеливался пожалеть покойных, по приказу Анны били плетьми! Даже когда ты победителем стоял у ворот Влахернского замка, Анна не хотела сдаться и на все уговоры отвечала грубой бранью! И теперь, вступив в Константинополь, ты объявил амнистию всем, разрешил Анне по-прежнему жить в тех же палатах дворца рядом с тобою и ничем не вознаградил своих пострадавших сторонников!

— Что же, они хотели бы, в свою очередь, грабить имущество противников и убивать?! Имя Христа у нас на каждом углу, а призывы его позабыты всеми!

— Но, отец!

— Они забыли, что я простил василиссе Анне смерть собственной матери! Вашу бабушку, Феодору, уморили в тюрьме по приказу Апокавка и Анны! Никто не смеет сказать, что его ноша тяжелее моей!

— И подарил наше родовое гнездо, Дидимотику, Палеологу! — гневно воскликнул Матвей.— А он за то пошел на меня войной и опять призвал врагов империи!

— А когда ты вызвал Сулеймана на помощь,— поддержала Ирина сына,— они стали кричать по всему Константинополю, что мы, именно мы, наводим турок на империю! Тебя ненавидит вся константинопольская чернь и половина синклита, тебя не поддерживает даже Григорий Палама, и он, вкупе с Каллистом, хлопочет о «примирении» с Палеологом! Вот чего ты достиг своею любовью!

Наступило молчание. Кантакузин, сгорбясь, прикрыл лицо рукою.

— Никто, никто не хочет понять! — прошептал он.— Когда я просил помощи у Урхана, он прислал мне своего палача, чтобы удавить Палеолога, сына государя, коему я был другом, коему поклялся сохра-

нить семью! И, страшно сказать, мне кажется иногда, что — удави я его, заточи в монастырь Анну, это все поняли бы и приняли...

— Да, отец!

— Но тогда все даром, и не надобно все, что делал и делаю я! И, значит, империю не спасти... Не из-за врагов! Я в конце концов сумел отразить и болгар и сербов Душана! Но сами ромеи теперь стали худшими врагами своей империи! Порою я думаю, что и спасать уже становится некого на нашей земле!

— Я верю тебе, отец! — возразил Матвей.— Но скажи, многого ли ты добился своей верностью? Нынче никто никому не верен! Апокавк, когда ты отказался по его совету погубить Палеологов, тотчас перешел на сторону Анны и стал губить твоих друзей. Турки нынче захватывают Чимпе, хотя прежде ты говорил и торжественно обещал, что они никогда не переступят проливов!

— Сельджукский султан Омарбег был верен мне до последнего дня! С ним я не раз спасал Фракию от Душана!

— Омарбег мертв. А османы много опаснее сельджуков! Урхану ты отдал в жены Феодору, нашу сестру. Отдал христианку мусульманину, молодую девушку — старику. Елену ты отдал в жены Иоанну Палеологу, а он ее пытался подарить Стефану Душану как пленницу, женившись вновь на дочери нашего врага! Палеолог, получив Дидимотику, тотчас осаждает меня в Адрианополе... За твое благородство платим мы все, твои дети, отец! Почему ты вновь замирился с генуэзцами после всех пакостей, чинимых ими священному городу? Почему не поддержал Пизано, в конце концов?

— Почему?! И это вопрошаешь ты, Матвей, сам стоявший с войском у Галаты? Почему! Потому, что победила бы Венеция! Не мы, не ромейская держава! Венецианцы при доже Дандоло, натравившем рыцарей на империю, достаточно показали, чего они стоят! Они так же схватили бы нас за горло, как и Генуя, а сверх того — затеяли бы войну на море! Отдать Галату Венеции — не то же ли одно, что генуэзцам, если не худшее зло!

Я помню прошлое, а греки теперь не способны даже на это! Никем не помнится даже гераклейский

позор! Им хочется служить на венецианских кораблях... Зачем тогда надобна империя, боже мой?!

Они устали от прежнего величия... Нам уже слишком дорого давалось удерживать Азию... Чернь ропщет, динаты разорены, торговля гибнет... И при этом — роскошь власть имущих, погоня за развлечениями, жажда жить сегодняшним днем... И — ненависть!

Да! Я отдал жизнь собственной матери этой неистовой в страстях итальянке Анне, ныне я подарил Палеологу Дидимотику — неужели и этого мало, чтобы научить вновь верить друг другу, без чего нам уже не жить!

Судьба! Я строю флот — его разбивает бурей, я восстанавливаю империю — ее опустошает чума...

Видит бог, я не хотел ни войны, ни вражды! Когда умер Андроник, когда на первом же заседании синклита враги начали оскорблять меня, я подал в отставку и ушел, сам! И что же? Солдаты явились во дворец приветствовать Кантакузина, осыпая угрозами патриарха Иоанна, и василисса Анна сама послала за мной! Просила заступиться, утишить бунт (Бунт! Лишь только я появился, смятение тотчас утихло и буря улеглась). Меня сама Анна упросила вернуться к власти! Я поселился с ее детьми во дворце, окружил семью василевса стражею, дабы никто не осмелился свергнуть вдову Андроника с престола. Теперь мне и это ставят в вину! Винят, что я грабил города, облагая налогами...

— Ты тратил деньги, спасая империю! — вновь вмешалась Ирина.— А василисса Анна меж тем заложила драгоценности греческой короны венецианцам для того только, чтобы нанять войско османов против нас!

— А они разграбили пригороды Константинополя, и опять виноват ты, а не Анна!

— И теперь Палеолог раздает острова и снюхивается с османами!

— Отец, родина ждет твоего решения нынче, теперь, иначе будет поздно!

Кантакузин смотрел на них обоих молча. И это самые близкие ему люди. Самые дорогие. Ближе — нет. Спросил наконец сына, тяжело понурясь:

— Чего хочешь ты?

— Того же, чего и армия. Чтобы ты короновал меня императором!

— Для того, повторяю вновь, надобно сместить Каллиста.

— Смести! И сверши!

— Ты не мыслишь, сын, что это будет началом конца?

— Ты забываешь, отец, еще об одном,— наступчиво возразил Матвей,— о Руси и о кир Алексии, у которого есть серебро и которому нужно утвердиться на престоле митрополита русского! Чего также не допускает Каллист!

— Уступи сыну, отец! — с мягким, но неодолимым упорством попросила Ирина.

Кантакузин затравленно поглядел на нее и промолчал, низко склонив голову.

Запрет поминать в славословиях Палеолога и слух о близкой коронации Матвея всколыхнул всю патриархию. Не было, казалось, ни догадки, ни участия, ни хотя бы понимания подступившей к порогу василевса трудноты. Было злое торжество: «Вот он наконец-то! Скинул волк овечью шкуру! Показал истинное лицо!»

Каллист произнес в Софии громовую проповедь, где, правда, не называя имен, обличал «неправых и лукавых рабов, мнящих обадити и истребити власть имущих, поставленных от Господа», после чего вскоре совлек с себя патриаршество и удалился в монастырь. Сделал он это картинно, в соборе, после службы, в присутствии клира и толпы прихожан, объявив, что не возможет увенчать короною недостойного. И тут же, сняв дорогое облачение и обувши дорожные сандалии, с посохом в руках, благословив на прощанье всех присутствующих, вышел в путь. Греки теснились по сторонам, забегали сбоку, прося благословить напоследях, а пастырь шел наступчиво вдоль по Месе, запахнув плащ, в долгой дорожной далматике, и никто не смел его остановить, ни отогнать толпу прихожан, следующих за своим патриархом.

Алексий, глядевший на все это действо с хор, почувствовал даже симпатию к гордому старцу и ожидал, что в многочисленных секретах патриархии, особенно в секрете великого хартофилакта, а также в секретах великого скифилакоса и сакеллария, где было большинство противников Кантакузина, услышит он теперь возмущение произошедшим и сожалительные слова

о старом патриархе,— ничуть не бывало! Все, словно переменившись в течение одного дня, только и говорили о жданном назначении Филофея Коккина. (Хотя Кантакузину надобно было выбирать одного из трех кандидатов, в том, что он выберет Коккина, сомнений не было ни у кого.)

Алексию стало муторно от этой мгновенной переменчивости греков. Он ушел в триклин Фомаит, где помещалась патриаршая библиотека, сидел над развернутой рукописью Златоуста и думал, и будущее уже не представлялось ему таким радостным, как еще вчера.

Зима проходила трудно. Погода стояла мерзкая. Холодный ветр с Пропонтиды наносил не то дождь, не то снег. Как это было не похоже на веселое русское Рождество!

Переговоры Кантакузина с турками затягивались, хотя он и предложил за Чимпе огромную сумму в десять тысяч иперперов. (Впрочем, значительную часть золота Кантакузину, о чем мало кто ведал, давала Москва[1].) По слухам, василевс собирал войско, чтобы изгнать Палеолога с Тенедоса, меж тем как василисса Анна продолжала спокойно сидеть в Константинополе, во Влахернах, в соседстве с самим Кантакузином, и пользоваться всеми своими прежними привилегиями. Все это тревожило и было малопонятно.

Отошли Брумалии и Календы, на Руси превратившиеся в «коляду». Ряженые (мужики, переодетые бабами, и жонки — мужиками) бродили в личинах из дома в дом, пировали, пили, выпрашивали дары. Вином торговали во всех маленьких харчевнях, звучала музыка, славили и пели разгульные песни, водили ученых медведей и дрессированных собак, на перекрестках зазывалы приглашали посмотреть представления мимов и плясуний... Город жил, не ведая или не желая ведать нависшей над ним беды.

---

[1] Мы можем полагать об этом достаточно твердо, ибо в казне василевса ромеев золота не было совсем, и уже прежний Симеонов присыл, о чем сохранены летописные известия, пришлось Кантакузину употребить для расплаты с турецкими наемниками. А что касается василиссы Анны, то она еще в пору гражданской войны спустила все ценности короны венецианцам, оставив победителю одни голые стены дворцов. На строительство флота Кантакузин просил денег у граждан Константинополя. Тут же ни о каких общественных сборах не было речи. Источник предполагаемой выплаты мог быть только один — московское серебро.

Алексий в эти дни трудился особенно напряженно. Он уже добрался до Евангелия от Иоанна и теперь, когда сам переводил знакомые строки, переживал заново и по-особому углубленно огненные слова евангелиста, бывшего любимым учеником учителя истины. «Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»,— читал Алексий, будто бы и про себя и в укор себе: все ли он сделал для Руси, для земли и языка своего? По редким известиям, с трудом доходившим до Константинополя, на Москве творилась какая-то нелепица, и следовало скорее, скорей возвращаться назад! Но возвращаться — только победителем. Он и погибнуть теперь не имел права!

С Филофеем, который деятельно готовился к поставлению, они теперь почти не встречались. Гераклейский митрополит явно до времени избегал долгих бесед с Алексием.

Собор, утвердивший наконец кандидатов на патриарший престол, состоялся в конце февраля. Было много споров. Приезжал сам Григорий Палама из Солуни. И Алексий сумел, хотя и мельком, повидать знаменитого проповедника и даже перемолвить с ним. Кантакузин, как и ожидалось, из троих ставленников избрал Филофея Коккина.

В Галлиполи для покупки церковных святынь Алексий отрядил священника Василия с дьяконом и Станяту. Духовные немного робели, а Станька был рад безмерно, и уже виделось, что он поведет всю братию за собой. Отплыли на легкой парусной лодье с небольшим навесом, где можно было спать и кое-как стряпать себе еду в глиняной походной печурке.

Греки — их было четверо на лодье — подняли парус, враз упруго выгнувший грудь по ветру. Лодья пошла ходко, вспенивая волну. Станята, с удовольствием вдыхая влажный соленый ветер, долго стоял на корме, махая шапкой провожавшему их Алексию, пока башни Константинополя не стали тонуть за волною и маленькая фигурка на берегу вовсе не исчезла в отдалении.

Все дальше и дальше уходили скалистые берега, холодный ветер пахнул зимой и родиной, и сладко было ощущать качание моря, сладко глядеть в дымчатую, тающую даль неба и воды.

Старый грек покрикивал на молодых помощников.

Укрепив парус, греки достали оплетенную корчагу с вином, мигнув, подозвали Станяту, тот не стал отказываться. Предложили выпить и клирикам. Дьякон с удовольствием приложился к глиняной бутыли, а поп Василий лишь отрицательно покачал головой — его мутило.

— Мне, Станята, теперича, — признался старик, веселым слезящимся глазом взглядывая на новгородца,— иная посудина надобна!

Ветер был свеж, и моряки, от которых пахло дегтем и рыбой, порешили не заходить в Гераклею.

— Ходом к ихним островам пойдем! — объяснил Станята старику Василию, а тот только умученно кивал головою. Ему уже не пораз приходилось высовывать голову за борт.

В полдень поснидали печеною рыбой и ячменным хлебом, запивая то и другое темным греческим вином. Низило солнце, крепчал ветер. Греки, усевшись в кружок, пели что-то свое, высокими голосами с горловыми украсами, схожими с восточным, быть может турецким, пошибом. Поп с дьяконом дремали, прижавшись друг к другу. А Станята все глядел, вольно вдыхал полною грудью ветер, и все не проходила, длилась и длилась в нем беспричинная радость бытия.

Солнце угасло, облив на прощание полнеба густеющим красным пожаром. Лиловые тени, смешиваясь с туманом, заволокли окоем, и вот уже первые звезды начали свой мерцающий хоровод в высоком бледном эфире, меж тем как тьма, подкрадываясь, сочилась над самой водой.

К островам подходили уже в полной темноте. Упруго пели под ветром где-то высоко, на урыве скалы, греческие низкорослые сосны, одним черным узорным очерком проглядывавшие отсюда, с воды, на фоне бархатно-синего неба.

Грек-хозяин поднял над головою слюдяной фонарь. С берега ответили, размахивая таким же фонарем. Потом на причале запалили костер. Греки роняли паруса, опускали в воду тяжелые длинные весла.

Скоро вся троица русичей сидела в каменной хижине у очага, отогреваясь и хлебая из глиняных мис дымное варево, поданное горбатой старухой работницей.

Духовным хозяева отдали деревянную кровать (и напрасно, отец Василий после жаловался, что клопы заели совсем), а Станята, избрав благую долю, вышел

в хлев и пристроился на соломе в углу, где и выспался преотлично под вздохи осла с коровою, в соседстве с козами, но зато вдали от зловредных насекомых.

Утром все было в холодном тумане и росе. Выйдя во двор, Станята поежился. Странная у них тут зима! Прежняя горбатая старуха в сером шерстяном хитоне шла через двор и молча покосилась на Станяту. Зашла под навес и, наклонившись почти до земли, стала черпать вино из большого, врытого в землю пифоса. Начерпала кувшин и, поставив его на плечо, понесла к дому.

Скоро в каменном очаге запылал огонь. Искусанные русичи выползли на свет божий, с завистью оглядывая Станяту, избежавшего дорожной кары. Греки, ходившие вычерпывать воду из лодьи, расселись в кружок вокруг грубого дощатого стола. Вышел носатый хозяин, зевая, поздоровался с русичами. На столе явились хлеб, вареная капуста, соленые оливки и рыба, снова по кругу пошло разбавленное водою темное греческое вино, и, когда восстающее солнце начало пробивать плотную завесу тумана, путники, завершив трапезу, уже вновь забирались в лодью. Стихший к полуночи ветер с зарею посвежел, весело надувая просмоленный рыжий парус, и остров с редкими сквозистыми соснами на вершинах скал, напоминавшими о вечности, скоро сокрылся в отдалении неба, воды и белесого утреннего тумана.

Вечером второго дня подходили к Галлиполи. Берега сузились. Город, расположенный у самой воды, в сумерках был трудно различим. Только разноголосый собачий брех да редкие огни по-за стеною говорили о размерах поселения.

Ворота уже были затворены, и кабы не греки, проведшие русичей укромною калиткою в городской стене, где сводчатый лаз почти царапал головы, путникам пришлось бы заночевать на берегу. Долго искали знакомого иерея, к коему было письмо из патриархии, долго стучались в ворота, долго не открывал хозяин, испуганный ночною суетой. (Тут, как выяснилось, все боялись нежданного набега турок из Чимпе, и потому каждый дом к ночи превращался в маленькую крепость.)

С утра началась беготня по городу. На мощеный дворик ихнего галлиполийского хозяина Станята являлся едва не затемно. Отец Василий изнемогал и

больше посиживал дома, охраняя шкатулку с серебром, а дьякон, скупой на слова, но толковый мужик с веселым прозвищем Ноздря (по имени его никто, кажись, и не называл), тоже, как Станята, совался из лавки в лавку, разыскивая перекупщиков, сумевших уже, как оказалось, и с турками из Чимпе завести торг, скупая у них краденую церковную утварь.

Ноздря и обнаружил ту, слоновой кости, резную иконку Спасителя с предстоящими, из-за которой у них восстала пря едва не на целую ночь, ибо отец Василий отказался платить за нее: «бо всех драгих вещей в Константинополе все одно не скупить, а серебро надлежит, по слову Алексиеву, тратить токмо на писаные иконы и книги». Но в конце концов оба совокупными усилиями убедили старика. Иконка была и вправду чудной работы. Но уже добившись своего и купив, оба, Станята и дьякон, крепко задумались: одобрит ли их куплю Алексий?

Иконы были, икон было много, и древние, и недавние, разных писем — из Цареграда, Солуни, Никеи и Никомидии, с Кипра и даже из армянской Киликии и Антиохии. Но то запрашивалась несусветная цена, то троица русичей после долгих пересудов и споров сама отступалась, находя, что икона «не казовита» или же «не про нас». Пока еще только несколько образов — поясной Никола, Благовещение, Оранта да деисусный чин, добытый с великими трудами у прижимистого грека,— украшали покой русичей, тесную каменную клеть под камышовою крышей с единым окошком на задний двор, уставленный рядами полуврытых в землю пифосов с вином, пшеницей и оливковым маслом.

Город жил своею обычной жизнью. Ковали, чеботарили, торговали и ругались ремесленники и купцы; крестьяне в одеждах из козьих шкур привозили на рынок сыры, битую птицу, овощи и оливки, приводили осликов, груженных огромными охапками хвороста; рыбаки предлагали свежую рыбу в плетеных корзинах. Греки покупали, спорили, суетились, варили и жарили, к ночи разбегаясь по своим каменным или плетенным из камыша и обмазанным глиною клетушкам, крытым где черепицею, а где и попросту соломою да тростником. Стража становилась у запертых ворот, и городок засыпал, чутко вздрагивая от каждого звука подкованных конских копыт в застенной пугающей темноте.

Турки иногда подъезжали снаружи к башням, кричали что-то по-своему и смеялись, хлестнув коней, уносились прочь. И опять было непонятно: что это? Война или не война?

Ту, «дивную», как потом называли ее, икону Станята нащел не вдруг, а уже, почитай, перезнакомясь со всеми торговцами церковным товаром, узнавши, что почем и где можно достать.

Грек Никита Стифат, коего они с Ноздрею по-своему перекрестили в Стипу, показав образ, запросил двести иперперов, цену немыслимую ни по каким законам естества, хотя как только Станята узрел этот крупный лик ангела, с прядями золотых волос, окаймивших лицо самой совершенной неземной красоты, и завораживающим колдовским взглядом мягко-огромных глаз, то и понял, что образ надобно добыть во что бы то ни стало.

Станята и отца Василия таскал в лавку Стипы, и самого грека часами уговаривал уступить, но тот уперся твердо, ни в какую не сбавлял даже и первой названной цены. Станька аж похудел с того горя.

— Отступись! — пенял ему, жалеючи, отец Василий.

— Не отступлю! — мотал головой Станята.— Украду лучше!

— Зарежут тогда нас с тобою тут, тем и окончим! — возражал Василий.— И серебро отберут за так!

В тот день второго марта, Станята с утра сбегал на рынок и только еще собирался жарить рыбу на угольях, по-гречески, когда отец Василий зачем-то позвал его в дом. И первое, о чем почудило грехом, что Ноздря замыслил какую шутейную каверзу, пото и налетел сбоку, пихнув изо всей силы в плечо. Станята, не долго думая, развернулся дать приятелю плюху, однако не устоял на ногах. Каменный пол дернуло из-под него, плиты расселись, а иконы начали одна за другой валиться со стены вниз, и сверху на головы им посыпались глина и камышовая труха. Мало соображая, Станята ринул к стене спасать иконы, но стена на глазах качнулась и начала распадаться на отдельные камни.

Дьякон почему-то оказался у него в ногах, а самого Станьку бросило головою вперед, туда, где под обрушенным столом жалостно вопил отец Василий: «Станюша, помоги!» Станька подхватил старца под мышки и, отмахиваясь от целого дождя камыша с

глиною (крыша, сообразил он, падала им на головы), ринул к выходу.

Во дворе, покрытом извилистыми трещинами, земля вновь вздрогнула, швырнув его навзничь. Над городом стояли гул и грохот и разноголосый вой. Из дверей обрушенной ихней хоромины полз дьякон с безумно вытаращенными глазами, прижимая к себе ларец с серебром.

— Трус! Землетрясение! — первым сообразил Станята, припомнивший рассказы греков о трясении земли в Константинополе. И тут у него в голове родилась отчаянная мысль.

— Ройте тута! — прокричал он отцу Василию с дьяконом, а сам, схватив из рук дьякона ларец и выхватив оттуда, не считая, малую горсть серебра, стрелою вырвался за ограду.

Заячьим скоком — земля то и дело вздрагивала, сбивая его с ног,— Станята помчался вверх по улице, расталкивая мечущийся народ, смятенных мужиков и простоволосых жонок, туда, туда, за поворот, первый, второй... Не опоздать бы только! Удар как будто в самые подошвы подкинул его вверх и обрушил в кучу пыли и мусора. Видимая в конце улицы башня городской стены на глазах расселась надвое и рухнула, подняв облако пыли. Какие-то мелкие камни, обломки падали, рушились со сторон. Но Станька, вставши сперва на карачки, с запорошенными глазами, все-таки поднялся и вновь побежал.

Наконец — вот он! Но что это? Стипиного дома не было. На месте хором высилась груда искореженных бревен и камней. «Неужели погибла?» — охнул про себя Станята и кинулся прямо в колышущиеся, рассыпающиеся развалины, бешено разгребая доски и сор на месте иконной клети.

Откуда-то вывернулся рыдающий, растерзанный Стипа с криком: «Помоги!» Станята, опомнясь, помог ему приподнять рухнувшую балку. Вытащили еще живую Стипину жену, всю в крови, и двоих оставшихся целыми, перепуганных до смерти малышей. Баба кончалась. Неведомо отколь взявшаяся старуха (как и уцелела, карга?) начала причитать. Станята, прихмурясь, помог прибрать мертвую, постоял и все же, сжав зубы, начал разбирать завал над Стипиной кладовой. Грек то плакал над женою, то бестолково совался к Станьке, а тот, жмурясь от пыли, выдирал

и швырял греку то одно, то другое: платно, корчагу, измятый и замаранный каравай хлеба...

Так он работал молча и рьяно час, и наконец стали показываться иконы — иные расколотые пополам, иные с попорченной, порванною паволокою и сбитым левкасом. Грек, вновь подошедший к нему, начал завороженно принимать от Станьки иконы одну за другой. Глубже, глубже... «Лишь бы не ухнуло еще раз!» — молился Станька. Наконец показалось «то». Образ был цел. Станята сел на камни и впервые отер грязное потное лицо порванным рукавом рубахи.

— Беру его у тебя! — сказал Станька сурово греку. Тот, не в силах еще обмыслить все зараз — и смерть жены, и гибель дома,— тупо покивал головой. Станька скинул с плеч свиту, завернул ею образ, обвязал поясом и взвалил себе на спину. «Теперь пусть хошь и трясет, не отдам!» — мысленно пообещал он. Грек кинулся было следом, расставя руки, но Станька свирепо глянул на него, рыкнув, аки медведь:

— Жонку, детей тебе выволочил! Иконы, гляди, отрыл! Да и... заплачу! Вот, держи... сколь тута есть...

Грек, приняв серебро, остоялся, растерянно глядя вслед рысью убегающему русичу, так и не понимая еще, помогли ему или ограбили?

Турки появились нежданно-негаданно, и разом, еще ничего не поняв, жители побежали вон из города. Ревели ослы, плакали дети и кричали женщины. Греческие воины отступали, не принимая боя.

Трое русичей, брошенных на произвол судьбы (ихний иерей-хозяин так и пропал невестимо), не ведали, что им вершить. Сообразили, впрочем, припрятать серебро — и вовремя. Во двор верхами въехали двое турок, потом еще пятеро. Некоторые соскочили с коней и, словно не замечая русичей, принялись ворошить развалины, выискивая добро. Один на заднем дворе присел у пифоса и, воровато озрясь по сторонам, черпнул пригоршнею вина и выпил, потом обтер усы и, оглянувшись, не узрел ли кто из братьев-мусульман, лихо вскочил в седло. Русичей грубо ощупали, с отца Василия содрали дорогой цареградский зипун, у Станяты турок отобрал шапку. На иконы никто из воинов не обратил и внимания. Думалось — пронесло. Но тут черный усатый турок вдруг развернул аркан и, накинув на плечи дьякона, поволок Ноздрю за собой. Станята ринул следом. Увернувшись от плети и вто-

рого аркана, он бежал по улице, крича то по-гречески, то по-татарски:

— Поп! Пресвитер! Мулла! Нельзя! Суфий! Нельзя трогать!

Но турок, словно не понимая, рысил вперед, волоча за собою дьякона, которому приходилось, дабы не упасть, бежать за конем вприпрыжку.

Так, догоняя дьякона, Станята вылетел вслед за турками на площадь и чуть не врезался в высокого всадника в простых холщовых шароварах и рубахе, но в красных сапогах и на дорогом коне, с богато отделанною сбруей, который ехал во главе кучки окольчуженных воинов, вольно опустив поводья и поглядывая по сторонам орлиным взором повелителя. В ухе всадника сверкала украшенная бирюзою серьга. На лихо заломленной шапке перо было укреплено золотою пряжкой с крупным алмазом.

«А, будь что будет!» — подумал Станята и, как в воду кидаясь, уцепился за стремя всадника:

— Князь! Великий хан! — закричал он.— Окажи милость! Русичи мы! Гости! Вели свободить дьякона нашего! — Он тут же повторил все по-татарски.

Сулейман (это был он) удивленно поднял бровь. Обернувшись к своим, спросил:

— Что говорит этот грек?

— Не грек я, русич, русич, Руссия! Москов! Золотая Орда! Хана Джанибека подданный!

Сулейман плохо понимал по-гречески, но когда ему перевели, всмотрелся в Станяту пристальнее, по рубахе и портам признал, что перед ним не грек, а услышав имя хана Джанибека, подумал, прищурился и кивнул головой, примолвив кратко:

— Освободить!

Тотчас освобожденного от веревки растерзанного Ноздрю поставили рядом со Станятой.

— Кто ваш господин? — спросил Сулейман.

— Наш господин великий князь московский, а сам он подданный царя Золотой Орды хана Джанибека! — ответил за обоих Станята.

— И что вас занесло сюда? — насмешливо вопросил Сулейман.

— Иконы купляем, книги церковные! — вновь ответил Станята.— В нашу землю везем!

— И много у вас серебра? — усмехаясь, продолжил Сулейман.

— А почитай, все и растратили! — возразил Станята.— Накупили икон, а ныне и домой ехать не на чем!

— Домой, это в Константинополь? — уточнил Сулейман.

— Ага! — Станята неотрывно глядел в голубые беспощадные глаза Урханова сына, чуя нутром, что эдакто лучше.— Набольший наш, митрополит русский, тамо сейчас, ставиться приехал!

Сулейман раздул ноздри.

— А ежели я прикажу обыскать вас обоих и обнаружу золото? Греки так изолгались, что их приходится нынче поджаривать на огне, чтобы из них закапало наконец золото!

Воины дружно расхохотались шутке своего повелителя, и Станяте стало муторно, а у дьякона так и вовсе повело в глазах.

— Твои воины уже обыскали нас! — ответил Станята.

Сулейман расхохотался, довольный.

— А ты молодец,— примолвил он,— не трусишь! — И, согнав улыбку с лица, выговорил важно: — Передайте вашему большому попу, пусть он скажет самому Кантакузину, что десять тысяч иперперов за Чимпе мне теперь мало! Я хочу получить в придачу всю Фракию! Видел ты это, русич?! — продолжал он с сумасшедшим блеском в глазах.— Стены города пали, греки бегут, а мы наступаем! Ваши боги мертвы! Велик Аллах!

Воины дружно подхватили мусульманский клич. Сулейман натянул повод, отстранился, подумал и примолвил, взмахнувши рукой:

— Дайте этим русичам осла, пусть увозят свои иконы, и мой фирман, чтобы их не раздели дорогою!

Ослов, потерявших хозяев, растерянно бродивших по захваченному городу, было много. Им тут же подвели одного из них.

Получив грамоту, весь переполненный радостью (пока писец, не слезая с седла, готовил фирман, он все показывал турку на пальцах: трое, мол, нас, трое!), Станята, ухватив осла за повод и дьякона под руку, повлек обоих к разрушенному дому, где отец Василий терпеливо и безнадежно сожидал или возвращения спутников, или какого иного последнего конца.

С фирманом за пазухою стало можно жить. Раз-

делив натрое остатнее серебро и завернув в онучи, они начали собирать уцелевшие иконы, укутывая их в любое попадавшее под руку тряпье, и увязывать вервием. Икон и книг набралось неожиданно много, и осел едва не зашатался под тяжкою ношей.

— Не сдюжит! Повозку нать каку ни то! — произнес, опомнившись, дьякон.

С повозкою (нашлась одна с отвалившимся колесом) провозились до вечера. Руки, однако, были привешены как надо, что у Станяты, что у Ноздри, и к вечеру возрожденная повозка уже стояла, доверху нагруженная и готовая к походу. Только тут все трое почуяли, что надо немедленно поесть, и принялись рыскать по клетям. Нашли сыр, сухари, овощи, прихватили корчагу вина.

Раз пять к ним во двор заезжали турки, смотрели фирман и, пожимая плечами, поворачивали и пускали вскачь. Читать из них, по-видимому, никто не умел, но печать Сулеймана действовала безотказно.

...Только к исходу ночи путники, сбившие в кровь ноги, серые от устали и дорожной пыли, догнали отступающее греческое войско.

В ночи раздавались стоны и плач, скрипели на разные голоса повозки, беженцы шли и ехали, в панике оставляя свои хижины. Гнали скот. Надрывно блеяли козы. Греческие воины молча шли за потоком беженцев, прикрывая уходящих с тыла и с боков.

В канавах по сторонам дороги валялось брошенное добро, ржали обезножевшие брошенные лошади, копошились выбившиеся из сил, отчаявшиеся поселяне. Отдельные фигуры брели, покачиваясь на неверных ногах, назад, к оставленным очагам, к врагам — или же к новым господам? Все равно!

Пока добирались до Константинополя, насмотрелись всего. Проходили нищие деревни разоренных налогами и войной париков; слышали проклятья и ругань вослед отступавшим войскам; видели целые побоища, когда греки у греков выдирали из рук добро и скотину, и не понять было по озлобленным, искаженным лицам, кто тут похититель, а кто законный владелец.

В лохмотьях, почти босые, черные от усталости и голода, входили они в Константинополь вместе с толпою беженцев, ведя под руки полумертвого отца Василия, но сохранив и даже приумножив дорогою иконы и книги.

Алексий тихо ахнул, увидя свое посольство в таком состоянии, и повелел всех немедленно накормить и вымыть.

Отец Василий уже и идти не мог, его внесли в монастырь на носилках, а Станята с Ноздрей тотчас из-за стола устремились в греческую баню, где уже и повалились без сил на горячие камни, под которыми, обогревая их, проходил по глиняным трубам огонь. И только одного не хватало им теперь: ржаного квасу и русского березового веника!

К вечеру Станька, умытый, переодетый и гордый собою, сбивчиво и горячо повествовал Алексию о своих подвигах. Были достаны и расставлены вдоль стен привезенные святыни. Алексий глядел, то собирая брови хмурью, то улыбаясь, оценивал, а Станята называл стоимость, немного, совсем немного и привирая. Указывая на несколько, добытых дорогою, присовокупил:

— А эти в канаве подобрал! Ни за что пришли!

И только сбереженного ангела не торопился показать, а уже напоследях развернул и поставил на казовое место.

Золотые волосы, уложенные крупными прядями, мягко сияли в сумраке покоя. Нежный овал лица был почти женственно обаятелен, и большие, неземные, завораживающие глаза словно смотрели оттуда, из сияющей глубины непостижного.

— Такие вот лики,— прошептал Алексий,— и являют нам, по слову Ареопагита, зримое, возвышающее нас высшими, чем людская молвь, глаголами к божественному созерцанию Истины!

Станята, не поняв сразу сложной мысли, чуть ошалело поглядел на наставника, боясь переспросить, и все-таки понял, сказавши по-своему:

— «Оттудова» смотрит?

Алексий молча привлек Станяту к себе и поцеловал в кудрявую бедовую голову.

Захват Сулейманом Галлиполи всколыхнул весь Константинополь. Толпы подходили к Влахернскому дворцу, кричали обидное. Каталонская гвардия то и дело разгоняла чернь.

Кантакузин вновь послал посольство к Урхану, предлагал уже сорок тысяч иперперов, лишь бы турки покинули европейский берег. (Половину этой суммы

обещал достать Алексий.) Урхан все медлил с ответом. Но события уже грозили стать неподвластными Кантакузину. Приходило спешить. В апреле был возведен на патриарший престол Филофей Коккин и тотчас засел с Алексием за составление грамот на Русь.

В секретах патриархии творилась прямая бесовщина. Сам Филофей не единожды уговаривал Алексия, с тоскою глядючи на него, отказаться хоть от четверти своих требований. Но Алексий, что называется, закусил удила. Да и русское серебро должно было быть оплачено. И Филофей Коккин это понимал, и понимал Кантакузин, и понимали в секретах, а поэтому дело медленно, но продвигалось к своему завершению.

В Новгород вслед за отсылкою крещатых риз новому архиепископу Моисею пошла патриаршья грамота, подписанная Коккиным, требующая от новгородцев сугубого подчинения владимирской митрополии. Готовился долгожданный акт о переносе кафедры из Киева во Владимир. Уходили одна за другою грамоты к епископам луцкому, белзскому, галицкому и волынскому. Улаживалось дело с грамотою для Сергия, и уже подходил срок неизбежного, как виделось, поставления самого Алексия, но тут в Константинополь прибыл вновь соперник Алексия Роман, и дело вновь замедлилось, как замедляет свое движение корабль, попавший в тину. Роман тщательно скрывался от Алексия, но его присутствие обнаруживалось на каждом шагу. Одно спасало, что Ольгерд, кажется, пожадничал и не снабдил тверского ставленника великими деньгами.

В апреле был коронован Матвей Кантакузин. Торжество — едва ли не случайно — происходило не в Софии, а в церкви Богородицы во Влахернах. По городу судачили, что сам Григорий Палама плыл в Константинополь, чтобы воспрепятствовать венчанию Матвея, но его корабль был взят османами как раз во время захвата Галлиполи и фессалоникийский епископ угодил в плен к туркам. (Теперь Кантакузина добавочно обвиняли в том, что он не спешит выкупить великого подвижника.)

Кантакузин постарался придать венчанию сына подобающую пышность — вероятно, мысля хотя бы этим поправить падающую популярность своего императорского дома.

Церемонию предваряло всенощное бдение. С утра начали собираться приглашенные гости и народ. Алексий со спутниками едва пробились в храм, хотя их и встречали и проводили внутрь придворные церемониарии.

В церкви стояли одни мужчины в праздничных дорогих одеждах, плотно, плечо к плечу. Женщины — василисса, патрикии, жены сановников двора — глядели с хор, скрытые тафтяными занавесами. Певцы все были в широких камчатых ризах, напоминающих стихари, в оплечьях, шитых золотом, бисером и кружевами.

— Яко на иконе написано! — перешептывались в восхищении русичи за спиною Алексия, любуясь хором. Алексий кивнул. Его самого дивило обилие иноземцев во храме. Римляне и испанцы, фряги из Флоренции и Галаты, веницейские фряги и угры — кого тут только не было! При этом каждый язык стоял в особину, знаменуясь своим одеянием — в багряных и вишневых бархатах, иные в темно-синих и черных, отороченных белым кружевом, кто в расшитом жемчугом нагруднике, кто с золотым обручем или цепью на шее,— каждый по навычаю и достоинству своей земли.

Под хорами возвышалось царское место, закрытое алым черевчатым бархатом, приуготовленное для Матвея. В первом часу дня Матвей, в роскошном скарамангии, сопровождаемый двенадцатью телохранителями в железной броне и с обнаженными секирами на плечах, главными, царскими дверями вступил в храм. Перед ним, в алом, шли знаменосцы, а перед ними — приставы с посохами, украшенными жемчугом, расчищавшие путь.

Хор дивно звучал, звуки лились, словно стройные волны, наполняя храм. Матвей выступал медленно, и торжественная процессия — ежели бы не обнаженное начищенное железо — напоминала церковную. Перед тем как начать всходить по ступеням, он, прихмурясь, оглядел слитную толпу, узрел отца и мать на золотых тронах, чуть дрогнул бровью, измерил взглядом путь к предназначенному для него золотому седалищу и начал тяжело восходить по ступеням, словно жданная корона уже и не радовала его. Впрочем, быть может, так показалось одному Алексию?

Матвей восходил, и волны согласного пения возносили его все выше и выше, и звучала радость в голосах хора, и тихо волновалась скованная ожиданием толпа.

Вот Матвея начали облачать в багряницу и диадиму, вот вынесли царский венец и положили на возвышение рядом с золотым троном, на который опустился Матвей.

Началась литургия. Алексий понял, что Филофей старается изо всех сил — как-никак, а это его первое столь торжественное патриаршье служение!

Длилась служба, вздымал свои голоса хор, в алтаре совершалось таинство прискомидии, иноземцы стояли смирно и лишь по времени отирали потные лица шелковыми платами. Творилось древнее, повторяемое уже тысячу лет, величавое действо, а Алексий вспоминал живой рассказ Станяты и ужасался тому, сколь по тонкому льду ступает сегодня новый ромейский император...

Наконец подошло время выхода. Два великих архидиакона с уставной неторопливостью приступили к Матвею, сотворив малый поклон. Матвей шел к алтарю, по-прежнему в сопровождении вооруженной охраны и знаменосцев. Они так и встали, развернувшись, перед алтарной оградою, когда Матвей вступил в алтарь, где на него надели священный фелонец, тоже багряный, и дали ему в руки свечу. Филофей взошел на амвон. Склоняя головы, слуги, одетые в белые стихари, вынесли царский венец на блюде, закинутый шелковым покровом. Церковь примолкла. Вот Филофей — сам в золотых ризах и патриаршей митре — перекрестил склонившего голову Матвея. Вот вложил ему в руку крест. Вот поднял с блюда засверкавший венец и водрузил его с благословением на голову Матвея. Увенчан!

Теперь Матвей, очень прямо держа голову, движется назад, к золотому трону, опять в сопровождении своей бронированной дружины. И длится служба. Когда кончается херувимская песнь, новый царь, опять вызванный архидьяконами, снова вступает в алтарь и идет с горящею свечою в руках уставным медленным шагом впереди великого собора, впереди златотканого шествия со святыми дарами и хоругвями. И звучит херувимская, и движется, шествует из алтаря и в алтарь священная процессия во главе с царем. Там, в ал-

таре, Матвей будет кадить у престола и причащаться святых тайн. И затем причащается Кантакузин, и затем Ирина, которую для причастия вводят в алтарное крыло.

А уже в соборе, теснясь, сошедшие на торжество горожане разрывают на куски, делят червленый занавес престола, кто сколько сумел ухватить, уничтожая временное Матвеево седалище. И странно, и безлепо зреть свалку во храме, хоть и то идет от седой, старопрежней старины.

Наконец Филофей Коккин в патриаршем облачении выходит из алтаря (Алексию все еще дивно видеть его в парчовом великолепии риз), садится на резной патриарший престол. Матвей в багрянице и диадиме подходит к нему для заключительного благословения. Отчетисто в замершей тишине звучат слова Коккина, наказующего Матвею неколебимо соблюдать заветы православия, блюсти уставы, не захватывать чужого, стяжать в себе прежде всего страх божий и помнить о смерти. «Якоже земля еси и паки в землю отыдеши». Все — как надлежит и надлежало по древним уставам. И только одного — мрамора для будущей гробницы, не показывают Матвею. (Да мрамор ему и ни к чему! Меньше чем через три года он, схваченный сербами и выданный Палеологу, вынужден будет отречься от престола.)

Тотчас после патриаршего благословения начали подходить к сыну Кантакузина патрикии и чины, стратилаты, ипаты и воины, всякие вельможи двора, и было их много, очень много, гораздо более, чем надобно, чтобы отбить у турок Галлиполи!

И потом был выход из церкви. И осыпание нового царя золотыми номисмами и серебром. И безобразная свалка горожан, расхватывающих даровые монеты...

Поставление самого Алексия состоялось только в июле. Кантакузин не отступил от своих обещаний, и вот Алексию, помазанному и облаченному в митру, в соборе Господней мудрости вручили драгоценную грамоту — решение константинопольской патриархии о переводе митрополичьей кафедры из Киева во Владимир,— воистину драгоценную грамоту! Ибо с ее помочью Алексий намерен утвердить Русь и справиться с Литвой.

И не беда, что далеко не все грамоты еще утверждены и подписаны, и не беда, что само решение патри-

арха потребует тьмы дополнений и уточнений, что в секретах патриархии его еще будут томить и томить... Он победил! И Русь, его Русь ныне получит своего, русского заступника и ходатая, и уж престол из Владимира в Киев, к Ольгерду, больше не перенесут, об этом позаботится он при жизни своей! И — какая слепительная судьба открывается ныне пред русскою церковью и землею!

Вы, покойные — крестный мой, Иван, коему при гробе обещал я вздеть этот крест на себя и не ослабеть в трудах, и ты, Симеоне! Видеши оттоле днесь славу родимой земли? Господи! Верую! Верую в помочь твою всякому, прилагающему труд свой на добро ради земли своея и не ослабевающему в усилиях!

Вечером того дня они сидели за трапезою всею дружиной. Алексий во главе стола, бояре и клирики по сторонам и далее — все до последнего русского слуги. С ними был и Агафон, сбирающийся ехать на Русь и поэтому тоже свой. Дементий Давыдыч весь сиял, любовно оглядывая Алексия, Артемий Коробьин буйно выкликал здравицы, Семен Михалыч расчувствовался до слез, и его утешали всем хором, воскресший Василий тоже плакал и ходил лобызаться с Алексием, шумела дружина, ликовал клир, и лица светились, и сейчас, не разбирая чинов, все они были в одно — малый остров на чужой, раздираемой смутами земле, малый остров надежды и веры, веры в Грядущее и в то, что оно светло.

Тут бы и ехать домой! Но по Цареграду бродил Роман, судьба василевса была очень неясной, и Алексий положил себе довершить все дела митрополии до отъезда. Добивался полного оформления и отсылки грамот, утверждения актов патриархии, дабы не можно стало что-либо перерешить или поиначить наново. В хлопотах проводили сентябрь.

Меж тем попытка Кантакузина отбить Тенедос не удалась. Императору явно начало изменять его всегдашнее военное счастье.

Турки не соглашались и за сорок тысяч золотых покинуть Галлиполи. Кантакузин решился на отчаянный шаг. Сам поехал в Никомидию, к Урхану. Но и тут судьба изменила ему. Урхан, ссылаясь на болезнь, попросту не принял ромейского императора.

— Я не понимаю твоего отца! — кричал он, брызгая слюною, Феодоре, пытавшейся хлопотать перед мужем за старого родителя своего, оказавшегося впервые в унизительной роли просителя.— Я не понимаю твоего отца! Он хочет отдать престол Палеологу? Пусть даст! Зачем мне ему помогать? Хочет взять сам? Зачем тогда Палеолог?! Я посылал ему моего палача! Убей — и владей! Я не могу помочь теперь твоему отцу, коли он сам себе не хотел помощи! Пускай идет в монастырь!

Я не могу сдержать Сулеймана! Он молод! Он мой сын! Я уже отхожу! Молодые живут! Да! Твой отец дервиш? Пусть идет в монастырь! Он губит себя и своих детей! Иоанн Палеолог расправится с ними, как его предок Михаил расправился с сыном Ласкаря! И деньги пропадут зря, что деньги? Их заберет воин в бою, а греки перестали быть воинами! Прости, ты сама гречанка, и тебе тяжело слышать правду... Но я не приму твоего отца. Мне нечего ему сказать теперь, когда он сам отрекся от власти!

Власть — это кровь, да! Он не переступил через кровь, и что теперь? Я был честен с ним. Но за сына, взрослого сына, я отвечать не могу и не буду. Сулейман был во Фракии по зову твоего отца. Он рвется туда опять. В конце концов, греки сами бежали из Галлиполи! Плод, падающий с дерева при дороге, подбирает любой!

Мне нечего сказать твоему отцу. Передай, что Урхан болен тяжело. Я не приму его. Я сказал!

Алексий еще раз сумел повидаться с императором. Василевс принимал его келейно, в своем покое, в присутствии немногих близких друзей. Алексий углядел новые пряди седины в волосах царя, появившиеся после трудной поездки к Урхану. И взгляд явился иной: взгляд не от мира сего. Долго ли продержится он на престоле империи? Пожалев царя, Алексий не стал спрашивать его о судьбе Паламы, доныне пребывавшего в турецком плену.

И в радость близкого возвращения вливалась печаль, как чуялось, последней встречи с царем и тревога о том, что может совершиться в великом городе, ежели Кантакузин не устоит.

Минул октябрь. Ноябрь уже был на исходе. Наступала вторая цареградская зима. Почти все было сделано, и хотя отплывать в эту пору, когда на море свиреп-

ствовали ветра, представлялось опасным, русичи деятельно готовились к отплытию.

Алексий в эти последние недели заканчивал свой, отложенный было за хлопотами, перевод Евангелия и ныне сидел над главами Иоанна, живописующими последние дни жизни Спасителя.

Одиноко теплился огонек глиняного светильника. Мрачные тени наполняли покой. В кое-как заложенное окно несло холодом. Верно, там, в Иерусалиме, была в ту пору такая же, как и здесь, в Константинополе, безлепица и кутерьма. Те же нищие на улицах великого города и у дверей храма; римские стражники и чванные фарисеи в одеждах из виссона, умащенные аравийскими благовониями, с золотыми кольцами на руках... Шумный, богатый, крикливый город в канун Пасхи! И тайная трапеза верных, среди коих один — Иуда. Который предаст. И бденье в Гефсиманском саду, наполнившемся вдруг гулом и криками и шумною толпою стражей. И такая же тьма, и холод, и треск факелов, и костры...

Весь еще во власти древних речений, он, услыша шум за окном и топот ног, мгновением решил было, что это воскресла та самая ночь и что за стенами каменного терема сейчас будут брать живым Учителя истины.

Он слепо выбежал на глядень катихумений. Мокрый ветр с Пропонтиды разом облепил одежду, хлестнул в лицо. Спустя минуту рядом с ним возник встрепанный со сна Станята.

Тут, с открытой галереи, и видно, и слышно было лучше. В темноте творилось неясное шевеление теней, мелькали огоньки факелов. Качались черные очерки мачт за Одигитрийскими воротами, и тяжело и гулко било в берег смятенное море.

Кто-то выбежал с фонарем из нижних покоев и размахивал, подавая знаки кораблям. Приглушенно звучали возгласы, и согласный топот многих ног не давал ошибиться в том, что проходили вооруженные воины.

Алексий все еще не в силах был постичь до конца, что это — не из святой книги и предают уже не Спасителя, а кого-то иного. Он оборотил беспомощный взгляд к Станяте. Из-под низких лохматых туч на мгновение вынырнула быстро бегущая луна, и Станькин лик в резких тенях, в черных западинках щек под скулами, показался незнакомо-строгим. Поворотя к Алексию мрачное лицо, он молвил вполголоса: «Канта-

кузина! — И ладонью черкнул по горлу.— И наши дела...» — Не докончил, отмахнул рукой.

Луна провалилась в облако, и вновь стало совсем темно, и только внизу все хрустело и хрустело под ногами пробегающих воинов. Видимо, кто-то из патриаршей челяди или, скорее, из клира впустил их в ворота крепости и в здание арсенала Эптаскалона, где сейчас что-то гремело и лязгало и роились торопливо перебегающие огни.

— Вота што! — вдруг решительно произнес Станята, крепко беря Алексия за предплечье.— Счас ступай в келью, владыко, и, тово, заложись, не открывай никому! А я вызнаю, да и наших упредить надо!

Алексий не успел ни опамятовать, ни возразить. Станька решительно почти выволок его с галереи, втолкнул в келью, приладил засов, переобулся по-годному, схватил шапку, суконную свиту и исчез. Алексий долго прислушивался, но ни крика, ни возни внизу не услыхал. Значит, Станька проскользнул невредимо. Он плотно закрыл дверь кельи, потушил светильник и во мраке, едва разбавленном лампадою, опустился на колени перед божницей.

Так он и ждал весь остаток этой дурной и бессонной ночи, то представляя себе Учителя перед толпою стражей и рабов Каифы, то вспоминая лицо Кантакузина в вечер последней встречи... Конечно, Кантакузин не Христос! Но сколько предательств объяснено именно этим: что тот, и иной, и третий — далеко не Христос! Да и само предательство Учителя не тем же ли, в сущности, оправдывали, говоря, что-де он не истинный мессия!

И он молился. И вновь совмещались две ночи, разделенные бездною в тринадцать столетий. «Господи, стали ли люди хоть немного лучше с той давней поры? Господи, укрепи меня в вере моей!»

В исходе ночи он услыхал осторожный стук в дверь и голоса — своих, русичей:

— Владыко! Это мы, не боись!

Вошли поп Савва, Михайло Гречин и Парамша с могутным Долгушею. Оба последних прятали под свитами широкие хлебные ножи.

— Пойди, владыко! — торопливо вымолвил Парамша.— Артемий с молодшими на дворе тебя ждут, проводят к нашим, а мы тут постережем. Книги, да иконы, да узорочье... Ежели чего, не дадимся вдруг!

Спускаясь наружною лестницей, Алексий украдкою вытер невесть с чего явившуюся в уголке глаза слезу.

На дворе его тихо окликнули. Артемий подошел близ, перекрестился.

— Слава Богу, владыко! А мы уж... струхнули маненько! Весь город на дыбах! Слышно, бьются у Золотых ворот альбо во Влахернах!

Семеро кто чем оборуженных кметей плотно окружили Алексия и быстрым шагом повели в монастырь, «до кучи», как сказал один из русичей. Добрались без беды.

Дружина москвичей успела устроить настоящий укреп в монастырских стенах, и теперь, встретя Алексия живого и невредимого, обрадовались донельзя.

Отсутствовали трое. Дементий Давыдыч с ночи пошел по знакомым вельможам выяснять, что к чему, и еще не ворочался. Не было Агафона, и Станька, как отбыл, так и пропал невестимо. Посылать кого за ними было нелепо и некуда. Приходилось ждать.

Дементий Давыдыч со Станятой явились уже на полном свету оба вдруг, едва не столкнувшись в дверях нос к носу, хотя были в разных местах, даже в разных концах города.

Дементий отпил виноградного квасу, уселся, покрутил головой, оглянул весело:

— Ратитьце удумали? Не с кем вроде! — И, уставя кулаки в колени, рек: — Ну, так! Ты, Станька, видел с улицы, дак, почитай, ничего не ведашь, тебя опосле послушаем! Дело таково створилось: Иван Палеолог вошел в город. Приняли ево! До рати с Кантакузином не дошло у их и не дойдет. Нынче мирятся, слышь, Кантакузин своим приказал сдаться. Родичи все же, тесть... Теперь неясно, то ли он будет при Палеологе, то ли нет, а только все, почитай, от царя уже отшатнулись. Сам Дмитрий Кидонис — и тот! Да и народишко... Ты видал, Станька, сказывай!

Станькин, прерванный поначалу, рассказ был невесел. В городе открыто ликовали, и в возок Кантакузина, когда он утром с зятем выехал из ворот, швыряли камни, крича:

— Долой Кантакузина! Слава Палеологу!

— Озлобились на царя! — заключил отец Василий, свеся голову.— А что ж еговые ратные?

— Дак... дружина-то царская — испанцы с турка-

ми — у Золотых ворот стояла! Некак было и послать за нею!

— А Матвей? — спросил Семен Михалыч.

— Матвей в Андрианополе сейчас! — отозвался Дементий.

— Стало, будет еще война?

— Другой-то сын еговый, Мануил, в Мистре сидит?

Агафанкел явился ближе к вечеру и, разом покончив со всеми слухами, один другого нелепее, которые доходили до монастыря, поведал, что Кантакузин сам, добровольно, сложил с себя власть и ныне будет постригаться в монахи.

Переправил Палеолога, оказывается, богатый генуэзец Франческо Гаттилусий, сам от себя плававший на двух галерах в поисках приключений по греческим морям. И, конечно, ежели бы не предательство и не общая нелюбовь к Кантакузину, Иоанн Палеолог добиться ничего не сумел бы.

Когда Влахернский замок был окружен, Кантакузин сам вышел к воинам в царской далматике, повелел опустить оружие и стоял недвижимо. Ринувшие было на него воины отступили, и тогда он произнес громко и спокойно:

— Я жду императора!

Лишь после этого Иоанн Пятый решился сам показаться из-за спин ратников и подойти к нему.

Начались переговоры, причем оробевший было Палеолог предложил тестю соправительство. Но когда горожане начали бросать камни в возок василевса, Кантакузин решительно отвергся власти и порешил уйти в монастырь. Причем Кантакузин тем же утром остановил могущее быть кровопролитие, приказав гвардии у Золотых ворот, которая могла и хотела вновь захватить город, сложить оружие, оскорбив тем своих верных латинян.

Уже спустя несколько дней, когда о пострижении Кантакузина под именем Иоасафа в Манганском монастыре стало известно всему городу, свидетели пересказали последние горькие слова супруги императора василиссы Ирины (она тоже постриглась под именем Евгении в монастыре святой Марфы), обращенные к мужу в тот скорбный последний день: «Если бы я некогда обороняла Дидимотику, как вы обороняли Константинополь, вот мы уже двенадцать лет спасали бы наши души!»

Кидонис в тот самый день, когда Алексий отсиживался в монастыре, говорил речь с амвона Святой Софии, обращаясь к народу:

— Проклято время наше, и неслыханны грабежи постоянно призываемых полчищ Омарбега и Урхана! Наступило время божьего заступничества, ибо народ изнемог и теряет веру! Много христиан сделались споспешниками турок. Простонародье предпочитает сладкую жизнь магометан христианскому подвижничеству. Мы стали посмешищем проклятых, вопрошающих: «Где Бог ваш?» Пресвятая Богородица! Все мы теряем имения, деньги, тела наши и надежды. Ни на что не уповаем, кроме помощи от твоей, Богородица, руки!

Словом, стало ясно, что Дмитрий Кидонис, как и многие другие, отшатнувшиеся от императора, сохранит и при новом государе место среди синклитиков.

Об отъезде на Русь теперь не могло быть и речи, да об этом и не заикался больше никто.

Иоанн Пятый, легко поладив и с Генуей, и с Венецией (он подарил тем и другим богатые греческие острова и надавал массу долговых обещаний), деятельно вступал в бразды правления. Молодому, добившемуся наконец власти императору, избавленному от опеки Кантакузина, все казалось легко и радостно, и он дарил, раздавал, жаловал, не понимая иногда толком, что дарит и что раздает и осталось ли еще что-нибудь в империи не розданное и не подаренное? Меж тем выкупать из плена Григория Паламу и он отнюдь не спешил, не желая, видимо, отяготительных для себя укоризн строгого наставника и патриота империи, коим был знаменитый епископ.

Ему пришлось, впрочем, после чувствительной военной неудачи, признать власть Мануила Кантакузина в Мистре и еще никак не удавалось справиться с Матвеем во Фракии.

Меж тем начались Брумалии, вновь пошли ряженые по городу, и про турок, захвативших Галлиполи, все разом дружно позабыли, будто бы Галлиполи и всегда было турецким владением. Даже и судьба Паламы, протомившегося в турецком плену более года, словно бы перестала интересовать константинопольских ромеев.

Словом, получилось, что вина Кантакузина была преимущественно в том, что он пытался повернуть колесо истории и не позволить империи разлагаться и гибнуть, распродавая саму себя направо и налево.

«Ромейская держава! — с горечью восклицал Никита Хониат.— Ты подобна блуднице: кому только не отдавалась!»

Это произошло, кажется, на пятый день после воцарения Палеолога. Алексий подымался от Фомаита к себе в келью и тут, на лестнице, нос к носу столкнулся с Романом, ранее всячески избегавшим Алексия.

Тверской соперник впервые шел, не опуская очей, не шел, а шествовал, и Алексий ждал, как ему казалось, бесконечно долго и передумал много чего, пока тот спускался по каменной лестнице ему встречь.

Они должны были поздороваться. Какие-то миги Алексий думал, что это произойдет и — кто кого должен приветствовать первый?

Но тут в нем поднялась от сердца горячая волна гнева: встречу шел не соперник, не один из возможных к избранию, ибо еще не сложилось на Руси того, чтобы дело велось само, заведенным побытом; встречу шел — какими бы талантами ни был он наделен неложно, коими бы знаниями ни блистал,— встречу шел человек, от коего, попади он на престол митрополии, зависела гибель Руси! Не спасение! Ибо он не мог заменить его, Алексия! Встречу шел даже не тверской ставленник, но Ольгердов! Ставленник жестокого и умного врага, могущего, ежели это ему удастся, погубить и дело русской церкви, и дело русской земли, предать ее в руки Литвы, а затем и в руки немецких католиков.

И Алексий ждал, каменея, и гнев стремительно разгорался в нем, сдерживаемый только волею и воспитанным годами подвижничества терпением.

Видимо, эту яростную волну, этот страшный душевный напор почуял и Роман (бывший как-никак не мужиковатым увальнем-медведем, что, ничего не чуя, валит напролом, а мужем смысленным, у коего и душа и сердце могли воспринять чужую духовную энергию), почуял и, неуверенно замедляя шаги, вдруг бледно и кривовато усмехнувши, свернул куда-то вбок, в бесконечные переходы секрета хартофилакта, и исчез.

Только тогда Алексию стало дурно. Он привалился к перилам. Перед глазами плыли разорванные темные круги. Предстояла новая и долгая пря, но он знал теперь: в этой борьбе — победит!

Началась бесконечная борьба взяток. Роман, как стало известно, послал в Тверь, требуя себе с тамошних

духовных серебра на поставление. Алексий, вскипев, послал в Тверь с тем же требованием. Тверской летописец позже скорбно заносил в харатьи, что была истома всему духовному чину, ибо тверичи из осторожности послали серебро и тому и другому.

В эти трудные месяцы невольно нож в спину Алексию вонзил Филофей Коккин, собравшийся уходить с патриаршей кафедры. Алексий пытался его уговорить, отговорить... Глядя в потерянное лицо Филофея, на котором сейчас резче обозначились еврейские черты, в его тоскующие глаза, Алексий глухо негодовал. Сам он никогда не ушел бы со своего стола так просто, без всякой борьбы!

Но Филофей Коккин тоже был ромеем закатной поры. Он не умел драться, а мог только понимать и сочувствовать. То, что смог, он содеял для Алексия. Выстаивать на брани предстояло самим русичам.

Уход Филофея очень и очень осложнял дело. При новом патриархе могли быть пересмотрены и отменены все решения Коккина. Русь спасало то, что у нового василевса, Иоанна Пятого, средств было еще меньше, чем у Кантакузина. И Дементий Давыдыч, превзойдя себя — он два месяца подряд почти не спал, кое-как ел, но зато сумел наладить приятельства и знакомства решительно со всем новым окружением Иоанна Палеолога,— добился наконец достаточно вразумительных обещаний, по известному торговому правилу: ты мне, а я тебе!

Русское серебро, полученное Алексием в течение апреля, мая и июня, как раз и «пришло при пригожеству». (Был получен тверской выход, затем владимирский, да Иван Иваныч, воротясь из Орды, тоже подослал изрядную толику московского запаса, вкупе со слезным молением: поскорее воротить в Русь!)

Упрямством, серебром и совокупными усилиями русичей были утверждены и подтверждены наконец все грамоты, все прежние решения патриархии, и стало мочно собираться домой.

В конце июля, урядив дела, московиты отбывали на родину.

Алексий знал, что сделает это, а ежели поступит иначе, то себе не простит.

В один из последних дней поздно вечером он взял страннический посох и, никого не беря с собою, отправился в Манганы, чтобы проститься с Кантакузином.

— Старец не принимает! — сказали ему в дверях.

— Он должен меня принять,— твердо возразил Алексий.— Скажите, что пришел русич, монах. Он поймет!

Ждать пришлось долго, около часа. Наконец Алексия провели узким каменным коридором и впустили в кирпичную келью, скудно освещенную и еще скуднее обставленную.

Огромный старик в монашеском одеянии медленно разогнул сутулую спину и оборотил к Алексию суровый лик с остраненным взором отшельника.

Кантакузина не было. Перед ним сидел старец Иоасаф, и даже в чертах этого лица с трудом угадывалась схожесть с грозным повелителем ромеев.

— Прости, брат! — тихо сказал он, указав рукою на скамью, и только в мановении тяжелой царственной длани промелькнуло прежнее, промелькнуло и скрылось, чтобы уже не возникнуть вновь.

Они сидели молча, глядя в глаза друг другу. Беседа не завязывалась. Император, ставший монахом, и монах, готовящий себя к государственному служению. Все было в прошлом у одного и в будущем у другого, и потому почти не находилось взаимных слов.

Наконец Алексий встал и молча распростерся ниц перед Иоасафом. Тот так же молча поднял его и благословил. Показалось мгновением, что они так и расстанутся, ничего не сказав друг другу. Но тут Кантакузин, уже стоя, отверз уста и вымолвил, глядя куда-то вдаль, мимо Алексия:

— Ничего не можно и не должно вершить внешнего, пока люди не переменились внутри себя. Все было заблуждением и суетою! — Голос его слегка отвердел.— Среди нас всех единственно правым был старец Григорий Палама! И я оставленные мне Господом годы употреблю на проповедание его слов! — Он помолчал, словно хотя сказать еще что-то, но только лишь повторил: — Прости, брат! — и осенил Алексия крестным знамением.

Накануне отъезда Алексий вновь вспоминал вырванное им у греков соборное определение: «Хотя подобное дело совершенно необычно и небезопасно для церкви, однако ради достоверных и похвальных свидетельств о нем и ради добродетельной и богоугодной его жизни мы судили этому быть, но относительно одного только кир Алексия, и отнюдь не позволяем и

не допускаем, чтобы на будущее время сделался архиереем русским кто-нибудь другой, устремившийся оттуда. Токмо из сего богопрославленного, боговозвеличенного и благоденствующего Константинополя должны быть поставляемы митрополиты русские».

И еще они обязали его каждые два года являться в Константинополь с отчетами. Не беда! Он все-таки победил!

Уже готовились к отплытию, таскали сундуки, ящики, тюки и укладки на корабль.

Бремя власти, взваленное им на себя!

И утлое судно, вместившее все эти дорогие решения.

Грамоты Новугороду, приговор о переводе митрополии во Владимир, соборные акты... Все же как много он успел и сумел содеять!

И утверждение на престоле Феогностовом, и законченный перевод Четвероевангелия... Он опять прикрыл вежды, повторяя начальные слова Евангелия от Иоанна: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово... Без него ничтоже бысть, еже бысть». Бог — Слово. Логос. Волевой призыв к деянию. Незримые энергии, пронизающие и творящие мир. Творящий дух в ветхой земной плоти. Как мал человек и как велик Господь, осиявший его светом своим! Коликого мужества требуешь ты, великий, от меня, малого и грешного, дабы исполнить волю твою!

Грек Агафанкел машет ему с берега, он намерен приехать позже, с Георгием Пердиккой, которому надлежит привезти Сергию грамоту Филофея об устроении общего жития. И с тем Русь получит наконец в своих монастырях опору духовного единства, из языка станет превращаться в государство. Да не пошли, Господи, через века и века слепительной славы России, не пошли и нам разброда и шатания днешних византийских греков!

Судно отчаливает. Подымают паруса. Станята хлопочет у снастей. Низкие тучи рваными лохмами бегут с Пропонтиды. Судно кренит, почти черпая бортом. Со звоном враз натянувшихся, точно струны псалтыри, снастей полногрудо наполнились ветром паруса. Вновь под ними колеблемая зыбкая хлябь, и отходит, отваливает, отплывает, в садах и башнях, тьмочисленный и прекрасный, становящийся все более прекрасным в отдалении, священный город, близящий к закату своему.

IV

БЕЗ ХОЗЯИНА ДОМ — СИРОТА

Величие истинно великого мужа современники познают после его смерти. Только когда Семена Гордого не стало, восчувствовалось, чем он был, что держал волею своею и что значил для Руси Московской и для всей Русской земли.

Вновь подняли головы укрощенные было соседи; суздальский князь устремил в Орду добывать великокняжеский ярлык под Иваном; в боярских которах враз ослабла сила Москвы; Ольгерд начал свой победоносный поход на земли Северских княжеств; и все, казалось, начало рушить внутри и окрест, обращая в ничто восстающую было Московию. За малым дело не дошло до того, что и вовсе по-иному стала бы строиться судьба великой страны!

В Новгороде Онцифор Лукин ударил кулаком в стол:

— Довольно, бояры! Вси передрались, вси раскоторовали уже! Уличя с уличей и те немирны суть! Сказано: обча теперь будет власть, ото всех концей! При владыке нашем, новогорочком! И быть по сему! Не про то надобно баять, господа, кого нынце из нас в совет посадниць всадить, безлепо спорим и не о том совсим! Князя Семена нету, дак — не упустите Руси! Пора на Волгу посылать наших молодчих громить бесермен! Пора строить новую Русь!

— Резов ты, Онцифор! — хмуровато отвергли за столом.— Преже Новгород Великий надлежит путем устроити!

— В Сарай Смена Судакова послали с дарами, цего ж больши? Суздальский князь тоже... Осильнеет да как почнет мытное да лодейное в Нижнем с правого и виноватого брать...

— Всею пястью! — хохотнули шуткуя, не взаболь.

Поддержать перед ханом князя Константина Василича в ущерб Москве решали и решили всем Новым Городом.

А все же зацепил Онцифор. Смолкли. Задумались. И верно ведь! Князя Семена уже и нет!

В просторной тесовой палате владычного двора, окаймленной опушенными лавками, с малыми слюдяными оконцами в рисунчатых свинцовых переплетах, украшенных вставками синего и красного стекла, где

высят расписные лари с грамотами и казною дома Святой Софии и строго глядят со стен огромные, в три четверти роста, иконы новогородского, древлекиевского и византийского письма, за дубовым неохватным столом, накрытым красною, с золотыми парчовыми цветами, шелковою узорною скатертью и уставленным драгоценными сосудами из серебра, золота, расписного капа, веницейского хрусталя и поливной восточной глазури с многоразличными квасами, легким медом и красным фряжским вином, сидят бояре, собранные со всех концов великого города. Сегодня обсуждают «сами о себе», хоть и в присутствии архиепископа, кому быть в измышленном Онцифором Лукиным совете господ — новом органе управления, впервые и навсегда отныне долженствующем свести воедино противоборствующие до сих пор партии кончанской знати, поскольку каждый из них будет посадник отныне, каждый будет иметь печать и власть решать кончанские дела, и уже из своей среды, боярской, посадничьей, будут они выбирать сменяемого ежегодно председателя — степенного посадника.

Совет, по мысли его создателей, должен прекратить навсегда кончанские споры и грозные всплески мятежей меньших, которые, начав с отдельных, неугодных вечу бояр, кончали иногда погромом всей Прусской улицы.

Знает ли Онцифор Лукин, предлагая новое устроение, знает ли он, что абсолютный порядок всегда есть начало конца? Что вятшие отныне будут все более наступать на интересы меньших и в тех ослабнет воля к борьбе, к защите города, и — чем окончит тогда вечевой строй северной республики? Что пока есть бурление сил — есть жизнь, и пусть кипение силы нарушает все время «грани закона», но порядок без силы — гибель? Знает ли?! Но знает и то, что рознь и свары тоже ведут к неизбежной гибели!

Порядок в стране (городе, коллективе, семье, наконец) появляется в двух случаях — и это неизбежность всей мировой истории: на подъеме, когда молодую нацию (город, семью) объединяет осознанная дисциплина, чувство плеча, чувство общего долга и порядок устанавливается как бы общей волею, направляя все силы народа к одной цели; и на упадке, на спаде, когда уже кончается, исшаивает, никнет кипение сил, когда порядок исходит сверху, от велений

власти или обычая, и принимается не от осознания целей и общей нужды, а от безразличия, привычки или слабости перед властью. Обманчив, ох как обманчив порядок такой!

В хоромах, в просторных палатах, в кабинетах, устланных коврами, заседает, правит, велит и судит власть. А там, внизу, вдалеке, в деревне, в назьме где-то,— изгнивает оскудевший земледелец и пока еще «сполняет», что «велят» ему... до часу, до последней трудноты. Но в час грозный вдруг оказывает он робость на рати и некому становит защищать дивное с виду устроение, и все рушит в ничто: и хоромы, и палаты, и канцелярии, и кабинеты министерств, или «секреты», как их называли в Византии...

Управлять победоносно можно только сильными, «управлять, опираясь на сопротивление». Это трудно! Легче согнуть, сломать и — остаться без защиты в грозный, неотменимый и непредсказуемый час совокупной грядущей беды.

Знал ли, догадывал ли Онцифор за сто тридцать лет про роковую Шелонь?

Но и отсутствие власти во времена упадка народного духа, в пору одряхления народов, тоже ведет к роковому разномысленному толчению, трагической борьбе друг с другом перед лицом общего врага. Ведал ли, догадывал ли Онцифор о грядущих временах Ивана Третьего?

А те, кто сидят ныне за столом, знали ли они, ведали?

Верно, не ведали, и не блазнило им, что будет с городом через полтора столетия!

Да и собственные силы, воля, власть не давали им ума поглядеть подалее. В этих лицах, чаще жестоких и властных, упрямых и умных, чем светлых и примиренных с судьбою, в этих насупленных взорах, в этих жилистых дланях, в твердоте плеч хозяев града, землевладельцев и воинов, было много заносчивой воли и не было дальнего тайновидения, свойственного скорее схимникам, отрекшимся мира сего, чем людям дела и власти, каковые собрались здесь.

Жарко горят в серебряных свечниках свечи чистого, ярого, первосортного воску, разоставленные без меры и счету по всему покою, и желтые столбы света, вырываясь из окон, ложатся искристыми коврами на морозный снег. Бояре сидят в соболях и сукне инозем-

ном, в бархате-скарлате, рукава в тончайшем полотне и хрустком шелке выглядывают в прорези ферязей, стянутые парчовыми и жемчужными наручами. У иных золотые цепи на плечах — изодели лучшее ради великого дня. В свете свечей сверкают перстни — яхонты и лалы мечут огнистые лучи. Во главе стола — владыка Моисей в фиолетовой мантии, на которой горят украшенный рубинами золотой крест и обложенная жемчугами панагия, в клобуке с воскрылиями, тоже украшенном надо лбом византийскою драгоценной перегородчатою эмалью. Маститый старец, некогда сведенный с престола Софии и замененный Каликою, ныне дождался наконец часа своего. Он высушен временем и сединою повит, но во взоре владыки, когда Моисей подымает глаза, столько собранной властной силы, скованной его невольным двадцатилетним заключением в Сковородском монастыре и тем паче явившей себя теперь, что не всякий может и вынести владычного взгляда!

Только что пришло известие, что Моисею из Царьграда везут долгожданные крещатые ризы (полученные покойным Каликою и потому, и непременно надобные и ему, Моисею, в свой черед!), везут долгожданную грамоту царя Ивана Кантакузина и патриарха Филофея Коккина и золотую печать. О тех грамотах, что вытребовал Алексий, паки подчиняющих новгородскую архиепископию владимирскому митрополиту, Моисей еще не ведает. И потому, удоволенный в гордом самолюбии своем, владыка Моисей милостиво и спокойно слушает Онцифора, не поминая в душе давней дружбы его семьи с Василием Каликой.

Мнилось ли кому из них, стойно Онцифору, про второй Рим, налаженное государство с выборною властью, устроенными законами и армией, распространившее себя на всю страну, оттеснив и вытеснив собою княжескую власть потомственных володетелей? Быть может, где дома, в разговорах, за книгою... В живой жизни было не до того. А потом — и Рим не устоял, не сохранил свою демократию, пал жертвою огромных, захваченных его армиями областей, вынужден был согласиться на абсолютную власть цезарей, из демократии обратился в монархию... Не такие уж они были дураки, «вятшие» Великого Новогорода, читать умели, и читали немало и с толком.

А нынче и вовсе было не до того. Близкое, днешнее

тревожило и лезло в очи. А потому и вопросы были к Онцифору о ближнем, о том, к чему прилегла злоба дня. Кого выбирать? Кто будет в новом совете?

— Никого не нать из стариков! — говорил Онцифор.— У всих у нас кровь на руках! У всих зазноба немалая к братьи своей! Выбирать надобно молодых! Вот како постановили от концей по сколь бояринов, тако и положить, а старых не нать никоторого!

— Окроме тоби, что ль? — с тяжелым укором уронил Рядята.

— Степенным, степенным кого?! — возникли сразу несколько голосов.

— Я и сам отрекаюсь степенного посадницьства! — возразил Онцифор.— Како сказал, тако и буди! Ни на степень, ни в посадники кончаньски — ни! Пусчай молоды деют! А молодым — вот мой сказ: Новгород Великий у вас отныне в одном кулаке, дак надобно шире ноне глядеть! Одолеет суздальской князь в Орды — ваша будет воля! Смен Судаков пишет: де хан ни тому ни иному стола пока не дает, а — шлите дары! Наш будет волжский путь, наш кафинский, дак вот она — рукою подать — и великая Русь! А Иван Иваныч пущай с Ольгирдом за Рязанью которует! Сядут суздальские князи на владимирской стол, Москва и вовсе погинет!

— Твери не забудь, Онцифор! — остудили опять за столом.

— В Твери нестроенья ныне! — отмахнул Онцифор рукою.— Князи промеж собою доселе не сговорят! (О том, что чума поправит нежданно дела тверского дома, не ведал Онцифор, как и никто другой.) Тверь нам теперь не страшна!

— Степенным, коли не тебя, то кого? — вновь вопросили настойчивые голоса.— И с тысяцким како повершим?

Умные глаза Онцифора сошлись в лукавом прищуре:

— Олександра, Дворянинцева брата! — предложил он.

И — переглянули и утвердительно склонили головы. Никто, как он, брат убитого на вече Остафея, годился ныне на эту степень, постепенно забираемую великими боярами в свои цепкие руки.

— А степенным на срок предлагаю...— Онцифор значительно перемолчал.— Обакуна Твердиславича!

Смолкли бояре. Задумались. Умен Онцифор, ох и умен! Всем сумел угодить! Задвигались, заговорили разом. И вроде не стало спора, руки потянулись к кувшинам и чарам, ожили бархат и парча. Улыбки и смех прошли волною по грозно настороженной еще миг назад палате. И как-то стало мочно понять, допустить, принять Онцифорово: «Пущай молодых! Пущай они, в сам дели, деют!»

— Мы рази заможем? — толковал Онцифор, уже по-приятельски хлопая по плечу соседа, плотницкого боярина, держа чарку в руках.— Сообча-то? Да ни в жисть! У меня батько в земли! Старых свар да котор — невпрово́рот!

И сосед-соперник согласно кивал, соглашаясь:

— Моло́ды пущай! Топерице им! Мы счо?! Мы свое сделали...

— Не жаль власти той? — спрашивал Онцифора из-за стола с усмешкою знакомый прусский боярин.

— Ни! — весело отвечал Онцифор, усмехаясь в ответ.— Все в делах да трудах, притомился, тово! Землю обиходить нать!

— Наро́дишко иного ждал от тебя! — подзудил издали Рядята.

И Онцифор опять ответил лукаво, будто и не он водил рати, не он на Жабьем поле громил шведов и стоял во главе грозного народного мятежа:

— А ты хотел, чтобы шильники, как допрежь того, боярски хоромы жгли да грабили?! Народишко надоть поцясти за Камень, на Югру водить! Оттоле с прибытком воротят вси — потишеют враз. Свое добро, оно тишины требоват, спокою!

Молодых посадников в грядущий совет выбирали почти безо спору...

На улице Онцифора обняла морозная новгородская ночь. Гурьбою, теснясь и переговаривая, шли, провожая своего воеводу, ремесленники и кмети, сожидавшие Онцифора на улице.

— Ну, как тамо, цьто порешили-то? — спрашивали его заботные, строгие, тревожные голоса.— Ты-то усидишь ле? Тоби верим, никому иному!

— Кабыть со советом ентим черному народу хуже не стало в Новом Городи! Тысячкое забрали, поцитай!

— Не предал ты нас, Онцифор Лукин?

— Предал, детки! — отвечал он, глядя мимо лиц в далекий сумрак ночи.— Предал, а только друг на друж-

ку с дрекольем ходить — и вси погинем той поры! А сам ухожу! Ухожу, други! Не буду больше с има!

Молчавший всю дорогу Милошка Круглыш тут неожиданно подал голос:

— Помнишь, воевода, Станяту, Станьку-монаха? В монастырь есчо подалсе потом?

— Рыбака? — уточнил Онцифор.

— Ну! Видели его наши в Царьгороди, с владыкой Олексием!

— Вишь! Почто тамотко? — невесело усмехнувши, возразил Онцифор. И не сказал, а подумалось всем само: бегут потихоньку, начинают бежать из города!

— Много нам дали ратных на шведов? — вопросил Онцифор, остановясь, и, бодливо склонив голову, глянул на Круглыша. Тот утупил очи, промычал в ответ, ответить нечего было.

— То-то! — присовокупил Онцифор Лукин, обрывая ненужный разговор.

Трещали факелы в руках холопов. Спорили, ярились, укоряли и жалились мужики. Скрипел под ногами снег, и черный, так и не застывший посередине Волхов дымился морозным паром в темноте. Дремали полувытащенные лодьи, вмерзшие в лед обережья.

И когда, спустившись по Пискуплей, он речными воротами вышел к берегу, чтобы оттоль подняться уже в Неревский конец и по Великой улице дойти к себе на Кузьмодемьяню, и когда стал прощаться с вольницею, отваливавшею на Великий мост (кто и целоваться полез напоследях), и стоя слушал хруст удаляющихся шагов и прощальные оклики, а в лицо повеяло духом морозной воды, и кровли, и вышки, и маковицы Торговой стороны черным обводом, лишь кое-где разбавленным желтизною слюдяных окон, перетекли в очи — сердце сжалось и заскорбело на миг, словно в минуту разлуки, словно бы навсегда оставлял он все это: и громозжение Торга, темного и немого в сей час, и восстающие на гребне Славенского холма величавые соборы, сейчас снизу, от воды, сановитыми изломами кровель и черными куполами волнисто изузорившие темные, в звездной пыли, холодные небеса. Будто уезжал, будто прощался навек! И Великий мост, низко осевший в воду, и там, вдали, едва видный Антониев монастырь... Хотя и никуда не уезжал и не уходил, а напротив, навовсе оставался в своем городе беспокойный боярин новогородский Онцифор Лукин — Катон

без сената и Цезарь без армии, ежели искать ему знатных соотчичей в истории римской (известной русичам, как и греческая, по многочисленным пересказам византийских историков).

Был ли он прав? Спросим себя теперь и — уж повторим возникшее наше сравнение!

Что мог бы сделать в Риме Катон, победи он Цезаря? Неодолимо события римской истории шли к установлению императорской власти, и личная честность Катона уже не перевесила бы рокового хода времени, рушившего римскую демократию.

Что мог сделать Цезарь, не имей он армии из ветеранов, которые служили пожизненно и верили уже не в безликое государство, а в своего вождя и могли идти на Рим так же спокойно, как на какие-нибудь города Аквитании или землю бельгов?

Онцифор Лукин был бы, может быть, больше и того и другого, вместе взятых. Ему верил, за ним шел народ, он был одним из самых дальновидных политиков своего времени, и он был к тому же блестящим полководцем.

Но... народ был разорван на кончанские партии, в смутах тянул к боярам своего конца, и противустать вместе с народом всему боярству было невозможно ни тогда, ни много спустя. Не сразу, не вдруг, но дело и тут, в Новгороде, неодолимо шло к поискам своего Цезаря. Но мог ли Онцифор, не имея преданной (и противопоставленной народу!) армии, стать Цезарем? И мог ли им стать хотя кто в Новгороде Великом? Не мог ни он и никто другой.

Величие великому человеку придают те силы, которые оказываются у него в руках. Александр Македонский без греческой армии, подготовленной его отцом, не дошел бы даже до Галиса. Сумасшедшая храбрость и воинские таланты одного бесполезны, когда за ним нет множества. Онцифору не дали развернуть его полководческий дар, ни разу не вручив ему большой армии.

Да, историю творят люди. Но творят соборно, все вместе, и этого тоже не надо забывать! (И ответственность круговая на нас: отсвет величия и клеймо позора от дел совокупных ложатся на каждого в отдельности, будь он героем среди трусов или подлецом среди героев — все равно. И как нам ни хочется, разделяя совокупные успехи, избегать наказания за совокупное, соборное, нами всеми сотворенное зло — не удается

никак! И ответственность падает на всех, даже еще не рожденных, по слову сказанному: грехи отцов падут на детей.)

И величие Онцифора Лукина сказалось в том, в чем могло сказаться оно в пору свою и в тех условиях времени. В том, что он сам, своею волею отказался от величия своего. Отрекся, ушел, содеял и поставил точку, кипучую энергию свою направив в хозяйственную прозу жизни, посвятив остаток лет и прок сил, далеко еще не растраченных и немалых, тому, что уже не история, но жизнь, по которой история расцвечивает узоры свои: хлебу и сену, умолоту ржи, сыроварням и копчению рыбы, выделке шкур и покупке рабочих лошадей. И этой жизни его мы уже не знаем совсем, о ней молчат летописи Господина Великого Новгорода, и ежели б не десяток обрывков берестяных писем, посвященных хозяйственной прозе жизни и подписанных самим Онцифором, так никогда и не узнали бы мы, куда ушел, чем занялся этот великий человек, ставший рачительным хозяином, въедливым ворчуном, любителем пшенной каши, строгим отцом, воспитавшим дельного сына Юрия, выдающегося дипломата Новогородской республики, а значит, все-таки утешенным в старости своей, как всегда бывает утешен родитель, зрящий успехи сына, наконец — стареющим землевладельцем, над которым в свой, не отменяемый ни для кого черед без всплеска сомкнулись волны быстробегущего времени.

Константин Васильевич Суздальский был истинным князем, великим далеко не по одному лишь высокому званию своему. Высок, сух, поджар, породист, деловит; он умел собирать воедино братьев-князей в борьбе с Москвою, бояр держал в строгости, был тверд и даже жесток, когда этого требовали заботы власти, и вместе с тем, заселяя край, умел примениться к нуждам насельников, и потому люди шли к нему охотно и его любили.

Он обладал к тому не частым среди сильных мира сего умением видеть грядущее. В путанице днешних, сиюминутных забот и дел прозревать неясные зовы далеких веков. Именно он, Константин Васильич Суздальский, начал заселять Поволжье, создавая здесь, в глухих мордовских лесах, основу будущего промышлен-

ного центра Великой России. Ему принадлежит честь превращения Волги в великую русскую реку. И делал он это тогда, когда испуганная и разоряемая Русь устремлялась к северу, в глухие дебри Заволжья, на Сухону, Вагу и Двину. Когда Русь отступала, он первым означил и повел наступление ее, смело перенеся столицу Суздальского княжества в Нижний Новгород, на край земли, край, обращенный к Орде, к дикой степи, к землям чужим, мордовским и все еще едва знаемым...

...Вот он стоит — высокий, уже седой! Хватило сил, ума, настойчивой деловитости, не хватило малого — времени жизни! В 1354 году ему уже было семьдесят лет... Стоит, запахнув долгую ферязь, в бобровой шапке, чуть выставив вперед короткую седую бороду. Князь дальнозорок, и ему хорошо видны не только рубленые сосновые городни крепости, сбегающей вниз, к причалам, но и лабазы, и лавки, и лодьи, насады, учаны и паузки, облепившие берег, и дальние, за Волгою, луга и леса, красные боры, волнисто уходящие в еще не покоренные дали.

За ним высит над кручею недавно свершенный храм Боголепного Преображения, куда он перенес из Суздаля древний, греческого письма, образ Спаса — великую святыню своей земли. И, подобно лавре Киевской, духовный кладезь также открыт в его новой столице! Невдали от города, в пещерах, живет и проповедует, подобно великому Феодосию, и уже отстраивает монастырские хоромы монах Дионисий, пламенный проповедник, зовущий князя к открытой борьбе с Ордой, о чем, к сожалению, знают уже и в Сарае! Но как скрыть до времени святого мужа, к которому идут не сотни уже, а тысячи? И время то, время подвига ратного, еще не подошло, не наступило! По дороге и на дороге странно неодолимая Москва, неясный Ольгерд (пока, противу Москвы, союзник, а далее — кто знает?), и Тверь, на время — о, только на время! — вышедшая из тяжкого спора о вышней власти, и Новгород Великий, что стоит в начале пути, конец которого означен *его* Новгородом, Новгородом Низовским, Нижним. Новгород Великий, о который ломалась не раз и не два тверская сила и который теперь, к великой удаче суздальской, дружен ему и о нем хлопочет в Орде! И митрополия, которая, ежели Алексия одолеет Роман, тоже должна откачнуть от Москвы...

Впрочем — думал ли о том суздальский князь? Был

ли он против Алексия? Но прежде спросим себя: кто был тот самый Роман, соперник Алексия, едва не перемогший его в споре о митрополичьем престоле?

Греческий историк Григора сообщает, что Роман «родственник по жене свояка королева» (то есть Ольгердова). Но свояком Ольгерда, кроме Семена Гордого, был тверской (Микулинский) князь Михаил Александрович, на сестре которого, Ульяне, был женат вторым браком Ольгерд. Связь Романа с тверским княжеским домом и вообще с Тверью проглядывает очень ясно хотя бы в том, что Роман в споре с Алексием посылал за деньгами в Тверь, и тверское духовенство ему платило. (Что и явилось причиной последующего нелюбия Алексия к тверскому владыке Федору.)

Но жена Михаила Александровича Евдокия — дочь суздальского князя Константина Васильевича. Таким образом, ежели Роман — родич Михаила Александровича по жене, то он родственник, ни более ни менее, суздальского княжеского дома! А с Тверью его породнила, возможно, последующая монашеская стезя. (По каким-то причинам все-таки именно Тверь помогла Роману деньгами!)

Спросим далее. Ну а кто же тогда этот Роман? Сведения о князьях суздальских у нас чрезвычайно скудны. И мы не ведаем, например, было ли мужское потомство у старшего брата Константина — Александра Васильевича. Роман мог быть, скажем, неизвестным его потомком или, скажем даже, неизвестным сыном Анны, первой жены самого князя Константина Васильевича, каковая была гречанкой, дочерью греческого манкупского князя Василия. Все прочие дети Константина — от второй жены и родились достаточно поздно: младшие, когда отцу уже подходило к пятидесяти годам.

Однако представить, что старший сын суздальского князя ушел в монахи и об этом не осталось никаких следов в летописях или житиях, тоже трудно. (Но, во всяком случае, скажем и то, что Роман был немолод — он умер вскоре, по-видимому в преклонных годах,— и, безусловно, очень образован.)

Можно допустить еще одно, что Роман был родичем (братом, например) первой жены Константина Васильевича, приехал с нею на Русь и тут, на Руси, ушел в монастырь. Возможно, сделал это не сразу, а после смерти сестры, и ушел в тверской монастырь, а не в

суздальский, по каким-то неясным для нас причинам... И вот откуда отличное (природное!) знание греческого языка и византийская образованность. И вот почему тверское духовенство поддерживает Романа и поддерживает Ольгерд, всяческий родственник и суздальскому и тверскому княжеским домам: на сестре Михаила Александровича женат сам, а дочь отдал за сына Константина Васильевича Бориса, и все эти браки, естественно, не простые, а династические, с дальним прицелом, с попыткою сколотить союз противу Семена Гордого, единственно препятствовавшего Ольгерду начать широкое наступление на Северскую Русь.

Все это, увы, предположения. И остановиться на одном из них, избрать какой-либо вариант я не могу и даже не имею права. А вдруг в греческих, к стыду нашему, не переведенных до сих пор хрониках и переписке того времени обнаружится точное указание на происхождение и родственные связи Романа?!

Во всяком случае, Роман, без сомнения, был ставленником не одной Твери и не одного Суздаля и даже не одного Ольгерда — он был кандидатом от всех трех совокупных сил, противостоящих Москве, и был реальною и грозной заменою на митрополичьем престоле московского ставленника Алексия.

Несколько противоречит высказанным предположениям лишь то, что никаких зримых следов поддержки Романа суздальским княжеским домом летопись нам не оставила. Но... князь Константин Васильевич слишком скоро умер, умер вскоре и сам Роман (ставший решительным сторонником Ольгерда), и грозный союз, направленный противу Москвы, распался, не состоявшись, раздробясь в мелких разновременных действиях бывших союзников. И потому летопись очень могла и не отметить забот князя Константина Васильевича о кандидатуре Романа... Да и о том ли одном молчат анналы прошедших веков?!

Понимал ли, однако, суздальский князь (ежели все предположенное — правда), что кандидатурою Романа воспользуется Ольгерд — как то и произошло вскоре,— дабы разорвать митрополию и ослабить Русь?

Но мог понимать и то, что Ольгерд — язычник и не захочет крестить литвинов.

Князь, который стоит сейчас на урыве высокого волжского берега, уже послал к Джанибеку своих бояр. Он сам уже был в Орде и теперь явился лишь

на миг — подторопить союзников, взбодрить ростовского родича (на его дочери Анне женат сын Константина Васильевича Дмитрий). Он, возможно, уже и не стоит на круче волжского берега, а находится там, в Сарае, в степях, в ставке ханской... А это — лишь его тень, образ, его ночное видение...

Какие дали! Какой простор на великой реке! Что можно помыслить здесь, перед этой текучею бездной воды и аэра? Что может помыслить муж, решивший (в старости!) перенести сюда стол и дом, основать новую родину в этом спорном, окраинном, торговом и молодом городе? Видит ли он купеческие дома на кручах, каменные лабазы, затейливую белокаменную резьбу? Палаты толстосумов, гоняющих караваны по суше и воде от Кяхты и до Лондона? Зрит ли он первые, неведомые, непредставимые даже пароходы на Волге, грохот промышленных строек, гарь заводских труб и стонущий вой железных машин? Стальные мосты через эту громаду воды, кирпичный и каменный город, переплеснувший в Заволжье? И красный, торжественный, кирпичный Кремль за спиною, ставший уже только памятником прошлых веков?

Князь не ведает того. Но тогда что же толкнуло его повести, начать, означить этот путь вперед, туда, где за гранью рек, гор, лесов и степей лежит далекая Синяя Орда и за нею опять леса, горы и степи и великие реки, текущие все поперек пути, который (все равно!) пройдут русичи вплоть до «последнего моря» там, на далеком Востоке огромной, еще не завоеванной, не заселенной, еще даже и не означенной страны?!

Своя правда была у каждого из тех, кто, не мельчась в злобе «нынешнего», создавал в XIV столетии от рождества Христова основу Великой России. И князь Константин достоин бронзы, вот так, как стоит он сейчас, на исходе лет и жизни своей, над обрывом, над кручею — высокий, сухой, величавый, в долгой сряде своей и круглой княжеской шапке на долгих, по обычаю XIV столетия, волосах, глядя вдаль, в еще не покоренную, чужую, ордынскую степь.

С князем Константином Васильевичем Семену Гордому справляться было труднее всего. Ему одному уступил упорный сын Калиты: уступил Нижний, отступился бояр, заложившихся было за него, Семена, и едва не уступил, едва не потерял само великое княжение владимирское.

Но вот Симеон умер. И старый семидесятилетний князь нашел в себе силы на склоне лет опять устремиться в Орду.

Поехал, чтобы вновь терпеть режущий ветер степной ордынской зимы, дарить дары и сорить серебром, одолевая теперь уже не Симеона и не слабого, заранее согласного на все Ивана Красного,— одолевая тень Симеона, его память в Джанибековой орде, добытое и нажитое здесь упорным московским князем...

И ведь право — древнее, лествичное, да и родовое право Ярославичей было, почитай, за него: московским Ивановичам князь Константин доводился хоть и не родным, а дядей! Он был старшим в роде теперь! (И суздальский летописец, напуская туману в давние семейные счеты Ярославичей, тянул родословие князя Константина теперь уже не от Андрея, а от Александра Ярославича Невского, от старшего, дабы и тем унизить ненавистную Москву!)

В Орде, трясясь от степной застуды, баней и травами прогоняя хворь, все еще верил старый князь, что на сей раз одолеет московского соперника. Верил и Смен Судаков, посол Господина Великого Новгорода, верили многие, и верили дельно, полагая, что без князя Семена не стоять Москве. И беки были подкуплены, и серебра роздано несчетно, и Константин Васильевич, вставший наконец на ноги, еще более худой и высокий, совсем уже иконописный ликом, весь серебряный, но по-прежнему прямой и упрямый духом и статью, начал опять объезжать и обходить ордынских вельмож...

И он бы передолил. Хватало всего: и серебра, и воли, и помочи новогородской! Не хватило одного — любви. Джанибек решил и поступил так, как не мог и не должен был поступить даже в интересах самой Золотой Орды. Но — как подсказала ему тень, память, загробная воля московского князя Семена Ивановича Гордого.

Они сидят одни в покое княжеском. За бревенчатою стеною бушует мерзкий колючий и сырой ветер, гонит сор по долгим улицам Сарая, ерошит гривы лошадям, сбивая в кучи мерзнущих баранов в загонах. Татарская охрана и та попряталась, кутая носы в курчавый овчинный мех просторных тулупов, прижимая к себе древки обындевевших копий. Узкие, ничего не

выражающие глаза с неохотой взглядывают в ночную тьму.

Итиль дышит, как большой дремлющий зверь, окутанный белым паром, под ненадежною коркой льда стремительно пронося черную страшную воду и тупорылые, сонные тела больших рыб. Редко, с хриплыми оттяжками, взлаивают сторожевые псы.

Только что вышли из покоя, теснясь и переговаривая, подручные князья и думные нижегородские бояре. Речь велась долгая и нудная все о том же — о подкупах, взятках, грамотах и дарах.

Хозяин, Константин Васильевич Суздальский, задержал, на правах старшего родича, Константина Васильевича Ростовского, и теперь они сидят вдвоем, неспешно попивая: ростовский князь — подогретый белый «боярский» мед, хозяин — заваренный крутым кипятком липовый цвет с сушеной малиной и несколькими каплями красного греческого вина.

Константин Васильевич по уходе соратников устроил с помочью постельничего высокое взголовье из подушек, кошмы и ордынского тулупа и теперь удобно полулежит, откинув породистую голову и утопив ее до висков в густой, завитой в тугие шелковистые кольца овчине. Длинное лицо князя кажется оттого еще более длинным, еще более изможденным и породистым, как у борзого хорта. Мелкие капельки испарины выступают на высоком челе, и он время от времени прикладывает к лицу вместо плата прохладный полотняный убрусец.

Константин Ростовский сидит перед ним на низкой раскладной скамеечке, слушает, хмуря чело, кивает согласно. Он теперь тоже немолод, когда-то молодой, красивый ростовский князь! Ему перевалило за сорок. Дома подрастает многочисленная семья, и видеть, как ростовское серебро плывет и плывет в московские бездонные карманы, ему все более тяжко. Смерть князя Семена разом развязала его нравственно, освободив от того невольного почтения и трепета, которые внушало ему всегда железное упорство московского шурина. И только одно пугает теперь князя Константина — здоровье суздальского свата, без которого ему совсем никогда уже не сладить с Москвой.

Он то взглядывает с заботною тревогой в лицо Константину Васильевичу, то опускает глаза и в эти мгновения вспоминает лицо жены Маши, сестры Семеновой. (Как-то и тут Ивана Ивановича почти что не прини-

мают в родню, хоть и ему Маша приходит родною сестрою!) Маша по смерти Семена плакала. А теперь сама хлопочет, как бы добиться ослабы от Москвы.

Суздальский князь допил до конца дымящийся достокан с откидною крышкой. Поглядел на увернутый в стеганую одежду кувшин, отдумал, отставил достокан на низкий столик. Углы просторной, но низкой хоромины тонули в сумраке. В дымнике завывало протяжно и тонко. Ежели бы не дорогая божница да несколько узорно окованных и расписных ларей по стенам — были бы ордынские покои князя точь-в-точь похожи на избу зажиточного крестьянина где-нибудь на Кудьме или под Городцом.

С минуту он молчит, полуприкрыв глаза и слушая, как, укрытые овчиною, постепенно согреваются ноги. Выговаривает наконец:

— Видел сам сегодня наших соратников! Тут и поражения бойся, а победы — вдвойне. Вся сила Москвы — в нашей слабости!

Он поглядел на ростовчанина испытующе, опять помолчал. Молвил:

— У Нюши с Митей лад. В детях мы не обманулись с тобою!

Константин благодарно склоняет голову. Анна пошла замуж почти без приданого. Кроме родового имени мало что мог дать за дочерью ростовский князь.

Жалобно завывает под кровлею. Ветер колотится в ставни слюдяных окон. Незримые знобкие струи, прорываясь в щели, текут по покою. И кажет, что при жарко натопленных печах в палате холодно.

— Ты хорошо пашешь, Константин? — спрашивает вдруг суздальский князь у ростовского.— Сошник из борозды на обороте не вырывает у тя?

Ростовский князь нерешительно пожимает плечами. Шутит, что ли, суздальский сват? Или иносказание какое?

— Пахал парнем! — неохотно, как о стыдном, отвечает он.

— А я пахать обык! — возражает Константин Васильевич с нехорошим блеском в глазах — видимо, у него опять подымается жар.— Ныне, как осаживаю народ на мордовских росчистях, дак не пораз за рогач браться приходило! Покажешь, первую борозду пройдешь — тут уже поверят мужики, что свое, что не на час, а навек дадено! Да и слава потом: «Князь

пахал, сам!» Дал волю смердам места выбирать себе. Глянул потом на эти деревни — самому любо-дорого стало! Умеют селиться, умеют и хоромы поставить! Тут тебе и вода, и лес, и пашня, и огороды — все под рукой, и места высокие, красные, здоровые, боровые, и озор красив!

По лицу старого князя бродит улыбка, глаза, как в тумане, глядят куда-то вдаль.

— Заселю Волгу! А ты — Сухону заселяй! Наше все русское хлебопашество — по рекам! Убей реки, запруди — и Русь убьешь! В поймах — луга заливные. По воде — путь. На крутоярах, где сухо,— села, города, храмы! Пашня под лесом, а где чернолесье, болота где, тут тебе и влага на сухой год, и землю напоит и согреет тою водою болотною, морозы смягчит, снегу добавит в поля, да и от ворога за болотами завсегда отсидеться мочно!

Князь помолчал, задышал хрипло, прокашлял, заговорил снова, и Константин понял наконец, что у свата не бред, не усталь от долгой толковни с боярами, да и не насмешничает он вовсе над ним, а говорит надуманное давно, наболевшее, пото и рассказал про пахоту свою! Не ведал того ростовский князь, даже не догадывал про свата такое. Как-то больше представлял его в думе, в совете княжом, верхом на коне или на пирах, во главе стола...

Так-то сказать, работать умели, почитай, все, а многие даже и любили иную работу: косили, плотничали отай, но баять о том почитали неприличным — не княжеское дело, не боярское! Князь — правитель. Его дело — суд да война. Но и управлять надобно, зная то дело, коим заняты подвластные тебе люди! На то, верно, и намекает суздальский сват? Либо опыт хочет свой передать молодшему? Константин Ростовский, многое испытавший в жизни, стал слушать и вникать внимательнее.

— Ведаешь, чем мы, русичи, от иных народов отличны?! — страстно спрашивал суздальский князь.— Ото фрягов, франков, немцев, угров, греков, болгар? Не ведаешь? Тем, что мы — перешли рубеж! Рубеж холода! Зимы долги в нашей земле, скот во хлевах более полугода стоит. Хлеб насеять да убрать — мало времени того дадено! И погоды не те! Тут народу воля нужна! Обязательно воля! Иначе — не одюжит земли. Широта, простор! Пахарь наш в летнюю пору почти

не спит, чуешь? Черный народ на Руси богат и должен быть богат, иначе не стоять Русской земле! А села — редки, раскидисты, в лесах! Лес береги, коли мочно, лес защитит ото всего: и от мраза, и от ветров,— чуешь, какие здесь погоды? А там, на Двине, того больше! С Ледовитого моря ветра! Лес русскую пашню бережет от ветра, а самого пахаря — от лихого находника. Имя нашей земле — Залесье, помни про то, Костянтин! Зимы суровы, земля неродима, население редко, а враг подступит? Богатый смерд сам пойдет воевать! А бедный, нужный, ежели б и захотел, дак и то не заможет! Князь Иван, покойник, леготу давал смердам, пото и выстала Москва! Татей казнил, черный народ берег, торговому гостю давал от лихих воевод бережение... Хлеб, мясо дешевы на Москве! Мы, што ль, не заможем того? Да у нас с тобою, Костянтин, и земли и простору поболее, и пути торговые в наших руках! Вникни! Гляди! — говорил, блестя глазами, хозяин.— Гляди и помысли! Вот Волга! Где мой Нижний — Ока с Волгою сходят в одно. По Волге — путь, по Оке — путь. Олег держит и Оку и Проню. И Лопасню отбил у Москвы, а коли Коломну возьмет — рязанская она, Коломна,— тут уже путь чист хоть до Брянска, хоть до Чернигова, хоть и до Цареграда самого! Ниже по Волге — Сура Поганая, там осаживаю людей. Выше, на устье Унжи, у меня Юрьевец, Унжу запирает. Выше по Волге — Кострома. Кострому надо отобрать у московита. Жаль, Василий Давыдович, ярославский князь, рано помер! Самому Калите окорот давал! Дальше, гляди, по Мологе: Устюжна, Бежецкой Верх, а там пойдут Торжок, Волок — всё то новгородские волости. На верхней Волге — Тверь, дальше — Ржева. Чаю, Ольгерд Ржеву у Иваныча теперь отберет! А там уже Днепр, Смоленск, на запад пути, в Киев, в тот же Царьград по Днепру. Ну а от тебя по Шексне к Белоозеру путь, Кубена, Каргополь... Там уже реки к холодному морю текут: Сухона, Двина, Вычегда, Вага... Сколь простору! Не упусти! Великий Устюг не упусти, Галич!.. А там уже Новгород опять... Вот она, Русь! На реках вся! Много земли-то! Невпроворот земли! А Москва, что Москва?! Без тех волостей далеких да необжитых задохнется она! Будьте лишь вы дружны! А то каждый из вас, как вот енти...

Константин Васильич кивнул на дверь, куда вышли князья-союзники, выдохнул с болью и силой:

— Не делить надобно, Костянтин, а приобретать, заселять, осваивать! Научись пахать, Костянтин! Сам кажи пример, стой у мыта, у весчего стой! В руках держи! А то вы все, ростовские князи, токмо делились да спорили! Вот и доспорили, и делить стало нечего... На север гляди, на восток! Широко гляди! Я бы, князь, на месте твоем, может, в Устюг и столицу перенес! И всю Двину, и Вагу, и Кокшеньгу, и Заозерье, все бы позабирал под себя!

— Новгород Великий не даст...— возражает, пошевелясь и коротко взглядывая на свата, Константин Ростовский.

— Знаю! — протяжно отзывается Константин Васильевич.— Опаздываем! Опоздали уже... Мне вот тоже жизни не хватило! — с горечью признается он.— Да не смотри ты так жалобно на меня! Ета болесть — не болесть, завтра-послезавтра выстану! — прибавляет он, вновь отирая лицо убрусом.— Налей вот еще горячего! Так! И меду подай теперь, нетвореного. Там, в поставце!

Пора было уходить, постельничий уже заглядывал раза два в двери, и князь Константин поднялся.

— Передолим? — вопрошает он напоследях, сурово сводя брови, и чуть было не сказалось: «Семена Иваныча».— Усмехнул невесело, поправил себя: — Ивана Иваныча?

Суздальский князь взглядывает серьезно и устало, думает, медлит, отвечает:

— Содеяно все, что мочно, а чего не мочно, того не содеять уже... А передолим ли? Не ведаю!

Иван Иваныч, разувшись, в носках, мелкими шажками подошел к рукомою. Молился на сон грядущий всегда с чистыми руками.

На улице холод, сырь — жуть! И главный «ворог», суздальский князь, в пяти шагах от него, в своем подворье. Сейчас бы посидеть с Костянтином Василичем за столом, потолковать, послушать... Князь старый и уважаемый человек... Он вспомнил, как давным-давно здесь же вот колотился в ворота сын Александра Тверского, Федор... и — содрогнулся.

Он ни к кому не чувствовал зла, а зло давило, обступая его со всех сторон. Давеча в кирпичной палате дворца Джанибекова (где тот почти не жил, то

и дело уезжая в степь, как и теперь, тотчас после спора) — сором! Доставали старые грамоты, бранились неподобно, исчисляли взаимные обиды аж за полста лет и кто там кого спихивал со стола при дедах-прадедах... До хрипоты, до хватания за бороды спорили бояре! Посидеть бы вместе за столом подобру, похорошу, послушать старого князя...

Как устроить так, чтобы удоволить всех? Господи! Днем, на людях, он еще держался. Таким, как сейчас, его, слава богу, не видал никто. Но сейчас... Господи, помоги!

Сложив ладони, он стоял на коленях и молился, горячо и просто, как в детстве. Ему хотелось домой, к жене. Шура была сильная, и она защищала его от наглых слуг, от настырных ключников...

Семен тяготил его, часто унижал. Но Андрей всегда был ему защитою, и без Андрея (почему не он, а я должен стать великим князем?!), без Андрея, который ему, почитай, и Шуру высватал, не чаялось, как жить, как быть. Иван... Иваныч! Свалившееся на него княжение давило, пригнетало к земле.

И дома страшно. Олег захватил Лопасню. Иван не гневал на Олега, понимая, что тот отбирает свое, рязанское, но ему было стыдно перед боярами, страшно перед покойным Семеном, который не допустил бы такого никогда и сейчас словно сам послал сюда его, Ивана, и смотрит — следит оттудова, чтобы, ежели надо, тряхнуть за шиворот или жестоко выругать (и выругал бы, и тряхнул — за Лопасню!).

А вдове и боярам покойного брата надо возместить потерю. Вот что надо! Это уж, как Семен мог... я не могу, но хоть возместить! Из своего возместить... Я же виноват-то, Господи!

И бояре в споре. Алексей Петрович хочет быть тысяцким... Брат не любил его, а почему? Алексей Петрович ему Машу высватал! Любить надо всех! Так заповедано Господом... И теперь, после стольких гибелей от черной болести етой... Ежели б вместе с Костянтин Василичем... Вместях как ни то...

Понимаю, Господи! Все понимаю, а не могу! Веришь мне? Человек я! Не ведаю, как брат все это держал на плечах! Не по мне этот крест, не по плечам, не по силам! И никто не позволит уйти! Даже Алексий!

А ежели Джанибек решит дать стол Костянтину Василичу? Бояре съедят! Нельзя! В Москву не пустят!

Шура, Шура, хочу к тебе, к детям! Не хочу вышней власти! Зачем умер брат, а не я?!

И в монастырь не пустят. Один! Не на кого престол оставить! Да я и не хочу в монастырь! Разве — с Шурой. Ах, что я, заговариваюсь, видно! Батюшка не прочил меня к власти совсем! Зачем она мне? Велят! Все велят, все приказывают!

Ежели бы мне только сидеть, а правил бы Костянтин Василич! И доходы бы ему можно отдать с Владимира... Чтоб только не уходило от нас вовсе... Детям, внукам там оставалось... Говорят, у каких-то царей цареградских было так — у Костянтина Багрянородного, кажется... Бояре б в спокое были, а там Митя да Ваня подрастут... Почему это плохо — быть просто человеком, любить жену и детей, никому не хотеть зла, почему это плохо, Господи?

Зачем тогда убили Федора, Федю, зачем? Сёма баял, на всех на нас проклятие с той поры, кровь на всех... И на мне кровь?! Да? Правда? Но зачем же ты тогда оставил меня одного в живых, Боже?!

Он валится наземь, на ковер, приникает лбом к полу; приподымая мокрое, в слезах, лицо, шепчет:

— Господи, пощади!

Осторожный, но настойчивый стук в дверь заставляет его подняться с колен.

Врываются гурьбою, тормошат — веселые, злые, задорные. Кричат: «Княже!»

Он вертит головой, глядит растерянно то на Дмитрия Александровича Зернова, то на Феофана Бяконтова — двух старых бояр отцовых в этой толпе беснующейся молодости, единственно почтительных, но и деловито-тревожных. И Феофан поясняет ему — без улыбки, но словно бы малому дитю:

— Надобно к Товлубию, батюшка! С твоею милостью надобно!

Прочие не спрашивают Ивана, волокут. Акинфичи — Григорий Пушка с Романом — ведут его под руки. Семен Жеребец (в отца, в Андрея Кобылу, пошел молодец статью!), подхватывая Ивана сзади под мышки, легко, без натуги приподымает над землей, и тут же юный Федор Кошка с Данилой Феофанычем в четыре руки наматывают ему портянки, суют его, словно куклу, ногами в красные сапоги, ставят на пол. Сыны Дмитрия Зернова, Иван с Митей, подают ферязь, шапку, охабень, холоп расчесывает кудри...

Ивана вертят, почти не спрашивая, точно куль с овсом. На молодых, румяных, сияющих лицах — задорная радость битвы. Внимательно-деловитые глаза старших бояр оглядывают его со сторон, словно бы не замечая, что с ним творится.

— С Товлубием ищо твой батюшка, Иван Данилыч, уговор имел! — скороговоркою поясняет Феофан.— Как он решит, так и станет, и сам Чанибек не перерешит!

— Почто?! — с тихим отчаянием прошает у него Иван.— Дарили ведь!

— Дарили! Должон сам ему честь воздать! — строго возражает боярин.— Сила у ево. Слух есть, суздальски бояра добрались до Товлубия, не было б худа!

Иван никнет и, уже не сопротивляясь, отдаваясь полностью течению дел и сильным рукам своих бояр и молодшей дружины, которые и мыслью помыслить не могли бы хотя в чем отступить или уступить суздальскому князю, волочится сквозь холод, ветер и ночь к всесильному ордынскому вельможе пленять старого татарина девической свежестью лица и шелковыми кудрями, умягчать его сердце подарками — новыми связками соболей, новыми слитками серебра, новыми чашами, поставами сукон и парчи, жемчугом, рабынями и конями... Только потому, что такие же — или похожие — дары были поднесены сегодня утром Товлубию боярами суздальского князя, ревнующими о господине своем!

Влажный ветер осаживает сугробы у юрт. Кони, фыркая, разгребают тяжелый снег, выедая желтую траву. Урусуты косят травы длинными кривыми ножами и складывают в большие кучи. У них иначе нельзя.

Джанибек в долгом тулупе стоял на снегу, узкими глазами глядел в темноту ночи, где двигались кони и нукеры, недвижно замерев, остриями копий прочерчивая едва видную полоску ранней зари, стерегли своего господина.

Уже который месяц в Орде творится возня подкупов, слухов, чужих и жестоких воль. Властный суздальский коназ вновь рвется к владимирскому престолу. За него хлопочут новгородцы, у которых какие-то перемены в ихнем городском управлении. Что там творится, он плохо понимал. Города чужие. В городах

царствуют золото, яд и кинжал и женщины из чужих земель, тонкие, с раскрашенными глазами, подобные змеям... Ему опять захотелось выпить горячего вина — ширазского или греческого — или урусутского хмельного меда, все равно. Теперь, сам не признаваясь себе в этом, он уже не мог долго обходиться без хмеля.

...И сын! Любимый сын Бердибек начинал пугать. Впрочем, детей много и кроме Бердибека, будет кому...

Странно: старший брат, которого он убил своею рукою, не поминался ему совсем. Поминался, даже снился по ночам младший — Хыдрбек.

— Ну вот, и чего ты достиг, Семен? — спросил он, глядючи в темноту, почти вслух.— Дети твои, твои мальчики, умерли. Умер и другой брат, и теперь остался один этот, Иван!

(И опять, непрошеный, возник перед глазами Хыдрбек, с перерезанным горлом, трепещущий, с жалким взором загнанного сайгака, и уже мертвый, черный... Что же, и ему бы, умри он от чумы, наследовал младший брат? А Бердибек? Нет, пускай Бердибек!)

— Так чего ты достиг, Семен?! — спросил он опять. Лошади фыркали в темноте, и он узнавал любимых коней по звуку.— Ничего ты не достиг, Семен, и умер, оставив меня одного! Я не порушу твоего улуса, дам власть этому брату твоему! Ты этого хочешь, Семен? Ты хочешь этого! — повторил он, кивнув головою.

Пускай они просят все... А если бы потребовал того же самого Товлубег? Но Товлубег куплен московитом! Куплен покойником...

Его охватила усталость. Надо было идти в юрту и пить вино. И позвать жену, любую. С наследниками Тайдула поможет, она выберет достойного, все мальчики, от всех жен, у нее на руках...

Что понимают они все! У меня был друг! Я придумал друга себе! И теперь он уже не обманет меня, он мертв! И не я убил его, убила черная смерть! Он был честен со мною, коназ Семен! И он не убивал братьев своих... И теперь, после смерти, прислал брата своего ко мне. Слабого брата. Пугливого, словно женщина. Брата, которому не удержать власти. Единственного, оставшегося в живых...

О чем ты думал, Семен?! Что ты знал такое, чего не знал я? Ты знал... Или твой большой поп знал.

Не тот, не греческий, другой... У тебя поп, у суздальского князя поп Денис, но тот хочет войны... Ты тоже умный, коназ Костянтин, но ты не получишь великого стола!

У меня был друг, слышите вы, все! И он не предал меня! Понимаете это вы? Вы все, предающие повелителей своих, как только они начинают терять силы! Ты будешь коназом, Иван! Будешь сидеть на столе, пока я — тут!

— Слышишь, Семен?! — спросил он вслух мертвого урусутского князя, и нукеры дрогнули, решив, что господин зовет их к себе. Джанибек запахнул тулуп, надо было воротиться в юрту и выпить вина сейчас же, немедленно, выпить горячего вина...

— Маша, помоги Всеволоду! — Микулинский князь Михаил сидит вольно. Прискакал в Москву на семейный погляд, к родной сестре Маше, Марии Александровне, великой княгине, вдове Симеона Гордого.

И теперь вот она — сестра Маша, сильно раздобревшая от частых родов, уже немолодая, тридцатилетняя княгиня московская, владелица сел, городов и вотчин, скотинных и конинных стад, ратников, челяди и холопов, владелица трети Москвы, владелица Можайска и Коломны, самых крупных городов княжества, «с волостьми и бортью», сел: Напрудского, Островского, Малаховского и иных — под Москвой, сел и угодий по Клязьме, Кержаче и под Юрьевом, сел под Новгородом, благословенных и купленных, устроенных и примысленных покойным князем Семеном... Сидит усталая, растерянная женщина, год назад потерявшая мужа и всех своих детей. А брат — возмужавший, похорошевший, со следами еще прежней мальчишечьей озорной светлоты на лице, опушенном молодою бородкой, такою мягкой на вид, что руки тянутся огладить, потрепать ее, и чтобы родилась улыбка, прежняя, та, перед которой когда-то смутился сам покойный Семен Иваныч,— сидит, любимец всей Твери, и вот сейчас, в минуту сию, говорит ей эти простые слова... А она не знает, не ведает: что вершить? Семен «приказал ее», умирая, дяде, Василию Кашинскому. И он-то, Василий, сейчас притесняет вновь и опять Всеволода и их мать, Настасью, вдову убиенного в Орде князя Александра Михалыча. И она, Мария, Маша, не имеет

ни власти, ни силы пойти противу всей Москвы, хотя и любит Всеволода, и гневает на дядю, который продолжает тиранить их, опираясь на волю московской боярской думы.

— Семен Иваныч помог Всеволоду! — запальчиво произносит Михаил — и кается. Нежданная слезинка, осеребрив ресницы, стекает по щеке сестры. Недавно только справляла память по мужу... И кабы еще сын! Что она одна? Ни приказать, ни заставить!

Андрей Иваныч Кобыла мог бы, но он слег на Святках и не встает. И умер Василий Протасьич. И все, все, решительно все плохо теперь! Как ему объяснить, что нет у нее, одинокой вдовы, ни сил, ни воли, ни даже желания что-то вершить теперь, когда на Москве чужая власть; чужие дети, чужие бояре рвутся к власти, и ничто неможно, Лопасню отстоять и то не сумели!

Она сидит, уронив руки на колени. Крепкие еще руки, с маленькими энергичными кистями, с точеными пальцами, которых отныне и навсегда некому целовать. Руки, лишенные навычного труда, руки, которым не придет больше пеленать дитятю, и даже темный камень в золотом перстне на этой руке глядится теперь печатью вечного вдовьего одиночества.

Лицо у сестры широкое, белое, потерявшее прежний точеный обвод, шея в тугом, шитом мелким жемчугом, наборочнике. Она сидит перед ним в раскладном креслице, тяжело и беззащитно, и с безотчетною завистью смотрит на брата, у которого все впереди, с мягким, почти материнским любованием.

Михаил тоже изменился. Повзрослел, построжел. Скоро и ему придет время мужества, жестокой битвы за право жизни и власти на земле, битвы, которую Всеволод (как ни любит Мария брата, понимает это очень хорошо!) уже проиграл.

Она глядит на брата, а мысли идут посторонние, скорбные и — не к делу. Что придет ей, когда воротит из Орды с пожалованьем Иван Иваныч, очищать княжеские покои — которые и не нужны ей! — но как больно покидать эту вот горницу, светлую и нарядную сейчас, ведавшую и ужас, и хрипы детей, и кровавую мокроту в тазу, и почернелое тело дорогого супруга, Симеона, на брачном ложе... Очищать, уходить куданибудь в задние горницы, рядом с Ульянией, вдовой

Калиты, или, как Марье, вдове князя Андрея, заводить свой терем в Кремнике?

Три вдовые княгини при одном живом князе на Москве! И только у одной из них, Марьи Андреихи, годовалый младенец на руках. У нее же — нет никого. И не будет. А Миша просит о помочи... У кого! Она сдерживает себя, перемогает слезы. Не то, дай волю, рыдать бы ей от зари до зари.

Была борьба, битвы, гордый княжеский род, великая Тверь, великий Михаил-страстотерпец, погибший в Орде, Дмитрий Грозные Очи, зарубивший Юрия, был их батюшка, Александр, высокий, красивый, с холеною русою бородой, которую она дитятею так любила трогать... И сейчас вспоминаются его сильные горячие руки, без натуги подбрасывавшие ее вверх, в сияющую небесную голубизну... Всеволод крупный, в отца, и — несчастливый. В семье, в первой жене, в детях, в этой все не удающейся ему борьбе с дядей Василием... Много их, потомков Михайлы Святого! И нет ладу в семье. А тут, на Москве, одни вдовы, и этот Иван, которого Семен никогда не прочил в князья... Так почему же опять Москва?! Быть может, Миша прав? И прав, что приехал? И ей, пока удел Семенов в руках, надлежит...

Но кто, кто поддержит ее в московской думе? Иван Акинфов? Нет! Когда-то изменил батюшке. Ему теперь и до конца дней — Москва. Ему и Андрею. И всем, всему роду Акинфа Великого. Бяконтовы? Кто из них выйдет из воли Алексия! Дмитрий Зерно? Нет. Семен Михалыч? Елизар? Нет. Иван Мороз тоже против батюшки не пойдет! Андрей Иваныч Кобыла? Лежит при смерти. Алексей Петрович Хвост? Ездил за нею сватом! А теперь? Теперь рвется к власти под Вельяминовыми. Кто же за нее? Один покойный Василий Протасьич мог бы защитить великую княгиню московскую! И то лишь не в ущерб Москве... И нет у нее сил противу дяди Василия! Никого нет! Без князя на Москве все идет по князеву слову. Так же заседает дума, работают дьяки и подьячие, правят суд, собирают тамгу и пятно, весчее, повозное и людейное; так же идут обозы, торгует торг, городовые воеводы блюдут волости... Разве Лопасню не сумели оберечь. И не скоро еще почует земля, что не стало у нее сильного главы, ее князя, лады ее — Семена Иваныча.

Чем я помогу тебе, Михаил, тебе и Всеволоду, чем?

Серебром? И помочь надобно. Грамотою ли усовестить Василия? Разве грамотою! Перевесит ли слово силу, когда слово нечем подтвердить и нету за ним второй силы, набольшей или хотя бы равновеликой, дабы подкрепила писаное слово?! И что, и почему это в людях, когда ни разум, ни честь, ни правда, ни божье слово, ни заветы отцов, ни богатства даже, ни земли устроение не возмогут ничего перед единым — силою! Силою духа, которой в избытке было, как видится ей сейчас, у покойного Симеона, и силою меча — тою силою, с которой когда-то горсть степняков прошла и покорила едва не весь знаемый мир! Да и за силой меча должна стоять сила духовная, не то и не понять, почто Батыевы кмети одолели столь многих оборуженных и многочисленных ворогов своих? И бронь-то была не у всякого! Сабля, да аркан, да лук со стрелами... Дак, может, тогда... Почто же они-то, тверичи?! Кабы дитя! Почто не оставил ты сына мне, Сема, Семушка! Все бы ясно было теперь, и сила в руках, и мужество в сердце, и воля, все бы разом нашлось, и подняла бы, и вывела! И стал бы князем великим во след отцу! А Тверь? А Родина? Жена — при муже. Едина плоть! Пока есть муж и дети, для коих все — и плотское, и греховное, и святое... А она? Грамоту она напишет Василию... А сама она верит ли в грамоту ту? И хочет ли победы Твери? Или память покойного мужа столь сильна и поныне в ней, что не хочет она теперь гибели московского княжения? Чему-то научил, что-то сумел дать понять ей покойный супруг. И учит ее и теперь... Оттуда учит... А сам помог? Помог, добывая меня! Имел ли ты право на то, Семен? И не спросишь о том! Греховно спросить теперь у мертвого!

— Я отошлю грамоту дяде Василию! — сурово отвечает она младшему брату.— А ты, коли заможешь, сам поезжай в Кашин... Уговори!

Светлое лицо Михаила отуманивает думою. Прямая отцова складка прочерчивает лоб. Да, он поедет, будет уговаривать всех и как-то наладит, хотя на краткое время, непрочный мир в тверском княжеском доме, мир, вновь и вновь раздираемый восстающею силой Москвы.

Мир, о котором мечтал ты, Сема, где он? Или опять битвы, и кровь мужей, и плач жен — до конечного одоления, до последней власти победителя?!

Осанистая, раздавшаяся от родов женщина кладет маленькие руки на подлокотники кресла, смотрит любовно на брата, которого она любит, и будет любить всегда, и не перестанет любить, что бы ни совершилось меж ним и Москвою, и смотрит, глядит на него ненасытимо, издалека, с того берега прожитой и прежде смерти оконченной жизни, не в силах ни помочь, ни осудить за тот упорный и уже безнадежный путь, который сужден ему судьбою и собственным разумом, разумом и волею, возжелавшими большего, чем заповедано высшим судиею и начертано на скрижалях вечности.

Поездки в Рязань превратились для Никиты в постоянную службу. Он и сам не отказывался от них, ибо, возвращаясь, мог вдосталь сказывать о делах всем и каждому, а в особенности Наталье Никитишне. И хоть рассказы и разговоры те велись прилюдно, при девушках сенных, а то и при ком еще из боярынь, Никита все одно дорожил ими, переходя попеременно от отчаяния к ликованию. То ему казалось, что «она» радует ему, и тогда сердце Никиты ширило, переполняло счастьем, то зрелось небрежение во взоре, и тогда вновь оживала тусклая правда бытия: он — ратник, она — боярыня, которой снизойти до него — соро́м. И тогда горько и глухо становило на душе, а «она» уплывала куда-то в заоблачные выси. (Про себя Никита редко думал о своей любви, называя по имени, а так уж и продолжал считать дедовою воскресшей княжной, как понравилось когда-то, и уже твердо готовил для нее, примерял те древние, береженые золотые серьги-солнца, сохраняемые все эти долгие годы — уже поболе полустолетия — в семейной скрыне, словно некий колдовской оберег грядущей судьбы.)

На Масленой Никита намеренно напросился в праздничные возницы с единою мыслью: ежели так повезет, переговорить с нею. Но люди были все время вокруг, по всяк день «она» была в толпе, и уж какие там разговоры! Едва добился, когда поехали кататься на Воробьевы горы, попасть на те сани, где сидела она с другими жонками. И скорее со злого отчаянья, чем с озорства, вздумал обогнать всех, чуть-чуть не погубив и себя, и ее, и прочих жонок, ибо решился на то, на что не решался никто, ниже́ и сам Василь

Василич, тоже лихо правивший разукрашенною, в лентах и бубенцах, ковровою, в росписи и серебре, тройкою. На самой круче, на самом страшном спуске, гикнув, вырвался вперед Никита, и с раската, когда другие начали придерживать лошадей, он поднял плеть и с присвистом огрел — жеребец, всхрапнув, пошел наметом. Сзади ойкнули — и кончился, как оборвало, девичий смех. Конь шел бешеной скачью, почти смыкая передние и задние копыта, так что Никита подумал, что жеребец вот-вот сделает засечку, а тогда... о «тогда» и думать не захотелось! Крупные комья вывернутого подковами плотного снега били в сани, летели в лицо. Он на миг глянул назад, где, сбившись в кучу, вцепившись в разводья узорных саней, с расширенными от ужаса глазами мотались-летели за конем испуганные боярышни, и — наддал! И уже чуял, что худо: сани с раската, почитай, летели по воздуху, и хомут начинал налезать на уши коню. Теперь стоило жеребцу допустить один (махонький!) сбой, и — край, и — конец: через голову, вдрызг, в звень, в мельканье задранных кованых копыт, с предсмертным жоночьим непереносным визгом полетит все — и сани, и люди, и он сам, и будет смято, растоптано катящими следом за ним санями... И уже не он — конь спас: на самом раскате, зависнув и собравши всю силу четырех ног, ринул в долгий прыжок, а чуть тронув дыбом, вихрем в лицо летящую снежную землю, снова скакнул длинным воздушным наметом и, не давая отлететь в сторону грянувшим о накатанный снег саням, снова прыгнул и опять пошел головокружительной непредставимой скачью, смыкая копыта так, что звякали друг о друга подковы передних и задних ног, и Никита с замиранием сердца ждал и, к великой удаче своей, не дождал-таки гибельной засечки коня, когда дорога пошла выравнивать и стало мочно разглядеть конские ноги, и клочья белой пены, и потную спину жеребца и ощутить собственный жар и пот, горячей волною прошибший под рубахой всего Никиту. Он мельком подумал еще, что так вот, в санях, на добром коне, русич уйдет и от татарина, меж тем как верхами от татарина ни за что не уйти, и подивил тому, и тоже — как тенью прошло в разуме. Еще и облегчающего счастья удачи не было, накатило потом, лишь билось, росло, ширило злое, озорное, как в битве, отчаянное торжество; и оглянул опять и узрел, увидел ее бездонные,

черные от изумления и страха, непредставимые, завораживающие глаза, и опять наддал, и, уже чуя храп и тяжкое дыханье коня, когда уже завернули по нижней дороге, вдоль кустов, и, далеко назади оставя хохочущий, звенящий бубенцами праздничный обоз, унырнули в оснеженную красу медяных стволов соснового бора, начал понемногу натягивать вожжи, умеряя бег коня. И такое было — словно летел в пустоте, а тут только опустился наконец на землю. И не слушал уже женской с провизгом воркотни и восхищенной ругани за спиною, и сам обморочно отдыхал, чуя, как возвращается в пальцы, руки, в предплечья ловкая сила, скованная миги назад смертным ужасом полета с раскатанной гладкой высоты. И сейчас бы вновь оглянуть и крикнуть в голос. «Люблю!» А уже нельзя, не одна в санях, а еще трое — лишних, ненужных ему совсем теперь жонок, и все-таки оглянул жадно, разбойно вперясь в расширенные озера очей. И она поняла, почуяла, словно от удара в грудь шатнулась к задку саней, к узорному ковру, и, поймав недоуменную беспомощность взгляда, Никита, ликуя, еще раз, последний, ожег коня, и вновь рванул конь, и тут уже сам, опомнясь — не запалить бы хозяйского жеребца! — начал осаживать, переводя скок в рысь и чуя, как обвисает, отдыхая, все тело и как сзади, за спиною, начинают его хвалить и вновь раздается смех, и уже кричат, величаясь, отставшим, хвастая и любуя жутким пробегом саней!

В тот день, к вечеру, Василь Василич вызвал его к себе, и Никита, почуяв, о чем будет разговор, взошел в горницу нарочито независимо (а в душе не ведая, уйдет ли живым, ибо не знал и сам, что ответит боярину, ежели тот прямо задаст ему вопрос о Наталье Никитишне).

Василь Василич поглядел на него молча и тяжко. В зрачках копилась хмурая ярость.

— А убил бы кого? — наконец вымолвил он.

Боярин сидел на лавке. Никита стоял, слегка расставя ноги и чуть-чуть, незаметно совсем, покачивая плечами, и прямо смотрел в нахмуренный лик боярина. («Ох, и скажу же я ему все!» — подумалось вдруг, хотя что «все» мог бы он сказать Василь Василичу, Никита совсем не ведал.)

Боярин молчал, не то не примыслив, что еще сказать, не то копя в себе гнев, и взорвись он сейчас —

правда была бы на его стороне, боярской! Не одною своею головой и не одним конем рисковал Никита на днешнем катанье с гор!

— Ведаю...— хмуро, но все так же сдерживая себя, вымолвил наконец Василь Василич и, отводя глаза, добавил: — Сором! — И, вновь помолчав, присовокупил твердо: — Не быть тому!

Хотел было Никита возвесть очи, вопросить: «Чему не быть?» — затеять холуйскую игру непонимания... Да и в нем была не холопья кровь! Побледнел. Усмехнул. Понял, почему сдерживает себя Василь Василич: за эти смутные месяцы противустоянья и долгих пересылок рязанских стал он излиха нужен Василь Василичу и некем или трудно стало его заменить (хотя и мочно! В великом хозяйстве тысяцкого многие сотни людей, и всяк захочет услужить господину, коли придет в том большая нужа!). Но, верно, и еще что-то было, почему не хотел Вельяминов попросту сослать Никиту с глаз долой, куда ни то за Можай, и вся недолга. Верно, и сам чаял, что связала его с послужильцем иная незримая нить, оборвать которую — лишить себя многого, чего и не учтешь зараз!

Никита помрачнел, опустил взор, вновь поднял его на боярина. Какие тут нужны были еще слова!

И, верно, еще было нечто, чего не знал, не ведал Никита, вернее, не ведал в той мере, в какой ведал о том сам боярин, чуявший, что счастье начинает отворачивать от него и что в мышиной возне слухов, пересудов, говорок тайных и явных, измен и полуизмен одолевает его Алексей Петрович Хвост.

Опустил плечи Василь Василич, угасил невылитый гнев. Задумался. Сказал устало: «Ступай!» Только и было всей говорки меж ними...

Что дела Василь Василича плохи, Никита уяснил себе одним пасхальным днем, когда ему довелось по делам Вельяминова побывать в трех разных местах: у купцов на торгу, у мастеров-седельников и на литейном дворе — и всюду услышать, что-де Хвост в звании тысяцкого будет подельнее Василь Василича.

Лавка суконников (арабское слово «магазин» еще не окрепло на Москве), снабжавших лунским сукном и прочими иноземными тканями всю боярскую господу и сам двор княжеский, стояла недалеко от вымола, на южном склоне москворецкого берега. Тут, в затишке, припекало, снег сильно сел, где и вовсе сошел, и солн-

це, как бывает ранней весною, не шутя грело шею и спину.

Старый знакомец Ноздреватой, переживший трех князей и саму черную смерть, сидел в долгой шубе и валенках, подставив солнцу сивое, совсем древнее лицо, и грелся, полузакрыв глаза. Седатый сын, внуки, приказчики суетились, бегали, предлагали товар нечастым в эту пору дня покупщикам, и лишь один этот забытый смертью старец не шевелился на своем неизменном сосновом чурбаке. Но в жидких глазках купца, когда он оглядел Никиту, проблеснул ум, и цепкая купецкая память, как оказалось, сработала, не подвела Ноздреватого.

— Никак сынок Мишуков? — отнесся он, подумав, пожевав беззубым ртом, и присовокупил со вздохом: — Вишь, я и Протасьича пережил, да! — Глаза его заголубели, устремясь к дальнему, легкому и одетому сияющею синью, окоему и к прошлым годам, худо ли, хорошо протекшим для него на этой земле.

В лавке слышался шум и громкая злая говоря.

— Поди, поди! Чего нать, прошай! Сына прошай, я ноне ходок плохой, поди! — прошамкал старец, кивая головою на двери.

В лавке Никиту встретили с неловким смущением, как бывает после драки, когда новопришельцу родичи стыдятся казать свои нестроения, но все еще взъерошенно огрызаются друг на друга. Его не очень любезно спросили:

— Чево нать?

Никита объяснил.

— Вельяминовский товар в Коломне! — строго возразил сын Ноздреватого.— Держат товар, понимашь! Скажи...

— Да что,— перебил его второй купец, не то родич, не то сотоварищ по торговому делу.— Боярин, што ль! Такой же ратной, чево знат!

Видно было, что сиделец не договаривает чего-то и злится за то сам на себя.

Кое-как уяснив, что товар все же будет к послезавтрему и гости сами, по старому уряженью с покойным тысяцким, доставят сукно на Протасьев двор, Никита вышел вновь к весне и солнцу.

Пока толковал, в глазах зарябило от изобилия разноличной узорной красоты. В полутьме лавки, причудливо разложенные и развешанные, стеснились Бу-

хара и Тавриз, Царьград и Венеция, далекий Китай и сказочная Индия, выплеснув в нутро этой приземистой бревенчатой хоромины жар и истому своих удивительных земель. Рогатые звери и двуглавые птицы, слоны и львы, извивающиеся, раскрыв долгие пасти, змии среди трав и цветов, завораживающих своею многосложною перевитью, сукна и бархата, аксамит и зендянь, гладкие атласы и переливчатые шелка, узорная тафта и разноличные камки — чего только не было здесь! Торговля Ноздреватого явно шла в гору, и пока в Орде сидел Джанибек, установивший порядок на караванных дорогах и вымолах, увеличилась, пожалуй, вдесятеро. Странно было даже и помыслить, что ветхий старец в долгой шубе, греющийся на солнце за дверьми лабаза, и есть хозяин всего этого растущего, как на дрожжах, великолепия.

Выйдя, Никита остановился опять рядом со стариком. Кивнув в сторону лавки, покряхтев, Ноздреватой вопросил:

— Шумят?! — Вздохнул, слепо уставясь вдаль. Пояснил, вздыхая: — Коломенски на мытном дворе тамошнем обозы держат непутем! Вишь, Хвост с Василь Василичем не в ладах, дак потому... Мои-то и шумят, шумят...— Он задумчиво уставился туда, где виднелись маковицы заречного Данилова монастыря. Сказал без связи с прежним: — Толковал своим: пущай меня тамо схоронят, от князя Данилы невдали! Рачительной был князь! Хозяин! Иван-от Данилыч, тот тоже. И Семен Иваныч... Семен-то помер? — вопросил он, взглядывая, и Никита испугался жидкой голубизны стариковских глаз: уже не заговаривается ли купец? Но тот поднял руку, не спеша перекрестил лоб. Повторил-примолвил: — Помер! И Василь Протасьич помер, царство ему небесное! А меня вон и черная не взяла... Вишь, паря,— опять помолчав, довершил он,— бояре спорят, а нам, купецкому званию, докука. Обозы держат, товар, глядишь, в распуту попадет... да... Дак кто ни то один уж... Пущай Алексей Петрович в тысяцких походит тогда!

У Ноздреватого при слабости в членах, понял Никита, голова была еще ясная, и он верно понимал днешнее нестроение на Москве. Пожав плечами — не станешь же спорить с матерым старцем! — Никита простился и сбежал по склону к коню. Отвязал же-

ребца, вдел ногу в стремя и, беря с места в рысь, устремил в ремесленный Подол.

Купеческая колгота его еще мало встревожила. Да и чудно хорош был день, весь пронизанный солнечною голубизной, струящийся, свежий, весь в запахах далекого Заречья, влажной сыри, тонкого острого аромата ивняка, и хвои, и неведомых далеких земель и стран, оставивших свой след в темном нутре богатой лавки. И — эх! Скакать бы сейчас в ничто! В голубую, выписную, далекую сказочную страну Индию! Ускакать бы! Уплыть на небесном облаке! Ото всего: споров, дрязг, нелепой московской замятни, от томительного облика недостижимой, недоступной милой... Ускакать, уплыть, оставив сердце у ног ее, у красных узорных новгородских ее выступок, здесь, на Москве...

В улицах, где подряд друг за другом помещались щитники, седельники, лучники, стояли стук, звон и звяк. Тут ковали, чеканили, узорили медь и серебро.

В мастерской знакомого седельника стоял крепкий запах выделанной кожи. Подмастерья наколачивали мелкими гвоздиками кожаные заготовки на деревянную основу, обрезали, кроили, ковали и гнули медь, железо и серебро, узорили сбрую. Пермята, усмехаясь в каштановые усы, уча молодых, щурясь, с одного удара плющил серебряные бляхи на дорогом конском оголовье, превращая с одного маха капельку блестящего металла в чеканный маленький цветок.

— Вота как надобно! — приговаривал он.— А ты тута... с чеканом... Вота! Вота!

Узкий молоток с узорною вмятиною на конце в его руках летал по воздуху словно живой, но каждый удар был безошибочен и падал вниз, ни на волос не сдвигая узора чекана. Молодшие завороженно глядели на работу мастера.

— За седлом? — окликнул Никиту Пермята, отбрасывая молоток и обтирая по привычке руки о кожаный фартук. Протянув тяжелую лапу, он дружески потряс Никиту.

— Не подгадим! Гляди! — Сам, любуясь работою, приподнял тяжелое узорное седло, где по серебру уже сидели в гнездах крупные красные камни.— Пущай Василь Василич не сумует! Маленько подзадержали, тово! Дак зато работа — вот она!

Высокая лука седла, сплошь крытая серебряною оковкой, была украшена лалами и извитою, схожей

с восточною, узорною чернью. Седельники, пожалуй, больше всех иных мастеров перенимали восточный пошиб. Да и не диво: мало ли драгоценных седел, восточной сбруи, выделанной хорезмийскими и аланскими хитрецами, привозили бухарские гости на Москву!

Пермята взъерошил свою и без того кудрявую копну густых непокорных волос, добираясь до затылка, и, хитро щурясь, глянул на Никиту:

— Без седла-то, вишь, Василь-от Василич и Лопасню не возмог оборонить! — И, не давая Никите возразить чего ли, отмолвить, продолжал, указывая на ряды заготовок: — А ето Хвосту, Лексей Петровичу, работаем! Гляди, передолит вашего! — И захохотал, довольный.

Никита, сбрусвянев, пробурчал в ответ нечленораздельное. Но Пермята, не обижаясь, опять крепко хлопнул его по плечу, примолвил:

— Не робей! Думашь, полетят Вельяминовы, и тебе конец? Не сумуй! Наш брат, у кого руки с того места растут, завсегда и всякому надобен! Топор держишь в руках? Саблю держишь? Ну! Не пропадем, паря! — И, уже вываживая его из шумной горницы во двор, осерьезнев, сказал: — Твой-то чего думат? А на Москве такая толковня, што не усидеть ему на отцовом месте теперь!

Пермята всерьез озадачил Никиту, но еще боле того (уже и до знобкой неуверенности) озадачили его мастера на литейном дворе. Да так уж и повелось исстари, что тот, кто имеет дело с огненною работой, с металлом, ковкою и литьем, те мастера — всем мастерам голова, недаром в деревне кузнеца почитают за колдуна и целителя. А и тут, в городе, на княжеском, устроенном заново Симеоном литейном дворе, что помещался невдали от Кремника, мастера были, почитай, все колдуны — так наповадили думать о них на Москве, особенно с той поры, как мастер Борис отлил при князе Семене большой соборный колокол.

По всему по этому Никита с некоторым страхом заходил в низкие дубовые ворота литейного двора, скорее земляной крепости, обнесенной приземистыми городнями, набитыми утолоченной глиною и обмазанными глиною изнутри — ради возможной огненной пакости. Тут была черная пережженная земля, под ногами хрустели битые опоки, дымили печи в просторных сараях, где мерцал и мерк раскаленный металл

и было как в аду: от гари, от тяжелого сладковатого запаха раскаленного железа. Уши закладывало от ударов тяжких молотов и дробной россыпи ручников, так что говорить приходилось, крича в голос на ухо соседу. Черномазые — верно, что похожие на чертей — подмастерья (только зубы да белки глаз и виднеются одни на измазанном потном лице) выныривали из густо покрытого сажею чрева сарая, смеялись и казались от того еще страшнее.

Княжой мастер Телюга ополоснул руки в бочке с водой; вышли из главного сарая, нырнули в закуток и оказались в довольно светлой хоромине, уставленной разложенным по полицам разноличным кузнечным снарядом — от великих изымал до крохотных пробойников из закаленного харалуга, каких-то щипчиков, молоточков, клещей непонятного Никите назначения.

Недружелюбно покосившийся на Никиту молодой мастер переносил узор с куска бересты на железную пластину, простукивая тонюсенькими чеканами грани рисунка. В углу другой мочил что-то в черно-зеленой вонючей жидкости и вдруг вынул, окунув долгие клещи, загоревшуюся жарким серебром насадку для копья. Никита уразумел, что это как раз те насадки для праздничного оружия, ради которых его и послали сюда, и что работа, следственно, еще не готова.

За простым столом, сработанным на совесть — грузи хоть воз железа на него, не погнешь,— отдыхали мастера.

Медный луженый жбан с квасом, с захватанною до черноты ручкою, то и дело кем-нибудь наклонялся долу, и темная ароматная влага выливалась в чару, а из нее в чью-нибудь пересохшую от огненной работы гортань.

С ним едва поздоровались. Телюга кивнул в угол, где возился подмастерье с насадками, сказал пóходя:

— Не много и осталось! Осеребрить да... Вишь, дело-то не метно: то того, то иного нет... Молóды — они непроворы!

— Ну, ты не замай! — отозвался из-за стола молодой мастер с острым лицом и колючим цепким взглядом близко посаженных глаз.— Лучше боярина прошай, почто серебра не дает! Уксусу нет, кислоты нет! Князь в Орде, дак и товар в...— тут было произнесено столь неподобное, что Никита только крякнул. Однако молодой матерщинник не унимался и тут же начал вязаться

к Никите, хоть тому и во снях бы не видеть, где что достают для литейного дела и каковой надобен тут припас! Оказывается, что смерть старого тысяцкого и отъезд Алексия и здесь многое порушили и остановили. Мастерам недодавали кормов, задерживали дачу серебра, и теперь весь двор «как на дыбах ходил» по поводу того, кому быть вместо покойного Василья Протасьича тысяцким на Москве.

Литейный двор, устроенный при Симеоне мастером Борисом, вымер почти целиком. Два-три мастера из «стариков» да полдюжины подмастерьев — вот и все, что осталось от прежнего, и ныне тут были все новые, как выразился Телюга — «одна рязань».

Впрочем, и не в рязанских находниках было дело.

— Угля нет! — вскинулся из-за стола старик мастер, доныне молча пивший квас.— Хороший дубовый уголь был, туды-т твою... Распустили всех, и на поди! Угля нет, работы нет и дельных заказов нету, работаем замки, да скобы, да светцы вон... Ну, наральники к сохам, ето уж кажный год, как повелось по обычаю, а уж когда последню-то бронь варили? У меня подмастерья, рязань толстопятая, литого шелома в глаза не видели, все клепанину проворили у себя, дак! Дельного зерцала, налокотников... Да чо, дельной рогатины с морозом, с наводкой, чтобы чернь по серебру, сотворить не могут!

— Варили, да! — отозвался второй.— Наварили... Бронники жалуются, мол, такой харалуг, туды-т растуды-т, ни проволоки протянуть, ни колец не склепать путем!

Молодой строглазый взорвался в свою очередь:

— Один Бермята и галдит! Ему черта с рогами и хвостом представь, все мало! Скажет: почто не в железных сапогах?

— Наезжал твой Василь Василич, наезжал,— примирительно гудел Телюга.— А што толку!

Поднялись разом многие голоса:

— Углежоги с-под Коломны вси, как ентая зараза пала, разбежали по лесам!

— С черной-то и не туды ищо побежишь!

— То-то, што не туды!

— Може, Алексий-от Петрович какой порядок наведет, пристрожит малость!

— Вона, рожа-то, гля-ко, расплылась! Коломенски дак только ево и ждут, Хвоста-то! Свой боярин для их! Свой? То-то! Вот тута и думай сам!

— Про Василь Протасьича и слова нет! — вновь поднял голос старый мастер.— Знаем! Сам мертвяков по улицам собирал, чего ж больши! А Василь Василич не таков! Вишь, с зятем Лопасню сдали Олегу! Да и Алексей-от Петрович будет повозрастнее!

— Мне што! — вздыхал Телюга, выведя Никиту на волю.— Мне Вельяминовы свои, а только — как мир! Вишь, взострились и слушать не хотят ничего!

Выбравшись вон из литейного двора, Никита долго кашлял. С радостным удивлением глядя на белый снег, вдыхая вкусный весенний воздух, не мог отдышаться. Как они тут живут? Принюхались, видно! Хотя, так-то подумать, а какая вонь у кожемяков вечно стоит, и ничего, живут люди!

Но речи мастеров совсем доконали Никиту. «Ведает ли Василь Василич, сколь дело его пошатнуло на Москве?» — уже с сомнением думал он, в один день попадая в третье место, где хотели Алексея Хвоста заместо Вельяминовых... Тут и в затылке почешешь непутем!

Пока Василий Васильевич Вельяминов вел долгие переговоры с Рязанью, добиваясь выдачи тестя, Хвост развил бешеную деятельность на Москве. Стращая и уговаривая, объезжал бояр, выступал перед купцами и ремесленниками, орал, бил себя в грудь, называя Вельяминовых предателями. Сданная Олегу Лопасня явилась для него постоянною неразменной гривной: сколь не плати, все остается у тебя в калите! Задерживались обозы, страдал торг, роптали, не получая руги, княжеские мастера, в постоянных сшибках хвостовских с вельяминовскими уже не раз доходило до оружия. Алексей Петрович почти не спал, ел на ходу, поднял на ноги всю свою челядь. Дружинники его скакали с наказами боярина из города в город. Грамоты — поносные, на Вельяминовых — одна за другою уходили в Орду. Тут у Хвоста была надея прочная: княжич Иван всегда сникал перед напором своего боярина и соглашался на все. Не будь покойного князя Семена, Алексей Петрович давно бы взобрался на вожделенное первое место в думе великокняжеской. А ныне почуял боярин — подошло! Сейчас — или уже никогда! Себя загонял, сына загонял, загонял ключников, послужильцев, холопов; льстил, лгал, призывал,

уговаривал... Никогда, ни до, ни после, не являл Алексей Петрович такого сверхчеловеческого натиска. (И... кабы весь тот напор на дело пустить! Но был боярин Алексей Хвост из тех, кому власть надобна ради власти самой, ради животного ощущения владычества над чужою волей и плотью, а потому, добившись власти, «опочил от дел», зацарствовал, обманувши всех, кто ожидал от Хвоста разумного управления делами, что и погубило его впоследствии.)

На Москве затеивались уличные драки; по волости вновь явились татьба и разбой, и никто не унимал, не казнил и не вешал татей, как было заведено Калитою и Симеоном Гордым. Скорее от гибельного неустройства, а совсем не потому, что очень уж дорог был Алексей Петрович люду московскому, тихие горожане стали склонять на его сторону: пущай уж станет тысяцким, лишь бы унял колготу и водрузил мир на Москве!

Бояре собирались келейно, судили-рядили, но досудиться ни до чего не могли. Все трое Бяконтовых — Матвей, Константин и Александр — стояли на том, чтобы непременно ждать старшего брата Феофана из Орды, а главное, владыки Алексия, а без него ничего не решать и не вершить. В одно с ними были и Мишиничи, искони державшие руку Вельяминовых. Но поскольку, опять же, глава рода, Семен Михалыч, уплыл с Алексием в Царьград, без него ни Иван Мороз с Василием Тушей (дети Семена), ни брат его Елизар с сынами не решались что-либо предпринимать. Александру Прокшиничу был также не люб Алексей Хвост, но и он один, без Дмитрия Зерна, который вместе с Феофаном сидел сейчас в Орде, не решался выступить противу притязаний властного боярина. Ну а Андрей Кобыла, не одобрявший никогда всяческой колготы на Москве и единственно могший удержать Хвоста по праву старейшинства и власти, лежал ныне при смерти и уже ничего не мог ни поворотить, ни содеять.

Алексей Петрович меж тем поднял на ноги всех бояр Ивана Иваныча (из удельных им выпадала судьба стать великокняжескими!), перетянул на свою сторону Акинфичей, а за ними — тех бояр старомосковских родов, которые были когда-то потеснены наезжими сподвижниками князя Данилы: Редегиных, Афинеевых, Василья Окатьича с Миной; даже и Дмитрий Василич, от которого многое и многое зависело на Москве,

из соперничества с Вельяминовыми принял сторону Хвоста.

Еще и на том сыграл Хвост — и умно сыграл! — что Мария, вдова Семенова, радеет о тверских князьях, детях Александра: брата Михаила принимала о Рождестве, радеет Всеволоду, а значит, поддерживает и ворога Алексиева Романа (тверского ставленника на митрополичий престол), поди, скоро учнет московское серебро передавать ему! А защищая Всеволода, разрушает давний союз Москвы с кашинским князем Василием. Меж тем у нее в руках главные города княжества, и поддерживают ее не кто иные, как Вельяминовы, опять же сдавшие Лопасню князю Олегу!

Праздниками Алексей Петрович сам явился в терем великокняжеский требовать от Марии отречения от завещания недавно опочившего князя.

Вошел большой, широкий, в бархате веницейском, с золотою цепью на плечах. Вошел и потребовал, не садясь, отказа Марии от владельческого права на Можайск и Коломну.

Мужская прислуга у Марии в тот день была в разгоне. Готовились к весенней страде: посельские, ключники, дружина были разосланы по селам. Мария выслушала Хвоста. Очи великой княгини омрачнели, сошлись брови. И это он, он! Был сватом! И уговаривал ее на сей брак, на это княжение! А Иван Иваныч еще в Орде, еще неясно, станет ли великим князем... А ее уже унижают как тверянку и дочь погубленного ими всеми в Орде, всеми ими, московитами, Александра, героя, великомученика! Вся княжеская гордость всколыхнулась в ней. Но некому было приказать выкинуть боярина вон из терема — не сенным же боярышням повелеть такое! Тем паче и Хвост был не один, а в сопровождении оружной челяди и ражих молодцов-послужильцев... И почему, почему Господь не оставил ей детей?! Почему ей, родившей стольких сыновей, не суждено ни одного из них зрети живым?! Почему и она не взята ко Господу вместе с чадами и любимым супругом?!

После, много после ухода Хвоста подумала она, что ее владельческие права на главные города княжества, оставленные ей Симеоном в тщетной надежде на посмертное хотя бы рождение наследника, и в самом деле ей не нужны, отяготительны и возбуждают, верно,

негодование не одного Хвоста, но и всего московского боярства, что лепше ей отказаться от власти той и самой подарить просимое Ивану Иванычу... Но и опять — Ивану, а не Хвосту! Не пред наглою спесью этого вечного ворога мужнего склонить ей гордость свою! Здесь, в этом тереме (который, уже поняла в сей миг, надобно отдать Ивану Иванычу и Шуре Вельяминовой сразу и безо спора, а самой переехать куда ни то, хотя в тот двор, что за Протасьевым, и отдать еще до возвращения Ивана, поговорив с Шурой с глазу на глаз), здесь, в этом тереме, у этого ложа, в этих стенах, видевших князя своего гордого и властного с ними со всеми... О, небо! Она задыхалась от горя, гнева, обиды и возмущения. Горячечно глядя в наглые глаза, в это раскормленное сытое лицо, прошептала, потом выкрикнула:

— Вон! Пока жива...— И что-то кричала, уже непонятное ей самой.— Вон! Вон! Вон!

Сбежались мамки, сенные бабы, захлопотали. У нее плыло в глазах, она топала ногой, кричала в голос. Посунулся престарелый Олсуфий, где-то по лестницам уже бежали ратные...

Хвост, усмехнув презрительно, поворотил и вышел из покоя. Его молодцы — еще видела, прежде чем пасть на постелю и глухо зарыдать,— оглянули покой, выходя, словно примеривали, что здесь в случае можно похватать да посовать за пазухи...

— Грабежчики! Тати! Маменька милая, зачем, для чего ты меня сюда отдавала!..

Василь Васильич услыхал о событии от глядельщиков. Никита с молодцами подомчал ко княжеским теремам, когда хвостовские уже отъезжали. Нападать на оборуженную дружину во главе с самим Алексей Петровичем не стали. Вышел бы прямой бой с неясным исходом для Вельяминовых.

Вдовствующая великая княгиня встретила вельяминовского старшого в гостевой палате, едва оправившаяся от приступа. У нее дрожали губы. Не враз поняла, видно, что говорит посол. Уразумев, что Василь Василич тотчас будет, а у крыльца стоит стража, покивала головой. Знаком приказала — сенная боярышня на блюде подала Никите чару белого меду. Никита выпил, обтер усы, поклонил княгине, опустив правую руку почти до полу. Вглядясь в него, Мария вдруг усмехнулась печально:

— Не ты ли ездил... гонцом тогда?

Никита не вдруг (сколько годов минуло!), но понял, о чем речь, поклонил вдругорядь:

— Я, госпожа!

— Помороженный был весь...— задумчиво вымолвила Мария. И стояла перед ним невысокая огрузневшая женщина во вдовьем темном наряде, с раздавшимся вширь лицом, в неярком повойнике, строгая, а в глазах, в прыгающих губах, в отчаянной мольбе взора было такое юное, девичье, прежнее и безнадежное теперь, как не вернуться бывает в минувшие прежние годы, что Никита, душа которого и сама-то была вся изобнажена и изъязвлена во все эти долгие месяцы горя и любви, понял ее, почуял с нею и за нее, хоть и ничего не сказал, вздохнул ли только. Но она и сама постигла ответное участие ратника, вымолвила тихонько:

— Спасибо!

И — что сделать, содеять? Остановилась на уставном, привычном. Сама налила новую чару, поднесла гостю-спасителю и легонько коснулась губами к склоненному челу Никиты. В этот-то миг стал для Никиты боярин Хвост личным ворогом, коего надобно было передолить и даже вовсе уничтожить, совсем.

— Мы сторожу разоставим... Днем и ночью... Не сходя...— не своим каким-то, чужим, сдавленным голосом вымолвил он, отступая. Слышно было, как по лестнице шел Василь Василич, и Никите следовало уже, и тотчас, оставить покой.

Не ведал он, о чем толковала княгиня с Василь Василичем, но ратных с того часа от княжеского крыльца больше не убирали, а во втором дворе Симеоновом начали расчищать место и возить лес на новый терем.

Ни Никита, ни вдовствующая княгиня не ведали про тяжкую ссору, произошедшую меж Вельяминовыми накануне этого дня.

На келейном семейном совете Федор Воронец требовал от старшего брата Василь Василича отступить от княгини Марии и спасать судьбу рода и дело Москвы независимо от нее, потому что грамота, посланная Марией Василию Кашинскому, уже стала известна на Москве и смутила многих.

— Ну и серебро станет давать братьям! А там и ратных пошлет на помочь! И своими руками возродим

Тверь! Неча было тогда ни Юрию воевать с има, ни Ивану Данилычу, ни князю Семену... Сидели бы в своей мурье да тараканов кормили! — кричал Федор, а Василь Василич только пыхтел, темнея ликом и не ведая, что сказать. Тимофей, тот кидался на Федора, кричал о чести, о совести, о том, что предательством они опоганят себя и детей на все грядущие годы. И Юрий Грунка, самый младший, был душою с Тимофеем. Но им обоим перевалило лишь за двадцать лет, а Федор с Василием каждый были почти вдвое старше и оба — великокняжескими боярами. Так что голоса молодых Вельяминовых мало что значили пока и все зависело от решения Василь Василича... И как знать! Не явись Хвост столь нагло в терем Марии, как бы еще и поворотило дело-то! Сторожу от княжого терема убрал Василь Василич недаром. Сам знал — как и все прочие бояре московские, знал,— что городами княжескими Марии, бездетной вдове, да при ином князе, невместно владеть, но сожидал Ивана из Орды, сожидал пристойного, постепенного, необидного ни для кого решения, сожидал, дабы Мария сама предложила воротить те города Ивану... А тут Хвост, оскорбивший дозела память покойного Семена, оскорбивший и его, Вельяминова. И — в память эту, за-ради чести своей, не похотел боярин измены вдове Семеновой и, упершись упрямо, едва не потерял все на свете: и власть, и волости, и честь боярскую, и мало не саму жизнь.

Ибо когда идет волна, когда толпа стронулась и потекла неостановимо, то хоть ты и прав тысячекратно, хоть нет, а или присоединяйся, или выжидай, коли мочно, событий, или иди на смерть, на гибель, на попрание, ибо растопчут, сомнут и разве потом, много после, поймут, что был ты один героем, а все они — стадом, помчавшим испуганно или взъяренно совсем не в ту сторону. Ежели поймут. Ежели запомнят твой одинокий подвиг. И ежели ты прав, а не ошибаешься в свой черед! А был ли прав Василий Васильевич Вельяминов, упрямо защищавший владельческое право своей госпожи? Трудно это решить и о сю пору! Не ведаем точно, как и что створилось тогда на Москве, не ведаем, кто и о чем мыслил в московских спорах. Ведаем только, что надобна была стране, земле, языку русскому единая сильная власть и стараниями всех бояр московских, а больше всего владыки Алексия, осталась она за Москвой. И то, что города у Марии были

отобраны (или возвращены ею добровольно), известно стало теперь только по завещанию Ивана Ивановича, где они исчислены уже среди его княжеских владений. А о том, что спас впоследствии Вельяминова никому неведомый ратник Никита, Мишуков сын, не уведал и вовсе никто.

Было то время предвестия ранней весны, когда еще морозы вовсю, но серо-сиреневый зимний полог стаял, стек с небес, и отверзлась взору высокая нежная голубизна, от которой и тени враз засинели на снегу, далеким-далеко раздвинулся окоем, а солнце, еще нежаркое, еще не отошедшее от зимних стуж, уже греет в затишках руки, разбрасывая свою золотую сквозистую парчовую кисею по сугробам и купам дерев, и воздух, чуть-чуть дрожащий, хрустальный, упоительно-свеж, и даже в ледяном ветре последних вьюг, от которого разом немеют щеки, незримо сквозит сладкая горечь готовых распуститься ветвей.

Потрепанный в дальних дорогах кожаный, низкосидящий возок на дубовых полозьях, обитый по углам узорчатым серебром, со слюдяными оконцами в ладонь, с малою, только пролезть, дверцею, на которой еле виден написанный красным московский ездец на белом коне (будущий Георгий), ныряет и уваливает с угора на угор, уносимый шестеркою запряженных попарно, гусем, приземистых широкогрудых неутомимых татарский коней. Возница, щурясь от сверкания снегов, лихо кричит, раскручивая в воздухе над конскими спинами длинный ременный, хитрого плетения кнут:

— Ии-эх! Родимыи-и-и!

Кони встряхивают гривами, рассыпая соловьиную трель серебряных бубенцов, рвутся в яростном ветре, сильно и часто работая ногами, так что не различить мелькания кованых копыт. Скачет, по-татарски пригибаясь в седлах, дружина впереди и сзади княжеского возка. Фыркают кони, летит облаками мелкое крошево снега из-под копыт, весеннего тяжелого ледяного снега, что радугою брызг покрыл шапки, вотолы, опашни и ферязи конных детей боярских, кметей и челяди нового великого князя владимирского.

Вот вылетает из-за угора второй возок, за ним — третий, четвертый, а дальше — сани, груженые роз-

вальни, купеческие высокие возы, но даже там, в хвосте растянувшегося на три версты обоза, возничие, истомившиеся в Орде до беды, изо всех сил полосуют кнутами конские спины, торопят: скорей, скорей! Домой, на родину, в Русь!

Кони дружинников идут наметом. Впереди, уже недалече, княжеский город, Владимир.

Когда кожаный возок ныряет и возносится ввысь, Иван Иваныч с боязливым восхищением ухватывается за твердые ремни, которыми привязаны ларцы, укладки, кошели и торбы с казной, платьем и грамотами, глазасто и жадно глядит по сторонам сквозь желтые слюдяные створы, ухватывая разом и солнце, и морозный дух весенних снегов, сочащийся внутрь возка, и пронзительный птичий грай, и опасливо-радостно взглядывает на строгий лик Феофана, что замер, словно бы и не он поминутно взлетает ввысь, теряя вес тела, словно бы и не его мотает на пестрых ордынских подушках княжеского возка. Холопы уселись на самое дно. Толмач по-татарски согнул ноги кренделем, что-то лопочет по-своему, лукаво взглядывая на князя. А Иван радует совсем по-детски. Все так хорошо! И весна, и снег, и кони, и дорога, и счастливое завершение ордынской истомы, и вот он уже (скоро!) великий князь, и все свары и ссоры покончены, и заждавшаяся Шура скоро примет его в свои объятия, и ему станет хорошо-хорошо, и можно будет все забыть, кроме нее, да своего терема, да детей... Бояре толкуют, что теперь ему надобно перебраться в Семеновы хоромы, а так не хочется! Андрей бы... Нет брата Андрея... Василь Протасьич... И старого тысяцкого нет! Ему на миг становится нехорошо, но он отбрасывает от себя, отодвигает все тяжелое, скучное, унылое, и вновь взглядывает в закаменевший лик Феофана, и вновь недоумевает: почему же они, Феофан с Дмитрием Зерном, больше, чем он сам, добивавшиеся великого княжения, теперь столь строги и неприветны? Все ведь так славно окончено! Он не выдерживает, зарозовев разгарчивым девичьим ликом, прошает Феофана, почто тот таково суров. И старик, из почтения к князю улыбнувшись беглою нерадошною улыбкою, отвечает:

— Неладно, батюшка, на Москве у нас! К дому ближе, дак и забота, тово, поболе долит...

Иван вспоминает потерянную Лопасню, споры Хвоста с Вельяминовыми, о коих ему уже не пораз доно-

сили в Орде, и, похотев придать себе твердости и величия, хмурит брови. Но не получается! Трудные мысли никак не идут в голову, рот сам растягивается до ушей. Да и коли свершилось ко благу в Орде, неуж дома-то станет хуже? В родном терему и стены помога! И потом: все были такие добрые! И суздальский князь после ханского решения прислал к нему тысяцкого, поздравил с великим столом. Только новогородцы не смирились... Ну, да его бояре что-нибудь да надумают! И скорее бы воротил из Царьграда Алексий! Последняя мысль набежала, как легкое облачко. На миг расхотелось улыбаться. Приедет Алексий! Должон приехать! И все будет в порядке! И вновь молодой московский князь тает в солнечной детской улыбке... Красивый и совсем-совсем беззащитный мальчик-муж, коего свои бояре везут сейчас во Владимир сажать на престол великого князя владимирского вослед отцу и брату, двум могучим покойникам, создававшим и почти создавшим наконец трудное величие Москвы, доставшееся теперь нежданно-негаданно в его полудетские руки.

Кони идут скачью, и уже близят, уже почти слышны радостные, серебряным звоном славящие княжеский поезд владимирские колокола.

Мчат кони, взмывает и опадает, кренясь на поворотах, возок, радостен князь, радуют близкому завершению пути холопы и челядь, радует возница, щелкая в воздухе долгим бичом, и только один Феофан, закаменевши ликом, перебирает сейчас в уме тревожные вести из Москвы, где восстала промежду бояр почти что взаимная рать, прикидывая (и уже сомневаясь в том): сумеет ли Иван Иваныч без владыки Алексия сдержать сии гибельные которы, грозящие на ниче обратить сокровище власти, добытое совокупными трудами всей московской земли? Добыли! Добились! Вручили! А кому? Эх, княже Симеоне, рано ты опочил, осиротил землю свою!

А кругом сияют, лучась, голубые снега, и пахнет близкой весною холодный мартовский ветер!

Нет человека, на которого не повлияли бы оказываемые ему почести, и влияние это тем сильнее, чем меньше соучастие самого человека в устроении этих честей.

Неудивительно поэтому, что у Ивана Ивановича после торжеств во Владимире закружилась голова. Он

не то чтобы поверил в свою предназначенность к вышней власти, а принял все сущее как нечто, долженствующее быть само собой. И безмерно удивился поэтому, когда после торжественных служб в Успенском соборе, колокольных звонов, возглашений, пиров, приветствий, слав и подношений, после многочисленных переодеваний в изукрашенные одежды, раболепства холопов и шумной радости народных толп, собравшихся приветствовать нового великого князя владимирского (раздававшего по обычаю серебро и подарки: куски тканей, лафтаки цветной кожи и парчовые лоскутья), вдруг выяснилось, что эта великая радость, свалившаяся на него и, казалось, равно излившаяся окрест на все сущее, разделена далеко не каждым в русской земле.

Лишь после беседы со строгими своими боярами — Феофаном Бяконтовым и Дмитрием Зерном — уяснил Иван, что новогородцы не прислали посла своего для участия в торжестве, развергли прежние союзные грамоты и отказались давать бор новому владимирскому князю; а Константин Суздальский, хотя и прислал боярина, но от участия в избрании Ивана Иваныча сам уклонил и не думает пока подтверждать старые договорные уряженья, заключенные между ним и покойным Симеоном.

Они сидели в горнице владимирского владычного подворья. Иван на резном креслице с высокой спинкой, положа руки на подлокотники и строго выпрямясь (уже научился тому за малое число протекших дней[1]), бояре — на перекидной скамье перед ним, чинно блюдя обычай и честь княжескую. У Зерна руки на коленях, у Феофана — на резной, рыбьего зуба, рукояти парадного посоха. Сидят уже в некотором подчеркнутом отдалении, как бы отодвинутые прихлынувшею властью. А красивый мальчик в золоченом креслице сдвигает выписные девичьи брови (своих двадцати восьми лет Ивану никак не дашь, он и душою и видом как был, так и остался юношей), пробует гневать, недоумевает, вспоминает отцовы походы на Новгород Великий, спрашивает обиженно и чуть-чуть надменно: не должно ли двинуть полки на непокорных?

— Их надо наказать! Зачем же теперь... когда хан решил? Ведь это неуважение к власти?

— Видишь, княже! — Феофан чуть-чуть морщится, объясняя своему князю истины, в коих тот должен бы был разбираться сам.— Батюшка твой да и

покойный Семен Иваныч ходили на Новгород завсегда совокупною ратью всей Низовской земли. А без Костянтина Василича Суздальского ратей не соберешь! Там, глядишь, и ростовский князь нам в полках откажет, и будет сором.

— Я двину московские полки! — топает ножкой в красном, шитом жемчугом сапожке новоявленный владимирский властитель.

Но Дмитрий Зерно глядит на него устало и серьезно и медленно, отрицая, качает головою. Погодя говорит, и в голосе — властная, утверждающая правота:

— Одни мы не совладаем, княже. Земля оскудела ратными. Ежели к тому новгородцы еще и Ольгерда пригласят с литовскими воями — быть беде! С Ольгердом без помочи мы и вовсе ратиться не заможем!

Глаза у красивого мальчика делаются круглыми и испуганными. Он вовсе и не подумал о такой возможной литовской пакости.

— Мира мы Нову Городу не дадим,— довершает сказанное Зерном Феофан,— а ратитьце не время, княже! Не время и не час! — решительно добавляет он.

Мальчику бы вспылить, топнуть вдругорядь ножкою, настоять на военном походе — и тем, разом, погубить дело покойных отца и брата... Но закаменевшие лица бояр строги, и вряд ли даже они послушают его, ежели он топнет ножкой и решит что не по-ихнему... И Алексея Петровича Хвоста нету рядом! Тот бы, может, и придумал чего...

Все же свои бояре немного обидели Ивана, сбили ему светлое торжество радости, заставили торопиться на Москву. На Москве будет Шура, и дети, и дом, и боярин Хвост, всегда такой уверенный и спокойный! Дома что-нибудь придумается и с Новым Городом!

...И вот они снова едут умножившеюся дружиной; и ярче солнце, и теплей ветра, и лес, когда кончается оснеженное владимирское ополье, уже весь весенний, ждущий, напоенный потаенною радостью весны... Едут шибко, и после Юрьева заночевали только в Переяславле, на посаде, в княжеских хоромах, где его уже встречали с дарами избранные граждане Москвы. И были хлеб-соль, и песенная «слава», и пированье, и вновь безоблачная радость близкого возвращения.

Он лежал, утонувши в пуховиках, и тихо радовал. Голову чуть-чуть кружило от выпитого меду, и не мог уснуть уже, с прежним юношеским смущением думал о

Шуре. И не думал, чувствовал так, что все сказанные трудноты забот и власти отпадут сами собой, устроятся как ни то, едва он достигнет Москвы, а там и владыка Алексий воротит из Царьграда, и ему останет одно: любить всех, и награждать за труды, и миловать, и ежевечерне попадать в крепкие объятия дорогой любимой супруги, которую когда-то подарил ему, воспротивившись властной воле старшего брата Семена, ныне покойный Андрей!

Снег за те дни, что он провел во Владимире, сильно сдал, протаял, копыта коней начинали проваливать в дорожные водомоины, и кони выбивались из сил. Давно уже миновали Радонеж. Москва приближалась сгущением сел, деревень, починков, участившимися боярскими дворами, и наконец вот он, с бело-розовыми пятнами храмов, вознесенный над кручею Кремник, дорогой дом, родина!

Красным праздничным звоном звонили московские колокола. Начиналось благолепие, окружавшее доднесь старшего брата и теперь дарованное ему, ему! Купцы и бояре с дарами, радостные лица горожан, клир церковный в светлых ризах... Наверно, ежели бы Феофан с Дмитрием не стушевались, не исчезли на время, дав новоиспеченному великому князю нарадоваться досыти, он бы возненавидел их на всю жизнь.

Подскакивают верхоконные дети боярские, окружают возок. Его везут не к дому, а к великокняжескому терему, где на крыльце Шура и мачеха Ульяния со смущенным, немножко испуганным лицом, с хлебом-солью в руках. Как он ее любит, как он любит их всех! (Мария сделала великую ошибку, отказавшись встретить деверя на крыльце терема и пожаловав к нему со здравствованием лишь назавтра. Ни во что поставил Иван ей подаренные терема, и холодок отчуждения как был, так и остался меж ними. Да и могло ли быть иначе? Тень Симеона, никогда не прочившего младшего брата на стол, неустранимо стояла за его несчастливою вдовою.) Зато Ульяния, обласканная Иваном, вплоть до самой смерти князя оставалась для него дорогою и желанной родственницей, почти матерью, и уж никак не мачехою из сказок. Да и не могла эта тихая, ласковая и еще очень молодая женщина явиться злобною мачехою для своего взрослого пасынка-князя!

...Вокруг гудели голоса, взрывались клики, здравицы,

ржали кони стеснившихся у крыльца верхоконных детских, а он держал за руки Шуру и глядел в ее сияющие, подобно звездам, любящие глаза, и ничто уже не существовало для него. И все содеивалось как во сне — и баня, и служба в соборе, и пир, и торжественное сидение (впервые!) в думе государевой, и даже Алексей Петрович, радостный, большой, промелькнул неуследимо сознанию... И даже дети, которых он поднимал, чуя, какие тяжелые стали мальчики, как подросли за время его отсутствия, и целовал мокрые мягкие ротики, гладил и ерошил им волосы,— но даже дети прошли мимо, стороной, отданные на руки мамкам, и уже сил не было разбирать, что чужая, братняя горница, чужой полог, непривычно расставленные и разложенные утвари... Лишь сбросить с себя надоевшие, ненужные порты, отшвырнуть сапоги, которые Шура, по обычаю, сама стянула с супруга, и повалиться в перины, в пуховую мякоть постели, в Шурины объятия, и, закрывши от счастья глаза, отдаться упругому теплу ее рук, ее тугим объятиям, властной силе ласк и всегда нежданному, подобному чуду, волшебному содроганию супружеского соединения.

Он уже спал со счастливой улыбкою на лице, а Александра все ласкала своего Иванушку, удивляясь и не понимая совсем, что ее мальчик-княжич, ее женская утеха и зазноба, стал наконец великим князем владимирским.

Впрочем, отдохнуть, понежиться, побыть хотя бы с семьей — и того Ивану не дали. С утра начали приходить с дарами и просьбами, с жалобами и поклонами. Явилась Мария, и он стесненно, не ведая, как ему вести себя с нею, принимал вдову старшего брата, с душевным облегчением сплавив ее на руки Шуре. Явились Вельяминовы, все четыре брата, и надо было их принимать и что-то решать о должности тысяцкого (но это хоть отлагалось до заседания думы!), и еще надобно было помыслить о полоненном рязанами в Лопасне боярине Михаиле Александровиче, тесте старшего Вельяминова. А затем явились свои бояре — старик Онанья, расплакавшийся при виде любимого князя, и Алексей Петрович Хвост, к коему Иван сам готов был броситься на грудь и расплакаться и просить спасенья от всей той кутерьмы, лавины дел, и жалоб, и вражды, и гнева, обрушенных на него московитами...

Вечером, успокоясь и придя в себя, отложив все

грамоты и дальние дела, похотел и затеял Иван разрешить хотя ближайшее, важнейшее прочего, как представлялось ему самому еще в Орде. Назавтра в Рязань Олегу была послана уклончивая грамота с просьбою вернуть московский полон «ради мира и тишины взаимной», то есть с косвенным признанием захваченной Лопасни рязанским владением. (Боярам Олега Иваныча этой грамоты оказалось достаточно, и тесть Вельяминова был вскоре отпущен на Москву.)

Вдову брата Андрея, Машу, Иван посетил сам. Поглядел в ее смешливое, немножко растерянное лицо, подержал на руках маленького Владимира и повелел (впервые сам повелел что-либо!), чтобы братня вдова и ее бояре, потерявшие села под Лопасней, были вознаграждены иными владениями на рязанском пограничье из числа великокняжеских. И это было сделано, к вящему удовольствию Ивана, быстро и без волокиты и споров.

Но приближалась и приблизилась наконец ожидаемая им с тайным страхом первая большая великокняжеская дума, где он должен был всенепременно утвердить нового тысяцкого, хотя тайною мечтою Ивана было оставить решение именно этого дела до приезда владыки Алексия.

Когда Иван утром выходил из церкви, площадь перед теремами была уже полна народом. И то, что ждут заседания думы, что ради того и сошлись в Кремник и что перед ним не что иное, как самостийное московское вече, стало ясно из первых же возгласов толпы:

— Олексия Петровича! — дружно орала площадь.

— Василь Василича! — кричали иные, вперебой. Но сторонников Вельяминовых явно было меньше.

Уже Иван был у самого крыльца теремов, где дети боярские с трудом сдерживали напирающую отовсюду толпу, а посадские лезли, махали ему шапками, улыбались во всю рожу, когда настиг его молодой, весело-звонкий голос:

— Не сробей, Иваныч! Коломну у Марьи отбери, не то и тот город уплывет к Олегу!

И по тому, как вспыхнула, как дружно заорала толпа — неразличимое, но все об одном и том же, только и слышалось: «Баба на городах! Тверянка! Раззор! Лопасня!» — становилось ясно, что голосистый

москвич высказал главное, ради чего приперлись сюда сегодня тысячи московского люда.

В думе тоже не было обычного благолепия. Вернее, оно тотчас же разрушилось и потонуло во взаимной пре и яростных возглашениях бояр, что и посохами стучали и вскакивали с лавок, так что Иван в княжеском кресле, взмокший от страха, не ведал уже, что и вершить.

В просторной дубовой палате ради теплого весеннего дня были вынуты уже слюдяные окошки со стороны сада. Ласковый ветерок порою залетал в окна, овеивая разгоряченные лбы одетых в дорогие шубы и бобровые или соболиные шапки бояр. (Обычай, перенятый у татар, сидеть в шапках, уже прочно утвердился в думе государевой.)

Заседание открыл старик Онанья, сказав кратко, что город без тысяцкого шумит, исправы нет никакой, и поскольку Василий Протасьич умер, надобно утвердить или уж Василия Васильича, или Алексея Петровича Хвоста, который и годами повозрастнее, да и давно уже заслуживает высокого звания. Еще покойный Юрий Данилыч его отцу Петру Босоволку обещал место тысяцкого на Москве. Услыша восстающий при этих словах ропот, Онанья развел руками, поднял бороду, возгласил: «Судите сами, бояре!» — и сел под умножившийся говор и рябь возгласов.

Алексей Хвост поднялся, большой, осанистый, с виду спокойный. Обвел взором готовое взорваться враждою собрание. Громко возгласил, вопрошая:

— О чем спор? К чему шумим, господа? Выберут меня ли, Василья ли — то воля Москвы (он показал рукою на окна, за которыми орала толпа горожан) и милость княжеская (он склонил голову в сторону Ивана Иваныча). А только я об ином хочу прошать, о том, про что ныне вся Москва шумит! «Доколе терпим?» — прошают москвичи. Достоит у княгини Марьи отобрать Можай и Коломну, пока новой пакости не произошло, яко же и с Лопасней! Выберут меня — свершу по слову князеву, как и обещал. Изберете Вельяминова — Василь Василич, не посетуй уж на меня! — на ину дело повернет, понеже Вельяминовы волю покойного князя блюдут!

Сказал и сел в уже подымавшемся волною шуме толковни. Просто сказал! То сказал, что кричал давеча мужик из толпы. И... так бы и содеять; по слову

Алексей Петровича. Но поднялся Феофан. Прямой, строгий. Молвил громко, не столько боярам, сколь самому князю:

— Переменить завещание Семена Иваныча может только духовная власть. Надобно ждать владыки Алексия!

То и так высказал, что показалось тотчас Ивану Иванычу, он бы и сам это придумал, еще прежде боярина Феофана. Да, конечно, сколько бы ни был прав Алексей Петрович, а выждать владыку Алексия всяко надобно!

Но вновь тучей поднялся осанистый Хвост. Попросил слова вдругорядь, поелику не все потребное высказал, и Иван, склонив голову, позволил ему и во все глаза смотрел на своего боярина, пока Хвост трубным своим гласом заливал всю думную палату:

— Доходы с городов тех идут княгине Марии и уплывают в Тверь родичам ее, братьям Всеволоду и Михаилу! И Василью Кашинскому достается, недаром Семен Иваныч супругу свою на руки кашинскому князю поручил! Не шумите, бояре, правду баю! А кто обороняет те города? Кто воеводы, сколько ратных, готовы ли к нахождению бранному? Не ведаете?! И я не ведаю того! Василий кричит, что готовы, а я не верю сему! Не женское дело — грады оборонять! Не возможет того вдова нашего покойного князя, не возможет! Лопасня тоже была готова! Для кого только?! — отнесся он уже прямо к Вельяминовым, которые сидели рядом, Василий Василич с Федором Воронцом.— А Ольгерд нагрянет?! Шумите, бояре, пуще шумите! А молвите мне, што, ежели нагрянет Ольгерд и возьмет Можай? А Олег Иваныч тем часом изгоном заберет Коломну? Пока будем сожидать владыку Алексия, того и дождем! Вельяминовы уперлись, а земле раззор, на мытных дворах бестолочь, обозы стоят, страдает торг, и все то — вельяминовские затеи! Лопасню уже потеряли, и не было ли в том перевета — бог весть!

Окончил Алексей Петрович уже при шуме и выкликах всей думы. Окончил, обвел очами супротивников своих и ряды бояр на лавках и сел. Победно, гордо сел, в сознании силы и правоты.

— Ишь, выскочил! — пробурчал Иван Мороз Елизару.— Будто и без них не знали! Всем ведомо,

что Можай с Коломной не княгинин кус, да надо ли спешить так сразу и рушить волю князя Семена?

Елизар поглядел на племянника, усмехнув в один ус, повел рукою в парчовом наруче, показав молча взмятенную думу,— мол, и не втолкуешь им теперь ничего! — махнул рукою, уложил длани на колена, набычил шею, готовясь слушать молча все подряд, какая бы безлепица ни была нынче произнесена.

Василь Василич уже стоял на напруженных ногах, почти готовый ринуться в драку. Иван Иваныч, коего Хвост почти нацело убедил, со страхом взглядывал теперь на старшего Вельяминова, одного пламенно желая всей душой: чтобы его бояре как ни то, а поладили друг с другом.

— В торгу обозы держит Алексей Хвост! — выкрикнул Василь Василич.— От него все и пакости на Москве! На судное поле!..— до боли сжав кулак, так что вонзились в ладонь холеные ногти, Василь Василич все же овладел собою, заговорил спокойнее, хотя хоровод лиц перед ним плыл неразличимо и было такое, что впору вырвать саблю и рубить, рубить и рубить.— Давно ли, давно ли отец...— У него прыгала борода, глаза сверкали огнем.— Давно ли покойный батюшка сам, своими руками боярскими трупы собирал по Москве! Что-то не ведали мы тогда близ себя боярина Хвоста! Давно ли клялись князю нашему на ложе смерти его... Воля покойного князя священна! — выкрикнул он.— Ежели мы будем без всякого повода перечеркивать княжеские духовные, кто нам поверит тогда?! Не станет ни власти, ни чести, не останет веры никому и ни в чем! Помыслите об этом, бояре! И всяк из вас смертен, и у всякого надея одна: да не порушили бы волю его посмертную!

Именно тут, с этих слов, оправившийся немного Иван Иваныч начал вслушиваться в то, что говорит Вельяминов, и понимать, что говорит он, хоть и кричал поначалу неподобно, и дельно и глубоко.

— И Можай, и Коломна все одно в Московской волости и никуда не убегут от нас и от князя нашего! — отнесся Василь Василич к Ивану Иванычу, и тот готовно утвердительно склонил голову.— А уж кричать, врываться неподобно в терем княжой, как содеял Алексей Хвост, творить смуту на Москве, чтобы все знали, что нам князей своих слово переменить — что во-

ды испить из колодца,— неподобно есть! Тебе, Алексей Петрович,— выкрикнул он в лицо привстающему, с набрякшим кровью лицом, Хвосту,— тебе одно надобно: выскочить! Вот-де я каков! Вот-де я за правду стою!

— А ты сколь ждать прикажешь? — рыкнул, вскочивши, Хвост.— Год? Десять летов? А может, сотню? Княгиня и до ста лет доживет! Молвить тебе неча, Василий, лишь бы поперечь идти! — И, не дожидая князевой остуды, с маху с треском сел опять на лавку, весь мокрый от гнева и крика.

Василь Василич глядел на Алексея Хвоста, бледнея, и ноздри у него уже шевелились от ярости.

Утишить готовых вцепиться друг в друга великих бояр поднялся даниловский архимандрит. Ветхий старец, он хриплым голосом, спервоначалу неслышимым в общем шуме, начал усовещивать председящих. Добившись относительной тишины, простер руки и, обращаясь сразу ко всем, возгласил:

— Великий князь! Бояре! Послушайте меня, старика, ведавшего мысли обоих наших князей, в бозе опочивших! Волости те, из-за которых встала пря, дадены Семеном Иванычем в надежде на рождение сына, коего не родилось, по грехам нашим, у Марии Александровны, и посему мыслю я, что со временем и волости те и грады станут володением нынешнего нашего князя-батюшки Ивана Иваныча. Пождите, братие, владыку Алексия! И паки реку, напомню днесь, о чем мыслил, чего хотел Иван Данилыч, батюшка твой, княже! Чем сильна, чем красна власть московская? Тем, что опочившие наши князья мир принесли земле, опасли страну от ратного нахождения, расплодили язык русский! Вот уже скоро три десяти летов — и ни одной войны, ни единого гибельного разорения не ведала земля московская! Выросли уже и дети во взрослых мужей, не ведавшие гибельной брани. Так не разрушайте сами мир на московской земле, не вносите которы в согласие братне! Вот о чем погадайте, бояре, вот о чем помыслите пред лицом Господа!

Старик вдруг заплакал, не утирая слез, и, погодя, махнув рукою, сел, боле ничего не сказавши. Но и тем паче иного утишил бояр. Сел Вельяминов; достав плат и посопев, обтер взмокшее чело Алексей Хвост. И тогда негромко заговорил Дмитрий Зерно, внимательноглазый

костромич, заговорил, обращаясь к Хвосту, словно бы уговаривая маститого боярина:

— Забрать волости те у княгини Марии никогда не поздно! Но вредно спешить. Надобно таковое дело творить потиху и с заглядом в грядущие веки! Возможно, что и сама княгиня Марья отступит тех волостей — ведь дал-то их Семен Иваныч ради мыслимого рождения сына! Пройдет еще десять-пятнадцать летов, подрастут дети, утвердится, станет привычною власть московская, и пусть тогда тверичи кричат, что они законней, и им скажут: были некогда, а теперь законен тот, кто правит уже сорок лет, кто мир дал языку и землю расплодил! Но прожить эти годы возможно токмо во взаимном дружестве! А пойдет Ольгерд на Можай — ино дело! В военную пору само совершит потребное! Ныне же не надобно нам обижать Тверь, нельзя раздувать нелюбие меж нашими городами! С суздальским князем нет доброго согласия, с Новым Городом мы и вовсе немирны есьм! Но Тверь для нас всего опасней, у них глубок корень, земля помнит Михайлу Святого, помнят и многие обиды, промеж нас творимые! Недостоит творить нам новой обиды тверскому дому!

Сказал Дмитрий Александрович, и вновь стало ясно князю Ивану, что не прав Алексей Петрович, что не надобно спешить, ни обижать братню вдову, а с нею и весь тверской дом,— тем паче, ежели все само собою устроится! Но встал Хвост и вновь потребовал слова.

— Ишь, как далеко хватанул, боярин! — с укоризною вымолвил он.— Все-то мы вдаль глядим! — Он развел руками округло.— А что вблизи деется, кто чьего родича в тысяцкие ставит и за то гребует Москвою-матушкой, не видим совсем! Тверь, вишь, не обижай! А своих можно, свои вытерпят! И что-де будет через десять летов?! Да, мы сейчас которуем друг с другом, и пока те земли у княгини не отберем, которе той конца-краю не узрим! А забрать нынче, немедля — и распря та утихнет меж нас! А Тверь тут за волосья притянута! Сии злобы о волостях наши, московские! Сколь хорошо,— отнесся он вновь к Вельяминову,— высокими-то помыслами свое вожделение прикрывать! И я вожделею! — ударил себя в грудь Хвост.— Славы, власти хочу, каюсь! Но не кривлю душою при том, не кривлю! Коли хочешь мира на Москве, Василий, уступи, вот и все! А не то давай пойдем вместях на

площадь да вопросим люд московский: кого хотят в тысяцкие себе? Слышишь, кричат! Али трусишь того?!

Василь Василич встал, хотел сказать, крикнуть, заклеймить наглеца — и не мог. Его словно что ударило. Он понял, что готов убить Алексея Хвоста, понял, что это совершит непременно, и растерянно оглянул, показалось, что и другие прочли его мысли и ужаснули тому. Так и не сказал ничего, сел. И, может, именно в миг этот безотчетно решился побороть зло злом, убийством восстановить правду, попранную честь рода Вельяминовых, больше полустолетия возглавлявших и творивших дело Москвы. (И попрал, и одолел впоследствии врага, но прошли немногие десятилетия — и погиб, расточился, истаял едва не весь род Вельяминовых, и сын его Иван, вослед отцу поверивший, что злоба есть праведный путь и наказания за зло нету, погиб на плахе... Воистину, грехи отцов падут на детей!)

Смолчал Вельяминов и тем нежданно очень помог себе. Задумались бояре, крепко задумались, ибо просквозило каждому: волости волостями и грады градами, а то ли мы творим, меняя как хочет того чернь, Вельяминовых на Хвоста? И тут бы сказать одно лишь слово разумное, но встал старый боярин Иван Акинфич, многовотчинный, богатый добром, челядью, сынами, уважением ближних; поднялся, поддерживаемый со сторон Андреем и Владимиром Иванычами, старшими сынами, коих успел уже всадить боярами в думу великокняжескую, и начал словно бы уклончиво, и туда и сюда: и ты, мол, Василий Василич, красно говорил, и ты, Алексей Петрович, красно!

— Только Алексей Петрович — не обессудь уж, Василь Василич, меня, старика! — понятней сказал! Чего тянуть? Чего ждать, неуж и впрямь нашествия Ольгердова? А коли такое совершит, дак поспеем ли мы и себя-то защитить? Помыслите, бояре, вот о чем: не так давно правили мы тут свадьбы княжеские, ну, не правили, а разрешали, так скажем! Ольгерд, значит, на Ульянии Александровне, на сестре родной нашей Марьи, теперь женат, да, так вот! Дочку, опять же, отдал за Бориса Костянтиныча Суздальского, а Костянтин Василич с нашим князем о великом столе тягался и ныне не зело мирен! А на дочери Костянтина Василича женился князь Михайло Александрович, что недавно в Москву наезжал на погляд

к сестре, ко княгине Марье, значит... Ну, а потом на другой погляд поедет, ко второй сестре, в Вильну, к Ольгерду на гостеванье, значит! Так вот, бояре! Ошибся маненько покойный Семен Иваныч, царство ему небесное, когда согласие давал на сей брак. Дак теперича бы нам той ошибки вновь не совершить! А займет Ольгерд Можай — его оттоле ой нелегко будет вытурить! А что Василь Василич о чести говорил тута, и я тому верю! И как тут скажешь? На еговом мести-то? Неможно Вельяминовым ряд порушить, ни волю покойного князя изменить! Ну, а Лексей Петровичу...— Иван Акинфич с прищуром глянул, обозрел широкого, вновь уже мокрого от судорожного поту боярина, усмехнул и неслышно совсем, уже сделав движение опуститься вновь на лавку, приговорил: — Лексей Петровичу изменить волю князя покойного — мочно! — И сел.

И стало ясно теперь не одному даже Ивану Иванычу, что тысяцким ради дела господарского, дела всей московской земли надобно ставить Хвоста. И за окнами орали, и слышалось чаще и громче: «О-лекси-я Пет-ро-ви-ча!»

И решился было Иван. Но глянул в застылое, твердое лицо Феофана, так и не произнесшего больше ни слова, воспомнил владыку Алексия и, Алексия убоявшись, проговорил:

— И мы, своею княжеской волею, о том помыслим!

Дума загудела обиженно и облегченно. Не все было дотолковано, но не в драку же лезть? А владыку Алексия сожидали очень многие, и слишком слушаться черни, ревевшей под окном, также хотелось далеко не всем. Но и Василь Василич, воскресший было после заседания думы, многое не угадал, не постиг и явно недооценил Алексея Петровича Хвоста.

Дела после думы пошли еще хуже. На какое-то время ссоры и свары были притушены весенней страдою. Бояре, ратники, челядь — все были в полях. И великие бояре московские, забывши на время взаимное нелюбие, вставали в четыре часа, кидались на коня и допоздна объезжали деревни, стрóжили посельских, сами отмеряли и отсыпали зерно на посев, стояли у кузнечного, шорного, колесного дела. Чтобы пахарь мог выехать в поле — немало дел и боярину! Но чуть только свалили страду, отвели пашню и покос, нелюбия вспыхнули с новой силой.

Иван Иваныч мужественно тянул, тянул изо всех

сил, дожидая Алексия. И Алексей Петрович решил попробовать последнее, отчаянное средство. Придя к князю, повалился ему в ноги, зарыдав. Испуганный Иван кинулся подымать и утешать старика. Алексей же Петрович рыдал взахлеб, бормотал о том, что его затравили и ищут убить, и слезы, взаправдашние слезы текли у него по усам и бороде.

Хвост все же добился своего. Иван Иваныч был потрясен. Он и по уходе боярина продолжал видеть Хвоста в унижении, распростертого ниц, и весь заливался алым румянцем стыда и каял, что не уступил враз, не проявил твердоты, хотя вся Москва (теперь уж казалось, что вся Москва!) требовала от него поставить тысяцким Алексея Петровича.

Когда дошли известия о поставлении Алексия, Иван Иваныч был на седьмом небе от счастья. Но минул срок, в Царьграде свергли Кантакузина, и вместо самого Алексия на Москву пришел запрос от него с настоятельною просьбою о денежной помочи. Денег не было. И тут снова явился Хвост. Иван Иваныч за краткие месяцы своего владычества порастерял радостную уверенность в добре. А неподобное творилось уже повсюду. Кроме размирья с суздальским князем и необъявленной войны с Новым Городом. (Ни он, ни они не посылали ратей друг на друга, но дани не шли, московского наместника выслали с Городца, торг страдал — словом, было все, что бывало и в прежние размирья с Новгородом, кроме военной страды и раззора.) Сверх того, начались свары и пакости в Муроме меж тамошними князьями, и Иван Иваныч не умел и не мог вмешаться и навести порядок. Невообразимое творилось и в Брянске, где вечем гнали своего князя, и уже недалек виделся день, когда грозный Ольгерд явится и туда со своею победоносною конницей.

Неподобное творилось всюду. Земля Московская, властной рукою Симеона поставленная в один ряд с первыми государствами Восточной Европы, сковавшая натиск Литвы, державшая в своей руке Новгород, земля, от которой по паутинной дрожи политических межгосударственных связей зависела судьба Богемии, Польши, Ордена, даже и самого далекого Цареграда, начинала неприметно выпадать из круга этих высоких связей, проваливать куда-то в низы, в ряды второсортных государств, от коих мало что или совсем ничего не зависело в мире. И совершалось это

без войны, без захватов и одолений, а как-то так, само собою, быть может, лишь из одного непроворства человека, не в силах которого была вышняя власть.

Хвост явился к Ивану Иванычу как спаситель. Он все брал на себя: тяжкие переговоры с Марией, добычу серебра для Алексия. Ему надобно было только одно, и это «одно» Иван Иваныч вручил ему почти украдом, таясь от жены, подписавши наконец грамоту, по которой Алексей Петрович Хвост становился московским тысяцким. Хвост отплатил своему князю со своеобразною честностью. Выколотив из городов Можая и Коломны, наконец-то переданных Ивану Иванычу, все, что мог, и еще того более, залез в сундуки всех своих соратников (впрочем, не миновавши и своего собственного сундука) и предоставил просимое серебро даже с лихвой. Деньги были незамедлительно отосланы в Константинополь.

Александра Вельяминова узнала о назначении Хвоста только к вечеру, от своего брата. Причесываясь на ночь перед серебряным полированным зеркалом, она все гадала, как и о чем станет говорить с Иваном. Попеременно то страдала, то гневала. Ловила себя на том, что не так и обижена за брата (не был близок ей Василь Василич и в детские годы), сколько на то, что князь Иван поступил, таясь от нее, то есть как бы посчитав и ее своею врагиней. Это и обижало и пугало несколько. Допрежь сего Иван, как казалось Александре, из воли ее никогда не выходил, а уж тайностей от нее не имел и подавно.

Так, не ведая, что сказать, она и встретила супруга, который, почуяв сразу же, до первых слов, что жене все известно, начал взволнованно ходить по горнице и говорить то сердито, то жалобно, оправдывая себя и обвиняя Василь Василича и Марию, не похотевшую сразу же отказаться от ненадобных ей порубежных городов.

— Да, не ведаю, не понимаю! Андрей был бы лучше меня! Тогда, в думе: кто что ни говорит, а я тотчас и верю тому! Может быть, и Алексей Петрович днесь обманывает меня, не ведаю! Ничего не ведаю ныне! Я ждал владыку Алексия! И пусть он явится на Москве, все ему передам, всю власть! Мне это страшно, ненадобно, тяжко, но я один! И они все говорят — так надо! В монастырь мне уйти? Бросить тебя? Кто тогда станет на Москве? Да, да, да! Пусть духовная власть, пусть

владыка Алексий! Но не власть твоего брата! Я не ворог ему, я выкупил его тестя, Михаил Александрович вновь свободен и на Москве, и никто не лишен волостей, ни сел, я ни у кого ничего не отобрал, никого не утеснил, пойми! А мне доводили, баяли! Тот же Алексей Петрович! Московская тысяча?! Но я сказал ему: пусть все они служат по-прежнему! Пусть под началом Алексея Петровича, пусть, кто хочет, уйдет, но чтобы никто не был лишен службы! И я не велел Алексею Петровичу никого разгонять, ни мстить никому!

Ты хочешь возразить, что они сами в ссоре, что ратные дрались целый год друг с другом... Но зачем драться, надобно друг друга любить, да, любить! Теперь мне говорят, что я разоряю налаженное Вельяминовыми хозяйство Москвы, что люди привыкли... Но ведь эти люди и кричали: «Хотим Алексей Петровича!» Они хотели, не я! И да, да, да, да, и я хотел! Наконец, Алексей Петрович мой боярин, понимаешь, мой! Даже если я не прав, это мнение Москвы... и пусть... Лишь бы не было свары... И что я должен был содеять? Оттолкнуть, ставши князем великим, своих бояр, что служили мне верою-правдою?! Да хочешь знать, Мария сама приходила ко мне, передала грамоты, не Алексею Петровичу, а мне, мне самому! И даниловский архимандрит уже подписал! И не гоню я братнюю вдову ни из терема, ни из Кремника! То подлые люди говорят! Почему, почему... Вы все — и ты тоже! — хотели меня князем великим! Я не хотел! Я хотел как лучше, чтобы всем...

Александра решительно привлекла к себе своего уже почти плачущего князя и заключила его в объятия, запустив пальцы в шелковые кудри Ивана Иваныча... А что еще оставалось делать Шуре Вельяминовой?

Три четверти века — всегда большой срок. Три четверти века бессменно стояли Вельяминовы во главе града Московского. Целые поколения, династии, семьи связывали свою судьбу с судьбою потомственных московских тысяцких в делах ратных и торговых, посольских и ремесленных. Не случись чумы, не нахлынь в Москву новый люд из ближних и дальних деревень и погостов, ничего бы не смог добиться Алексей Петрович Хвост. Но и теперь, когда он добрался до власти, нестроения начались великие. Кому и как собирать

мыто на заставах? Кто должен наряжать ямщиков, давать ругу попам, снабжать городские монастыри, разбирать дела купеческие и ссоры посадских друг с другом, тем паче теперь, когда новые москвичи без конца препирались со старыми и друг с другом, точно птицы, усаживающиеся на новое гнездовье? Кто должен следить за прочностью стен, наряжать сторожу, чинить городни, ведать дороги, ямы и подставы, ковать коней и чинить сбрую, снабжать Кремник и двор? На все то были у Вельяминовых верные и толковые слуги, дворовая челядь и старшие дружин, посельские и ключники, казначеи и конюшие, бортники, осетрники и медовары, подобные княжеским, городовые послужильцы, посыльные и приставы... Все старшины цехов и купеческая верхушка по всем своим многоразличным надобностям знали одну дорогу — на вельяминовский двор. И теперь, когда тысяцким стал Алексей Хвост, москвичи, скоро опомнившиеся от первых восторгов при смене власти, впали в полное недоумение. Ежели до сих пор, несмотря на сшибки хвостовских с вельяминовскими, вся эта налаженная за десятилетия система худо-бедно, но продолжала работать, то теперь возник сущий развал и раззор.

Внеочередной серебряный бор, проведенный Хвостом, озадачил и обозлил многих. Ежели так и дале пойдет, толковали москвичи, покачивая головами, то, похоже, обменяли мы кукушку на ястреба! Великих трудов стоило Алексею Петровичу, хоть он и старался изо всех сил, повернуть, подчинить себе и возглавить всю эту налаженную вельяминовскую махину. И потому еще он и при́нял безо спору предложение Ивана Иваныча — взять на себя вельяминовских военных послужильцев московской тысячи, погубившее его впоследствии. Хотя прежде не мог бы подумать о таковом, памятуя о преданности вельяминовских слуг своему господину.

В тереме Вельяминовых в эти дни также творилось невесть что. Раззор и разброд стояли великие. Толпами приходили черные люди и купцы, хоть Василь Василич и отказывался кого-либо принимать. Приходили по-старому просить защиты и исправы, не ведая, не понимая, как им жить дальше при новом тысяцком. Драки хвостовских с вельяминовскими кончились, но стало еще страшнее. Били тайком, по углам, били и тех своих, кто переметывался к Хвосту. Били друг дру-

га, плакали от стыда и злобы и не ведали, что вершить. Руга от Вельяминовых ратным уже не шла, и даже самым упорным приходилось решать: как жить далее и куда деваться? Шумел люд в мастерских боярского терема, где тоже творилась безлепица. Многие мастера стали не нужны Василь Василичу. И сейчас он, не показываясь никому, вел трудные переговоры с братьями, дабы распихать хотя по родне-природе людей, выросших, а то и состарившихся в дому Протасьевом, отсылать коих на посад кормиться невесть чем было бы соромно...

По всему по этому прежний строгий порядок в доме рассыпался, не в редкость стало видеть шатающуюся без дела прислугу или кого из дворовых холопов в чистых господских горницах, где дорогое узорочье, ковры, камки, оружие и посуда. Не было ладу и на конном дворе, и в кладовых, и в челядне, где день и ночь толклись, обсуждали, поминутно хлопали двери, кто-то приходил, кто-то уходил...

Безлепица эта очень пригодилась Никите для того, чтобы уже не украдом и изредка, а почти открыто встречаться с Натальей Никитишной, которая после святочного катанья начала взглядывать на упорного старшого уже без прежнего снисходительного лукавства.

Вот они сидят в тесной боковушке друг против друга, почти колени в колени, и Наталья Никитишна, медленно перебирая пальцами бахрому платка, изредка взглядывает на молодца своими огромными, в темных долгих ресницах, сказочными глазами. Взглянет — и как отокроется бездна: не то улететь, не то падать куда невестимо. И вновь опустит очи, и тогда только бахромчатая тень ресниц лежит у нее на нежных щеках.

— Ни к чему это все, Никиша! — говорит она негромким печальным голосом.— Для баловства — дак мне не надобно того! А так — дядя нипочем не отдаст! И Василь Василич, сам ведашь! Может тебя и убить... Не будет нам с тобою удачи! По себе лучше ищи, мало ли невест на Москве!

И опять глянет, и опять сердце готово оборваться у Никиты. Когдатошнее, нетерпеливое — схватить, смять, чтобы дурманно таяла в руках,— ушло; теперь он терпелив, глядит, скованно слушает, не позволяя под-

няться в себе новой горячей волне. А она перебирает и перебирает шелковую бахрому летней шали и взглядывает, говорит, и сама уже не понимает, не верит: вправду ли хочет, чтобы он оставил ее?

— Куда ты теперь? — прошает.— Али останешь у Василь Василича?

— Нет... Проститься пришел,— отвечает он и снова молчит. Как сказать, и как ей сказать, чтобы поняла, постигла, догадалась об ином несказанном? Лицо старшого суровеет, становит резче короткая складка меж бровей, становит тверже рот, когда он произносит главное: — Куда мне из московской тысячи?! Ругой живу! Одна деревня была, и ту брату отдал! К Хвосту перехожу,— решается наконец он.

Она подымает свои выписные очи. Медлит, не понимает. Приоткрылся жалобно рот. И такое отчаяние в лице, что Никита едва не проговаривается. Он крепко берет ее за запястья узких нежных рук, держит, хотя она рвется, хочет вытащить руки, вскричать, убежать от него.

— Помнишь, княжна,— говорит он, ошибкою называя тем, своим, потайным именем,— что я говорил тебе, когда умирал Василий Протасьич?

Она смотрит, не понимает, в слепых от обиды глазах начинается гнев... И все-таки думает, и вспоминает, и пытается по-прежнему надменно приподнять бровь.

— Дак вот, помни! — Глаза старшого горят, завораживая, темным, мрачным огнем.— Как я сказал тебе в те поры, что нету слуг у Василь Василича вернее меня, так и посейчас скажу! И за тебя умру. И не уступлю тебя никому! Веришь?

Она не понимает, но руки слабнут, опадают плечи, глядит потерянно, ищет смятенно: что же, зачем же тогда?

— Я, быть может, здесь перестану и бывать,— продолжает он,— хвостовским нет ходу в терем Протасия. Но когда и все отрекутся и отступят, все как один, то и тогда... Иного не вымолвлю. Не мочно! Веришь ты мне? — И, не давая ей возразить, добавляет поспешно: — Ты должна мне верить! Без тебя, без веры твоей не возмогу, сорвусь. Дуром погину на чем... Без толку. Без дела!

Она освободила руки из его дланей, сцепила пальцы, не глядит. Вот сейчас скажет: «Не верю!» Или же вста-

нет и уйдет молча. И тогда все, конец! Нет, робко подымает вновь отемневший, ищущий взор:

— Чего-то я не должна знать? — спрашивает совсем тихо. И Никита коротко, благодарно склоняет голову.— Тогда... поклянись!

Он готовно вынимает из-за ворота медный чеканный крест. Оба встают, подходят к божнице в углу, где потускло смотрят на них скорбные глаза Богоматери.

— Крестом этим клянусь,— говорит Никита,— что не изменщик я господину своему и не куска хлеба ради свершаю то, что свершаю однесь! Об ином, Господи, сам веси тайная сердец человеческих!

Она достает тогда свой маленький серебряный крестик, подносит к губам, повторяя вслед за Никитою:

— И я клянусь... Никогда... Ежели ты, ежели мы с тобою...— И не ведает, что еще сказать, ибо только сейчас доходит до нее самой смысл этой ее клятвы-обещания, невольно высказанной когда-то развлекавшему ее своею настырной любовью, а теперь уже почти страшному для нее ратнику, сумевшему нежданно-негаданно возмутить весь ее спокойный, монашески-девичий мирок и даже вытеснить из сердца образ покойного, некогда любимого супруга.

Он держит ее за ладонь. Сжимает так, что становит больно пальцам, и медленно, с осторожною силой великой любви прижимает ладонь к своим горячим губам. И она стоит так мгновения, полузакрывши очи, теряя волю над собой... Но звучат шаги, скрипит под ногами лестница, и она облегченно отваливает к стене, опоминаясь, меж тем как любопытная сенная девка, засунувши нос в горницу, понятливо озирает и молодую вдову, и хмурого Никиту, который, не сожидая лишней бабьей кутерьмы, говорит нарочито громко:

— Дак я передам, чего нать! Так и скажу, мол, Наталья Никитишна велела! — И с тем выходит вон из покоя, слегка пихнув глазастую девку плечом.

Василь Василича, как и предполагал Никита, о его решении перейти к Хвосту предупредили загодя.

Боярин встретил Никиту темный, страшный зраком. «Дал бы высказать! Не то захвостнет во единый взмах!» — подумал Никита, не то что робея, а собираясь весь, словно бы в сечу или перед прыжком.

— От многих ждал, от тебя не чаял измены! —

вымолвил наконец Василь Василич, и в угрозе голоса просквозила горечь.

Надломился он, крепко надломился за эти недели, понял Никита и даже пожалел про себя старшего Вельяминова. Подумалось еще: насколь проще так вот, как у самого Никиты, ничего не иметь! Тогда и падать легче, и вставать способней!

Усмехнул Никита. Прямо глянул в суровые очи боярина. Закричит? Ударит? Рванет нож с пояса? Все это пробежало в уме, и все могло совершиться в сей час, но отступил Василь Василич и руку, поднятую было, уронил...

— Думал, верил: один ты, ан... На какую гривну поболе дал тебе Алешка Хвост? — вопросил с жестокою горечью. Много и многих потерял боярин за считанные дни своего позора и остуды княжой!

— Что ж ты так дешево себя оценил, боярин? — вопросил Никита, помедлив, и насладился вполне тем, что сотворило с ликом Василь Василича в те короткие мгновения, что отмерил он боярину и себе до следующих сказанных слов: — Дороже бы я продал тебя, Василь Василич, коли б затеял продавать! — И пошел, и уже от порога, поворотясь, молвил негромко и строго: — Тебе, што ли, «там» свои люди не надобны?

Неведомою силой очутился Вельяминов прямь перед ним, и Никита тогда, прислонясь к двери спиною, совсем уже шепотом (уведает кто из прислуги — донесут) договорил:

— На людях — об одном прошу, боярин,— изругай меня пуще! Чтоб и другие поверили!

Тут вот схватил Василь Василич Никиту цепкою пятернею за воротник на груди, рванул с мясом расшитую рубаху, хряпнула крепкая ткань,— и ослаб, замер, трудно дыша, склонясь к лицу Никиты, к его очам. Чуть сузил зрачки Никита, точно кот, когда ему прямо поглядят в глаза. И оба поняли, молча.

— Коли так, не забуду...— пробормотал боярин и, глядя на порванную рубаху старшого, начал было искать в калите на поясе. Никита отмотнул головой, рассмеялся от души. Свой все-таки был боярин, свой! Понял-таки! Любовно озрел Василь Василича. Сказал, поворачиваясь:

— Того лучше! — И, отворя двери, пошел переходами и лестницами, гордо выставляя всем встречным порванную боярином грудь.

Вечером того же дня Никита резался в зернь с хвостовскими, ругался и хвастал в княжеской молодечной, выглядывая меж тем своих, вельяминовских, перешедших, как и он, на новую службу, и по мордам, по смурым, лихим или спесивым рожам гадал: кто с чем приволокся к боярину Хвосту и можно ли будет с кем ни то из них (и как, и когда?) иметь дело?

Хвост, в отличие от Вельяминовых, хозяйничавших по-старому, имел в своих селах обширные запашки хлебов, и рабочих рук в горячую пору жатвы ему никогда не хватало. Поэтому, когда подошла осенняя страда, Кремник как вымер. Всех ратных, кого мочно и немочно, отослал Хвост на косьбу яровых. Никита, хоть попотеть пришлось изрядно — в наклонку горбушею поработай с отвычки весь день! — в душе, однако, одобрил боярина за деловую хозяйскую хватку. Кормили мужиков тут же, в поле, и кормили сытно. Спали в шатрах. Высокие возы со снопами сразу отвозили на гумно, благо погоды стояли на диво способные. Солнце ослепительно плавилось в выцветающем от жары небе, смутные, копились где-то на краю окоема и таяли высокие, точно неживые облака, и легкий, порывами набегающий ветерок едва колебал знойную сытную волну спелого хлеба, весь день стоявшую над полем, над мокрыми спинами мужиков и лоснящимися конскими боками.

И все бы так и перешло в доброй русской работе, кабы не совершилось новой хвостовской пакости. Рядом с теми полями, что убирали дружинники, притулился спорный клин покоса, который о сю пору выкашивали Вельяминовы. Были тут, случались и драки в покосную пору, и с горбушами ходили друг на друга, но теперь мирно стояли по полю уже слегка осевшие, пожелтевшие круглые стога сена, и было тихо до зимней извозной поры.

Явившийся обозреть жатву Хвост подъехал верхом к крайнему стогу, потрогал плетью, вопросил что-то у своего посельского, кивнул головой. Наутро Никита, замешкавший с мытьем котла, увидел, как хвостовские молодцы молча и споро грузят чужое, вельяминовское, сено, а Хвост стоит, высясь на коне, о край поля, уперев руки в боки, и провожает глазами уходящие один за другим возы. Полдня возили сено. Потом, невесть почему, начали поджигать останнее, что еще не успели увезти. Вельяминовских, что появились ввечеру, встре-

тили едва не с оружием. В сшибке — хвостовских было четверо на одного, и вельяминовские отступили — Никита не участвовал. Смотрел, побелев лицом, кусал губы. Подмывало бросить все и ввязаться в драку на стороне своих. Но перетерпел. Дуром порушить дело не годилось ни с какой стороны. Продолжали жать. Те, что участвовали в драке, ворочáлись распаренные, веселые, в ссадинах и синяках. Хвастали:

— Ну и дали мы ентим! Боле не сунутце!

— Что ж ето деитце, старшой? — негромко вымолвил ему назавтра, подавая снопы, Матвей Дыхно, один из бывших вельяминовских, молчаливый и старательный мужик, который, заметил Никита, тоже, как и он, не полез давеча в драку с бывшими своими сотоварищами.— Сожидали хозяина, а дождали татя? Так и учнем друг на друга с дубьем ходить?!

Никита только глазом повел: погоди, мол! На кратком отдыхе — только что отослали с хвостовским возницею воз — упал в колкую стерню, головой утонув в бабке горячего от солнца хлеба, и сквозь хлеб, не расцепляя зубов, чуть-чуть лениво проговорил Матвею, повалившемуся навзничь на той стороне бабки:

— Язык чешешь али взаболь забрало?

Дыхно поворотил голову, помолчал, обмыслив нежданные тихие слова бывшего вельяминовского старшого.

— А я ить думал, ты с има, с хвостовскими, теперя! — возразил, и тоже негромко.

— Взаболь, значит? — подытожил Никита и спросил, переворачиваясь на бок и глядя в высокие небеса: — На дело пойдешь?

Тихо стало за бабкой. И Никита не торопил. Текли мгновения. Наконец раздалось осторожное:

— Третьего нать?

— Кого? — вопросом на вопрос отмолвил Никита.

— Ивана знаешь, Видяку? Из наших мужика?

— Конопатого-то? — уточнил Никита.

— Ага.

Оба помолчали.

— Не продаст? — деловито осведомился Никита.

— Ни! Ни в жисть. В деле с им бывал! — ответил Матвей.

Близко простучала приближающаяся телега. Никита пружинисто вскочил на ноги.

— Айда грузить, Матвей!

Больше до вечера не перемолвили они ни словом, но работали оба по-новому, дружно, чуя друг друга, как чуют добрые плотники, когда ставят клеть и без слова берут, оборачивают и садят отесанное бревно.

Только уж вечером, дохлебывая дымное варево у походного костра, Никита предложил Матвею пройти бредешком прудок, что приметил он давеча за рощею.

— Третьего бы кого... А на ушицу там карасей, чую, будет как раз!

Дыхно молча кивнул, и скоро все трое (третьим оказался Иван Видяка) отправились с бреднем за рощу.

— Недолго шастай тамо! — сердито окликнул их хвостовский старшой.— Не то утром не добудишься, так вашу...

— Мы мигом! — отозвался Никита, не поворачивая головы. И пока шли до пруда, едва двумя-тремя словами перекинулись мужики. Да и потом — кто бы послушал ихний редкий, сквозь зубы, разговор, поминутно прерываемый возгласами: «Держи! Тяни, тяни! Ниже опусти тетиву! Коряга тут, мать... не задень!» — кто бы послушал, мало что и понял из почти косноязычной речи мужиков: бывшего старшого и двоих ратных, что сейчас совсем по-крестьянски, в лаптях и мокрых портах, выбирались на берег и складывали рыбу в кожаное ведерко. Но только когда они возвращались домой и желтая большая луна восходила над полем, Никита знал, что в его будущей дружине явились двое первых и верных ему ратника.

Осень стояла сухая, солнечная. Страду свалили быстро. Подошел и прошел умолот, отплясали цепинья на токах, и вот уже в высоких захолодевших небесах потянули на юг птичьи звонкоголосые стада. Ратники воротились к дому, и вновь пошла прежняя московская кутерьма бед, обид, бестолочи и сшибок. Ясно стало, что Хвост, так же как и Вельяминовы, не заможет воротить Лопасни, ни с Новым Городом ничто не сумеет вершить, и, дай бог, не наведет новой которы княжеской на многострадальную Москву! А Алексий все не ехал, все воевал с Романом, Ольгердом и судьбой в далеком, почти невзаправдашнем Цареграде.

Зима подошла дружная, с морозами, вьюгами, звездопадами в сгустившихся синих сумерках. Землю по-доброму укрыло снегами. Заскрипели обозы по дорогам, и как-то незаметно, в трудах и заботах, подошло Рождество.

На Святках Наталья Никитишна гадала с девушками. Было много смеху, шуток, вскоре ожидали ряженых, а сейчас, усевшись над серебряной чарою с ключевой водой, поставленною на плат, посыпанный пеплом с прочерченным по пеплу крестом, и приотворив двери, девки и боярышни глядели по очереди, вздрагивая от сладкого ужаса и холода, тянущего из дверной щели, в серебряной перстень на донышке чары, стараясь разобрать: что там? Кто видится, какая судьба грядет в новом году? И не дай того, чтобы девушке крест выпал или домовина показалась в кольце!

Вот ойкнула Палаша. Показалось ей в перстне мужское лицо, в лихом изгибе соболиных бровей, и будто знакомое, и сладко так сразу заныло сердце!

— Ой, ой! Глядите, девушки! — Но столпившиеся глядельщицы дыханием смутили воду, ничего не стало видно.

Наталью Никитишну подтащили за руки и тоже велели суженого глядеть. «Неужто Никита покажет?» — со страхом и тайною надеждою подумала она. Но показалось что-то другое совсем. Сперва мелькало, мельтешило в кольце, а потом как осветлело и в середке самой, раскинувши руки на снегу,— мертвый! Охнула боярыня, отвалила от чары, вся побелев. Подруги кинулись глядеть:

— Где мертвый, где? Да не тряси ты стол, всю воду сомутили опять!

И уж все дни после ходила сама не своя, а когда совершилась пакость на Москве-реке, на бою кулачном, так и решила сперва, что и его среди прочих мертвым принесут. Тут-то и поняла впервые, что взаболь любит...

А на Москве-реке совершилось то же, что и по всяк день творилось в Кремнике. Кажен год выходили москвичи на лед, на потеху кулачную, и один на один, и стенка на стенку. И нынче так же, как и всегда, началось с потехи. Гуляли, заломив шапки, ражие молодцы, пудовыми кулаками в узорных рукавицах сшибали друг друга на лед, брызгала яркая кровь из разбитых рож на белый утолоченный снег, визжали жонки, вздыхала и вздымалась криками толпа, облепившая берег, с высоких городень, со стрельниц Кремника взирали княгини и боярышни на потеху кулачную; тут же сновали ходебщики с бочонками, наливали кому горячего меду, кому квасу, бабы жевали заедки, грызли белыми зубами подсолнухи, загораживая лодочкой гла-

за от солнечного сверканья, высматривали казовитых борцов московских... И стенка сотворилась сперва, по обычаю, мирно. Сходились, кричали озорное, подначивая друг друга. И кто, и зачем дуром выдохнул: «Хвостовские прорвы!» — не то иное какое слово ругательное. И оказалось вдруг, что не стенка на стенку, а хвостовские на вельяминовских выстроились на льду Москвы-реки, и тут пошло! Били в рыло и в дых, лезли остервенело, сшибая, топтали ногами, ибо и тем было не встать, и эти не могли сойти, уступить, раздаться хотя на миг. Счастливые лишь отползали в сторону. Дрались страшно, и уже в ход пошли кистени, и где-то и нож сверкнул, и тут же поножовщику сломали руку. И уже мчали под гору княжеские кмети и десятка два конных бояр разнимать, разводить и растаскивать смертоубийственный бой. И было же битых, и было же топтаных, и было же недвижно оставших на том белом снегу после побоища!

Мертвых сносили к Михаилу Архангелу, складывали рядами на паперти, и на паперть не влезло, иные лежали прямо на снегу. И уже, переменив праздник в плач, голосили жонки московские над погинувшими дуром, даром, во взаимной нелепой грызне боярской молодцами московскими.

Наталья Никитишна бежала в толпе иных жонок, обеспамятев, и чуть было, в стыд, не заголосила над мертвым, но к великой удаче своей у самого обережья нос к носу столкнулась с окровавленным, в рваной сряде, шатающимся Никитою, оглушенным не столько дракою, сколько тем, что били его и свои и ему пришлось неволею бить своих. Кинулась, обоймя, с мокрым от слез счастливым лицом, целовала живого... Добро, что и кругом творилось то же самое: схватывали своих, оглаживали, вели под руки по домам. И Наталья повела (впервые!) своего Никитушку, уцелевшего в гибельной стенке. И он шел, качаясь, еще мало понимая чего, и почти уже у терема Протасьева остоялся, отмотнул головою.

— Нельзя мне! — хрипло сказал, прибавя первое, что пришло в голову: — Василь Василич убьет!

И она поверила, присмирела, заплакала навзрыд. Крепко обнял, расцеловал мокрую, плачущую свою! Подтолкнул к дому: «Иди!» А сам, махнувши рукою, неверными шагами пошел ко княжеской молодечной.

Шел не оборачиваясь, ибо знал: ежели обернется — не выдержит, побежит к ней и все потеряет тогда, и ее саму потеряет тоже.

Пятилетний Митя идет, ковыляя, по траве. Небольшой садик, зажатый меж княжескими теремами, владычным двором, поварнею и челядней, со всех сторон укрытый от ветра, солнечный и теплый, словно нарочно приспособлен для прогулок княгинь и нянек с детьми. Среди яблонь и вишен, меж кустов крыжовника, малины, смороды, среди гряд с многоразличною овощью — тут и лук, и чеснок, и хрен, и укроп, и сельдерей, и петрушка, и репа с редькою, и ревень, и морковь, и огурцы, и тыквы, и даже дыни, которые ухитрились нынче разводить княжеские садовники,— и чего тут только нет! По стенам вьются плети бобов и сладкого гороха, цветы, где только можно, заполняют сад. Гудят пчелы, и Митя, стараясь достать пчелу, нечаянно попадает в крапиву. Крапива больно кусается, и княжич сперва начинает бить по крапиве кулаком, а потом — горько плакать. На крик бежит захлопотанная нянька, подхватывает малыша, толстенького, босого, в одной рубашонке, и, обтерев ему подолом нос, бегом утаскивает назад, в терема. Второй мальчик, Ваня, на руках у кормилицы, видя, что братика унесли, начинает плакать тоже. Рассерженная Александра в распашном сарафане из пестрой зендяни появляется в саду. Лицо у нее красное — не могут няньки за младенцами приглядеть! Дочка высовывает нос вслед за матерью.

Скоро Ванюша успокоен, няньки выруганы, и Митя с большим куском желтого сахара в руке является вновь в саду, переодетый в чистую рубашонку, и уже теперь ковыляет рядом с нянькой, уцепившись одною рукою за ее подол, а другую сует в рот, слюнит и лижет, вымазав себе уже всю рожицу, дорогой желтоватый кристалл сладкого восточного лакомства.

От соборной площади с храмом Успения Богоматери сад отделен глухим тыном из плотно подогнанных друг к другу, поставленных торчком и заостренных кольев. Ни говор, ни шум толпы не проникают в сад, не нарушают дурманной тишины, в которой зреют овощи и плоды, жужжат насекомые, и лишь издали, из-за Неглинной, доносит шум города, да озорные голоса стряпух на поварне изредка нарушают теплую, отененную яблоневым и вишневым пологом тишину.

Маленький толстенький мальчик, присев на дорожке, следит за навозным жуком, тянет ручкой, чтобы его ухватить. Он уже отпустил нянькин подол, а нянька — ненадолго хватило княгининой грозы — тоже отворотила лицо, слушает, о чем толкуют громкоголосые девки на поварне.

Княжичу только-только свершили постриги, и никому не известна пока его грядущая судьба и слава. Он может сотню раз заболеть, умереть, ушибиться насмерть, упав с коня. Чума, мор, иная какая беда подстерегает его, как и всякого, рожденного на земле, на каждом шагу. Вот выползет гадюка из крапивы, вот облепит ребенка пчелиный рой, вот лягнет на конюшне кованый конь — и нет мальчика. А наговор, сглаз, отрава, вольная или невольная? Кусок порченой рыбы, молоко из позеленевшей медной посудины, угар в бане...

И почему именно этого, такого вот, а не иного дитятю произвела на свет, милуясь со своим робким князем, а затем корчась в сладких муках родовых, дочь великого тысяцкого Москвы Василия Протасьича Александра, Шура, ныне великая княгиня владимирская? Почему спустя несколько лет умер его брат Иван, а он, Дмитрий, остался, и жил долго, и нарожал кучу детей, и возглавил рать на Куликовом поле, и стал великим князем Дмитрием с прозвищем Донской, с коим и перешел в века?

Великое чудо жизни и случайность выбора, наследственные причуды и воля случая — как согласить все это с высоким предназначением и судьбою государств? Лукаво скажет книгочий-мыслитель грядущих веков, что единодержавие, наследственная монархия была бы лучшей формой правления, ежели бы не случайность рождений!

Александра недаром гневалась, и не в няньках было дело на сей раз. В Кремнике опять восстала пря. Никак не могли поделить анбары и житницы, не могли согласить друг с другом, кому собирать весчее и полавошное в торгу... Вельяминов с трудом и нужою отказывался от древних привилегий своих. И кому что охранять в Кремнике, неясно было тоже. Посему, когда загорелось на поварне владычного двора, не могли сообразить сразу, кому тушить — хвостовским или вельяминовским, а клирики без владычного догляду пополошились

тоже. Огонь сразу вынесло выше кровель, а там и пошло.

Кинувшиеся со сторон вельяминовские и хвостовские молодцы сцепились в драку. Заполошно бил колокол у Ивана Лествичника. В пересохших бочках у теремов не оказалось воды. (Потом вельяминовские ставили это в вину хвостовской обслуге.) Пока цепью выстроились от Москвы-реки по взвозу и начали передавать из рук в руки кожаные и кленовые ведра, пока вынеслись конные бочки с водой и подоспели крючники с посада, уже весело пылали службы и прислуга с плачем и криками выносила порты, иконы и рухлядь из теремов. А тем часом занялся Бяконтов двор, и раздуваемое ветром пламя потекло, огибая соборную площадь, в сторону Приказов, съедая один за другим дворы великих бояр.

Уже все колокола Москвы вызванивали набат, и люди, ослепнув от дыму, в затлевающей одежде, дуроломно лезли в огонь, отстаивая припас и добро, и тут же, среди рушащихся клетей и пламени, били наотмашь друг друга по мордам, катались по земле, молотя кулаками по чем попадя, и, вскакивая, обожженные, отчаянно матеря напарника, начинали тащить вдвоем какой-нибудь неподъемный, обитый узорным железом, княжеский сундук.

Княгиня Александра наспех одевала младенцев. Конные дядьки, хватая с рук на руки плачущих княжичей, в опор выносились сквозь пламя к Боровицкому спуску. (В сторону Троицких ворот было уже не пробиться.)

Никита, возвращавшийся с обозом из Замоскворечья (Алексей Петрович не любил, чтобы ратные засиживались без дела, и гонял по работам почти без роздыху и своих, и особенно пришлых, бывших вельяминовских), сперва даже не понял, в чем дело. В ясном солнечном дне вспыхивало и опадало пламя, и, подъехавши ближе, он понял, что весь Кремник пылает как один общий жаркий костер — страшно было смотреть со стороны.

Рвануть супонь, отшвырнуть дугу и стащить хомут со всею обрудью с лошади было делом одной минуты. Охлюпкой вскочив на мерина, он свистнул и, вцепившись в гриву, помчал на урывистый гул рушащихся в пламя колоколов, на разноголосый вой и гомон пожара.

На низком наплавном мосту через Москву-реку

было не пробиться от люда. Бежали оттуда, пробивались туда, орали, материли, дрались, плакали, а сверху дождем сыпало в человечье и конское месиво горящими головнями, что, разносимые ветром, глухо ударяли о настил моста, со змеиным шипением сваливаясь в речную воду.

Никита, подпихнув мерина, решительно окунулся в воду и поплыл. Над ним, на горе, ревело пламя, сажа и гарь сыпались в воду. Конь плыл, всхрапывая. Никита держался мертвою хваткою за гриву мерина, недоуздком, как можно, приподымая его морду над водою. Почти миновав Кремник, выбрались. Конь отряхнулся по-собачьи, всею кожей. Никита, приподнявши ноги, вылил воду из сапог и поскакал косо вверх по склону, хотя уже ясно было, что к Кремнику почти и не подступить. Конь вздрагивал и кидался в стороны от рушащейся горящей драни, раза три едва не скинув Никиту наземь.

Водяными портомойными воротами, которые стояли отворенные настежь и никем не охраняемые, Никита пробрался в город, где ему пришлось слезть с решительно заупрямившегося коня и, отдав мерина вывернувшемуся как из-под земли малознакомому хвостовскому старшому, взять в руки крюк и пойти с цепью хвостовских и княжеских ратных в стену надвигавшегося от теремов пламени.

Растаскивать тут что-либо, пытаясь остановить пожар, было бесполезно. Огонь резко ревел, руша просвеченные насквозь и ослепительно сиявшие изнутри клети. Лопались, вспухая, кровли теремов, лавина удушливого жара катила в сторону житного двора и погребов. Из дыма вырывались ослепшие, обезумевшие кони, волоклись и волокли обожженных, полузадушенных людей. Перекрикивая шум пламени, Никита спросил про то, что творится на той стороне.

— А! — безразлично, как о бездельном, отозвался ратник, морщась от наступающего огня.— Вельяминовски тамо. Поди, погорели вси, стервецы! Нашим-то и тушить не дали!

Чтобы не давали тушить — ратник врал. Но пробиться сквозь стену огня, разузнать, спасти ее, ежели надобно, нечего было и думать.

Часа три заполошно таскали кули с мукой и зерном, волокли связки рыбы, катали под угор бочки солонины, пива, сельдей, спасая добро и припас от огня. Лишь

когда и житный двор взяло полымем и стало нечего делать на этой стороне, Никита, кое-как отмотавши от старшого, ринул к соборной площади, где каменные храмы Калиты слепо высили в дыму, овеиваемые языками близкого пламени. Не было уже митрополичьих палат — лишь огромный костер пылал на месте хоромных строений; не было ни Протасьева терема, ни терема княгини Марии. Деревянные церкви горели, как свечи, с треском выбрасывая гигантские снопы искр. Дышать было нечем. Никита, чуя, как сушит и жжет кожу на лице и руках, как затлевают волосы и дымится вся одежа, хватая по-рыбьи горячий воздух открытым ртом и перешагивая через горящие бревна и трупы, пересек весь Кремник до дальних, выходящих на Красную площадь ворот и только тут застал людей, отстаивавших стену города. Его тотчас грубо отпихнули, заставив вспомнить, что сам он — хвостовский, и Никита, закусив губы, едва не рванул со стыда и злобы в огонь, но опамятовал, отступил, поминая непутем нечистого, к воротам, в толпу выбежавших из огня жонок, стариков и детей, и только тут расспросами с трудом выяснил, что вельяминовские вроде бы все или почти все спаслись и даже успели вымчать из огня добро боярина.

Кремник догорал. Посадские грудились в улицах, стояли с мокрыми метлами и ведрами воды на кровлях. Всеми помнился (старожилы видали, а пришлые знали по рассказам) тот давний, двенадцатилетней давности, пожар, слизнувший весь град Московский до серого пепла, и готовы были отстаивать свои домы и животы до последнего. Падающие головни тут же яростно скидывали с крыш, заливали, топили в бочках, затаптывали ногами. В прежнюю пору загорелось на посаде и спасали Кремник. Ныне сгорел Кремник, и сгорел от дури, от спеси боярской, от несогласия Хвоста с Вельяминовым. И все это знали и ведали и, стоючи вокруг Кремника, костерили почем зря бояр, норова своего ради загубивших город.

Никита, трудно дыша обожженными легкими, весь в чадном тумане, добрался до реки, плашью упал в воду, вылез на четвереньках и сел, тупо и безмысленно уставясь в бегучие струи. Надобно было встать и идти к «своим», нынешним, идти и вновь делать то, что начал он делать с того самого дня, когда последний раз виделся и говорил с Василь Васильичем.

Впрочем, на пожаре Кремника Никите неожиданно повезло. Разбирали дымящиеся завалы. Хвост подъехал верхом. Долго глядел, как старается чужой, ушедший от Вельяминова ратник. Вымолвил наконец:

— Ты, паря, старшим был никак?

— Бывал! — безразлично отозвался Никита, отирая потное, покрытое сажей лицо рукавом.

— Почто ушел от Василия? — с легким недоверчивым прищуром, как бы загодя сомневаясь в правдивости ратника, вопросил боярин.

Никита бледно усмехнул в ответ, отмолвил, почти не лукавя:

— Зазноба у меня явилась на ихнем дворе. А Василь Василич воли нам с нею не дал... Ну и — сам понимай, боярин.

Алексей Петрович фыркнул, вгляделся в измененный лик ратника, поверил. (Трудно было и не поверить в ту пору!) Примолвил весело:

— Не горюй! Заслужишь, найду и невесту тебе добрую! — Постоял еще, поглядел, высказал наконец: — Назначаю тебя старшим! Соберешь сам, кого тебе надобно под начало, чтоб бою-драки не было. Поставлю вас пока чинить стену городовую. А будешь служить честно — награжу!

Только того и надобно было Никите!

С пожара великий князь перебрался в Красное, а боярыни великих родов — кто в свои подмосковные, кто на Воробьевы горы.

В черном Кремнике вразнобой, недружно, тюкали топоры. Медленно возводили новые терема и клети, повалуши, анбары и бертьяницы. Ратные, те и другие, старались не замечать друг друга, работая на пожоге. Запаздывал лес, не хватало того и сего. Порушилась работа княжеских мастерских. Убытки от пожара и сосчитать было невозможно.

Покойный Семен сейчас сидел бы в разоренном Кремнике, а не в Красном, и вокруг него кипела работа и город воскресал бы на глазах. И это тоже все знали, хоть и молчали о том, и ждали, уже томясь до надсады, хозяина — ждали Алексия.

Казалось, что только он один еще может спасти Москву, потерявшую великих князей, раздираемую боярскою бесконечною смутою, спасти от падения, столь же стремительного и неизбежного, как стремителен и быстр казался взлет малого городка, затерянного

в лесах верхней Клязьмы и отодвинувшего было посторонь древние грады и княжества земли владимирской.

Пузатую греческую посудину швыряло с бугра на бугор, и казалось, этому уже не настанет конца. Море вспухало, точно шкура рассерженного дракона. Тяжкие, даже на вид ощутимо тяжелые, в сморщенной пенной коже валы шли один за другим, и с каждым валом утлое судно получало глухой сотрясающий удар, от коего все, чтобы было непривязанного в его нутре, летело кувырком, а люди падали ничью. Катались изувеченные сосуды, дрова, чьи-то укладки, порты и обувь. Вездесущая вода сочилась каплями отовсюду. Жутко скрипели корабельные ребра. Пол нижней палубы, переворачиваясь, почти опрокидывался и опрокидывал всякого, кто пытался встать на ноги.

Алексий, цепляясь за ступени, выполз наружу, и тотчас ветер пригнул его к самым доскам палубы, а пенная бахрома вод, тяжело прокатившая по настилу судна, вымочила его всего с головы до ног. Пучина глухо гудела в самой своей глубине, свистел ветер, обрывая остатки снастей. Неслышные в грохоте моря, вились, почти протыкая гребни волн, белые острокрылые птицы. Хляби небесные смыкались с горами воды, и так — до самого окоема, где под колеблющимся, ежесекундно взбухающим сизо-серым покровом бури едва желтела охристая полоска, полузадавленная мглистыми животами синих и вороненых туч, что неслись в обнимку с водою в адском хороводе бури и ветра. Вдали, под пологом облаков, ходили по морю, точно видения сгущенного бреда, высокие, пропадающие в тучах столбы, и греки-корабельщики, указывая на них, в ужасе прикрывали глаза.

Из небытия воскрес лик Станяты, прокричавшего что-то неслышимое в реве моря в ухо Алексию. Он тоже был мокр от макушки до пят, на скуле расплывалось пятно крови. Мокрые пряди волос прилипли к голове.

— Ступай вниз, внутрь, владыко! Смоет! — кричал Станята, наконец понятый Алексием, и новоиспеченный митрополит московский, обдирая ногти и дрожа от холода, полез внутрь, туда, где, катаясь на полу в лужах воды и блевотины, пропадали его клирошане, бояре

и служки, уже, почитай, мысленно расставшиеся с жизнью на этой земле.

Стоны, мокредь и вонь, глухие и страшные удары волн, сотрясавшие деревянное нутро,— нет, вынести этого было неможно!

Третьи сутки треплет море текущий, как решето, с обломанными мачтами корабль, третий день едва удается поесть сухомятью (огня не развести в этой буйной дури) тем, кто еще может есть. Четверо смыты за борт, половина корабельных вышла из строя и, лежа пластом в утробе судна, молча ждет неизбежной гибели.

Алексий вновь полез наверх. Очередным ударом волны его сбило с ног, больно хватив лицом о ступени лестницы. Побелевшими пальцами он сумел вцепиться в скользкие перила. Слова молитвы рвались с окровавленных губ. Десяток бочек воды влилось в отверстое устье трюма, вновь окатив его с головы до ног. Ощупью, захлебываясь, прикрывая глаза, долез он наконец до своей разгромленной бурею каморы на корме корабля, поднял и укрепил сбитую ударом воды икону и, осклизаясь, падая, цепляясь за стены и углы, начал вновь и опять молить Господа о спасении судна и путников, одержимых бешеным морем.

Когда это началось, когда пенные струи пошли по равнине вод и корабль начало валять с борта на борт, Алексий не чаял особой беды. Молясь, наставляя робких, он подавал достойный пастыря пример мужества своей сухопутной дружине. Но кончился, смерк, провалившись в волны, день, протяжно и жутко выла ночь, накатывая во тьме невидимые и потому особенно страшные валы. К утру открылась течь, и грек-навклир ждал хоть какой затишки, чтоб подвести парус под брюхо корабля. Но валы громоздились за валами, и ничего неможно было вершить с громоздкою и неповоротливою византийской посудиной в этом безумии моря. К третьему дню судно уже перестало бороться с ветром и, потеряв оснастку, полузатопленное, только тупо вздрагивало от каждого удара и, казалось, ждало лишь какого-то предельного, окончательного толчка, чтобы пойти ко дну. И уже оробели самые дерзкие мореходы, и сам Алексий, ослабнув ежели не духом, то плотью, начинал ждать рокового конца.

Судно давно бы пошло ко дну, ежели бы не Станята, привычный к мореходству с детства. За свою недолгую, но бурную жизнь он побывал на Белом море, боролся

с бурею на страховитом Онего, и ему одному не в диковину было бушевание водных стихий. Подобрав николико дружины из русичей, кто бывал на море или не устрашил нынешней беды, он поставил одних вычерпывать воду, других к рулю и снастям и совместно с ободрившимся греческим кормщиком вот уже сутки ежели не вел, то держал судно на плаву. Но и он начинал сдавать и все мрачнее взглядывал на желто-сизый окоем, не ведая, чего желать больше: знатья берегов (о которые их очень может разбить так, что и никоторый не выберется!) или неведомой пустыни вод, в коей их сможет уже вскоре, переполнив водою, схоронить навеки?

Всмерть уработавшиеся мужики сменяли друг друга, кожаные ведра шли чередою, но сколь жалкими казались эти скудные плевки откачиваемой воды перед стеклянною пенистою массою, поминутно заливавшей палубу! В минуты облегчения в глазах у него начинало двоить. Сон наваливал неодолимо. Надо было спуститься в нутро корабля. Наконец греческий навклир, усмотревши истому русича, прокричал ему на ухо: «Гряди спать, справлюсь!» И Станята с освобождающим облегчением, на ходу теряя сознание, сполз в чрево корабля, сунулся в угол, в какие-то тела и тряпки, и унырнул в мертвый, тяжкий сон, причудливо изломанный нелепыми видениями каких-то рогатых и многоруких рыб, студенистых осьминогов и змей, словно бы охватывающих корабль и щупальцами заползающих в трюмы.

Именно в эти миги его недолгого сна рухнула главная мачта. Корабль встал дыбом. Полетели в кучу, сваливаясь друг на друга, очумелые путники. Вопли и стоны наполнили тесный трюм. Единая свеча опрокинулась и погасла.

Алексий в своей каморе на верхней палубе вдруг очутился в щели меж оконницею и столом и понял, когда тугим потоком хлынула в дверную щель вода, что гибнет, что тонет и жизни осталось — на краткое моление Господу.

В этот час, в миг этот снизошла на него просветленная внутренняя тишина. И в грохоте бури, в шуме вод, в диких воплях спутников снизу, из трюма, он опустился на колени и ясным шепотом начал молить Господа и пречистую его матерь сперва о доме Калиты, об укреплении духа молодого князя Ивана, потом о боярах — да утишат которы и нелюбие, потом о всех

людях московских и, подумав, о всей Руси, ибо ежели и Москва пропадет, то — да не пропадет родная земля языка русского!

И ревела стихия кругом — и была тишина. Он закрыл глаза, чая, что волны вот-вот начнут вливать внутрь каморы, и тогда, чтобы умереть пристойно, взял икону в руки, чая так и утонуть, не разжимая дланей.

Резкий рывок вновь поставил прямо выровнявшийся корабль. Алексий, слетевши со стены, ставшей ему на время полом, ударился теменем об угол прибитого к полу ящика. Сознание замглилось, и показалось уже, что настал. конец. Видимо, на какие-то считанные мгновения Алексий и вовсе потерял сознание.

Он не ведал, что минуты назад Станята, чумной со сна, сообразивши по наитию моряка, что происходит с судном, схватил, нашарив впотьмах, секиру и, пробежав по месиву копошащихся и воющих тел, выскочил наверх. Греки во главе с навклиром бестолково суетились, путаясь в снастях. Станька, зарычав, вздел секиру и в несколько воистину страшных ударов обрушил, перерубив, мачту в море. В этот-то миг судно и встало вновь на киль, сбросив Алексия наземь.

Очнувшийся в луже воды и вина из разбитой корчаги, Алексий встал на четвереньки (подняться он не мог, кружилась голова) и, стоя так, отчаянно глядя на икону Николая-угодника, которую он, и теряя сознание, не выпустил из рук, чуя, что нет, не конец и пляска смерти, в коею он всосан хороводом бури, будет кружиться еще и еще, воззвал к Господу, обещая, ежели приведет ему и всем спастись, соорудить новый монастырь на Москве, ибо понял обостренным смыслом, что никто не сможет — ни тверской ставленник Роман, ни даже Дионисий Нижегородский — заменить его на посту митрополита русского и, значит, не может, не имеет права он умереть, утонуть и тем предать родную страну!

Вослед за троекратно повторенною клятвою его вновь швырнуло вдоль, оглушив опять на несколько долгих мгновений, но он вновь встал, и даже поднялся на ноги, и даже пополз, именно пополз, а не пошел, упрямо сцепив зубы, туда, где катались, потерявшие облик человеческий, его спутники, те, кто не воевал с морем, и добрался, дошел, достиг и начал подымать, и совестить, и слать наверх, в помочь тем, упорным, и скоро, удивясь сам, достиг, добился: стонущие фигу-

ры, ободрясь или почуяв укоры совести, полезли откачивать воду, а смертельно уставшие верные заваливались на их место спать. И так прошел еще день — день бредового бдения, день между жизнью и смертью.

Он еще тряс, подымал, срамил оробелых, когда Станята, заботно взяв его за плечи, приподнял с колен, прошая:

— Живой, владыко? Кажись, проходит буря-то!

Цепляя за поручни, Алексий выцарапался из мокрого чрева корабля и, не вставая в рост, поднял голову над настилом, не ведая, почему Станята углядел конец водного ужаса. Все так же ревело море, неслись черные мрачные валы, и так же тускло желтело на окоеме чужое зловещее небо. Но по каким-то лишь одному Станяте внятным признакам — не то по измененному звуку ветра, не то по обозначенной правильности в чередах волн,— и верно, почуялся в неистовстве бури близкий надлом.

Ободранный, с ввалившимися щеками очередной, шатаясь, пошел мимо Алексия, уступив место сменщику. И лишь по знакомому прищуру воспаленных глаз Алексий узнал, удивясь, боярина Семена Михалыча. Старик, коего он чаял обрести в трюме, работал вровень с мужиками, и Алексий поклонил ему истово, уважительно удивясь духовной силе шестидесятилетнего нарочитого мужа. И старик боярин отозвался бледно, далекой улыбкою — мол, там, в иной жизни, будем поминать днешнюю запредельную беду...

Холодный ветр оттуда, из желтой дали, пронизывал до костей. Как мал человек! Сколь бессилен пред волею стихий! На миг почуял Алексий почти удивление тому, что Господь привечает и хранит столь малое и слабое существо, коим является человек, и смешанный с удивлением ужас: на какой же незримо тонкой нити висит все то, что замысливал он в Константинополе! Воистину — в руце твоя предаю дух свой!

Глухо ревели валы, накатываясь на обезображенное, лишенное оснастки судно, все так же низко шли рваные пухлые тучи, не было видно берегов, течь в трюме с каждым часом усиливалась, и до спасения — ежели они вообще спасутся — было еще так далеко!

В Сарае остановили на княжом подворье. Предупрежденный гонцом ключник истопил баню, приготовил

покои для митрополита, бояр и свиты, накормить русичей постарался так, словно бы они не ели все два года, проведенных в Константинополе.

Устрашающих размеров севрюга красовалась на долгом столе, украшенная и обложенная своею и татарскою зеленью. Рыбные для духовных и мясные для светских блюда тесно покрывали столешню. Мясо сайгака и дрофы, обугленная баранина, печеный лебедь в перьях, выгнувший шею на серебряной проволоке, словно живой,— княжеской трапезе впору! — многоразличные каши, кисели и пироги, квасы в квасниках и братинах, русский мед и греческое вино, приплывшая с верховьев Волги моченая брусника (и при взгляде на нее у Алексия радостно вспыхнули глаза) и яблоки рядом с греческими маслинами, вяленою дыней из Бухары, инжиром и сушеным виноградом; дымилась огненная, наперченная стерляжья уха, и захлопотанный, умученный ожиданием и страхами ключник мог быть удоволен вполне при виде того, как оголодавшие за дорогу русичи, едва выслушав молитву, дружно накинулась на трапезу.

Загорелые, обветренные, со здоровою худобой людей, переживших и победивших смерть, спутники Алексия сперва лишь молча въедались, хлебали, жрали, уписывая за обе щек отвычные блюда родины. Но вот уже миновала уха, исчезли сайгак и дрофы, и разрушен лебедь, и от огромной севрюги остались, почитай, голова да хвост, и решительно поубавились горы пирогов на столе, и путники въедались уже в сладкие каши из желтого русского и белого сарачинского пшена, сваренные на восточный лад с изюмом и черносливом, уже хрустели медовыми заедками, уже, щурясь, отваливали от стола, протягивая руку то за яблоком, то за грушей. И сам Алексий, отведав ухи и севрюги, с удовольствием вкушал теперь бруснику, черпая ее серебряной круглою ложечкой из берестяного, узорно выделанного туеска. И уже начались, повелись, возникли и смех, и речи, и шутки, и рассказы. Чуть-чуть хвастая перед местными, ордынскими русичами, громко повествовали на том конце стола, указывая перстом на виновника спасения, как Станята под одним косым парусом на коекак поставленной мачте довел полузатопленный корабль почти до Херсонеса, как сушились прямо на берегу, и как владыка Алексий, стоя на песке на коленях, читал благодарственную молитву, и как дотягивали потом

корабль до гавани, и кто что делал и говорил в пору ту, и про самое страшное — четырехдневную гибельную бурю, едва не потопившую утлое судно. И было в них во всех, и в боярах и в слугах, то, что радовало Алексия паче всего: окрепшее в трудных дорогах товарищество, сорадование верных, сходственное тому, давнему, собравшему вокруг Учителя истины мытаря и рыбака, равно покинувших привычное дело свое ради высшего на земле.

В Сарае следовало предстать перед Джанибеком, дабы получить ярлык — ханскую грамоту, по обычаю выдаваемую новому митрополиту повелителем Золотой Орды, и Алексий заранее продумывал, какие подарки пристойно вручить хану-мусульманину, его вельможам и женам, и особенно Тайдуле, влияние которой в Сарае было едва ли не больше ханского. Подарки, вместе с тем, не должны быть излишне богаты. Глава церкви, получающий ярлык на беспошлинное исправление православного обряда у хана-мусульманина, не должен являть излишних богатств церкви неверным. Поэтому Джанибеку следовало объяснить, что русская церковь вкупе с мехметовой молит о здравии хана-государя, ибо всякая власть от Бога, а «царство мое, по слову Христа, не от мира сего». Тайдуле следовало пояснить то же самое, но с сугубым намеком: силу пастырского слова и целительное умение иерархов русской церкви хорошо знали в Орде и уважали, даже не любя. В просторечии велась молвь, что урусутские попы все колдуны, и Алексий не считал надобным разрушать это благое для русской церкви заблуждение.

Хан принимал Алексия за городом, в простой белой юрте. Главе русской церкви предложили, в знак почтения к сану, раскладное кожаное сиденье.

Джанибек был слегка пьян, и Алексий, глядя в это преждевременно постаревшее лицо, гадал, долго ли проздравствует хан, от чего впрямую зависела участь Ивана Ивановича и всего московского княжения. А Джанибек, в свой черед, обозревал лобастую голову, внимательный темно-прозрачный взор, твердоту черт и не по годам завидную прямизну стана урусутского митрополита и мысленно беседовал с князем Семеном: «Вот кто будет тебе опорой, Семен! Вот кто спасет твой улус! Но у него нет детей, у твоего главного попа! Дети есть у твоего брата Ивана, всего двое! Надо иметь много сыновей! У меня их двенадцать, не считая Бердибека!»

Он плохо слушал то, что говорил ему Алексий. Глав-

ный поп говорил то, что должен был говорить, дарил то, что должен был подарить, а вот глядел так, как глядят немногие.

«Как мало друзей у человека, а, Семен? — думал Джанибек, кивая головою и вполуха слушая урусутского митрополита.— Как мало друзей! И ты просишь, Семен, теперь просишь за него! Я знаю тебя, Семен! И ты хорошо придумал — этот не станет отбирать власть у тебя!»

Вино, выпитое накануне и теперь, смешиваясь, помогало ему сохранять то любимое состояние между мечтой и явью, в котором он мог спокойно разговаривать с мертвыми. Жизнь раздвигалась, теряла жестокие грани, прихотливо возвращалась опять и вновь в прошлое по одному лишь желанию его.

Мановением руки Джанибек велел выдать, не задерживая, ярлык новому митрополиту, а сам все вел и вел беседу с мертвым урусутским князем. Глаза его сверкали, горело лицо, взгляд порою отсутствовал или становился безумен. Алексий, всерьез обеспокоенный состоянием хана, вгляделся пристальнее, но Джанибек, тотчас угадав его сомнения, солнечно улыбнулся и покачал головой. «Нет, нет, русский поп! Я понимаю все!» — сказали его сузившиеся, отвердевшие глаза.

— Семен! — вымолвил он вслух, и Алексий недоуменно приподнял бровь.— Семен! — повторил Джанибек, медленно покачивая головою.— Был бы жив Семен, ты бы мог обрадовать его!

Толмач перевел слово в слово, недоуменно поглядевши на хана и на митрополита, но Алексий понял, склонил голову.

— Великий хан! Князь Семен Иваныч сам отправлял меня в Константинополь, и я почасту там, в великом городе, вспоминал покойного князя и так же, как и ты теперь,— он приодержался и остро глянул в лицо Джанибеку,— мысленно беседовал с ним о делах правления!

Лицо Джанибека окаменело, улыбка сошла с него. Он вгляделся в сидящего перед ним урусута с настороженным вниманием, поднял руку, как будто что-то воспрещая или повелевая, но не сказал и не возразил ничего; медленно отер лоб растерянным движением, по коему Алексий окончательно понял, что догадал правильно, молча взял чашу и отпил из нее. И тогда только произнес без улыбки, строго:

— Пойди к Тайдуле! Говори с нею! У тебя много врагов здесь, в Орде, но я, сколько смогу, стану беречь тебя! Только ты поезжай скорее, не жди! Я сказал!

С последними словами голос Джанибека окреп, растерянность ушла из него, и Алексий понял, что хан отныне будет на его стороне и теперь только одно еще требуется от него — понравиться властной первой жене Джанибековой.

Тайдула принимала Алексия в своем шатре и была без покрывала на лице, оправдывая нарушение закона, видимо, тем, как понял Алексий, что русский «главный поп» — монах и старец. Возможно, ей, степной повелительнице, предки которой почасту брались за лук со стрелами, обороняя стан от внезапно нахлынувшего врага, попросту был до сих пор чужд мусульманский обычай гаремных затворниц. На ханских торжественных приемах жены повелителя вселенной до сих пор сидели с открытым лицом.

Тайдула вся сверкала, залитая серебром и золотом украшений в драгоценных, брызжущих разноцветными искрами камнях. На лице ее, до сих пор красивом, но уже суховатом, властном и строгом, пролегли морщины и тени начавшегося увядания. Стала жилистей шея, стала сухой кожа на руках, украшенных перстнями и кольцами. И уже слегка обозначились те круглые складки под глазами, которые у гладколицых монголок прежде всего указывают приближение возраста осени.

Алексий поднес Тайдуле простую серебряную византийскую чашу с равноконечным греческим крестом на донышке. Объяснил, что русская вера будет защищать и ее тоже, как жену хана — повелителя Руси, а поскольку, по учению Магомета, Исус и Мариам (дева Мария) названы в числе пророков единого Бога, то и не будет грешно ей пользоваться этой чашею во время еды. Яснее сказать о том, что ее могут и отравить, было бы уже непристойно. Тайдула разом поняла скрытый смысл Алексиевых слов:

— Чаша потемнеет от яда? — жестко спросила она.

— Всякое серебро темнеет от яда! — уклончиво возразил Алексий.— Я говорил тебе про знак креста на чаше сей!

— Я буду из нее пить! — ответила Тайдула, передавая чашу служанкам.— А ты молись за нас! — требовательно добавила она.

— Да, госпожа, да! — ответил Алексий, кивая.— И ты, госпожа, помни, что молитвенник за тебя всегда бодрствует и пребывает в Руси!

Алексий был честен в этот миг, ибо в интересах русской земли и в интересах московского правящего дома было, чтобы Джанибек с Тайдулой как можно дольше держали в своих руках власть в Сарае. Тем паче — теперь, когда (он уже знал об этом) робкий Иван Иваныч не смог даже наладить мир в своем собственном дому — рассорил и с Суздалем и с Новым Городом, и погорела Москва, и в думе нестроения великие... Дай-то бог, воротясь, наладить хотя то, что было налажено при Симеоне!

От Сарая, скорости ради, ехали сухою дорогой и отчаянно гнали коней. Новгородских послов Алексий намеренно посадил в свой возок и, проговоривши с ними всю дорогу до Нижнего, уяснил себе, что мир с Новгородом зависит сейчас даже не от воли архипастыря Моисея, а более всего от хотения князя суздальского Константина Васильевича, не пожелавшего до сих пор помочь московскому князю.

То, что любые два княжества (Тверское, Суздальское, Рязанское и даже Ростовское с Новгородом впридачу) оказывались совокупно сильнее Москвы, Алексий знал слишком хорошо. Посему, как понял он еще в Константинополе, до поры следовало отложить прю с Олегом, изо всех сил держать мир с Тверью, опираясь на кашинского князя Василия, и во что бы то ни стало — и это последнее должен был он совершить немедля, сейчас,— заключить союз с суздальским князем Константином. Тогда возможно станет замирить и оставшийся в одиночестве Новгород Великий, а там все силы бросить против Ольгерда... Ежели не умрет Джанибек. Ежели Ольгерд, еще ранее того, не заключит союза с суздальским князем и Всеволодом Александровичем Холмским (о младшем сыне погубленного Александра Тверского, Михаиле Александровиче Микулинском, Алексий пока как-то не думал). Ежели еще и Новгород... Достаточно было и без Новгорода! Стоит Ольгерду объединиться с единым суздальским князем — и Москва погибнет! А там — погибнет и Суздаль и победит Литва. Неужели Костянтин Василич не в силах того понять?

С этими мыслями Алексий подъезжал к Нижнему Новгороду.

Шла осень. Тянули к югу птичьи стада. И не было паркого тепла, не было одуряющих ароматов, горячей уличной пыли и прослоенного запахами гниющих водорослей дыхания моря. Воздух был холоден и крепок и чуть-чуть горчил, и в далекое далекó уходили облака по неоглядному простору небес, распахнутому здесь шире, чем там, в далеке далеком, на теплом юге, откуда он недавно приплыл. И в ясной прозрачности воздуха стояло оранжевое и багряное великолепие лесов с тяжелыми пятнами старого золота дубов и темно-зеленою бархатною оторочкою хвои, перед которым смеркла и растворилась вся утлая роскошь рукотворного человеческого великолепия. И было такое, что не часто совершалось с ним и чего он не допускал в себе: Алексий остановил возок, вышел на сырую, усыпанную палой листвою землю и, соступив с пути, нагнул к себе лиловую темную ветвь в ржавой узорной листве и сорвал несколько тяжелых, холодно-влажных, горящих на солнце гроздьев рябины, которую мужики по осени вывешивают на подволоках, чтобы лакомиться ею зимой, сорвал и, воротясь в возок, долго ел, отрывая по ягодке, затуманенным взглядом следя проходящие мимо солнечно-ясные березовые рощи и огненно-красные ряды сквозистых осин. И горечь была в огненных ягодах рябины, и горечь в отвычном воздухе осенних лесов, и горечь в высоких, все еще не свершенных замыслах, и сладкая горечь в светлой радости отречения ради земли родной и неведомых грядущих поколений еще не рожденных русичей...

Не доезжая до Нижнего, остановили в Печерском монастыре. Игумен Дионисий, деловой и хваткий муж, крепкий телом и духом, чем-то напомнивший Алексию Сергия со Стефаном, вместе взятых, ничуть не растерялся нежданному высокому гостю. (Алексий достиг обители прежде гонца.) Быстро и дельно распорядил принять и накормить свиту митрополита, бояр и самого Алексия, после краткого молитвословия в деревянной церкви проводил в недавно отстроенную трапезную, успев меж тем с легкою гордостью показать монастырское устроение, в коем этот выученик Киевской лавры язно стремился возродить на берегах Волги навычаи и обряд великой лавры Печерской-Киевской. Сам отослал гонца ко князю, и когда отдохнувшее посольство собиралось тронуться в дальнейший путь, его уже встречали княжеские вестоноши с избранными из ниже-

городских бояр, а Алексию сообщено было, что его ожидает торжественная литургия в Спасском соборе (править которую надлежало самому Алексию), а за нею — неприлюдная встреча с князем Костянтином Василичем. Лучшего повода и случая для разговора по душам с суздальским князем не мог бы измыслить и сам Алексий.

Как бы вскользь, но и достаточно настойчиво Дионисий посетовал, что город не имеет своего епископа, подобно Ростову, Твери, Смоленску или Рязани. И Алексий, еще раз и внимательно вглядевшись в решительное волевое лицо Дионисия, словно бы списанное с ликов древних пророков, подумал, что епископом этим будет, конечно, он, и даже не стоит ему, Алексию, пытаться ставить сюда кого-либо другого, тем паче, что Дионисий был другом Сергия, и, значит, можно будет ожидать от будущего нижегородского епископа ежели и не полного послушания Москве, то во всяком случае — миновения той вражды, которую проявляет до сих пор епископ тверской или своевольная архиепископия Великого Новгорода.

Город открылся нежданно. Митрополита встречали с колокольным звоном. Дороги огустели толпами. Башни деревянной крепости, показавшиеся сперва невысокими, на подъезде — когда открылись просторы Заволжья, синяя, уставленная кораблями вода и сбегающие вниз уступами рубленые твердыни — словно выросли, утвердились, окрепли. И белокаменный, недавно украшенный и поновленный, в старинной резьбе, с сияющими медью дверями Спасский собор, несущий на себе отсвет великого древнего владимирского зодчества, показался много величественней московских храмов.

Пока Алексий переоблачался в дьяконнике, к нему подходили, представляясь, нижегородские иереи. Служба обещала быть и была торжественной и благолепной. Алексий читал и чуял, что доходит каждое слово, каждый молебный стих, и, вдохновляемый совокупным вниманием бояр, горожан и клира, служил так истово и вдохновенно, как редко служил когда-нибудь. Да, впрочем, ведь это же была его первая литургия на родной земле в новом сане митрополита — духовного главы всей русской земли!

И все-таки, отдыхая меж выходами на креслице, поставленном ему в алтаре справа от престола, Алексий уже думал о следующей вслед за литургией жданной

и важнейшей встрече со старым князем, встрече, от которой зависело слишком многое в судьбах русской страны.

Дети старого суздальского князя уже подходили к Алексию за благословением, и он смог, хотя и кратко, поговорить с каждым из них, особенно внимательно вглядываясь в Андрея, наследника княжеского стола. Этот сын гречанки и старого князя — уже на возрасте, немолодой муж — не показался ему опасен. Но были еще трое, и переменись судьба — на нижегородский стол могут сесть и Борис, и Дмитрий!

Он встает, выходит на амвон. Сейчас начнут подходить ко кресту, а затем — переоблачение и краткий отдых, а затем... Не признаваясь себе в том, Алексий все же устал и от тряской многодневной дороги, и от сегодняшнего служения, и от ладанной, многолюдной духоты в храме. К вечерней встрече он должен собрать все силы свои!

Старый князь был болен. Простудившись в Орде, он так и не переставал хворать. Неудача у хана тем более подломила его силы, и Алексий почуял это, едва вступивши в княжеский покой, застланный толстыми восточными коврами и неярко освещенный всего двумя серебряными шандалами, в коих ровно горели толстые свечи, расписанные по воску многоцветным затейливым узором. Приняв благословение и извинившись, Константин Василич прилег на ложе, застланное курчавою, красивого красно-бурого отлива овчиной. Долгое породистое лицо его, изможденное хворью, было иконописно-сурово, персты рук похудели и слегка вздрагивали, когда князь протягивал руку за чарой целительного питья. И по дрожи этой угадал Алексий, что суздальскому князю уже мало осталось веку на земле.

Он отведал для приличия яства, коими угощал его Костянтин Василич, а подавали молчаливые вышколенные слуги, отпил малинового квасу, дождал, когда они с князем остались одни с глазу на глаз, и по какому-то внутреннему наитию начал рассказывать о Царьграде, о святынях Софии, о греках, Кантакузине и Апокавке, о турках, о разорительной, погубившей империю гражданской войне...

Костянтин Василич слушал отрешенно и строго. Раз только, шевельнувшись и поморщив чело, когда Алексий повестил, как сторонники Апокавка и Анны

таскали по городу, веселясь, отрубленные руки и головы казненных, выговорил вслух:

— Иван Иваныч не Кантакузин!

— Да, княже! — ответил, подумав, Алексий.— Но он и не Апокавк! Земле надобна тишина и, мыслю, дабы не возникало в князьях которы братней, кроткий и незлобивый глава. В Москве же ныне налаженное устроение власти, и неразумно нарушать оное. Такожде и вот о чем помысли, княже! Человек смертен, ни дня ни часа своего не вемы. И сохранят ли наследники дела отцов, приумножат или разорят — и того не ведаем! Единая церковь возможет пасти народ в череде веков! Ныне же, когда кафедра митрополитов русских нашими слабыми стараниями перенесена из Киева во Владимир...

Князь опять шевельнулся, поднял бровь, но сдержал себя, ничего не сказал Алексию. Только большие исхудалые руки в узлах вен, прекрасные породистые руки с чуткими долгими перстами, беспокойно задвигались, словно обирая себя, словно бы уже перед смертью... О чем он думал в сей час? Глаза его были устремлены к малому окошку, в коем сквозь тонкую желтоватую слюду, вправленную в узорный свинцовый переплет, виднелся далекий берег с зелено-желтыми полосами и пятнами осени и высокие холодные облака, текущие над синей водой. Да, он устал, и жизнь кончалась. И в чем-то, видимо, прав этот упорный московский иерарх, ставший вопреки всем препонам митрополитом всея Руси... Хотелось говорить о другом — о судьбе и вечности и славе родимой земли, и Алексий примолк и будто бы понял старого князя, поставившего свой высокий терем на самый глядень над Волгой, великой рекой, и теперь угасавшего, не свершив (как и все, жившие до него!) даже и малой части измысленного дерзновенной мечтою! Жизнь текла, утекая, как Волга, неостановимо, и уже не было злости, не было обиды на Москву и покойного Симеона, одолевшего его и ныне в этой загробной борьбе.

— Уступи, князь! Сойди в любовь с братом твоим Иваном! — тихо говорит Алексий.— Никому, кроме недругов Руси, не надобна ваша борьба!

А жизнь уходит, и чует старый князь горькую правоту Алексия. Не свершил, не возмог, не достиг, не успел уложиться в пределы жизни своей! И пусть течет река, и мужики, отставя меч и копье, рубят избы и

пашут землю, и торгуют купцы, и плывут караваны по синей воде! Не поддержит его ростовский князь, а новогородцы также не подымут на плеча сей крест — бремя власти великой страны. И, быть может, тогда лучше обеспечить Андрею неспорную власть над Нижним Новгородом, а там — кто знает! И кто воспользует бранью, начатой им с московским князем, ежели он умрет? И можно ли начинать днесь усобную брань на Руси?

В палате застойный воздух. Пахнет воском, коврами. Откуда-то снизу наносит несносный дух паленой шерсти — верно, на поварне смолят свиней... Нет, он опоздал, и надобно согласиться с Алексием, взять мир с Москвою, ибо ни сил, ни жизни для продолжения этой борьбы у него уже нет...

Алексий сейчас говорит о надобном — о душе, о вечности, о судьбе, а князь глядит сквозь слюду и видит неясный размыв золотого сияния осени вдали, на том берегу, где лежат глухие непроходимые боры, и вьется сказочный Керженец, и озеро Светлояр лежит в оправе лесов на месте навсегда утонувшего Китежа... Возникнет ли новая Русь на сих берегах? Или все поглотит Москва и не станет Волга великой русской рекою, а Нижний — столицей преображенной и воскресшей из праха Святой Руси?! Если бы его сыновья с такою же силой, как он, любили эту землю! Сила любви — вот то, что творит и создает Родину! И без чего мертвы и убоги камни отчих могил и земля отцов становит прахом под ногами чуждых племен. «Алексий! — хочет воскликнуть он.— Ты любишь эту землю? Ты желаешь ей добра, как желаю я, умирающий?»

— Да! — отвечает Алексий на немой княжеский крик.— Да, и я люблю эту землю и хочу ей добра и единства, без коего не стоять Руси!

Одинокая слеза, осеребрив княжеский взор, застревает в ресницах старого князя. «Я подпишу мир с Москвою,— думает он,— но ежели дети найдут в себе силы к борьбе, пусть они поиначат нынешнюю волю мою и поставят сей город во главе страны, которая — московский митрополит прав — нуждается в одном главе, в одном князе и власти единой!»

Алексий, на волос не отступая от задуманного, задержался в Нижнем еще на три дня, отослав своих

спутников кого в Москву, кого во Владимир, но добился от Костянтина Василича нужной ему грамоты и известил об этом новогородцев, которые повезли теперь владыке Моисею вместе с крещатыми ризами и золотою печатью строгую грамоту Филофея Коккина, повелевающую непременно слушать во всех делах митрополита Алексия, и собственное неутешительное известие о почти заключенном мире суздальского князя с Москвой. Сам же Алексий с немногими спутниками, среди которых по-прежнему оставался Станята, довершив нижегородские дела, выехал во Владимир утверждать новую кафедру, вернее — новое место кафедры митрополитов русских.

Станята бывал во Владимире только проездом, и теперь, пока шли торжества и его присутствие не требовалось Алексию, обеспеченный кормом на владычной поварне, мог вдосталь побродить по древнему городу, подымаясь на валы и башни, на Золотые ворота, с которых открывался далекий озор на поля и леса в осенней украсе своей, разглядывал резных белокаменных зверей на соборах, толкался у лавок в торгу, щупая товары и прицениваясь то к тому, то к другому с независимым видом барышника, у которого в калите звенит нескудное серебро.

Поздними вечерами, когда они оставалась наконец одни, Алексий, отсылая служек, иногда по старой памяти беседовал со Станятою с глазу на глаз, вызнавая от него то, о чем с высоты своего сана не мог бы уведать.

— Порезвей они, конецьно, русичи, дак,— толковал Станька, помогая Алексию разоблачаться,— а токмо чем-то они тута, во Владимери, греков напоминают! Одна толковня, а дела и нет! Не сидеть бы тебе тута, владыко! Езжай на Москву альбо в Переслав!

Алексий и сам не собирался застревать в этом старом городе, все еще многолюдном и богатом, но обращенном сменяющими друг друга князьями и краткими наездами митрополитов в проходной двор, которому уже не в подъем было бы стать, хотя и только церковною, столицею новой Руси. Он заводил двор, увеличивал клир и обслугу не столько для себя, сколько для греков, дабы доказать тем, что перенос кафедры не остался писанным лишь на грамоте, а осуществлен им на деле и сугубо. Для того же были утомительные торжества, вызовы во Владимир церковных иерархов и готовящийся на днях приезд самого Ивана Иваныча, хотя дела и

слухи и грамоты звали его, и срочно, в Москву. А самому Алексию много важнее было устроение одной Троицкой обители, чем все эти владимирские рясоносцы, от которых ни русской церкви, ни делу объединения земли не было почти никакого толку.

— А Сергия-старца и тута знают уже! — хвастал Станька по вечерам, но Алексий, умученный долгими богослужениями и хлопотами по устроению митрополии, только кивал головою. Сергия знали еще очень мало. Пока — только случайными слухами, а не так, как когда-то Феодосия или Антония Печерских, с коими считались князья, и даже не так, как знали в нижегородской земле Дионисия, к которому на поклонение ежедневно притекали толпы паломников из ближних и дальних волостей.

Порою в мыслях о Сергии Алексия охватывала смутная тревога: медлит ли он? Или выжидает? Или — не тот он, кем его хотел бы видеть Алексий, и так и останет в тиши лесов скромным иноком, ищущим пустынного жития? Последняя мысль посещала его изредка в минуты усталости и упадка духа, и он старался прогонять ее прочь. Быть может, все дело было лишь в том, что он слишком давно не встречался с Сергием и начал позабывать о той волне потаенной спокойной силы, которая, точно невидимое тепло, исходила от этого удивительного подвижника?

Наконец во Владимир прибыл давно ожидаемый великий князь Иван Иванович Красный. Возок московита сопровождала свита из многих бояр и кметей. Алексей Петрович Хвост красовался на чубаром долгогривом жеребце, разодетый так, что привычные к пышным торжественным процессиям владимирцы и те ахнули. Но Алексий, благословив всех прибывших москвичей и князя в особину, не стал задавать Ивану никаких вопросов о делах и нестроениях московских и смене тысяцкого. Важнейшее предстояло, и ради того важнейшего (а совсем не ради торжеств святительских!) вызвал он князя Ивана во Владимир. И важнейшее это было — мир с Костянтином Василичем, который, по великой просьбе и к великой радости Алексиевой, превозмогши хворь, сам прибыл на торжества во Владимир.

Приехали все четыре сына суздальского князя и целая вереница бояр, и в какой-то миг, когда все это множество роскошно одетых нарочитых мужей собра-

лось вместе, показалось Алексию, что возмутятся они, порвут с Москвою и затеют вновь гибельную прю городов. Но не было нужного единства в стане князей суздальских, провиделись грядущие споры сыновей старого князя, рознь бояр, не меньшая, чем на Москве, и Алексий, чья воля была все эти дни и часы точно натянутый лук, смог свесть в любовь неразумных князей, спасти страну еще раз от гибельного раздрасия и, проведя утлый корабль переговоров чрез все бури и мели взаимного нелюбия, усадил наконец за один полюбовный стол вчерашних соперников: величавого старика, потерявшего силы свои к закату дней, и молодого правителя Москвы, с девичьим румянцем на щеках, лишенного этих сил с самого рождения своего. Усадил вкушать совокупную трапезу и сам уселся меж них в кресло с высокою резною спинкою и словами, мановением рук, а прежде и больше всего своею непрестанною волею удерживал от могущих возникнуть взаимных покоров княжеских. И удержал. И достиг. И заключил жданный ряд, и грамоту о том тотчас послал в Новгород Великий, подготовляя и там скорое согласие на мир с Москвой. И только вечером, наедине сам с собою, всех, и даже Станяту, от себя отпустив и уже лежа в постели с высоким взголовьем, позволил себе, и то молча, беззвучно совсем, не в голос, застонать и почуять на малый миг почти нахлынувшее отчаяние. Так непрочно было все, совершаемое днесь! Столь жалок и слаб был нынешний правитель московский, этот муж-мальчик, донельзя обрадованный встречею с ним, Алексием, растерянный и оробелый от всех многоразличных московских неустройств, не князь вовсе после Ивана Калиты и Семена Иваныча!

И уже засыпал когда, словно бы та роковая буря нашла на него, колебля и раскачивая скрипучее утлое ложе, и вздымались валы, руша беззвучно распадающиеся соборы, и стонала земля, и текла, змеилась меж волн одинокая дорога, по которой ему надлежало идти одному над бездною, уповая токмо на вышнего судию!

Иван Иваныч недаром суетился и краснел на подъезде к Москве. Сгоревший и едва отстроенный Кремник имел вид жалкий. Митрополичьи хоромы и княжой двор были кое-как восстановлены, спешно возводились хоромы великих бояр, но чернота обгоревших и полуосы-

павшихся стен, кучи обугленных бревен, гарь на улицах Кремника, черные остовы дерев на месте сада и сосновой рощи, высаженной по скату Боровицкого холма над Неглинною, кучи горелого зерна и каких-то неубранных ошметьев на месте амбаров и житного двора — все это зреть было непереносно.

Алексий вызвал к себе Ивана Иваныча и с глазу на глаз, забыв на время, что перед ним великий князь владимирский, и давши полную волю гневу, отругал его, как мальчишку, повелев отныне пребывать в Кремнике, ходить к исповеди непременно и только к нему, митрополиту, и объявил наконец, что сам он не прежде переселится в митрополичьи хоромы, чем последняя куча гари исчезнет с глаз, а пока станет жить в покоях Богоявленского монастыря. Там же и назначает на завтрашний вечер род заседания думы, во всяком случае, велит, чтобы все великие бояре, тысяцкий и Вельяминовы непременно были в сборе.

Вечером же, не отлагая, он встретился со вдовой Симеона Марией и имел с нею долгую молвь.

Мария, направляясь к Богоявлению, догадывала в общем, с чем и зачем зовет ее новый митрополит. Дарственные грамоты на Можай и Коломну не были надлежаще утверждены (чем и всегда ведала церковь, а в случаях княжеских споров и завещательных дел — только церковь и обычно сам митрополит), и она приготовилась, сказав несколько гневных и горьких слов, уступить Алексию. Княжеский свой возок она, подумав, оставила у ворот, при въезде, вместе со слугами, сама же твердым шагом пересекла двор и, ведомая служкой, поднялась по ступеням в указанную ей келью. Служка, впустив вдовствующую княгиню в сени, исчез, растворился у нее за спиной.

Мария, подумав, перекрестилась на иконы в углу и сама отворила тяжелую дверь в келейный покой. Войдя, она остановилась на пороге, притворив дверь за собою. Перед нею была довольно хорошо освещенная в этот час дня двумя слюдяными окошками горница, гладкие пожелтевшие тесаные стены которой были ничем не украшены, и не имевшая иного хоромного наряда, кроме лавок вдоль стен да креслица и невеликого стольца под окошком. Прямь против дверей помещался большой, весь изузоренный травчатою резьбою иконостас, стоял аналой, два высоких, также резных из дерева поликандила, и перед аналоем, спиною к ней, в палево-

зеленом облачении и клобуке с воскрылиями стоял на молитве тот, с кем она намерилась было вести гневную молвь.

— Помолимся вместе, дочь моя! — сказал негромко, не оборачиваясь к ней, Алексий.

Мария, взявшаяся руками за концы темного вдовьего плата, повязанного сверх повойника, проглотив непроизвольный ком, ставший в горле, соступила с порога и подошла к аналою. Вместо спора с Алексием пришлось повторять за ним слова кафисмы.

Молились долго. Наконец Алексий повернул к ней заботливое и как-то не столь постаревшее, сколь отвердевшее за два года странствий лицо. В темно-прозрачном взгляде читалось новое выражение сугубой властности. Чеканней и тверже стали морщины чела. Она не поняла и сама, как совершило, что ей пришлось исповедаться Алексию. Но совсем другое дело сказать задуманное в беседе или — как признание в тайная тайных души духовному отцу своему! Алексий выслушивал ее спокойно и терпеливо, иногда помогая подсказом, но тем не менее Мария волновалась все более, сбивалась, не находила слов и прервалась наконец на полуслове, замолкнув и опустив голову.

— Все это мне ведомо, дочь моя! — задумчиво и тихо ответил Алексий.— Ведомо и большее того, и горчайшее, о чем состоит иная молвь и в месте ином. Тебе же реку я днесь: один грех есть у тебя неустранимый и грех этот — гордыня! От многих грехов возможем освободить мы себя легко,— продолжал Алексий, не давая княгине вставить слово,— отринуть невоздержание, презреть богатство, избежать гнева и суесловия, воспретить похотное вожделение себе, но всего труднее отринуть гордыню! Иоанн Лествичник говорил, что и старцам, в горах и пустынях сущим, трудно сие! Постничаешь ли ты паче иных, и гордыня подсказывает тебе, что ты — первый в посте и молитве! Смиреньем он победил себя, а гордыня и тут велит тебе любоваться смиреньем своим! И самой гордыни отрицаясь, сотворивый себя меньшим меньших на земле, глядь, начинает гордиться отречением своим! Почто, дочь моя, не встретила ты князя Ивана со смирением и не облобызала его с любовию? Почто восприняла огорчение в сердце свое, егда стали хулить и поносить тебя неции из бояр? Почто забыла ты, что наказание оных — святительская нужа, тебе же

достоит смирять себя дозела не пред ними, пред Господом!

— Муж и жена — едина плоть! — сурово и властно продолжал Алексий.— Из ребра Адамова сотворил Господь подругу ему! Как же не поняла ты, дочь моя, что супруг твой усопший, Симеон, молил свыше Господа, да вдаст царство в руце брата его единородного, дабы дело мужа твоего, за которое он главу свою положил, не изгибло на земли?! Мнишь ли ты, что без воли Его пред сильными и властными, пред лицом хана победил, и возмог, и одолел, и воссел на престол владимирский? И кто? Не скажу слова, звука не реку, и сам преклоню колена пред нынешним повелителем Москвы! Ибо что остает от нас в мире сем, преходящем и суетном? Дела, угодные Господу! Подумай, был бы счастлив супруг твой, уведав о безлепой гибели дела своего на Москве? Уведав даже и о днешней трудноте: гибельной которе боярской, безлепом пожаре, истребившем имение его, со тщанием собираемое, о потере волости Лопаснинской, ея же захапив Олег Рязанский! О размирье с Новгородом! Помысли: токмо об одном этом уведавши, твой супруг в том мире, в горнем, где он и дети его, восхищенные ко Господу, пребывают, не пожалился днесь и не огорчился? Не простер с тоскою и вопрошанием незримые руце своя к тебе, возлюбленной супруге своей? Не он ли вопрошает тебя днесь моими устами?!

— Да! — продолжал Алексий, возвышая голос и сверкая взором.— Да, в слабые руки, испытуя, предал ныне Господь град Московский и судьбы русской земли! Но дерзнешь ли ты, дочь моя, рещи, что не благостен и не мудр Господь, пославший на ны истому, дабы уверовать, что мы истинно те, коих должно возвеличить и восславить ему в столетьях? Железо, отковав, испытуют огнем и стужею, дабы окрепло оно, закалилось, превратясь в харалуг! Тако и нас, закаляя огнем и хладом, испытует Господь! Помысли, сколь временен и преходящ человек, сколь мал и внезапу смертен! Должно заботить себя тем, что останет после нас, должно мыслить о вечности!

— Я думала сама... Прости меня, отче! — Потерявшаяся вконец Мария вздрагивала, трудно удерживая слезы.— Прости, Алексие, мнила, ждала... Хотела сама передать из рук в руки...

— Да, дочь моя, да! — живо, с огнем в глазах,

перебил ее Алексий.— Но надлежит сотворить это непременно с любовью к ближнему, к молодшему брату супруга твоего, опочившего в Бозе! И надлежит закрепить грамотою, ибо лишь с одобрения власти духовной возможно и действенно сотворенное новопоставленным тысяцким на Москве! Иначе то — разбой и татьба, да, да, дочь моя, да! И на Хвоста и на иных будет наложена епитимья, но и ты, дочь моя, грешна, повторю! Грешна гордынею, и тебе надлежит пристойно искупить грех сей пред высшим и неподкупным судией!

Уже покрыв ей голову епитрахилью и отпуская прегрешения, Алексий, протянув княгине для поцелуя руку и крест, вопросил:

— Теперь помысли, дочь моя, что можешь ты содеять ныне в Кремнике, дабы от гибельного позорища сего вскоре не осталось и следов? Да, восстановить свой терем, да, улицу перед ним, но и еще большее... При господине своем была ты рачительною госпожою и, мыслю я, ныне возможешь ли принять на себя труд отстроить заново амбары, рыбный и соляной двор и княжую бертьяницу? И сады насадить возможешь ли ныне?

Мария, утерев кончиком платка глаза, покорно и благодарно склонила голову. Алексий, властно вмешавшийся в уныние вдовьей жизни, давал ей сейчас дело истинно по плечу, и такое, которое вновь воскрешало для Марии минувшие, казалось бы, невозвратно годы, когда она была в Кремнике хозяйкой и госпожой.

Подведя ее к столику у окна, Алексий предложил княгине опуститься на лавку, сам присел в узкое монастырское креслице, чуть опустив плечи, чуть расслабив жестокие складки лица. Посмотрел на нее добрым оком пастыря, долг которого не токмо карать, но и прежде всего миловать. Помолчал, вздохнул:

— В печали твоей — вдовы, схоронившей супруга своего, и матери, проводившей в могилу любимых чад,— утешить тебя возможет токмо Господь! Но и тем не гордись и на то не ропщи! Веси ли мой труд? И я отрекся во младости, даже не испытавши их, утех бытия! Отринул богачество, молол зерно, испытывал себя гладом и нужою. И недавно был при дверях смерти, егда корабль наш малый трепало взъяренное море! И то было такожде испытанием от Всевышнего! А егда потребует от нас бренной жизни самой?

Дочь моя! Грешить мы начинаем не тогда, когда в

среду или в пятки вкушаем мясное, или пропустим по лености всенощную, или не сотворим милостыни, или правила молитвенного не совершим к ночи... Грешить мы начинаем, когда заботы свои личные возносим паче забот о ближних своих, егда жизнь сию временную и греховную начинаем беречь и холить паче господней воли! Тогда и прежереченные грехи почасту одолевают ны! Но и без оных! И тот фарисей, кто неукоснителен в правиле церковном, но сотворяет оное лишь для спасения своего, не грешнее ли грешника во сто крат?! Таковой, ежели он боярин, живет грабительством меньших и сам, величаяся в злате, не ведает уже о меньшей братьи своей. Воин таковой позорно бежит на рати, отдавая жен и детей на поругание и плен чужеземцам. Смерд — небрежет пашнею, где вместо хлеба вырастают плевелы. Монах — предается пиянству и блуду. Жена — служит не мужу своему, но похотному любострастию. И всякий таковой, возжелав в себе большего, чем дает ему Господь, позабывши о том, что выше нас и ради чего возможем мы отдать и само бренное наше бытие,— всякий таковой грешнее грешного на земли! От сего прегордого величания и споры, и свары, и войны, и всякие нестроения в языцех!

Все слова были уже сказаны. Мария сидела, уронив руки на колени, и ей не хотелось уходить и было хорошо. Что-то прояснело в душе, что-то отпадывало, как короста от заживляемой раны.

— Когда начинать работы в Кремнике, владыко? — спросила она негромко, хотя иные и многие слова рвались у нее из души.

— Не медли, дочерь моя, ни дня, ни часу! — отмолвил Алексий.— А грамоты мы с тобою утвердим нынче же, ибо назавтра в покое сем собраны будут великие бояра Москвы, и каждый из них возьмет на себя труд по званию и достатку своему. И твой, госпожа, почин, будет им всем и укором и поучением!

Алексий недаром решил собрать бояр не в Кремнике, а у Богоявления. Вступая на монастырский двор, все они невольно потишели, и уже одним тем, что местом государственных решений оказался монастырь, Алексий избавил себя от многой ненужной толковни и безлепых споров.

О нелюбиях и которах московских Алексий попросту не позволил никому говорить, громово обрушив-

шись на весь синклит со словами стыденья и укоризны. Затем напомнил недавнее прошлое, постарался возжечь в боярах гордость, в каковой вчера еще укорял вдову Симеона, но гордость особую, надобную днесь — гордость к совокупному деянию. И сам, наслушавшись и навидавшись греческого своекорыстия и нелюбви к общему делу (очень помнились ему рассказы ромеев о том, как жители Константинополя провалили строительство Кантакузином флота для борьбы с Галатою), Алексий был и удивлен, и обрадован, и тронут, хоть постарался не показать и виду о том, как живо и с какою охотою великие бояре московские откликнулись на его призыв немедленно и полностью, еще до снегов, восстановить Кремник.

Алексей Хвост, посопев и набычась, взял на себя и на свой кошт башни городовой стены от Боровицких ворот до Портомойных. Василий Вельяминов с братом обещали восстановить противоположную Фроловскую въездную башню с прилегающими к ней пряслами стен. Прочие великие бояре, каждый по силе своей, разобрали иные участки городовой стены, и уже в ночь пошли обозы, а наутро огустевший народом Кремник огласился дружными возгласами тружающих, конским ржанием, треском и гулом обрушиваемых обгорелых прясел и ладным перестуком наточенных плотницких топоров.

Когда месяц спустя в Кремник въезжало новогородское посольство архиепископа Моисея и вятшей господы, решивших сменить остуду на любовь,— для чего в Новом Городе после бурного вечевого схода «даша посадничество Обакуну Твердиславличу, а тысяцкое Олександру, Дворянинцеву брату», то есть тем боярам, что держали руку Москвы,— их встретило тьмочисленное скопище работного люду, телег, коней, и уже подымались гордые маковицы возрожденных соборов, и уже под редкими, порхающими в воздухе снежинками подступавшей зимы высили, радуя глаз белизной молодого леса, возрожденные башни Кремника.

И все это устроение сотворилось коштом московской боярской господы и рачением митрополита Алексия, не потребовавши от опустелой казны великокняжеской никаких сверхсильных для нее серебряных кровопусканий. Симеонова Москва, слава Господу, еще совсем не была похожа на умирающий Царьград!

Слухи о возвращении митрополита достигли Троицкой обители, еще когда Алексий был в пути.

Со времени поставления Сергия в игумены минуло около года. Уже высилась на склоне холма новая просторная церковь под чешуйчатою, из осиновой драни, кровлею, взметнувшая свои шатровые главы выше лесных вершин, в ширь небесного окоема, и уже прояснела для многих сдержанная властность нового игумена, ибо Сергий взял себе за правило по вечерам обходить кельи одну за другой, и там, где слышал неподобный смех или иное какое бесстыдство, негромко постукивал тростью по оконнице, назавтра же вызывал провинившегося к себе, будто бы для беседы, но горе было тем, кто не винились сразу, пытаясь скрыть от прозорливого старца вину своих вечерних развлечений. И уже переписыванием книг, изготовлением дощатых, обтянутых кожею переплетов, книжною украсою и даже писанием икон, так же как и многоразличным хозяйственным рукомеслом, начала все более и более прославляться новая обитель московская. И все это происходило как бы само собою, и многим даже казалось порой, что не будь кропотливого Сергиева догляда, и жизнь монастырская и труды премного выиграли бы в размахе и качестве своем. Сергий знал, ведал обо всем этом и продолжал наряжать на работы, отрывая от переписыванья книг ради заготовки леса и дров, овощей с монастырского огорода и прочих многоразличных трудов крестьянских, которые не желал, как велось в иных обителях, передавать трудникам, по обету работающим на монашескую братию. И никакие окольные речи, никакие примеры из жизни монастырей афонских не действовали на него. Он даже не спорил, да, собственно, он и никогда не спорил, но делал сам столько — успевая и скать свечи, и печь просфоры, и шить, и тачать сапоги, и плести короба и лапти, и валить лес, и рубить кельи, и резать многоразличную утварь, и копать огород, и чистить двор, и носить воду, и убирать в церкви, и все это с такою охотой и тщанием,— что, глядючи на своего игумена, и всякий брат неволею тянулся к монастырским трудам, а лодыри попросту не задерживались в обители.

Одно лишь послабление совершил он для братии этим летом, послушавшись многолетних настояний и просьб (по расхоженной многими ногами тропинке подыматься в гору с водоносами, особенно в осеннюю

пору после дождя, стало и вовсе не в подъем),— извел воду для монастыря, найдя источник невдали от обители, почитай что и в нескольких шагах от нового храма.

Как раз прошел дождь, и Сергий отправился с одним из братьев осматривать ямы в лесу. В одной из них, примеченной им заранее, дождевая вода обычно стояла, не уходя в почву. Могучие ели, нарочито оставленные им рядом с обителью, осеняли неглубокую впадину, всю поросшую мохом. Копать следовало здесь! Он воткнул заступ в землю и, осенив себя крестным знамением, опустился на колени прямо в мох.

— Боже! Отче Господа нашего, Исуса Христа! — молился он вслух, а брат повторял за ним святые слова.— Сотворивый небо и землю и вся видимая и невидимая, создавый человека от небытия и не хотяяй смерти грешникам, но живыми быти! Тем молимся и мы, грешные и недостойные рабы твои: услыши нас в сей час и яви славу свою! Яко же в пустыни чудодействоваше Моисеем, крепкая та десница от камени твоим повелением воду источи, тако же и зде яви силу твою! Ты бо еси небу и земли творец, даруй нам воду на месте сем!

Окончив, Сергий встал с колен и взял заступ.

— Копай! — приказал он брату, с которым вышел искать воду, и оба сосредоточенно стали сперва резать пластами и откладывать в сторону куски мшистого дерна, а затем углубляться в глинистую в этом месте землю. Был вынут перегной, потом пошли куски серой глины. Сделалось вроде бы суше, и взмокший брат уже с тревогою поглядывал на Сергия, но тот продолжал работать так же сосредоточенно, равняя края ямы и углубляясь все ниже и ниже, сперва по пояс, а потом по грудь. Вода хлынула изобильным потоком, как только добрались до песка. Сергий, оказавшись враз по колено в ледяной влаге, все-таки не прежде вылез из ямы, чем зачистил все дно и, окуная руки с заступом по самые плечи в прибывающую воду, вытащил наружу последние куски глинистой земли. Он сам не ожидал, что жила, выходящая снизу под горой, окажется так близко к поверхности. Вскоре они стояли оба над ямою, Сергий — тяжело дыша, мокрый почти насквозь, а голубоватая взмученная ледяная вода все прибывала и прибывала, подымаясь уже к краям копаницы.

Брат, глядючи круглыми глазами на Сергия, сложил было молитвенно ладони, но игумен лишь кивнул ему головою и, подхватив секиру, повел за собою в лес.

Огромная колода, видимо загодя присмотренная или отложенная Сергием, казалось, лишь ожидала теперь приложения рук. Невзирая на мокрое платье и онучи, Сергий, подоткнув полы подрясника под пояс, поднял секиру. Колоду расщепили клиньями на две половины и молча споро начали выбирать сердцевину и болонь. От одежды Сергия валил пар. Скоро обе половинки представляли собой два корытообразных желоба, и Сергий, натужась, приподнял один из них. Брат неволею взялся за противоположный конец, но не смог удержать, выронил.

— Созови кого ни то! — приказал Сергий, слегка охмурев челом.

Пока брат бегал за подмогою, он выровнял и отгладил секирою оба корытья и приготовил врубки, по коим обе половины надобно было соединить в одно. Лишь когда колода была принесена к источнику, соединена и опущена в воду, а снаружи плотно забита утолоченной глиной и землей и были сделаны тесаные мостовины к источнику и намечено место для беседки над ним, Сергий разрешил себе пойти переменить влажные платье и обувь.

Вода в источнике не убавлялась и во все последующие дни, недели и месяцы, и монахи стали называть источник в отсутствие игумена Сергиевым, на что сам Сергий очень сердился и решительно воспрещал, не уставая повторять братии, что воду дал не он, а Господь [1].

Однако, помимо воды, все остальное оставалось в прежних правилах, и даже стало строже, ибо Сергий, не возвещая того братии, готовил ее загодя к новому общежительному навычаю, ожидая только обещанной Алексием цареградской грамоты. Грамоты этой Сергий сожидал и сейчас, когда дошли известия о возвращении Алексия, и даже полагал, что привезет ее в обитель сам митрополит.

В эти дни все, и сам Сергий, были заняты на осен-

---

[1] Источник этот не оскудел и по сию пору. Теперь над ним высится павильон, и богомольцы выстраиваются у дверей с бидонами и банками, вот уже шесть столетий продолжая брать эту воду, прозрачную и вкусную, освященную преданием и именем Сергия Радонежского.

них работах, торопясь до зимы уладить с дровами и лесом, который ныне, по множеству сваленных дерев, уже не волочили сами, как когда-то, а возили нанятыми крестьянскими лошадьми. Заводить свой конский двор Сергий не желал и по сию пору. Кажущееся облегчение трудов, как догадывал он, не пошло бы на дело духовного совершенствования иноков, но на приращение монастырских богатств с последующим обмирщением обители. Хотя, впрочем, и сена нынче они заготовили довольно, дабы приезжим в монастырь странникам и доброхотам-дарителям было чем кормить коней.

Он возвращался из леса и у ограды услышал от Михея, что в келье гости из греческой земли. Не снимая рабочей свиты, как был — в лаптях, в пятнах смолы и с кровоподтеком на скуле, полученным сегодня в работе с неумелым братом, чуть-чуть не прибившим игумена падающею лесиной,— Сергий поднялся по ступеням и вступил в хижину.

Греки, предупрежденные заранее, разом встали и поклонили ему. Греков было двое, третий с ними, русич из свиты Алексия, тут же перевел Сергию приветствие вселенского патриарха константинопольского Филофея и передал патриаршее благословение.

Греки были в дорожной добротной сряде и в русских сапогах. У старшего волосы, умащенные и подвитые, свободно лежали по плечам, а драгоценный крест на груди вызывал, наверное, дорогою зависть не у одного проезжего татарина.

Чуть улыбаясь, Сергий вопросил, к нему ли они пришли. Русич перевел, греки одинаковым движением склонили головы: да, к нему! Затем второй грек встал и развернул вынутый из кожаной дорожной сумы холщовый сверток, в котором оказались схима, сложенный вчетверо параманд (плат с изображением осьмиконечного православного креста и страстей господних) и наконец серебряный нагрудный крест греческой работы, словом, полное монашеское облачение, пристойное игумену обители.

Сергий стоял в своем порыжелом и много раз латанном подряснике, с буйной копною непокорных волос на голове, схваченных самодельным гойтаном,— косица его расплелась в лесу, и недостало времени ее заплести вновь,— с грубыми, в ссадинах и смоле, руками, глядя на приезжих иноземцев светлыми озерами

своих чуть-чуть, в самой глубине, лукавых, лесных, настороженных глаз, взглядывая то на даримое, то на дарителей. Вновь повторил, не ошиблись ли греки, принимая его за кого-нибудь иного. (На миг один, и верно, просквозила подобная грешная мысль — так не вязались эти два нарочитых греческих клирика с обиходным обычаем Сергиева монастыря.) Но красивый грек подтвердил опять, что они отнюдь не ошиблись и посланы именно к нему, Сергию, подвижнику и игумену Троицкой обители. С последними словами грек протянул Сергию запечатанный пергаменный свиток.

Сергий поклонился земно, принял свиток, сорвал печать и, развернувши грамоту, увидел греческие, неведомые ему знаки. Свернувши грамоту, он передал ее в руки Михея и, не тронув более ничего, знаком приказал тому принять и убрать дары, а сам тут же, омывши руки, молча и споро начал готовить трапезу. Последнего, кажется, не ожидали и сами греки, представлявшие что угодно, но только не игумена в сане повара. Вскоре перед греками явилась вынутая из русской печи теплая гречневая каша, соленая рыба, ржаной квас, а также блюдо свежей черники. Нарезанный хлеб был опрятно уложен на деревянную тарель, а поданные ложки имели узорные, тонкой работы, рукояти.

Угощая гостей, Сергий все время думал о патриаршей грамоте. Можно было, конечно, призвать брата Стефана, разумеющего греческую молвь, но внутренний голос сразу отсоветовал ему делать это. В содержании грамоты Сергий не сомневался: это было долгожданное послание об учреждении общежительства. Но учреждение таковое должно было быть сразу освящено не токмо патриаршею грамотой, но и авторитетом Алексия, и потому Сергий, к концу трапезы уже порешивший, что ему делать, распорядясь принять и упокоить греков, устроив им постели и особное житье в монастыре на все время гостьбы в пустующей келье недавно умершего Онисима и проверив, все ли и так ли содеяно, как он повелел, простился с греками, переоделся в дорожное платье и в ночь, как он любил и делал всегда, вышел в путь, засунув в калиту патриаршую грамоту и ломоть хлеба.

Вечерняя свежесть и тонкий комариный звон разом охватили его, лишь только он спустился под угор и, широко ставя посох, легким шагом в легких своих ли-

повых дорожных лаптях устремил стопы по направленью к Москве, достичь которой намерил не позже завтрашнего полудня. Продирался он одному ему знакомыми тропами, спугнув раза два лосей, а единожды кабана, с тяжелым хрюканьем убежавшего, ломая кусты, с дороги преподобного.

Тощие в эту пору года комары почти не досаждали ему, и шел он легко и споро, безотчетно наслаждаясь лесной тишиною в колдовском очаровании восходящей над вершинами елей огромной желтой луны. Ухала выпь, в низинах восставали призрачные руки туманов, и даже жаль стало, когда пришлось наконец, вынырнув из-под полога лесов, ступить на увлажненную ночною росой дорогу, текущую извилистою молчаливой рекой мимо сонных, немых в этот час деревень, где едва взлаивал хрипло спросонь какой-нибудь пес, почуявши легконогого ночного путника.

Он шел, не останавливаясь и не сбавляя шага, пока не засинело, а потом побледнело небо, пока не прокинулись туманы и светлое сияние зари не перетекло на высокие, бледные, отступившие от росной влажной земли небеса. Уже когда золотое светило пробрызнуло сквозь игольчатую бахрому окоема, разбросав пятна и платки света по сиреневой охолодалой дороге, от которой тотчас начал восходить к небесам пар, Сергий присел на пригорок, выбрав место посуше, и пожевал прихваченного с собою хлеба, следя молодыми глазами разгорающуюся зарю. Потом, разбросав крошки от своей трапезы налетевшим неведомо отколь воробьям, подтянул потуже пояс и пошел дальше, без мысли, просто так, напевая про себя псалмы Давидовы, коими и он по-своему славил Господа и красоту созданного им мира.

На подходе к Москве начали встречаться крестьяне, возчики и земледельцы. Бабы выгоняли скотину и, остановясь, сложив руку лодочкой, провожали взглядом монаха-путника, а то и кланялись ему на подходе, в ответ на что Сергий, подымая руку, благословлял их, не замедляя шагов. Его еще не узнавали, как это началось впоследствии, и потому поклоны крестьянок были от чистого сердца, относясь не именно к нему, Сергию, а просто к прохожему старцу, печальнику и молитвеннику, и потому радовали его. Так он шел, и подымалось солнце, зажигая рыжую осеннюю, все еще густую листву, и лес, пахнущий сыростью и грибами, отступал

и отступил наконец, освободив место простору убранных полей, и чаще и чаще пошли избы, терема и сады, и близилась, и подходила Москва, в которую когда-то явился он впервые молодым парнем, наряженным на городовое дело, и видел впервые князя Семена в белотравчатом шелковом сарафане, а потом приходил опять и опять в горестях его и беседовал с самим Алексием, тогдашним наместником митрополита, а ныне — много ли лет прошло с тех пор? — приходит, неся с собою послание самого патриарха константинопольского! И было бы все это так же, ежели бы он желал того, сам стремил, стойно Стефану, к почестям и славе? Господи! Истинно даешь ты по разумению своему, и не просить, не желать несбыточного, но достойно нести крест свой — высокая обязанность смертного!

В Кремнике было полно работного люду, кипела муравьиная страда созидания. Сергий не видал Кремника после летнего пожара и потому слегка задержал стопы, обозревая картину, радостную только тем, что люди, сошедшие сюда, явно намеривали воссоздать наново сгоревший город. Ему объяснили, что митрополит остановился не здесь, а у Богоявления. Сергий скоро достиг обители, в воротах которой троицкого игумена едва не задержали, а узнавши, тотчас кинулись повестить Алексию его жданный приход.

Алексий сам вышел в сени навстречу молодому старцу. Внимательно поглядел, просквозив взглядом, и, уверясь в чем-то, очень надобном ему, троекратно облобызал Сергия, тотчас отослав его в церковь и к трапезе. (Самому Алексию предстояло тем часом отпустить двух бояринов, с коими шла нужная молвь о городовом деле.)

И вот они сидят друг против друга: заботный Алексий, нынешний русский митрополит, и прежний светлоокий юноша, ставший смысленным мужем и настоятелем монастыря. Сидят, и Алексий как-то вдруг не знает не ведает, о чем ему говорить. Он прочел вслух и перевел Сергию краткое патриаршее послание, где после цветистого обращения и похвал следовал, со ссылкою на пророка Давида, призыв устроить общее житие: «Что может быть добро и красно более, нежели жити братии всем вкупе? Потому же и аз совет благ даю вам, яко да составите общее житие! И милость божия, и наше благословение да будет с вами». И они опять смотрят друг на друга, и Сергий молчит, чуть

улыбаясь, его вопрошание ясно без слов: вот я здесь, и что повелеваешь ты мне теперь, Алексие?

И Алексий, уставно долженствующий ответить нечто, похваливши общее житие, сбивается и спрашивает совсем не о том и не так, как пишется в «Житиях»:

— Возможешь ты, брате, поднять ношу сию?

Сергий молчит, слегка улыбаясь. И Алексий, понявши, что вопросил совсем не о том, спрашивает, гневая на себя, грубо и прямо:

— Примут?

— По велению митрополита русского! — отвечает Сергий и добавляет, помедлив: — Тогда — возмогу.

И, наверно, Сергий опять прав, и он, Алексий, восхотел большего и скорейшего там, где неможно ни то ни другое. И новопоставленный игумен, ныне сидящий пред ним, по-прежнему крепок и тверд, и не стоило Алексию сомневаться в нем даже и мысленно. Но неужели изменить души немногих иноков, по воле своей сошедших вместе, труднее, чем изменить судьбу государств и участь престолов? «Да,— отвечает ему молча взгляд Сергия,— да, отче, труднее! И не спеши, дай мне самому нести сей крест и вершить должное по разумению моему!»

— Мне, отче Сергие, неможно ныне оставить Москву даже на час малый! — медленно произносит Алексий, глядя в лесные, светлые и глубокие, бездонные, как моховые озера, глаза старца.— Но я пошлю с тобою рукописание свое и от себя бояр и клир церковный, вкупе с епископом Афанасием! Довольно сего?

— Сего довольно! — ответствует Сергий.

— Мыслишь ли ты,— спрашивает вдруг Алексий, кладя руки на подлокотники кресла и наклоняясь вперед,— что минут кото́ры на Москве и снизойдет мир в сердца злобствующие?

— Боюсь, владыко, что не будет сего! — отвечает, подумав, Сергий.— Иное, хотя и скорбное, должно дойти до предела своего и разрешить себя, яко нарыв, который не прежде изгоняется телом, чем созреет и вберет в себя всю скверну и гной!

Два-три года назад Сергий еще не говорил так жестоко и прямо, отмечает про себя Алексий, начиная догадывать, что изменилось в Сергии и почему тот якобы нарочито не спешит на пути своем, не спешит, но и не отступает вспять. Да, ежели возможен новый Феодосий на Москве, то это — только он и никто другой!

— Надобна ли моя помочь обители? — говорит Алексий и ловит себя на давнем воспоминании: когда-то так же прошал он Сергия и о том же самом, и преподобный отвергся в ту пору всякой помочи. И, почти не удивляясь, слышит знакомые слова:

— Обитель ныне изобильна всем надобным для нее, а излишнее всегда опасно для мнихов! Быть может,— прибавляет он едва ли не в утешение митрополиту,— егда создадим общее житие, возможет явиться нужда в чем-либо, но тогда посланные тобою уведают о том в свой час!

Что-то еще надобно спросить, о чем-то сказать, о самонужнейшем ныне, а может, попросту жаль отпускать от себя этого монаха, в коем Алексий начал было сомневаться в пути, а теперь не может отпустить от себя, чуя незримое истечение светоносной силы, которой так не хватает порою ему, Алексию, взвалившему на себя двойное бремя мирской и духовной власти?!

— Мыслю, Алексие, земля наша способна к деянию, токмо ей надобно время для собирания сил. Возможно, слабый князь и благо для нынешней поры? — раздумчиво говорит Сергий.— Тому, кто препоясан к деянию, ждать или медлить бывает вовсе невмочь!

— Спасибо, Сергие! — тихо отвечает Алексий, и бледный окрас почти юношеского смущения проступает на его ланитах. Он сбивчиво говорит о море, о буре, едва не погубившей корабль, о своем обещании создать монастырь, и Сергий опять наклоняет голову, понявши еще не высказанную просьбу:

— О настоятеле новой обители, сего же хощеши от меня, повещу тебе чрез некое время!

И опять сказано все. Время надобно на то, чтобы ввести общежительный устав и на нем испытать каждого из своей братии. Сергий и тут не торопится, и опять он прав.

Идут часы, меркнет свет за окном, а митрополит, отложивший все иные заботы посторонь ради этой единой беседы, все не может расстаться с игуменом Сергием, без молчаливой лесной работы которого он не мог бы, пожалуй, вершить и свои высокие подвиги.

— Круто за́брали!

— Ну, дак сам батька приехадчи!

— Хозяин!

Наверху хохотнули. Никита отложил вагу, отер тыльной стороною руки потный лоб.

— Рущить? — спросили сверху.

— Не! — отмотнул головою Никита.— Сюды будем класть! Опосле ентой землей и засыплем! — Отцова наука не даром прошла бывшему вельяминовскому, а теперь хвостовскому старшому.

Внизу, под Кремником, чалили паузок с грубо окоренным лесом. Сейчас с обрыва, как раскидали стену, далеко стало видать. Холодный осенний ветер овеивал разгоряченное лицо.

Ребята были свои у него, хорошие ребята, а вот тот, наверху который, скользкий какой-то, словно налим! Будто и свой, вельяминовский, и в дело лезет... «Придавило бы его бревном, что ли, невзначай!» — зло подумал Никита, впервые отчетливо поняв, что увертливый мужик приставлен к нему едва ли не самим боярином.

— Вагу давай! — с сердцем прикрикнул он на верхних мужиков.— Раззявы! Рушить им...

Почти освобожденный от бревенчатого заплота остов башни высился грудою рыже-черной перегорелой земли. «Даже и сюда рушить не стоило,— прикидывал Никита.— Срубить клеть нанизу, а тут только складть да и присыпать по краю...» Он подошел, расталкивая мужиков, глянул вверх. Строго окликнул, задирая голову:

— Поберегайсь тамо!

Да, конечно, рушить не стоило! Потом носилками потаскаешь до дури. А тут еще и морозы завернут...

— Слазь! — приказал, окончательно решивши, что надобно делать.— Вали все на низ, паузок разгружать!

Под стеною уже крутился какой-то глазастый со стороны:

— Эй, мужики, землю не тронете?

— А тебе забедно? — спросил Никита сурово.

— А и мы то же иcделаем! — без обиды, весело отозвался мужик.— Не дурее вас!

К причалам подомчали вовремя. Из-за лесу, что запаздывали возить, мастера-плотники чуть не дрались.

Никита сам взялся за топор, разоставил людей погодному. Вельяминовские кмети все топоры держали в руках изрядно, и к вечеру первые срубленные венцы уже стояли у воды, на подрубах. Ужинали в наспех сложенной княжеской молодечной. Хвост и кормил

сытно, и хозяин был — грех хаять, а не лежала к нему душа.

Ревниво гадал Никита, хлебая горячие щи, много ли свершили вельяминовские на той стороне Кремника. Конопатый, угадав трудноту старшого, вызвался смотать после ужина, позырить: как там чего? Никита считал делом чести своей не отставать от прежних своих сотоварищей.

Наевшаяся дружина с гоготом и шутками начинала отваливать от столов. Его крепко хлопнули по плечу. Никита недовольно поднял голову:

— Чего нать?

Звали к боярину. Опоясавшись, он отдал наказы Матвею, которого нынче почасту оставлял заместо себя. Дыхно поднял косматый лик, глазом чуть-чуть повел, остерег: осторожнее, мол, тамо, у боярина, да и етого молодца поопасись! Никита только присвистнул сквозь зубы, не глядя на Матвея.

Вышли в ночь, в холод огустевшей и вот-вот уже готовой запорошить снегом осени, прошли разоренным Кремником, перешагивая через бревна и груды земли. Хвостовский городской терем стоял далеко, на Яузе, а здесь, в Кремнике, Алексей Петрович сложил себе что-то вроде гостевой избы — низкую просторную клеть с печью, где и ночевал почасту, задерживаясь на работах. В избе было полно народу, и за перегородку к боярину они пробирались по-за столами, сквозь толпу сумерничающих кметей, иные из которых уже укладывались спать по лавкам и на полу.

Хвост сидел с двумя прихлебалами (как тотчас про себя определил их Никита) и, окуная ложку в миску с гречневой кашей, неспешно и вдумчиво ел, изредка подливая себе в чару мед из глиняного поливного квасника. Единая свеча горела перед ним на столе, освещая широкое, в крепких морщинах лицо боярина. Хвост был чуть-чуть навеселе и встретил Никиту, хитро прищурясь:

— Что ты тамо, старшой, затеял с клетью? Бают, старое рушить не даешь?

Никита поглядел исподлобья в глаза боярину; отодвинув рукою одного из холопов, сел без спросу на лавку (от работы гудели плечи и спина), вытянул ноги в грубых яловых сапогах, сказал:

— Мой батька покойный ентот сруб клал! Сам! Вота и понимай, боярин. Дашь к завтрему ищо паузок

лесу — быстрей вельяминовских складем! — глянул в хитрые глаза боярина, поглядел на кувшин с медом. Хвост откачнулся на лавке, захохотал. Отсмеявшись, молвил:

— Ладно, старшой! Исполнишь — и за мною не пропадет! — Подумал, примолвил: — Пей!

Никита, не заставляя себя упрашивать, налил и опружил чару. Скользом глянув на боярина и поняв, что можно, налил и выпил вторую, после чего обтер усы и поглядел прямо в глаза Хвосту:

— Мне бы двух альбо трех древоделей добрых, а ентого, который доводит на меня, хошь и убери, работник хреновый из ево! Землю рушить недолго, а каково таскать будет под снегом?

Хвост смотрел, покачивая головой, верил и не верил. Наконец кивнул.

— Ладно, ступай, старшой! Доводят на тебя и иные многие, бают, был ты у Василья в чести!

— Был, боярин! Дак... о том я толковал тебе...— он выразительно поглядел на холопов, и Хвост махнул рукой: — Выдьте на час! — Оба разом встали и ушли.

— Не верю, штоб из-за бабы...

— Из-за бабы я от Василь Василича ушел! — перебил Никита боярина.— А не ушел бы — поди, и порешили меня. А к тебе, Алексей Петрович, я не бабы ради и не тебя ради пришел, а с того, что стал ты тысяцким на Москве, а мы, наш род, князьям московским исстари служим!

Хвост глядел, и пьяная дурь бродила у него в глазах. Наконец опустил голову, померк взглядом, примолвил:

— Пей! Пей ищо, старшой!

Никита, не чинясь, налил и выпил третью чару. Стало жарко, и в голове закружило чуть. «Ну и мед у боярина! Боле не нать!» — остерег он сам себя.

— А уйду? — вопросил Хвост, исподлобья глядючи на Никиту.

— Куда уйдешь, боярин? — возразил тот, пожимая плечьми.— Поди, и сына в место свое поставишь! Нет уж, коли самого Василь Василича пересел, дак ни ты не уйдешь, ни я от тебя не уйду до самой твоей смерти! — и усмехнул, и поглядел. (Кружило, ох и кружило в голове! С устатку так, что ли?)

Так и не понял ничего боярин, крутанул башкой, молвил:

— Иди! — И, в спину уже, добавил: — Вельяминовских обгонишь — награжу! А паузок из утра будет!

Ох и рубили же они назавтра! К вечеру с лица спали мужики. Того, увертливого, вовсе всмерть загонял Никита — помене станет доводить боярину! Но клеть стояла уже почти готовая к делу — только разбирай и ставь, и уже отрядил Никита часть своей дружины перетаскивать меченые дерева в гору, к Кремнику, и гнал, и гнал без роздыху, и — как в воду глядел! К тому часу, когда довели сруб до настила и начали забивать горелой землею и глиной щели, пошел пушистый легкий снег и за ночь нападал почти на аршин над землею. Хороши были бы они, кабы наново забивать глиною всю клеть пришлось! А плотницкую работу можно и зимою вершить, до великих морозов. Были бы рукавицы да веник!

Ненамного ранее кончили вельяминовских, всего-то на каких-нибудь полдня, а все-таки ранее! Когда свели шатер и поставили прапор, мело уже вовсю, и Хвост, в расстегнутом опашне, похаживая по гульбищу башни, постукивая в настил высоким каблуком щегольских востроносых зеленых сапог, урчал от удовольствия, словно кот. Кругом, сквозь метель, стучали топоры, почти все городовые костры уже были сведены под кровлю, и то, что его кмети хоть на малый час какой, а справились прежде других, наполняло Хвоста спесивою гордою радостью.

Вертлявого мужика боярин скоро убрал от него, и теперь Никита гадал и все не мог догадать: кого же из кметей Алексей Петрович поставил нынче у него соглядатаем?

В вельяминовский терем Никите теперь ход был и вовсе закрыт. И что там творится и как живет Наталья Никитишна, которую, слышно, нынче собирался засватать некто из городовых бояринов, Никита узнавал только по слухам, от челяди, гадая: неужели Василь Василич захочет отобрать у него, Никиты, его неземную любовь?

А Василь Василич мог! В гневе, в злобе, в обстоянии, разуверясь в нем, да и попросту... Попросту! Не давал же он Никите ни намека, ни знака, что будет беречь для него Наталью Никитишну? Не давал!

Дыхно первый понял муку своего старшого. Ночью, в стороже, на городской стене, поглядывая в синюю

тьму, чуть разбавленную там и сям огоньками из окошек посадских хором, под слепящим, хлопьями, снегом, Никита рассказал ему все начистоту. И как тут быть — придумал Матвей. Сам разыскал того боярина-жениха, повестил, якобы злобы ради, что Никита ходит отай по ночам к Наталье Никитишне и оттого-де Вельяминов и спешит сбавить с рук загулявшую вдову. Никиту он заставил перелезть через ограду вельяминовского двора на глазах у затаившегося боярина и долго потом отговаривал дурня, пожелавшего вымазать дегтем вельяминовские ворота. Помолвка расстроилась.

Но Никита с тех пор ходил сумрачный и хмурый, единожды, утаясь от друзей, в самом деле залез на женскую половину вельяминовского терема, пробрался на гульбище, выждав час, поцарапался в знакомое окно.

— Кыш, кыш, проклятая! — раздалось по-за оконницею. Никита откинулся, распластавшись по стене. Вскоре осторожно хлопнула тесовая дверь, выводящая из верхних сеней на глядень. Наталья Никитишна вышла, как была, в тоненьком домашнем распашном саяне, закутав голову и плечи в серый пуховый плат, и почти не удивила, найдя вместо кошки Никиту. Он молча взял ее за нежные плечи, притянул к себе, неистово стал целовать в губы, щеки, глаза, нос.

— Сумасшедший! Бешеный! — шептала она между поцелуев.— Увидят — погинешь сам и меня опозоришь навек!

Приодержавшись, сжимая ее запястья огрубелыми руками, Никита, стыдясь, шепотом, косноязычно, признался в сотворенной пакости. Она выслушала, всхлипнула, закусив губу, засмеялась, дернула его за долгие волоса раз, другой...

— А опозорил бы? А коли доведут Василь Василичу али дяде расскажут? Глу-у-у-пый! — протянула и ткнулась ему в грудь лицом. Прошептала: — И зла нет на тебя! Постой! — резко отпихнула Никиту, прислушалась, шепнула: — Прощай! — И уже у двери молвила вполголоса с нежданною властною твердотой: — Коли слава пойдет, зарежусь! Так и знай!

Никита тихо спустился с гульбища, пал в мягкий снег. Знакомый вельяминовский пес подбежал и, обнюхав Никиту, вильнул хвостом...

Все ж таки обошлось. Не посмел, видно, незадачливый жених позорить великого боярина московского. А Никита с того дня долго ходил сам не свой, все

выспрашивал да выведывал, не веря уже, что не погубил поносной молвою своей любви.

Станята попал в Троицкую пустынь уже спустя месяц после того, как было торжественно, в присутствии епископа Афанасия и Алексиевых посланцев, прочтено послание Филофея Коккина и совокупным советом братии приговорено устроить в обители общее житие.

За торжествами, за ослепительным — в лесной глуши, среди тяжких крестьянских трудов и сурового подвижничества — явлением патриаршей воли — посланием, обращенным к ним от самого главы церкви православной, за всем этим как-то и не восчувствовалось, не было понято даже, на что они идут, что приняли и к чему направляет их теперь игумен Сергий. Вернее сказать, понимали немногие. Архимандрит Симон понимал. Понимал, принимая безусловно все, что делал и велел наставник, Михей. Понимал Сергиев замысел и Андроник. Но уже брат Стефан, чуял Сергий, не понимал всего, что́ должно будет приять ему на себя с устроением общего жития — не понимал всей меры отречения.

Впрочем пока, за заботами созидания, все прочее возможно было отодвинуть и отложить до удобнейших времен.

Место для трапезной в два жила (нижнее отводилось под амбар и житницу) и для поварни рядом с нею Сергием было продумано заранее. Невдали от храма, но и в безопасном отстоянии от него, над обрывом, с которого открывался озор на рдеющую, многоцветную чашу, прорытую извивами Кончуры и Вондюги, и на далекие за нею лесные заставы, среди коих там и сям уже появились недавние росчисти крестьян, подселявшихся к новой обители. Славное место! Радостное глазу, каковым и должно было быть месту сходбища братии в час общей трапезы. Лес был приготовлен и доставлен к монастырю загодя.

Сергий не дал ни себе, ни братии и дня лишнего сроку. Назавтра же после торжеств с раннего утра в обители стучали топоры. Сам игумен, подоткнувши полы, уже стоял с секирой в руках, нянча первое бревно — нарочито избранный свилеватый осмол под основание трапезной, и продолжал работать не разгибаясь, пока не созвонили к заутрене.

Ели они, начиная с этого первого дня, все вместе в ближайшей избе, не растаскивая еду по кельям, как это было еще позавчера. Все иноки, кроме больных и самых ветхих старцев, все послушники, все, кто пребывал так или иначе в монастыре, были им разоставлены по работам. Самые маломочные драли и подносили мох, и первая хоромина новой общежительной обители росла на глазах, подымаясь все выше и выше. Рубили уже с подмостий, клали переводы нижнего жила. В Сергия словно вселился кто — не скажешь, бес, коли речь идет о праведном муже, но и человеческой силы недостало бы никакой работать так, как работал он, не прерываясь день ото дня, из утра до вечера...

Станька подъезжал к Троицкой обители с грамотою Алексия за пазухой, и, как ни мало провел он времени здесь, сердце билось незнакомо-тревожно. Словно к забытому дому ворочался он теперь на гнедом господском коне... Уже пошли знакомые колки и чащобы, в эту пору под белым осенним небом настороженно-молчаливые. Лес весь облетел, готовясь к зиме, и первые белые мухи медленно кружили в ясном холодеющем воздухе вокруг угрюмо насупленных елей. Издали доносило звонкий перестук топоров. Подымаясь в стременах, Станька тянул шею: вот покажется на урыве горы серая маковица, вот отокроются кельи, прячущиеся под навесом еловых лап...

Дорога вильнула, пошла в гору, и Станька, вымчавши на угор, даже приодержал коня. Обители он не узнал. Не узнал даже и места. Расчищенный от леса, высоко вздымался взлобок Маковца, и на взлобке том возносила шатровые кровли в белесое небо новая, слегка только посеревшая просторная и высокая церковь. А за нею, на краю обрыва, виднелось другое монастырское строение, свежее, желто-белое еще: долгая хоромина на высоком подклете, с готовой обрешетиною кровли, только что не закрытая тесом или дранью, а невдали от нее еще одна, приземистая, клеть, как понял он по высокому дымнику — поварня.

И тын был отодвинут и поновлен, и кельи стояли не так, и под новорубленою хороминою все было бело от щепы, и не было уже и следа той прежней потаенной укромности, о коей вспоминал он в пышном каменном Цареграде. Теперь вся обитель вышла на свет и простор, потянулась вверх, раскинулась вширь,

словно бы отразив на себе дальние замыслы владыки Алексия.

Станята рысью подъехал к ограде, спешился. Его встретил брат, несущий беремя моха, принял коня. Сергий, как он объяснил, был на подмостях, на кровле строящейся трапезной, и Станька, скинув дорожный суконный вотол, не долго думая, полез туда.

Наверху кипела работа. Уже укладывали длинные, тесанные из цельных стволов доски кровли, упирая их в лежащие на курицах потоки. Доски клали в два ряда, прослаивая берестой. Оба брата, Сергий и Стефан, были тут с топорами в руках. Сергий улыбнулся, озрел Станяту с головы до ног, отставя топор, принял и просмотрел грамоту, передал подошедшему Стефану, повестил Станяте, что трапезовать станут через недолгое время, а пока пусть он отдохнет в келье. Но Станька, зная норов Сергия, поискал глазами свободную секиру и, скинув зипун и подсучив рукава, принялся за работу.

Кровлю закрыли с какою-то незаметной быстротой. Снизу ударили в било как раз, когда клали последнюю тесину, и Станька, вылезши на кровлю, закрывал за собою лаз, чтобы спуститься потом наземь по приставной, долгой, в одну тетиву, с короткими перекладинами лестнице.

Совместная трапеза крепко пахнущих, уработавшихся мужиков (сейчас все они гляделись больше плотницкою дружиной, чем собранием иноков) была не внове для Станьки, и он, посылая ложку за ложкой в рот, зорко оглядывал предсёдящих, узнавая старых знакомцев и знакомясь с новыми находниками монастыря.

Отстояв сокращенную до предела службу, Станята вновь взялся за наточенный топор. Тяжелый охлупень лежал уже на земле вдоль стены, и скоро, зачистив и уровняв паз, начали, приподымая вагами, заводить под него веревки. Впрочем, уже смеркалось, и, все подготовив, подымать охлупень порешили завтра из утра.

Вновь ударило монастырское било, призывая тружеников к молитве. За вечернею трапезой Сергий попросил его рассказать братии о Цареграде. Станята смутился поначалу, сбрусвянел, но, начавши сказывать, оправился, речь его потекла бойчее и бойчее, и вот настал тот миг, когда притихла братия, остановилось

движение ложек и все глаза оборотились к нему. Станяте хорошо было говорить. Побывши сам в Сергиевой обители, он знал, что́ должно занимать более всего затерянных в лесной глуши монахов, и, сказывая, словно развернул перед ними шитую дорогую парчу, живописуя и град Константина на холмах, и виноградники, и каменные дворцы, и море, и многочисленные святыни великого города. Понявши немую просьбу Сергия, не обошел и общежительное устроение тамошних монастырей, после чего заговорил об ином — о спорах и сварах греков между собой, о турках, захвативших Вифинию, о трусе, свидетелем коего был он сам, когда земля сбивает с ног и дома разваливаются, точно кучи пересохшей глины, о Галате, о фрягах и франках, о развалинах Большого дворца рядом с Софией, о борьбе Алексия с Романом, торговле должностями и подкупах... Сам не думал Станята, что таково складен получится у него рассказ!

Потом, когда он кончил, еще долго все сидели немые, очарованные и встревоженные зримою гибелью великого города, который для многих был до сей поры почти сказкою или сказанием из житий, вечным городом, с которым ничто никогда не может случиться, как не ветшают и не гибнут волшебные, небылые города...

Сергий повел его ночевать в свою келью; уже когда помолились на ночь и улеглись и погасили, опустив в воду, последний огарок лучины, Станята негромко окликнул Сергия, решивши вопросить наставника, ежели тот восхощет сего.

— Отче! — позвал он в тишине. И, почуяв Сергиево одобрение, продолжал, приподнявшись в темноте на локте с твердого ложа (спали они с Михеем прямо на полу на расстеленных кошмах): — Скажи мне, почто таково? У греков словно бы и всего поболе, чем у нас: и народу, и мастеров добрых, и ученых мнихов, и доброй славы старопрежней, и богатства еще есть немалые,— дак почто не возмогут они себя хотя от турок опасти? Наши бояре тоже немирны между собой, дак как-то по-иному словно!

— Думай, Леонтий! — протяжно отзывается Сергий, называя Станьку его христианским, крестильным именем.

— Скажешь, отче, основа всего в духовных силах, а не в богатств стяжании? — догадывает Станята.

— Возможет народ сам себя принудить к подвигу,— строго возражает Сергий,— воскреснет еще и не в толикой беде! Не возможет — не помогут ему ни ученость, ни богатство, ни множество людское...

— А мы?!

Сергий, почуялось, чуть улыбнулся в темноте, отмолвил вопрошанием:

— А ты, Леонтий, како сам о себе — возможешь?

Станята, подумав, отмолвил осторожно:

— Владыка Алексий, мыслю, был доволен мною! Многажды и сам об этом говорил.

— Вот, Леонтий! Ежели каждый возможет хотя посильное ему совершить и свершит, то воскреснет Русь. А ежели сожидать иншего спасителя себе, как по рассказу твоему ныне у греков, то не помогут ему ни митрополит Алексий, ни троицкий игумен Сергий!— Он еще помолчал и докончил: — Пока не свершены деяния, коими определит грядущее, до той поры и неможно предсказать будущую нашу судьбу! Мыслю землю языка нашего способною к подвигу, а что свершим — ведает токмо Господь! Спи, Леонтий, из утра охлупень подымать!

Станята уезжал к вечеру второго дня, все еще переживая — в плечах, в руках, в веселой дрожи всего тела,— как двигалось, медленно отрываясь от земли, неохватное бревно, как трещали, прогибаясь, по́каты, как, зацепивши за свес крыши, долго не двигался охлупень и даже едва не поплыл вниз, как, наконец, подоткнув вагами, вздернули и, тяжело оборачиваясь, бревно поползло в веревочных петлях вверх по кровле, и как принимали, и как сажали, выдирая одно за другим долгие ужища и потом выбивая клинья, приздымавшие охлупень над коневым бревном... И как он сам, выбивши последний клин, озорно шел, ликуя, по охлупню и холодный ветер задирал ему рубаху и развеивал волосы, остужая разгоряченное и счастливое чело, и далеким-далёко виднелось сверху — до окоема, до края небес, словно вся московская, укрытая лесом земля простерлась у него под ногами!

«Выстоим, выстанем! Не греки же мы! — пело у него в душе.— И Сергий прав: не баять, а делать, творить надобно! Тружающему воздается по трудам, а подвижнику — в меру подвига! И, верно, у народа, у всякого языка сущего, так же как и у всякого смертного, есть молодость и старость, и то, что возможет

народ на заре своей, уже не возможет на закате дней. Так, должно, у греков закат, а у нас — заря?»

И, думая так, так надеясь, был он счастлив, как в разговоре с Сергием. И думал и гордился, пока не притекло в ум, словно облако, омрачившее весенние небеса: «А Литва, а Ольгерд? Какую хмурь пригонит из далекого далека холодный осенний ветер? Какие испытания еще ожидают Русь?»

В самом конце ноября дошла весть о смерти старого суздальского князя. Наследник Андрей Костянтиныч уехал в Орду за ярлыком.

Зимой Алексий деятельно объезжал епархии, налаживал хозяйство митрополии, расшатанное за два года его недогляда, заставил новгородцев выплатить задержанный бор, посещал князей, строжил бояр, властно вмешиваясь в дела соседних княжеств.

Чтобы до времени поладить с Литвой, решено было выдать дочь Ивана Иваныча, десятилетнюю девочку, за сына Кориада, брата Ольгерда. Из Литвы и в Литву скакали послы, и Шура Вельяминова деятельно собирала и готовила приданое для дочери.

Иван Иваныч слушался своего решительного наставника во всем и хоть тем облегчал непрестанные труды настырного русского митрополита. Они как бы поменялись местами: митрополит карал и строжил, князь же прощал и миловал.

Святками юную невесту отправляли в Литву. В возрожденном Кремнике кипела праздничная суета. Литовские послы в долгих корзнах и островатых шапках своих горячили коней. В узорные сани грузили сундуки и укладки. Невесту под колокольный звон выводили с красного крыльца разнаряженную, в собольей шубке и жемчугах, к расписному княжескому возку, а она глядела круглыми от страха и любопытства глазами, немножечко гордясь, что за нею приехали все эти большие мужи в богатом платье на разукрашенных конях, и еще не понимая, что навсегда прощается с отчим домом.

Посадские бабы, сбежавшиеся в Кремник, тоже разряженные, в красиво отороченных мехом, вышитых разноцветными шелками и шерстью шубейках, в узорных валенках, в праздничных повойниках, самшурах и рогатых киках, вышитых золотом и серебром,

замотанные кто в пуховые, кто в узорные, из рисунчатой тафты, платы, концы которых за спиною свисали почти до земли, стройно и громко запевали славу будущей молодой, кричали приветное.

Все было пристойно и прилепо: и захлопотанный Иван Иваныч в праздничной сряде на крыльце, и Шура, вся в золоте, гордо поджимающая губы, и верхоконные Вельяминовы, все четверо, в бобровых опашнях, бархате и серебре, и спесиво поглядывающий на противника Хвост на долгогривом коне под шелковою попоною с бухарским бирюзовым седлом, и клир церковный, и Алексий в торжественном облачении, благословляющий юную княжну,— все являло вид полного княжеского благополучия и должно было (дай-то бог!) помочь оттянуть, задержать подольше неизбежную и страшную ныне для Москвы сшибку с Литвой.

В начале поста умер ростовский владыка Иоанн, и Алексий ездил в Ростов рукополагать на епископию своего ставленника Игнатия. В исходе зимы он поставил другого своего подручника, Василия, епископом в Рязань.

В Рязани были большие торжества, сам князь Олег присутствовал на поставлении нового епископа и имел затем встречу с Алексием и долгую беседу, в которой между делами святительскими изъяснено было, что московское правительство не вступается в Лопаснинские волости, но и Олег обещает поддерживать мир со своим соседом «без пакости». Большего пока в Рязани Алексий не мог совершить.

Зимою, и тоже побывавши на месте, в Смоленске, Алексий рукоположил епископа на смоленскую кафедру, Феофилакта, и добился обещания от князя не вступать в союз с Ольгердом противу Москвы. И, уже воротясь из Царьграда, рукоположил игумена Иоанна епископом в Сарай. Четыре новых епископа были поставлены им в единое лето, и теперь Алексий мог твердо сказать, что все епископии Владимирской Руси, кроме тверской, находятся в его полной воле.

Знал Алексий, ведал и по опыту и разумом своим постиг то, что зачастую забывают правители при назначениях на должности: то, что надобен прежде всего на месте любом муж смысленный, добрый хозяин и разумный, уверенный в себе делатель. Что ничтожный, хотя бы и преданный внешне, управитель навредит

еще более, чем открытый враг. Навредит неумелостью своею в делах, навредит неспособностью решать самому потребное, навредит из тайной зависти, которую всегда имеет бездарность к таланту, и потому в час испытания всегда изменит, отшатнет, погубит благодетеля своего. Посему и отбирал и ставил Алексий всюду мужей смысленных, могущих самостоятельно решать дела правления и преданных ему не слабости ради, а по твердому сознанию и смыслу служения своего.

Думал ли он в те поры о западных епархиях? Ведал ли, что медленно, но неодолимо накладывает на них тяжкую десницу свою Ольгерд?

И знал и ведал, конечно! Но когда-то, еще во младости, понял, постиг Алексий (и было ему искушение, и тогда он целый день без хлеба и пития провел в лесной тишине на берегу Москвы, следя восстающее, а потом низящее солнце и долгие тени на зеленой вечерней траве, и, не шевелясь, лишь крепче натягивая на плеча монашескую сряду свою, думал и думал), что Киевская Великая Русь умерла и что грядет новая Русь, рождается в муках иной народ, и ей, этой новой Руси, уделял он с тех пор все силы свои и старанья. Ибо знал: из семени прорастет росток, из ростка — древо, а кроною древие то накроет и те края, где ныне запустение духа и угнетение веры православной. И всю борьбу за единство митрополии с Феодоритом, а теперь с Романом (и всегда — с католиками и Литвой!) вел он ради одного: дабы охранить росток, прозябнувший на землях владимирских, дать ему вырасти и укорениться, и корень ростка сего мыслил в земле московской совсем не ради того, что был сыном великого московского боярина Федора Бяконта, и совсем не потому, что семья его связала судьбу свою с московскими Даниловичами. Трудно это постичь и поверить трудно, но видел Алексий иное, важнейшее, и ради того, иного, не пожалел бы и Московской волости, кабы это занадобилось русской земле. Но видел, чуял: Новгород уже не возможет ничего, Тверь неостановимо сближается с Литвой и никогда не сумеет поладить с Ордою, а потому возможет и погубить все дело языка русского. (И видел, и сомневался в молодости своей, и, иская спасения мыслям, прибегал к покойному митрополиту Петру, первым поверившему в град Московский, и зрел теперь

правоту святого Петра, и верил, свято верил уже в правду собственного выбора.) Суздаль, подымавшийся у него на глазах, еще менее мог перенять тяжкое дело Москвы, и не Рязань, конечно!

Весною, все силы на то положив, сумел Алексий призвать в Переяславль нового суздальского князя Андрея и уговорить его подписать ряд с Иваном Иванычем, теперь уже на правах младшего брата великого князя владимирского. Обласкав и всячески одарив, Андрея отпустили домой.

Так Суздаль был трудами Алексия вновь укреплен за Москвою, чем обеспечивался мир и ратная помочь суздальских полков, а значение Москвы и московского князя укреплено и поднято в земле владимирской.

Но оставался Ольгерд, язычник, хотя и крестившийся когда-то ради приобретения новых земель, оставалась растущая неодолимая Литва, с которой чуялся долгий спор и за спиною которой вставали римские, католические прелаты, с победою которых не только хитрость книжная переменит себя, но и всякая память о прошлом великой страны погинет, исчезнет, уничтоженная бестрепетною рукою во славу латинского креста, и погибнет Русь. И тогда погибнет Русь всеконечно! Это знал тверже греческих богословов и витий, знал славянским смыслом своим. И потому еще, вслед святому Петру, сдерживая изо всех сил Ольгерда и всячески мешая разделению митрополии, растил росток.

Да! Перетягивая митрополичий престол во Владимир, ставя епископов, укрепляя здешние владения церкви прежде всего, покупая в Цареграде иконы и книги для своих владимирских обителей и церквей, хлопоча о том, чтобы Сергиева пустынь стала поскорей наследницей лавры Печерской-Киевской, утверждая новые и новые монастыри на Москве, уча и наставляя и прямо теперь взявши в руки княжеские заботы вместо Ивана Иваныча, Алексий растил росток, лелеял древие плодоносное. Так понимал сам. И тому же учил других.

А тучи сгущались, беда бродила вокруг, прикидываясь нестроениями в Муроме, где Федор Глебович выгонял Юрия Ярославича из города и одолел-таки в ордынском споре перед судом хана; беда стучала в вóрота Брянска, где утвердился было на столе князь

Василий, вступивший в Брянск, но умерший всего два месяца спустя. И тогда в вечевых смутах весь город передрался и запустел, великие бояре да и многие из посадских бежали вон, и — уже во время отсутствия Алексия — к Брянску подступил Ольгерд, только и дожидавший, когда зрелый плод сам упадет ему в руки... Беда нарастала неурядицами и на далеком юге, откуда в Орду прибежали ходоки из Персии, моля Джанибека вмешаться в дела гибнущей страны, и Джанибек с огромным войском, покрывши землю сотнями тысяч коней, двигался теперь через кавказские проходы в Азарбайджан, где жадный Ашраф, сумевший ограбить своих сограждан и не сумевший на награбленные сокровища нанять хотя бы наемную рать против золотоордынского хана, ожидал его с немногими преданными войсками недалеко от Тавриза, и дождал, и был наголову разбит ордынскою, все еще неодолимою конницей...

Беда разразилась, наконец, известиями из Константинополя. Роман выклянчил-таки, выпросил, улестил и купил себе у переменчивых греков сан митрополита Руссии, и надобно было срочно, бросая все дела, ехать, плыть, лететь в Цареград, разбрасывать вновь трудное русское серебро переставшим понимать уже что-либо жадным и слепым грекам, судиться и спорить, отстаивая перед новым патриархом звание свое, владимирскую митрополию, а с нею — все дело новой Руси.

Раннею осенью Алексий опять устремился в Константинополь.

В очаге медленно вращался вертел с нанизанною на нем целою тушею матерого вепря. Горячий сок с шипением падал в огонь.

Человек с высоким, слегка уже облысевшим лбом и большой серою бородою, в домашней холщовой сряде, но с узорным серебряным поясом на чреслах, сидел за темным дубовым столом и, изредка взглядывая в огонь, читал грамоты. Одиноко стоял перед ним узкогорлый, восточной работы, кувшин с простой водою и чара. Больше ничего не было на столе. Человек работал. Слуга, рослый литвин, с опаскою заходил в каменную сводчатую палату, стараясь не шуметь, притворял дверь и, совершивши потребное — подкинув

дров, поправив огонь, проверив вертел, который вращался сам от тяги в трубе,— так же тихонько выходил на цыпочках вон из покоя.

Ольгерд тогда отрывался от грамот и холодными голубыми глазами глядел на холопа, пока тот не выйдет. Потом, не сделав движения даже бровью, опускал глаза к грамотам. Русский язык Ольгерд знал очень хорошо и не нуждался в толмаче, тем более — в лишнем свидетеле и возможном соглядатае.

За низкою деревянною дверцею позади стола послышались шаги княгини, спускавшейся по крутой и узкой потайной лестнице в толще стены. Скрипнула дверь. Ульяна в легком шелковом долгом голубом саяне и летнике с завязанными на спине рукавами сверх него, тоже шелковом, темно-зеленом и сплошь шитом травами, наклонив голову в высоком очелье, вступила в покой. В руке у нее был византийский глиняный светильник, в горлышке которого вместо масла с фитилем торчала вставленная свеча. Она остановилась перед ним, поставя свечу на край стола, и, слегка оробев, как всегда, когда находила супруга за работою, уронила руки.

— Вечером со мною будет пировать дружина! — сказал Ольгерд, чуть помедлив и смягчая смысл слов едва заметной улыбкою.— Ты ужинай одна с детьми, помолись и ложись спать!

Огорчение столь явственно прочлось на лице юной княгини, что Ольгерд почувствовал себя обязанным сказать еще что-нибудь. Ульяна Тверская была хорошей женою, верной, заботливой и послушной.

— Тебе поклон от князя Всеволода! — произнес он, и голубые глаза его огустели синью и наполнились золотистым теплом. Ульяна вспыхнула, приоткрыла рот, обрадованная хоть такою вестью с родины. Прошептала:

— Как они там?

Ольгерд пожал плечами. Выговорил, задумчиво глядя в огонь:

— Дядя Василий отбирает у Всеволода тверскую треть!

Он, про себя, не понимал русских князей. В семье не должно быть споров! Достаточно врагов снаружи! Дядья и братья обязаны помогать друг другу, как помогает он Любарту с Кейстутом, иначе не стоять земле. Тверскую волость скоро сожрет московский или

суздальский князь, и будет прав! Впрочем, со смертью Симеона на Москве не осталось никого. Разве этот Алексий... Легкая судорога тронула его все еще румяное, продолговатое, крупноносое величественное лицо. Алексия, пожалуй, надобно было уморить еще в Цареграде!

— Папа Иннокентий вновь предлагает мне и Кейстуту принять римское крещение! — сказал он и усмехнул недобро.

— Они тебя погубят, Ольгерд! — почти выкрикнула Ульяна, крепко ухватя руками край стола и вся покрываясь нервным румянцем.— Почему,— продолжала она с тихим упреком,— ты не примешь крещение от патриарха? Тогда и Русь и Залесье будут твоими!

(«Русь и так скоро будет моей!» — подумал Ольгерд, но вслух не высказал ничего.)

— Не вступай в мужские дела, жена! — ответил он мягко Ульяне, примолвив: — И не страшись. Твоего супруга очень непросто обмануть даже и папе римскому!

Папе надобно было ответить так, чтобы он возможно дольше верил в согласие литовских князей креститься, а тем часом — укрепить Волынь. Но Ульяне этого незачем было знать. Он слегка привлек к себе ее податливое, трепетное тело, поцеловал руку выше запястья, решительно примолвив:

— Ступай!

И Ульяна не посмела более задерживаться в палате.

Ольгерд тогда разложил рядом три грамоты: послание Всеволода, в котором старался вычитать вот уже полчаса косвенное согласие на захват Ржевы, отчет брянского соглядатая о настроениях в городе и сегодняшнее известие о том, что митрополит Алексий уехал в Царьград, после чего стал думать.

Иван Иваныч сам по себе был, конечно, не страшен. Алексия, очень может быть, постараются по его просьбе задержать в Цареграде. Хан с войсками, по слухам, находится на пути в Арран. Грамота папе римскому задержит Казимира с Людовиком Венгерским от нежелательного удара в спину. Да, впрочем, соглашение с Казимиром о десятилетнем перемирии на днях подписано.

На мгновение возникла сумасшедшая мысль бросить все силы на Москву — но он отогнал ее. По пути оста-

вался неодоленный Смоленск, с юга — независимые Северские княжества. Даже ежели он изгоном захватит город, ему придется вскоре уйти из Московской волости, а там возмутятся владельцы мелких уделов, что сейчас сидят на своих княжениях, втайне ненавидя Москву, и он рискует, ничего не приобретя, потерять всех своих залесских союзников. Возмутится суздальский князь, восстанет Тверь, неведомо как поведет себя Олег Рязанский... Нет, нельзя было. Без прочного союза хотя бы с объединенною Тверью — нельзя! А грекам, как он понял слишком поздно, надобно было серебро. Тогда и русская митрополия уже теперь перешла бы в его руки! Нет, не страшен ему Алексий, тем паче — нынешний, уплывший в Царьград!

Патриарху надо написать еще раз о том, о чем он писал уже неоднократно: что московский митрополит небрежет западными епархиями, не заглядывает ни в Киев, ни на Волынь, что церковь изнемогла без верховного главы... И дать понять, что он, Ольгерд, только и ждет возможности присоединить Литву к престолу греческой православной церкви.

Кейстуту хорошо! Сидя в Жемайтии, можно гордиться тем, что ты литвин и язычник! А ему? Когда едва ли не все население его удела состоит из одних русичей... Охрани меня Перкунас от знака креста и всяческих попов — неважно, греческих или латинских! Молиться перед иконою в церкви пристойно женщине, а не мужу-литвину, коего охраняют жрецы-кривиты и главный из них — Криве-Кривейт и берегут вайделоты, хранители священного огня, который клянется на мече и приносит присягу над теплым телом только что поверженного быка, который сжигает рыцарей во славу огненного бога, до сих пор нерушимо хранящего Жемайтию от немецкой нечисти!

А папе должно написать сегодня же. И тянуть, тянуть сколько можно! В конце концов, перед ним сейчас лежали Ржева и Брянск, захватить их надо было немедленно! А воины пусть думают до поры, что поход будет на Волынь... Кому бы повестить об этом втайне, но так, чтобы через сутки уведали все?

Он аккуратно собрал грамоты. Поднял с лавки тяжелый, обитый железом ларец. Сложил туда грамоты и ударил в подвешенное близ стола серебряное блюдо. Звуки еще отдавались, замирая, под сводами, когда в палату протиснулся печатник. Ольгерд своим ключом

запер ларец и передал его молча печатнику из рук в руки, выразительно поглядевши тому в глаза. Взгляд был слишком красноречив, ибо лоб печатника разом взмок, и, прижимая к себе ларец обеими руками и часто кланяясь, он, пятясь задом, тотчас покинул палату.

Ольгерд еще посидел, подумал, следя, как безостановочно поворачивается тяжелый вертел, и, решив про себя окончательно, что начинать надо с Брянска, а Ржеву захватить изгоном, врасплох, минуя смоленские волости (и тотчас отослать о том тайную грамоту старшему сыну Андрею в Полоцк), кивнул слуге, повелев, чтобы накрывали на стол; потом крикнул мальчика и, опираясь на его плечо ладонью, слегка прихрамывая, покинул покой. К вечерней трапезе с дружиною следовало переодеться в княжеское платье.

Проходя галереей, он чуть задержался у окошка. Дубовые рощи еще стояли нерушимо, и только отдельные пятна старой бронзы среди темно-зеленой листвы возвещали начало осени. Ну что ж! Конница не попадет в распуту и не будет вязнуть на русских, непроходных по осени дорогах. А хлеб под Брянском уже убран, и ему будет чем кормить на походе людей и коней...

В окошко пахнуло влажным осенним ветром, и показалось, что уже заструилась дорога под копытами литовской конницы, и его караковый жеребец идет под ним, плавно сгибая шею, и косит, играя, глазом, и с притворною злостью грызет удила, и ветер осени дует в лицо, и радостен конский бег, приносящий всегдашнее ощущение возвращенной молодости. Он не любил своей хромоты и старости, мыслей о ней — не любил тоже. Впрочем, о последнем влюбленная молодая жена помогала ему забыть. Он втайне не любил и пиров, поскольку никогда не пил ничего, кроме воды, а потому с небрежением взирал на хмельных соратников своих. Но стремительный конский бег — любил и в седле молодел душою и телом. И лучшие, самые значительные победы свои совершал стремительными и внезапными рейдами конницы, равно пригождающимися в борьбе с тяжелыми немецкими рыцарями и с татарскою легкоконною лавой. Он даже никогда не осаждал подолгу и не захватывал в упрямых многодневных штурмах вражеских городов. Он громил, разорял и уходил и стремительно являлся вновь, пока

и города и княжества сами не падали к его ногам, то отдаваясь в лено, то принимая его воевод и сыновей на столы. Он с юности научился заключать выгодные союзы с владелицами лишенных мужского потомства уделов (первая жена принесла ему Витебское княжество), и сыновей ему надобилось много. Для того же самого — захвата уделов, упрочения власти. И потому еще, что она рожала сыновей, Ульяна была хорошею женой.

Да, конечно! Всеволод не вступит в дела Ржевы и помешает вступить дяде Василию. А Иван Иваныч... Ржева — это верховья Волги, это путь по Селигеру к Новгороду, это граница Твери. Это постоянная угроза Волоку Ламскому и дорога на Можай, который ему в тот раз, при Симеоне, не удалось захватить. (Не удалось, ибо поспешил. Пошел к Можаю, не взявши Ржевы и не укрепив ее за собой!)

Все время, пока он с помощью слуги переодевался в праздничное платье, Ольгерд не переставал думать, поворачивая так и эдак, и уже понял, вешая на грудь серебряное княжеское украшение, что конницу надо двинуть отсюда сразу же после пира, в ночь, дабы немецкие соглядатаи не усмотрели числа уводимых дружин, а грамоту Андрею отослать тотчас, еще до пира. Вспомогательные отряды он будет забирать дорогою, не задерживаясь. (И на брянский стол посадит второго сына, Дмитрия!) Ольгерд поглядел в серебряное зеркало и усмехнулся своему отражению. Это даже и хорошо, что русичи немирны друг с другом! Иначе ему трудно было бы, опираясь на уже завоеванную Русь, подчинять себе прочие русские княжества, как он это делает теперь!

Предстоял пир. А в его ушах уже звучал согласный топот множества конских копыт, уже стремилась дорога, и ветер новых сражений овеивал ему лицо.

«Ты все взвесил, Ольгерд?» — строго спросил он сам себя, останавливаясь на пороге.

Кейстут — тот кидался в бой очертя голову, и не раз попадал в плен и бежал, и постоянно играл со смертью. Он сам никогда не совершал ничего подобного. Хотя и не был труслив. Зато захватывает удел за уделом и стоит сейчас, по сути дела, во главе всей Литвы.

«Ты все взвесил, Ольгерд?» — повторил он снова и, прикрывши глаза, перечислил все, что должен был

захватить, присоединив к Литве, ныне Ржеву и Брянск, следом — верховские княжества и Можай, затем — Смоленск и Киев, затем — Галич и ту часть Волыни, что сейчас в польских руках, затем Псков и Новгород, затем Тверь и наконец Москву. Рязань и Суздаль тогда сами попадут к нему в руки. И после всего — Орда. Или раньше Орда? И хватит ли на все это сил, лет, времени жизни? И какую веру придется тогда принять?

Это был тяжелый, доселе неразрешимый и раз за разом отодвигаемый им вопрос. Тут был и вечный спор с сыном Дмитрием-старшим, убежденным христианином, которого он нынче прочит на брянский стол.

Единая его попытка расправиться с христианами в Вильне привела лишь к появлению новых литовских мучеников, и больше он подобных попыток не повторял. Ульяна, как и Мария, его первая жена, свободно молится в церкви, имеет своего попа, строит храмы, жертвует на виленскую православную церковь... Католиков он не утесняет тоже. Две чуждые веры всегда безопаснее, чем одна. Верил ли он сам? Когда-то он попросту смеялся над верою, теперь мог бы сказать, пожалуй, что не знает. Вера живет традицией, обрядом, нерушимым преданием старины. Смена веры болезненна всегда и порождает во многих зачастую полное безверие. Ольгерд был человеком своего времени и верил в себя самого больше, чем в отвлеченного бога, будь то Перкунас или Христос. То была его беда и судьба. Будущего Ольгерд, увы, не провидел, как и все смертные.

Алексий заставил его вновь всерьез задуматься о делах церкви. И поспешить со своим ставленником на митрополичий престол. Роман, полагал он, очень хороший противник Алексию. И теперь, под тяжестью литовского серебра, цареградские уклончивые весы склонились, кажется, в его сторону. Нет, и Алексий ему уже не страшен!

И вновь он услышал внутренним мысленным слухом глухой топот множества конских копыт. Где решает меч, там не перевесит уже ни сила креста, о которой постоянно толкует Ульяна, и никакие поповские бредни!

В августе Хвост вновь послал всех ратных на жатву своих хлебов. Никита едва вырвался, и то под конец

работ, по слезной просьбе Услюма помочь тому с уборкою урожая.

Дела у брата, и верно, были плохи. Рожь стояла неубранная и уже осыпáлась. Никита прихватил Матвея Дыхно и еще двоих своих ратных, и мужики впятером, не разгибаясь, за трои ден сжали хлеб, поставили в бабки и обмолотили бы, но пошли затяжные дожди и помощников пришлось отпустить. Никита с Услюмом принялись налаживать овин.

— Чего столько земли набрал, коль одюжить не можешь? — ругался мокрый Никита. (Услюм ныне распахал по выжженному новую росчисть.) — Да тут и допрежь тебя без холопов дел было не своротить нипочем!

Услюмова жонка, невысокая, невидная собою, бегала с выпяченным животом, виновато поглядывая на сердитого деверя, делала, что только могла делать баба в тягостях, которой вот-вот родить. («И дите-то не смог путем заделать, чтоб не под урожай с родинами-то!» — сердился Никита на брата.)

Овин все же накрыли, настлали жердевой настил, набрали смолистого корья, старых пней, сучьев. Дождь то проходил, то зачинал вновь. Возили с поля мокрые снопы. Услюм с телеги подавал их деревянными долгими тройнями Никите, а тот, кашляя и отфыркивая острую труху, тесно усаживал снопы стоймя на жерди в овине. Над первым рядом набивали второй, колосьями вниз, и так — до самого верху. Влезло шесть сот снопов. Когда затапливали, опять чуть было с отвычки не учудили, не подожгли хлеб, но, присыпав огонь дерниной, кое-как наконец справились. Густой горячий дым наполнил овин, начал выбиваться из-под куриц кровли. Ночью братья попеременки не спали, караулили огонь, сидели в яме, вздрагивая, словно задремавшие куры.

Перетаскавши первые снопы высушенного хлеба под кровлю житной клети, где расчистили место под ток, набивали овин снова и снова жгли старые корневища, сами заодно с хлебом коптясь в горячем едком дыму.

Рожь все-таки спасли всю и даже обмолотили. Одну только высокую, загодя сметанную скирду оставили на поле до снегов.

Уже под самый заморозок убирали огороды, рвали репу. Услюмова жонка, сидя на крыльце с расстав-

ленными коленями, на которые был уложен огромный живот, неутомимо вязала лук в долгие плети, чтобы повесить потом в избе рядом с печью. Капусту свалили в погреб, и Никита порою дивил сам себе: порешивши бросить все это, он нынче работал так, как никогда допрежь, и ведь не свое уже, братнино! Видно, заговорила на возрасте отцова кровь.

Вечером, уже в сутемнях, забирались в избу, жрали дымное варево, спроворенное Услюмовой бабой. Услюм сказывал про свои нелады с пчелами: как его всего на роевне обсел медведем пчелиный рой, как в другой раз рой улетел в лес, на чужую заимку, и там сметался в дупло, и потом они долго спорили с соседом, чьими теперь считать пчел. Услюм завел пасеку только-только, многого еще не умел, и ему все было внове. Пчелы роились у него в нескольких бортных деревьях, в лесу, а отсаживались им в нарочито поставленные на росчисти дуплянки с узенькими летками для пчел. Одну дуплянку брат даже вырубил в виде смешного толстого уродца-лесовика с густою бородою, и пчелы выныривали у него из-под кромки усов. Дуплянки были пока еще новым изобретением, еще далеко не всем нравились, и Услюм гордился, что сразу начинает с них, а не со сбора дикого меда по бортям, как повелось исстари...

В деревянной чаше лежали ломаные куски сотов с медом. Оба, Никита и Услюм, изредка протягивая руку, отламывали кусок, начинали жевать, сплевывая воск, а подчас и случайную пчелу, попавшую в рот вместе с сотом. Трещала лучина. Сопел малыш в зыбке. Услюмова баба, пристроясь с прялкою на лавке близ светца, смешная со своим выпяченным животом, пряла шерсть. Накрапывал теперь уже нестрашный дождь, вздыхали коровы в хлеву, изредка глухо топали по бревенчатому настилу конюшни его и Услюмов кованые кони. И было тихо, так тихо, словно бы и невзаправдошно, как никогда не бывает тихо в городе. Тихо и мирно. И Никита, прожевывая мед, мгновеньями вдруг остро чувствует, понимает своего брата. И только уж чтобы как-то помочь не помочь, а хоть показать, что он старший в роде, предлагает:

— Хошь, в княжеские бортники тебя запишу? Полтора пуда меду сдашь на кажный год, и никаких тебе боле даней-выходов, ни корма с тебя, ни повозного, живи сам себе великим бояриным!

Услюм, прищурясь, глядит куда-то мимо него. На молодом лице брата со светлой смешною бородкою уже крепко легла печать всегдашней крестьянской озабоченности. Он отдыхает. Хлеб спасен с братнею помочью, и, значит, спасен год, а вдругорядь он станет умнее и не затянет так со жнитвом, наймует баб, обернется как ни то, а там — на новой росчисти хлеб родит хорошо — выйдет в статочные хозяева, и мед... С медом много можно совершить, коли с умом! А пчелы есть, стало, и гречиха родит добрая... А княжеский бортник — он уж в себе не волен. Пчелы хошь и погибнут, а мед давай! Стало, все брось и броди по лесу хошь за сколь ден пути! Хошь в заокские леса подавайся, а разыщи борти, достань, да принеси, да чтоб был чистый да белый! И тут уж свое хозяйство хошь и порушь в ину пору! Бортники тоже... Медом, конечно, живут...

И чуялось, что держит брата пуще всего эта вот тишина, и дымный избяной уют, и эта кубышка-жена, что прядет неутомимо и будет соваться и делать до последнего, и утром того дня, как ей родить, еще сумеет истопить печь и сварить щи, а там созовет соседку-повитуху и, едва опроставшись, час какой отлежав на лавке, снова примется хлопотать, и прясть, и варить, и доить коров, и обихаживать детей и мужа. А он, отдохнувший после страды — а только и слава, что отдохнет! — к завтрему достанет загнутые по весне полозья и начерно вырубленные копылы и станет мастерить новые дровни, чтобы успеть до снегов, а там чинить сбрую, а там мочить и мять кожи, а там... Да мало ли дела у мужика на кажен день, кажен час, так что, хошь и слушая сказку али бывальщину, не перестает он то вырезывать какую посудину, то сучить дратву, то подшивать валенок или заплетать лапоть — лишь бы работа шумом своим не мешала рассказу.

— Матку-то не возьмешь себе из города? — спрашивает Никита вдругорядь. (Матка, поди, и сама не поедет к Услюму!)

— Ейная! — кивает на жену Услюм.— Ейная матка ладила к нам! Как, грит, второго родишь, дак я и приеду бабить да нянчить!

— А теперя и сестры созывают ей к себе! — подает голос жена.— Дак и не ведаем, будет ле!

— Девку бы взяли!

— Да и придет взять! По весне дак уж непременно! — поддакивает Услюм.

Спать мужики отправляются на сельник. Здесь, на грудах свежей соломы, застланной кошмами, под овчинной курчавой оболочиной, в легком, без дымной горечи, воздухе, где чуть тянет рассолом от кадушек и бочек с заготовленною на зиму овощью и грибами, еще не спущенными в подклет, легко было и лежать, переговаривая вполголоса, и засыпалось легко.

Услюм объяснял, как нынче будет по-новому ставить загату вокруг избы на зимние месяцы и как надо забивать ее соломой, чтобы совсем не дуло в щели.

Зимою, представляет себе Никита, нежась под теплою овчиной, Услюмова изба вся будет выглядеть, как омет соломы, а из него сквозь крышу и по застрехам станет сочиться дым. И еще одно думает, уже с тревогою, слушая горячий рассказ брата о своем сельском устроении: вот, оказывается, о чем мечтал все детство и юность молчаливый старательный парнишка, а совсем не о лихих сшибках да подвигах и — не промчать в опор на бешеном скакуне с поднятой саблею, а запрячь Гнедка в розвальни, вынести расписную дугу, да любовно надеть коню на шею кожаное ожерелье с колокольцами, да усадить жену с ребятишками, укутавши их полостью, да самому в тулупе, в кушаке красном важно тронуть со своего двора и потом гнать ровною хорошею рысью, любуясь доброй ездою, но и отнюдь не загоняя лошади, и чувствовать себя хозяином, работником, гордиться и конем, выращенным во своем стаде, и бочкою своего меда, что везет на продажу в город, где можно будет навестить родича, князева кметя, выпить с ним чару-другую доброго пива, переночевать да и опять домой, уже налегке, но с городскими покупками, из которых главные, кроме какого-нибудь браслета или нового плата жене да расписного пряничного коня сыну, будут опять же для дома, для хозяйства: новые обруди, два круга подков, да удила, да наральники для сохи, да кованые гвозди, да еще какой рабочий снаряд, который трудно, а то и неможно содеять самому или добыть у деревенского кузнеца. И в том будут Услюмовы гордость и утеха. До новой страды, до нового напряжения всех сил и свыше силы, только чтобы поставить сена, сжать и обмолотить хлеб, убрать огороды, вспахать и посеять озимое. А там опять ставить загату вокруг дома от

зимних вьюг, возить дрова, лес и сено с дальних покосов, да слушать гул леса и завывание вьюги в осиновом дымнике над дверью, да сказывать малому про домового да про овинника и разную другую лепящуюся к человеку добрую нечисть. Тихо вокруг! Тихо и темно так, как бывает темно позднею осенью, пока еще иней не выбелил черной земли и не высветлил убранные тусклые поля.

Услюм, Услюм! Вот ты сейчас свободный людин, хоть и нет у тебя несудимой грамоты отцовой, княжеский смерд, ну а попадешь к боярину? Там уже воля не своя! А у тебя самого — чья воля? — одергивает себя, возразив, Никита. Кому ты, свободный кметь, хлеб нонеча убирал за так, за-ради службы княжой, ратной справы да корма в молодечной? И в чем она, воля? И где она? И есть ли она? И нужна ли она вообще? При добром хозяине, что дуром не лезет не в свое дело, словно бы даже и не нужна! А право уйти, отъехать, оно есть у всякого, кто не холоп, кто не подписал обельной грамоты на себя...

— Жонка-то у тя старательная вроде! — роняет Никита. Услюм, пошевелясь — уминал погоднее солому,— отзывается, подумав, по-крестьянски обстоятельно и деловито:

— Не балована. Сызмладу братья да сестры, всех подымала, почитай, заместо матери. Баба, коли балована смолоду — хуже нет! Век будет всем недовольна, на все будет нос воротить: и то не так, и иное не едак! Я не на красу и смотрел. А работать — добра! Ныне с брюхом, дак не больно-то и побегашь, ну и сам берегу: скинет — себе хуже! А так она проворая у меня! В руках все у ей горит! — И по гордости в голосе Услюма видно было, что с бабою своей живут они душа в душу.

Оба замолкают. И опять наступает неправдоподобная деревенская тишина. Где-то в углу, мало не испугав, громко обрушилась из темноты кошка, и по короткому острому визгу почуялось, что поймала добычу свою.

— Одолевают мыши-то? — вопросил Никита.— Лонись жаловался, кажись!

— Не! — отозвался Услюм.— Кошку ныне достали добрую, всех, почитай, переловила!

И опять оба замолкают, ибо говорить не о чем, и хорошо так просто лежать рядом с братом и молчать.

Сон уже начинает одолевать Никиту. За стеною — сплошное сонное шуршание обложного осеннего дождя, вслед за коим подует холодный ветер, обсушит дороги, которые тотчас затянет по лужам тонким ледком, и пойдет первый, сперва еще робкий, пуховый снег, разом высветлив землю в лесу и в полях, и запахнет отвычной морозною свежестью воздух, и отвердеет земля, а где-то там, вдали, уже завиднеются Рождество, Святки, голубые снега, крещенские морозы, широкая Масленица...

Конский топот как-то и не почуялся вдруг пришедшей бедой. Может, просто кони обеспокоились во дворе? Но хлопнула дверь, сперва избяная, а потом и дверь сельника, пахнуло холодом из сеней.

— Спите, мужики? — окликнул знакомый голос.— Спите ай нет? — требовательно вопросил Матвей Дыхно, входя и — в темноте по слуху было понятно — отряхивая у порога мокрую одежу. Услюм уже бил кресалом, налаживая сальник.

Матвей, скинув вотол, шагнул к ним. От косматой мокрой бороды его шел запах коня и сыри.

— Слыхал, старшой? — выговорил Матвей заполошно.— Ольгерд Ржеву взял!

— Да ну?! — только и нашелся Никита, нашаривая сапоги.

— И Брянск повоевал, бают! — докончил Дыхно.

— А Хвост чего думат? — уже по-деловому вопросил окончательно проснувшийся Никита. Матвей плюхнулся на край дощатого ложа и длинно неподобно выругался.

— Нас наряжает на жнитво, будто мы и не ратные уже! Так етому борову и будем хлеб убирать, доколе всю волость Московскую Литва не охапит!

— Полки готовят? — сурово перебил приятеля Никита. Он уже обулся в сапоги и теперь натягивал зипун.

— Кто их готовит?! — взорвался Дыхно.— И слыху нет! Сперва Олегу простили, теперь литвину кус дадим... Дак ить хошь и все отдай — не облопается, падина, не треснет! — вновь взорвался Матвей.

— За мною послан? — уточнил Никита.

— Да и не посылали словно...— протянул чуть растерянно Дыхно.

— Ну, не посылано, дак ночуй! Утро вечера мудренее! Вали в избу! — приказал Никита, не сомневаясь,

что Услюм, только что покинувший сельник, уже распорядил и ночлегом и ужином.— Давай, заводи коня! И вотол просушишь до утра-то!

На дворе все так же с мягким шорохом опадал дождь, но уже не стало ни тишины, ни покою. И надобно было из утра скакать на Москву и сожидать ратной поры, и посвиста стрел, и сверканья мечей, и конных бешеных сшибок ради того, чтобы только охранить эту землю, этот покой и этот труд.

Москва вся ходила на дыбах. На улицах собирались толпы народа. То там, то здесь вспыхивали набатные колокольные звоны. До хрипоты кричали, спорили, ссорились на площадях и в торгу. Откуда-то из подмосковных слобод сами собой являлись наспех оборуженные, никем не званные дружины ратных. Все ждали Ольгерда. И Хвост, потерявшийся,— ибо, по самому здравому разумению, что же он мог сделать теперь, до думы боярской, до князева решенья, до соборного приговора Москвы? — стал вдруг и сразу ненавистен едва ли не всем и каждому. Вельяминовых останавливали на улицах, Василию Васильичу кричали: «Веди, не отступим!»

Иван Иванович, несчастный, растерянный, сидел, не показываясь, в своем тереме и не знал, что ему вершить. Дума наконец собралась, но опять не сотворилось в ней нужного единства, и, поспорив, покричав до хрипоты, вдосталь овиноватив друг друга, великие бояре московские не сумели прийти к единому твердому решению и, как всегда в таких случаях, постановили укреплять Можай и Волок Ламский, слать ко князю Василию Кашинскому о совокупной брани противу Ольгерда, слать к смоленскому князю Ивану Александровичу, дабы выступил, по прежнему докончанию, противу Литвы, но вообще — погодить и дожидать владыки Алексия из Царьграда.

Но Василий Кашинский, занятый грызнею с племянником, отвечать отнюдь не спешил, и Ольгерд, занявши Ржеву и оставя там гарнизон, благополучно ушел в Литву.

А меж тем Москва шумела и ждала и требовала от князя, бояр и тысяцкого решительных действий. Толпы приходили в Кремник, Алексея Петровича прошали взаболь, не предался ли он Ольгерду, и колгота

творилась страшная. Во все это разом окунулся Никита, как только они с Матвеем к вечеру следующего дня въехали в Москву.

— Ай с порубежья? — окликнули их на улице, едва они, мокрые и усталые, миновали первую заставу. Никита приотпустил поводья, и тотчас вокруг двоих верхоконных ратников сгрудилась толпа.

— Не с Можая?

— Как тамо, Ольгирда не чают ищо?

Никита объяснил, что сами не ведают — с тем же самым прискакали в Москву. Толпа разочарованно расступилась.

— Прошайте тамо, мужики! — крикнули им вслед.— Може, пора добро хоронить да самим в лес тикать, пока нас тута литвин всех не полонил?

Кремник гудел, как улей на роении. В молодечной стоял крик и шум. Кто-то кого-то хватал за грудки, бранили и защищали Хвоста.

Припоздавшие Никита с Матвеем смотались на поварню, где им налили по мисе простывших щей, и тотчас по возвращении в молодечную Никиту облепили свои кмети:

— Ну, што речешь, старшой?! Заждались тебя! Уж тут, по грехам, и сшибка вышла!

Разглядывая свежие синяки под глазами и на скулах у того, и другого, и третьего, Никита, осклабясь и поплевав сквозь зубы, вымолвил негромко:

— Ну, сказывай кто ни то, чего наозоровали без меня тута?

Ратники закричали было, но Никитины: «Ну, ну, ну, еще! Вали все подряд!» — отрезвили наконец многих.

— В сторожу пойдем, тамо и поговорим! — так же негромко докончил он и пошел и, оборотясь, примолвил, сузив глаза:

— Пороть вас надо, олухов!

Мокрую одежу они с Матвеем разложили на печи, сами залезли на полати. Тут гул молодечной и сумрак закрывали их от лишнего глаза пуще всякого нарочитого уединения. Скоро к дружкам пробрался и Иван Видяка. Конопатый рассказал шепотом, что произошло вчера, пока не было Матвея.

— Дак пошто и нас ждать было! — выругался Никита.— Шли бы толпой к Василь Василичу на двор! Мать-перемать, коли Алексей Петрович не последний

олух, дак зашлет всю нашу шайку теперь за Можай, в порубежье, там и будем прокисать до скончания дней!

— Как же теперь, старшой! Погорячились робята, нельзя и их винить!

— Льзя! — кратко отверг Никита.— На дело шли али на болтовню сорочью?

— Все одно думай, старшой! — уныло повторил Видяка.

— Ладно! — сказал Никита, так-таки ничего не решив.— Давай спать, утро вечера мудренее!

Утром он сам явился к Хвосту и, быв допущен, дерзко глядя в очи боярину, повестил, что по его вине — поскольку застрял в деревне и молодцы остались без догляда — вельяминовская братия взбушевалась, устроила драку в молодечной, и он теперь предлагает боярину, буде есть на то какие наказы от князя, послать его со всею приданною дружиною бывших вельяминовских ребят на рубеж, за Можай.

— Пущай, тово, охолонут! — примолвил он, чуть-чуть усмехнув при этом.

Хвост сопел, молчал, думал, порывался сказать, подносил руку к бороде, но и вновь опускал, выслушал все молча, отмолвил наконец:

— Верю тебе, старшой. Мне уже донесли, что не ты, а только...

— Дак на рубеж, боярин! — смело перебил Никита (опаситься было уже и не к чему, все одно — голова на кону).— Тамо хошь и неверны тебе, а одна дорога: либо служи, либо погибай!

— Сам-то как думашь? — вопросил Хвост, пристально и тяжело взглянув на старшого. И Никита, не опуская светлых разбойных глаз, легко отозвался, чуть пожимая плечьми:

— Дак што ж! Проверить не мешает молодцов! Застоялись, што кони. Пущай охолонут чуть. И под моим доглядом... Да и я сам под твоим доглядом буду, чай!

Усмехнулся в ответ боярин. Откачнулся на ла́вке:

— Ай и пошлю!

— Посылай! — готовно отозвался Никита.— Коней только надобно перековать, дак и то за пару дней справимсе!

Коней перековали. Справились. Срядились круто. Беда, осознанная, слава богу, всеми, сдружила пуще

удачи. Хвостовских соглядатаев вызнали и показали Никите на второй день. Вскоре один из них упал со внезапно понесшей лошади и был оставлен с разбитым бедром и вывихнутою рукою под Можаем, второго же «берегли» всю дорогу, и так хорошо, что во время всех серьезных разговоров он оказывался в самом нарочитом далеке от Никиты.

Ольгерд ушел, и узнавать им на осенних проселочных путях, в мертвых, засыпанных снегом лесах, под белым небом ранней зимы, было нечего. Следовало брать Ржеву так же быстро и нежданно, изгоном, как это сделал Ольгерд. Но на то не было ни должных сил, ни боярского разрешающего повеления. Промотавшись в седлах по пограничью, отощавши сами и приморив изрядно коней, поворотили в Москву.

Хвост встретил свою отощавшую сторожу и выслушал доклад Никиты с душевным облегчением. Меряться силами с литвином ему совсем не хотелось. Тем паче, пока его ратные мотались по рубежу, и еще одна пакость приключилась, о коей только-только уведали на Москве. Смоленский князь выступил-таки противу Ольгерда. Один, без московской помочи. И был, разумеется, разбит, потеряв многих ратных и, полоненным, племянника, князя Василия.

Так Ольгерд одним ударом сумел разрушить все сложное здание союзов, зависимостей, родственных связей, служебных обязательств, которыми Москва при четырех сменявших друг друга князьях все крепче и крепче привязывала к себе и Смоленск, и Брянск, и Ржеву. Сумел при этом и захватить в свои руки оба последних города с их волостьми, чего бы никогда не допустил Симеон Гордый.

Тут вот, уведавши последнюю беду, и сказал наконец Никита своим до предела измотанным и одураченным ребятам, что боярина пора кончать:

— При Семене Иваныче да под вельяминовским стягом мы бы счас не то что Ржеву отбили — и смолян бы не выдали, и из Брянска, поди, вышибли Литву!

Но на жадные вопросы ратных: «Когда?» — только пожал плечами:

— Стеречи надо! А дня и часу не скажу, не ведаю сам!

Меж тем подходило Рождество.

Человек, упорно решивший дойти до намеченной цели, с какого-то мгновения уже теряет власть над своими поступками и движется подобно камню, выпущенному из пращи.

Легко было бы сказать, что Никита действовал по прямому наущению, ежели не приказу Василь Василича, вдохновляемый обещанием награды, или из чувства служилой чести, обязывающей послужильца-ратника отдавать жизнь за своего господина. Мы знаем, однако, что это было не так.

Можно было бы догадать, что Никита избрал путь, с помощью коего надеялся, заслужив благодарность Вельяминова, обрести свою любовь. В это возможнее всего было бы поверить. Но только Никита как раз накануне роковых событий совершил то, что выказало его уверенность в мрачном для себя исходе задуманного предприятия, проще сказать — в собственной гибели. Так что разве уж посмертный венок героя получить надеялся он в глазах своей «княжны»?

Ненавидел ли он Хвоста столь слепо и бесконечно, чтобы решиться уничтожить злодея? Нет, не было и того!

Наконец, не сказать ли тогда, что Никита задумал совершить то, что он совершил, ради высокой идеи, ради спасения родины, как он мог полагать, глядя на творимые вокруг непотребства и грозную потерю волостей, захватываемых сильным врагом?

Но как раз глядя на все совершавшееся и совершаемое, не мог бы Никита никак прийти к подобному заключению. В бестолочи и бессилии Москвы виноват был прежде всего Иван Иваныч, единственный оставшийся в живых князь из родовой ветви Даниловичей. Но потому, что он был единственный, сменить его и заменить было решительно некем, и уповать осталось лишь на следующие поколения. Виновата была чума, унесшая ратную силу Москвы, а новые мальчики еще не выросли во взрослых воинов, и приходило опять же ждать. Виновато было и то трудноуловимое и непостижимое уму, что называлось учеными монахами-исихастами незримым током энергий, или просто энергией, которая или есть, или ее нет в людях и которой в ту пору пока еще больше оказывалось в Литве, чем в Залесье, отравленном некогда гибельною усталостью склонившейся к закату великой Киевской державы Рюриковичей и все еще не претворившем отраву ту, ту

зараженную кровь в вино нового московского возрождения.

Так могла ли судьба страны решительно поворотить свой ход из-за исчезновения одного человека? Хотя бы и занимавшего высокий пост!

Да, могла! Но, во-первых, спросим всегда: какой пост и с какими возможностями действования? Во-вторых, надобно спросить: а что творится в эту пору в стране?

Иногда для того, чтобы вызвать грозовой ливень, обрушить на землю горы воды, сотрясти гигантские массы воздушных стихий, достаточно одного слабого выстрела из пушки. Иногда! Но лишь в такую пору, когда великие силы природы находятся между собою в неуверенном напряженном равновесии, которое разрушить слишком легко. И только тогда! И судьба человека лишь в редкие миги столкновения высших сил может существенно повлиять на события. Хотя и может! Хотя, вместе с тем, сами-то события истории человеческой не людьми ли совершаемы? И мы опять же здесь говорим не о всяком деянии, но о деянии насилия, о сотворении правды неправдою!

Великий, не разрешенный доднесь и, возможно, неразрешимый вопрос истории! Ибо вовсе и всякий отказ от борьбы, от гнева, от ратного спора и битвы за правду свою приводит к победе иных, тайных и подлых сил, растущих в тиши и укромности, опутывающих жертву свою узами невидимыми, узами лжи и обманов, обязательств и повинностей, долгов и ссор, коварными тенетами, попав в которые, человек, как муха в паутине, постепенно теряет и силы, и веру, и права свои, и самую жизнь и только одно возможет сообразить, погибая, что его не зарезали, не пустили ему кровь, а бескровно удушили.

Великий вопрос истории! И вспомним, что о воинах, погибающих за родину свою, молятся как за праведников. Но то — ратный долг, святое дело обороны страны. А ежели враг — внутри, ежели враг — это свой? А ежели он к тому же, в свой черед, верит, что именно он прав, а ошибаются иные?

Когда подобные противоборства вырастают до неодолимости, то народ гибнет или перестает существовать как целое. Ибо в спорах и борьбе должен народ, язык, земля обязательно в конце концов выковать себе единство цели и смысла бытия своего и уже за него

всем миром бороться. И снова мысль проходит по страшному кругу и возвращается к тому, с чего началась· к праву отдельного человека самостоятельно решать оружием судьбы народа своего. Есть ли оно, это право, вообще в истории? Дано ли оно человеку? Раз дана свобода воли, значит — дано. Но ежели все начнут сами решать... И снова страшный круг, выхода которого на этом пути мысли никогда не будет, а возможно, и быть не должно, ибо человек — это всегда «мы» и никогда «я». И истинным будет лишь то суждение, в коем исходным рубежом размышлений становится не личность, но множество (обычно начинающееся с трех, отсюда и возникает «троичность» как принцип объективности истины).

Всей этой мысленной череды, разумеется, не было в голове у Никиты совсем. В голове, в душе и сердце у него царила полная сумятица. Он догадывал, чуял, что уже летит неостановимо, и только это одно ясно и понимал. А все, что творилось вокруг него, постигал уже смутно. Святочные празднества казались ему чудовищным бесовством. По улицам неслись нелепо разукрашенные сани с уханьем и криками, из дверей вырывались пиликающие и дудящие звуки, прыгали в сугробы какие-то существа в харях, с рогами и хвостами, блеяли по-козлиному. Водили медведей, ряженых и взаправдашних, и живые медведи тоже нелепо плясали на задних лапах, натягивали и снимали шапки с головы, стучали посохами и били в бубны.

Одетый мохнатым лесовиком, завесивши чело берестяною раскрашенною харей, пробрался Никита с шайкою ряженых в терем Вельяминова, долго плясал и блеял, переходя из горницы в горницу, разыскивая ее, и мало не испугал: ойкнула, когда страшнорожий лесовик схватил за руку и повлек за собой в темный угол и на сени. Понявши, кто с нею, она сама утянула его в укромную боковушу, пустынную в этот час, в ту самую, где они встречались когда-то впервые, в день смерти старого тысяцкого Василья Протасьича.

Никита откинул личину, властно приник губами к ее губам. Она поняла что-то, отстранилась, поглядела встревоженно и заботно. Долго сидели потом молча, и Никита сжимал ее руки в своих, и все не мог отпустить, и все не мог повестить то, с чем пришел нынче в высокий вельяминовский терем. Наконец отпустил и, не глядя на нее, не слушая ее слов (она

говорила что-то, о чем-то прошала), достал с шеи мешочек на кожаном гайтане, открыл, вытащил оттуда, стараясь не помять, драгоценные старинные серьги, те самые, дедовы, развернул берестяную скрепу и ветхую шелковую тряпицу, почти уже истлевшую, освободил два маленьких сиротливых солнца и вложил ей в потную прохладную ладонь. Она что-то продолжала баять, а он не слышал — как оглох. Только смотрел на нее. Наконец выговорил:

— Деда мово, Федора Михалкича! А ему княжна подарила тверская. За любовь. Вот! Дарю их тебе. Для тебя и берег всю жисть. Свидимся ли, нет, не ведаю. Може, и напоследях я с тобою, дак... Прими, словом!

Она глядела на него, продолжала глядеть, и слеза медленно скатывалась у нее по щеке.

— Ежели ты на худое решился...— прошептала.

Жестко усмехнул Никита, повторил: «Спрячь!» — и она, испуганно глянув ему в лицо, начала заворачивать было дареные сережки. Но вдруг остановилась, подумала и, сузив глаза, подняла руки, расстегнув, вытащила из ушей свои серебряные, отложила, а потом бережно вставила в розовые нежные мочки ушей Никитов подарок. Продела, повозившись с затвором, повернула ухо к Никите: «Застегни!» — и он, дрожащими руками прикасаясь к ее ушам, голове, шее — и от каждого касанья начинала кружить голова,— грубыми пальцами своими застегнул наконец крохотный замочек сережки. А она, вся заалев, вложила в ухо другую и опять, уже молча, повернулась к нему.

За этим делом и застал их обоих Василь Василич Вельяминов. Когда хлопнула дверь, Никита, понявший разом, кто вошел, все еще возился с сережкою. Он чуть вздрогнул (и она ощутимо вздрогнула), но не обернулся даже, пока не застегнул серьги. И тогда лишь откинулся на лавку, оглядев в полутьме покоя мрачный лик старшего Вельяминова.

Боярин стоял, фыркая, словно конь, перед этими двумя, что застыли на лавке, и не знал, что совершить, сказать, крикнуть, ударить ли... Сел наконец. Вымолвил:

— Здравствуй!

— Здравствуй и ты, Василь Василич! — отозвался Никита.

— Гляжу, обнова у тебя? — вопросил насмешливо Василь Василич, глядя на Наталью Никитишну.

— Никита подарил! — отмолвила она, вся заалев, но смело глядя в очи боярину.

— А у тебя отколь? — перевел Вельяминов тяжелый взгляд на Никиту.

— Родовое! — строго отмолвил тот.— Деда моево!

— А прикажу снять? — вопросил Василь Василич. Наталья Никитишна побледнела, потом вспыхнула.

— Ты поди, донюшка! — сказал Никита, назвав ее неведомо как сорвавшимся с уст ласковым именем. Встал, перекрестил Наталью Никитишну и при боярине, будто и не было того в горнице, привлек к себе и крепко поцеловал.— Иди!

Сам поворотил к Вельяминову и уже не глядел, пока за спиною не захлопнулась (не вдруг) тяжелая дверь. Тогда лишь сказал:

— Мой дедушко, Федор Михалкич, дарственную грамоту на Переяслав привез князю Даниле Лексанычу. Вот! Был доверенным человеком у князя Ивана Митрича, самым ближним! И у князя Данилы был в чести. Без еговой помочи полвека назад и Акинфа Великого под Переяславом не разбили бы! И серьги те получил дедушко мой во Твери, от сестры Михайлы Святого! Не советую тебе, боярин, снимать тех серег! Погину я коли, тогда сватай! Неча ей во вдовах сидеть! А серьги — не тронь, понял, Василь Василич? Може, и с тобою я толкую напоследях, а только — помни о том!

Никита пошел было к двери.

— Куда ты? — окликнул его Вельяминов.— Поймают! Сядь, тово!

— Сделай, боярин, чтоб не поймали. Тебе же лучше! — возразил Никита, останавливаясь, но не садясь, и вопросил в свой черед:

— Сюда-то почто пришел, донесли, поди?

Вельяминов кивнул головою, повторил тише, просительнее:

— Сядь, Никита, поговорить надо с тобой! Али я не ведаю чего...

— Не ведаешь, боярин! — перебил его Никита, все так же не садясь.— И не нать ведать тебе! Мое то дело! Услышишь когда, знай: Никита Федоров совершил. А и тогда молчи!

Вельяминов смотрел на него понурясь, словно бы гнев, молча истаивая в нем, обращался в великую смертную усталость. Совсем уж не по веселому нынешнему празднику. Поглядел в очи бывшему своему

старшому просительно и скорбно. Попытался пошутить с кривою усмешкой:

— Баешь, не надо тебе и смерти торопить, сам найдешь, старшой?

— Сам найду! — серьезно отмолвил Никита.

Вельяминов повесил голову, глянул исподлобья:

— Ты меня прости за то сватовство!

— Уже простил, боярин, не то — не было бы меня здесь! — твердо отозвался Никита и, постаравшись смягчить, сколько мог, голос, присовокупил: — Прощай, Василь Василич! Коли што, и ты меня лихом не поминай!

Вышел, едва не забывши накинуть берестяную харю на лицо.

В покой тотчас засунулась весело-готовная рожа стремянного, глазом поведя, извивом брови показав: мол, надобно взять бывшего старшого, дак возьмем немедля!

Вельяминов взгляда не принял, поманил пальцем. В недоуменно вытянувшуюся морду ратника поглядев угрюмо и тяжело, показавши тому перстом на лавку, молча сесть приказал и только одно вымолвил погодя:

— Охолонь.

Святки кончились. Минуло Крещение. Кмети, взостренные Никитою, недоумевали: чего медлит старшой? Но Никита уже не медлил — ждал. Он не имел права отправлять на плаху всю свою ни в чем не виновную дружину.

Один раз не сотворилось по дороге в Красное. Другой — едва не совершило на Воробьевых горах.

Третьего февраля Хвост надумал отстоять заутреню у Богоявления. Никита со своею дружиной был как раз в стороже, и его словно стукнуло что по темени: теперь!

К Богоявлению подъехали в разгар службы, столпились за оградою. Никита глянул — четверо молодцов хвостовских, с коими тот никогда не расставался, были в церкви.

Никита, стянув шапку и перекрестясь, полез сквозь толпу. В жарком от люду каменном нутре церкви было не пропихнуться. Облаком плыл ладанный дым. Гремел хор. Никита, не обращая внимания на недовольные взгляды, тычки и щипки, долез-таки до боярина. Как

вызвать его одного на улицу, сочинил на ходу. Единственный сын Алексея Петровича (и, как единственный, забалованный боярином вдосталь) был яровит до жонок, и на этом-то, пробираясь сквозь толпу, и решил сыграть Никита. Пристроясь у локтя боярина — тот недовольно повел глазом, узнал,— Никита шепнул:

— Грех, батюшка, у Василья твово с бабою. Мотьку порезал, кажись! (С кем из дворовых спит молодой Василий Хвост, знали, разумеется, все ратники.)

Хвост побурел. Вращая глазами — не услыхал ли кто? — воззрился вокруг, а Никита тем часом, прямо и озабоченно глядя на царские врата, подсказывал:

— Не зови никоторого! Замажем. Я с верными ребятами, конь у крыльца.

Хвост, махнувши своим — оставайтесь, мол! — начал протискиваться к выходу. Все остальное совершить было уже полдела.

На паперти Хвоста подхватили под руки Матвей с Видякой. Живо подвели боярского коня. Скоро, расталкивая нищих, несколько верхоконных устремились в сторону Кремника.

Хвост было хотел что-то спросить (путь к его терему, на Яузу, лежал совсем в другой стороне), но Никита — ему уже сам боярин почти перестал быть интересен, важнейшее теперь стало: не увидел бы кто! — лишь отмолвил сквозь зубы, не поворачивая головы:

— Надо так!

У лавок, под высокою амбарною стеною, приодержали коней. Догонявшие их ратники Никитиной дружины сгрудились вокруг.

Никита плотно подъехал к боярину и молча обнял его за плечи левой рукою, правою доставая длинный охотничий нож. Улица была пустынна, весь народ в эту пору был у заутрени.

Боярин, еще ничего не понимая, вскипел, вцепился правою дланью в руку Никиты, мысля сбросить ее с плеча и закричать, но Никита, уже обнаживший нож, коротко размахнулся и вонзил его боярину в ожерелие близ горла по самую рукоять.

Алексей Петрович прянул, разом теряя силы, оборотил недоуменный, вытаращенный взор к Никите, прохрипев:

— Изменник!

Он еще силился освободить плечи, бился в руках.

И Никита, вытащив нож — кровь сразу хлынула с бульканьем, заливши всю грудь боярину,— не расцепляя зубов, отмолвил: — Не изменник я! С тем и поступил к тебе, штоб убить! — И, рванув тучное тело Хвоста за шиворот к себе, чтоб было погоднее, вновь погрузил нож по самую рукоять, в этот раз достав сердце.

Алексей Петрович захрипел, померк взглядом и стал валиться с коня, которого двое ратных едва удерживали под уздцы в эти мгновения. Не сговариваясь, Никита с Матвеем подхватили боярина со сторон и так, тесно сблизив коней, вымчали на площадь. У снежного сугроба остановили, и уже неживое тело тысяцкого, безвольно качнувшись, кулем обрушило в снег. Конь, которого Видяка огрел плетью, поскакал с протяжным ржанием по направлению к дому боярина. Один из ратных подал Никите, свесясь с коня и зачерпнув, ком снега. Никита обтер нож и руки. Оглядел себя: нет ли капель крови? И тотчас, отбросив кровавый снег и вложив нож в ножны, тронул коня.

Скакали сперва кучно, потом, по знаку Никиты, растягиваясь и отрываясь друг от друга. Велено было заранее кружною дорогою ворочаться в Кремник, в молодечную, и тотчас идти по двое в сторожу — тем, кто нынче очередной. Сам же Никита, на Неглинной оставя свою дружину, поскакал к матери, чтобы там по-годному отмыть кровь и привести себя в порядок. Слов по дороге не было сказано никем никаких. Все молчали, молчал и Никита. Только с Матвеем обменялись они на расставании долгим понимающим взором. Мол: не оставляй ребят поодинке никоторого! И — понимаю, мол, не боись!

На площади перед Кремником остался теперь только труп боярина в дорогой сряде, вокруг которого, медленно съедая снег, расплывалось, темнея, зловещее красное пятно.

Никита еще ничего не чувствовал, пока ехал домой, кроме тупого опустошающего удивления. Все, чем он жил эти долгие месяцы, словно бы перестало существовать. Вспоминать звук ножа, входящего в мясо, и трепет в членах боярина, и его отчаянные усилия вырваться, и даже хриплый крик: «Изменник!» — он начал много спустя. Сейчас же не было ничего, и только грозная необратимость совершившегося пугала и удивляла его все больше и больше.

У матери было заперто. Он грубо и зло, привлекая внимание всей улицы, начал колотить в ворота концом плети, вместо того чтобы самому открыть калитку, войти и, растворив ворота, завести коня. Мать наконец выбежала, засуетилась. Стараясь заглянуть в глаза своему старшему и чего-то робея, повела в дом.

Никита, привязав коня (тут только увидел, что в крови и седло и платье), вынул измаранный охотничий нож, грубо соврав матери:

— Из Красного... Зверь дорогой едва меня не заел... Отбился вот! Соседям не трепи, стыдно...

Мать — поверила, нет ли — тотчас захлопотала, запихалась по дому, достала хлебово из печи, побежала налажать баню, отмывать нож, седло и платье.

Никита тупо ел, сидел, глядя в стол перед собою. После прошел в баню.

Отмякая, начиная трезво прикидывать, что к чему, долго парился. Когда вышел, посвежевший, успокоенный, узрел испуганные, почти безумные глаза матери.

— Ты што? — спросил.

Она отступала от него в ужасе. Вымолвила наконец:

— Соседка прибегала! Тысяцкой убит, Ляксей Петрович! На площади нашли, как от заутрени народ-от повалил...— Мать спотыкалась, отчаянно глядя на Никиту.

— Ну?! — подторопил он.

— Дак... тово... И нашли, значит, на площади. Лежит... брошен, и без дружины, безо всего...

— Убит? — переспросил Никита зло.

— Убит! — подтвердила мать с круглыми от ужаса глазами.

— Собаке собачья смерть! — грубо подытожил Никита, переведя плечьми.— Давно следовало убить!

— Дак, тово...— не находилась матерь. (Раззвонит ноне на всю улицу!)

— Думашь, я его и убил? — уточнил Никита.— А к тебе платье замывать приехал, да? — Он усмехнул, сощурил глаза: — Говорю тебе, серого повстречал (он уже забыл, что раньше сказал про медведя).

— Ты баял...— начала мать.

Никита мысленно хлопнул себя по лбу:

— Да оговорился я! Топтыгин бы меня самого прикончил! Да тут, коли... Не заметишь, какой и зверь! — докончил он совсем уже непонятно и, чтобы

прекратить дальнейшие материны расспросы, полез на печь.

Лег и тотчас заснул, и спал, вздрагивая и постанывая во сне, почти до вечера, а пробудясь и утолив голод, трезво подумал о том, что ежели немедленно, тотчас, не воротит в молодечную, то его станут подозревать уже все. И потому, подтянув пояс, молча оболокся, оседлал коня и, бросив матери еще раз: «Не трепли тово, не то и впрямь меня овиноватят!» — поскакал в Кремник.

Дыхло встретил его на пороге молодечной и значительно поглядел в глаза. В молодечной стоял ад. Кто-то из хвостовских с белыми от ярости глазами подскочил к Никите и с воплем: «А-а! Вота он!» — развернулся для плюхи. Никита молча, вложив всю силу в удар, сбил крикуна с ног и быстро пошел в свой угол, приметя, что уже половина молодечной, почитай, дерется друг с другом. Хвостовских было много больше, и вельяминовским в ину пору плохо бы пришлось, но боярин был убит, и у хвостовских за бестолковою злостью и гневом царила растерянность: как же впредь? И что могло быть впредь, не понимали ни сами хвостовские, ни, чуялось, бояре в Кремнике, ни сам князь.

Город кипел, выбрасываясь орущими до хрипоты толпами, и Никита, почти готовый к тому, что его изобличат, схватят и поволокут на казнь, и не понимающий, почему это все еще не происходит, сообразил, в чем дело, только попав на улицу. В толпах посадских, не обинуясь, вслух называли имя предполагаемого убийцы Хвоста, и имя это было у всех на устах одно — Василий Васильич Вельяминов.

В первый након так ему это показалось дико и несообразно ни с чем, что Никита вздумал было пойти к Ивану Иванычу и повиниться в убийстве. Но тут же он сообразил, что погубит этим всю свою дружину, всех мужиков и не спасет Василь Василича, ибо о Никитиной верной службе Вельяминову в прежние годы было известно всем и каждому, а потому (даже и поверив ему, Никите!) решат, что действовал он все-таки по прямому наказу Василь Василича. Оставалось самое трудное — молчать и не признаваться ни в чем.

Воротясь в молодечную, Никита велел всем своим седлать коней и повел дружину к терему Алексея Петровича засвидетельствовать уважение покойному и

разделить горе семьи (последнее Никита, решившись на все, брал на себя).

Он плохо помнил, воротясь в молодечную, все сущее. И как билась раскосмаченная Алексеиха о гроб, и насупленную морду сына, и щупающие глаза хвостовских молодцов — все прошло как-то мимо, в тумане каком-то. И на прямой вопрос взявшего его за грудки в углу палаты хвостовского ключника: почто и куда вызывал он, Никита, боярина из церкви у Богоявления — ответил, нимало не смутясь:

— Был бы я с Алексеем Петровичем вместях, того бы не допустил! Чуешь? И отвали от меня. Без того тошно! — примолвил Никита, сбрасывая со своей груди руку холопа. И тот, обманутый спокойствием Никиты, отступил, померк, веря и не веря, но не смея больше виноватить старшого, который был прежде в такой чести у боярина. Все это прошло как в тумане, и только вечером, укладываясь спать, Никита взаправдашне удивился тому, что все еще не изобличен и не убит.

Меж тем мятеж в городе начался нешуточный, бояре разъезжали в оружии. Сын убитого, Василий Хвост, метался по городу, бил себя в грудь, кричал, что Вельяминовы, все четверо, предатели и убийцы.

Иван Акинфич, которому от всех этих событий стало плохо, лежал и никого у себя не принимал, сказываясь больным, сам же зорко наблюдал за боярской господою, ловя, куда подует ветер. Однако убийством были возмущены ежели не все, то многие и Афинеевы, и Бяконтовы, и Зерновы, и Семен Михалыч, и Иван Мороз; передавали, что умирающий Андрей Кобыла также решительно не одобряет убийц.

Дума наконец собралась. Бояре (иные — робея) все глядели в ту сторону, где сидели, казалось, заранее обреченные суду, Вельяминовы. Но Василий Васильич решительно встал, не давая еще никому молвить и слова, встал и потребовал — слухов поносных ради — суда над собою, присовокупив, что крестом клянется, яко в убийстве Алексея Петровича невинен есть, и готов выставить послухов, и более того — разрешает опрашивать всех его домашних, послужильцев, холопов и слуг.

Заявление Вельяминова вызвало в думе бурю. Не поверили многие, но Василь Василич учел и это. Приведенные им слухачи подтверждали, что в час убийства все вельяминовские люди были в иных местах, не

исключая и самого Василь Василича. В конце концов по просьбе Вельяминовых назначили смесный суд, но и суд не нашел, чем бы можно было уличить Василь Василича. Тогда подозрение пало на его тестя, но опять же не находилось ни доводчиков, ни слухачей вины последнего, что не мешало, однако, всей Москве по-прежнему считать преступником Василь Василича с тестем. Поминали даже легендарное убийство Кучковичами Андрея Боголюбского, и Алексей Петрович становился во всех этих толках почти святым.

Но, однако, начиналось и обратное. Когда прошла первая волна всеобщего ужаса и возмущения (а Хвоста как-никак уже не было в живых!), многие начинали припоминать и то, чем был виноват Хвост перед Москвою — или казалось, что был виноват — его безлепую борьбу за место тысяцкого, бессилие противустать Ольгерду; даже и преступление его отца, Петра Босоволка, убившего некогда плененного рязанского князя, поставлено было ему в вину. Пошли новые перекоры и пересуды, вновь едва не дошедшие до драк между горожанами.

В самый разгар этой колготы, споров и начинающегося бунта дошла весть о возвращении владыки Алексия.

Русское серебро и на этот раз помогло Алексию. Помогла, кроме того, смутная тревога греков, сообразивших наконец, что подарить русскую митрополию язычнику Ольгерду, который вот-вот к тому же примет католичество, опасно прежде всего для них самих, ибо тогда дни и даже часы независимой константинопольской патриархии будут сочтены. Помогли афонские монахи, помог Григорий Палама, помог и Филофей Коккин, чем мог и сколько мог.

Патриархия в конце концов предложила исполнить на деле Соломонов суд и разорвать живое тело митрополии надвое: Роману достались епархии Волыни и Черной Руси, Алексию — Киев и Владимирское Залесье. Греки считали, что таким образом удовлетворяют обе стороны, и убедить их в том, что погубить половину православных епархий, отдав их под власть Литвы и католических патеров, так же глупо, как и отдать Ольгерду всю митрополию, Алексий уже не смог.

Почти с отчаянием наблюдал он этих людей, которым ближнее и корыстное совершенно застило глаза, не давая видеть далекое и святое. Как-то, потерявши на миг выдержку, Алексий вопросил одного из младших секретарей патриархии:

— А что вы будете делать, когда враги — католики или турки-мусульмане — вновь ворвутся в Константинополь и станут жечь, грабить и ругаться святыням?

— Дальше Августеона они не пройдут! — ответил монашек, глядя на него светлыми глазами.— Святая София защитит себя от вражьего плена!

Алексий поглядел на него почти с отчаянием и сдержал готовый вырваться стон. Греки забыли (он помнил, русич!), как голые непотребные девки плясали на престоле Святой Софии! Грядущее будет еще страшнее. Сама София исчезнет, и вера православная будет низвержена в персть. Но светлоокий монашек так-таки ничего не понимал, да и не пытался понять, ибо для него сегодняшний указ, изданный в секретах патриархии, определял и днешнее и будущее, а для упрямых русичей — вот такой готовый ответ: «Господь защитит!» (А и не защитит, они при этом умывают руки, подобно Пилату.)

«Неужели и мы когда-нибудь постареем настолько, что любой самый смертоубийственный указ будем бестрепетно принимать сами на ся, ссылаясь при этом для оправдания совести своей на какие-то высшие соображения, на верховные, не подвластные нашему разумению силы?

Нет! Господь, давший смертным свободу воли, не должен и не будет спасать нас, ежели мы сами возжаждем собственной гибели! И в том как раз, что мы своими руками сотворим свою гибель, и есть воздаяние за грех!

Что ж, Ольгерд будет захватывать княжество за княжеством, а греки передавать ему епархию за епархией, а католики — как они это уже проделали в Галиче и на Волыни при поляках — уничтожать православные храмы и перекрещивать народ в латинство? Воистину, великий град Константина, ты сам готовишь неотвратимую гибель себе!»

Алексий очень спешил на этот раз, понимая, что без него может на Москве совершиться всякое, но произошедшее превысило даже и его тревожные ожи-

дания. Потеря Ржевы и Брянска — вовне, убийство тысяцкого — внутри. Княжество гибло, и с ним погибало дело Руси!

Он мчался к Москве в метельном вое, загоняя лошадей, мчался так, словно еще мог отвратить и смерть и позор, хотя ничто неможно было вернуть из сотворенного неразумными московитами. Он и сам был уверен, почти уверен, что убийство Хвоста — дело рук Вельяминовых, и положил себе непременно и сурово наказать убийц. В конце концов, в его руках был суд церковный, и суд этот он собирался сделать высшим судом владимирской земли, решая на нем княжеские споры и свары.

По приезде в Москву Алексий, отслуживши торжественную службу в Успенском храме, показался одному только великому князю и имел с ним долгую молвь, после которой Иван Иваныч вышел вовсе раздавленный, со слезами на глазах. Затем Алексий начал вызывать к себе на исповедь и для собеседования великих бояр одного за другим. Вызывал и многих послужильцев великих бояр, постепенно убеждаясь в том, что Василий Вельяминов действительно не виноват, по крайней мере прямо, в убийстве Хвоста, хотя вся Москва указывала именно на него.

Владычное следствие начинало заходить в тупик, когда к Алексию на прием попросился бедный попик с Занеглименья и, допущенный к митрополиту, начал, робея, потея, бегая глазами и заикаясь, косноязычно рассказывать про какую-то посадскую жену, которая застирывала кровавое платье сына, а потом, испуганная, прибежала к нему, благо принадлежала к его приходу, и на исповеди сказывала...

Попик открывал тайну исповеди, чего не имел права делать, и потому запинался, смолкал, краснел, и понять его было очень трудно, и Алексий, все думы коего были об ином (за час до попика он, гневая, отчитывал Василия Хвоста за облыжные обвинения Вельяминовых, а до того разбирал по грамотам споры тверских князей, племянника с дядей, Всеволода с Василием Кашинским, намереваясь вызвать обоих во Владимир на владычный суд), долго не мог взять в толк, зачем и к чему приволокся к нему этот смешной попик, пока наконец тот вполголоса не вымолвил главного: дело совершилось третьего февраля днем, тотчас

по убийстве тысяцкого, а сын этой женщины-вдовы служил в дружине Алексея Петровича Хвоста.

Алексий поднял на попика темный взор. Вопросил имя ратника, повторил про себя, запоминая. Потом строго повелел попику забыть обо всем сказанном и никому, ниже и попадье своей, о том не баять ни слова. Отпустив попика, он откинулся к спинке кресла, прикрыл глаза и задумался, отдыхая. Преступник, кажется, был найден. Никита, сын Мишуков, внук Федоров. Следует не торопить события и прежде уведать все об отце и деде этого ратника, а также о нем самом. Дружинник Хвоста?! Покойный Алексей Петрович, надо отдать ему должное, слуг имел верных! Алексий позвонил в колокольчик, вызывая келейника.

К утру он знал все. И то, что Мишук, отец убийцы, был тот самый ратник, коему он сам помог когда-то стать иноком Богоявленской обители, что дед, которым постоянно гордился Никита, называющий себя Федоровым, был ближним человеком двух князей, что двоюродный дед Никиты был опять же мнихом и келарем Данилова монастыря и что, самое главное, убийца совсем не являлся искони хвостовским ратником, но перешел на службу к Хвосту после того, как последний получил тысяцкое; а допрежь того был старшим в дружине Вельяминова и почти возлюбленником Василь Василича. Узнавши последнее, Алексий поморщился: Василий Вельяминов, выходит, обманывал его и весь боярский синклит с самого начала!

Назавтра, после вечерни, он велел привести, без великой огласки, поименованного ратника к себе, в митрополичий покой.

Никита, уведавши, что его призывают к митрополиту, не то что обрадовался (радоваться мало было чему!), но почуял, что вот он, подошел наконец хоть какой исход его затянувшейся муке. Передавши Матвею дружину (втайне уже и не надеялся он увидеть своих иначе как на Болоте, с помоста, в час казни), он, помедлив и прочтя в глазах Дыхно ответное чувство, крепко обнял друга и троекратно облобызал. Потом легко кивнул случившимся около ратным и пошел, посвистывая сквозь зубы, независимою походкой человека, коего зовут за делом, но уж никак не на расправу или суд.

Лишь на дворе, покинувши молодечную, он остоялся, обведя взглядом оснеженный синий вечер, мохнатые свесы кровель, узорные ворота, резные столбы гульбищ и крылец в сложной перевити трав, птиц и языческих змеев и островатые кровли башен с коваными прапорами на них — всю эту привычную, а сейчас остро бросившуюся в очи рукотворную красоту, глянул в молчаливо замкнутые лица двоих владычных послушников, широких в плечах и могутных, подумав, что такие, заартачься, могут и на руках донести, вздохнул и, свеся голову, твердым шагом двинулся к месту своего судилища.

Они обогнули Успенский храм и поднялись по ступеням владычных хором не с главного, а с бокового хода. Отворились одни и вторые двери. Молчаливые провожатые передали Никиту с рук на руки придверникам, которые повели его по долгому проходу и по лестнице, и еще в двери, и в новые двери опять (и он уже потерял счет лестницам и покоям), и наконец открылись последние двери и он очутился в небольшой горнице, весь правый угол которой занимала божница, более похожая на иконостас, жарко горящая золотом в свете многочисленных свечей и лампад. Огромные иконные лики строго глянули на Никиту, словно живые. Он осмотрелся, не сразу увидя того, к кому шел. Алексий сидел в кресле, положив руки на подлокотники, в дорогом облачении и белом клобуке. Темно-внимательный взор митрополита был строг. Никита, оробев и почувствовавши слабость в ногах, опустился на колени и так простоял во все время разговора.

— Сын мой! — сказал после долгого молчания митрополит.— Достоит ли мне выслушать твои глаголы или прежде повестить, с чем и к чему позвал я тебя ныне?

Никита криво улыбнулся, постарался прямо и бестрепетно взглянуть в очи Алексию. Мгновением подумалось было словчить, соврать, но тотчас отверг. Ответил глухо и прямо:

— Мыслю, с тем и вызван к тебе, владыко, яко убийца есмь Алексея Петровича Хвоста!

Алексий удивленно приподнял бровь. Он не ожидал совсем столь прямого и скорого признания.

— Суди, владыко! — продолжал Никита.— Зарезал ево я, я и замыслил и совершил сам-один, значит!

— Почто, сыне, в таком разе ты сразу не пришел и не повинился в том хотя отцу своему духовному?

— А кто поверил бы мне? — вопросом на вопрос ответил Никита.— Я ведь был у Василь Василича правою рукой, овиноватили все одно ево, а не меня! Кому я такой надобен? — Он снова усмехнул, произнеся последнее. Подумав, добавил: — Дурак был. Не ведал, что молва вся на боярина падет! А опосле, как понял, содеять уж нечего было...

— Как же ты совершил оное? — вопросил Алексий, раздумчиво глядя на Никиту.

— Из церкви вызвал. Наврал, что с сынком беда. Бабу прирезал, мол. Ну, а отъехали — ножом вот сюда! Дважды. И на площади бросил.

— Один? — зорко глянув в глаза Никите, уточнил митрополит.

— Вестимо, не один! А токмо резал — один. И иных выдавать не стану, хошь и под пыткою! — твердо возразил Никита.— Невиновны они!

— Вину, стало, всю на себя хочешь взять и за боярина, и за кметей! — раздумчиво протянул Алексий.

— Отче! — вновь возразил Никита.— Хвоста полгорода ненавидели, что ж, полгорода прикажешь и в железа ковать? Думаешь, иные кмети вельяминовски того не желали?

— Но убил ты!

— Я.

— И теперь како мыслишь о себе?

— Никак не мыслю, отче! — отмолвил Никита, подумав и стараясь изо всех сил сказать полную правду.— Ждал, што возьмут, и казни ждал. Уже и простился...

— С кем? — Алексий поднял тяжелый взор, подумал, скажет: «С боярином», но услышал иное, удивившее его, сказанное потишевшим, беззащитным голосом:

— С зазнобою своею.— Никита помолчал, добавил еще тише: — О ней тоже не прошай, владыко, и она не ведала ничего! Имя ее под пыткóю не назову.

— Пытать тебя духовная власть не будет, то дела мирские! — отозвался Алексий, задумчиво глядя на ратника, который уже все решил и заранее распорядил своею смертью, забыв об одном только — о Господе.

Он вдруг понял, почуял, поверил, что ратник не

обманывает его. Убил из преданности Вельяминовым; возможно, и любовь тут была какою-то причиной... Но Василию Вельяминову не долагал о том. И теперь предлагает ему, митрополиту, самое простое решение: казнить убийцу, то есть себя самого, похерив все дело. И умрет мужественно, чая, что совершил подвиг. И погубит свою нераскаянную душу, предав ее адскому пламени, а Вельяминов, который, и не убивая, и не зная об убийстве, все-таки убийца есть, останется навсегда в стороне, и — что далее? Далее что?! Станет вослед отцу тысяцким? А в том, что тысяцким теперь станет именно он (ибо никто не захочет ныне посягнуть на место Хвоста), сомнений у Алексия не было.

«Вот ты и доиграл свою короткую песню! — думал Алексий, глядя на стоящего перед ним на коленях невиноватого убийцу.— Вот и окончил свой век! И зазноба твоя, твоя любовь, разве поплачет когда, ежели вспомянет, и ратники, что скакали вместе с тобою... И я, русский митрополит, призванный судить сильных мира сего, непутевой твоей головою спасу от праведного наказания великого боярина московского!

Да, ты виновен, и ты убийца. И тебя казнят на Болоте к вящему удовольствию многих и многих на Москве. Ты совершил преступление, которое готовил весь город. Готовили Вельяминовы и готовил Алексей Хвост, готовили бояре и сам князь Иван — своим непротивлением злу,— назначивший Хвоста тысяцким, не взвесив могущие совершить от сего беды...»

Наказать убийцу сейчас — значило вовсе погубить дело. И правы будут те, кто решит, что в этом ратнике всего лишь нашли козла отпущения, чтобы снять вину с истинных виновников преступления. Более того, именно так и подумают все! И даже он, Алексий, глядючи сейчас на убийцу, мыслит, что виновен совсем не он и что для дела церкви и веры надобнее всего, чтобы сей решивший погинуть раскаялся и осознал вину свою, а не был казнен нераскаянным, таковым, каков он есть теперь.

Шли минуты молчания. Митрополит думал. Никита напряженно ждал. Такая стояла тишина, что слышно было, как потрескивают, оплывая, свечи. Наконец митрополит пошевелился в кресле, и Никита поднял опущенное чело.

— Ступай! — сказал негромко Алексий.— Я не могу послать тебя на казнь нераскаянным. И простить не

волен. Ступай и покайся Господу. В потребный час я сам призову тебя.

Никита встал, шатнулся и мягко рухнул на пол, теряя сознание.

На стук упавшего тела вбежал служка. По молчаливому знаку митрополита обтер Никите виски и ноздри тряпицею, смоченной в уксусе. Шатающегося ратника подняли и увели.

Алексий, проводив его взглядом, вызвал келейника и приказал разузнать, с кем из вельяминовской прислуги (почему-то понял, что именно из вельяминовской) у Никиты Федорова любовная связь или подобие оной, а узнавши, вызвать женщину и вслед за нею Василия Васильича Вельяминова.

К великому удивлению митрополита, женщиной этой оказалась боярыня, молодая вдова, родственница Вельяминовых и племянница Михаила Александровича, тестя Василь Васильича.

Женщина держалась перед Алексием смело. Вздрогнула, узнав, что Никита убийца, но не опустила взора, только побледнела вся, прошептавши: «Грех на мне!» — и на недоуменный взгляд митрополита пояснила:

— Сережки мне подарил на прощании. Золотые. Дедовы. На смерть шел. А я того не сумела понять!

Алексий догадал, что он опять ошибся, греховной связи тут не было. Значит, ратник имел надежду, убивши Хвоста, получить руку вдовы?

Так, отпустив женщину, назначивши ей строгую епитимью, Алексий и вопросил вступившего в покой Вельяминова.

Боярин побледнел как мертвец. «Стало, Никита убил?» — только и вымолвил он и тотчас поник взором, губу закусив. Понял, что ежели подымет глаза — себя выдаст и Алексий поймет, что знал он, сперво-началу знал, кто убил его недруга. Знал и прежде убийства, ибо понимал, зачем и к чему посетил его Святками Никита Федоров.

— В деянии смертоубийства,— медленно выговорил Алексий,— должно различать орудие, коим убит пострадавший, руку, нанесшую удар, и волю, направившую руку убийцы. Мне ведомо теперь первое и второе, но я хочу узнать третье: кто был вдохновителем злодеяния? Сие мне неведомо до сих пор! — строго примолвил он, глядя в белые от ужаса глаза Василия Вельяминова, готового возопить, признаться

или отречься от преступления, совершенного, конечно же, его потаенною волей или хотением.

Алексий смотрел и видел, как меняется лицо боярина, из белого становящееся бурым, как в нем рождается гнев, бессильный перед духовною властью, но тем более ужасный своею неисходною страстью.

— Из начала Москвы... Со святым, благоверным князем Данилою... Два поколения предков моих! Берегли и пасли, ратный труд свой и кровь прилагая! Веси ли ты, Симеоне, яко тот, коего ты праведно изверг и изженил и грамотою, к коей и батюшка мой руку свою приложил, заклинал не допускать в ряды верных!.. Веси ли, яко тот ныне стал тысяцким на Москве! И ныне, и ныне! Отмщенье свое получивший не этою рукою, не этою, Господи! Ныне ли стали мы оттого, наш род, противны всему граду Московскому? Где правда?! Уже разрушено дело Москвы, потеряны волости в стыде и обстоянии. Чьею волею?! Кто преступник, я или он?!

Василий Вельяминов, задохнувшись, смолк. Алексий продолжал глядеть ему в лицо своим строгим и безжалостным взором. Ответил:

— Никто, ниже и самый князь великий, не волен творить злодеяния! Слава предков обязывает к подвигам, но не спасает от праведного суда! Кому много дано, с того много и спросится. Ведаешь сам, Василий, яко по закону остуда падает на весь род отступника, на его детей и внуков. И не токмо он, но и потомки его навсегда изгоняются из местнического счета и теряют родовые места в думе княжой.

— То ведаю! — угрюмо отмолвил Василий.— Но ежели меня надобно судить за любовь ко мне слуг моих верных... Ибо ни делом, ни помышлением...

— Делом — нет! — прервал Вельяминова Алексий.— А о помышлениях своих, Василий, ты должен и будешь говорить с отцом своим духовным! Ступай, но помни, что суд еще будет и над тобою, и над тестем твоим, ибо общий голос Москвы требует сего!

Боярин, шатнувшись, вышел. Алексий понимал, конечно, выказав последнюю угрозу свою, что судить и осудить Вельяминова будет зело непросто, а может быть, и невозможно, и теперь, оставшись один, задумался. Труднота, сугубая труднота заключалась еще и в том, что Вельяминов был по-своему прав. Покойный князь Семен Иваныч никогда бы не вручил ты-

сяцкое Алексею Петровичу Хвосту. И еще напомнилось константинопольское дело злодея Апокавка, коего Кантакузин пощадил на горе себе и империи.

Самое правильное было в толикой трудноте выждать, однако не прекращая дела совсем, а тем часом заняться важнейшим из того, что предстояло ныне: разрешением спора тверских князей, коих Алексий особою грамотою вызывал на владычный суд, тем паче, что только урядив с Тверью, совокупными силами двух княжеств можно было пытаться воротить Ржеву, захваченную Литвой.

Днями Алексий, получив подтверждающие грамоты из Твери и Кашина, выехал во Владимир.

Никита чувствовал себя как приговоренный к казни, получивший внезапную отсрочку, после которой, и неизвестно когда, его все равно казнят. Его никто не схватывал и не ковал в железа, о нем, казалось, забыли. И потому сами ноги в конце концов повели его туда, куда он не чаял больше зайти никогда в жизни — в терем Вельяминова.

Никита последние дни совсем перестал следить за тем, что происходит и что говорят в Москве. Дела дружинные переложил на Матвея, сам же безразлично отстаивал свои часы в стороже, а после, ежели не шатался по Кремнику, заваливал на полати спать. Ратные не трогали Никиту, молчаливо и уважительно понимая, в коликой трудноте находится их старшой. (О том, что Никиту вызывал к себе Алексий, конечно, узнали назавтра же, но поскольку из ратников не тягали боле никоторого, стало и без слов понятно, что старшой всех их спас, принявши вину на одни свои плечи.)

Не ведал Никита поэтому, что колгота на Москве восстала пуще прежнего и что Вельяминова с тестем уже открыто обвиняли в убийстве едва не все. Споры и ссоры велись токмо вокруг того, прав или не прав был Вельяминов, разделавшись с супротивником.

Не ведал Никита и другого, что накануне егова быванья к Василь Василичу приехал тесть Михайло Александрович (у которого до сих пор не пропали дедовы родовые села на Рязани, взятые было на себя Олегом, но отданные, по миру, назад) и предложил спешно, пока путь, бежать на Рязань.

— Чего ждать? — толковал тесть. — Грамоты у меня получены с Переславля-Рязанского, примут! Обласкают ищо! Там отсидимся, гляди, и утихнет колгота, а тут и на Болото угодить ныне мочно!

И у Василь Василича, который после Алексиева предупреждения ежеден ждал нятья и суда, разом подкосило волю. Торопливо и суматошно он начал собирать добро, поднял жену, собрал всех сыновей и теперь с ближниками и слугами тайно готовил побег.

Никита, попав в терем, узрел, что все переворошено кверху дном, бегают захлопотанные слуги, и сначала решил было, что кто-то помер (сердце захолонуло: не Василь Василич ли?). Но тотчас, по неосторожно брошенному слову сенной девки, и выяснилось, что суета — отъездная.

В бестолочи сборов никем не остановленный Никита проник до верхних горниц и впервые в жизни отворил двери той светелки, где помещалась она. Натальи Никитишны не было. Он велел, негромко, но строго, кинувшейся встречь девке разыскать госпожу, а сам, присев на край лавки, начал разглядывать с неясным самому себе чувством умиленного удивления вдовий покой со светлым, бухарской голубой зендяни, пологом кровати, с резною прялкою и рукоделием, оставленным у окна на небольшом столике с пузатыми смешными ножками, рассматривал расписные поставцы, окованный морозным железом большой сундук и умилительные здесь, в боярских хоромах, деревенской работы половички на чисто — добела — выскобленном полу. Приметил и кожаный переплет книги (верно, сборника «Житий») на полице среди расписной ордынской глазури, и берестяной туесок, верно, с моченой брусникой, и даже горшок с крышкою, выглядывающий из-под полога кровати, от коего он поскорее, стыдясь, отвел взор. От натопленной изразчатой печи (топили оттуда, со сеней) струило теплом, и на всем лежала нерушимая тишина опрятного женского, почти монашеского одиночества.

Наталья Никитишна возникла в дверях как-то враз, мало не испугав. Вгляделась, кинулась на шею, крепко зажмурясь, произнесши единое только слово: «Жив!» Пробормотала, пока Никита потерянно тискал ее плечи:

— Ни в какую Рязань не еду, останусь с тобой!

Тут только сообразил Никита, что за кутерьма в доме.

Посадила на лавку, огладила кудри молодца, повелела:

— Пожди!

И вот он снова ждет, волнуясь и уже догадывая, что она пошла к самому Василь Василичу и с минуты на минуту в горницу вступит боярин, а там... Дальше воображение вовсе отказывало Никите, и он, изо всех сил стараясь не думать ни о чем, просто сидел и ждал.

Вновь открылась дверь. Никита встал, почуявши, как разом пересохло во рту. Наталья Никитишна вошла с прямою складкою меж бровей, недоступная и прямая. За нею, нагнув голову, вступил в горницу, разом содеяв ее маленькою, Василь Василич. За ним медведем влез Михайло Александрыч. С отдышкою, светлыми старческими глазами нашаривши Никиту, вопросил: «Етот?» И на миг почуялось Никите, что его попросту убьют, вытащат труп и зароют где ни то в саду. («Ну и пусть!» — решил он сам о себе.)

— Пришел за наградою? — укоризненно уронил Василь Василич.

— Каков молодец, а?! — покачал головою, отдуваясь, Михайло, глядя на Никиту не как даже и на человека — на место пустое в тереме, испачканное нехорошим чем.

(«А ты, сволочь, Олегу Лопасню сдал, а теперя и сам бежишь на Рязань!» — жестко про себя подумал Никита, бледнея от горечи и злобы.)

Наталья Никитишна стала у печки, стянув за концы платок на груди, вымолвила глубоким, непохожим голосом:

— Режьте. Не еду в Рязань!

Михайло махнул рукою Никите: выдь, мол, ты лишний!

Никита, зверея, сжимая кулаки, на плохо гнущихся ногах, медленно подступил к Михайле. Тот воззрился недоуменно, выдохнул:

— Ты мне кто?

— Никто я тебе! — звонко и страшно крикнул Никита и вырвал, безумно глядя в оплывающее лицо старика, булатный нож. Лязгнула сталь — Вельяминов тоже обнажил оружие.

— А тебе, боярин,— медленно произнес Никита, оборотив лицо к Василь Василичу,— и вовсе в стыд на меня оружие подымать!

Василь Василич глядел, сузив очи, и сабля дрожала в его руке.

И тут Наталья выкрикнула резко, внадрыв:

— Будет! Не смейте! И ты! — и грудью пошла на клинки. И оба мужика отступили и спрятали оружие.

Михайло Лексаныч вдруг сел, вынутым платом отер взмокшее чело и иным уже голосом и словом иным вымолвил:

— Дурень. Я тебе добром. Ты кто будешь-то? Сказывай! Старшой, а роду какого? Ить она мне племянница, чуешь? Сам уступи, ну?

И тут снова заговорила Наталья:

— Вота што, дядя! И ты, Василь Василич, послушайте оба меня! Ведаю я речи, что промеж вас велись в тереме этом! Ведаю, что сами хотели убить Алексея Хвоста. Ведаю! — гордо и бешено выкрикнула она в лицо Вельяминову.— Никита Федоров вас обоих, может, от плахи спас, а вы! Стыд! Мне, бабе, за вас обоих стыдно! Не девка я! Вдова! Воля моя: хочу — в монастырь уйду! Не воспретите мне никоторый! Единого ты верного слугу своего, единого!.. Он ведь на смерть, на плаху шел, и теперича невесть ищо, казнят али нет! Ему, может, и веку уже не осталось, а вы... Звери! — выдохнула она, закрывши лицо ладонями, и зарыдала.

Вельяминов стоял, как бык, наклонивши шею, не ведая, что вершить. Михайло молча развел руками: мол, не знаю сам, как тут и быть теперя!

Наконец Василь Василич, решившись, поднял голову:

— Грех мой! — сказал.— Выдь на час, Михайло Лексаныч, дай самому с кметем моим перемолвить!

И Михайло с отдышкою, молча полез вон из горницы. На походе остановился прямь Натальи:

— У-у-у! — сказал.— Коза-дереза! — Покрутил головою, хмыкнул и вышел вон.

— Василь Василич! — сказал Никита просто и устало.— Дед мой был возлюбленником князя Ивана Дмитрича Переславского. Ведаешь, что и грамоту на Переслав московскому князю он отвозил. Был и на ратях многих, и самим князем Данилою почтен. И прадед наш Михалко был ратным мужем, из Великого Нова Города самого. Дядя — келарем в Даниловском монастыре. Отец у Богоявленья самим Алексием принят, а до того век был старшим и Кремник рубил. Роду

мы не худого! И чести своей не уступим никому! Не для-ради Натальи Никитишны поднял я руку на Хвоста, и не для-ради награды боярской голову свою обрек плахе и топору! В одном ты прав, боярин! Со мною днесь Наталье Никитишне зазорно судьбу свою вязать, да и очень возможет она,— договорил он, горько усмехаясь,— опять остаться вдовою, теперь уже простого ратника Никиты Федорова... Прощай, боярин!

Он сделал движение уйти (и не ведал: то ли просто уйдет, то ли уйдет и утопится). Наталья метнулась было к нему раненой лебедью. Но Василь Василич негромко и властно окликнул Никиту:

— Постой! У Натальи Никитишны,— сказал,— своя деревня есть под Коломною. Я тебе жалую деревню в Селецкой волости, рядом с митрополичьими угодьями. Съездишь, коли мочно будет тебе, поглядишь. Мельницу надо поправить тамо, а земля не худа. С данями, с выходом, со всем! Счас и грамоту подпишу! Хватит того вам обоим на безбедное житие! Нынче в ночь уезжаю я, Федоров, проще сказать — бегу, а сейчас станьте на колена передо мною оба!

Наталья сама взяла Никиту за руку, дернула вниз. Никита опустился на колени, зажмурился. Василь Василич снял с полки икону, обнес трижды головы молодых, велел приложиться к образу.

Когда молодые, держась за руки, поднялись с колен, Василь Василич, отводя глаза и супясь, выговорил:

— Прости, Никита, коли обижал в чем!

— Прости и ты, Василь Василич, што из-за меня тебе ныне путь невольный! — И в пояс, опустив правую руку до земли, поклонил боярину.

Через час в домовой церкви вельяминовской состоялось венчание. Василь Васильичев поп надел им венцы, обвел вокруг аналоя. В крохотной домовой церковке только и были Василь Василич с женою да Михайло Лексаныч, все еще не возмогший взять в толк, как это все произошло.

В калите у Никиты лежала дарственная грамота на деревню и кожаный мешочек с серебром — свадебное подаренье молодым от Василь Василича. Когда уже все кончилось, Михайло Лексаныч вдруг прослезился, обнял Наталью, неловко обнял и поцеловал Никиту, сунув ему в руку тяжелый золотой перстень.

— Здесь не оставайся ни часу, ни дня! — присовокупил Василь Василич.— К себе везти ее тоже не сове-

тую. Никифора Зюзю знаешь? Он вас свезет на Подол, есть у меня там изба, тоже дарю! Тамо переночуйте, тамо и живите пока!

Скоро тяжелогруженые сани с приданым Натальи Никитичны — с окованным сундуком, узлами и укладками с посудою, рухлядью, тремя книгами, плетеным кружевом и шитьем — выехали с вельяминовского двора и, колыхаясь на подтаявшем разъезженном снегу, устремили в сторону Коломенских ворот Кремника. Примостившись на самом краешке саней, сидели Наталья Никитишна и девка. Никита шел сзади, а Зюзя — сбоку, понукая коня.

Из верхнего окошка смотрел им вслед великий боярин Василий Васильич Вельяминов, сын потомственного тысяцкого Москвы, один из первых людей в городе, головою Никиты выкупавший себе ослабу от суда и нынешней ночью собравшийся бежать, бросив терем, и села, и волости свои, к бывшему ворогу, а теперь спасителю — князю Олегу Иванычу, на Рязань.

Съезд тверских князей во Владимире прошел достойно. Во всех соборах звонили колокола. Алексий служил литургию в лучшем своем облачении. Оба князя, Всеволод и Василий Кашинский, потишели, раздавленные церковным торжественным благолепием. В суде, на владычном дворе, в обновленных Алексием хоромах, где половину мест занимали церковные иерархи и присутствовали четыре епископа, в том числе и тверской владыка Федор, князья тоже поопасились подымать безлепую руготню. Всеволод достаточно спокойно, уповая на справедливость митрополичьего решения, изложил свои обиды. Василий почванился, задирая бороду, но под мягким натиском Алексия уступил, согласясь воротить Всеволоду тверскую треть.

Алексий содеял так, чтобы Василий Кашинский не почуял себя обделенным. Всеволода уговорили уступить и в одном, и в другом, и в третьем. Василий был надобен Москве как союзник в борьбе с Литвой и как постоянный противник мужающих Александровичей. В конце концов все удалось разрешить, всех уговорить и со всеми поладить, вновь сведя в любовь кашинского князя с Иваном Иванычем.

По талой раскисающей весенней дороге Алексий возвращался в Москву.

Воздух был резкий, прозрачный и терпкий, когда видна каждая веточка на придорожном ясене, обсаженном воркующим вороньем, а вокруг стогов сена жухлый снег усыпан протаявшими заячьими следами и оплывшие, словно обведенные по краю, подтаявшие шапки снега вот-вот готовы сползти с крутых кровель, чтобы вдрызг, с тяжелым уханьем, разлететься россыпью сквозистых матовых градин; и запахи были уже весенние: оттаивающего навоза, тальника, дыма, смешанного с влажною истомою близкой весны.

В Переяславле владычный гонец известил его о бегстве Василия Вельяминова с тестем.

Алексий, усталый с пути, наглотавшийся влажного весеннего воздуха, скоро переоболокся и забрался в постель. Лежучи, отдыхая, успокоенно подумал, что эдак-то и к лучшему! Утихнут пересуды, престанут наветы и ябеды. Уже засыпая, подумал, что для полного утишения Москвы следует удалить из нее и Василия Алексеича Хвостова тоже. Хотя бы, хотя бы... И сюда, в Переяславль! Под мой владычный догляд. И с тем уснул.

По приезде выяснилось, что угадал правильно. Хвостовский отпрыск со своими ябедами порядком-таки надоел всем и каждому на Москве, и тотчас по отбытии Вельяминова с тестем начались речи о том, что от Василия Хвостова избавиться надо тоже.

По совету Алексия хвостовский барчук получил назначение городовым воеводою в Переяславль и отбыл вон из Москвы, а двор его и подмосковные села Алексея Петровича были, по настоянию митрополита, взяты на князя.

Иван Иваныч, как все слабые люди, не слишком горевал о гибели Алексея Хвоста. При жизни боярина находясь в его полной воле, он теперь, освободясь от этой воли (и попавши целиком в волю Алексия), был едва ли не рад. И только чувство долга да еще настойчивые вопрошания своих бояр заставили его поднять вопрос о необходимом возмездии за совершенное преступление.

Сидели в малой думной палате — невысоком рубленом покое с тесаными стенами, с небольшими оконцами, забранными слюдой в рисунчатых переплетах. Князь и митрополит на резных престолах — четвероугольных креслицах с высокими спинками, украшенных росписью, рыбьим зубом и финифтью; избранные

бояре — по лавкам. Тут были двое Бяконтовых, Феофан и Матвей, Семен Михалыч, Дмитрий Алексаныч Зерно, Дмитрий Васильич Афинеев и Андрей Иваныч Акинфов — всего шесть человек. Вельяминовых не было, и не было многих иных: или слишком молодых годами, или слишком пристрастных к одной из враждующих сторон.

Окончательное удаление Хвостова одобрили все. Относительно того, что делать с беглецами, мнения разделились, и, посудив-порядив, шестеро избранных бояр (из коих двое были родными братьями митрополита) решили так, как намеривал Алексий: отложить дело, не говоря ни «да», ни «нет», не призывая беглецов воротиться, как предложил было Семен Михалыч, и не требуя их выдачи у Олега Рязанского, как хотели поставить Афинеев с Акинфовым.

— Совершено убийство тысяцкого! — горячась, воскликнул Дмитрий Василич.— Сего искони не бывало на Москве! А мы удаляем, тишины ради, сына убитого, словно бы овиноватив, и не требуем наказанья виновных!

— Можем ли мы считать виновными Василия Вельяминова с тестем? — вопросил, внимательно поглядев на Афинеева, осторожный Дмитрий Зерно.— Овиноватить великих бояринов просто! Труднее будет снять бесчестье с невиновных!

— Отъехали дак! — подал голос Андрей Акинфов.— Чего ж больши!

— С такой колготы, Андрей,— возразил Семен Михалыч, сдвигая брови,— да с етаких покоров и невиновный сбежит, и ты бы с батюшкою не выдержали тово! — Он укоризненно покачал головою, примолвил: — Розыск творили по слову самого Василья, и вины не нашли! А не пойман — не вор!

Иван Иваныч взглядывал то на бояр, то с надеждою на митрополита. Бяконтовы, Феофан с Матвеем, молчали, тоже сожидая, что вымолвит их старший брат.

— Кто-то же убил Хвоста! — выкрикнул, гневая, Андрей Акинфов.— Кому ищо нать было?!

Алексий глядел на спорщиков, слегка склонив голову, ощущая — то ли от весенней поры, то ли от забот многих — груз лет и смутную тревогу, пробуждаемую в нем всегда немощью плоти: слишком многое требовалось ему совершить еще на земле, чтобы с сознанием исполненного долга отойти к Господу! Опустил

взор, поднял его, вновь оглядел невеликое собрание вятших и выговорил наконец просто и устало:

— Убийца Хвоста мне известен и живет теперь на Москве.

Сгрузивши имущество у пустой вельяминовской избы, Никита с Зюзею занесли в сени сундук и узлы, после чего Зюзя отправился по просьбе Никиты покупать овес и сено, а Никита — привести коня и забрать кое-какую свою справу из молодечной и из дому.

Когда Никита вернулся, уже дотапливалась печь в избе, остатний дым уходил в дымник. Пол блестел и просыхал, отмытый до блеска, а Наталья Никитишна с девкой вешали полог над кроватью, тот самый, голубой, раскладывали одежду и утварь.

— В баню поди! — весело прокричала ему, глянув сияющими глазами, Наталья Никитишна. Она была с засученными рукавами, в переднике — такою Никита никогда не видел и представить себе не мог свою княжну.

Крохотная ветхая банька была уже вытоплена, и Никита, потыкавшись в ней и посетовав на щели в полу и в углах (беспременно затыкать нать!), все же и выпариться сумел, и голову вымыть щелоком. И тут-то Наталья, приоткрыв дверь, просунулась к нему в баню:

— Давай вихотку!

Никита — глаз ему было не разлепить — застыдился было своей наготы, но Наталья живо нагнула ему голову над лоханью, ловко и быстро натерла спину, шлепнула по мокрому, прокричав озорно: «Домывайся сам!» — хлопнула дверью, а он долго еще приходил в себя, умеряя жар в крови и уже безразлично елозя вихоткою...

Ужинали впятером. Зюзя с Матвеем Дыхно (боле никого из своих не стал звать Никита) выпили пива, поздравствовали молодых и уже в полных потемках, взвалясь на сани, отъехали с прощальными окликами, хрустом и чавканьем в синюю тьму засыпающего Подола.

Смолкали звонкие молотки медников, буханье кувалд и веселая деревянная россыпь колотушек древоделей. Подол засыпал. Девку положили в сенях на соломенном ложе. Никита, у которого толчками, глухо ударяло сердце, вышел в серо-синюю весеннюю ночь.

«Ну что ж, коли и казнят!» — подумалось скользом и совсем не задело сознания. Он пролез в избу, по дороге задвинув щеколду.

Наталья сидела на краю постели, уже в рубахе одной, без повойника, расплетая косы, и молча, жадно глядела на него, вздрагивая губами. По лицу у нее от света единственной свечи бродили тени, и не понять было, не то улыбается она, не то заплачет вот-вот. Никита стоял и смотрел, вдруг и совсем оробев. Она встала, легонько пихнула его в грудь: «Сядь, тово!» Наклонилась, стащила сапог с одной ноги, потом с другой. Он тут только покаял, что забыл положить в сапоги хоть пару серебряных колец. Выпрямилась и стояла перед ним, пока снимал платье и порты. Потом дунула на свечу и сама охватила Никиту руками за шею. Он понес ее, неловко уронил в постель. Вершил мужское дело свое, еще ничего не понимая, не чувствуя толком. Застонал после со стыда. Она гладила его по волосам, шептала с нежным бережением:

— Не сетуй, ладо! Родной мой! Все у нас будет хорошо! Думашь, мне легко... Тоже сколь ночей... Все была одна да одна... Верно ведь, в монастырь собиралась! И с тобою — долго не верила, что взаболь, а не так, как у иных...

Он уснул и к утру только, почти не разжимая глаз, вновь привлек жену к себе, доставив наконец и ей радость супружеской близости. После долго ласкал, дивясь и познавая ненавычное тело любимой, которую так долго хотел и ждал, что и верить перестал, что она — такая же, как и все, из плоти и крови, живая и земная, хоть и боярского роду. Жонка, жена, супруга, своя, родимая. И уже — навек.

Они пролежали, тихо беседуя, до света. Девка уже встала и настойчиво брякала посудою. Наталья легко вскочила, оправляя смятую рубаху. Накинувши летник и сунув ноги в чеботы, пробежала в баньку, вернулась свежая, умытая, с уже заплетенными косами, и тотчас принялась хозяйничать, приговаривая, что надобно содеять и то, и это, и третье...

— И к матери твоей надобно съездить нам обоим! А потом в деревню дареную — посельскому грамоту показать и самим... Може, и переедем туда зараз!

Никита фыркнул, кривая усмешка исказила лицо:

— Придет ли ищо и пожить-то?!

— Ты што?! — схватила его за уши, поворотя

к себе и крепко сжимая щеки ладонями, глядя круглыми распахнутыми глазами, выговорила: — И думать не смей! Да я тебя никому теперь не отдам! До великого князя дойду, в ноги брошусь!

Никита обнял ее, не стыдясь девки, утопил лицо, глаза, бороду в мягком, губами добрался до шеи. Целовал долго-долго, стараясь не всхлипнуть, не возрыдать. Что она могла, и что мог даже и сам Иван Иваныч во всей этой жестокой кутерьме!

Мать, на которую женитьба Никиты свалилась, как обрушившаяся кровля терема, взглядывала, значительно поджимая губы, совестилась избяного раззору и нечистоты, изо всех сил старалась не уронить и себя перед гостьей, тем паче, когда Никита объяснил, кто такая его жена. (Про дареную деревню мать, кажись, даже и не поверила.)

— Нать родичей собрать! — выговорила наконец. Но Никита отмотнул головою. Решительно вывел мать в сени. Объяснил, что под следствием, что неясен исход, что сам Вельяминов бежал из Москвы. Мать уже ровно ничего не умела понять, только опасливо хлопала глазами. Выговорила потерянно:

— Как же гости-то?

— С гостями погоди, мать! И не сказывай пока никому. Утихнет — приедем, справим свадьбу погодному!

Говорить матери, что его могут казнить, не стоило вовсе.

Митрополит все еще был во Владимире, и потому Никита, повестивши Матвею о своих делах, решил, не отлагая, съездить в деревню.

Коня запрягли в легкие санки, куда кинули только мешок овса. Сели вдвоем с Натальей. Никита вздел лучшее платье, закутал жену в просторный дорожный вотол. Прихватил саблю для всякого дурного случая.

Выехали затемно, и заночевать решили на пути, чтобы к месту приехать из утра. Над дорогою разноголосо орали птицы. Грело солнце, и Наталья, прикрываясь от летевшей в лицо снежной крупы из-под копыт, распахнула вотол.

Прозрачные, умытые и пронизанные солнцем стояли дали окрест, и окоем, как выехали за Москву, распахнулся во всю весеннюю невозможную ширь. Курились

розовыми дымами деревни, струисто разбегались поля, воздух голубел, и синел лес, и стадом сияющих белоснежных барашков текли по синему простору небес облака. Он оборачивался, глядел и видел близко розовое лицо со следами его поцелуев, простое, свое, близкое, словно сказочная княжна растаяла в отдалении лет, а рядом с ним сидела живая, задумчивая и веселая, земная вся, своя жонка, что будет мыть полы и стирать портна, нянчить детей и обихаживать скот и возьмет на свои плечи много поболе того, что и помыслить неможно было бы с тою, далекой и сказочной... Она кричит что-то, но бежит конь, и Никита, плохо слыша, наклоняет к ней ухо, и она, обнимая его за шею, повторяет, жаром овеивая ему лицо:

— Сына тебе рожу! Так и знай!

Деревня, подаренная Вельяминовым, была на отшибе. Сперва пришлось заехать в село с господским двором и разыскать посельского. Делу помогло то, что холоп бывал у Вельяминовых и встречал там Наталью Никитишну. Потому поладили быстро. Пригласили попа, прочли грамоту, выпили меду. Поп поздравствовал молодых, и Наталью Никитишну в особицу. (Понял лучше посельского, что вина тут — Натальина, а муж — сбоку припека, и без нее деревни бы ни в жисть не получил.)

После проехали с посельским до деревни. Собрали мужиков-хозяев со всех восьми дворов, пили пиво. Мужики крякали, присматривались к новому господину.

— Ты как ето: кормы станешь получать али жить у нас? — вопросил наконец вполседой кряжистый крестьянин, хитро и чуть насмешливо озирая Никиту.— Коли жить, дак енто, хоромы надо спроворить какинибудь!

Все еще не очень верили мужики, хотя и выслушали от посельского про вельяминовское подаренье. Тут же заспрашивали, как ныне станет у них с дорожною повинностью, погонят ли на городовое дело и надо ли, по прежнему уложению, возить лес?

С лесом вышла заминка. Посельский явно хотел, чтобы лес был вывезен. Но тут решительно вмешалась Наталья Никитишна, объявив, что лес будут мужики теперь возить во свою деревню на хоромы для нового володетеля. Посельский померк лицом, но смолчал. Наказы Василь Василича выполнялись свято, а о бегстве боярина на Рязань слухи еще не дошли.

Когда посельский, получив подарок и от подарка

несколько повеселев, уехал, Никита прямо объявил мужикам, что ежели они постараются, он и за лес частью заплатит, и на хоромном строении не обидит древоделей, кто станет хоромы рубить. А прослышавши про обещанное им серебро, мужики разом повеселели и уже без хитрых усмешек, придвинувшись вплоть, заговорили, перебивая друг друга. Серебро надобилось всем прежде всего на ордынский выход, и потому иногда нипочем шли и говядина, и хлеб, и лен — лишь бы выручить клятую ордынскую гривну, выручить и тотчас отдать, пополнив единою каплей тот непрестанный серебряный ручеек, что поил и поил до времени ханские города и гордых вельмож ордынских, а также и русских князей, покупавших тем серебром благорасположение татарских беков и самого хана.

Поладивши и урядив с мужиками, заночевали в избе у старосты. Лежали на полу, на овчинах. От хозяйской постели заботливая Наталья отказалась, не пожелав знаться с въедливыми насекомыми.

Никита лежал, уместив голову жены себе на плечо, и думал, вспоминая пологий склон неширокой речки, избы, раскиданные по косогору там и сям, остов испорченной водяной мельницы, близкий березовый и еловый лес на той стороне — всю эту небогатую, незвонкую природу, без больших, открытых взору пространств, высоких речных крутояров, красных медноствольных боров... Впрочем, и бор был, но, как ему пояснили, дале по берегу.

Ну, что ж! Он еще не любил, не мог пока полюбить эту землю. Да землю-то, и самую красивую, любят не столь красоты ради, сколь в меру труда и забот, вложенных в нее тобою самим!

«Нынче поставить сруб да мельницу поправить... Что я! — осадил он сам себя.— Може, и не вернусь сюда? А Наталья?» И, отогнав ревнивую мысль о том, что Наталья вдругорядь выйдет замуж, заставил себя думать об обещанном сыне, об этом мальчике, которого он, возможно, и не увидит в глаза, который пройдет босыми ножками по этой земле, станет потом ловить в речке сорожек, гонять в ночное коней и, может быть, вспомнит когда и о том, что у него был такой непутевый отец, Никита Федоров, сложивший голову в боярской жестокой борьбе.

Наталья уже спала, прижавшись к нему и тихо посапывая. Он не стал ее будить, осторожно повернулся

на бок и погоднее натянул овчину на плеча. Скупая слеза невесть с чего скатилась у него по щеке, защекотавши ухо. «Ну, ты!» — одернул сам себя Никита, но еще долго лежал, слушая сонную тишину избы, и ворчанье скотины за стеною, и тонкий мышиный писк, и лишь когда Наталья, не просыпаясь, забросила ему руку на шею и крепче прижалась к его груди, у Никиты отлегло, отвалило наконец от сердца, и он уснул.

Назавтра месили снег и воду на полях, искали место для терема, сговаривались погоднее с мужиками, хлопали по рукам. А еще через день, отягощенные деревенскими дарами: поросенком, битою птицей, двумя мешками с мукою и крупой, корзиною яиц, кадушкою масла и несколькими кругами белого деревенского сыру, они уезжали назад, в Москву. Деревенские вышли провожать Никиту. Бабы присматривались к Наталье Никитишне, мужики щупали глазами своего нового господина, мяли ему руку медвежьими пожатьями, прошали, когда сожидать. Никита точного дня не называл, отговариваясь службою. Наконец отъехали. Из негустой толпы крестьян еще долго махали вслед платочками бабы.

В Москву Никита с Натальей воротили (не подгадывали, получилось так) в один день с митрополитом Алексием.

— Кто же он? — вопросил Андрей Акинфов.

— Кто убийца? Кто?! — раздались голоса прочих бояр. И князь Иван Иваныч, бледнея, тоже оборотил лик к Алексию, заранее набираясь духу, чтобы вынести смертный приговор.

Алексий глядел на них на всех и думал, думал о том, как обрадуют они все: и Андрей, и Дмитрий Афинеев, и Зерно, и даже его родные братья вздохнут свободно, разве один Семен Михалыч, переживший с ним, Алексием, и Царьград, и гибельную бурю на море, сожалительно воздохнет о молодце, и как станет счастлив Иван Иваныч, что все так хорошо кончилось, не задевши никоторого из бояр великих...

— Убил Алексея Петровича простой ратник, Никита именем, сын Мишуков, внук Федоров. Сам убил, никем не наущаем!

Бояре глядели недоуменно, переглядывались, и лишь

один Семен Михалыч как будто догадывал, о ком идет речь, но и то не мог припомнить ясно, не представлял, не видел зримо образа преступника.

Алексий помолчал еще, отвердел ликом. Строгим темным взором обвел собрание вятших господ, хозяев Москвы. Повторил:

— Убил сам! Но дело сие, нами исследованное, оказалось зело не простым.— Он еще помолчал и докончил сурово и твердо: — А посему, полагаю, не подлежит суду мирскому, но токмо духовному. Властью, данною мне Господом, беру преступника на себя, в дом церковный, в услужение митрополичьему дому из рода в род. От вас, господа, сожидаю я согласия или протеста решению своему.

Первым благодарно склонил голову Семен Михалыч. Затем — осторожный Дмитрий Зерно. Недоуменно глянув на старшего брата и пошептавши между собой, Феофан с Матвеем тоже согласно склонили головы. Дела об убийствах принадлежали княжому суду, но Иван Иваныч торопливо и обрадованно закивал — его устраивало всякое решение, слагающее с его плеч груз крови и власти. Оставшиеся в явном меньшинстве Афинеев с Андреем Акинфовым, помедлив, с неохотою согласились тоже.

Так ничего еще не подозревавшему Никите Федорову была подарена жизнь, а с нею — потомственная, из роду в род, служба митрополичьему дому. Деревня, которую подарил ему Вельяминов, становилась теперь митрополичьей собственностью и уже от митрополита была вновь уступлена Никите на правах потомственного держания в уплату за службу. Так что и строить дом, и заводить хозяйство на новом месте Никите Федорову все же пришлось.

Летом уладились все княжеские дела. И только лишь с тверским владыкою Федором Алексий так и не урядил.

В июле пришло послание из Сарая. Заболевшая Тайдула вызывала своего молитвенника, «главного русского попа», чтобы он излечил ее от глазной болезни. Поездка была и нужная, и срочная, тем паче, что уже дошли слухи о грозных переменах власти в Сарае. Восемнадцатого августа Алексий отбыл в Орду.

V

ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ

Пятнистая тень листьев лежала на узорах камня. Плотные темно-зеленые изразцы в голубой, белой и коричневой перевити трав затейливыми восьмигранниками покрывали серо-желтую стену айвана. Легкий, умирающий от жары ветерок едва шевелил ветви, и тогда тени листьев причудливо бродили по плитам мощеного двора, политым водою ради прохлады и уже просыхающим.

Джанибек откинулся на подушках, протянул руку к серебряному подносу с сизыми кистями винограда, отламывая, клал в рот терпкие сладкие ягоды. В Тебризе все было сладким, приторно-сладким: музыка, танцы едва одетых в прозрачный индийский муслин девушек, розовое сладкое вино. Только эта разрисованная травами, ослепительная на солнце глазурь не кажется сладкой. Мечети Тебриза, и верно, были величественны — и соборная Масджид-и-Джами, вся в роскоши резного мрамора, и Устад-Шагирд, и мечеть Таджад-Дина Алишаха, возведенные совсем недавно, так же как и вместительные караван-сараи, бани и крытые круглыми куполами полутемные торговые ряды.

Он решил остановиться не в самом городе, раскаленном и пыльном, несмотря на сады и сотни кягризов, подводящих воду, а здесь, в Шаме, как называют этот пригород жители, или Шанб-и-Газане, как говорят ученые — улемы, и теперь сидит в редкой тени не дающих прохлады листьев и смотрит на величественный мавзолей Газана, высовывающийся из-за невысоких узорных стен с башенками. Эти стены никто не защищал, и сами они скорее защита от толпы, от лишних глаз, чем от вооруженного противника.

Джанибек смотрел, щурясь, на восьмигранники, строгий и прихотливый узор которых врачевал ум, приводя его в состояние тишины, и медленно ел виноград, запивая розовым ширазским вином. Он ждал.

Мелик Ашраф был плохой полководец. Он не задержал его войско на Куре или в теснинах Кавказа, дал проникнуть в Азарбайджан и встретил уже тут, под Тебризом, у города-сада Уджана. Встретил — и был наголову разбит. Часу не выстояли его воины в сече. Уджан был разграблен, вытоптаны прихотливые луга,

изломаны деревья и кусты, от золотой палатки и трона не осталось ничего. Джанибек дозволил соратникам грабить ханский дворец Ашрафа. Теперь воинам роздано золото из сокровищ, награбленных недальновидным тираном, и воспрещено грабить жителей — пусть покупают продовольствие и корм для лошадей у тебризцев за деньги. Это поможет хоть что-то вернуть ограбленному Ашрафом населению.

Мелик Ашраф бежал в Хой, и за ним послана погоня.

Джанибека уже поздравляли улемы, кади сказал с минбара в мечети цветистую проповедь, а Бердибек, его сын и наследник, коего он мыслит оставить управлять Арраном и Азарбайджаном, тратит себя на пиры и пробует всех подряд красавиц захваченного гарема.

Ему, Джанибеку, еще нет пятидесяти лет, а плоть уже не требует тех радостей, которые приносят женщины. Здесь ему приводили юных, словно едва распустившийся бутон, розовокожих танцовщиц с глазами испуганных газелей, привели черную негритянку с огромными выпяченными губами, в переднике из серебра и открытыми твердыми, словно вырезанными из черного дерева, грудями — и даже она не развлекла его, хотя и танцевала перед ним бесстыдно, и отдавалась ему с жадною пылкостью молодой изощренной самки...

Улемы говорили о боге, о вечности, о жизни и смерти. Наверно, то же самое говорили и Газану, чей мавзолей высится там, в отдалении...

Наверно, если бы он был молод, то захотел оставить за собою Арран, оставить за собою и этот величественный город. А теперь его даже не тянет слушать стихи и внимать мудрым речам улемов и сладкоречивому кади. Теперь он видит, что они его не хотят и позвали, чтобы только сокрушить Ашрафа.

Солнце плавилось в зените, ощутимо тяжелые горячие золотые копья его вонзались в землю, в камни и глину, заставляя слепительно, до боли в глазах, сверкать раскаленные изразцы, клонили долу пыльную, пожухлую от жары листву... Пыль!

Сияли людям зори и до нас,
Текли дугою звезды и до нас,
В комочке сером праха под ногою
Ты раздавил сиявший, юный глаз.

Кажется, они все — эмиры и ханы Тебриза — проводили осень в горах...

Часу не стояли его ничтожные воины! И это после Абу-Саида, остановившего все войско Узбека с двумя тысячами всадников!

Смутную тревогу почуял он вдруг, пошевелясь на своем ложе, помыслив об этом удивительно легком разгроме Ашрафа. Хорошо ли, что при потомках великого Хулагу Персия столь и вдруг ослабела? Где сила монголов? Прийти с ратью мог и иной, а не только он, Джанибек! Впрочем, Мелик Ашраф — захватчик, сместивший законного хана, собака, притворившаяся волком...

Джанибек вздохнул и принялся за новую кисть. Вино уже делало свое дело, затуманивая мозг и окутывая все розовым прихотливым туманом... Молодым он, может быть, остался бы и сам навсегда в Тебризе! Но пусть Бердибек заменит отца. Пора юноше становиться мужем, а гуляке — правителем страны!

Джанибек прикрывает глаза. Вновь подошли музыканты, с поклонами уселись за краем ковра, на циновках. Тоненько запела флейта. Юноша начал вторить ей, закатывая глаза и играя голосом. Джанибек слушал стихи на непонятном языке, раз или два просил перевести ему, что поют. Оказалось, пели о любви и разлуке:

Тоска и боль О, дни свиданья! Остались мне от этих дней
Скользящий ветерок в ладонях и прах на голове моей

Джанибек слушал. Солнце смещалось над головою, и стены начинали отбрасывать тень. Сегодня ему должна прийти весть из Хоя. Обязательно сегодня. И ежели не придет — он послезавтра сам выступает в Хой!

Он не верил, что Мелик Ашраф, потеряв войско и сокровища, станет сопротивляться ему. Опасаться следовало нежданных союзников Ашрафа.

Нукеры уже дважды сменялись, и теперь по краям ковра стояли иные, почти незнакомые ему и, возможно, набранные Бердибеком. Подходило время молитвы, и Джанибек безразлично, думая совсем о другом, омыл лицо и руки, прополоскал рот и сотворил намаз.

Наконец послышался топот многочисленного конского отряда. Он дал знак уйти музыкантам и танцовщицам, принял пристойный вид. Усилием воли прогнал хмель.

Воины входили в сад запыленные, усталые. Ото всех пахло конским потом, и Джанибека потянуло домой, в степь. Он хотел спросить вступивших в сад

нойонов, поймали или нет беглеца. Но спрашивать не пришлось. На веревке втащили и бросили к его ногам жирного человека в порванном и пропыленном насквозь дорогом платье, со связанными назади руками. Джанибек с легкою гадливостью разглядывал толстое лицо с грязными дорожками от стекавшего пота, выпученные бегающие глаза. И от этого человека, столь похожего на мясника, стонала вся Персия?

— Встань перед повелителем вселенной! — напыщенно произнес начальник стражи, дергая за веревку.

Мелик Ашраф оглянулся затравленным зверем. При виде винограда и кувшина с вином у него заходил кадык. «Пить!» — хрипло потребовал он.

Джанибек чуть кивнул разрешающе головою, и нукер, подняв плеть, изо всей силы опустил ее на спину Ашрафа.

— Встань, собака! — повторил старший над стражею.

Бегающие глаза Ашрафа утвердились наконец на лице Джанибека, гладком, монгольском, казалось, вне возраста и времени, слегка улыбающемся лице. Плеть поднялась снова, змеисто оплетя плечи узника. Ашраф рыкнул, как забиваемый бык, и вскочил на ноги.

— Кланяйся!

Третьего удара плети уже не понадобилось.

И этот человек разорял и убивал тысячи и тысячи граждан своей страны только для того, чтобы присваивать себе их имущество!

— Пить? — переспросил Джанибек.

Грубо расталкивая столпившихся воинов, подошел запоздавший Бердибек. Поглядел хищно, раздув ноздри:

— Поймали Ашрафа?

Джанибек ответил сыну легким кивком головы. Задумчиво глядя на потного, грязного, вонючего пленника, оторвал и положил в рот виноградину.

— Угощают и чествуют гостя! — сказал.

И Ашраф, судорожно проглотив густую слюну, опустил голову.

— Я мог бы тебе предложить выпить блюдо золотых монет! Или, расплавив золото, влить его тебе в глотку, а, Ашраф? Лучшего употребления для награбленных сокровищ ты сам все равно не сумел бы придумать!

Толпа огустела. Подошли старейшие улемы, явились сам кади и главы города. Все они смотрели на пленного Ашрафа с жадным и опасливым удивлением.

Джанибек медленно отщипывал виноградины одну за другой. Оглядел своих нойонов, готовно взиравших на повелителя. Произнес наконец:

— Он не достоин почетной смерти без пролития крови, которую даруют благородным мужам. Не заслужил ее!

Нойоны склонили головы. Тебризцы гадали, что будет, кутая руки в рукава халатов и ожидая решения повелителя Золотой Орды.

— Стащите его к канаве и перережьте горло! — приказал Джанибек.

Нукер сильно дернул сзади за веревку. Ашраф выкатил кровавые бессмысленные белки, прорычал что-то неразборчиво, раздирая черный пересохший рот. Его, упирающегося, поволокли со двора, как барана.

Скоро визг и хрип послышались там, за стеной, и палач внес отрезанную голову Ашрафа, с которой еще капали густые темные капли, расплющиваясь о плиты двора в маленькие темно-красные солнца. Показал с поклоном Джанибеку, потом, обернув лицом, всей толпе воинов и придворных, заполонивших двор. Ропот, единый вздох прошел по толпе. Джанибек слегка склонил чело и положил в рот еще одну виноградину.

Голову унесли. Что-то бормотали, кланяясь в пояс, улемы. Бердибек пошел следом за головой, верно, еще не насытясь жестоким зрелищем.

Джанибек не слушал улемов, задумчиво глядя на тоненькую кровяную дорожку, темнеющую прямо на глазах. Явился раб с кувшином воды и шваброю, которой начал, поливая водой, чистить камни двора.

Джанибек положил в рот еще одну виноградину, и вдруг его всего передернуло от резкого, мгновенного ощущения кислоты.

Он отпустил улемов, из уважения приложив на прощание руку к груди, и, пока расходились его воины, нойоны и стража, продолжал сидеть на подушках, выпрямившись и полузакрыв глаза.

К вечеру духота становилась решительно невыносимой. Он вновь посмотрел на безупречные узорные восьмигранники ковровой стены, на эту совершенную рукотворную красоту райского сада, сада невозможной мечты, приснившейся истомленному жителю пустыни,

на ряды узорных айванов, прекрасных и таких чужих для него, и понял, что надо скорей возвращаться к себе в Сарай, в степь, иначе этот жаркий рай обессилит его и убьет. К тому же теперь, после казни Ашрафа, ему в Тебризе стало уже совсем нечего делать.

В Сарай на этот раз Алексий отправился на корабле. Путешествие водою сулило телу покой, потребный для молитвенного и иного сосредоточения.

Что надобно, дабы излечить человека от неизвестной тебе болезни? Излечить болящего, коему не сумели помочь многоумные арабские врачи? Излечить царицу, от коей при успехе или неуспехе лечения зависит твоя судьба и — более того — судьба русской церкви, а значит, судьба всей Руси?

Господь требует от верных своих не токмо веры, но и дел. И дел — прежде всего. (Об этом — половина евангельских притчей!) Человек должен до предела напрячь усилия свои и при этом еще и верить.

Ленивые (или те, кто принадлежит к угасающей нации) полагаются обычно на нехитрое правило: «Бог даст!» (И ежели не «дает» — начинают сомневаться в Боге.) Алексий был человеком рассветной поры. Он деятельно собирал лекарства. Продумывал заранее, как приуготовить мнение народное. Вспоминал греческие схолии, прослушанные в Цареграде. Всего этого требовал от него Господь, велящий неукосневать в трудах.

Было чудо. Сама собою загорелась свеча в церкви. Свечу эту он, Алексий, раздробив, раздал народу, и о том повестили по всем храмам Москвы. Были иные приготовления, о коих столь широко не разглашалось и не записывалось во владычном летописании. Лучшие целители русских монастырей, которым не раз приходилось лечить трахому и нервную слепоту, помогали Алексию. Пригодилась и греческая наука, труды Галена и Гиппократа, великих мужей древности, с книгами коих он знакомился в Константинополе.

Перед самым отъездом пришел монашек из-под Боровска, стараниями Алексия тихо присоединяемого к Московскому уделу, с мазью, полученной им из каких-то особых лишайников и мхов. И хотя секрет мази был перенят от колдуна-язычника, Алексий, помолясь, принял и это средствие, сверхчувственно догадав о спасительной силе незнакомой целебной смеси.

Но и лекарство еще не все и порою даже не главное в излечении болезни. Главное — это сам врач, его состояние, его воля, его умение ободрить больного и велеть тому, заставить выздороветь. И для ниспослания этой-то, данной свыше, силы врачевания, проще сказать — для укрепления духа своего, Алексий молился в продолжение всего долгого пути до Сарая.

Проходили рыжие осенние берега, а он молился. Ставили косой парус, ловя ветер, или опускали в воду весла — митрополит был нем и недвижен, он беседовал с Господом. И текла река, и шли дни, приближая час его славы или позора...

«Дай, Господи! Не мне, не мне! Но земле моей и языку русскому!»

В каждом деле, труде, подвиге, в каждом замышлении человеческом всегда есть частица неуверенности: выйдет, не выйдет? И воин на бою или в поединке подчас вдохновляется как раз этою неуверенностью сражения, сосредоточивая волю свою к одолению на врага. В каждом деле, в каждом труде... Но вот когда даже нельзя сказать обрядовых слов: «Победить или умереть», когда и умереть-то нельзя, неможно, а надобно токмо победить, вот это-то и есть самое страшное, самая главная труднота, и тут-то и нужна, надобна,необходима духовная укрепа, даваемая молитвой и верой.

Станята, и на сей раз ехавший вместе с Алексием, чуя святительскую трудноту, как цепной пес охранял владыку от надоедливого внимания клирошан прежде всего. И Алексий то взглядом, то кивком головы благодарил своего придверника.

Миновали Коломну, прошли Переяславль-Рязанский, выплыли к Нижнему. Вот уже и Нижний Новгород исчезает за кормою паузка, и тянутся справа горы в шубе красных боров, а слева — широкая луговая сторона. Кормчий не отпускает прави́ла — не сесть бы невзначай на песок! Волга сильно обмелела, и тут нужен глаз да глаз.

Трепещет, чуть посверкивая, теплый воздух, слоисто перемежаясь с речною влагою, тянут над головою птичьи стада. Повар в маленькой поварне на носу паузка стряпает очередную трапезу. Кто-то из корабельных, закидывая с борта уду, успел натаскать на уху крупных стерлядей. Течет мирная жизнь, и текут и текут, расступаясь все более, берега великой реки. Скоро Сарай!

В столице Золотой Орды Алексия встречают. Гонец, загодя посланный посуху, предупредил уже царицу Тайдулу и обслугу русского подворья.

Чалят паузок, выдвигают шаткие мостки так, чтобы можно было прямо с корабля соступить на сходни, сводят под руки. Весь берег в народе: тут и знатные татары, посланные царицей, и толпа купцов, ремесленников, рабов в рванине и опорках. И всем надобно получить благословение митрополита, посланное хоть издали. И он благословляет, и крестит, и наконец-то соступает на берег и идет к возку, поставленному на колеса, недоумевая оглядывает толпу и берег: отчего так тревожно-неуверенны встречающие его и что и с кем произошло? Жива ли царица? Воротился ли хан из Персии? Пахнет жаркою пылью, овцами, рыбой, пóтом и грязью собравшейся толпы.

Только дома, в горницах русского подворья, Алексий узнает местные новости. Царица жива и ждет его к себе. Хан воротился, но сейчас находится за городом, он болен, и к нему никого не пускают. За Бердибеком послано. Шепотом сообщают ему и причину болезни хана — безумие.

Станята поздно вечером, побегавши по Сараю и все разузнав, уточняет:

— На пути от некоего призрака занемог и сбесися! А теперь улемы держат хана, яко плененна, и даже тебе, владыко, показывать не хотят. Може, и лечить не думают, бог весть! За Бердибеком, вишь, послано... Как бы замятни какой не стало на нашу с тобою голову, владыко!

Тупую боль в затылке, которая усиливалась, когда он поворачивал голову, Джанибек почувствовал еще в Тебризе. Думал, это от жары и пройдет, едва они выедут в степь. Но пока пробирались горными дорогами на Шемаху и Дербент, ему становилось все хуже и хуже. Хан крепился, с трудом, но подымался по утрам, влезал на коня. Где-то за Тереком он уже не мог ехать верхом, и его везли в связанных кошмах, одвуконь. Джанибек временами бредил; приходя в себя, просил вина. Пока пил, голову не так раскалывало болью. Мешало только то, что он начал видеть мертвых, путая их с живыми. Являлся покойный русский князь Семен, и был он черный, и сам объяснял, что почернел от черной смер-

ти, чумы, и удивлялся, почему и он, Джанибек, не умер вместе с ним. Являлся суровый, недоступный Тинибек, с сомкнутыми глазами, и постоянно маячил перед взором несчастный, трясущийся Хыдрбек, со взглядом пойманного степного зайца. Он являлся всегда, маячил перед конями, сидел рядом на кошмах и говорил, говорил, говорил, всегда неразборчиво и жалобно.

Прошлое преступление, отодвигаемое им все эти долгие годы, явилось к нему теперь и требовало расплаты. И Джанибек скрежетал зубами, перекатывал горячую голову по кошмам, кричал, что он был добр и всегда, всю жизнь преследовал зло! А Хыдрбек жалко улыбался и продолжал глядеть на него загнанным, заячьим взором.

Очнувшись, Джанибек видел испуганные лица слуг, молчал, требовал опять и опять вина, не догадывая, что тем самым губит себя, что у него уже белая горячка и ему надобно прежде всего бросить пить...

Сумрак сгущался все более. По пыльной выжженной степи катались пылевые вихри. Войско, растянутое на десятки верст, проходило эти безводные земли редкими отрядами, чтобы не погубить коней. В ставке хана было совсем мало воинов. Джанибека опустили на землю, готовили дневку. Кони зло грызли сухие ломкие стебли трав. Скудный источник солоноватой воды едва сочился, не в силах напоить даже воинов.

После не могли установить, кто первый крикнул: «Кара-чулмус!» Темный пылевой смерч шел прямо на становище. Воины попадали на землю, кони сорвались с привязи. Вокруг хана, уложенного в кошме на жесткие травы, не осталось никого.

Он слышал крик «Кара-чулмус!» неясно, не понимая, не в бреду ли это ему кажет? Высокий-высокий, подобный вытягивающемуся кресту странник с лицом ифрита возник перед ним — и это был ужас. Джанибек глядел на него, вцепившись пальцами в кошму, а тот тянулся, тянулся и тянулся ввысь, перечерчивая небосвод, и бились, извиваясь в муках, погубленные им братья, и кто-то вопил его, Джанибековым, голосом, а видение вспухало, изгибалось, наваливаясь и удушая, и что-то начинало приподымать его с земли, и плотно залепляло нос, не дозволяя дыхания, и он кричал и бился, уже не слыша голоса своего, и все это длилось, длилось, длилось... Уже пришедшие в себя нукеры, переловив разбежавшихся лошадей, воротились к покинутому

огню и шатру, валявшемуся на земле, и столпились со страхом вокруг истерзанной кошмы, на которой рычал и бился, безумно закатывая глаза, с пеною на губах их повелитель, и когда его пытались поднять, стал грызть руки, почти откусил палец одному из воинов, бормотал про какого-то ифрита или самого Иблиса, и тогда нукеры поняли, что кара-чулмус вселился в ихнего хана.

Джанибека связали, укутали в кошму, оставив снаружи одно лицо для питья и дыхания. Ему уже не давали вина, но только мутноватую воду из источников, и в опор погнали коней. Довезти бы хана живым до дому, иначе — смерть!

Так, перепеленутый словно дитя, опрелый, в моче и кале, безумный хан был доставлен в Сарай.

Джанибека порешили не перевозить в город, оставили в одной из ханских юрт. Обтерли уксусом, переменили ему платье. Эмиры совещались друг с другом, все ждали Бердибека. Тавлубий разъезжал важный, старый, с многочисленною вооруженною свитой. В самом сгущенном горячем воздухе запахло близкой резней.

Мусульманские улемы толковали вполголоса, что Аллах покарал хана за веротерпимость и снисхождение к иноверцам. Хотя больной Джанибек и бормотал в бреду имя Алексия, но главного урусутского священника к больному воспретили пускать под любым видом.

Полуслепая Тайдула тоже была едва допущена в шатер к мужу. Он не узнавал ее, и она ничего не могла поделать, от жестокой рези в глазах даже и увидеть Джанибека не могла, а его бормотание, вопли и зубовный скрежет едва совсем не доконали больную царицу.

Улемы ведали, что и для чего они делают. Приезд Алексия был для них совсем некстати. Ежели бы митрополит сумел излечить и царицу и хана, те, возможно, захотели бы стать христианами, а тогда... И потому, загоняя коней, мчали гонцы за Бердибеком. Лучше этот жестокий и развратный (но зато преданный исламу!) правитель, чем крушение всего дела правой веры в Орде!

Вот в эти-то тревожные дни, среди молитв, ненависти и зловещих предзнаменований, и прибыл русский митрополит Алексий в Сарай.

Два дня его не допускали даже к Тайдуле, но наконец болящая царица, видимо, сумела настоять на своем, и Алексий с четырьмя спутниками, среди которых был и Станята, отправился во дворец Тайдулы.

Пестрый, весь в цветных изразцах, невысокий и раскидистый дворец старшей жены Джанибека стоял среди роз и плодовых деревьев, высаженных рядами. Сама царица помещалась в саду, в белой юрте, среди своих служанок и рабынь.

Ворота дворца охраняла усиленная стража, а в приемной зале Алексия встретили несколько густобородых шейхов, один из которых, назвавшись имамом, потребовал передать ему лекарство для царицы. Алексий чуть улыбнулся и ответил через переводчика, что главным лекарством его является христианская молитва, которую должен произнести именно он, Алексий, и знак креста. Улемы начали взволнованно и злобно препираться друг с другом, но тут в сводчатую палату быстрыми шагами вошел вооруженный сотник царицы с двумя нукерами, и улемы с ворчанием расступились, как стая голодных псов.

Вышли в сад, одуряюще благоухающий, полный цветов. Поздние сорта роз роняли шафранные лепестки на дорожки. Щебетали попугаи — словно бы лилась и лилась вода. Русичей подвели к красным, украшенным резьбою и покрытым плотным китайским лаком дверям большой и широкой юрты из снежно-белого войлока. Алексий думал, что тут его испытания окончатся, но в юрте, разгороженной пополам, с тронным возвышением в передней части, скупо освещенной сейчас светом из круглого отверстия в крыше, к нему двинулся, преграждая дорогу, длиннобородый врач-таджик и объявил опять, что может дозволить врачевать царицу только в своем присутствии, при этом он должен проверять каждое лекарство урусута, так как отвечает за жизнь и здоровье госпожи. Сотник стоял в нерешительности, и они бы еще долго препирались, но, заслышавши голос Алексия, Тайдула сама позвала русского попа к себе.

Приветствовав царицу и мимолетно ужаснувшись ее лицу с распухшими, изъязвленными веками, почти сомкнутыми и покрытыми гноем, Алексий твердо потребовал удаления врача и вообще всех, кто может помешать лечению.

— Я не присутствовал здесь, царица, когда твой

врач лечил тебя, и не проверял его лекарств. После того, как он не сумел помочь тебе и ты послала за мною, пусть и он уйдет и не мешает мне лечить тебя, ибо первое условие врачевания — доверие к лекарю!

Тайдула покивала коротко, велела что-то сотнику, и врач-таджик исчез так же, как и густобородые улемы.

В задней части юрты было тесно от кованых сундуков, громоздящихся друг на друге, пестрых подушек, одеял, узорных кошм, сосудов, курильниц и светильников, видимо, зажигаемых к вечеру. Рабыни с завешанными черным муслином ртами суетились, позвякивая браслетами.

Алексий, внимательно разглядывая царицу, не спешил доставать свои снадобья. Вопросил, пользовалась ли царица дареною чашей. Тайдула со смущением призналась, что чашу отобрали у нее улемы, когда ей стало совсем плохо.

— Сомневающемуся в силе креста лучше вовсе не прибегать к нему, чем, прибегнув, отбросить святыню и тем гневить Господа! — с мягкою строгостью выговорил Алексий и продолжал: — Дочь моя! Заступничество высших сил со мною, и с помощью божией я излечу тебя. Но токмо в том случае, ежели ты полностью доверишься мне и отвергнешь все иные средства и способы, ибо дело, требующее одного и единого, неможно делать двоим и по-разному!

Тайдула подумала, кивнула наконец головой.

— Я верю тебе! — сказала, и в голосе, растерянном, угнетенном болезнью, просквозили прежние воля и власть.

— И прошу тебя, госпожа, будь тверда и не переменяй отныне решения твоего! — с настойчивостью повторил Алексий.— Знай, что я мог бы тотчас и враз помочь тебе, но надобно сперва исправить те ошибки, которые допустили другие, те, кто пользовали тебя доселе, и потому будь терпеливою, госпожа! И скажи еще раз, еще раз повтори, что веришь и доверяешь мне, молитвеннику твоему, и будешь слушать токмо меня и со смирением принимать всяческое лечение!

На опухшем лице Тайдулы явилась вымученная улыбка:

— Мне делали даже примочки из ослиной мочи на глаза, и чего еще только не творили со мною, урус! Лечи, я буду слушать тебя и даю в том свое царское слово!

Теперь уже ничто не мешало врачеванию, и Алексий приступил к делу. Была раскрыта и водружена походная божница. Алексий преклонил колена и помолился сам. Потом окропил Тайдулу, промыв ей глаза святой водою, и, посадивши перед собой и возложив ей руки на голову, начал читать долгий молебный канон.

Странное чувство испытывал он, когда, возложивши руки на голову этой нравной и властной, а ныне смиренной пред ним женщины, по сути, приобщал ее, язычницу, ко Христовой благодати. И чувство это передавалось, видимо, и присмиревшим рабыням, что робко сидели в углу, блестящими черными глазами пугливо и любопытно разглядывая строгого христианского наставника в отделанной золотом ризе, что произносил отвычные слова, называя пророка Ису и его мать Мариам из святой книги Инджиль и совсем не упоминая при этом Магомета.

Тайдула постепенно успокаивалась. Алексий чувствовал руками, как опадает напряжение в членах царицы, как спадает жар тела, и почти не удивился тому, что по окончании молитвы царица едва сидела и была вся в полусонной дреме.

— Ты усыпил меня, русский поп! — пробормотала она.

По знаку Алексия служанки подняли госпожу, уложили на постель. Он, легко касаясь ее вспухших век, наложил мазь. Выходя в то время, как спутники складывали божницу и убирали священные предметы, вызвал сотника и, строго повелев никого не пускать к больной и проверять, пробуя всякую еду и питье, которые ей будут подносить, сказал, что оставляет для надзора одного своего спутника (он указал на Станяту) и ежели царице вдруг станет плохо, то он сможет и помочь ей, и вызвать его, Алексия.

До утра Алексий спокойно спал в княжеской горнице русского подворья, а для Станяты это была самая хлопотливая ночь. Во-первых, не ведали куда его поместить, ибо в юрте царицы мужчинам под страхом смерти нельзя было оставаться, а уходить куда-нибудь далеко Станька отказался наотрез. В конце концов ему поставили черный походный шатер в саду, невдали от ханской юрты, откуда он и лежа мог видеть всякого, входящего в сад. Принесли поесть, и Станька, подложив под голову кулак, забылся чутким, вполглаза, сном.

Впрочем, спать ему пришлось недолго. «Урус,

урус!» — тихо позвали его, едва Станька начал видеть какие-то невозможные, ни на что не похожие сны. Вздрогнув, он приподнялся на локте, ощупал нож на поясе и банку с мазью за пазухою. То и другое было, к счастью, на месте.

— Урус, урус! — позвали снова из-за шатра. К его лицу, звякнув, упал тяжелый кожаный мешочек, явно с диргемами. Станята отозвался, не трогая кошелька, и весь подобрался, ожидая, что будет дальше.

— Урус, урус! — продолжал звать робкий голос из-за шатра.

— Сюда пойди! — отозвался он по-татарски. Из-за шатра показалась голова в мохнатой бараньей шапке, потом выполз и весь человек — небольшого роста, закутанный в широкий халат. Станька напрягся, освобождая нож из ножен. Человек юркнул к нему и присел, дрожа и оглядываясь:

— Пусти к себе!

Только когда незнакомец пролез в шатер, Станька понял, что перед ним не мужик, а баба. Девушка скинула шапку — заплетенные в мелкие косички черные волосы рассыпались по плечам,— вынырнула из-под халата и вся приникла к нему, дрожа и ощупывая Станяту руками.

— Бери меня, бери! — шептала она. В Станьке было колыхнулась дурная горячая кровь (редко бывает, чтобы так вот беззаветно отдавалась тебе юная незнакомая красавица!), но он, уже теряя волю, поднял глаза, и что-то, может быть глубокая тишина или лик луны, которая глядела прямо в отверстие шатра, оцепенив розовый сад смутным, тревожным сиянием своим, отрезвило его, приведя в чувство. И показалось тотчас, что там, за шатром, еще кто-то есть и этот кто-то ждет и жаждет его падения. Он крепко ухватил девушку за косы, отогнул назад ее голову, увидел полузакрытые кошачьи глаза и хищный маленький оскал и опомнился окончательно.

— Ты кто? Зачем пришла? Говори, ну! — сердито потребовал он вполголоса. Она рванулась было, но Станька держал крепко и за волосы, и за два сжатых вместе запястья. Тогда она заплакала, зябко вздрагивая узкими плечами:

— Не хочешь меня — серебро бери, бери золото, ну! — сказала.

— Зачем? — вновь вопросил Станята.

— Мазь дай! — попросила девушка, приоткрывая глаза.

Да, конечно, за палаткою кто-то был, там раздалось и смолкло в этот миг чуть слышное шевеление.

— Дай лучше! — просила она горячим шепотом.— Не то тебя убьют или отравят! И меня убьют тоже! — примолвила девушка, заметивши, что Станьку не очень испугала угроза.

Станята лихорадочно думал — придумать надо было тотчас и безошибочно, ибо иначе его и в сам деле не сегодня завтра убьют, и Алексию он тогда ничем уже не поможет.

— Слушай, дурочка! Пожалею тебя — так и быть! — ответил он наконец.— Никакой особой мази нет у нашего попа, только святая вода да молитвы, и еще вот только... Можжевельник знаешь? Такие черные ягоды на нем? — Она отрицательно покачала головой.— Ну, запомни, словом, можжевельник, потом болиголов...— Станята врал вдохновенно, стараясь называть новые и новые растения, коих не достать было в степи. За палаткою внимательно слушали, запоминая.— Все это растереть, высушить сперва, и с барсучьим салом перемешать. Барсук, барсук, зверь такой, знаешь ли?

Она кивнула головою.

— Ну вот! Этою мазью и мажут у нас глаза. А потом мочой, только не ослиною, а мочой от стельной коровы, и ту мочу квасят двадцать дней, мешают с растопленным коровьим маслом и пропускают через мох, после два месяца кряду подержат, так вот ентим ищо. И боле ничем не пользуют у нас! Поняла? Запомнила? Ну и беги! Грех мне с тобою принять нельзя! Узнают — убьют! Беги!

— Серебро возьми! — шепнула красавица, змеей выскальзывая из шатра, подгоняемая Станятой. А тот, только вытолкав ее вместе с халатом и шапкою из шатра, почуял до конца, сколь лакомой должна быть эта сговорчивая девушка, и даже крякнул от сожаления, впрочем, и порадовал себе. Те, за шатром, ему явно бы не дали отведать сласти.

Спать после всего этого смысла уже не имело. Станята сел, готовый вскочить при первом шорохе, и так просидел всю ночь, глядя, как медленно переходит по окоему лунный диск, как движутся тени сада, как сменяется стража у ворот и как выходят, удаляясь в кусты, и возвращаются вновь в ханский шатер рабы-

ни, и только на самом восходе солнца заснул, уронивши голову на грудь, но и тогда не разжал руки, сведенной судорогою на рукояти ножа.

Алексий воротился утром. Опухоль значительно спала, чему, по-видимому, впрочем, помогли молитва и сон, а не мази, которыми он пользовал царицу вчера. Алексий, пока расставляли божницу и приготовляли все потребное ему, задумался. Следовало перепробовать сперва все обычные средствия, коими неплохо лечили в русских монастырях, но болезнь Тайдулы была слишком запущена, а разговоры и шум в Сарае по поводу его лечения все возбуждались и росли с каждым часом. И Алексий, мысленно воззвав к Господу, решился. После молебна он достал мазь, добытую ему боровским монашком, понимая, что, ежели не поможет и она, его посольство закончится полным крушением.

Кажется, никогда он, применив лекарство, не молился так горячо и крепко. В эту ночь, вторую ночь, проведенную Станятою в полудремоте в ханском саду, Алексий тоже не ложился в постель, простояв на молитве перед аналоем всю ночь.

Вокруг русского подворья в эти дни творилась прямая бесовщина. Ключнику на базаре продали огромного снулого осетра, мясо которого оказалось отравленным (повар, разделывая рыбу, по черным жабрам догадал, что дело нечисто, не то бы створилась беда). Какие-то непонятные личности бродили вокруг, пытались перелезть невысокую ограду сада. Ночью кусками ядовитого мяса отравили двух сторожевых псов.

Приезжал Товлубий, принял богатые дары, загадочно сопел, разглядывая митрополита. Сказал наконец, отводя глаза, чтобы русичи не ходили нынче поодинке по базару, а самого Алексия ко дворцу Тайдулы сопровождала стража. Алексий понял, не стал возмущаться, ни расспрашивать. Товлубий, или по-татарски Товлубег, был одновременно и врагом и другом. Тень Калиты, русское нескудное серебро продолжали действовать на этого старого кровожадного барса, убийцу тверских князей Александра с Федором, серебро Калиты и подношения Симеона Гордого. Товлубий явно что-то замысливал и приезжал поглядеть, нужны ли ему еще для его замыслов эти русичи.

На расставании Алексий твердо поглядел в глаза Товлубию, сказал с намеком (внимающий да разумеет!):

— Мы помним всех, кому благодетельствовал почивший в бозе князь Иван Данилович, а такожде и сын его, князь Семен Иваныч. И наша рука не оскудеет к друзьям дома московских государей!

Товлубий, не убежденный до конца в своей трудной потаенной мысли, все же с пониманием склонил голову.

Когда-то умирающий Калита сказал сыну вещие слова: «Чаю, много зла принесет Орде сей Товлубий, но ты поддержи его там, в Орде! Серебра не жалей, кровь дороже!» Алексий не ведал этих слов, но что такое Товлубий, знал слишком хорошо, и что дружбою или хотя бы отсутствием вражды этого человека пренебрегать нельзя никак, знал тоже.

Боровская мазь произвела неожиданное действие. Тайдуле стало хуже. Алексий снял наложенные было повязки, долго смотрел и вдруг понял, что произошли изменения к лучшему: гной выходил, тугая опухоль сморщилась и начала опадать. Он опять твердой рукою намазал глаза тою же мазью, наложил повязку, примолвив:

— Будь мужественною, госпожа! Иного не скажу тебе теперь, но уповаю на Господа!

Мусульманские улемы пробовали приходить к нему на подворье. Алексий с непреложною твердостью отвечал, что, покуда не окончит лечения царицы, говорить не будет ни с кем.

В этот день двоих русичей на базаре избили почти до бесчувствия. Пришлось и их лечить, запретив всем прочим без дела шататься по городу. По поводу пребывания Станяты в саду царицы возгорелась целая пря, и Алексий предложил ставить у палатки Станяты доверенного Тайдуле нукера, чем кое-как успокоил возникшие слухи и сплетни. Станята многократно благодарил Господа, помогшего ему удержаться от греха. (Кошель с серебром он на другой же день, не открывая даже, передал Алексию.)

Кризис наступил на пятый день. Алексий в этот день застал во дворце вновь целую толпу улемов и с ними прежнего лекаря, зловеще расступившихся перед русским митрополитом. У белой юрты стояла стража. Станягу, которого Алексий сурово потребовал тотчас представить ему, иначе он не взойдет в шатер госпожи, привели связанного, с кровоподтеком под глазом. Нож и коробочка с мазью были у него отобраны, и на повторные требования Алексия воротили один нож. Впро-

чем, мазь, которую отобрали у Станяты, имела лишь успокоительное назначение.

В юрте Тайдулы Алексий, к своему великому гневу, застал двух незнакомых ему лекарей и кадия. Тайдула слабым голосом позвала его и сказала, винясь, что она не велела им снимать повязки с глаз до прихода Алексия. Лицо ее, по которому тек гной, было в самом деле страшно.

Алексий, попросив непрошеных гостей хотя бы отступить в сторону, сам воздвиг переносный алтарь и твердым голосом прочел молитву. Тяжелое молчание многих, частью вооруженных, мужчин было ему ответом. Тогда он, подозвав избитого Станяту, приготовил опять потребное ему и, мысленно выговорив: «Господи, помилуй!», снял повязки с глаз, обнаживши целый, как ему и самому показалось в первое мгновение, гнойник. Льняными ветошками, пользуясь освященной водою (иной под руками не было), он начал удалять гной, обмывая лицо Тайдулы. Арабские лекари следили издали, вытягивая шеи. И первое восклицание издал один из них. Глаза царицы глядели. И опухоль совершенно опала, обнажив сморщенную, побелевшую кожу.

Тайдула медленно моргала веками, глядя на Алексия, и в глазах ее, измученных, некогда завораживающе-прекрасных, копились, скатываясь по щекам, слезы. И радости, и горя одновременно. Алексий не глядел назад, но по шевелению и звуку шагов чуял, как выходят, выползают, бегут, покидая шатер царицы, все те, кто еще минуту назад жаждал кровавой расправы с ним, испуганные и раздавленные божественной силой русского целителя, посрамившего их всех. Скоро юрта была пуста. Только верный сотник, сверля преданными глазами спину Алексия, стоял на страже в дверях да жались под пологом восхищенные рабыни, которые теперь тайно начнут носить под одеждою вместо амулетов серебряные крестики, веря, что это — могущественный оберег от всяких напастей.

А царица глядела на Алексия, губы ее шептали слова благодарности, а из глаз, обновленных, выздоровевших глаз, текли и текли крупные слезы.

Час назад придворные повестили ей Джанибекову смерть.

Бердибек сердито, ногою, отпихнул невольницу. Полураздетая женщина замерла, распластавшись на

ковре, не ведая, жизнь ей подарят или смерть через несколько мгновений. Она будто оглохла, не слыша музыки, ни того, как продолжает хохотать Мамат-хатун, которую щекотал в это время один из соратников хана. Одетые в прозрачный муслин танцовщицы с бубнами в руках двигались на цыпочках одна за другою среди расставленных в беспорядке блюд и сосудов с вином. Вот одну из танцовщиц дернул за шальвары приподнявшийся с ковра татарин, и девушка тотчас, послушно расстегивая пояс, опустилась на колени перед ним, спеша освободить себя от лишней одежды, чтобы не прогневить воина.

Бердибек смотрел брюзгливо на этих жен чужого гарема и танцовщиц, коих он уже устал брать и дарил теперь своим соратникам, которые пили вместе с ним, сочетаясь тут же, на коврах, со своими избранницами. Он поманил пальцем неловкую девушку, причинившую ему боль, и, когда она подползла с расширенными от ужаса глазами, взял за горло, как кошку, и стал бить по лицу, приговаривая:

— Тварь, тварь, тварь! Неумелая тварь!

По лицу женщины катились слезы и кровь, она задыхалась и подкорчивала руки, не смея все же вцепиться в безжалостные пальцы нового господина. Ашраф был жесток, но по-другому. Он любил морить женщин голодом. Этому не жалко еды, но не жаль и чужой жизни. Когда танцовщица уже почти потеряла сознание, он налил чашу вина и плеснул ей в лицо: «Поди прочь!» Женщина, икая и вздрагивая, уползла на коленях, забыв подобрать снятые шальвары. Тотчас другая танцовщица опустилась рядом с ним, показывая полные груди, просвечивающие сквозь муслин, и улыбаясь готовною, затверженною улыбкой. Бердибек махнул рукой:

— Принеси саз!

Девушка побежала, покачивая полными бедрами, «походкою раненого верблюда», приятною для мужских глаз. Вернулась с сазом.

— Разденься! — велел Бердибек. Пресыщенный, он глядел, как играет голая танцовщица, шевеля в такт бедрами и грудью, и оглядывал уставленный светильниками зал с нишами по стенам, в которых то горою высились груды подушек и одеял, то громоздились на столиках и прямо на полу разнообразные яства, фрукты и сосуды с вином.

Черные рабыни в передниках разносили блюда с жареным мясом и мисы вареной баранины. Несколько музыкантов, сидя в ряд у стены, дули в свои длинные дудки, выводя прихотливую вьющуюся мелодию. Лица их были нарочито бесстрастны.

У Бердибека наконец родилось желание, и он знаком потребовал от девушки ответа. Она тотчас отбросила саз и прильнула к нему с заученной изощренной жадностью, повторяя то, чего не сумела сделать та, другая...

В это время распахнулись двери и вошел прислужник, растерянно присевший, оглядывая пьяную оргию и разыскивая глазами среди этих раскинувшихся на коврах и переплетенных тел самого Бердибека.

— Что нужно этому дураку? — сквозь зубы процедил хан, которому вовсе не хотелось ни ради каких дел прерывать пир и наслаждения. Он тяжело глядел на приближавшегося к нему, низя глаза, раба. «Так и знал! Гонец от отца!» — подумал Бердибек, сжимая кулак. Была бы его воля, он разорил бы весь этот пышный город куда пострашнее Ашрафа. Будь его воля, он не стал бы заставлять своих воинов возвращать золото жителям покоренного Азарбайджана — зачем? Будь его воля, он теперь как победитель выпотрошил бы всю местную знать, завалил трупами арыки, а женщин раздал своим воинам на потеху. Будь его воля... Кровавая волна гнева поднялась было в нем, поднялась и опала. Бердибеку не было еще и тридцати, но кутежи и вино уже успели состарить его некогда красивое лицо, вдоль рта пролегли складки, и глаза, леденевшие во время гнева, смотрели недобро и тяжело. Вновь какой-нибудь нелепый приказ отца, который ему хотелось бы, не читая, бросить и растоптать ногами. Он поправил одежду, дал знак соратникам оставить на время женщин, кивнул, чтобы ввели гонца.

Пропыленный воин прошел по коврам, словно был из другого мира, перешагивая через блюда и нагих красавиц, подал свиток. Бердибек порвал шнурок, долго всматривался в строки (читать он почти не умел). Гонец, видя трудноту хана, подсказал:

— Отец твой, великий хан, повелитель вселенной, опасно болен. В него вселился кара-чулмус. Тебя зовут домой!

— Ешь! — бросил гонцу Бердибек, подымаясь на колени и оглядывая зал в поисках грамотного. Толмач

подбежал, запыхавшись, схватил свиток, начал читать.

Гонец, сидя на корточках, ел мясо, запивал вином, поглядывая на гаремных женщин.

Бердибек выслушал грамоту, велел перечесть, выслушал вновь. В голове звоном перекатывались огонь и восторг удачи. Он будет ханом! Вся Золотая Орда отныне принадлежит ему!

Он схватил золотую чашу, сунул в руки обалдевшему гонцу, кивнул на женщин, крикнул: «Бери любую!» — и косолапо, по-татарски ставя стопы, выбежал вон из пиршественной палаты дворца. Скакать следовало немедля, теперь, не ожидая ни часу! Что еще они могут там, в Сарае, выдумать без него?

Упившиеся соратники хана вставали, отпихивали женщин, застегивали пояса, поспешали к выходу.

Бердибек, все еще хмельной, веселый и злобный, едва отдав наказы наместнику, выезжал из Тебриза через два часа. Садилось солнце, прощально зажигая узорные тимпаны айванов, плавясь на голубых и золотых куполах, подчеркивая тенью стройные минареты, словно завернутые в драгоценные узорные ткани из сине-желто-зелено-бело-голубой парчи. Покидая Арран, Бердибек забирал с собою большую часть войска, всех преданных ему темников, сотников и нукеров, словно скакал на войну.

В этом развращенном и рано постаревшем царевиче одна была великая и страшная страсть — жажда власти, и с каждым прожитым годом, с каждым проведенным в неге и роскоши месяцем она росла и росла...

Джанибек, оставленный в положении почти заключенного, медленно приходил в себя. Улемы, чаявшие оградить повелителя от возможного вмешательства русской церкви, содеяли ему, сами о том не думая, великое благо. Джанибек все эти долгие дни пил только воду из источника и изредка слабый кумыс, и у него началось очищение жизненных соков. Приступы, когда он рычал и царапался, прошли, припадки становились все реже, и наконец ослабевший, потишевший повелитель пришел в себя. Слабым голосом он попросил пить, и ему принесли кобыльего молока. Он с удивленною радостью глядел на толстую мунгалку, что готовила ему питье, потом на урусутского раба, что переменял ему замаранное платье. Попросил, чтобы его вымыли, и лежал тихий и смиренный, радуясь свету солнца в

горловине юрты, радуясь своему дыханию и наступившей чистоте тела. Тихо спросил про Тайдулу, про сына, покивал головою и, не выслушавши ответов, уснул. Проснувшись, увидел у постели бородатых мужей с настороженными глазами. Спросил про Алексия. Не отвечая ему, один из них оборотился и сказал кому-то в передней части юрты:

— Повелитель еще бредит!

Джанибек хотел рассердиться, свел было брови, но почувствовал, как он слаб и устал до того, что не поднять рук, прикрыл глаза и тихо попросил есть.

Пожилая мунгалка вошла, покосясь на улемов, подала чашку мясного навара. Джанибек пил, передыхая, и снова пил, и его одно мучило: почему не покидают его эти, бородатые?

— Кто вы? — спросил он, постаравшись придать голосу твердость.— Позовите моих нукеров!

Те вновь переглянулись между собой. Поднялись и вышли, но никто больше не подошел к нему, и Джанибек лежал, чувствуя смутную тревогу, но где-то там, за гранью своего существа, ибо в нем была — во всем его ослабевшем теле — отвычная радость выздоровления. Он снова заснул и, вновь проснувшись, испотевший, живой, захотел есть и пил мясной отвар и кумыс и радовался солнцу и свету.

Тени убитых братьев покинули его, почти покинули, и теперь он звал Тайдулу, удивляясь, что она не приходит, и безразлично совсем выслушал про ее болезнь и глаза, вновь спросил про Алексия, и ему опять не ответили, и он вновь забыл, и обрадовался, когда вошедший к нему кади объявил, что прискакал Бердибек. Почему, зачем прискакал, бросив Тебриз и войско, он не спрашивал.

Сын вошел, как был с дороги, обдутый ветрами, обожженный солнцем, похудевший и потому молодой. Вошел и обрадовал отца, как его радовало все теперь. Он глядел на сына, стоящего перед ним. За плечами сына выглядывали нукеры, и Бердибек махнул им рукою выйти вон.

«Поправляется!» — сказали Бердибеку при входе, и он стоял и смотрел на исхудавшего, жалко улыбающегося ему отца и видел, что да, отец поправляется. Безумие, о котором повестили Бердибеку, покинуло родителя. И теперь только еда и время — и он встанет и будет править опять еще неведомое количество лет...

И власть, о которой ему сказал при встрече толстый старый барс Товлубег, власть над четвертью мира, над Золотою Ордой — проклятие! — вновь ускользнет из его рук! А там умрет Товлубег и подрастут братья... Он подступил к постели, продолжая внимательно разглядывать отца, даже слегка наклонился к нему.

Отец глядел, улыбаясь, радуясь своему выздоровлению, и в размягченной душе его вырастала гордость· сын! Прискакал! Боялся за отца! Все-таки он хороший, его старший сын, его наследник. Вино, женщины — все это пройдет. Вот он теперь во главе войска — и уже стал воином, мужем! И вековой спор с Хулагуидами окончен, ежели сын теперь удержит Азарбайджан и Арран за собой.

— Ты что? — спросил он Бердибека, все наклонявшегося и наклонявшегося над ложем отца. Что-то страшное, что-то жестокое и безмерно тупое было в глазах сына, и у Джанибека холод прошел по спине, когда он за мгновение понял, что сейчас должно произойти.

— Ты...— Он что-то еще хотел сказать, быть может, умолить, остеречь, крикнуть, но железные пальцы уже сомкнулись у него на горле. Джанибек хрипел, выгибался, царапал руки сына — любимого сына! — с ужасом меркнущим взором глядя в жестокие глаза убийцы. Грудь его расширялась, стараясь ухватить воздуху. На короткий миг он с дикой силою обреченного смерти впился в безжалостные руки сына, после задергался, уже стекленея взглядом, крупная судорога несколько раз прошла по его исхудалому телу, и вот сведенные пальцы начали слабнуть, разжиматься, а Бердибек все держал и сжимал горло отца, в ужасе боясь отпустить, пока наконец последний трепет не покинул тела и вялость плоти под пальцами не сказала ему, что отец окончательно мертв. Тогда он с трудом отлепил пальцы от горла родителя и отвалился, почти теряя сознание. Его мутило, и с минуту Бердибек сидел, с трудом удерживая тошноту. Потом встал, качнулся на ногах, усилием воли взял себя в руки и слепо, в лица своих нукеров, в страхе расступившихся перед ним, вымолвил:

— Отец умер. Великий хан умер! Приберите его!

Первое лицо, которое он узрел ясно, ступив в переднюю часть юрты, было лицо Товлубега, который, нагнув голову и слегка приподнявши извитую бровь, новыми глазами разглядывал молодого хана-отцеубийцу, нынеш-

него повелителя Золотой Орды. «Ты еще не все сделал, хан!» — говорили эти прищуренные, оценивающие глаза. Убить отца — этого еще очень мало, дабы удержать власть!

Убийца редко испытывает раскаяние. Вернее сказать, испытывает раскаяние тогда и тот, кто совершил преступление, не будучи подлинным преступником. Когда совершенное зло нарушило его собственные моральные принципы или же произошло случайно. Но писатели и поэты всех времен говорят только об этих, способных почуять укоры совести (почему и кажется порою, что убийца всегда раскаивается в совершенном злодеянии), ибо они — люди света, а не тьмы, люди света, отпавшие света, и для них возможно еще покаяние. Те же, кто избрал путь служения сатане и вовсе отверг свет, тех не мучит совесть, им не являются видения; предавая и губя, они затем спокойно едят и спят и живут в сознании своей невинности и правоты, ибо они — слуги тьмы и уходят во тьму. И вечная борьба против зла ведется не за них и даже не с ними, а за тех, кто сошел с истинного пути и кому возможно помочь воротиться к свету.

Это не значит, что есть люди, по господнему предначертанию заранее обреченные спасению или гибели, как говорил Августин Блаженный, нет! Но это значит, что свобода воли и выбора действительно существует и дана человеку для его конечного торжества или конечной гибели.

Бердибек был убийцей в душе. И раскаяния он не испытывал. Но иное обрушилось на него нежданно-негаданно. Мечтая о власти, он не понимал, не догадывал, что власть держится на преданности подданных — и не иначе. Убивая отца в приступе гнева и страха, что опять упустит трон, он не имел времени подумать об этом: об ужаснувшихся нукерах, о перешептывании эмиров, о том, что об убийстве через день станут рассказывать на базарах, что мусульманские улемы, муллы, шейхи и сам кади теперь потребуют от него исполнения их велений — словом, на Бердибека нежданно обрушилось одиночество.

«Я предал его почетной смерти! — наивно думал он.— Не зарезал и не казнил!» И видел ужас в глазах воинов, и уже не верил, что эти люди пойдут за ним,

а не отшатнутся и не предадут его другому, кто больше заплатит. Теперь он подумал, что и мать готова проклясть его, и тут, в этот миг, почуяв зыбкость, призрачность обретенной власти, он впал в ужас страха и в ужасе этом не мог уже найти никакой иной дороги, кроме той, которую избрал у постели выздоравливающего отца. Убивать! Убивать всех и подряд, чтобы боялись, чтобы, наконец, сокрушить всякое возможное сопротивление. Но чтобы убивать, надобно было, опять же, опереться на силу кого-то преданного тебе. И вот так он очутился в вечер убийства не у матери своей, которая одна могла бы его простить или хотя бы понять, а в юрте Товлубия.

И теперь, разлегшийся на ложе из гепардовых шкур у ковра, уставленного яствами, вином и жареным мясом, старый темник разглядывал, усмехаясь, молодого и еще неразумного, содеявшего почти при всех то, что надо было совершить тайно, чужими руками (и тотчас убить убийцу!), быть может, с помощью яда, и от которого теперь все станут требовать своей платы за молчание. Молчание о том, о чем завтра заговорят на базаре!

— Улемы хотят, чтобы ты покаялся и совершил какой-нибудь подвиг во славу правой веры. Они готовы простить тебе убийство отца и оправдать с мирбара, ежели ты хотя бы ущемишь христиан, как это делал Узбек! Большой русский поп Алексий, излечив твою мать, добился очень многого. Теперь ему нужен фирман, подтверждающий право церкви не давать дань. И он получит его у Тайдулы! Я даже знаю, кто подпишет — Муалбуга. И твоя печать будет на этом фирмане! А что сделаешь ты, хан?

Бердибек пожимает плечами, молчит.

— Улемы хотят заставить Алексия спорить с Мунзибугой в присутствии хана. И опозорить его. А ежели русский поп переговорит нашего, что сделаешь ты тогда, Бердибек?

— Я его убью!

— Убьешь русского попа? — переспрашивает Товлубий и смотрит бабьим лукавым взглядом, покачивая головой. Наливает вино, придвигает чару Бердибеку. «Пей! И ешь!» — говорит повелительно и снова взглядывает, и бабье толстое плоское лицо его с заплывающими глазами твердеет, становится жестоким и грозным.

— Убить нетрудно! — говорит он.— Но эти головы

слишком быстро отрастают, Бердибек! У князя Ольгерда в Литве сидит другой урусутский поп, Роман, и тогда он станет во главе всей русской церкви, но он уже не приедет сюда, к тебе! И ты своими руками подаришь Ольгерду, который даже не служит нам, весь русский улус! Поверь, Иван, который теперь сидит на Москве, безопаснее! Нет, это ты плохо придумал, Бердибек! Что бы там ни говорили муллы и кади, а придумал ты плохо! Думай, думай еще, Бердибек! — Старый барс, покачивая головою, опять наливает вино.— Русского попа нельзя убивать! Нет, ты пригласишь его во дворец и дашь говорить, и пусть они спорят! Тебе теперь надобно урусутское серебро, много серебра!

— Почему?! — нетерпеливо, гневаясь, возражает Бердибек.— Разве я не хан и не сын хана?

— Тебя еще не выбрали! Эмиры еще спорят друг с другом! — ласково говорит Товлубий.

— Я привел из Аррана воинов! — гордо заявляет Бердибек, выпрямляясь и представляя, как свои же воины подымают его на щите, нарекая великим ханом и царем царей.

— Воины есть у каждого! — смеется Товлубий.— Я тоже вооружил кого мог и разослал приказы по всем становьям. Но и каждый из эмиров Золотой Орды сделал то же самое!

Бердибек молчит, фыркает, словно необъезженный конь. Он не ведает (и понял это только сейчас), за кем пойдут воины его отца.

— Примирись с матерью, Бердибек! — говорит, высасывая мозговую кость, Товлубий.

— Зачем?

Старик подымает круглые, широко раскрытые глаза.

— Как зачем? Как зачем? Затем, что она твоя мать и у нее есть воины!

— Я сам имею достаточно сил, чтобы не кланяться еще и ей! — норовистый необъезженный конь пытается сбросить седло.

— Но зато у тебя двенадцать братьев, и все они в воле Тайдулы! Тэмур и Асан уже подросли. Беки могут выбрать любого из них!

— Я убью своих братьев! — кричит Бердибек и прибавляет низким, глухим голосом: — Я пошлю воинов и велю тебе, Товлубег, убить их!

— Ты хочешь, чтобы я не покинул тебя, Берди-

бек? — спрашивает старый барс, нимало не испуганный решением молодого хана.

— Да, хочу!

Старик глядит бабьим взглядом, покачивая головой:

— Ты убил отца и никому теперь не веришь, Бердибек! — Товлубий думает, щурится, грызет кость, вытирает жирные пальцы о халат.— Ну что ж, верят только безумцы и дервиши и еще такие, как поп Алексий... Я подумаю, Бердибек! Мне некому подарить твою голову, хан, а ежели ты подаришь кому-нибудь мою голову, ты погибнешь. Тогда уже тебе не простят ничего. Только взять царевичей тебе придется самому и самому придется говорить с матерью!

Бердибек глядел затравленно, только теперь поняв, что он полностью в руках этого толстого старого барса, и тот играет с ним как хочет, и власть, ради которой он пошел на преступление, будет принадлежать Товлубию, а не ему, Бердибеку. Но хоть видимость власти, хотя бы слава и трон достанутся ему! А там... Сколько лет жизни осталось этому толстому старику?

О смерти Джанибековой русичам сообщили, как и всем, на другой день. Смена ханов в Сарае и всегда была тревожна для Руси, а тем паче теперь, когда вместо доброго Джанибека, как справедливо называли его русские летописцы, на трон владык Золотой Орды восходил жестокий и порочный правитель, навряд сугубо расположенный к русичам.

— Уезжаем, владыко? — вопросил Станята Алексия, как только тот окончил утреннюю молитву.— Худа б не было!

Алексий посмотрел на Станяту искоса, подумал. Сказал:

— Повести, Леонтий, что мы отлагаем отъезд. И скажи корабельщикам, пусть нас не ждут! — Он подумал еще и, видя полное недоумение Станяты, пояснил: — Пакости будем стеречись, а хуже, ежели нам теперь ярлыки не утвердят!

Станята кивнул, хмыкнул, понял. Жалованные ярлыки, освобождающие русскую церковь от выплаты дани, следовало вырвать у ордынцев немедленно, пока не изгладился из памяти многих успех излечения Тайдулы.

«В сам дели! — думал Станята, выходя.— Прав владыко! Бердибеку верить неможно! Надобно разузнать погоднее, что тут к чему».

Впрочем, и Алексий не предугадывал всех событий, не ведал и того, что приготовили ему мусульманские улемы, почему и мало обратил внимания на крики: «Колдун! Колдун!», сопровождавшие его поезд, когда он утром этого дня отправлялся к царице и Бердибеку выразить соболезнования и поздравить нового хана.

Тайдула, повестили ему, была в ханском дворце, а ханский дворец был весь оцеплен стражею. И когда Алексий (большинство его спутников задержали, не пропустив) проходил во дворец сквозь толпу придворных, зловещие возгласы· «Колдун, колдун! Маг! Чародей!» — раздавались со всех сторон.

Бердибек сидел на золотом троне отца в огромной ханской юрте, отделанной шелками и парчой. Тайдула чуть ниже, но тоже на роскошном, украшенном бирюзою возвышении. Ниже и по сторонам царских мест располагались ряды придворных, среди которых почти не было монгольских лиц, разве несколько беков и нойонов, затерянных в толпе густобородых сартов.

Внизу толпились улемы, злобно поглядывавшие на Алексия, а стражи в шатре и вокруг было столько, что показалось — после обычных приемов Джанибековых,— началась война и войско готовится выступать в поход.

Тайдула поглядела на Алексия так, как будто ужаснулась его приходу, а Бердибек сидел, выпрямившись, по временам раздувая ноздри, и глядел поверх голов, словно бы никого не видя.

Алексию позволили сказать всего несколько приветственных слов. Но едва он заикнулся о ярлыках — обычном подарении ханов русской церкви, выступил кади и громко, гневно начал говорить, указывая пальцем на Алексия.

Толмач не сразу нашелся, тем более, что кади часть фраз произносил на арабском, и Алексий скорее догадывал, чем понимал, что его, оказывается, обвиняют в чернокнижии и колдовстве, с помощью коего он якобы и излечил Тайдулу, а потому предлагают сразиться в споре с Мунзибугой, сыном Моллагавзина слепого, и защитить, если может, себя от обвинения.

С кошмы тотчас поднялся плечистый, не старый еще улем в чалме ученого, гордо глядя на русского митрополита, готовый к спору.

Алексий побледнел от гнева и возмущения. Тайдула вдруг подала голос, объявив, что верховный русский поп может отказаться от диспута в этот раз, ежели у него нет с собою священных книг, и уехать к себе домой. Царица явно предлагала ему бегство!

Алексий усмехнул, сдержал себя. С достоинством склонил голову. Громко и ясно ответил, что Бог, который помог ему совершить чудо, всегда с ним и потому он может отвечать на любые вопросы, заданные ему перед лицом царя и царицы.

В тот же миг ему бросилось в очи лицо Станяты, в чем-то остерегавшего его, Алексия, но Алексий уже переступил черту возможного отступления и теперь лишь мысленно вручил себя Господу.

Наступила неловкая тишина. Видно, согласия русского митрополита на диспут не ожидали.

Однако, пошептавшись с улемами, Мунзибуга все же выступил вперед и сперва распростерся ниц перед троном Бердибека, цветисто и высокопарно приветствуя нового хана:

— Хвала и благодарность всевышнему Богу, который одарил страны ислама прекрасной справедливостью и совершенным благородством справедливейшего царя, царя царей, великого и справедливого хакана вселенной, поддержанного Богом победоносного победителя, славы царей прочих народов, повелителя Золотой Орды, страны тюрок, Хорезма, Азарбайджана, Аррана, Руссии и прочих стран и народов, покровителя веры, защитника людей, сияния и блеска державы, убежища народа, красы царства, столпа мира и религии, покровителя ислама и мусульман, поражающего врагов и недругов точно молния, тени Аллаха в странах Востока и Запада, великого Бердибека, сына Джанибека, внука Узбека, потомка великого Бату-хана и покорителя вселенной, славного Темучжина, да увеличит Аллах его власть и да умножит могущество! — говорил Мунзибуга, простираясь перед отцеубийцею, не ведающим пока, усидит ли он и вовсе на троне.— Хвала Аллаху, который укрепил трон повелителей Золотой Орды, доставив наследованное и приобретенное царство достойному преемнику,— продолжал свои славословия сын Моллагавзина слепого,— который велел солнцу справедливости и луне правосудия взойти на востоке его страны и владений, который направил в его царственную и державную реку потоки благоденствия и покоя, который за-

ставил весь мир и все страны исполнять, повиноваться и слушаться его приказов и запретов, так что враги царства и недруги государства прячут головы под ворота отступления, а набожные и благочестивые мужи пребывают в безопасности и здравии, двери насилия и тирании забиты для подданных гвоздями правосудия, «куропатка и сокол мирно уживаются в одном гнезде».

(Бердибек в это время думал, глядя на столпившихся улемов во главе с кади: много ли они смогут вытянуть у купцов и дать ему серебра, ежели он все же накажет Алексия?)

— Его милости набросили на плечи угнетенных плащ милосердия,— продолжал, закатывая глаза, Мунзибуга,— его блага открыли перед униженными врата сострадания, летопись царей началась с его царствования, книга правосудия изукрашена пером справедливости этого царства! И все это сказанное — лишь капля в море, частичка целого, как сказал поэт:

Великих к тебе обращаются взгляды,
Из всех властелинов — тебе они рады,
Аяты Корана о том возвестили,
Что царство твое — это царство отрады.

Кончив славословие, Мунзибуга поднялся с колен, оглаживая бороду, поглядел, довольный собою, по сторонам и, выждав, пока не утихнет поощрительный ропот, обратился к Алексию:

— Обвиняю тебя, урусут, ибо искусство свое перенял ты от джиннов и нечистыми руками, с помощью злобных сил, сотворил чудо, о коем вскоре пожалеют все, едва узрят призрачное торжество Иблиса и праведный гнев Аллаха!

В прилюдном споре, как и во всяком споре, никто никогда не убеждает противника. Убедить стараются слушателей спора, и ради них говорят свои доводы та и другая сторона.

— Мое искусство — от Бога! — твердо возразил Алексий.— Все видели, как, прежде чем приступить к лечению, воздвигал я святое изображение и молился ему, и могу показать и повторить слова наших молитв, возносимых к триединому Богу: Отцу, Сыну, страдавшему за нас, распятому и вознесенному и сидящему ныне одесную Отца, и Духу Святому, иже от отца исходящему,— подобно тому, как от солнца, имеющего образ и цвет, исходят лучи, напояющие вселенную. А также молился я деве Марии, Мариам, матери бо-

жией! Ведома и почитаема многими из вас священная книга Инджиль, или Евангелие, известен и почитаем вами Исус Христос, Иса, как и мать его, Мариам. Так как же можешь ты говорить, что я обращался к джинам и помочью злых сил творил добро царице, ю же излечил есмь?

— Иса не умер,— вскричал, покрываясь румянцем гнева, Мунзибуга,— и ходит по земле, продолжая творить добро и почасту воскрешая мертвых! Он пророк истинного Бога и бессмертен!

— Мы тоже говорим, что Иса не умер,— тотчас возразил Алексий,— но воскрес, являлся ученикам своим и вознесся на небеса, и молимся ему и, так же как и вы, ожидаем от него чудесной помощи в наших скорбях! Вот ты сам и доказал, что лечение мое — свято, и не от джинов получаю я силу свою, а от того, кому и вы, бесермены, почасту приносите молитвы свои!

Тайдула, в этот миг отвлеченная от горестных мыслей своих, довольно склонила голову.

Противник Алексия, не ожидавший, что тот таким образом обернет его слова, растерянно оглянулся и, еще более покраснев, воскликнул:

— Пусть так! Но истинный Бог — один! Он сотворил небосвод и землю, металлы и растения, открыл источники вод и утвердил планеты и звезды. Он создал человека из праха, и вдохнул в него разум, и научил верных шариату и тарикату, дабы прославляли его всемогущество, а для неверных дал меч и священную войну, дабы железом карать тех, кто не ведает благодати и не внимает слову пророков Бога истинного! Ибо он — единый для всех и все должны склониться перед ним и принять единый закон! И тогда в мире воцарят справедливость и мир, воистину лев не тронет онагра и орел — голубку! — Мунзибуга выразительно поглядел на Бердибека, и все посмотрели на него, и в этом безотчетном взгляде, словно бы удивленном, что все сказанное можно применить к этому сидящему здесь хану-убийце, Бердибек почуял вдруг такое холодное отстранение окружающих, что сердце его на миг сжало тоской, а потом наполнило горячим потоком гнева и ненависти.

— Мы считаем,— ответил Алексий спокойно и внимательно поглядел на Тайдулу (хан, как ему показалось, совсем не внимал ему),— мы считаем, что выше закона — благодать, которая приходит, когда уже име-

ется закон. И она — как любовь после заключения брака, как преданность слуги или воина своему господину после данного обета послушания. Она позволяет рабу отдать жизнь за повелителя своего, она связывает родных между собою, сына с отцом и подданных с государем. Посему всякий из нас, не отвергая закона, молится о ниспослании благодати!

Станята, недвижно стоявший позади Алексия, давно уже молил небо об удержании слов наставника. «Ведь владыка еще ничего не ведает! — вспыхнуло у него в мозгу.— А ну как хан повелит схватить его, оскорбясь, и предаст суду или казни!»

Бердибек и сам теперь внимательно смотрел на урусутского главного попа и, наклоняясь к толмачу, пересказывавшему речь Алексия, медленно и недобро, не отводя взгляда от митрополита, склонял голову. Он не мог представить себе, что Алексий еще не ведает о его преступлении, и потому слова урусутского попа жгли его огнем.

— Теперь скажи! — продолжал Алексий с напором, и голос его постепенно возрастал и твердел: — Бог создал мир одинаковым или разнообразным?

— Все разнообразие мира создано и утверждено Аллахом! — воскликнул Мунзибуга.

Алексий кивнул удоволенно, подтверждая слова своего соперника.

— Следовательно, и разные люди — белые, черные, желтые,— и разные народы, и языки, им же несть числа, и разные земли — жаркие и сухие, холодные и влажные, степные и гористые, покрытые лесами или открытые взору,— озера и реки, горы и моря и, словом, все сущее на земле создано им же?

— Да! Велик Аллах! — воскликнул Мунзибуга.

«Убить или не убить? — думал Бердибек.— Убить? Будь что будет!» Ежели бы не вчерашние наставления Товлубия, он уже давно прекратил бы спор и велел схватить урусутского митрополита.

— Так вот! — продолжал меж тем Алексий.— Мнишь ли ты, что тебе или кому другому надлежит исправить господний промысел? Что ты, смертный, мыслишь правильнее великого Бога? Мнишь ли ты себя или любого другого на земле, повторю, способным изменить, исправить, переписать предначертание свыше?

(«Я же переписал! — думал в это время Бердибек.— И вот сижу здесь, на золотом ханском престоле!»)

— Не потому ли,— продолжал Алексий,— создал Господь различными языки и народы, что возжелал того и замыслил и положил им быть разными на земле? Не потому ли создал разноту земных пространств, холода и тепла, лесов и степей, плодородных долин и пустынь безводных, что возжелал утвердить потребное ему разнообразие, дабы каждый обрабатывал свою землю и все вместе славили Господа? Как неможно истребить всех птиц и зверей, оставив одного лишь льва и сокола, так неможно заставить все народы быть одинаковыми и творить одно и то же на земле! Но разнотою живут языки, несхожестью прославляются и по несхожести своей создали торговлю друг с другом, ибо редкости и товары одних земель перевозят в другие страны и так взаимно обменивают плоды рук своих, подобно тому, как шелк из Чина везут в Золотую Орду или Царьград, а степных коней продают на наших рынках, покупая в обмен наши товары, железо и хлеб. И не все ли то, как ты говоришь и сам, предначертано Господом?

(«А завоеванные народы отдают свои товары, девушек и рабов даром, ничего не требуя взамен!» — насмешливо думает Бердибек, глядя на Алексия, коего почти порешил уже прикончить.)

— И не мнишь ли ты, что Господь разумнее нас, смертных? И сотворил все это, дабы украсить созданный им мир, дабы люди не творили зла друг другу, состязаясь в одном и том же, дабы одни ели хлеб, а другие рис, одни — мясо, другие же — рыбу, не завидуя и не вырывая пищу друг у друга изо рта?

Тут уже и Станята вручил Богу свою и Алексиеву жизнь, и все придворные обратились в слух, поскольку митрополит, похоже, обличал теперь всю Орду с ее порядками, захватами и тиранией.

— Напротив, не Иблис ли, затеяв разрушить мир, созданный творцом, заставляет людей насильственно налагать ярмо друг на друга, угнетать соседей, после чего те восстают с оружием в руках? — гремел Алексий.— Однако мир, скрепленный железом, но лишенный благодатного послушания, бывал ли прочен когда? Наша православная церковь запрещает крестить людей насильно, ибо каждый новообращенный должен сперва полюбить, сердцем принять установления Христа, иначе таинство крещения не почитаемо у нас истинным!

(«Нет, его все-таки надобно убить!» — думает

Бердибек, не отвечая уже предостерегающим взглядам Товлубия, который слушает все это вполуха, полагая, что жизнь идет по своим законам, и оттого мало придавая веры высоким словам.)

— И, сверх того, наша вера,— продолжает, завершая свою речь, Алексий,— допускает великое чудо покаяния! Покаяти, значит — передумать, изменить свои заблуждения, значит — спастись. По закону благодатной любви, ею же создан мир, покаяние дается каждому, и даже преступник может, покаявшись Господу, спастись и избежать загробных вечных мук. Так по нашей вере!

Алексий кончил и отер чело, дослушивая слова толмача, повторяющего сейчас хану-убийце слова о покаянии и прощении.

Бердибек глядел на него растерянно. Он уразумел только, что русский поп может его, по своей вере, простить, и потому в конце концов милостиво склоняет голову, разрешая Алексию остаться в живых.

Спор завершился. Обиженные улемы, видя ханскую милость, не посмели больше обвинять перед ханом главу русской церкви. И Алексий, не ведавший, сколь близок он был к смерти, решил, что он очень дешево выиграл спор, потребовавший когда-то от покойного Феогноста многия истомы и даже заключения в узилище.

На мгновение у него даже явилась мечта, что новый повелитель Золотой Орды будет не так плох, как это казалось. Впрочем, мечте этой суждено было скоро рассеяться.

Уже когда русичи воротились на свое подворье, Станята, оставшись с глазу на глаз с Алексием, повестил ему:

— Не хотел тебе баять до спору, владыка, а сказывают, что Бердибек батюшку-хана своими руками задушил!

И Алексий — на что уж твердый перед лицом всякой беды! — невольно вздрогнул, вспомнив цветистые восхваления Мунзибуги и свою запальчивость и представив себе, что творится сейчас во дворце хана и в душах золотоордынских властителей, однако и тут не возмогши представить себе всего творимого. Ибо в то время, как русичи отмечали за ужином свою победу в споре с бесерменами, Бердибековы воины окружали палаты жен и детей покойного Джанибека.

— Асан! Сегодня езжай на охоту! — бросил, словно бы невзначай, юноше сотник, которому была поручена охрана ханских жен и гарема покойного Джанибека.

— Когда наш отец умер, непристойно развлекать себя охотою! — степенно ответил, узя глаза, молодой джигит, похожий как две капли воды на юного Джанибека.

— Как знаешь! Тебе советуют...— пробормотал сотник, удаляясь и еще раз воровато глянувши по сторонам.

Царевич недоуменно поглядел ему вслед и пожал плечами. Он взглянул назад, в сторону семи нарядных юрт, стоящих на расстоянии одна от другой. Когда-то Джанибек посещал их по очереди, и тогда жены шили ему новые халаты, и Асан помнит, как хан приходил к его матери и оставался ночевать и мать ходила тогда гордая и принимала подарки. Это было давно. Царевич опять пожал плечами, ощутив смутную тревогу. Надо было пойти посоветоваться с матерью, предупредить Тэмура, своего соперника и друга, сводного брата от другой хатуни.

Подумав, он отправился сперва к Тэмуру. Тот возился с луком, пробуя так и эдак натягивать его, и на слова Асана только кивнул, коротко ответив, что и ему посоветовали то же самое, но он решил ехать на охоту завтра с утра и вот пробует лук.

Асан сообразил, что ежели посоветовали уехать и ему и Тэмуру, то поехать все-таки надо обязательно, но лучше ему с братом, не разлучаясь, выехать вместе, и ежели это потребуется, ежели им угрожают недобрые замыслы старшего брата Бердибека, быть готовыми к дальней дороге. Так и Асан и Тэмур сами подписали себе смертный приговор.

Все сыновья Джанибека были нынче здесь, в обширном ханском саду, кроме самого маленького, восьмимесячного, родившегося уже после отъезда хана в персидский поход и забранного вместе с матерью к Тайдуле. Строгая наставница младших ханских жен невесть с чего совершенно влюбилась в этого последнего Джанибекова сына и теперь, радуясь излечению, тотчас потребовала мать с ребенком к себе.

Несмотря на смерть хана, тут продолжалась обычная будничная жизнь. Варили еду, служанки сновали с мисками и кувшинами. Воин нес тяжелый бурдюк с кумысом в юрту Бике-хатун.

Жены повелителя редко ссорились во время отсутствия хана, напротив — помогали друг другу, обмениваясь посудой, едой и мелкими бытовыми предметами. И сейчас двое из них стояли около юрты, разговаривая, при этом одна держала на руках годовалую девочку, а около другой вертелся малыш лет пяти, оглядываясь и дергая мать за рубаху, в то время как его старший брат в отдалении возился с огромною сторожевою собакою, бесстрашно вкладывая ей в пасть и вынимая обкусанный альчик. Пес притворно хватал маленькую кость клыками, мотал головою, потом, приоткрывая пасть, давал мальчику вынуть альчик и вновь начинал с ним ту же игру. Ни пес, ни мальчик не ведали, что им обоим не придется дожить до рассвета.

В отдалении четверо ребят постарше, сыновья Джанибека от Юлдуз-хатун, отчаянно ссорясь, пробовали стрелять из детских луков в цель, которою являлась повешенная на дереве баранья шапка. Младший из них, самый сговорчивый, все время бегал подбирать стрелы и говорил братьям, осматривая шапку, попала стрела или нет.

Еще один маленький мальчик сидел на пороге своей юрты, пересыпая медною чеканною мискою золу, которой уже был вымазан до самых ушей, явно дожидая той минуты, когда мать или рабыня подберут его и, нашлепав, унесут внутрь юрты.

Толстый смешной Тулук сидел, словно суслик, рядом с матерью, сожидая вкусных пшеничных лепешек, которые его мать пекла сейчас в золе костра к ужину.

А двенадцатилетний сын, подросток, названный христианским именем Дмитрий, лежал в это время под абрикосовым деревом на расстеленной кошме и, шевеля губами, читал по складам, трудно разбирая мудреные арабские и персидские слова, книгу назидательных историй про шахского сына, обвиняемого в измене отцу, и про то, как мудрый визирь, рассказывая шаху одну за другой истории, перемежаемые стихами, спасал и спас шах-заде от казни. Он так зачитался, что даже не пошел ужинать.

Садилось солнце. «Дими-и-и-итри!» — напевно выкликала издали мать. Царевич недовольно оторвался от книги, поправил золотую тюбетейку на голове, обернулся на голос матери и прислушался. В саду — или за садом? — слышались посторонние голоса, фыркали

кони. Юноша представил, что он сам этот шах-заде и воины приехали его убивать по приказанию старого шаха. Представив, раздул ноздри. Подумал, что он бы не стал ждать и надеяться на кого-то, как этот шах-заде! Привстав с кошмы, он осторожно выглянул из-за дерева.

В саду творилось что-то непонятное. Хрустел песок под многочисленными ногами воинов, неистово взлаивали собаки. Вот раздался женский раздирающий уши визг, другой... «Дими-и-итрий! — вновь заполошно закричала издали мать.— Беги! Спасайся, Дими...» — голос матери прервался, и тут наконец мальчик сообразил, что все это уже не игра, не персидская сказка, и, уронив книгу, кинулся, не разбирая дороги, сквозь кусты, туда, в глубину сада к глиняному забору, еще ничего не понимая толком, кроме того, что идет ужас и прерванный голос матери (которой воин — он не знал этого — тотчас зажал рот) был ему последней спасительной надеждой...

Вечером стража сада стала уходить. Нукеры покидали свои обычные посты, шли не оглядываясь, чего сперва не заметил никто из женщин, мысливших, что это обычная смена караула. Но потом в наступившей тишине над садом, над засыпающими юртами повеяло смутной тревогой. Ржали и топотали кони за оградою. Новые, незнакомые воины занимали сад.

Стайка припозднившихся малышей, что и после ужина вышли стрелять из луков, первыми попала в руки чужих, бердибековых воинов. Мальчиков тут же связали арканами и повели. Младший заплакал, и на голос сына выбежала его мать. Она-то и закричала первая. Страшно, срывая голос, кричала и билась в руках воинов, пока ей не заткнули рот. Но было поздно — в юртах уже начался общий переполох.

Мать Тэмура, прислушавшись и первою поняв, что за беда пришла в ханский сад, быстро приподняла полу юрты, выпихнула сына. «Беги! Не оглядывайся, беги!» — только и успела проговорить она. И юноша, змеей проползший под кошмами, кинулся к задней стороне сада и успел до того, как оставшиеся снаружи воины плотно окружили сад, перелезть через ограду и скрыться в глиняных переулках, пустынных в этот вечерний час.

Беда его была в том, что Тэмур совершенно не знал, куда бежать. Сами ноги вынесли его к базару, и тут

он, не разбирая что и к чему, пихнулся в какую-то лавку, сорвал замок с двери и полез внутрь, в душное темное нутро, спрятавшись, забившись среди тюков с тканями. Хозяин лавки потом всю жизнь не мог простить себе, что принял царевича за обычного вора и вместо того, чтобы скрыть и переправить в степь, выдал его рыночной страже, а та отвела юношу во дворец Товлубия.

Асан, не отличавшийся проворством сводного брата, встретил воинов в дверях юрты с саблей в руке. Несколько бесполезных ударов железом по железу прозвенело в саду, прежде чем наброшенный аркан выволок упирающегося царевича к общей куче пленных детей и оступивших их поодаль плачущих женщин.

Он видел, как волокли толстого Тулука, точно пойманного суслика, а тот таращил круглые глаза и даже не вопил, все еще ничего не понимая.

Видел, как волокли маленького Оку и за ним несся огромный пес, с которым мальчик играл совсем недавно, единственный страж, не изменивший своему господину, и с утробным рычанием прыгнул, ухватив зубами руку воина, которою тот едва успел прикрыть свое горло, и слышал, как хрустнула кость и как вскрикнул воин, и видел, как тотчас несколько сабель обрушились на пса, отбросив в сторону кровавый издыхающий ком мяса и шерсти.

Димитрия схватили, когда он перелезал через ограду. Мальчик кусался и царапался, впился зубами в предплечье дюжего воина и, только получив ошеломивший его удар по голове, от которого у него разом потухли глаза и струйка крови побежала из приоткрытого рта, безвольно обвис на руках воинов, так и донесших его до общей кучи.

В сад верхом въезжал Товлубег. Сотник подбежал к лошади, преданно и опасливо глядя на властительного темника, сказал:

— Десять!

— Кого нет? — вопросил, щуря глаза, Товлубий.

— Старшего, Тэмура, и самого маленького, тот у Тайдулы-хатун!

Товлубий сумрачно кивнул головой, приказал:

— Искать!

Сопя, оглядел рыдающих женщин, толпу испуганной челяди. Оборотил лицо, знаком приказал увести пленников.

Каждого из царевичей хватал воин. Асана, бледного и старающегося изо всех сил соблюсти достоинство, взяли двое, с двух сторон. В толпе женщин, понявших наконец, что это — смерть, началось неистовство. Они кидались на воинов, грызли им руки, старались пальцами дотянуться до глаз. В сгущающихся сумерках в ханском саду творилось невообразимое, стоял заполошный вой, визги, крики, мольбы о помощи. Исцарапанные воины вязали женщин арканами, растаскивая по юртам, те бились у них в руках, безумные, раскосмаченные. Одна из жен серьезно ранила воина спрятанным на груди кинжалом, и ее держали и вязали уже вчетвером.

Товлубий, сидя на коне у ворот сада, слышал эти растекающиеся по юртам стоны и вопли, закаменев лицом, на котором не явилось ни одного движения, ни самой малой судороги, и только продолжал сопеть, поглядывая, как садят на коней и увозят одного за другим связанных детей Джанибековых. Потом тронул коня, подъехал ко второму, замершему у ворот, всаднику. Помолчал, подумал. Сказал:

— Тэмура найдут! А к матери ты поди сам, Бердибек!

Малыш был слегка опрелый, и Тайдула сама натирала его бараньим салом, любовно выговаривая неумелой молодой матери. Толстенькое упругое тельце мальчика хотелось сжать, зацеловать и затискать.

— Воин будет! Джигит будет! Богатур! — приговаривала Тайдула и щекотала мальчику животик, а он смеялся и довольно сучил ножками.

— На, корми! — наконец велела она молодой хатуни и с легкой ревностью глядела, как та, выпростав полную набухшую грудь, дает ее малышу и он, жадно чмокая, всасывается, тиская ручонками тело матери.

— А-яй! — вскрикнула молодуха. Ребенок укусил ее за сосок. Тайдула усмехнулась:

— Терпи! Растишь воина!

Ребенка пора было прикармливать кобыльим молоком, и Тайдула ждала, не могла дождаться, когда можно станет вовсе отослать от себя молодую мать и заняться мальчиком самой, уже ни с кем его не деля.

Приход Бердибека с воинами, на которого она злилась за убийство отца (впрочем, ей сказали, что Джанибек был безумен перед смертью и уже ничего не

понимал, а истину она узнала много спустя), мало встревожил Тайдулу. Гордая малышом и своими материнскими заботами, она заносчиво поглядела на старшего сына, намерясь сказать ему укоризненные слова, и только тут, вглядевшись, почуяла страх. Бердибек смотрел мимо нее, и лицо старшего сына не предвещало ей ничего доброго. А угадав по направлению его взгляда, как бы остекленевшего, недвижного, направленного на довольно гулькающего малыша, зачем и для чего пришел в юрту ее старший сын, Тайдула перепугалась по-настоящему.

— Уходи! — закричала она, двигаясь грудью на сына.— Уходи! Убийца! Ты хочешь всех перебить, бери других! А этого оставь мне!

— Я уже взял других! — ответил Бердибек хрипло пересохшим ртом и безумно глянул на мать.

— А-а-а-а! — закричала она, но в юрте были только чужие, Бердибековы нукеры, и они не двинулись с места. Тайдула перестала кричать и протянула руки, чтобы схватить, взять за горло, выпихнуть сына, и — замерла. Поняла вдруг, что Бердибек сейчас убьет и ее саму, не остановясь ни перед чем.

Воины молчали, молчали испуганные рабыни, молчал Бердибек.

— Зачем тебе этот малыш?! — вновь заговорила Тайдула.— Что может тебе сделать ребенок? Отдай! Оставь одного в утеху матери твоей!

— Ребенок вырастет! — ответил наконец Бердибек.— Через пятнадцать лет он станет воином, и эмиры пойдут за ним, чтобы убить меня!

(Знал бы незадачливый убийца в этот миг, сколь недолго ему осталось сидеть на троне отца и сколько событий, смертей и перемен произойдет в Орде за пятнадцать ближайших лет! Но люди не ведают грядущего ни на годы, ни на дни, ни даже порою на часы вперед.)

Тайдула стояла, старая, перед сыном, которого вырастила сама таким, каков он есть, каким он стал теперь, и в ее гордом сердце что-то ломалось, падало, гасло, уходя, как уходит вода из разбитого кувшина.

— Не отдам! — сказала она.

— Я прикажу нукерам связать тебя, и они исполнят мой приказ! Не доводи до этого, мать!

— Это все Товлубег! Это он насоветовал тебе!

Старый убийца! Передай: не жить ему долго на земле! Сжалься, сын! — вскричала она, уже теряя волю.

— Или он, или я! — мрачно ответил Бердибек, упорно глядя на ничего не ведающего, гулькающего малыша.— Уступи, мать! Ни мне, ни Товлубегу не нужна твоя кровь!

— Где мои воины? — спросила Тайдула, поняв наконец, что сына ей не убедить, не умолить.

— Твоих воинов нету здесь, мать, и они не придут! — угрюмо ответил Бердибек.

— Тебя проклянут все! — ответила Тайдула, делая шаг назад. Ей не хотелось, чтобы чужие воины хватали ее за руки и вязали арканами.

— Когда из потомков отца останусь я один, им не из кого больше станет выбирать себе ханов!

— Русский поп тоже проклянет тебя! — возразила Тайдула, отступая еще на шаг.

— Пусть русский поп получит ярлык и убирается прочь из Сарая! Пока еще Русь платит выход Орде, а не наоборот! — Бердибек, решительно протянув руки, поднял ребенка, которого молодая мать, словно птица, завороженная змеей, сама протянула ему.

Младенец гулькал и тянулся теперь рукой к бороде Бердибека. Тайдула молча закрыла руками лицо.

Бердибек передал младенца воину, и тот опасливо принял малыша, поглядывая на двух недвижных женщин, одна из которых еще вчера распоряжалась в Орде, рассылая грамоты иностранным государям и смещая или назначая по своему произволу вельмож.

Уже когда Бердибек и воины начали, теснясь, выходить из юрты, молодая мать с протяжным воплем кинулась вслед за ними и у самого порога, получив от одного из воинов страшный удар в грудь древком копья, повалилась навзничь, икая и смертно закатывая глаза, ненужная теперь никому, еще живая, но уже как бы и вовсе переставшая существовать.

Товлубий начал резать мальчиков одного за другим после того, как с рынка привели двенадцатого, Тэмура.

Детей подводили к Товлубию связанных. Палач отгибал мальчикам головы и перерезал горло. Кровь брызгала в деревянное корыто, из каких поят лошадей. Трупы клали рядком на кирпичный пол.

Некоторые дети плакали. Другие крепились, сами молча подходя к палачу. Товлубий сидел перед ними, старый, безобразно огромный, и на его жирном бабьем

лице бродила довольная улыбка. Он прицокивал, видя мужество умирающих, и считал:

— Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый.

Ребенку, которого привез Бердибек, второпях вовсе отхватили голову. Теперь это маленькое толстое тельце с подкорченными ножками лежало на краю, а восковая детская головка откатилась в сторону, и казалось, что ребенка приготовили, чтобы зажарить и съесть.

— Семь. Восемь. Девять! — считал Товлубег.

Тэмур бился в веревках, кричал: «Убийцы!» — пока нож палача не успокоил и его.

Асан молча сам подошел к корыту с дымящейся человеческой кровью, глубоко вздохнул, поняв, почувствовав до конца, что это его последний вздох. Кровавые пальцы, вцепившись в темя, начали отгибать его голову, и мгновенная резкая боль прошла по горлу. Враз стало нечем дышать, и туманно, угасая, пробежал перед глазами кирпичный, выложенный в елочку свод каменного дома Товлубия.

— Десять! Одиннадцать! — продолжал считать вслух Товлубий, когда Асана уложили рядом с зарезанным прежде Димитрием.

Последним подтащили толстого, похожего на глупого степного суслика Тулука. Раздался короткий прерывистый визг.

— Двенадцать! — сказал Товлубий и, откинувшись на подушках, потянулся всем телом, словно сытый, наевшийся хищник.

— Позови Бердибека! — велел.— Пусть поглядит сам!

Палачи вдвоем выносили корыто с кровью.

Про убийство царевичей судачили по всему Сараю уже с утра. Сожалительно толковали про поимку Тэмура на базаре, шепотом передавали друг другу, что не все царевичи убиты, кто-то спасся в степи и вскоре воротится с войском...

Алексий на своем подворье узнал о новом преступлении Бердибека от вездесущего Станяты, а потом от ключника, а потом стали приходить и рассказывать, живописуя подробности, все подряд.

Приезжали знакомые беки, качая головами, сказывали, засматривали в глаза Алексию. Русичей в этот день на базаре даром угощали халвой. Нежданным

образом последние события очень повысили авторитет русского митрополита. И потому ярлык, освобождающий русскую церковь от поборов, был выдан ему незамедлительно (и составлен, как и предсказывал Товлубий, Муалбугой — доверенным лицом Тайдулы). Была приложена к ярлыку и ханская печать вместе с заверениями, что хан не отберет великого княжения у Ивана Иваныча Красного и не отдаст его никому другому. Возможно, опомнившийся Бердибек решил теперь продолжить политику отца, чтобы усидеть на престоле.

В степи было неспокойно. В виду Сарая разъезжали массы чьих-то вооруженных всадников, и только ради того, чтобы скорее добраться домой, Алексий решился все-таки ехать посуху. (Что едва не кончилось трагедией, так как в двух днях пути от Сарая поезд владыки был задержан. Пришлось просидеть несколько дней, находясь меж жизнью и смертью, и потерять много добра, расхищенного да так и не возвращенного татарами.)

Дальше ехали осторожно вплоть до рязанских пределов и только тут уже вздохнули свободно, когда узрели первые русские лица, услышали первый благовест русского храма и почуяли наконец, что ордынский кошмар остался далеко позади.

Наступили холода. Ветер обрывал последние листья с деревьев, рощи стояли голые, приготовленные к зиме, и воздух был холоден, свеж и чист, и казалось, верилось, что тут, на Руси, не может быть никогда и в будущем даже ничего подобного тому, что сотворилось в Орде у них на глазах.

Они сидели в боярском доме недалеко от Переяславля-Рязанского. Хлебосольный хозяин предоставил митрополиту и его спутникам все свои хоромы, а сам с семьею убрался на эти два дня в летнюю клеть. Русичам истопили баню, кормили до отвала. Алексий согласился задержаться здесь ради измученных спутников и обезножевших коней. И сейчас сидел в верхней горнице, подписывая грамоты, которые передавал ему Станята.

Свет, падавший из небольшого, затянутого пузырем окна на лицо Алексия, подчеркивал обострившиеся морщины чела, опущенные плечи, легкое дрожание руки, когда он, держа ее на весу, читал грамоту. Тут только и увидел Станята, как безмерно устал Алексий

в Орде. Он и сам не мог избавиться о сю пору от ужаса, хотя и не видел зарезанных царевичей своими глазами.

Алексий явно сейчас не читал, глаза его были устремлены куда-то мимо строк, и потому Станята решился высказать вслух то, что думал:

— Нажили мы себе нового хана! Поди, станет пострашнее Узбека!

Алексий вздохнул, опустил грамоту, ответил устало:

— Бердибек долго не просидит!

Станята подумал (разговоры на ордынском базаре пришли ему в ум) и понял, что владыка прав.

— Кто же будет заместо ево? — вопросил.

— Не ведаю, Леонтий! — отозвался Алексий, кладя ладони на стол и глядя перед собою.— Не ведаю!

— Може... и вовсе...— начал было Станята, но Алексий понял его до слов, покачал головою:

— Русь еще не готова к взлету! Нам доселева надобна Орда! Посему и жаль, что Джанибек убит! — Он расправил плечи, твердо взглянул на Станяту.

И тот, хоть и нелюбо было выслушивать, что Орда нужна для Руси, опять в душе согласился с наставником. Нету на Руси покамест сильной единой власти, нету даже князя, способного стать новым Михайлом Тверским или Калитой. И сколько-то лет, лет пять-шесть, просидит в Орде этот...— даже мысленно не хотелось называть Бердибека по имени.

Впрочем, ошибались оба. Новый хан не просидел на престоле и двух лет. А там пошла чехарда убийств и смены властителей, все передрались со своими, и возникло то самое, что современники называли великою замятней, когда на Руси порою уже и не ведали, какой нынче хан сидит на престоле в Сарае...

И все это предстояло увидеть и во всем этом участвовать, не выпуская из рук кормила русского корабля, смертно усталому человеку, сидящему теперь за простым дубовым столом в припутной рязанской хоромине хлебосольного русского боярина, даже и имени которого не запомнит никто через несколько недолгих лет. Все это увидеть, и устоять, и выстоять, и вывести судно своей страны из бурных узкостей мелких усобиц на широкий простор грядущего государственного величия.

— Мне сказывали бесермены-купцы, единый из них, из далекой какой-то страны — не из Египта ли часом? — про ихнего книгочия одного, Ибн-Халдуном зовут. Так вот он как толкует? Один, вишь, строит

государство, создает, другой заканчивает, а третий разрушает. Ежели с Узбека начать, дак Бердибек и должен все ихнее царство изничтожить! И в кажном дели так: подъем, после упрочение вроде, а после того — упадок. Дак вот, владыко, чего у татар ноне: упадок уже подошел?

— Думаю, нет еще. Да и начинать ежели, дак не с Узбека, а с Чингисхана! А впрочем, как знать! Много намешано в Орде разного народу! Ослабнет власть, и учнут они друг друга резать тогда.

— А мы, русичи?

— А мы еще не перестали друг друга резать! — с просквозившею горечью отмолвил Алексий.— Доколе поймем... Я, Леонтий, весь труд свой прилагаю к тому, дабы люди наши почуяли себя братьями во Христе и совокупить их под единою властью! И чтобы такого вот...— добавил он с легкою заминкой,— не было на Руси. Никогда!

Оба подумали про убийство Хвоста, и оба ничего не сказали вслух. Только Алексий вымолвил погодя:

— Не хуже они нас и не лучше! Нет в мире плохих и хороших! Только с одними нам можно жить, а с другими — нельзя.

— С латинами нельзя? — подсказывает Станята.

— И с мусульманами не станет льзя,— возражает Алексий,— ежели они захотят изничтожить всех христиан!

— Са́ми себя уничтожат! — произносит Станята, еще и не ведая, насколько он прав.

— Не себя, Орду! — поправляет Алексий.— Уничтожат мунгальскую власть, а без единого стержня, без власти единой, все и распадет на улусы и начнется война. Бают, в Хорезме уже началась, в Китае тоже, а там и до Сарая дойдет.

— А нам с има как же тогда? — вопрошает Станята.

— Не с ними и не с католиками надо быть, а с самими собой! И ежели сего не поймем — погибнем!

— Верно, владыко! — вздыхает Станька, поглядывая на Алексия, который уже преодолел силою воли краткий миг усталости и вновь окреп и статью и голосом.

— Ну их всех в ведьмин мох! Я поездил с тобою, поглядел на греков и на фрягов, и в Новом Городи у нас с жиру лопаются, а чуть что, Литву зовут на помочь! И Орда... Тоже и у их теперь замятня настает...

Должно нам, русичам, быти с самими собой! Выстанем? — вопрошает он с надеждою, заглядывая в лицо наставнику.

— Выстанем, Леонтий! — твердо отвечает митрополит.— Молюсь и верую! Аще Господь за нас, кто на ны?

Алексий недаром рассылал грамоты с пути. Филипьевым постом, когда землю скрепило морозом, а рождественские снега еще не содеяли непроходными пути, рати из Волока Ламского и Можая вместе с тверской помочью, посланной Василием Кашинским, вышли в поход. Под Ржевою всем полкам приказано было быть в один и тот же день.

Вразумленные Алексием бояре уже не медлили и не ссылались один на другого. По стылым дорогам со звонко лопающимся ледком над пустыми, вымороженными до дна лужами пошли на рысях конные рати.

Никита, едва успевший окончить свои хоромы, отправлялся тоже на войну.

Сруб поставили еще весной, но из-за летних работ — пахоты, покоса и жатвы — со всем прочим сильно задержали и уже осенью крыли свежею соломою кровлю по жердяным обрешетинам, настилали полы из целых, обтесанных только с одной стороны полубревен (главное отличие господского дома от крестьянских, в коих тут почасту полы в избе оставляли попросту земляные), мастерили сени, клали обширную русскую печь и устраивали светелку для боярыни.

Уже и пара коров стояла рядом с конем и купленным на днях стригуном-жеребенком во дворе, и овцы грудились в загоне, и Наталья со вздернутым животом (вот-вот родить) сама мутовкою сбивала масло, поглядывая на мужа, который вместе с плотниками довершал хоромину, в то время как девка то мыла полы, то моталась из горницы в хлев, и уже яснело, что без холопа, хоть какого, им не обойтись.

Кормы из деревни теперь частью возили митрополичьему ключнику, и мужики, которые, в общем, выиграли от последних перемен, ибо под митрополичьим крылом избавились от многих княжеских повинностей, были довольны. На Никиту поглядывали с прищуром, догадывая, что дело не так-то

чисто и в чем-то их барин крупно проворовался, раз под митрополита забрали, но в глаза Никите не говорили ничего.

Приказ Никите прибыть в Москву привез послушник, посланный селецким волостелем, и ехать надо было, не стряпая, вместе с ним.

Дул холодный ветер со снежною крупой. Серую стылую дорогу уже почти всю запорошило белым. Никита, уже одетый, в овчинном зипуне, приторочивший дедову бронь и саблю к седлу, прощался с Натальей. Обняв его, привалясь к нему теплым обширным чревом, Наталья выдохнула ему в ухо, ощекотав своим горячим дыханием: «Себя береги!» Отвалилась, откачнувшись, стягивая руками на животе шубейку, тревожно и любовно глядючи, как муж, вдевши ногу в стремя, садится на коня. Селецкий послушник в долгом суконном вотоле ждал уже верхом. Девка, выпуча глаза, смотрела на хозяина с недорубленного, еще без столбиков и кровли, крыльца. Никита кивнул ей, погоднее натянул на уши круглую шапку, оглянул дом, забелевшую первым снегом пашню, речку, покрытую светлым льдом, подумал, поднял пясть, перекрестил лоб, крикнул: «Прощай!» Тронули.

Наталья долго махала ему издали, и Никита, привставая на стременах и оборачиваясь, все видел и видел ее, пока дорога, попетлявши по косогору, не увалила за излом холма и деревня наконец скрылась из глаз. Тут оба всадника взяли в опор, и застоявшийся конь живо вынес Никиту мимо перелеска, в коем деревенские бабы летом вязали веники, к торной, разъезженной по осени, а ныне твердой и комковатой дороге на Москву. Холодный морозный ветер с колким снегом резал лицо, и Никите напомнилось, как когда-то скакал он по тому же пути морозной зимою с княжеским поручением в Тверь. И бежала луна, и морозный воздух не давал вздохнуть, и казалось, что не конь, а сам ветер несет его в морозном лунном одиночестве, в обжигающих неживых снегах от подставы к подставе.

Когда подъезжали к Москве, у Никиты невесть с чего сильно забилось сердце. Снова возник дорогой Кремник на горе, где столько было пережито и прожито, столько вложено сил и труда, что уже,

почитай, приросло к самому сердцу. Захотелось переведать друзей, поклонить матери, зайти по-старому на вельяминовский двор... Плохо знал еще Никита деловую хватку и строгость своего нового хозяина. Им удалось лишь мельком увидать Алексия, получить грамоты, поесть, пока готовили сменных коней, и, никого не видавши и нигде не застревая, скакать в Можай. Живо уразумев, какова тут служба, Никита не стал ни к брату заезжать дорогою, ни нежиться в постелях, а в тот же день, почти загнав коня, доскакал до Звенигорода, где коротко передохнули в монастырских стенах, и еще до света, пересевши с седла на седло, скакали в Рузу.

Над темною дорогой постепенно яснела, разгораясь, желтая зимняя заря, клубились тучи, не желая пропускать скудный солнечный свет, изредка шел снег, да глухо гудела под коваными копытами твердая дорога, по которой, судя по следам, уже прошла вчера на Можай не одна сотня всадников.

За Рузою начали нагонять обозы, отдельных неудалых комонных, повредивших ноги коню и потому ехавших шагом. Солнце раза два косо выглядывало из-за поспешных волокнистых облаков и пряталось вновь. Птицы подымались стаями с теплого конского помета, с криком и карканьем кружили над головою. Шли, переходя с рыси на скок, и владычный послушник, не сказавший и двух слов дорогою, все так же скакал, не отставая от Никиты ни на шаг. К вечеру, не умеряя сумасшедшей конской прыти, они ворвались в Можай, людный, переполненный ратными.

Никита хотел было озреться, поспрошать, но послушник так же молча повел его за собой, и скоро они вручали владычные грамоты воеводе, и тот читал, зорко взглядывая на вестоношей и шевеля губами, а после, загибая толстые пальцы, молча высчитывал что-то и, окончательно решив и кивнув головой, почти что рысью убежал раздавать приказания.

Ели они в каком-то поповском доме строго постное (спутник Никиты наотрез отказался от предложенного было им как кметям, находящимся в дороге, куска холодной телятины, и Никита последовал его примеру), спали здесь же, на сеновале, под попонами, встали опять чуть свет и тут только раз-

делились, ибо послушник скакал назад, в Москву, а Никите, как явствовало из митрополичьей грамоты, следовало присоединиться к войску и скакать всугон полку, выступившему в путь еще вчера вечером.

Никита, ошибясь раз-другой и приставая не к тем, к кому надобно, все же догнал свой полк под самою уже Ржевой, представился воеводе, и тот, покивав и расспросив ратника о прежней службе, поставил Никиту старшим над десятком кметей, с коими Никита и перезнакомился тотчас и переночевал вместях в припутной избе, и уже, хоть народ был незнакомый, не свой, стало привычней и способнее сразу.

Ржева показалась из утра, на втором часу пути, и, оглядывая со взлобка из-под ладони, Никита узрел вдали выкатывающую из леса иную рать — это подходили не то волочане, не то тверичи. И уже когда был отдан приказ растянуться широкою полосой и когда вдали появились редкие литовские разъезды, Никита, кучнее собравши своих и приняв решение, с облегчающей радостью освобождения от всей той липкой паутины, что оплела и держала его со дня убийства Хвоста, вырвал из ножен саблю и, завопивши: «А-а-а-! Хур-ра-а-а!» — ринул вперед.

Холодный чистый морозный ветер, в котором витал еще незримо призвук осени, бил ему в лицо; конь, понуждаемый стременами со шпорами, шел наметом, и ширила радость в груди, и близили литовские всадники, которые начали загодя, не принявши боя, заворачивать своих коней.

В крепости заполошно вызванивал набат, над стенами посверкивало. Свистнув и рукой поманив своих, Никита в опор помчал к воротам, около которых суетилась, закрывая их, небольшая ватага вражеских воинов. Он оглянул назад: растягиваясь по полю, за ним скакали всего шесть воинов, остальные заворотили к главному войску. Там вспыхивали начищенные зерцала воевод, шевелились стяги.

— Дурни! — выругался Никита, проскакивая крайние избы посада. Нежданно перед ним вынырнул из проулка и тотчас поворотил к воротам вражеский всадник. Наддав, Никита нагнал его и, изогнувшись кошкою на седле, с потягом рубанул — литвина ли, русича — вкось по незащищенной спине. Тот вздернул поводьями коня почти на дыбы

и начал заваливать вбок. Никита промчал мимо и вновь оглянул. В улице за ним скакали четверо ратников с бледными от страха лицами. Ежели и эти повернут — беда!

Он, не доскакивая ворот — дуром соваться одному против двадцати, тридцати ли! — ринул вбок, высматривая в сплошной городне хоть какой прогал, и высмотрел-таки не то калитку, не то лаз, куда не проехать с конем, и, дождав своих, кинул, определив на глаз, самому непроворому:

— Держи коней, раззява, остальные — за мной!

Тут уж оглядывать не стоило. Скативши с седла, он взбежал по угору и сунулся в низкую отверстую дверцу, откуда ему навстречу тотчас выскочило копье, мало не задев Никиту по носу. Он схватил рукою за древко и дернул к себе изо всех сил. Воин, не сожидавший такого, упал на колени и выронил копье. Никита ткнул саблей под горло, почуявши хруст плоти, понял, что угадал, и, перескочив через поверженного, оказался внутри крепости. Трое ратных очутились почти одновременно рядом с ним. На бледных лицах горел восторг нежданной удачи.

— Не робеть! — строго бросил Никита и, озрясь, кинулся по лесенке вверх. Грудью сшиб второго, даже не разобравши лица, оглоушив плашмя саблею, как ослопом, отбил в сторону третьего и оказался на заборолах. Трое лезли за ним, сопя, уставя рогатины, готовые теперь уже резать и драться.

Никита мгновенно оценил сметку ребят, подобравших брошенное врагами оружие, но раздумывать было некогда — жизнь решалась в секунды, потому что на заборолах тотчас на них накинулись и началась свалка. Воин в броне, боярин, видно, высокий и широкий в плечах, медведем пошел на Никиту, уставя широкое лезвие рогатины. Никита, отскакивая, рвал лук со спины и в отчаянии швырнул саблю в ноги противнику. Тот споткнулся, и это решило дело. Никита успел вырвать лук, наложить стрелу и, почти касаясь уже брюхом лезвия рогатины, натянувши тетиву по-татарски до уха, выстрелил в литвина. Пущенная почти в упор стрела пробила бронь. Литвин тяжело рухнул на колени, а рогатина его, проскрежетав по Никитиной броне, порвала ему порты и оцарапала ногу. Безоружный Никита, чуя свалку за своею спиной, с

отчаянной удалью ринул вперед, и слуги литвина вспятили, утерявши с господином уверенность свою. Никита, изогнувшись, подхватил саблю и пошел, крестя ею, вперед, а холопы — один сиганул вниз со стены и побежал куда-то, прикрывая голову, другой же рухнул на колени и поднял руки, сдаваясь.

— Сиди! — страшно крикнул ему Никита и оборотил назад, где двое его ратников — третий уже был убит — пятили, отбиваясь от десятка вражеских кметей, которые только потому еще не расправились с ними и с Никитою, что отчаянно мешали друг другу в узости стены.

Мельком увидав сквозь заборола, что свои уже подступают к стенам, Никита подхватил булаву поверженного им воина и, раскрутив ее, ринул в кучу нападающих. Кмети прянули назад, и Никита, воспользовавшись этим, высунулся в отверстие заборола, рискуя погибнуть от своих же стрел, и заорал, срывая голос и размахивая сорванным с литвина корзном:

— Сюда! Друзья-товарищи! Выручай! Ко мне!

В это время был убит второй Никитин ратник, а оставший в живых бешено отбивался обломком рогатины. По-видимому, его услыхали или увидели лошадей невдали от вала. Несколько воинов устремились к оставшейся открытою калитке, и скоро лестница загудела под многими ногами. Никита со вторым ратником, оба раненые, чудом оставшиеся в живых и притиснутые к стене, разом прянули на врагов, а те начали прыгать с заборол внутрь крепости, уже не помышляя о сражении.

Никита едва успел ухватить за шиворот своего пленного: «К-куда, паскуда?!» Тот трясся весь, ожидая удара саблей. Но Никита твердо знал, что нужно ему: когда-то из той же Ржевы его отец привел домой двух полоняников, и потому никак не хотел убивать сдавшегося кметя.

Запаренный, в клокастой развихренной бороде, явился полковой боярин. В открытую калитку внизу уже валом валили воины. Крикнул: «Хвалю!» — и, вполглаза оглядевши пленника, кивнул головою, мол, веди в кучу. Никита свел брови, шагнул вперед. Кровь текла у него по платью, толчками выходя из пропоротого плеча.

— Дозволь, боярин! Ворота захватил, удержал! Дозволь! Добыча моя! Митрополич я ключник! (Приврал для острастки боярина.)

— Ну...— Тот глянул смуро, но, подумав миг, рукою махнул: — «Бери, жалую!» — и побежал по стене.

Уже открывали ворота. Никита, ругаясь, тянул с себя бронь. Пленнику велел порвать рубаху и перетянуть рану. В голове звенело от потери крови. «Только бы не упасть!» — подумал. С трудом вновь натянул кольчугу. Перевязали раненого кметя, сняли бронь и оружие с убитого литвина. Втроем, держась друг за друга, сползли со стены.

Тот ратник, которому были поручены кони, так и стоял в поле и обрадовал живому Никите изо всех сил. Никита вскарабкался на коня, полонянику велел сесть на поводного, подсадили раненого. Кметю, что сторожил коней, Никита велел теперь вынести мертвых товарищей и привязать к седлам. Ратник робел, но беспрекословно пошел исполнять приказание. Подъехали, низя глаза, двое отставших. Те четверо, что кинули Никиту в самом начале, так и не явились к нему. Принесли своих мертвецов. Теперь Никита оставил в поле прежнего ратника вместе с раненым и своим холопом — стеречь добро и трупы,— а с двумя отставшими устремил сквозь отверстые ворота в город.

Бой кончался. Литвы была горсть. Ратники, большею частью русичи из Полесья, бросали оружие. Пленных литвинов, отобрав брони, согласно приказу освободили и выслали вон. Холопов-полоняников разобрали воеводы, и Никите много стоило отбить своего пленника, спасти захваченную бронь и увести коня с пораненною спиною, почему на него не очень обзарились полковые воеводы.

Три дня укрепляли город. Никита все три дня провалялся на соломе, борясь с подступающею горячкою. Ратники, спаянные стыдом и ратным делом, охраняли своего старшого. Холоп поил его водой, ухаживал. (Потеряв одного господина и получив другого, он, в сущности, ничего не проиграл, тем паче и сам был не литвином, а русичем.)

Наконец, утвердив город, тронули в обратный путь. Боярин велел было ему бросить трупы ратников, от которых уже нехорошо попахивало, но

Никита угрюмо ответил, что довезет до дому, и боярин махнул рукой. Мертвецов увязали в попоны, приторочили к коням, благо, стоял холод. Так и везли. В полубреду проходила дорога, в полубреду явилась Москва, где он распростился с ратными, расцеловавшись крест-накрест с раненым товарищем, с которым стояли насмерть на заборолах.

Еще он явился на митрополичий двор, по дороге встретив Матвея Дыхно и попросив того постеречь коня и полоняника, и уже на митрополичьем дворе, сказывая ключнику, какое сотворилось дело, потерял сознание.

Никите сильно повезло, ибо лечил его сам Алексий. От раны воина шел уже трупный дух, загнивало мясо, и жар с бредом трепал Никиту несколько дней.

Очнулся он в монастырской больнице. У постели его сидел старый монах и шептал молитвы, перебирая четки.

— Оклемал, брат? — участливо спросил он Никиту, видя, что тот моргает, щурясь на огонь свечи, и глядит осмысленным взглядом.

Оказалось, что, пока он лежал, многое совершилось на Москве. Князь Иван Иваныч поехал в Орду за ярлыком к новому хану. Туда же поехали и иные князья. Туда же устремил и Василий Кашинский, и туда же поскакал Всеволод, вновь кровно изобиженный дядей. Всеволода, слышно, задержали по приказу митрополита на Переяславле, и он теперь уехал в Сарай через Литву. А на Москве ныне сидит ордынский посол Иткара, собирающий серебро для нового хана — «запрос царев».

Никита покивал. Голову кружило от слабости. Теперь, вспоминая Ржеву, он уже не понимал, как мог выдержать, раненный, несколько дней да еще добраться до Москвы.

— Матка твоя приходила! Да в монастырь не пустили ее! — сообщил монах.

— А Матвей? — вопросил Никита.

— Приятель твой? Из княжьих ратных? Был, как же! Сидел у тебя, да ты, паря, не узнавал никого. Сам владыка изволил к тебе быть, гордись! По ево указу и я здесь... Ну-ко пошевели рукою, работает?

Никита с трудом, вызвавши боль во всем плече и предплечье, чуть-чуть свел и развел пальцы.

— Ну! — удоволенно произнес монах.— Счастлив ты, я гляжу, парень!

Еще через неделю Никита сумел встать на ноги и, шатаясь, как осина от ветра, выйти во двор. Силы начинали возвращаться к нему. В ближайшие дни он побывал у матери, у Матвея Дыхно, поглядел, как добытый им холоп колет дрова, покивал, услышав, что добытая бронь, конь и оружие целы.

Приезжал Услюм, вызвался отвезти Никиту домой на санях. Никита, подумав, отверг. Не хотелось тревожить Наталью прежде времени. (Он не знал, что ей уже сообщено и теперь она ждет не дождется его к дому.)

Единожды его вызвали к митрополиту. Алексий, одержимый многими заботами, а главным образом теперь поведением князя Всеволода (он изо всех сил сдерживал возрождение Твери и дома Александра Тверского, преступая уже давно многие моральные нормы, что было порою тяжко ему самому), все-таки нашел время поговорить с Никитою.

Оглядев исхудалого, обросшего и даже чуточку поседевшего ратника, он предложил ему сесть, выслушал, кивая, рассказ о взятии Ржевы, о чем ведал много лучше самого Никиты, остро глянул в глаза кметя, вопросил вдруг:

— Ну вот, ни Алексея Петровича, ни Василия Васильича нет на Москве. Ржеву взяли? Ну, а были бы они оба — взяли бы? — Никита потерянно кивнул.— Понял теперь, что неправо сотворил и господней кары достоин? Понял? Ступай! Жена ждет тебя, не медли в Москве. И ведай: еще не выкупил ты долга своего перед Господом и совестью своею!

Они ехали вдвоем с холопом, коего звали Сенька Влазень. У Никиты кружилась голова и болели глаза от отвычной сияющей белизны снегов. Рождество уже минуло, пока он лежал без памяти, окончились Святки, и теперь стояла вокруг уютная пушистая зима, в которую, будь он здоров, весело думать о санках, катулях, снежных городках, о бешеной конской гоньбе, о свадьбах на Масленой...

Курились розовыми дымками деревни. Неразличимая пелена снегов одела, сровняв, озера, луга и поля. И небосвод был лилово-сер и мягок, как бы-

вает только зимой. Ночевали в дороге, спали вместе под одним рядном.

К своему дому Никита подъезжал невестимо. Не брехнул пес, не замычала корова. Кинув поводья холопу и указав на ворота хлева: «Заводи!» — Никита отворил двери, другие и ступил за порог. Наталья встала ему навстречу и заплакала. Потом обняла, привалясь к нему мягкою большою грудью, принялась целовать. В люльке лежал ребенок.

— Сын! — сказала она и заплакала вновь.

— А я холопа привез! — ответил Никита, чтобы что ни то сказать, и, робея, подошел к колыбели.

Девка засунула нос в горницу, суетясь и расплываясь в улыбке.

— Сенькой его зовут! — бросил Никита, понявши сразу, чем так озабочена она, что даже не поздоровалась с хозяином.— Коней уберет, созови ко столу! — И уселся на лавку.

Наталья вытерла глаза, бережно подняла малыша, поднесла Никите. Сказала с мягкою любовною укоризной:

— Да ты хоть посмотри на него погоднее, дурной!

Подняться с места непросто и крестьянину. Да! Никто не держит! Не вправе держать. И подумать, помыслить о том, чтобы вправе, чтобы с насилием держать человека, ежели он захочет уехать в иную волость,— даже и помыслить о том не могли в четырнадцатом столетии на Руси (и в пятнадцатом столетии, и в шестнадцатом... До Юрьева дня и до его отмены еще ой-ей-ей как далеко[1]). Но порушить жизнь, бросить какие ни на есть хоромы, знакомую землю, пашню, взоранную трудами собственных рук, речку, рощу, те вон перелески, где по осени ночуют твои коровы, этот вот камень, на котором куешь, когда придет нужда, и тот вон рябиновый куст, и те березы, и этот озор вдоль реки на дальние дали, которые, и очи смежив, все одно представляешь себе. А соседи, а ближники? Ну, положим, когда уходят, стало — плохо и с соседями, и ближние вроде не свои, и боярин, а пуще ключник его новый плохи совсем, али татары зорят, али иное что... Но рябиновый куст, по осени увешанный

яркими гроздьями! Но это вот сиреневое небо в прогале лесов! И кажет мгновением, что иного такого и нету уже на земле...

Непросто подыматься с места даже и мужику!

Куда как сложнее — боярину. Хоть и есть у боярина — как у мужика воля — право отъезда от князя своего. Право есть! Тоже еще, почитай, векполтора права того не порушит никто из князей. Держат, конечно, всяко держат! И опаляются, и гонят, и друг с другом ряд заключат, дабы убеглых бояринов не принимать... И все же на само право отъезда покамест руки никто из князей не подымал.

Но и как отъехать? Те же пашни и пожни у боярина, и он рос здесь и здесь играл с парнями и девками в горелки и лапту, здесь удил рыбу, разорял вороньи гнезда и охотился. И ему неотрывно от сердца все сие, и он человек!

Но и боле того! Боярин служит по роду, по дедам-прадедам. По ним, по чести родовой, ему и место в думе княжой, и кормы, и звания, и почет от иных надлежат. И твердо знает, выше кого сидит и ниже кого и на что имеет право и он и сыны его в свой черед, аще не прекратится род, пресекшись по умертвии мужеского потомства, ну и другое — ежели опалится князь, отберет волости... Да и то! Отберет, допустим, дак свои дружья, родичи-ближники умолят, упросят, не самого, дак княгиню, а она в постели мужу напомнит, жить не дадут, и, глядишь, помилует князь, возвернет и волости, и место в думе родовое, дедово, и честь. Так то дома! А в отъезд? Примут ли тебя? За кем и перед кем посадят? Наделят ли землею, и как, и какой? И сохранишь ли ты среди иных думцев, иных бояр и иных честей свою прежнюю честь и власть и волости свои? Тут-то как бы и не пришло, по старой говорке, переобуться из сапогов в лапти!

И вот почему, невзирая на право отъезда, служили отец, сын, внук, правнук — ежели не вмешивалась лихая судьба — все одному и тому же роду княжому, все в том же княжестве и на тех же прадедам жалованных волостях.

Пока Василий Вельяминов тайно, в ночь, выезжал из Москвы, берегучись в пути, вел свой обоз по весенним талым дорогам к рязанскому рубежу,

плутал в болотах, морил коней, выбиваясь на кручи окского обережья, рискуя жизнью, переводил возы с добром и лопотью, скот, ратных, детей и женщин через синюю, готовую тронуться Оку, пока все это творилось и неясно было, останут ли и в живых, доберутся ли целыми до Переяславля-Рязанского, ни о чем ином, кроме как о спасении, не мыслил и не загадывал себе великий боярин московский.

Иное началось после, когда, смертно усталый, оглядывал он спавших с лица сыновей, Ивана с Микулою, когда доставали из саней простуженного дорогою тестя Михайлу Лексаныча, когда ждали, когда представлялись молодому, задиристому даже и на вид князю Олегу Иванычу и тот, вздергивая едва опушенный юношеский подбородок, оглядывал и выслушивал московских бояринов, не скрывая спесивого удовольствия своего,— тут уже Василь Васильичу стало тоскливо, и даже так тоскливо — садись на коня и возвращайся назад! Тем паче, что и не в службу просились убеглые московские бояре, а просили права убежища, причем ни сел жалованных, ни мест в думе им и вовсе не полагалось никаких.

Почуялось, конечно, говоркою, что, попросись московский тысяцкий (почти тысяцкий!) в службу к Олегу, рязане то за честь себе почтут, и за немалую честь, но тогда и сел и вотчин придет лишити ся на Москве и уже не мыслить более о родовом, наследственном...

Детинец Переяславля-Рязанского стоял на круглом мысу, обведенном рекою так, что только узенький перешеек, перекопанный рвом, и соединял крепость с посадом. Держаться тут возможно было с сотнею лучников против тысячи. А дубовые рубленые городни по самому краю обрыва делали невозможным приступ к твердыне ниоткуда более, кроме главных ворот.

Кормили приезжих на дворе рязанского тысяцкого. Слуги и холопы ужинали на поварне. Рязанский великий боярин все приглядывался да присматривался к Василь Василичу, и не понять было, от себя али по указу князя Олега. Михал Лексаныча тут знали с егового нятья хорошо.

Рухнула весна, содеявши непроходными пути, а

едва сошел снег, Василь Василич, коему выделили пустопорожнюю хоромину на посаде, которую холопам и послужильцам пришлось долго-таки мыть, чистить и приводить в боже́ский вид, послал сыновей с дружиною в помочь рязанским полкам за Проню отбивать очередной набег татарский. (Татары тут, мелкие беки ордынские, пакостничали кажен год, и на неясной, никем точно не проведенной границе великого княжества Рязанского творилась, почитай, рать без перерыву, утихшая было только во время Джанибекова правления, но с его смертью тотчас восставшая вновь.)

Теперь он ездил, как на службу, на княжой двор, а дома встречал отревоженные глаза супруги своей, Марьи Михайловны, которая все молилась и плакала, сожидая гибели сыновей или иной подобной беды; хмуро встречал неуверенно-угодливые взгляды прислуги, в коих читалось: рабы мы твои верные, конечно, а дале-то как? Гневал, отводил взор, каясь в душе, что сам не уехал на войну, легче было бы переживать свое бегство из Москвы и добровольный плен рязанский,— сам ждал, волнуясь, возвращения сыновей...

Землю пахали взгоном, бросив на то всех лошадей и всю оставшую с ним мужскую силу. Махнув рукою на честь, боярин и сам пахал, показывая пример холопам, пахал остервенело, ворочаясь вечером с черным от устали лицом, и уже нравилось, и земля — земля была добра на Рязани! Начинал понимать, почто держатся так за нее, зубами, внадрыв, отбиваясь от татар и Москвы, теряя людей, отступая и вновь восставая упрямо. И ширь была — в полях, в широкошумных дубравах, в близком дыхании степи, чужой, враждебной, бескрайней, куда сильные поколениями уходили отсюда, слагая в степной непрестанной борьбе буйные головы свои.

Олег весною присматривался к нему. Раза два проблеснул греческим речением, нежданным среди грубых мордатых ратников, среди подбористых драчунов рязанских, обыкших скакать с утра до вечера и на всю жизнь, казалось, пропахших конским потом и запахом трав.

Олег, присматриваясь, явно звал его к себе и дал бы быть может, и место в думе немалое, и села, и

волости. И в мыслях о том скучнел Василь Васильич, уже и на тестя поглядывал хмуро порой. Все то, что с трудами и болью десятилетиями заводилось и было завожено на Москве, здесь словно бы еще и не существовало (в Солотче он так и не побывал и с тамошними книгочиями не поимел дела). И казалось Вельяминову: перебраться сюда — и снова Русь зачинать придет от первых времен, от землянок Киевщины и шатров половецких! И — падала бы Москва, творился бы там раззор и погибель, как в древнем Ростове, ветшало бы там и исшаивало,— и кинул, и перебрался, возможно, к этому молодому князю с соколиным взглядом умных глаз, к этим рязанским «удальцам и резвецам», как они сами себя называли, к этой щедрой земле, и полям, и дубравам... Кабы падала, кабы клонилась долу Москва! Но Москва, куда вложен был без остатка труд отца и деда, труд его молодости и зрелых лет, Москва звала, ждала, снилась ему ночами и никак не хотела отпускать от себя. Потому Вельяминов и замучивал себя работою, потому и пахал, и рубил хоромы, и чуял, что со всем этим в него вливает нечто такое, чего он не ведал допрежь и понимания чего ему очень и очень недоставало в его предыдущей жизни...

Дети воротились, уже когда была взорана и засеяна пашня. Обдутые ветром, загорелые. Микула был легко ранен в бедро, Ивана татарская стрела задела по лицу, оставя след на скуле. И оба без конца рассказывали о лихих сшибках со степняками, об удали рязанских воев, о каком-то Тюлюке, которого рязане разбили и даже взяли в полон. Перечисляли своих убитых ратников. Мать тихо крестилась, вечером плакала украдкою — не чаяла встретить сыновей живых.

И обидно было, что кмети гибнут и сражаются сыновья не за свое, московское, а за рязанское дело, хоть и против татар, к которым тут вовсе не скрывали вражды, но которые и сами зато вели себя на Рязанщине, словно в только что завоеванной волости.

Цвели травы, текли облака, колосились хлеба под солнцем. Замучивая себя бешеной конской скачью, Василий Васильич думал и думал. Слухачи его уже не раз наведывались в Москву, передава-

ли, что шум и смуты утихли, что Вельяминова жалеют теперь, а город живет без тысяцкого и что многие уже толкуют по теремам и в торгу, что, мол, Василию Вельяминову надлежало бы не сидеть на Рязани, а вослед отцу и деду началовать городом.

До осени сыновья еще дважды отъезжали отражать татар. Бердибек никак не мог наладить мира в своем улусе, слушались его плохо, кровь убитых отца и братьев слишком тяготела на нем.

Сверх того, наместников Бердибековых, уж неясно, за какие грехи, скоро погнали из Аррана и из Азарбайджана. Сил у нового хана воротить захваченные земли не было, и так этот богатый, людный, торговый и всем изобильный край был вновь и уже навсегда потерян для золотоордынского престола.

К осени, прослышав, что русские князья и Иван Иваныч с ними собираются в Орду, к новому хану, подтверждать ярлыки, Василь Василич решился. Он уже не бегал, как зверь, по горнице, сидел, думал. И в лице его сквозь всегдашнюю ярость взора, сведенных скул и жестокого трепета крыльев вырезного носа проступало нежданное для него и неведомое ему доднесь смятение чувств, родственное духовному просветлению.

Он оглядывал низкий жердевой накат потолка, покрытый лохматою сажею, грanotесаные стены до полиц-отсыпок; выше хоромина была сложена из круглого, на абы как; вспоминая эти их легкие, словно сараи, избы, плетни и плетневые стаи, тонущие в бело-розовой кипени садов, эти ходкие телеги с высокими краями, в которые, едва беда, покидавши детей и скудные пожитки и гоня перед собою приученную к тому скотину, смерды устремляли в бег под спасительную сень лесов, забиваясь в осек, в чащобу, куда не пробиться и с конем, заваливая дорогу за собою подрубленными деревьями и там пережидая ратную беду, весь этот по необходимости грубый быт, по горькой необходимости кочевой и военной жизни излиха податливых баб и девок, с дитями, прижитыми зачастую от проезжего ратника, эту быструю ярость сшибок и уличных драк и лихую — лихую прежде всего — отчаянную удаль рязанских ратников, вспоминая все это и сравнивая со своим, московским, Василь Ва-

силич качал головою, со стыдом уже понимая, сколь прав был владыка Алексий и не прав он и как он может, не должен допустить себя до того, чтобы остаться здесь и так же, как и они, огрубеть и видеть, как грубеют сыны, как забывается грамота, уходит книжная мудрость, как остается одно лишь — конные схватки, да гульба, да вечное кочевье, вечное, потому что конца татарским наездам и погромам было еще и вовсе не видать...

Он вставал, тяжелыми шагами проходил в холодную клеть, где встречал своего попа, с подручным разбирающего намокшие еще по весне, во время пути, тяжелые книги. И поп подымал на Вельяминова обрезанный взор, молча казал страницу с расплывшейся от воды киноварною заставкою, показывал пятна плесени на обрезах книг и волнисто вспухшие обтянутые кожею «доски» переплетов, и в молчаливой укоризне священнослужителя было то же самое, что и у него самого в душе. Проходил в челядню, где девки и сама боярыня ткали холст. Дружина обтрепалась, и куда уж было тут воздуха вышивать иноземными шелками да золотом! Впору успеть изготовить портна на обиходную одежу для ратных и челяди. Щелкали набилки, стояла деловая суета, и не было уже, как в старой вельяминовской девичьей, где за неслышным вышиванием читали вслух старинные повести «Акира», «Девгениевы деяния», «Александрию», или Жития святых.

Василь Василич выходил на двор, глядел подолгу то туда, вдоль улиц, где над кровлями высили церковные верха княжого детинца и шатры рубленой дубовой стены, то взглядывал, оборачиваясь, назад, где за невысокою насыпью, за тыном из заостренных бревен уходили вдаль поля и леса... Острог явно не мыслили долго защищать от неприятеля, только на то и годилась городовая стена, чтобы дать время посадским со скарбом и детьми перебежать в детинец, разрушив за собою мосты, и уже там отсиживаться или же бежать через реку в заокские боры и непроходимые мхи Мещеры. «Ежели которого сына убьют тут, на Рязани,— думал он,— то будет мне наказание от Господа!»

Осенью сжали хлеб, нежданно густой и обильный. Перекрыли новою соломою кровли в боярских хоромах, молодечной и челядне. И как только с

полевыми работами было покончено, заслышав, что владимирские князья уже выехали на Низ, Василь Василич, сложив все дела на жену и ключника, со старшим сыном Иваном устремил в Орду.

Преступление совершить гораздо легче, чем измерить его реальные последствия. И ежели бы каждый преступник заранее ведал о том, что произойдет, то число преступлений убавилось бы очень значительно.

Степь уже не подчинялась Бердибеку. Собрать войско, дабы вернуть Арран, об этом он и подумать уже не смел. Не смел подумать теперь даже о том, чтобы покинуть Сарай хотя на какое малое время.

Да, его провозгласили ханом. Да, он судил и правил, казнил непокорных, и текло вино, и рабыни ложились у ног, и был обманчивый блеск, и вот теперь потянулись к нему наконец за ярлыками урусутские князья, еще не очень веря, что можно безопасно проехать в Сарай мимо едва укрощенных степных эмиров. И все равно это была уже не власть. Призрак власти. Ее тень, навычай, оставший пока со времен Джанибековых, но готовый сломаться враз, как тонкий весенний лед от первого движения вод, от первого дуновения ветра.

За протекшие месяцы Бердибек растерял всю свою спесь, и урусутские князья с их устойчивою серебряной данью были ему теперь яко спасители.

Он принял Ивана Иваныча, согласился на все, чего хотели и требовали его бояре, подписал ярлыки, принял Василия Кашинского и его обласкал, по подсказке тех же москвичей. Принял веское тверское серебро и без суда, без разбора дела, безо всякого заведенного при отце и уже ставшего привычным законоговорения и порядка приказал схватить князя Всеволода с его боярами, когда тот кружным путем, через Литву, прибыл наконец в Сарай, и, подержавши некое время для острастки, выдал головой дяде, Василию Кашинскому.

Летом Всеволод был приведен в Тверь, подвергнут «томлению многому» и сам, и бояре его, и даже смерды, ставшие за Александрова сына... И все это творилось тогда, когда уже и Бердибек, коему оставалось править в Орде меньше году, потерял и

власть и жизнь, уступив их самозванцу Кульпе, которому только и стоило назваться сыном Джанибековым, чтобы сокрушить непрочный трон отцеубийцы, воздвигнутый на братней крови. И хотя поминалось при этом, что Джанибеку отмстилось давнее преступление братоубийства, но отмщение одному никак не обеляет еще преступника-отмстителя.

Все это было еще впереди, но всем этим уже веяло в Орде, уже витала над кирпичными, в седом зимнем инее дворцами Сарая грядущая злая судьба, и потому был так резок и жгуч морозный ветер, осторожны и уклончивы беки, тревожны купцы, потому и трупы замерзнувших нищих не убирались вовремя с долгих улиц, из которых, казалось, само время, превращенное в ветер, выдувало былую гордую уверенность ханской столицы.

Иван Иваныч ежился, отогреваясь у печки после изнурительных ханских приемов в плохо отапливаемых кирпичных палатах, отходил телом и душой. Нынешнее путешествие в Орду, и зимнюю дорогу, и обжигающий степной ветер, и этого нового хана, жестокого убийцу своего отца, выносил он без возмущения и гнева, как то, что надобно обязательно претерпеть, дабы воротиться домой, к уютным хоромам в Кремнике, к изразчатой печке, к Шуре, что и поругает, и успокоит, и приголубит и с которой так уютно и хорошо!

Без него там, дома, отбивали Ржеву, и Алексий доносил, что все хорошо, что Ржева отобрана, а литва выслана вон. И оттого, что война совершилась без него и без его участия благополучно окончена, Иван Иваныч был паки и паки благодарен своему печальнику, молитвеннику и — что скрывать! — правителю княжества, владыке Алексию. И то, что они, князь и митрополит, как бы поменялись местами, очень и очень устраивало Ивана Иваныча.

Он сидел на краю невысокой русской печки на своем подворье, свесив ноги в вязаных носках и упершись руками в горячие кирпичи. Спину приятно обдавало волною печного жара. Сидел, полузакрывши глаза, чуть поникнув плечами, сидел, наслаждаясь теплом и страшась всего: голосистых молодых бояр, что сейчас взойдут, румяные с мороза, и учнут его теребить и куда ни то снова потащат; страшась жестокого хана, ко-

торый в борьбе за власть решился на то, на что он, Иван Иваныч, не решился бы никогда, даже и понуждаемый всеми боярами (не дай бог в самом деле когда ни то на Москве увидеть такое!); страшась этого чужого ханского города и страшась долгой и трудной дороги домой... В нем что-то надламывалось, почти надломилось уже, почему он и скоро умер от пустячной болести, от коей в его годы и умирать-то иному было бы в стыд! А попросту — видно, больше не мог. Не мог быть не на своем месте, не мог выносить стремительного хода эпохи, взлета страны к деянию и деяния самого — само́й грядущей судьбы,— страшился и не мог вынести он, жестоко заброшенный правом престолонаследия на место, непосильное ему до того, что когда-то стало лучше уже умереть, дабы не продолжать и не тянуть этот груз дальше и дальше.

Он сидел и грелся на печке в вязаных носках и без ферязи, когда вошедший боярин объявил о приезде Вельяминовых, отца с сыном.

Иван Иваныч не понял сперва, переспросил. И тут теплое чувство поднялось у него в груди. Подумалось: «Верно, Шура обрадуется!»

Он сполз с печки, холопы натянули ему на ноги зеленые тимовые сапоги, накинули ферязь на плечи.

Вельяминов вступил в горницу, большой, промороженный всеми ордынскими ветрами, с мокрыми усами и бородою. Взошел и, оставя рослого сына при дверях, сделал к нему несколько неверных шагов.

Иван Вельяминов издали отдал поклон и после поглядывал на князя молодым соколом, вроде бы даже гордо, смахивая капли снежной влаги с долгих ресниц, и молчал, не шевелился, пока рек и кланял князю отец.

Василь Василич, меж тем приблизясь, словно бы споткнулся, глядючи в очи князю, и вдруг, точно подрубленный, рухнул на колени и поник головою в пол.

В горницу заходили бояре, переглядываясь, садились по лавкам. Феофан с Матвеем красноречиво перемигнулись между собой: владыка Алексий намекал им на таковую возможность и что в сем случае не должно им мешать князю Ивану проявить милость ко грешнику. Намекал! И как в воду глядел, как провидел события старший брат!

Федор Кошка, молодой, востроглазый, улыбчивый, прикусывая белыми зубами алую губу под мягкими усами, жмурясь даже, словно и вправду молодой кот-

игрун, влез, присел с краю на лавку, тоже ждал, поглядывая, что же будет теперь. Заходили иные бояре, обширная горница наполнялась.

Младший Вельяминов (дорогою заговаривал с отцом не раз, даже и то предлагал: не остаться ли навсегда на Рязани? — по молодости, по глупости полюби пришла боевая, тревожная рязанская жизнь) тут глядел, как заходят, минуя его и едва взглядывая, знакомые на Москве бояре, и у самого невестимо падало сердце. а ну как откажут?! Стыд-то! И — куда же после тогда?

А бояре все входили и входили, рассаживаясь по лавкам, и Иван Иваныч смотрел на лежащего перед ним на полу Вельяминова, и теплое ощущение радостного покоя разливалось у него в груди. Вот и окончено! Вот, слава богу, и прокатило, и минуло! И не будет этих досадливых Шуриных умолчаний, тяжелого безмолвия, укоризн... Алексей Петровича, верно, не воскресишь уже! И по-христиански ежели... Мысль об Алексее Петровиче облаком прошла по сознанию, но ведь и владыка Алексий свидетельствовал, что Василий Василич не виноват в убийстве Хвоста! И бояре молчат, ждут. Все пришли! Двоих нет, так те в разгоне сейчас, объезжают вельмож ордынских. И Вельяминов молчит, лежит на полу, а что говорить, все и сказано уже!

Иван Иваныч обвел глазами лица своих старших бояринов, прочел немое: «Как решишь, княже!» Вздохнул, подумал, произнес негромко:

— Встань, Василий! Прощаю тебя и тестя твоего! Ворочайтесь оба на Москву!

Ольгерд еще раз выслушал, запоминая, кто убит из бояр, озрел своих, лишенных чести ратников, высланных из Ржевы. Кивнул головой, отпуская. Поднялся к себе.

Скрученное, сжатое, как стальная пружина, бешенство переполняло его. Он даже не заглянул к Ульянии. О религии, о русских попах с нею было лучше не говорить. Прошел по крутой каменной лестнице в толще стены на самый верх, в ту укромную сводчатую комнату, где хранились грамоты. Сел за стол. Налил воды из узкогорлого кувшина в немецкий серебряный кубок, выпил и забыл кубок в руке. Его светлые голубые глаза в этот миг, ежели кто-нибудь решился бы взглянуть князю в лицо, были совсем черными и недвижный, остекленевший взор страшен. Когда он, вспомнив

про кубок, отставил его в сторону, на смятом серебре остались следы пальцев.

Печатник, сунувшийся было сюда, увидавши только лишь спину князя, вспятил и, плотно притиснув дверное полотно, на цыпочках сполз вниз по лестнице.

Ольгерд думал. Единожды он прошептал, и шепот был страшен, как и взор князя:

— Его надо убрать!

Еще через час Ольгерд, встрепенувшись и крепко проведя ладонями по лицу, вызвал писца, печатника и начал диктовать грамоты. Первую — в Константинополь с жалобою на митрополита Алексия, который позабыл западные епархии, небрежет ими, не посещает никогда, занимаясь только своею Владимирскою Русью. А потому он, Ольгерд, просит, буде так станет продолжаться и впредь, передать киевский митрополичий престол под руку волынского митрополита Романа.

Вторая грамота отсылалась к Роману на Волынь с требованием прибыть в Вильну к нему, Ольгерду, для важного разговора.

Третья, секретная, уходила в Киев, к тамошнему князьку Федору, подручнику Литвы (тому самому, что когда-то имал по приказу Гедимина новгородского архиепископа Василия Калику).

Четвертая, тоже секретная, отправлялась в Полоцк, к старшему сыну Андрею, с приказом готовить полки, чтобы, когда придет нужный час, вести их на Ржеву, вновь отбивать город у москвичей.

Грамоты уходили также братьям — Кейстуту в Троки и Любарту на Волынь, в Луцк.

Только окончив труды, запечатав и отправив послания, Ольгерд, посидев еще с минуту со смеженными веждами, разрешил себе встать, опираясь на молчаливого слугу, и спуститься в спальный покой, к супруге.

Как следствие этих посланий и последующей за ними пересылки тайных гонцов, укромных встреч и негласных переговоров митрополит Роман ближе к осени выехал с причтом в Киев и начал там служить, приводя и склоняя под руку свою духовенство южной Руси, до сих пор обязанное подчинением и церковною пошлиной владимирскому митрополиту, что вопиюще противоречило всем установлениям константинопольской патриархии и неизбежно должно было вызвать вмешательство Алексия.

Ольгерд ждал.

Василий Вельяминов наконец-то стал тысяцким, вослед отцу и деду. Иван Вельяминов, переживший с отцом ордынский поход, перезнакомившийся в Сарае с местною знатью, ходил, задирая нос: без нас-де не обошлись на Москве! Отец окорачивал, ежели слышал иные высказывания старшего своего, ну а в душу не влезешь... Микула, так тот был откровенно и неложно рад своему возвращению.

Налаживали порушенное хозяйство, вновь заводили конинные и скотинные стада. Вновь во дворе высокого вельяминовского терема толпились купцы, ремесленная старшина, послужильцы, посельские, волостели.

Старший Вельяминов, сильно-таки изменившийся за время рязанского беганья, принимал купцов, разбирал жалобы, судил и правил, налаживал мытные дворы и молодечную, подтягивал вирников, стро́жил ратных. Сил хватало на все; хоть и недосыпал, и недоедал порою, а проснулось родовое, Вельяминовское — не поддаться, не уступить! Жена Марья тоже словно воскресла, бегала по терему — светились глаза. Позднего сына своего, который родился у них год спустя, назвали Полиевктом, «многожеланным» по-гречески.

Осенью, однако, пришлось все бросить и выехать на рязанский рубеж.

Татарский царевич Мамат-Хожа, разоривший Рязань, подступил к пределам Московской волости.

Покрытый пылью ордынский гонец примчал в Кремник. С ордынского подворья грамота легла на стол великого князя. «Дай путь чист!» — требовал Мамат-Хожа.

Речь шла о разъезде (межевании) земель Москвы и Рязани.

Собралась дума. Иван Иваныч ежился, поглядывая на своих бояр и на татарина, что сидел недвижимо, сожидая ответа московитов. Алексий тоже ждал у себя на владычном дворе. «Посол» досыти напакостничал и ополонился в Рязани, пускать татар на земли Москвы нельзя было ни в коем случае. Но Мамат-Хожа настаивал, угрожая ратью. Гонец, подомчавший из Коломны, доносил, что татары уже переплавляются на левый берег Оки ниже города. Василь Васильич своею волею послал еще до заседания думы на устье Москвы-реки кованую конную рать во главе с Микулой и теперь ждал, что решит дума, поглядывая то на татарина, то на князя.

Взоры бояр и Ивана Иваныча оборотились к Вельяминову, и Василь Василич понял. Звание тысяцкого, врученное ему весной, требовалось теперь заслужить. Взяв слово, он ответил послу строго, но спокойно, что с рязанским князем у московского порубежных споров никаких нет и потому ордынскому послу в волости Московской быть не надобе. А впрочем, для говорки с Мамат-Хожой будут высланы в Коломну княжеские бояре.

Гонцы к коломенскому воеводе и к иным с приказом собирать ратников были посланы тотчас после заседания думы, а в ночь покинула город вторая московская рать, ведомая самим Васильем Вельяминовым.

Сам по себе Мамат-Хожа был не страшен, но за ним стояла Орда. И потому тайные гонцы понеслись, загоняя коней, в Сарай, а из Сарая уже скакал им навстречу владычный послух, посланный сарским епископом, с зашитою в подрясник грамотою, и грамота эта поспела на Москву вскоре после приезда ордынского посла. В ней говорилось, что Мамат-Хожа убил в Орде возлюбленника Бердибекова и теперь грабит Русь почти что по своему собственному изволенью, надеясь откупиться от Бердибека захваченным серебром.

У Алексия в эту пору на сенях сидел Никита, присланный селецким волостелем с отчетами по хозяйству (только что сжали хлеб), и Алексий, подумав, вызвал его к себе.

Никита вошел, отдал поклон, остоялся, ожидаючи приказаний.

— Слыхал про Мамат-Хожу? — вопросил его Алексий, зорко взглядывая на ратника. Тот кивнул почти безразлично. Его дело было хлеб, обозы, владычный корм.

— Поскачешь с грамотою к Василию Вельяминову! Грамоты той боле ведать не должен никто, понял? — И увидя, как радостно вспыхнули у Никиты глаза, Алексий удоволенно склонил голову.— Ступай! Поводного коня и справу получишь у отца эконома.

Меньше часу понадобилось Никите, чтобы срядиться и одвуконь, со снедью и оружием в тороках, с дорогою грамотою за пазухой в опор вымчать через Коломенские ворота. Вслед за Никитою впотемнях из города выступила третья московская рать, которую вели молодые воеводы Семен Жеребец, сын Андрея Кобылы,

и Иван Зернов. В осенних сумерках в густом вечернем тумане глохнул топот коней.

Никита скакал всю ночь, пересаживаясь с коня на конь, во владычном селе получил свежих лошадей и на рассвете, измученный, уже начал встречать отдельных отставших от полка ратных, со слов которых и разыскал Василь Василича.

Воевода сидел в походном шатре на раскладном стульце, когда, пригнувшись на входе, в шатер вступил пропыленный гонец и, значительно поглядев в очи боярину, молвил задышливо и негромко:

— От владыки. Тебе!

Василь Василич, понявши враз, что лишних глаз и ушей не надобе, махнул воеводам и стремянному выйти и тут только, поднявши глаза, узнал Никиту.

— Здравствуй! — сказал растерянно. Но Никита молча и требовательно протягивал ему свиток.

Василь Василич глянул еще раз, смолчал, порвал снурок. Прочел, перечел, обмыслил и, просветлев ликом, бережно свертывая грамоту, воззрился на Никиту, яро и весело выговорив:

— Наше дело теперь!

Он подумал, твердо протянул руку к аналою со свечой и, пока не дотлела, удушливо навоняв, тайная грамота, стоял и смотрел на огонь. Потом шагнул, обнял Никиту, сказал в ухо своему бывшему старшому.

— Прости в прежней вины! — И тотчас хлопнул в ладоши, вызывая стремянного и воевод.

Пока Никита глотал горячую кашу, обжигаясь и крупно запивая еду холодным медовым квасом, уже зашевелился весь стан. До сей поры у Вельяминова были словно бы связаны руки, он медленно отступал перед татарами, не вводя в дело ратных, а тут, проведав подноготную ордынских нелюбий, порешил тотчас и немедленно теснить Мамат-Хожу, доколе не уберется к себе.

Зазевавшийся татарский разъезд (разохотившиеся на Рязани ордынцы вовсе не ожидали сопротивления) был весь вырублен Микулой с ратными. И Никита, в десятый раз пересевший с седла на седло, даже не поспел к делу.

По всему полю ревели трубы, ржали кони. Третья рать, подошедшая ополдень, была брошена в дело прямо с пути, и Мамат-Хожа, видя себя обойденным вдвое, ежели не втрое превосходящею силою, вспятил и начал

отходить на рысях, не принимая боя. Тяжело ополонившиеся татарские ратники отступали в беспорядке, теряя полон и скот, поводных коней, груженных добром, а Вельяминов, не слушая никаких татарских вестоношей, теснил и теснил Мамат-Хожу, пока не сбросил на самый берег Оки, к воде, заняв береговые обрывы уже, почитай, на рязанской земле, и тут только принял гонца татарского, коему сурово объявил, что дает татарам два часа, дабы переправиться на правый берег Оки, и ни о чем больше с Мамат-Хожой разговаривать не станет и не уполномочен князем своим. А через два часа даст приказ о приступе, и пусть Мамат-Хожа ведает, что на одного татарина приходит шестеро вооруженных московитов и еще на подходе иная такая же рать.

Неважно, что Вельяминов приврал вдвое, а то и втрое. Сбросить Мамат-Хожу в реку он все равно бы смог, и татары, покричав, погрозив и постреляв из луков (с кручи им живо отвечали, и далеко не безвредно для татар), начали в конце концов переправлять свою рать на бурдюках, лодках и кое-как связанных плотах назад, на рязанскую землю.

— Уходят! — выговорил Никита (у него все плыло в глазах, дорожная усталь теперь, как схлынуло напряжение боя, начинала наваливать волнами), подъезжая к Василь Василичу. Старые ратники, узнавая своего старшого, издали кивали Никите.

— Уходят! — отмолвил Василь Василич, щурясь, безотрывно глядючи на серую осеннюю Оку, по которой косо, уносимые и разносимые течением, плыли татарские кмети.

— Твоя помочь, старшой! — негромко выговорил он.— Не привез бы владычной грамоты, разве решились бы мы ханского посла таково-то, с соромом, от себя выпроваживать?!

— Не тяжко в новой службе? — вопросил по-прежнему негромко, помолчав.

— Мне ить на Москву неможно теперь,— ответил Никита, щурясь и сплевывая.

Вельяминов обмыслил, склонил голову:

— Наталья как?

— Сын у нас растет! — отозвался Никита с оттенком гордости.

— Михайло Лексаныч прошал! — сказал Вельяминов.— Привез бы когда ее на семейный погляд!

— Пущай говорка утихнет! — вымолвил Никита, с невольным сожалением озирая ряды воинов, готовых к бою. Да, впрочем, боя уже и не предвиделось. На плоту, составленном из нескольких бурдюков и досок, от берега отплывал уже сам незадачливый посол Мамат-Хожа.

— Ударить бы на их! — проговорил, подъезжая, Семен Жеребец.— Ух, и полону бы набрали!

Вельяминов, отрицая, повел головой:

— Неможно! И вели кметям, без пакости чтоб!

— И полон ворочать? — разочарованно протянул кто-то из младших воевод.

— А вот етова делать не будем! — рассмеявшись, ответил ему Вельяминов.— Не ратились, дак... а уж што с возу упало, то и пропало!

Кто-то из татар снизу, с берега, кричал, грозя плетью. Ратные с кручи дружно и весело отвечали ему, показывая татарские луки: не вздумай, мол, собака, стрелять, мы и сами тому нынче не хуже вашего выучились!

Месяц спустя дошло известие, что Мамат-Хожа бежал от Бердибека в Орнач, где был настигнут ханскими гонцами, схвачен и тут же убит. Убит не за то, разумеется, что разорял Рязань и пытался разорить Московскую волость, не за десятки погубленных русичей и татар, не за сожженные деревни, угнанный скот, понасиленных жонок, а за убийство единого Бердибекова «возлюбленника», за смерть которого Мамат-Хожа так и не сумел расплатиться с ханом.

После того как Всеволод был в железах доставлен из Орды дяде Василию, тот, решивши наконец, что настал его черед, занял Холм, родовой удел племянника, и начал самоуправствовать, разорив и попродав Всеволодовых бояр, послужильцев и кметей.

Епископ Федор пробовал вмешаться, совестил Василия и наконец, не возмогши терпеть, сам побежал из Твери.

Алексию как раз дошли вести о том, что Роман отбирает у него киевскую митрополию (а из Цареграда — письменные увещания патриарха, нудящие его сугубо обратить взор к покинутым им в небрежении южным епископиям), и потому он неволею сряжался к выезду в Киев.

Задерживали неспокойные события на рубежах, угроза от Мамат-Хожи, счастливо, впрочем, останов-

ленная московскими воеводами, задерживали святительские дела, споры с Новгородом Великим, и потому выехать в Киев — торжественно, с клиром, церковными сосудами и святынею, с избранными из владычных послужильцев — ему удалось только после Рождества [1].

Филипьевым постом к нему на Переяславль как раз и прибежал, отрекаясь престола, тверской владыка Федор.

Алексий меж тем сожидал Сергия из монастыря, досадуя в душе, что так и не сумел сам побывать в Троицкой обители.

До него дошли уже вести о тамошних нестроениях. Суровый общежительный устав, вводимый Сергием, был радостно принят братией лишь на первых порах. Лишение вечерних трапез в своей келье, лишение уютного домовитого одиночества, вместо коего предлагались неусыпные монашеские подвиги, молитвенное бдение и труд, далеко не всем оказались по плечу. Возникло и иное, о чем Алексию не думалось доднесь, но что грозно восстало ныне, почему он и вызвал к себе обоих братьев, Сергия и Стефана. В общежительском монастыре безмерно возрастала власть игумена, и вот сего последнего, а прежде прочего борьбы за эту власть и не предвидел Алексий. (Сергий — предвидел, почему и был так труден для него выбор пути.)

Братья должны были прибыть к нему вместе, но первым явился Стефан, что было уже дурным знаком. Путного разговора со Стефаном, однако, не получилось. Занятый грядущею пастырскою поездкой в Киев и теми заботами и преткновениями, которые сожидал Алексий встретить там, грядущею новою борьбой с Романом, он так и не сумел уяснить смутной тревоги своей, не смог понять Стефана на этот раз, ибо помнил его раздавленным и униженным, жаждущим отречься от власти и мирских треволнений.

Сергия же Алексий ждал даже с неким трепетом, гадая: не ослаб, не смутился ли духом молодой игумен? Не надо ли и его поддержать, наставить, быть может, остеречь или ободрить?

Вот тут и явился тверской епископ. Минуя придверников, взошел, как был с дороги, вылезши из возка, сбросивши в сенях один лишь хорьковый опашень.

---

[1] После 7 января 1359 года по современному счету.

Взошел и рухнул в ноги: «Ослобони, владыко! Боле не могу, недостоин престола сего!»

Алексий поднял на ноги ветхого деньми и плотию старца. Усадил, успокоил, как мог. Выслал служку. Но прежде чем Алексий распорядил трапезою, епископ Федор заговорил, горько и злобно, с отчаянием человека, решившегося на все и ото всего отрекшегося.

Он кричал о совести, о поношениях, «якоже Христос претерпел от иудеев и законников», о том, что москвляне сами подговорили хана и преже утесняли сыновей страстотерпца князя Александра, погибнувшего в Орде по навету москвичей, яко и брат его Дмитрий, яко же и отец, святой благоверный князь Михаил, что Алексий более всех виновен в безлепой которе тверской и что митрополиту не должно, и неможно, и неприлепо, и непристойно мирская творити, ибо на то есть боярин и князь, что Всеволод в отчаянии и скоро изверится не токмо в духовном главе Руси Владимирской, но и в самом Господе и его благостыне, что он, епископ Федор, не в силах зрети, яко же своя домочадая губят один другого, и вина в том пусть падет на Алексия, а не на него, Федора, и потому он слагает с себя сан и уходит в затвор, в лес, в потаенную пустынь, но не может и не должен более взирать на сей срам и позорище и всяческое попрание заветов Господа нашего Исуса Христа, заповедавшего мир в человецех и любовь к братии своей.

Федора трясло. Он уже не был совсем тем строгим и властительным епископом великого града Твери, с коим Алексий так и не сумел урядить два года тому назад. Обострились черты, жалко и гневно вздыбились седые клокастые волосы, запали и покраснели глаза. Он, видимо, не спал дорогою, воспаляя себя ко грядущему разговору с Алексием.

Старцу надобен был прежде всего покой и отдохновение. И потому Алексий, ничего не ответивший Федору на все его хулы и нарекания, вызвал через придверника горицкого игумена и велел принять тверского епископа, как должно и надлежит согласно высокому сану гостя, накормить и упокоить, а беседу, твердым непререкаемым голосом, отложил до другого дня, егда Федор отдохнет и придет в себя.

— Ты ныне устал, злобен и голоден. А немощь телесная плохой поводырь для разума. Прости, брат, но я не стану ныне говорить с тобою, дондеже отдох-

нешь с пути и возможешь глаголати, яко и надлежит по сану твоему.

Горицкий игумен, проводивши Федора, потом осторожно вопросил Алексия: ежели тверской епископ отречется сана, кто возможет заступити место его? И в осторожном голосе, и в островатом, излиха внимательном взгляде игумена было невысказанное вопрошание — мол, чего же лучше: ныне поставить в Тверь своего, угодного владыке епископа — и все прежние которы с тверичами разом отпадут сами собой! Алексий ответил ему строгим воспрещающим взглядом, и игумен, не посмев изречь ничего более, исчез.

Да, конечно, думал меж тем Алексий, откинувши голову к спинке высокого монастырского кресла и смежив очи. Да, конечно! Многие, ежели не все, возмогут ему посоветовать так именно и поступить в сей час святительской трудноты!

Хулы и упреки Федора, ранившие его в первый миг, он отмел сейчас, справясь с собою усилием воли. Даже и врага поверженного зряща у ног своих, недостоит радовати тому, но скорее напротив — скорбеть об унижении человеческом!

Да, просто! Снять Федора, тем паче — по его собственному прошению, и заменить другим...

Просто — и потому ложно, уже по самой соблазнительной простоте деяния сего!

Не должен он, не вправе, в самом деле, поступить, как земная, мирская власть! (Хотя и поступает, вынуждаемый к тому слабостью князя своего!) И то, что Федор сам просит освободить его от сана, не должно соблазнить митрополита всея Руси, ибо, по слову Христа, камень, отвергнутый строителями, ложится в основание угла. Да, вот так! Вот, кажется, найденное слово! И его долг ныне, успокоив и ободрив Федора, принудить его остаться на месте своем.

Колико проще сокрушить, уничтожить, снять сан, заменить одного боярина, попа, даже епископа на другого, но колико труднее заставить покаяти, передумать! Колико труднее убеждать, чем карать, и колико нужнее принятое убеждение, чем кара, которая токмо лишь озлобляет, загоняя болесть внутрь, но не излечивая ее.

С тем Алексий уснул, почти решив, как ему говорить с тверским епископом. А утром служка сообщил, что к нему явился Сергий.

На утреннем правиле Алексий с трудом заставил себя сосредоточить ум на молитве, ибо все мысли его были заняты тем, как согласить жданное появление Сергия с нужною беседой с тверским епископом. И в конце концов решил свести всех воедино. Так за столом владычного покоя оказались сотрапезующими русский митрополит, тверской епископ и игумен молодой лесной обители с братом — бывшим игуменом Святого Богоявления.

Была уха из дорогой рыбы, вареные овощи, хлеб и малиновый квас. Была переяславская ряпушка и любимая Алексием моченая брусника. Епископ Федор, видимо, несколько успокоился, но во взгляде, самоуглубленном, замкнутом, в скупых и скованных движениях рук были продуманное упорство и выстраданная решимость не уступать Алексию.

Алексий подумал вдруг, что приход Сергия ко благу, и решил вести разговор прилюдно, ибо оба, Сергий со Стефаном, одинаково ведали вся тайная московской политики.

Федор, настороженный, колючий, присматривался к Сергию. (Стефана ему доводилось встречать, еще когда тот был богоявленским игуменом.)

Сергий, одетый с подчеркнутою своею и обычной для него простотой, был в сероваленом зипуне и лаптях. (Стефан, тот, явившись из обители, так же как и Сергий, в лаптях и на лыжах, тут переобулся в захваченные с собою тонкие кожаные поршни и зипун имел на плечах из дорогого иноземного сукна.) Будничные облачения митрополита и епископа казались — по сравнению — дорогою, едва ли не праздничною срядой. Но Сергий как-то умел не замечать несходствия одежд и обуви, и, посидевши с ним, всякий в конце концов тоже переставал замечать простоту одеяния подвижника, даже когда он, как теперь, и вовсе молчал, лишь внимательно взглядывая на озабоченного митрополита и нахохлившегося епископа.

Алексий молчал тоже, давая сотрапезующим насытить голод и немного привыкнуть друг ко другу.

Федор спросил о чем-то Сергия — из вежливости, дабы не молчать за столом. Сергий отмолвил кратко, но с потребною обстоятельностью. И — странным образом — и вопрос и ответ тотчас были забыты всеми председящими.

Наконец Алексий положил вилку, отер уста полот-

няным платом и, откидываясь к спинке кресла, строго вопросил:

— Должен ли младший в роде своем слушать старшего и подчиняться ему?

— Да! — вздрогнув, епископ Федор не сразу нашелся с ответом.— Но князь Василий Михалыч чинит безлепое насилие над сыновцем своим Всеволодом и людьми его, несообразное ни с какими законами естества!

— Да! — властно прервал Алексий.— Но должны ли, вновь реку, младшие уважать старших по роду всегда или токмо по рассмотрении, достоин ли уважения старший родич? Должен ли, вопрошу, сын уважать недостойного родителя своего?!

Стефан и Федор оба склонили головы.

— Должен! — подумав, и хмуро, с видимым затруднением произнес Федор.

— Должен! — повторил, утверждая, Алексий.— Неможно разрешить сыну, подобно Хаму, насмеявшемуся над Ноем, отцом своим, позорить родителя своего! Неможно разрешать сие и разрушать тем самым весь строй жизни человеческой, ибо в поколениях, в веках токмо уважением к родителю, деду, прадеду, предку своему стоит и зиждит жизнь народа! Всякий язык, покусившийся на уважение к старшим своим, как и забывший славу предков и их заветы, распадает и гибнет невестимо в пучине времен!

— Брат мой! — горячо воззвал Алексий, обращаясь теперь уже к одному Федору.— Помысли, все ли содеял ты, дабы утишить гибельную прю сию, прежде чем прибежать сюда, пытаясь отринуть сан? Веси ли ты всю прежнюю котору меж дядею и сыновцем — грабительства, походы ратные, погром в Бездеже, его же Всеволод учинил, и то, как в тоя же Орде добыл он ярлык под дядею своим на тверской стол, и многое иное, стыдное и неподобное?

— Да! — вскричал Алексий, останавливая мановением руки попытавшегося было возразить тверского епископа.— Да! Всеволод более прав, чем его дядя Василий, первым начавший нелюбие сие! И паку реку: более прав, и честнее, и прямее, и бесхитростнее князя Василия! И мы, московиты, виноваты в том, что князь Василий ныне безлепо вершит неправду в тверской земле, угнетая и расточая продажами волость Всеволодову!

— Василий Михалыч последний сын Михайлы Святого! — осторожно вмешался Стефан, с беспокойством взглядывая то на Алексия, то на Федора.

— Да! — отмахнулся Алексий от непрошеной помощи и продолжал с напором и страстью: — И более скажу тебе, Федор! Вправе был бы ты овиноватить нас всех в сугубом попущении князю Василию и был бы прав! Да, неправо творили, и я тоже, Федор, и я тоже! И удерживали сына Александрова, и мирволили Василию Кашинскому. И ежели противополагать две правды — правду Твери и правду Москвы, то Тверь более права и изобижена Москвою! Да, да, да! — Он рукою отвел, воспрещая, готового уже вмешаться в спор Стефана и продолжал: — И ты прав, брате, ибо ты — епископ града Твери! Но не забыл ли ты, Федор, что я митрополит всея Руси и о всей Руси должен, обязан мыслить в свой черед? Должен, обязан заботить себя и тем, что ежели добрый, справедливый и пылкий князь Всеволод пригласит Ольгерда на Русь и силами Литвы разгромит дядю, а затем и Московскую волость, а затем и само княжение владимирское, тогда вся Русь, а не токмо Москва или Тверь погибнет из-за наших безлепых раздоров! Да, Федор! Ты скажешь, конечно, почему тогда не Тверь должна стать во главе Руси Владимирской? Потому, что не Тверь! Потому, что при Михаиле Святом могла быть Тверь, а стала Москва, потому, что столицы не избираются ничьей волею, они делаются, возникают! Возможно — татары причина сему, возможно — духовная власть или иное что... Но уже святой Петр предрек величие в веках граду Московскому! И мы, духовная власть, должны мыслить о дальнем, о судьбе всей земли через века и века! Не о том, на чьей стороне днешняя суетная правда и преходящая власть того или иного князя. Например, помысли, что возмогло бы произойти от брака Симеона и Марии, ежели бы дети их и сам Симеон остались бы в живых, а чума унесла, напротив, всех мужей тверского княжеского дома? Возможно, что оба сии княжества уже теперь слились бы под единою властью и Русь, русская земля, и язык русский усилились бы во много раз!

— Но тогда,— возразил Федор,— и Ольгерд мог бы, поворотись судьба, стати великим князем всея Руси?

— Да! — живо подхватил Алексий.— Ежели бы принял крещение и ежели с крещением Русь стала бы ему родиною! Да, тогда — но именно лишь тогда —

он мог бы, ежели похотел, стать русским и православным князем. Пусть и не сам еще, но хоть в детях, внуках, в правнуках своих! Но сие невозможно, отмолвишь ты, и я реку: да, сие невозможно! И вот почему я ратовал в Цареграде, устрояя митрополич престол во Владимире, вот почему борюсь с Романом, коего вы, тверяне, поддерживаете, вот почему ныне еду с пастырским наставлением в Киев!

Сергий, доныне молчавший, столь красноречиво в сей миг взглянул на митрополита, что Алексий, неволею почуявши его взор, оборотил чело и прихмурил брови, отвечая на незаданный троицким игуменом вопрос:

— Ехать надобно!

Он встряхнул головой и вновь оборотился к уже почти поверженному Федору:

— И наша задача в этом вот текучем и разноликом бытии, в этом потоке времен и лет — воспитывать свой язык, умеряя животное, похотное в человецех, и князей своих наставлять в строгих истинах веры Христовой, в любви и дружестве, паче всего в любви к земле языка своего, навычаям и преданьям народа! Как бы ни стало тяжко, даже и до невозможности, вынести ношу сию! И потому я, русский митрополит, волею своею, и разумом, и сердцем, и именем горнего Учителя нашего прошу тебя, и заклинаю, и настаиваю владычною волею: да останешь и впредь на престоле своем!

Алексий примолк, слегка понурив плечи, взглянул светло и примолвил, указывая на Сергия:

— А княжеские которы, сколь бы ни гибельны казались они... Вот он в обители своей содеивает важнейшее, премного важнейшее всех княжеских усобиц в совокупном их множестве! Ибо жизнь духа есть истинная жизнь, и от нее гибнет или же восстает все иное, сущее окрест. И печалуюсь,— тут же Алексий оборотил чело к троицкому игумену, решив, что настал час и ему сказать слово ободрения и укоризны,— и скорблю, будучи извещен о нестроениях в обители Святой Троицы!

Сергий медленно улыбнулся в ответ.

— Владыко Алексию! — выговорил негромко.— Скажи, сколько времени надобно, дабы выстроить город, в пожаре выгоревший дотла? Ежели судить по Москве и градам иным — единою осенью возможно восстановить все порушенное! А населить град созван-

ным отовсюду народом? Единым летом возможно и сие совершить! А завоевать царство? Сгубить, разорить, разрушить, испустошить землю, даже и поворотить реки или вырубить леса?! И сколько надобно сил, времен и терпения, дабы воспитать, создать, вырастить единого смысленного мужа? Побороть в нем похоть и гнев, злобу и трусость, ленность и стяжение? Воспитать сдержанность, храбрость без ярости, честность и доброту? Научить его ежечасно обарывать собственную плоть и многоразличные похоти плоти? Уйдут на то многие годы и труды! Но без оного мужа, воспитанного и многоумного, более скажу — без многих подобных мужей не станет прочен ни град, ни волость, ни княжество! Без сего ничто иное не станет прочным, ибо,— тут Сергий едва-едва, чуть приметно улыбнулся, почти повторив слова Алексия,— без духовного, в себе самом, воспитания людей все прочее суета сует и всяческая суета!

Сергий замолк, и епископ Федор, сейчас впервые услышавший речь троицкого игумена, поник головою и, воздохнув, подтвердил:

— Да, без сего непрочно все иное!

И Алексий, понявши скрытый упрек Сергия, тоже склонил чело, повторив:

— Без сего непрочно!

И лишь Стефан смолчал, голову склонив и осмурев взглядом, который он в этот миг побоялся показать сотрапезникам.

Когда выходили из покоя, Алексий придержал Сергия за рукав и с глазу на глаз вопросил негромко:

— Сыне! Не молчи о труднотах своих! Где не возможет игумен, там возможет порою митрополит, могущий приказать, заставить, усовестить!

— Отче! — отозвался Сергий со вздохом, покачавши головою.— Я уже все сказал тебе! Долог и притужен путь духовного покаяния! Но неможно тут свыше велеть ничему! Росток не станет тянуть из земли, дабы скорее вырос, так и мужа, не созревшего разумом или неготового душою, кто повелением своим возможет содеять духовным и смысленным? Об едином скорблю, владыко! Не в пору, мнится мне, уезжаешь ты в Киев! Именно теперь надобен-ты в русской земле!

Заметивши тень, пробежавшую по лицу Алексия («Сам не хочу, но должен!» — сказал его взгляд), Сергий промолвил просительно:

— Егда не возможешь отменити сего, возьми себе спутников верных, исхитренных не токмо в духовных трудах, но и в жизненных невзгодах и бедствиях! Способных, ежели надобно, даже и к деянию бранному!

Алексий вздрогнул, внимательно и долго поглядел в очи Сергию. Потом обнял и трижды молча поцеловал.

О Стефане и о делах обители иного разговора меж ними в этот раз не было.

Сергий, через ночь воротившись к себе, только лишь отдал распоряжения новоназначенным келарю и эконому, кратко повестив, что должен на несколько дней отлучиться из обители. И никому ничего более не сказав и не взявши никого в провожатые, в тот же день вышел на лыжах за ворота обители и утонул в рождественском серебряном снегу.

Путь его был долог и лежал в обратную сторону от Москвы. Делая по шестьдесят верст в сутки, имея пищею только ржаные сухари, которые он сосал дорогою, и нигде не задерживаясь в пути, Сергий скоро миновал Мохрищенский монастырь на Киржаче, где игуменом был его знакомец Стефан, но и тут только лишь обогрелся, выхлебал мису ухи и тотчас устремил далее в путь по лесным зимникам, пока не вышел на Владимирскую дорогу, и уже утром третьего дня миновал Владимир, не заходя в город и не останавливая, а на шестой — подходил к Нижнему.

Тут и выяснилось, что шел он к игумену Дионисию, дабы понудить того тотчас и немедленно послать скорого гонца в Печерскую лавру, в Киев, упредив, ежели мочно, приезд Алексия и известив тамошнюю братию, что митрополиту угрожает беда и надобно спасать его от возможной гибели. И по сомкнутым устам, по устремленному упорному взгляду Сергия было внятно, что Дионисий непременно послушает его, и гонца пошлет, и содеет все, что мочно содеять ему, выученику лавры Печерской, дабы отвратить нависшую над митрополитом беду.

Епископ Федор провожал Алексия до Коломны. Тут, еще раз наставив и ободрив своего вчерашнего недруга, Алексий с любовью отпустил Федора в Тверь.

Внутреннее чувство говорило ему, что поступил он на этот раз правильно и ежели и не содеял вполне из недруга друга, то, по крайней мере, может быть уверен теперь, что Федор не станет строить ковы противу него, пока он пребывает в далеком и враждебном Киеве.

В Коломне еще раз проверяли весь обоз, грузили остатние возы, торочили коней. Среди многочисленной свиты митрополита был в этот раз и Станята, верный спутник его предыдущих странствий, и Никита Федоров, которого Алексий взял с собою впервые, едва ли не по косвенному совету игумена Сергия. Да, кроме того, Алексий опасался немного, что в пору его отсутствия помилованного им кметя очень возмогут иные — дабы уже похерить и все последние концы дела хвостовского — попросту потихоньку убить.

VI

ОТЧАЯНИЕ

Мимо Брянска, захваченного Ольгердом, шли с превеликою боязнью — береглись. Никита, здесь снова ставший старшим над дружиною, распорядил не снимать броней, оружие держать наготове. Так, в бронях под шубами, и ехали. Трещал мороз, железо холодило тело, было тревожно и весело. Долгий неповоротливый митрополичий обоз, состоящий едва не сплошь из ненавычных к оружию духовных, полонить было проще простого. Никита, перемолвивши с владычным боярином, уже прикидывал, как разоставить ратных, и с досадою понимал, что все, что сможет содеять, это — ежели обоз будут настигать всугон, а не переймут заранее пути — остановить врага и, давая обозу оторваться от преследователей, лечь костьми с невеликою своею дружиной.

В пути он уже перезнакомился со многими спутниками, разобрался с ратниками, прикинувши, кто куда гож. На очи владыке не лез, а из ближней владычной прислуги сошелся нежданно с одним лишь писцом Леонтием, которого чаще по-простому называли Станятой. Совершилось знакомство всего дня три назад, когда остановили около малой деревни и простые ратные с младшими клирошанами тесноты ради ночевали в шатрах и грелись у костров.

В котлах булькала каша. Подставляли мисы, доставали ложки из-за голенищ, ели не спеша, посовываясь ближе к огню. В вышине, над головою, там, куда не достигал пляшущий свет костра,

роились алмазною россыпью холодные высокие звезды. Сторожко молчали опушенные инеем сосны, черные узорные тени которых смутно виднелись на темном окоеме небес. Отъевшие ратники заползали на четвереньках в шатры, под попоны и кошмы, валились в кучу — так теплей.

Никита остался поправлять костер. Спать пока еще не тянуло. И тот, владычный, остался тоже. Долго сидели вдвоем, не глядя один на другого. Потом Никита вдвинул обгорелое бревно дальше в огонь. Посидели, согласно уставясь в рдеющую груду углей, следя невысокие упорные языки огня, в вечном борении с холодною пустотою пространств то вздымавшие ввысь — и тогда куски пламени, отрываясь, улетали, исчезая без остатка в морозной стуже,— то никавшие, так что огонь лишь облизывал, таясь и опадая, черно-красный обугленный ствол сосны, сунутый в костер смолистым комлем.

— Слыхал я,— начал Никита,— Земля в аэре плывет, кружится, и сама круглая, словно яйцо. Ни на чем, просто так, сама веснет! И не упадет никуда! Дивно! — Он кинул глазом на владычного писца, проверяя, не зазрит ли? Но тот только кивнул, утверждая, глядючи в огонь. Сам подсказал давно знакомое:

— И Земля, и все сущее на ней! А Солнце кругом ходит. Солнцу оборот — зима-лето, а Земле оборот — день-ночь.

— И... не падают? — решился спросить Никита с некоторой неуверенностью в голосе.

— Не! — отозвался тот задумчиво и пояснил: — Земля тянет! Большая она! Да вот с того...

Опять помолчали.

— Тебя как звать-то? — вопросил Никита, торопливо добавив: — Меня дак Никитой кличут, а по деду — Федоровым. Дед у меня был...— Он не договорил про деда, застыдился.

Но тот, владычный, словно бы и не заметил, ответил, помолчав:

— Леонтий я. А так, для людей, Станята, Станька!

— И по-грецки разумеешь? — спросил Никита с невольною завистью.

— Ага! С владыкою в Цареграде был, дак и тово...

— Скажи чего ни то! — попросил Никита, зарозовев.

Станята-Леонтий усмехнулся, погодя сказал что-то складное, словно песня на чужом языке. Никита не стал выспрашивать, что это. Понурил голову. Помедлив, примолвил со вздохом:

— А я, почитай, дале Владимира́ и не бывал! Ну, на Волгу ходили, еще при кня̅зе Иван Даниличе. Батько мой ехал в Киев, к митрополиту Феогносту ищо, я малой был, дак в рев: забедно стало, что не берет с собою! А ныне вижу — не игра! С возами да справою...— Помолчал, не утерпев, похвастал: — Я нынь подо Ржевою ратился!

— Ето тебя владыко Алексий лечил? — спросил Станята, спокойно подымая взгляд.

— Меня...— ответил Никита чуть растерянно, понявши вдруг, что его поход подо Ржеву — обычное воинское дело и хвастать тут можно мало чем.

— А здесь почто? От князя ле послан? — спросил тот опять, ковыряя обгорелою палкой в угольях.

— Ты, Левонтий... Али как тебя?

— Станятой зови!

— Ну, Стань, ты тово... Чево знашь-то про меня?

Станята поднял взор, усмехнув, подвигал плечами: мол, чего и знать, не ведаю.

И как бывает в пути, как бывает по мгновенному чувству, что незнакомец, коего еще вчера и знать-то не знал, не предаст, не выдаст, не выболтает сказанного тобою, а, быть может, соучастием своим и облегчит, и разделит сердечную ношу, выговорил Никита в ночной тишине у костра невольному спутнику своему:

— Хвоста я убил. Лексей Петровича!

Ста́нята глянул на него и не пошевелился, слушал.

— Думал, ты знаешь...— пробормотал Никита, смущаясь.

— Я мыслил,— погодя отмолвил владычный писец,— что ето Вельяминовых работа, Василь Василича.

— Василь Васи́лича? — Никита невесело хохотнул, покачал головой. Договорил, помедлив: — Он мне за то и деревню подарил. Перед смертью, значит. А владыка от смерти спас! Взял на себя и с деревней тою. Вторую жизнь подарил, считай!

Станята только теперь, когда Никита сказал про вторую жизнь, поверил ратнику. Внимательно приглядясь, узрел черный мрак в очах нового знакомца, легким ознобом прошло по спине: сидим теперь с убийцею двое у костра! И владыка помиловал! Прошло и ушло. В черном пустом взгляде ратного была мука.

— Как же теперь?

— Дак вот. Хлеб, сало... Под Ржеву ходил. Сын у меня. Так бы и не увидел рожоного-то... В Киев вот еду!

— Как же ты, по согласию, что ль?

— С Вельяминовым? — уточнил Никита, и когда Леонтий кивнул, отверг, покачав головой: — Не! Сам!

— По ненависти? — вопросил вновь Станята.

Никита вторично потряс головою, подумал, вымолвил глухо:

— За любовь.

Станька не стал расспрашивать. «За любовь» — сразу меняло дело. За любовь и не то делают. (Почто он и сторонит ее, любви етой!) И не изверги, не тати совсем. Всякий может... Поди, понасилил боярин еговую бабу, прикинул про себя, или иное что...

Огонь плясал, то выбрасываясь ввысь в причудливом танце, то залезая под тяжкое рдеющее бревно.

— Иной кто ведает? — вопросил Станята.

Никита потряс головою опять.

— Никто! Никому тут не баял,— уточнил он,— по слуху ежели...

— Ну и молчи! — заключил Станята, еще помедлив.— И не сказывай о том никому! — решительнее прибавил, вспомнив, что у ратника народился сын и, значит, жонка...

— Та самая жонка-то? — спросил, уточняя.

— Та! — отмолвил Никита, так и не повестивший историю своей любви.

Ночь облегала морозом, наваливала дремою.

— Ступай! — сказал Никита погодя.— Я постерегу, подремлю тут...

— Ты ступай! — возразил Станята.— Мне привычно по ночам-то не спать, а днем и на возу высплюсь. Ступай! — примолвил он решительно, и Никита, подумав, молча полез в шатер, в гущу тел, в спасительное человечье тепло.

А Станята думал, задремывая. Видел доднесь суетливого, уверенного в себе молодца, что покрикивал, стро́жил, лихо проносясь верхом в снежном вихре обочь возов, и представить не мог такого! А тут — Земля, плывущая в аэре, и нашумевшее на всю Москву, мало не на всю Владимирскую Русь, занесенное во владычное летописание убийство тысяцкого! И почему Алексий заступил, спас его от смерти? Владыка ничего не совершал зря, и тут, видно, знал, ведал нечто такое, чего в простоте душевной, быть может, не ведал и сам убийца, чудом, по владычному изволению не лишившийся головы!

Спрашивать Алексия он, конечно, не стал. Чуял, что не должен и не надо, не его это дело.

Второй раз они близко сошлись уже под Брянском, когда нежданно встречу поезду выехала негустая толпа литовских ратных в остроконечных шапках своих, и Станята узрел, как Никита, ощерив зубы, враз, не стряпая, издав горловой татарский свист, поднял ратных, сбросивших шубы на возы, и перед строем оружной литвы вырос строй окольчуженных, готовых к бою русичей.

Однако литва выехала не с войною. От толпы комонных отделился всадник в дорогом колонтаре и долгом распахнутом бобровом опашне, помахавши рукою в знак мира, подъехал к владычному возку, передал приглашение митрополиту от князя Дмитрия — Корибута Ольгердовича — посетить город.

Посовещавшись с боярами, Алексий дал приказ заворачивать в Брянск. Лучше было пока не заводить ссоры с Литвой, решили бояре, а в такой близости к дому любая пакость Ольгердова тотчас станет известною на Москве.

В Брянске Алексия, впрочем, приняли того лучше. Был устроен пир для бояр, клира и ратных. Алексий служил в соборе торжественную литургию. Князь (крещенный по православному обряду) выстоял всю службу и приложился к кресту и руке Алексия.

В городе их держали три дня, три дня поили и кормили весь поезд и только на четвертый, и то по настойчивой просьбе митрополита, выпустили, с почетом проводивши в дальнейший путь.

Тайный гонец к Ольгерду с известием о поезде

Алексия ускакал в Вильну еще в первый день их пребывания в Брянске.

Скрипят возы. Движется от починка к починку, от города к городу долгий владычный поезд. Трубчевск. Новгород-Северский. Чернигов... Втянулись кони, и люди втянулись, и стала привычною тяжесть пути, и не столь уже страшен мороз, и привычны костры, и так желанны редкие бани, все более редкие, чем дальше от дому, чем ближе к далекому Киеву. И везде сидят уже князья Ольгердова дома, и везде покамест встречают поезд владыки с почетом, кормят, и поят, и провожают в путь, и из каждого захваченного Литвою города уносятся в вихре снежной пыли скорые гонцы в далекую Литву с вестями.

«Едет! Проехал Новгород-Северский, близит к Чернигову. Проехал Чернигов уже!»

Скачут вестоноши в снежной пыли зимних дорог, приходит в Вильну одно благое известие за другим.

Едет! Наконец-то едет! Уже почти достиг Киева!

Ольгерд ждет.

Днепр переезжали много выше Киева (под Киевом, сказывали, перевоз был только в лодьях), и — к счастью. Разминулись с дружиною, посланной князем Федором вперейму. Владычный обоз остановили уже под самым городом. Началась долгая пря, ругань, скакали комонные, звякало оружие. Наконец явился сам князь, прославивший себя неудачною поимкою тридцать лет тому назад новгородского архиепископа Калики.

Старика князя, спесивого, издерганного, жалкого (вот-вот литовские рати займут Киев, покончив с ним и с его призрачною властью), понять было мочно. Однако Федор содеял промашку, подскакав самолично к митрополичьему возку. Алексий, не выходя из возка, отворил дверцу и требовательно, молча воззрился на него, пропустив мимо ушей и даже вовсе не услышав все то, что кричал, ярясь, с пеною на губах киевский держатель.

Никита решительно подъехал, оттирая конем и плечом князя Федора от его ратных, и кмети, предупрежденные владычным боярином, один по одному так же решительно и молча начали въезжать в строй киевской княжой дружины, неволею вспятившей коней. Углядев

краем глаза, что князь Федор достаточно окружен, Никита проговорил негромко, но твердо:

— Митрополит всея Руси пред тобою, княже! Слезь, поприветствуй! Сором!

Князь Федор дернул морщинистой шеей, углядел насупленный лик Никиты, его твердо сведенные скулы, островатый взгляд, руку, забытую на рукояти сабли, увидал и московитов вокруг себя и своих вспятивших ратников и, поняв по движению Никиты, что, повороти он назад, тот тотчас схватит за повод его коня и выхватит саблю, смолк, посопел и вдруг покорился: неловко поерзав в седле, слез в снег, постоял, шагнул к возку, далее уж само собою пришлось снять шапку и подойти, сложив руки лодочкой, под благословение Алексия. А тут уж — какое нятье! Московский митрополит, улыбнувшись едва-едва, краем глаза, пригласил Федора в свой возок, и князь, привыкший к подчинению (Гедимину, Ольгерду, татарам — все равно кому!), безвольно шагнул, шагнул еще раз, а там уж полез и в возок, и только усевшись на кожаное, застланное мехом сиденье, понял, что вместо того, чтобы полонить митрополита московского, сам почти что угодил в нятье.

Обоз тронул. Киевские ратные, бестолково вытягиваясь в две долгие вереницы, поскакали обочь возов, сталкиваясь стременами, боками коней с владычною сторожей. Так и скакали, теснясь, перебрасываясь то шутками, то угрозами, вплоть до городских ворот бедной, едва восстановленной крепостной стены, которую, видно, со времен Батыевых ни разу и не чинили путем, поставя на место сгоревших рубленых дубовых городень легкий частокол по осевшему насыпу.

Город, летом утопавший в кипени яблоневых и вишневых садов, сейчас выглядел большою деревнею. Величавые сооружения золотой киевской поры высились среди мазанок окаменелыми осколками прежнего величия. Десятинная, с провалившимися сводами, заросшая поверху кустами и травой, ныне едва выглядывающими из-под шапок снега, была особенно страшна и пугающе прекрасна, как и полуобрушенные золотые ворота, как и все прочее, устоявшее в сплошном пожаре сто двадцать годов тому назад.

У ворот, к вящей неприятности князя Федора, митрополичий возок ожидала довольно густая толпа глядельщиков, впереди которой стояли старцы лавры Печерской, с поклонами кинувшиеся приветствовать

митрополита русского. И как-то так получилось, что весь обоз вскоре, пересекая город, направился прямиком в лавру, причем умножившаяся княжеская русско-литовско-татарская дружина, поскольку князь Федор по-прежнему сидел с митрополитом в возке, только лишь приставала к обозу со сторон, тянулась в хвосте, не вынимая оружия и не ведая, что делать теперь, когда, по-видимому, прежний приказ — остановить, разоружить и полонить московитов — потерял силу.

Князь Федор не догадывал, разумеется, что далекая миссия Сергия Радонежского возымела успех, а задержки владычного обоза в пути помогли посланцам Дионисия примчать в Киев, в лавру, загодя, обогнав на несколько дней владычный поезд, и уже позапрошлою ночью на бурном совещании лаврских старцев постановлено было принять и всячески поддержать митрополита владимирского вопреки Ольгердову ставленнику Роману, ибо тут, в Киеве, латинская опасность и чуялась и была много явственнее, чем на Москве и даже Цареграде греческом.

Князь Федор был выпущен, только когда весь обоз затянулся на двор лавры, за ограду, а княжеские кмети вытеснены из ворот. Алексий, успевший в пути заронить в трусливую душу князя изрядного червя сомнения, благословив еще раз, выпустил наконец Федора из возка, и тут уж ни нятья, ни драки не получилось. Князь со своими кметями отбыл, и стало мочно распрячь коней, разоставить возы и накормить усталых клирошан и ратников.

От старцев лавры уведал Алексий доподлинно, что его хотели имать и даже не пропустить в город митрополичий обоз по приказу великого князя литовского Ольгерда. Ясно было теперь, что, пожелай Алексий тотчас уехать назад, его переймут на Днепре, по дороге, и ежели не убьют, то уж, верно, посадят в железа. И совсем неясно было никому, нижé и самому Алексию, что же делать в толикой трудноте.

Ночь навалилась на город, на собор, выстоявший татарское разорение, на бревенчатые кельи, хоромы игумена, стоячую городню, ночь скрыла ряды возов, только кони под жердевым навесом, невидимые во тьме, переминались и жевали скудное сено. (Чем кормить коней завтра, было уже неведомо!)

Никита вышел во тьму. Ноги сводило, все тело гудело от целодневной скачки верхом, от многочасового

напряжения возможной сшибки, свалки, сечи и резни, которых ожидали от первой встречи с киевлянами и до последнего часа, когда Федор с дружиною покинул пределы лавры. Никита справил малую нужду, вздохнул, окликнул ратных, что были в стороже. Ему торопко отозвались из тьмы. Постоял, глядя в черно-синюю даль заднепровья, вдруг впервые постигнув простор и ширь этой незнакомой земли, русской стороны (когда-то ихнее Залесье и Русью не называли — укра́иной). Оттуда, из тьмы, являлись торки, печенеги, половцы, с ними ратились великие киевские князья. На кручах тогда, верно, высили терема под золотыми крышами, внизу шумел торг. Никита силился представить себе все это — и не мог, не умел. Мало знал, видел того менее и только теперь, ныне, понял, что знанья его малы и скудны. Не удивясь, по кашлю учуял Станяту, вышедшего, как и он, в темноту. Подошел.

— А пещеры где? — вопросил Никита.

Станька постукал ногой, показал, примолвил погодя:

— В горе, под нами! Там, ежели корм какой иметь да воду, так и татары не найдут!

— Мнихи рыли? — уточнил Никита.

— Ага!

— А Царьград побо́ле Киева? — полюбопытничал Никита, торопливо добавив: — Того, прежнего!

— Больше! — кратко ответил Станята.

— Много больше?

— Как сказать-то тебе? Сравнить неможно! — всерьез, без улыбки отмолвил тот.— Палаты камянны, и София... Да много всего! А тоже дворечь ихний в развалинах весь... Умирает город!

— А мы?

Станята помолчал, подумал, глядя в глухую ночь.

— А мы живем! Растем, пожалуй! Устоим, дак и Москва...— хотел примолвить: «с Царьград станет», да придержал себя за язык, живо вспомнив гордую греческую столицу, великолепную и в разрушении своем.

— Выберемся отселе? — перевел на другое Никита.— Попали, стойно кур в ощип! Ежели ить князь Федор взаболь на приступ пойдет, мы тута и часу не устоим!

Станята ничего не ответил. Сам думал о том же. И как помочь владыке Алексию — не знал.

И Алексий, смертно усталый, не спал, ворочался в постели, в уступленном ему покое игумена, гадал так и эдак, но понимал одно: бежать было и недостойно, и нельзя. А то, что их не схватили и не перебили враз, уже клонило к добру. Завтра он, как бы тяжко то ни было, постарается затеять прю с Романом. А в Константинополь, патриарху, из утра пошлет скорых послов. С тем он наконец и уснул.

В храм Божией Премудрости — Софии Алексий порешил направиться после заутрени, которую он отслужил в лавре, дабы там, в главной святыне киевской, совершить литургию вместо самозванца Романа.

Был ясный морозный день. Искрились и переливались снега. Цвели пестроцветьем яркие наряды горожанок и набежавших из загородья сельских жонок. И княжеская дружина, остановившая митрополичий возок, поначалу показалась не страшна. Но вот полетели стрелы, два-три копья пронеслись в воздухе, одно из них оцарапало круп коренника, кони шарахнули, едва не опрокинув возок. Началось смятение, заголосили жонки.

Алексий, бледнея и каменея ликом, вышел из возка и, высоко подняв золотой крест, пошел прямо на ратников. Несколько стрел пропели у него над головою. Алексий не оборачивался, не ведал, идут ли за ним клирошане. Он шел, и ярость кипела в нем, и уже толпа комонных объяла его, теснились, отступая, храпящие конские морды, кидались в очи белые лица ратников. Он запел, и клир подхватил вслед за ним гордые слова второго псалма:

— Вскую шаташася языки и людие поучишася тщетным! Предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа его! Расторгнем узы их и отвергнем от нас иго их! Живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им!

Раздался вскрик. Метко пущенная стрела поразила дьякона Иону. Умирающий пал на руки клирошан. Но песня уже окрепла, уже ободрились духом и шли, как идут на смерть. Умирающего подняли на плечи и понесли с собою.

— Работайте Господевы со страхом и радуйтеся ему с трепетом! — Гремел хор. И уже подхватывали со сторон, и уже валились на колени.— Примите наказа-

ние, да не когда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость его!

Киевские ратники расступались, стягивали шапки, иные слезали с коней, падали в снег.

Так, крестным ходом, как древле, как встарь, во времена гонителей веры Христовой, дошли до Софии.

Дьякон умер, когда его поднесли к алтарю. Народ валом валил вслед Алексию. Тело дьякона, облачив в погребальные ризы, поставили на правой стороне, близ алтарной преграды.

Алексий совершил проскомидию, отслужил литургию и сразу же вослед за нею отпел мученика за веру, тело коего было так же торжественно пронесено по городу и похоронено в пещерах лавры.

Роман, трусливо отступивший перед Алексием, правил службу в церкви Михаила Архангела. В тот же день Алексий послал к нему и ко князю, требуя церковных пошлин, даней и кормов.

Князь Федор, коему пришлось пригрозить отлучением, прислал уже поздним вечером возы с немолотою пшеницей, овсом и сеном для лошадей.

Между тем целые корзины яиц, мороженой рыбы, битой птицы, сыра, масло в кадушках, бесчисленные кринки топленого молока, варенца, ряженки натащили в монастырь киевляне, главным образом бабы, сбежавшиеся с Подола и пригородов, и всем надо было получить благословение, приложиться к руке и хотя бы сзади потрогать ризы Алексия. К позднему вечеру от всей этой толпы любопытствующих прихожан Алексий устал паче, чем от службы.

Так, хотя бы и частичною победой над противником, завершился первый день его пребывания в Киеве.

От частых посещений Софии Алексию все же позднее отказаться пришлось. Многоразличные пакости, еще два трупа невинно убиенных, дороги, перегороженные дрекольем, дабы не пройти и не проехать конем,— все было пущено в ход трусливым и пакостным киевским князем, который наружно лебезил и юлил, принимал московских бояр, уверяя их, что безлепое творят вопреки его княжескому приказу сами жители. Клир роптал. Приходило ограничивать свое пастырское служение пределами лавры. Кормы поступали плохо. Князь Федор то доставлял зерно и сено коням, то не доставлял опять. Дани не поступали, дружина жила больше даяниями киевлян, которые суетились, ахали и

охали, несли и несли, крестились, молились, падали на колени в снег прямо перед Алексием, но ни на какую прю с властью предержащею не отваживались отнюдь, ограничиваясь слезами и сожалениями.

Посольство, усланное в Константинополь к патриарху, как в воду кануло. А тут рухнула весна и стали враз непроходны пути, и уже когда сбежали снега и обнажились сады и пашни и умеряла в оврагах свой бешеный бег вода, приехавший с обозом обрусевший торчин повестил страшную правду, враз изменившую многие намерения Алексия.

Торчин сидел в гостевой избе, когда Алексий, извещенный киновиархом, скорым шагом вступил в покой, и по тому, как не пошевелились, не взглянули на него слушатели, понял жестокую суть известия.

На столе лежал грязный комок опрелой сморщенной кожи и шерсти, в коем, только очень присмотрясь, можно было признать бывший головной убор, и почернелый от приставшей липкой грязи, дурно пахнущий крест на развернутой грязной тряпице.

— Там волки все выели,— сказывал торчин, разводя руками и взглядывая испуганно в насупленный лик митрополита.— И знатья того нет! Вот крест с шеи снял да шапку, може, по шапке признают, думаю...

Он глядел, искал глазами с надеждою ошибиться. Самому непереносно было сказывать такое.

— Всех шестерых! — тяжело выговорил отец Амвросий и вдруг по-мирски всхлипнул, уронив голову, пробормотал потерянно: — Прохора жаль!

Алексий сидел, слушал и чуял наступающее головное кружение. Все шестеро, все его посольство в Константинополь, порубанное неизвестными злодеями, было найдено в снежном овраге в двадцати, тридцати ли поприщах от города...

Он сам явился в этот день ко князю. Потребовал расследования. Тот, конечно, ссылался на татар, на татей, что, по его словам, свирепствовали под Киевом, вилял, низил глаза.

Обглоданные гнилые трупы уложили в колоды, привезли в лавру, дабы пристойно отпеть и похоронить.

Ночью Алексий услышал тихий стук в дверь. Вошли Станята с Никитою.

— Вота что, владыко! — начал Станята решительно.— Нать ехать в Царьград мне! И с им вот!

Алексий помолчал, подумал, глянул, велел негромко:

— Прикройте дверь!

Станята живо понял, отокрыл, обозрел — не подслушивает ли кто?

— Тебя одного пошлю, с отцом Никодимом! — сказал ему Алексий.— Никита Федоров тут нужнее. Да и греческой молви не разумеет, коли что.— И не поспевшим возразить приятелям прибавил: — А проводить — пусть проводит тебя мимо Федоровых застав. И мне весть принесет!

Никита не спорил. Понял сам, что владыку оставлять нынче не след, хоть и чаялось, и жаль было в душе, что не поглядит далекого Царьграда.

Перемолвив с боярином, отобрав четверых толковых ратников (все делали отай, невестимо от прочих, ибо неясно было и тут, в лавре, кто доносит кому), выехали одвуконь в ночь. Молодой монашек вел берегом, потом пробирались какими-то оврагами, выехали в поле. Копыта почти неслышно топотали по мягкой весенней земле.

Миновали несколько темных, прижавшихся к земле деревень. Наученные горьким опытом давешних мертвецов, уходили в ночь от сторожких окликов скачью. Сторóжа князем Федором была, видно, разоставлена всюду. Никита молчал, стискивая зубы, весь сжимался в седле.

Три дня спали днем в одиноких хатах, а пробирались ночью. Без монаха-проводника, понял Никита, их поймали бы в первый же день.

Неделю потом ехали необозримыми полями, степью, теперь уже хоронясь татарских разъездов, хоть и была у Станяты выданная Алексием проездная ордынская грамота. Да что грамота в тутошних степях! Из-за одного зипуна прирежут, и концов не найдешь!

Расставались на берегу Днестра. Тут Станята с Никодимом нашли торговую лодью и купца-влаха, обещавшего довезти спутников до Царьграда, а Никита с ратными и лаврским мнихом отправлялись назад.

Снова потянулись враждебные, густо зазеленевшие, испестренные цветами степи. Заливисто пели птицы в вышине. Струился нагретый воздух, и было весело ехать так по простору полей. Не бывал доселе Никита в широкой степи. Промаячит ли татарский разъезд, покажется дым над юртами, вынырнут из-за бугра две-три обмазанные белою глиной мазанки под соломен-

ными бурыми крышами — и опять до окоема степь да колышутся травы, уже поднявшиеся, почитай, по грудь коню.

От татар бог помиловал. А с княжеским разъездом столкнулись под самым уже Киевом. Кметей всего было шестеро, двое — татары. Шесть на шесть, но монашек был вовсе не в счет. Ихний старшой, скверновато улыбаясь, шагом подъехал к Никите. Остальные стояли поодаль, и Никита краем сознания одобрил княжого холуя: ежели что — помогут! Сам он стоял, сожидая, держа руку на рукояти сабли.

Татарин достал лук, наложил стрелу. Киевский старшой кивнул Никите, приказал:

— Саблю!

Никита вытащил саблю из ножен, словно бы собираясь отдать, и, чуть тронув коня, загородился от татарина с луком телом вражеского старшого.

— Вы, што ль, наших порешили? — спросил хрипловато, с придыхом, сузив глаза. Тот презрительно усмехнул, верно, ежели и не сам кончал, дак ведал о деле, что и решило окончательно его участь. Вражий кметь так и погиб с улыбочкой на губах. Никите самому люб показался удар, враз перерезавший киевлянину горло. Татарская стрела, опоздав на четверть мгновения, скользнула вдоль лица, оцарапав висок и сорвав шапку с головы. Никита вонзил коню в бока острия шпор. Вторая стрела, порвав платье, скользнула по кольчуге.

Пять сабель встретили Никиту просверком смертной стали, но уже мчали вослед обрадованные (струхнули было, как вражеский старшой подъехал к ихнему!) Никитины дружинники. Мчали, окружая,— и те, лишенные старшого, вспятили, стеснились в кучу и потеряли свободу действования. Заскрежетала сталь. Второй татарин издал горловой хищный вопль, рубанул вкось одного из московских ратных, но Никита, углядев вовремя, поднял скакуна на дыбы и обрушил удар на татарскую подставленную шею. Счет сравняло вновь, и тут споткнулся конь у одного из киевских ратных, это и решило сшибку. В короткой замятне московиты срубили еще одного, второй татарин ударил в бег, за ним поскакал Никита; сбитый на землю киевский ратник уронил оружие и поднял руки, сдаваясь, а второй, оставшись один против троих, тоже начал, отмахиваясь саблей, заворачивать коня.

Татарин уходил с каждым скоком дальше и дальше. И Никита тогда сорвал лук и, помянув всех богов, скатился с седла, припал на одно колено и, ощутив твердоту, отмеря ветер, плавно поднял лук. Татарин не сообразил оглянуть, так и скакал по прямой, чая уйти, и потому рассчитанная стрела вонзилась ему точно между лопаток. Не зря Никита учился стрелять из татарского лука, не зря и хвастал своим умением на Москве! Он обернулся. Один из его ратных качался в седле, держась за руку, другие двое вязали арканами последнего княжеского кметя.

Он свистнул, подзывая коня, шагом подъехал к подстреленному татарину, соскочил, держа повод в руке, потыкал носком сапога — татарин был вроде мертв. Он вырвал свою стрелу, для верности вонзил в труп острие сабли. Конь храпел, отступая от запаха крови, не сразу дал подняться в седло. С сожалением глянул на отбежавшего в сторону коня татарского: брать тут нельзя ничего было, а жаль! Подъехал к пленным, повелел:

— Развязать!

Первого рубанул вкось, тот даже и не охнул. Второго, враз побледневшего, повелел кметям положить и крепко держать за руки. Сказал уже без гнева (гнев истратил в бою):

— Наших шестеро было.

Отрубленную напрочь голову откатил в сторону носком сапога, так и так замаранного в крови. Приказал:

— Ничего не брать!

Поняли. Осерьезнев лицами, подняли своего убитого, приторочили к седлу, раненому перевязали руку.

Монашек молча подъехал к мертвецам, спешился, сложил им руки, прочел молитву, пугливо взглядывая на Никиту, сожидавшего его с нетерпением: ну как иной вражеский разъезд нагрянет? Тута уж и ног не унести!

Скакали потом, не останавливая, до кустов, до первого днепровского оврага. Тут только Никита смыл загустевшую кровь с платья, сапог и оружия.

На ночлеге, последнем, тайном, уже под самым городом почти, ночью, заслышав, что монашек молится вполголоса за убиенных, проговорил сквозь зубы в темноте:

— Их и оставлять-то в живых нельзя было! Всех

бы нас, и тебя, отче, прирезали потом! А теперь — тати ли, татарва... хто знат? Спи!

Сам про себя подумал в сей миг, что монашку все же свои киевляне ближе, чем далекие московиты, нагрянувшие вместе с митрополитом им на голову, и для него, мниха, военная нужа, совершенная на его глазах, не что иное, пожалуй, как простое убийство.

Все же до города он их довел и передал с рук на руки Алексию.

Ратника похоронили скрытно, уже не как героя и мученика и не в пещерах уже, а на мирском кладбище, и стали ждать вестей.

Вестей ждал, видимо, и князь Федор. Во всяком случае, о гибели своего разъезда он Алексию так и не повестил. Впрочем, о том, что подозревает князь все-таки русичей, стало ясно из того, что в ближайшие дни невестимо пропали двое вышедших на рынок московских ратных да так и не сыскались потом, даже и трупов ихних не нашли.

И дивно было глядеть при этом при всем на красоту земную, распростертую окрест, на голубые дали заднепровья, поросшие бором, с дымами далеких деревень, на торговые лодьи внизу, на воде, на расцветающие сады, на пригожих селянок в цветастых плахтах, толпящихся во дворе лавры, на всю эту мирную жизнь, в которой и за которой стояла ежечасная подстерегающая их жестокая гибель.

Ночами Никита, осуровев ликом, обходил сторожу. Ратные, уведав от троих вернувшихся об удальстве Никиты, слушали его беспрекословно, взглядывали с опасливым обожанием. Ведал, видел: поведи на смерть — пойдут! Но — против кого вести? И где тот бой, в коем можно умереть со славою? Не схватят ли их тут всех и перережут, как кур, когда придет Ольгердово повеление? А что оно придет, не может не прийти, все, и Никита в том числе, понимали слишком хорошо.

На Москву вести о злоключениях Алексия, посланные украдом, отай, и прошедшие через многие руки, дошли далеко не сразу.

Сейчас даже трудно понять, как могло совершиться такое. Алексий уехал в Киев после Крещения, и до трагических событий, совершившихся на Москве в конце года, прошло не менее семи месяцев его пленения

в Киеве, о коем, повторим, в русских летописях нет ни слова, и знаем мы об этом лишь из соборных уложений константинопольской патриархии. Но и более того! Осенью, в сентябре, новгородцы посылали в Киев, к митрополиту, ставиться своего нового архиепископа, словно бы еще не зная, в каком тягостном положении находится Алексий. Меж тем попросту не знать о пленении своего владыки москвичи не могли никак. Даже и простая задержка известий должна была вызвать тревогу князя и совета бояр, тем более, что Алексия впоследствии прочили не больше не меньше — на место блюстителя престола при малолетнем Дмитрии. Объяснить все это возможно лишь намерениями и планами самого Алексия, быть может, какими-то тайными переговорами, которые он вел (с кем? и о чем?), не посвящая в то никого более и надеясь на конечный благополучный исход своей миссии.

Алексию самому не хотелось преждевременно извещать боярскую думу и Ивана Иваныча о том тягостном и стыдном положении, в которое он попал. Кроме того, он еще надеялся, что князь Федор одумается или же струсит и уступит ему. Надеялся даже какое-то время одолеть Романа, надеялся на помощь волынских епископов; наконец, верил во вмешательство патриарха, не ведая о гибели своего первого посольства... Коротко говоря, тайная грамота с просьбою о помочи ушла на Москву только в конце апреля. Причем, по мысли Алексия, помочь должна была быть оказана ему чисто дипломатическая. Дело в том, что Федор с его волостью до сих пор подчинялся Орде и ордынскому хану. (Хоть и был, хоть и числил себя на деле киевский князь скорее подручником Литвы!) И потому, стоило лишь прийти из Орды властному приказу, все и волшебно должно было измениться в городе Киеве.

Алексий связывался уже и с киевским баскаком, и от себя посылал весть Тайдуле, но тут должен был быть ханский указ, ежели надо, подкрепленный военною силою, а основанием указа могла служить жалоба великого князя владимирского. Излечивши Тайдулу от слепоты, Алексий теперь твердо рассчитывал на помощь царицы и ее эмира Муалбуги, которые вдвоем должны были воздействовать на хана Бердибека и иных золотоордынских властителей.

Не стоит рассказывать, через сколькие руки прошла грамота, направленная в Москву, и как долго она

добиралась до места. Но, во всяком случае, москвичи не были виноваты ни в какой волоките на этот раз. Дума собралась в тот же день. Мятая, сто раз подмоченная грамота переходила из рук в руки. Бояре супились. Был бы Киев, как говорится, под боком, и сами бы, почитай, пошли отбивать своего владыку у князя Федора. Иван Иваныч, испуганный положением своего заступника, и сам отчаянно торопил с решением, и уже наутро скорые гонцы с избранными из бояр помчались в Орду, загоняя коней...

Да нет! Даже и ратной силы не надобно было! Один лишь строгий фирман, привезенный каким-нибудь вельможным татарином! И то только потому, что у татар днепровских, бывших половцев, были и свои счеты с Ордою, когда-то взорвавшиеся грандиозной войной, затеянною темником Нохоем, а ныне подготовлялось то же самое, и во главе недовольных кипчаков — скоро, очень скоро! — должен был стать темник Мамай, будущий враг Руси... Но до того пока — годы! А днесь, нынче — окрика бы хватило ханского из Сарая и князю Федору и киевскому баскаку!

Бешеной скачью, от яма к яму, меняя коней на подставах, забывши всяческие возки, мчали молодые бояре московские, грядущая поросль хозяев страны, те, что поведут, возмужав, русские полки на Куликово поле. Скакали, делая по полтораста, по двести верст в сутки, но даже и при такой бешеной гоньбе неделя, почитай, надобилась, чтобы доскакать до Сарая.

Татар увидали нежданно, с вершины холма. Пока совещались, бежать или нет (запаленные кони тяжело поводили боками), стало поздно. К ним подскакивали с перекошенными лицами, на ходу сматывая арканы на руки, что-то вопя.

— Война у их, что ли? — тревожно спросил младший Зернов, названный в отца Дмитрием.

— Кабыть...— нерешительно протянул Семен Жеребец, кладя руку на рукоять сабли. Но Федор Кошка решительно отстранил старшего брата. Выехал вперед, требовательно крикнул по-татарски:

— Ханский фирман!

К ним уже подскакивали, окружая со всех сторон. Кошка подъехал к сотнику, признавши того по платью, и по какому-то наитию, спасшему всю дружину русичей от гибели, возгласил:

— К Тайдуле едем!

Сотник поскучнел, воровато оглядывая русичей. Федор Кошка и тут нашелся — начал совать серебряные монетки каждому из татар. Среди воинов, сбившихся разом в кучу, едва не началась свалка. Какому-то зазевавшемуся зеленому еще татарчонку сунул диргем в рот. Тот от неожиданности выплюнул было серебро, но опомнился, соскочил с коня, начал искать в траве.

Первый приступ сбили, а там уже и говорка пошла. Кошка потребовал у сотника проводить русских гонцов к набольшему. Ехали кучно, теперь уже совокупною дружиной. (На Москве позже, отчаянно привирая, Федор Кошка будет хвастать, что клал серебро в рот подряд всем татаринам и те, спрятав монету за щеку, переставали кричать...)

Их все-таки пропустили. Хоть и почванился было эмир, но Кошка, бегло говоривший по-татарски, скоро нашел общих знакомцев, улестил, уговорил, пригрозил даже, словом — выпутались. Уже когда отмотались от последнего татарина, в виду самого Сарая, сказал Федор спутникам:

— А, видать, против Бердибека они! Ишь, галдят!

На большой, разлатой лодье с низкими, только-только достать воды, набоями, заведя сторожко фыркающих коней, переплавились в город.

Сарай тоже шумел. Там и тут вскипали крики, ругань, кого-то били плетью, кто-то, вырываясь, кричал. Кучки ратных на рысях разъезжали по улицам. Покамест добрались до подворья, их останавливали, осматривая, раз шесть.

К Тайдуле попали поздно вечером. Царица принимала Кошку и Митю Зернова у себя во дворце. Долго слушала. Пергаментное лицо с потухшими глазами было недвижно, как маска. Сказала:

— Отец Алексий пусть молит о нас! — Замолкла.

Рабыни ставили перед русичами ненужные кушанья. Зернов ел, не чуя вкуса пищи, из одного уважения к царице.

Кошка долго, быстро и горячо говорил по-татарски, прикладывая руки к груди. Дмитрий не все понимал в речи друга.

Скудно чадили светильники. В колеблемой их тени резче прорезывались отвисшие подглазья на лице Тайдулы. Наконец царица сказала громко:

— Я спасу главного русского попа! Сделаю все, что могу! Ступай! Получи фирман!

Обманывала она или, скорее, сама обманывалась, не понимая (или не желая понимать?), что уже ничего не может, кроме как на краткий срок сохранить свою жизнь?

Назавтра они представлялись хану. Бердибек сидел, вцепившись в золотой трон. Несколько раз произнеся: «Да, да!», как кукла склонил голову.

Вечером того же дня все трое были у Товлубия. Толстый старый убийца долго молчал, слушал. Вдруг, вздохнув жирною грудью, посетовал, что нет на свете коназа Семена. Кошка, поглядев внимательно в глаза властному старику, понял вдруг по недвижности взора, что тот трусит, и трусит так, что уже и плохо понимает, что ему говорят русичи. И Федору стало жутко. Здесь, у Товлубия, яснее всего понял он, что происходит в Орде.

Назавтра Кошка с Зерновым побывал у суздальского князя Андрея, прибывшего в Сарай по своим делам, потолковал и со многими эмирами. Вечером сказывал, крутя головою:

— Похоже, други, неважные настали для Бердибека дела! И сразу-то... отца задавить да братьев! Чать, и у их, бусурман, совесть есть! А нынче, сказывают, начал убивать то того, то другого, дак уже и все эмиры, почитай, отшатнули от ево! Не ведаю, сумеет ли и царица помочь нашему батьке! — присовокупил он со вздохом.— Просидел бы хотя полгода на престоле еще!

Сарай шумел и ночью, не засыпая. Русичи хлебали стерляжью уху, невольно теснее придвигаясь плечами один к другому. Чуялось, что ночь вот-вот может взорваться сабельным звоном, ратными кликами и бешеным топотом коней...

Уезжали назавтра. А суздальский князь, застрявший еще на два дня, попал в самую круговерть. Передавали — еле живым выбрался.

Весть о том, что Бердибек убит, в Сарае резня и на троне сидит теперь самозванец, назвавшийся сыном Джанибековым, Кульпа, Кульна ли, нагнала русичей за Воронежем. Ничего не стоил теперь фирман покойного хана!

В Киев, похоронив надежды на помощь Орды, весть о гибели Бердибека и о том, что зарезан Товлубий и прочие возлюбленники хана-отцеубийцы и что в степи — война, дошла еще только месяц спустя. Теперь у Алексия оставалась одна надежда, и, кажется, последняя,— на вмешательство Константинополя.

Князь Федор был глуп и труслив. Ольгерд в бешенстве мерил шагами спальный покой своего каменного замка. Вместо того, чтобы сразу захватить и уничтожить Алексия (а он бы, Ольгерд, свалил все на Федора, сам вышел сух из воды и на престол митрополитов всея Руси посадил Романа), вместо того, чтобы хоть... отравить, что ли,— кормы ему шлет! Гонцов не пускает! Да уж сотня гонцов прошла, поди, все заставы Федоровы! И не вступиться сейчас, иначе откачнет Константинополь. Изберут иного митрополита на Русь, поди, сместят и Романа! Слухи о безлепом киевском плене митрополита уже поползли по всей Волыни, Белой и Черной Руси. В Вильне на рынках толкуют об этом! Ульяния счас придет и будет страдать и умолять его помиловать Алексия. Ну, ее-то он улестит, обманет, а других? А православных епископов? А Константинополь? Патриархат?! Мерзавец, негодяй, слизняк!

Весной его задержала и отвлекла война со Смоленском. Старый князь Иван Александрович умер в конце марта. Сел на престол его сын, Святослав, который тотчас пошел походом на Белую. Пришлось рати бросить опять против смольнян. Приступом взяли Мстиславль. (И отдавать не буду! — мстительно подумал Ольгерд.) Он остановился, прислушался. Кажется, Ульяния прибыла из церкви и с сыном подымалась сюда. Скрипнув зубами, Ольгерд взял себя в руки.

Ульяна вошла в легком шелковом летнике, протягивая к нему руки, остановилась, узрела тотчас заботный хмурый лик супруга. Он вздохнул, расправил морщины чела, поцеловал ее розовые небольшие руки. (Лишь бы не завела речи об Алексии!) Она все же не удержалась. (Как из церкви — так сразу про митрополита владимирского, иной заботы нет! Роман — родственник, тоже митрополит, муж всяческих добродетелей и великой учености, почто ж об этом-то московите заботить себя?!) Церковь православная... католики... Завела опять! Закрыть бы все церкви в Вильне да и костел в придачу! Нельзя. Попробовал один раз. Невозможно. Скороговоркою отмолвил жене:

— Посылаю в Царьград! Князя Федора накажет Орда!

— А ты? — поглядела светло, вся к нему потянувшись.

— Он не мой подручник! Я еще не вступил в

Киев! — почти выкрикнул. — Я еще не могу ратиться с ханами Золотой Орды!

Ульяна смолчала, опустила взор. Он огладил ее плечи, сказал негромко:

— Всеволоду надо помочь! Не ведаю, чем... Василий Кашинский с московскою помочью скоро всех твоих родных выгонит из Твери!

Она прильнула к его груди, вздрагивая: вот-вот заплачет. Тихо, чтобы не спугнуть, произнес:

— Пусть Алексий подольше посидит в Киеве! Я хотя бы сумею поддержать братьев твоих!

Она кивала головою, веря и не веря, силилась улыбнуться, гневала на себя за невольные слезы. Наконец успокоилась. Нянька как раз вовремя внесла последнего сына, и Ольгерд, подержав малыша, бережно положил его на руки матери:

— Вот наше грядущее, жена!

Вечером в Константинополь уходила новая грамота с жалобами на Алексия и тайная — князю Федору, в которой ни о чем не было сказано прямо, но угроза сместить князя со стола и заменить кем ни то другим была достаточно ясна. Впрочем, князю Федору Ольгерд уже переставал верить. Надобно было слать своих, решительно кончать дело. Но — когда? И как?

До Троицкой обители, в радонежские, благоухающие всеми ароматами весенней хвои леса вести издалека доходили протяжно и скупо. Здесь были свои заботы, печали и радости, и всего, плохого и доброго, с устроением общего жития умножилось втрое.

Сергий знал, что владыка Алексий в Киеве, чуял, догадывал, что задержан он там не добром, и посему паки посылал с грамотою к Дионисию, а в храме установил особую вседневную молитву о сохранении митрополита от напастей. Стефан выведал на Москве, видимо, какие-то иные известия, но — не сказывал, и Сергий не расспрашивал Стефана, понимая его борения и тайную обиду. Молчаливо поручал, вернее — дозволял Стефану вершить то и иное по делам обители, в Переяславль с труднотами посылал всегда именно его и, вопреки всему, видел усиливающееся день ото дня отчуждение от себя старшего брата, коего он теперь иногда ощущал как бы уже и молодшим себя и жалел, но не мог ничем помочь борению Стефанова духа с демоном гордыни.

В эту первую зиму общежительного жития Сергий передумал множество дум. Видел, как трудно даются инокам и строгость устава, и лишение имущества, и общие трапезы. Видел, и думал, и передумывал вновь и вновь. Все было верно!

Да, конечно, для мужиков, для семьи, где дети, плотская жизнь, земные заботы о скоте, хлебе и лопоти, где дани, и кормы, и городовое дело, где власть, которую надобно кормить, где, наконец, всегда отыщется тунеядец, коего грех и держать в деревне, да, там общее житие было бы и невозможно и губительно, ибо за трудом всех скрывались бы те, иные, кто не восхощет труда и будет жить яко трутень (но ведь и трутней пчелы убивают или изгоняют в свой час!). И, помыслив о сем, видел Сергий, что ничего лучше, вернее, достойнее той жизни, которая установлена крестьянами за века и века, измыслить неможно.

Каждый живет в своем дому. Тут и изба, клеть, житница, конюшня, сенник. Каждый работает на своей земле и знает свой труд и плоды своего труда. И ведает, что кроме него и за него труд сей никто не свершит. И ведает, что все огрехи и леность, допущенные по весне, осенью явят себя в урожае. И ведает, что землю, погоду и непогодь, дождь или вёдро — не обмануть. Что летом надо встать до света и уже быть в поле. Что за скотиною нужен уход паче, чем за детьми, а дети в уходе том за скотиною, огородом, в страде полевой как раз и вырастают людьми, тружениками, продолжателями дела отцов с самых младых ногтей. Все это ведает мужик, и все это свято. И свят хлеб.

Иное дело — помочи. Погорельцу миром ставят дом. Девки вместе треплют лен, прядут, рубят капусту. Помочью молотят, помочью возят лес. Сироту не бросит мир, кормит, растит, помогает стать на ноги. Девку, принесшую в подоле дитя, от которой отрекутся родичи, и ту не бросит мир — даст избу и корову и велит растить дитя до возрастия. Мир строг, но мир и держит, и только тунеядцу, вору, пакостнику не место в миру. Таких изгоняют, а коневого вора, покусившегося на самое главное достояние пахаря — лошадь, того и убьют миром. Страшно убьют. И в этом тоже прав мир. А то, что пашня своя, и огород, и хмельник свой, и свои пожни, и свои сена — то и соревнуют друг перед другом: у кого лучше конь, сытее скотина, справнее изба, нарядней баба на праздниках. И ценят человека

по роду, внука — по деду. То все понуждает к труду, к деянию, к тому, чтобы быть не хуже иных на миру. И всё тут — и посиделки, и свадьбы, и похороны. На миру и смерть красна!

И кабы все было так и только так... Но не только так! И среди крестьян бывают и злоба, и колдовство, и суеверия, с которыми борется церковь, ненависть и право силы, разъедающие деревенский мир. И тут все усилия церкви, духа, разума, наконец, тут-то и надобен и необходим первее всего монашеский подвиг!

Когда вокруг новой обители начали возникать первые починки, это еще мало заботило троицких старцев. Но с каждым годом являлись новые росчисти, и уже не только с тем, дабы отпеть покойника или перевенчать молодых, являться стали в монастырь мужики. Начали приходить искать защиты от неправедного соседа, от насилия владельца-боярина. И Сергий, коему крестьянский труд был так привычен уже, что он порою сам забывал о боярском происхождении своем, узрел, почуял вновь всю трудноту, сугубую трудноту, когда надобно убедить в чем-то простого крестьянина. Боярина, купца, посадского,— с теми со всеми было много легче. Мужики слушали, вздыхали, низили глаза, винились и — поступали опять по-прежнему.

Знал Сергий эту лукавинку селянина. Знал и с горем убеждался, что ему, именно ему, потому что работал сам, как и они, и не величался ничем, было с мужиками особенно тяжко.

И этот случай нынешнею зимой с тем богатым селянином, Шибайлою, врезавшийся ему в память, не мог Сергий, положа руку на сердце, зачислить в удачи свои, как о том твердит вся братия, нет, не мог! И было это его поражением, не победою.

Шибайло наповадил ходить в монастырь, как на посидки. Станет, разгладит холеную бороду свою, выстоит истово всю службу, поклоны кладет в пояс и, разогнувшись, опять глядит, слегка улыбаясь, любовно озирает Сергия, словно дорогую покупку свою: вот, мол, наш-то! Каков! И на лапти Сергиевы глянет и тоже словно ободрит с прищуром: мол, знай наших! Словно бы и в лапти нарочито обулся Сергий для виду казового, для пущей, нарочитой простоты.

И вот этот-то мужик-богомолец и отобрал у соседа, у отрока-сироты, полуторагодовалого борова, вскормленного тем для себя с трудами великими. (А что

значило для ребенка выкормить свинью, ведал Сергий слишком хорошо!) Мальчонка, Некрас, прибежал в обитель, пал в ноги Сергию.

Сергий повелел позвать Шибайло к себе на говорку. Выдержал на литургии, заставил и еще пождать. Завел в келью. Строго молвил, отметая сразу хитрые отмолвки и отвертки крестьянина:

— Чадо! Аще веруешь — есть Бог, судия праведным и грешным, отец же сирым и вдовицам?! Ведаешь ли, что отмщение в руце его и страшен господень гнев?! Ведаешь,— повысил голос Сергий, и кривая усмешечка начала сползать с холеного лица крестьянина,— что и божьему долготерпению есть предел? Бог дал тебе сторицею, ты богатее других! Ужли и того не довольно? Ужли тебе, богатому и сытому, будет чем оправдати себя на Страшном суде? Убогого грабишь! Вопль его — ко Господу! Тебе ли указать таковых сильных, неправду деющих, коих домы опустели, и сами они нищими бродят между двор, а в оном веце их сожидает мучение бесконечное? Того хощеши?!

Шибайло взмок, уже стоял на коленях, божился, клялся, а в глазах плавала ложь, хоть и валялся в ногах и уверял, что заплатит сироте за вепря того. И была во всем — в слезах, уверениях, даже в струях пота на челе — та же крестьянская мужицкая хитрость: костьми лечь, а не дать, откупиться поклонами, клятьбою, божбой...

Все же струхнул малость. Придя в дом свой, освежеванную тушу укрыл в дальний угол клети, завалил рогожами. Парное мясо задохнулось, видимо, от тепла, и сонные зимние мухи ожили, заползли внутрь. Когда Шибайло глянул (так и не давши цену сироте!), мясо кипело червями, хоть и была пора зимняя. И тут по крестьянской, по той же осторожной сметке своей, где и баенник-овинник, и шишига-пустельга, и сосед-колдун, и всего иного намешано, чего и не измыслить враз, догадал, поверил, что и мясо то погибло не от чего иного, а от его, Сергиева, проклятия. И еще помыслил разом, что и весь двор его падет по проклятью старца (запомнил-таки слова Сергиева поучения!), и побежал к сироте с деньгами, долго кланял, винился. Краденого вепря выкинул в овраг, но и псы, бают, не ели уже той тухлятины. И позже, потом, срама того ради не смел являться более к Сергию на очи, в монастырь...

С таковыми вот богомольцами было особенно, излиха тяжело! И единое понял, утвердил Сергий для себя раз и навсегда, что тут надобны не уговоры, а гнев и страх господень, узда закона, ибо еще далеко оным до благодати и благодатного восприятия горней любви! И надобны строгость и неукоснение в трудах молитвенных. Никогда и ни с кем не позволял он сократить час службы или иное совершить послабление в делах молитвенных. «Ограда закона» была надобна. Кольми легче было бы ему в ризах украшенных с высоты амвона глаголати с ними! Нет, Господи! Прав ты, Учитель, и праведны слова твои пред искушавшим тебя: «Отойди от меня, сатана!»

Но это — мужики. Ихняя, мужицкая жизнь. Ихние беды. Его же задача и задача обители всей, каждого из братий и всех вкупе,— нести свет, пасти, и спасать, и укреплять духовное начало, вести борьбу с плотию и с гласами ее: болью, страхом, гневом, властолюбием, сребролюбием, леностию, похотью и иными многими каждый день, каждый час!

И эта нравственная, духовная сила важнее храбрости воина и мужества воевод. И борьба за нее безмерно сложна. Биться насмерть с врагом способны и звери, но токмо человек способен бороться с самим собой!

И ежели так смотреть на дело старцев (а токмо так и можно, и должно смотреть, ибо иначе — ни к чему и сами обители!), то тогда у мнихов, в киновии, все должно быть наоборот крестьянскому обиходу: никакой мужицкой собины, никакого имущества, ничего мирского. Ибо монастырь — меньше всего тихая пристань для устарелых и усталых от жизни, а больше всего — сама жизнь, жизнь высокая, и только высокая! Жизнь борьбы с тварным, животным, низменным ради величия человека, осиянного светом, явленным на горе Фавор!

Думал ли Сергий в сей миг о грядущем поле Куликовом, куда должна была выйти совокупная рать русичей, поверивших наконец, что они — одно? Дионисий, его знакомец нижегородский, думал и торопил тот героический миг по нетерпению своему. Сергий видел и знал — не скоро! И не о том надлежит пещись ему, а о том, чтобы, пусть крохотный, но вырастить здоровый росток, росток грядущего. И потому так тревожно было видеть ему то, что происходит с братом Стефаном и с иными многими, возжелавшими греться в лучах

славы нового игумена, но отнюдь не ревнующих разделить с ним полную меру сурового монашеского труда.

Стефан не грешил телесною слабостью. Но дух в нем пребывал в затмении гордыни. И Сергий видел это и не мог поделать с братом ничего. И ждал. И вот теперь Стефан не сказал ему, каковы дела у владыки Алексия в Киеве.

Весна согнала последние снега. Отцветали подснежники. На росчистях высунули свои сморщенные головы сморчки.

Вновь застучали топоры в обители. Достраивали, чинили, перерубали заново. Ставили сень над источником, ставили житницу, больницу, перерубали ветхие кельи.

Все имущество обители теперь было общим, и им ведали келарь и эконом. Общими стали по устроении книжницы и книги, чьи ни буди. С книги и началось.

Одно дело — взять книгу с полки в келье своей, другое — просить у еклисиарха самого, когда при том книга та досталась тебе по наследству от родителей или принесена тобою в обитель из Москвы.

Сергий, только что закончивший службу и еще не снявший священнического облачения, был в алтаре, а те, по-видимому, думали, что он уже покинул церковь.

Стефан стоял на левом клиросе и спросил канонарха (и в голосе, грубом, твердом, прозвучал давно сдерживаемый и ныне прорвавшийся гнев):

— Кто дал тебе книгу сию?

— Игумен! — послышался недоуменный и слегка неуверенный, судя по звучанию высокого красивого голоса, ответ канонарха.

В церкви было пусто, и потому голос Стефана, словно хлыст, взметнувши к высокому тесовому потолку, громом отразился в алтаре:

— Кто здесь игумен?! Не аз ли прежде седох на месте сем?! Кто избрал гору сию? Рубил храм? Известил владыку Алексия? Князя? Бояр?! У вашего Сергия един был тут ближник — медведь! Да и тот пропал невестимо! Ну и сидели бы... Да что! Никто бы из вас без меня и не явил себя тут! И игуменом был я! И поставил брата я! И ныне, когда... неведомо...

Стефан захлебывался словами, говорил уже то, чего слышать было неможно и не должно ему, Сергию... И выйти было уже нельзя. Он стоял недвижимо и об одном молил: да не зашел бы Стефан в алтарь!

Тот, выговорившись, затих, скорым неровным шагом исшед из церкви. Канонарх, посовавшись по углам, покинул храм тоже.

Сергий, дождав, когда оба отойдут и не возмогут узрети его, тихо вышел из церкви боковыми дверьми, медленно сошел по ступеням на теплую, уже прогретую солнцем упругую под ногою землю. Как был, в ризе и с омофорием на плечах, еще ни о чем не думая даже (в душе и в уме был только вихрь, проносящийся сквозь гулкую тишину), пошел к воротам обители. Шаги его, неверные поначалу, становились все тверже и тверже, и — тут не скажешь инако, ибо, и верно, сами ноги, отдельно от головы, понесли его безотчетно знакомым путем куда-то к лесу и в лес, и только уже топча ногою прошлогодний черничник и отводя руками от лица ветви елей, понял он, и то какою-то самою незначительною частью сознания, куда идет. Ноги вынесли его к дороге на Кинелу. А в голове все творилась гулкая, громоподобная тишина. Текла, струилась, разламывая нечто и тотчас воздвигая вновь и опять перемешивая все в призрачные, голубо-серые груды.

Только когда меж ним и обителью пролегло несколько верст и ходьба немного успокоила Сергия, он начал думать, во-первых и сразу поспешив оправдать Стефана и овиноватить себя. Да, в чем-то, пусть и в самом малом, неважном, брат был прав. Он — старший, и у него просил некогда Сергий благословения, и с ним разыскивал место сие, и с ним вместе возводили они тот первый ихний малый храм. И с Алексием познакомил Сергия Стефан, и, явившись из Москвы к Троице, мог Стефан рассчитывать, что братия именно его изберет игуменом Троицкой обители. Все это было внешнее, неважное для жизни духа, и все-таки это было, и он, Сергий, невестимо сам для себя все это перечеркнул. И дать место жалости, любви к месту сему, памяти лесного одиночества, трудного строительства монастыря, вернуться воевать, спорить он тоже не может. Не должен, не волен даже! Ставший иноком да отвержется земного бытия!

Наверно, Дионисий не ушел бы так, как уходит он (а с каждым шагом вперед Сергий все более понимал, что уходит, ушел и уже не воротит назад).

Осыпалась земля, обнажились корни, повял и отвалился не успевший укорениться росток.

Виновен ли он в том, что произошло? Нет. Потерял

ли он все, что приобрел в эти трудные годы? Нет. Опыт, знание, мудрость и даже боль сердца — с ним. А значит, и не потеряно ничего!

Он шел, такой, верно, как пишут праведников на иконах: в полном священническом облачении и в легких липовых лаптях, пробираясь почти неслышно своим разгонистым ходким шагом по лесной тропинке, когда впереди глухо рявкнуло, мало не испугав, и мишка, стоя на задних лапах, оборотил к нему мохнатую морду свою. Слова брата о медведе пришли в ум, и на миг подумалось о том давнем приятеле своем. Сергий тихо позвал, ступил раз, другой, приближаясь к медведю. Но тот почти по-человечьи отмотнул головой: не я, мол! — опустился на четвереньки и пошел в сторону. Остановился на миг на пронизанной солнцем полянке, еще раз поглядел на Сергия, глухо рыкнул и исчез в кустах.

Садилось солнце. Уже покраснели его прощальные низкие лучи. Сергий наклонился, собрал горсть тающей во рту ароматной лесной земляники, неторопливо съел. Подумав, решился и заночевать в лесу. Не хотелось сейчас, в днешнем состоянии духа, искать какого ни то жилья. С последними каплями багреца, прорвавшимися сквозь заплот стволов, он нашел старую ель, нижние ветви которой утонули во мху, образовавши почти целиком закрытый шатер, нашел отверстие и заполз туда, на сухую горку колкой прошлогодней хвои. Здесь было тепло от нагретого за день воздуха, тепло, темно и тихо. Он еще подумал о давешнем звере: не пришел бы к нему сюда ночевать невзначай! Улыбнулся и уснул, положив под голову край омофория.

Спал Сергий не более двух часов, но выспался хорошо и, помолясь, выполз опять из приютившего его лесного шатра в туман, белым молоком налитый среди елей и берез, умылся росой, слегка издрогнув от утреннего холода, и, глянув на бледнеющее передрассветное небо, легким шагом устремил дальше.

Знакомый игумен монастыря на Махрище, Стефан, после сказывал, смеясь, что некто из братии, углядев Сергия в ризах, выходящего на заре из лесу, причем сияние солнечных лучей окружило его словно бы световым облаком, ринул со страху в обитель, невесть о чем подумавши тою порой. Верно, принял Сергия за какого-то сошедшего с небес угодника божия.

И вот они сидят со Стефаном Махрищенским друг против друга, и Сергий ест и, ничего не объясняя,

просит проводника, дабы отыскать место для новой обители. Стефан глядит внимательно ему в лицо, понятливо склоняет голову и не выспрашивает ничего больше.

— Отдохни, брат! — говорит махрищенский игумен Сергию.— Побудь мал час со мною и братией, а заутра двинешься в путь.

Он очень долго молился в этот вечер, отгоняя от себя нахлынувшие видения прошлого. И лег спать только тогда, когда почуял в душе мир и спокойную, благостную тишину.

Нет, он ничего не потерял! А приобрел — многое. У него есть друг (и не один!), что поможет ему, ни о чем лишнем не вопросив, у него есть память, есть вера и есть знание того, что надобно делать теперь на новом месте и как надобно делать, дабы общее житие было с самого первого дня, чтобы шли — те, кто придет не к иному чему, а к предуказанному иноческому подвигу, чтобы киновия, для которой он еще даже не нашел места, стала подлинным вместилищем духа и ничем иным!

Ведал ли Алексий вдали, в невольном заточении своем, что его детище, обитель Святой Троицы, извергла создателя своего и Сергий ищет место для новой обители, чтобы начать наново, от истока, всю свою жизнь, и подвиг, и труд? Алексию было не до того теперь. Он только что получил весть о гибели Бердибека и понял, что Орда ему не поможет, и ждал теперь вестей из Константинополя.

Сергий искал место для новой обители несколько дней. Брат, посланный с ним игуменом Махрищенского монастыря, порядком-таки уходился в путях и уже про себя, отчаявшись обрести отдых, начинал недовольничать, с недоумением взглядывая на двужильного радонежанина, когда наконец место нашлось.

Что ищет русский человек, какое место избирает для поселения своего на великой русской равнине, полого всхолмленной и пересеченной струями рек? Горных вершин, в том понимании, в каком они привычны нам, знающим Кавказ, Урал и Карпаты, и тут нет, и само слово «гора» означало в древнем языке русичей попросту всякую сушу, берег, землю, в отличие от воды, а совсем не гору в том каноническом, нынешнем понимании этого слова.

И при всем том ищет русский человек всегда — высоты и выходит на высоту, место «красное», то есть

высокое и красивое, откуда и видать далеко. Так, древние киевляне, получив под Выдубицким монастырем образованную подпорною стеною площадку для гуляния, вознесенную над обрывом Днепра, любовались видом оттуда, говоря: «Яко аэра достигше!»

И для языческих треб своих славяне-солнцепоклонники избирали всегда холмы и подсыпали, насыпали даже «Велесовы горки». И места, где водили хороводы в деревнях, звались горками и устраивались обычно на открытых взору высоких обрывах.

Память далекого, исчезающего во мгле времен прошлого, память пращуров, живших когда-то в подкове Карпатских гор и спустившихся оттоле на равнины Приднепровья? Возможно! Так ли, иначе, но в отличие от рыбаков-чудинов, селившихся у воды, в низинах, русский человек избирал всегда высокие красные места, а были такими на великой русской равнине главным образом высокие берега рек, крутояры (от слова *яр*, *ярило*, солнце, коему поклонялись славяне на высотах своих). И так же, на крутоярах, ставили позже церкви, чтобы далеко видать было — шатер ли вознесенный, главу ли церковную или гроздь круглящихся в аэре луковичных глав.

И Сергий безотчетно искал для себя места красного, высокого, открытого взору, и вот наконец нашел.

Они были верстах в пятнадцати от Махрищенской обители и шли по берегу Киржача, огибая широкую речную пойму, по весне, видно, всю заливаемую водой. Бор на далеком извиве берега подымался высокою гривой, и по бору скорее, чем по чему другому, почуялась высота. Пока пробирались частолесьем, лесная грива ушла из виду, удалилась куда-то вбок, а полого восходящий, заросший красным сосновым лесом берег почти не давал ощущения подъема. Но вот в прорыве сосен вновь отокрылась взору прежняя пойма, но уже глубоко внизу, и река, выбегающая из-за невысокого мыса, неслась прямо на них, ударяясь в изножие обрыва, и по бегучей силе воды казалось, что сам берег плывет, наплывает на эти бурлящие струи.

Река уходила налево, а за нею, на запад, лежала, точно в чаше широкой, лесная долина, и зубчатые на самом краю небесной тверди синие языки далекого леса наползали на нее с двух сторон, не смыкаясь, а между ними висела, таяла в золотистой рассеянной дымке вечереющего солнца распахнутая до самого окоема

легчающая воздушная голубизна, словно ворота, отверстые в вечерний несказанный свет.

Сергий до того шел скорым шагом своим, скользя между стволов, и вдруг его словно что-то толкнуло. Он прошел еще, остоялся, повелел спутнику молчать, стоял и смотрел. Медленно побрел назад, остановился, поворотил, пошел словно бы ощупью, глядючи и не видя. Искал тот тайный позыв и — нашел. Опять словно толкнуло в грудь и лицо. Струилась река. Место было красно и прилепо, но и не то было самое важное. Красивых мест они навидались за эти дни. Было в окоеме, распростертом окрест, некое напоминание. Словно видел давным-давно, в детстве глубоком или еще до рождения. Видел и позабыл и днесь, душою, вспомнил.

Он стоял, забыв о махрищенском брате, стоял и думал, даже не думал, а впитывал в себя то, что пришло к нему невестимо, и уже понимал, угадывал, сведал — здесь!

Тогда Сергий подошел к обрыву, опустился на землю. Сидел, впитывая в себя тайную весть, и прилеплялся к ней, оттаивая сердцем. И когда уже позабытый брат намерил разбудить, окликнуть Сергия, встал, оглянул проясневшим взором махрищенского инока, боровой лес, далекие облака над дальнею волнистою чередою окоема и, протянув руку, попросил секиру, заткнутую иноком сзади за ременной кушак.

Звонкие удары топора и гул очередного рухнувшего дерева встретили гаснущую над дальними лесами вечернюю зарю. Сергий рубил себе келью. Потрескивал костер. Ободрившийся махрищенский инок, приготовив ужин, налаживал нехитрый ночлег. Маленькое храброе пламя изо всех сил боролось с величавым угасанием солнца.

К Ольгерду в Вильну выехал московский посол Дементий Давыдович. Василий Вельяминов распорядил двинуть к Ржеве запасные войска. Чаяли ордынской помочи, но тут погиб Бердибек, старому барсу Товлубию перерезали горло. В Орде творилось несусветимое. От нового хана, Кульпы, который, захватив Сарай, вел безнадежную борьбу со степными эмирами, казнил направо и налево, грабил ордынские города и явно не собирался долго сидеть на престоле, какой-либо помочи

получить было неможно. Тайдула только потому осталась в живых, что ордынский самозванец объявил себя Джанибековым сыном. Из-за ордынского размирья даже и посольство в Константинополь не могло выехать. А тут паки утесняемый Василием князь Всеволод побежал в Литву. Дело усложнилось невероятно, и вся надежда теперь была уже только на Царьград.

Алексиевы гонцы, отец Никодим со Станятою, добрались до Константинополя в самый разгар летней жары. Кабы не слабый ветер с Босфора, в городе нечем было бы и дышать. Их не встречал патриарший клирик, их вообще никто не встречал, и затерянные в толпе усталые спутники едва сумели раздобыть себе ночлег в Манганском монастыре.

К патриарху Каллисту на прием добивались три дня. Отец Никодим, никогда доднесь не бывший в Константинополе, разевал рот на градскую каменную красоту, дивился Софии. Станяте было не до того. Высчитывая дни и недели долгого путешествия, он со страхом думал: жив ли еще владыка?

Наконец нравный старик принял русичей. Сердито потребовал грамоту. Станяте показалось даже, что Каллист втайне рад злоключениям русского митрополита.

Вместо энергичного приказа патриархия затеяла уклончивую переписку с Ольгердом, еще более затянувшую Алексиев плен, ибо Ольгерд, окончательно поверивший в свою безнаказанность, начал требовать от патриархии утверждения своего ставленника на всей русской митрополии, ничего взамен не обещая.

В секрете великого хартофилакта русичам посоветовали навестить бывшего патриарха Филофея Коккина, который пребывал на Афоне, руководя лаврой Святого Афанасия, и мог воздействовать на Григория Паламу, а тот — понудить Каллиста к решительным действиям, ибо кто-кто, но отец Палама был для Каллиста, ярого «паламита», безусловным авторитетом.

Станята, оставив отца Никодима в Константинополе, дабы ежеден надоедать патриарху, в тот же день нашел рыбацкое судно, сговорился с кормчим и с полуночным ветром отплыл на Афон.

В бархатной темноте южной ночи утонули башни вечного города. Снова, как когда-то, древняя Пропонтида, со времен аргонавтов не меняющая свой вечный лик, мягко колышет греческую лодью, и тяжко хлопает

просмоленный рыжий парус над головою. Станята дремлет, прикорнув среди кулей с товаром и завернувши голову полой зипуна. Утреет. По враз засиявшему небосводу катит золотой шар солнца, и уже жарко среди кулей, и сброшен зипун, и Станька в рубахе одной с распахнутым воротом — ветер приятственно холодит шею и грудь — помогает кормщику и двум пожилым грекам поднимать дополнительный парус.

Греки толкуют о своем, спорят, приставать или нет в Галлиполи. Турки, слышно, берут мзду со всех греческих кораблей... И уже словно не помнят того, что город греческий и лишь недавно захваченный турками. Знают, но не помнят. Нет сил, энергий нет, дабы помнить, дабы выгнать турок и отвоевать свои греческие города. Потому и толкуют убого, потому и трусят, потому и готовы выю склонить перед чуждою властью, какая бы и чья бы она ни была. И уже, верно, не помнят и Кантакузина своего, что нынче, по слухам, живет на Афоне и, забывши дела правления, со всем прежним пылом своим проповедует учение Григория Паламы, рассылая послания по всем греческим городам...

В Галлиполи греки долго кричали, ругались, молили, но в конце концов заплатили отступное турецкому даруге, и Станьке, как ни забедно было, пришлось тоже выложить за себя серебряный персидский диргем.

Вновь тянулись по сторонам скалистые и бесплодные берега. Ветер сменился, приходилось грести. И древняя дорога, видавшая триремы ахейцев, вела их теперь к последнему прибежищу греческой, одетой в монашеские хламиды учености, к неприступному мысу Афон, где угнездились знаменитые по всему православному миру монастыри. А встречу им проплывали, хвастливо раздувая паруса, вырезные и расписные корабли генуэзцев и венецейских фрягов, давно уже отобравших море у некогда гордых ромеев, властителей величайшей державы, ныне превратившейся в жалкий клочок, изорванной вражескими нашествиями и захватами, ограбленной и вконец обнищавшей земли.

К самому Афонскому мысу, грозно нависающему над морем, пристать было невозможно. Станята от гавани добирался до лавры святого Афанасия, где на осле, где пешком, целых полтора дня. Дивился висевшим над пропастью, над морем террасам, башням, словно бы парящим в воздухе, путанице неведомых

пахучих дерев и кустарников, перевитых плющом и вовсе непроходных. Дуло то с моря, то, обдавая волною запахов, с берега. От нагретого камня, дремлющих листьев лавра, миртовых ветвей и многоразличных неведомых Станяте цветов шел одуряющий аромат. На камнях грелись ящерицы. По скалам рос виноград, подымались смоковницы и оливы. Райская, сказочная земля окружала афонские монастыри!

В лавру, за ограду, сложенную из грубых каменных глыб, Станяту пустили сразу, как только он назвал имена Филофея Коккина и Алексия. И это показалось ему добрым знамением.

Филофей Коккин принял Станяту не стряпая, тотчас узнал, обозрел живыми черными глазами, вопросил об Алексии.

Они сидели в келье игумена, коим был сам Коккин, и бывший патриарх кивал головою, с болью взглядывая иногда на Станяту. Третьим в келье был молодой инок, болгарин родом, как понял Станята по разговору, на имя Киприан, и тот тоже внимательно слушал Станяту, то и дело бросая на Филофея красноречивые взгляды.

Филофей страдал, стонал даже, особенно когда уведал про убиенных священнослужителей. Прошептал с мукою:

— Говорил я ему!

Сам про себя, уже невнимательно выслушивая Станяту, Филофей думал, что надо было не спорить, во всяком случае не так спорить с князем Ольгердом! Потеряна жизнь, быть может, потеряна митрополия... Ах, брате Алексие! Должно иногда и уступать и отступать порою, выжидая нужного часа своего. Как содеял он сам, тотчас же уступивший престол Каллисту, когда Кантакузин передал власть Иоанну Пятому, Палеологу... И вот теперь он, Филофей,— игумен лавры Афанасия, а в будущем — кто знает?! Он уже сейчас готовит себе верных помощников, вот хотя бы и этого болгарина из знатного рода Цамвлаков, посхимившегося ныне и в грядущем способного зело ко многому!

Филофей не додумывал до конца своей мысли, и молодой болгарин при всем своем честолюбии еще и вовсе не мыслил о Руси, а Станята так и предположить бы не смог, что видит перед собою будущего русского митрополита, который победит некогда в сложной борьбе всех русских ставленников и воссядет

на престол Алексиев, престол митрополитов всея Руси!

Филофею не надо было много подсказывать, что и как делать. Послание Григорию Паламе в Солунь он изготовил в тот же день и отправил со своим доверенным, а Станята остался ожидать в обители. Спал в низкой каменной келье с двумя молчаливыми иноками, спасаясь прохладою камня от греческой непереносной жары, отстаивал службы, лазал по скалам в свободные часы, продираясь сквозь заросли выше и выше, до самой высоты, откуда ровным, выкованным из расплавленного серебра бескрайним простором открывалось Эгейское море, разрезаемое то островатыми гребнями играющих дельфинов, то далекими черточками проплывающих фряжских и греческих кораблей. Глядел на запад, откудова из Солуни должен был приплыть или прискакать долгожданный гонец с письмом к патриарху, которое сдвинет с безнадежной мели утлый челн отчаянного русского посольства...

Филофей Коккин, выслушав и отослав Станяту и написавши послание Паламе, долго вздыхал, думал, наконец высказал Киприану, подняв на того свой жгучий страдающий взор:

— Алексий — муж высоких добродетелей и научения книжного, многих благ исполнен есть и того, чего не хватает ныне нам, грекам,— энергии действования... Но нетерпелив! Очень нетерпелив и непреклонен зело! Боюсь, он слишком раздражил Каллиста, и опасаюсь, что под его управлением русская митрополия расколется надвое! И с Ольгердом он был излиха непоклонлив и строг... Не ведаю, что ся совершит, и изо всех сил помогу кир Алексию, но... ежели... со временем... Там надобен муж, который возможет вновь связать воедино литовскую и владимирскую половины единой митрополии Руссии! Помни об этом, Киприане!

— Кир Алексий погибнет? — расширив глаза, вопросил молодой болгарин. Филофей покивал как-то косо, вбок, вытер вдруг явившуюся слезу, пробормотал:

— Да... Нет... Не ведаю! — И, помолчав, свеся голову, тихо признался: — Все зависит теперь только от преподобного отца Григория Паламы! А он болен зело... Одна надежда на Господа!

Дни шли за днями. Плавилось солнце в трепещущей синей воде, реяли с криками морские птицы, а посланцев из Солуни все не было и не было. Филофей надумал уже послать иных, когда наконец гонцы его

возвернулись со строгими лицами и без грамоты, повестив, что преподобный епископ фессалоникийский Григорий Палама умер.

Так рухнула последняя надежда спасти Алексия.

Перед отъездом в Константинополь Станяту пожелал узреть бывший василевс Иоанн Кантакузин, ныне — старец Иоасаф.

Величественный, весь не от мира сего, убеленный сединами старец долго разглядывал русича, сказал негромко:

— Передай кир Алексию, что я, смиренный Иоасаф, молюсь за него! Все в воле господней, и жизнь, и смерть!

— А Родина?! — не сдержав себя, воскликнул Станята.

— Родина — это вы сами! — едва заметно усмехнув, отозвался монах.— Землю неможно спасти, ежели она не хочет спасения, и очень трудно погубить, ежели она того не возжелает сама!

Перед Кантакузином на простом, потемневшем столе лежали листы плотной александрийской бумаги. Стояла медная чернильница с воткнутыми в нее несколькими гусиными перьями и глиняный кувшин с водой. Ничто в каменной келье не напоминало, что хозяин ее был еще совсем недавно ромейским императором. Станята не решился более что-нибудь возражать Кантакузину, молча склонился в поклоне и приложился затем к старческой благословляющей руке.

Филофей, провожая Станяту, напутствовал его заверениями, что будет стремиться содеивать и впредь все возможное...

На море стояла тишь, и возвращался назад в Константинополь Станята посуху, минуя одну за другой разоренные, обезлюженные фракийские деревни. Надобно было как можно скорей воротиться в Царьград, как можно скорей добраться с любым торговым судном до Киева и, по крайней мере, ежели совершится такая судьба, принять гибель вместе с владыкою. «Нет! Гибнуть нельзя! — одернул он сам себя.— Надобно спастись и спасти Алексия!»

Приезд Всеволода, коему он обещал помочь, и уклончивое послание из Константинополя развязывали руки Ольгерду.

Тотчас по получении послания от патриарха Каллиста Ольгерд послал в Киев своих бояр с дружиною, приказав заключить Алексия со спутниками под стражу, воспретив ему всяческую переписку с кем бы то ни было. Иные, тайные наказы были переданы воеводам с глазу на глаз.

Август истекал последними днями, кончали убирать хлеб.

В сентябре в Новгороде возвели на престол архиепископа чернеца Алексия, взамен оставившего кафедру Моисея, и тотчас послали его на поставление к Алексию.

В Твери новгородский ставленник был возведен епископом Федором в пресвитеры, но до Киева, до владыки Алексия, новгородское посольство так и не сумело добраться. Ольгерд перекрыл заставами все пути.

Литовско-русская дружина, посланная Ольгердом, въехала в Киев без всяких препон. Замятня в Орде отдавала древний город в руки Ольгерда. Князь Федор встречал насупленных литовских бояр винясь, низя глаза и виляя.

Только-только успел прибежать в лавру послушник со злою вестью, как уже за оградою послышалось ржание боевых коней и в настежь отворенные ворота обители начали въезжать попарно литовские всадники.

Никита, прежде боярина сообразив дело, ругаясь, поднял всех и с копьями наперевес повел противу конных литовских кметей. Крик, шум, гомон. Лошади, тыкаясь в острия копий, вставали на дыбы. Бабы, роняя корзины с яйцами и прочею снедью, с дурным заполошным визгом, мешая и тем и другим, лезли аж под копыта коней, но поскольку толпа прихожан со страху рванула вон из лавры, то и вынесла, давя и калеча непроворных, вон из двора, с визжащими и причитающими жонками, литовских потерявших строй и вспятивших кметей. Никита, выгнав последних, а одного, упрямого, подколов рогатиною, с треском захлопнул и заложил засовом монастырские ворота.

С той и другой стороны полетели стрелы, поднялся отчаянный бабий вой, кого-то задело в толпе, слепо кинувшейся, словно стадо, прямо на конную литву, звонарь начал заполошно бить в колокол, и пока творилась вся эта неподобь, Никита, вздев бронь и оборужив

своих ратных, приготовил костры к обороне и загородил ворота телегами.

Опомнившийся владычный боярин, тоже вздевши бронь и отчаянно ругаясь, забыв в сей миг, что находится внутри святой обители, грозя шестопером, кричал поносное литовским воеводам, прикрываясь щитом от вражеских злых стрел.

Литва уже соступила с коней, готовясь к приступу, толпа прихожан отхлынула, оставя тела двух изувеченных и растоптанных насмерть жонок. Но в этот миг явился князь Федор, ратники опустили луки, и начались переговоры. Алексий вышел с крестом, приказал отворить ворота и потребовал, чтобы литовские воеводы сошли с коней и объявили, что им нужно в обители.

Силы, впрочем, были слишком неравны. В конце концов, при посредстве князя Федора, постановили на том, что русичи сдадут оружие, но сами останутся в кельях и Алексий — по-прежнему в настоятельском покое. Ему будет разрешено пользоваться церковью, и лишь охрана в лавре станет теперь из литовских ратных.

Пока творился этот стыдный торг, Никита, бросив ратников на боярина, забежал в избу, где была устроена временная молодечная владычной дружины, оглядел стены и потолок, приметив щель между потолочинами и просевшей балкою; подвинув тяжелую лавку, достиг, дотянулся и засунул в щель саблю, оглянув — не видит ли кто? Заложил щель ветошкой, дабы и издали не видать было ножен, соскочил, отдернул, натужась, лавку назад, сорвал шишак, сдернул бронь, свернул ее и выбежал за дверь с тяжелым железным свертком. Куда тут? Он сунулся за кельи, узрел яму, вырытую под стеною бродячим псом, шуганул четвероногого хозяина, сунул бронь в самую глубину, оглянув, узрел несколько битых древних плоских кирпичей и их затолкал в нору, дабы проклятый пес не отрыл и не вытащил брони, и рысью, взмокший от усилий, подбежал к молодечной в тот самый миг, когда там с поносною руганью, плачем и криками ратники сдавали брони и оружие литвинам. Никита стремглав нырнул в воющую толпу, начал бестолково соваться туда и сюда (литвины не понимали, а своим не до того было), пока литовский боярин не взял его крепко за шиворот.

— Вота! — Никита подавал ему, намеренно трясясь, колчан с луком.

— Бронь, бронь давай и саблю! — кричал литвин, коверкая русские слова.

— Сняли, сняли уже! — кричал ему в ответ Никита, готовно заглядывая в глаза и показывая руками, как с него снимают оружие.

Литвин, ругнувшись по-своему, влепил Никите оплеуху и пихнул в толпу разоруженных и враз потишевших ратных.

Лука было жаль. Хороший, татарский был лук! Ну а отцову бронь да саблю — накось, выкуси!

Впрочем, русскую молодечную, где были допрежь русичи, заняла литва, и судьбу своей сабли Никита так и не мог установить, ибо всех их развели по клетям и посадили под замок, а к вечеру принесли только жидкой похлебки да немного ячменного хлеба. Служба кончилась. Начинался стыдный и долгий плен. Даже и того, что сотворилось с владыкою, не ведали русичи, ибо лаврские монахи мало обращали внимания на чуждых им московитов-мирян, и потому, просидевши три месяца в затворе, оборвавшись, обовшивев и отощав, Никита не знал не ведал ничегошеньки, пока однажды безмолвный печерский инок, принесший им в очередной раз воды и хлеба, не прошептал едва слышно, торопливо отводя взор:

— Князь ваш помер на Москве!

Никита рванул из гущи потерявших надежду жить, упавших духом ратников, но монашек уже притворил двери, клацнул засов, и неведомо было: правду ли баял инок, ложь ли? Но ежели правду, ежели Иван Иваныч уже не жив, всем им и владыке Алексию пришла смерть. А умирать просто так Никите никак не хотелось. Надобно было немедленно что-то думать о спасении и затеивать бегство.

Когда была разоружена дружина, разведены по клетям бояре и чадь, дошла очередь и до клирошан. Литовские воеводы грубо переворошили все имущество московитов, забрали дорогие церковные сосуды, чаши, потиры, серебряный сион, блюда, кресты, облачения. Алексию оставили единого служку, и в церковь он теперь мог выходить токмо в сопровождении литовских ратников. Тут уже возмутилась лаврская братия, и после долгой при порешили, что ратные, приставленные ко владыке, должны быть обязательно христианами,

дабы своим присутствием на литургии не оскорблять святыни. Это была хоть и малая, но все же надежда. На православных, хотя бы даже и литвинов, Алексий надеялся повлиять.

Впрочем, литовский воевода тоже понимал дело и выбрал таких верующих литвинов, которые по-русски едва-едва понимали несколько обиходных слов.

Алексий тогда поставил перед собою задачу изучить литовскую молвь и начал использовать своих тюремщиков как учителей. К вечеру второго дня он уже выучил десятка два обиходных литовских слов. Общее знание языков, дисциплина ума и воля позволили ему в течение месяца довести свой словарный запас уже до нескольких сотен слов и научиться составлять вполне грамотно простейшие литовские речения. Приставленные к нему ратники, как тот, так и другой, скоро души не чаяли в Алексии, сказывали ему о доме, о семьях, о бедах и радостях своих, уже и молиться начали вместе с ним, а там и запускать к нему, вопреки запрету, того ли, другого из иноков, благодаря чему Алексий ведал обо всем, что творилось в монастыре и даже за его стенами.

В конце октября в Киев воротились константинопольские посланцы Алексия. Загорелые, обветренные, они у самой пристани едва не угодили в лапы литовской стражи. Слава богу, Станяте хватило ума ушмыгнуть, потянув отца Никодима за собою, когда начался досмотр товаров лодейным мытником.

От случившегося на Подоле лаврского инока они вызнали все невеселые новости и малость растерялись. Инок, опасливо взглядывая на Станяту, предложил скрыть отца Никодима. Путники молча переглянулись, и Станята медленно, поведя бровью, склонил голову.

— А сам ты? — озабоченно вопросил Никодим, когда монашек вышел за дверь, оставя их в маленькой пустой хижине у самого взвоза.

— А я...— Станята подумал.— Пойду прямо в лавру, попрошусь в затвор к Алексию! Коли ему одного служителя оставили, стало, меня пущай и берут! — твердо заключил он.— Как ни то будем сноситься с тобою, а ты... Чаю, наши есть тута! Дак разыщи, выясни, как оно... Надобно владыку спасать!

Поддавшись тревожному чувству разлуки, оба путника обнялись и крепко троекратно поцеловались.

Станька в тот же день был в лавре, где разыграл

усердного дурака-холопа сперва перед игуменом, потом перед двумя литовскими бояринами, поднял шум и, рискуя сто раз головою, добился-таки, что его ввергли в узилище к Алексию, к вящей радости и Станьки и самого Алексия. Тут только и смог он рассказать, и то поздно вечером, о всех перипетиях своего посольства, о смерти Паламы и о невозможности ныне воздействовать на патриарха Каллиста.

Говорить им много не давали. Спал Станята отдельно от Алексия. А в стороже у владычных дверей литвин начал теперь ставить татар-наемников, вовсе не ведавших ни русской, ни литовской речи.

С татарами Станька, впрочем, живо столковался (баять много тоже не приходило, литвин не должен был знать о Станькином умении), да и Алексий мог произнести при нужде несколько слов по-татарски. Те где-то прослышали от своих, что урусутский поп Алексий — кудесник, излечивший Джанибекову царицу Тайдулу, и тут опять приоткрылась возможность ежели не побега, то многоразличных послаблений.

Во всяком случае, о первой попытке отравления Алексия предупредил один из татар, пробормотавший вполголоса: «Не кушай, бачка, каюк!»

С этих пор Алексий проверял украдкою всю приносимую ему еду и держал в келье изрядный запас древесного угля и противоядий, достанных по его просьбе лаврскими иноками.

Отравить Алексия пытались еще дважды. Один раз он даже съел отраву, но вовремя вызвал рвоту и, проглотив изрядное количество угля, остался в живых.

Никогда еще так много и горячо не молился Алексий, как в эти долгие месяцы, никогда не исхитрял столько свой ум в поисках хоть какого выхода. Но выхода не было. И не было вестей из Москвы.

Меж тем проходил октябрь. Холодный ветер сушил землю, рвал листья с дерев. Выходя на двор лавры по пути в церковь, Алексий видел испестренные желтым дали, с болью вдыхал холодный, притекший из далекого далека ветер Родины, следил улетающие на юг птичьи стада. Приближалась зима, осенняя распута уже содеяла непроходными пути. Скоро застынет земля, падет снег. О чем мыслит Иван Иваныч? Бояре? Дума?! Минутами Алексий становился несправедлив, забывал, что все, что могли они содеять, уже содеяно, и что ни князь, ни бояре не виноваты ни в ордынской замятне,

ни в смерти Григория Паламы. Но его властно звала Родина и Господь, требующий от христианина дел, а не слов. И тогда Алексий начинал винить уже самого себя, так нелепо угодившего в эту зело нехитрую, расставленную Ольгердом западню.

Меж тем уже первые белые мухи закружились в похолодевшем воздухе, наступил ноябрь...

Смертность в древности была велика во всех классах общества, и умирали не только во младенчестве, умирали во всяком возрасте. Обычный и для наших дней совсем не страшный аппендицит мог свести в могилу молодого, полного сил человека. Поэтому до старости доживали немногие, и в основном те, кому позволяло отменное, данное природою здоровье и, кроме того, правильный образ жизни, почему, например, священнослужители жили, как правило, гораздо дольше князей. Умирали слабые, хилые, неприспособленные к жизни, а рожали много, и потому общество было в целом молодым и здоровым. Высокая смертность средневековья лучше всякой медицины охраняла общество от наследственных болезней и чрезмерного постарения. Немногое количество крепких стариков, всеми уважаемых хранителей народного опыта, и масса полной сил, жизнерадостной и предприимчивой молодежи — вот как выглядело общество в те далекие «средние» века; а ежели говорить о наших XIV—XV столетиях, то скажем и еще точнее: в века подъема, в века молодости нового этноса, Руси Московской, пробивавшего и пробившего себе дорогу сквозь тяжкое наследие поздней, склонившейся к упадку Руси Киевской, Золотой, Великой, но уже и нежизнеспособной Руси!

Мы не знаем, чем болел московский князь Иван Иваныч Красный, умерший удивительно молодым, всего тридцати трех лет от роду. Был ли он болен с молоду? Едва ли! Именно от него родила Шура Вельяминова Митю, Дмитрия, будущего героя сражения на Дону. От больных отцов редко родятся столь здоровые дети!

Но все упорно говорит об ином — об усталости от жизни, о страхе перед своею княжескою судьбой человека, возможно, и мягкого, и нестойкого духом, но безусловно неглупого, сумевшего углядеть государственные таланты Алексия, сумевшего утишить боярскую котору, возникшую после убийства Хвоста, сумевшего удержать великое княжение в своих руках (пусть и с помощью бояр, пусть по благословению Джанибекову и

за спиною Алексия, а все же удержать) и держать, сдерживать до конца, до смерти своей, и тверских князей, и чрезмерные притязания Ольгерда...

Но что-то надломилось в нем с последней поездки в Орду, некая болезнь души давно уже мучила молодого красивого («красного» лицом) князя. И теперь от малой причины — малой для иного кого — князь изнемог и почуял начало конца.

Он лежал и глядел в невеликое, забранное слюдою окошко на белый снег, наконец-то одевший Кремник, и думал. Мачеха и жена сидели, не отходя, у постели князя.

— Из Киева нет вестей? — вопросил князь слабым голосом.

Александра помотала головою, сдержанные рыдания не дали ей говорить.

— Позовите бояр... Всех! — попросил Иван.— И духовника моего, и архимандрита... игуменов... Всех.

Он умолк, и Шура, поднявшись на ноги, поняла, что ее Иван, которого и любила она, и жалела, и досадовала на него порою, приблизился к своему исходу.

Дума собралась вечером.

Князь попросил приподнять себя, устроить на возвышении. В тесном спальном покое враз стало жарко от стольких собравшихся людей.

— Детей приведите! — приказал больной.

Девятилетний крупный коренастый мальчик, ведя за руку младшего, Ивана, вступил в покой, подталкиваемый Александрою, подошел к ложу отца.

— Вот ваш наследник! Ваш князь! — поправился Иван, кладя руку на голову Дмитрия.

Мальчик смотрел на него во все глаза, еще ничего-ничего не понимая. Детям, как и животным, недоступна идея смерти.

Завещание уже было написано и утверждено, и не для того собрал сейчас Иван Иваныч боярскую думу.

Он обвел глазами суровые лица собравшихся мужей нарочитых, в дорогом платье, в парче и жемчугах, много старше его, но все еще полных сил, и воли, и желаний, среди коих самым главным у них являлось желание властвования.

У него не было этого желания никогда. Он уступил бы и власть и тихо жил бы еще долго, но некому было уступить, и вот он надорвался и умирает, упав под крестною ношей, доставшейся ему не по его плечам.

— Уведи, Шура! — тихо попросил Иван, кивнув на мальчиков. Пугливо оглядываясь на отца, оба тихо вышли из покоя.

— Дмитрий еще мал зело! — сказал князь, глядючи куда-то мимо лиц и взоров в неведомую никому даль.— Нужен муж достойный, могущий править землею до его возрастия, и я собрал вас всех, дабы утвердить общим приговором великих бояр мужа сего, держателя власти и местоблюстителя стола княжеского!

Каждое слово давалось Ивану с трудом, и потому он говорил медленно, с отдышкою и остановками, но ясным, внятным голосом, так что понятно становилось каждому из бояр, что говорит князь не по наитию и не в бреду, а тщательно обдумав и взвесив свои слова и принявши твердое решение. И тут, когда Иван отдыхал, набираясь сил, взгляды председящих заметались от лица к лицу: Вельяминов? Феофан Бяконтов? Дмитрий Зерно? Семен Михалыч? Быть может, глубокий старик, переживший почти всех сверстников своих, Иван Акинфов? И вновь взгляды устремились к Василию Вельяминову. Неужто он? А почему бы и нет? Тысяцкий, родич по жене! Возьмет, поди, на воспитание княжеских детей, Митю с Иваном?

— Местоблюстителем и воспитателем своего сына... главою княжества... порешили мы оставить ведомого вам всем и всеми уважаемого мужа...— сказал Иван и вновь умолк и договорил наконец: — владыку Олексия!

Ропот прошел по палате, начали отирать лбы, радость неложная явилась на многих лицах.

Василий Вельяминов первый встал, опустился на колени перед ложем князя, приник губами к руке умирающего, изронил глухо, но твердо:

— Выручим, княже! Добудем! Клянемся! И все... как один...

Не было споров, зависти, не было пересудов. Бояре один за другим присягали, торжественно прикладывались ко кресту. Для всех был митрополит Алексий пастырем и главою, и все же предложить такое, даже помыслить о том, чтобы его, владыку Алексия, содеять главою страны на время малолетства Дмитрия, сумел только он один, умирающий князь Иван, быть может, сейчас, в сей миг единый, показавший явственно, что и он тоже, вослед брату, достойный сын своего отца Ивана Данилыча Калиты.

Замкнулся круг. Где-то там, куда уходят не возвращаясь, Калита, ежели он еще следил дела земные, верно, одобрил выбор сына и приговор думы боярской, благословив на стол и труды земные своего крестника... Но Алексий сидел в затворе, в далеком Киеве, и никто не ведал еще, выпустит ли его Ольгерд живым. И судьба Москвы, судьба страны, судьба русской церкви, судьба православия и судьба всего языка русского качалась на страшных весах или — инако сказать — висела на тоненькой нити, которую готовился уже перерезать Ольгерд.

Иван Иваныч скончался, посхимившись и причастившись, через два дня, 13 ноября 1359 года, и был похоронен рядом с отцом в церкви Михаила Архангела.

Ольгерд обнял и расцеловал гонца, велел накормить по-княжески, вручил кметю кошель с серебром и — забыл о нем. Иные гонцы в тот же час поскакали, обгоняя ветер, в Полоцк к старшему сыну Андрею с приказом немедленно подымать полки. Новые тайные гонцы были посланы в Киев, слухачи — в Орду, где творилась новая замятня (уже дошли вести, что хан Кульпа, просидев на престоле шесть месяцев и пять дней, убит другим самозванцем, ханом Наурусом, который сел, кажется, прочно и уже вызывал к себе за ярлыками всех русских князей).

Гонцы уходили в Суздаль, дабы подвигнуть тамошних князей на новую борьбу с Москвою, в Брянск к сыну с приказом держать наготове полки, в Новгород, Псков, Тверь...

«Ежели бы знать, как повернет дело в Орде, Алексия можно было бы убрать немедленно! — думает Ольгерд.— Но в любом случае подвергнуть строжайшему заточению в тесноте, в яме, в каменном мешке... Ежели бы князь Федор был посмелее!»

Василий Вельяминов, спасая от разгрома московскую рать, отвел полки к Можаю. Ржева была взята полоцкою ратью князя Андрея Ольгердовича после короткого, но отчаянного сопротивления. «Теперь, кажется, навсегда!» — думал Ольгерд. Он велел сыну укреплять город, пообещав, что скоро приедет сам осматривать новое приобретение неуклонно, раз за разом растущей Литвы.

До окончательного разгрома Москвы и подчинения всего великого княжения Владимирского, полагал Оль-

герд, оставались считанные месяцы, быть может, очень немногие годы, и то только в том случае, ежели его задержит Орда.

Бежать Алексию предлагали еще в сентябре. Но тогда казалось, что он еще может уехать с честью, выручив клир и владычных бояринов. Бежать одному, бросив всех спутников, казалось ему соромно.

— Беги, владыко! — уговаривали его полоненные бояре и клирики.— Нам как бог даст, а быть может, и смилуют бусурманы над нашею убогостью! Лишь бы ты-то воротил на Москву!

Теперь Алексий и рад был бы уже бежать. Из прежней кельи настоятельской его перевели в каменное узилище под церковью, а затем в земляную тюрьму — яму, накрытую срубом, двери которого день и ночь охраняла литовская сторожа.

В яму спускали кувшин воды и кидали, как собаке, куски мяса и рыбы. Мясо было отравлено. Литвины не понимали даже того, что Алексий, как лицо духовное, имея на плечах схиму, не будет есть мяса все равно, скорее умрет с голоду. Или не понимали, или же испытывали его? Многие ломались в толикой трудноте!

Для нечистот Алексий вырыл ямку в углу. Воду, когда в ней был подозрительный привкус, он тоже выливал на землю, слизывая капли снега, заносимого сквозь щели внутрь сруба и попадавшего в яму.

О том, что умер Иван Иваныч, ему с торжеством сообщил литовский воевода в тот день, когда Алексия, отобрав теплое платье, посуду и книги, ввергли в узилище.

Теперь надежда оставалась у него одна — на Господа. Долгими ночами в знобкой темноте земляной тюрьмы он молил Учителя укрепить его волю и дух, а между молитв судил себя со всею строгостью и понимал, что был и крут, и нетерпим, и не так вел себя с греками, и не так с Ольгердом... И понимал, что инако не мог и не должен был себя вести, ибо это был его путь, и его крест, и его служение. Он уже как бы и вовсе простился с миром и гадал теперь, что будет с Москвою, с Русью, с землею владимирской. Сумеет ли он оттуда взглянуть еще раз, незримо, на просторы родимой земли, которая не должна, не может, права не имеет погибнуть?!

Полвека он, поверив провидению, работал дому государей московских и совершил многое. Но вот пал небесный огонь, молния ударила в дуб, расщепив ствол, и от мощного древа остались три малые отростка, три мальчика-княжича на Москве — Митя, Ваня и Володя, старшему из коих шел всего лишь девятый год! Казнишь или испытуешь ты, преславный и многомилостивый?

И вновь он молил Господа и думал, гадал: кто? и что? и как и когда поможет земле русичей восстать из праха?

Росла Литва, и в минуты истомы духовной он уже и Ольгерду примеривал принять православие и править землей русичей, прощая томление, прощая смерть свою и спутников своих, и... тут была черта, край, предел гнева, скорби и отчаяния: знал он Ольгерда! Ведал, что католическим патерам, а не православной греческой церкви в конце концов подарит он или потомки его землю русичей. И станет она пограничьем меж Ордою и Западом, и угаснут в ней русская молвь и научение книжное, падут храмы, сгорят лики святых, во прах обрушат дворцы и палаты, и сам язык, расточаемый и угнетаемый, забудет, кто он и откуда, забудет дела отцов и славу предков, обряды и навычаи старины, хороводы и игры, ибо станут гонять их насильно в костелы и там на латинском чужом языке учить подчинению чуждым навычаям и иным обрядам. И великая страна, Святая Русь, станет снедью войны, задворками гордых латинских империй, где каждый немец ли, фрязин будет знатным мужем пред черною костью, пред мужичьем, которое и само начнет простираться во прах и кланять любому гостю заморскому, яко царю земному!

«Нет! Господи! Нет! Не дай! Возложи испытания тяжкие, грозы и муки, дабы очистились от грехов, но не дай тому совершить! Не дай угаснуть свету в родимой земле!

Ты, Сергие! Там, в радонежских лесах, в обители Троицы, моли Господа, да услышит тя, ибо я грешен!

Господи! Вот я, вот моя плоть, вот дух мой! Вот весь я перед тобою! Вонми, Господи! Пусть не узрю того, пусть погибну здесь во смраде и скверне! Иной да заменит меня! Не погуби, Господи, народа, языка русского, ибо о нем и в нем все, чем я жил доднесь на земли!

Пусть даже так, даже с вершины Синая не узрю, не уведаю того, пусть дух мой сойдет в бездну и изгибнет до конечного истления своего, но сохрани и спаси землю прадедов! Господи! Господи! Господи!»

Грязный ком глины тяжело упал в яму, черная голова склонилась над ним.

— Бачка! — сторожко позвал татарин.— Руська побили, твоя побили!

Татарин исчез, и тотчас в яму упало тяжело брошенное с высоты тело, и тихий стон, когда шум наверху утих, показал Алексию, что сброшенный с высоты человек жив. Он подполз к нему, потрогал. Пальцы ощутили кровь. Руки и ноги раненого были спутаны веревками, и только развязавши вервие и кое-как приведя израненного, страшно избитого пленника в чувство, Алексий узнал Станяту.

Станька, приходя в сознание, хрипло попросил пить. Воды не было. Алексий собрал немного снега, полазав по краям ямы, раза два отпихнув от себя нелепый глиняный ком. Согрев снег в ладони, влил в рот Станяте несколько капель влаги.

— Ты, владыко? — вопросил Станята, едва ворочая языком. Все лицо у него представляло собою сплошную кровавую рану. Били сапогами уже связанного, непонятно, как и глаза остались целы.

Станька, немного оклемавши, рассказал Алексию, что произошло. Оказывается, выкрасть митрополита пытались уже дважды. Последний раз дружина московитов подобралась едва не к самому месту заключения, и тут у стен лавры была окружена и захвачена литвой. Одиннадцать трупов (живым не сдался никто) лежали в ряд на снегу. Это видел Станька сам, когда его волочили мимо, связав за спиною руки. Станька пытался отай выйти из лавры в город и был схвачен по собственной оплошке. Его били смертным боем и убили бы вовсе, но кто-то распорядил, узнавши в нем Алексиева придверника, бросить избитого в яму к митрополиту — пускай-де там и умрет!

— Не умру! — упрямо мотнул головою Станята.— Теперича не умру, раз с тобою вместе, владыко! А уж коли придет, дак тово, вдвоем...

Он задышал хрипло, начал бредить. Алексий хлопотал над полумертвым как мог. Выдрав у себя часть подрясника, перевязал Станяте кровавые раны. Перед утром по какому-то наитию, вновь наткнувшись на

странный глиняный ком, не отбросил его от себя, как прежде, а надавил и, почуяв некую пустоту, разломил подсохшую глиняную корку, обнаружив внутри круглый, недавно испеченный хлеб.

У Станьки шатались все зубы, и Алексий кормил его мякишем, сам доедая душистые, замаранные глиною, но несказанно вкусные корки. Он не видел своих отросших волос, худобы истончившейся плоти, но по тому, как рот и нёбо воспринимали нечаянный хлебный дар, понял, что голодает уже очень и очень давно.

Спали они теперь, тесно прижавшись друг к другу, так было теплее, и от касания живого, своего, близкого существа новые надежды пробуждались в ожесточевшем сердце.

Станята рассказал, что знал, про иных. Кто погиб, кого из бояр, чая выкупа, увезли в Литву, кто отчаялся, сидя в затворе. Рассказал и про подавленный бунт ратников, сделавших подкоп, но так и не сумевших вырваться на волю. Трупы беглецов потом приносили и складывали на снегу под стеною собора... Алексий подумал неволею о Никите, вообразив себе мертвого молодца под стеной церкви на снегу. Станята подумал о том же, помянувши с горем приятеля своего. Но ни тот ни другой ничего не сказали вслух. Было и без того слишком горько.

Татарин еще раза два-три ронял им в яму обмазанные глиной хлебы, но когда Станята попытался заговорить с ним, тотчас испуганно завертел головою, вспятил от ямы и исчез, верно, боялся или не мог умедлить даже и мига под надзором иных ратников.

— Почему нас еще не убили? — как-то вопросил Станята, который начал уже понемногу вставать на трясущихся от слабости ногах.

— Не ведаю сам! — честно отмолвил Алексий.— Возможно, Ольгерд ждет иных вестей из Константинополя или Орды...

Алексий был недалек от истины. Ольгерд сожидал ответа на свое последнее послание патриарху Каллисту и вестей из Сарая, куда нынче уехали к новому хану за ярлыками на свои княжения все владимирские князья.

В Орду московские бояре во главе с самим Вельяминовым повезли девятилетнего княжича Дмитрия. Иного князя не было нынче на Москве.

Приехали суздальские князья, все трое. Прибыл Константин Василич Ростовский, переживший своего шурина. Прибыл Василий Кашинский и князья мелких уделов. Прибыли с жалобами на московское утеснение наследники дмитровского, галицкого и белозерского княжеских родов. Все те, кого обидел, потеснил, лишил удела некогда Иван Калита, теперь дружно вопияли о мести попранных московитами правах.

Вновь раздавались подарки, рекою текло серебро, творились подкупы. Но не было уже многих эмиров, преданных Москве или же некогда купленных ею. Растерянная Тайдула, ожидающая с часу на час своей гибели, также не могла и даже не пыталась помочь москвичам.

Новый хан, назвавшийся сыном Джанибека, был далекий и чужой владимирскому улусу человек. И когда ему привезли девятилетнего мальчика, претендующего занять престол великокняжеский, даже рассмеялся, качая головой:

— Ай-ай! Как же он будет править и давать дань?!

Были и жалобы, и письма Ольгердовы...

Вечером после второго ханского приема москвичи сидели у себя на подворье растерянной кучкой, порою взглядывая в угол, где спал, разметав руки, маленький мальчик — их последняя надежда сохранить вышнюю власть за Москвой. Но и эта надежда угасала уже, несмотря на богатые дары и подношения. Василий Вельяминов тяжело опустил длань на столешню и помотал головою, словно от зубной боли.

— Владыки Алексия нет! — выговорил он с болью.

Феофан с Дмитрием Зерном требовательно воззрились на Василия.

— Дважды подсылал выкрасть владыку! — ответил он на немой вопрос сотоварищей.— Перебили наших, и вся недолга!

— Валашскому володетелю достоит написать! — высказал Дмитрий Зерно.

— Писали уже! — отмолвил Феофан Бяконтов. (Многое делали бояре на свой страх и риск, не извещая друг друга.)

— Кабы степью пройти можно было, я бы и рать послал! — тяжело выговорил Вельяминов, сжимая кулак. Бояре замолчали. Чуялось, витало в воздухе уже, что великокняжеского ярлыка им за Москвою ныне не сохранить. И что тогда?

Что же тогда — не ведал никто из предсидящих. В углу спал закинутый шубным овчинным одеялом, посапывая, девятилетний мальчик, племянник Василия Вельяминова, будущий князь Дмитрий Донской. Только ни про Дон, ни про Непрядву, ни даже про темника Мамая, который уже собирал силы на западе великой степи, не ведали собравшиеся за столом великие бояре московские, а ведали, что все рушит вокруг, потери идут за потерями, и дело Москвы, дело Ивана Данилыча Калиты, грозит обратиться в ничто.

Свеча оплывала и гасла, пламя ее колебали токи воздуха, идущие от плохо заделанных оконниц. Мохнатые увеличенные тени шевелились по стенам. На улице бушевала метель.

Ярлык на великое княжение хан Наурус в конце концов передал суздальскому князю Андрею, заповедав прочим князьям «знати комуждо свое княжение и не преступати». Андрей, вдосталь напуганный ордынским нестроением, сметя к тому же силы Суздаля, Твери и Москвы, тотчас уступил ярлык своему брату Дмитрию.

Так Дмитрий Константинович Суздальский, четвероюродный дядя малолетнего Дмитрия, добился наконец того, за что воевал всю жизнь его покойный отец, став великим князем владимирским.

Перевернулась еще одна страница судьбы, и, быть может, не Москва, а Нижний Новгород станет теперь столицею новой Руси? А Дионисий — ее новым митрополитом?

Или же исполнятся замыслы Ольгерда и вся Русь подчинится Литве?

Тот, от кого зависела теперь судьба московского княжеского дома, сидел в смрадной яме в Киеве и ждал смерти, ибо теперь, после того как великое княжение ушло из московских рук, ничто уже не связывало Ольгерда, жаждавшего расправы со своим упрямым противником. Одно лишь задерживало — что совершить убийство должен был все-таки князь Федор, а не он, Ольгерд. А Федор по-прежнему вертелся, подличал, льстил и лгал, но стать явным убийцею митрополита русского все еще не решался. Меж тем близилось Рождество.

Святками Ольгерд побывал во Ржеве, проехал бок о бок с сыном по улицам захваченного и вновь укрепленного города, невольно любуясь Андреем, его по-

садкою, статью, княжескою повадкою старшего наследника своего. Князю надобно много сыновей! Ибо только на сыновей можно положиться, захватывая одно за другим чужие княжества. Так поступал Гедимин, так поступает и он, Ольгерд. Пока у детей сохраняется память рода, княжества не распадутся поврозь и Литва будет сильна. Помогают же они до сих пор с Любартом и Кейстутом друг другу. Иной, более сильной и продолженной в века связи Ольгерд не видел и потому поневоле строил здание государства своего на песке. Он не понимал этого. Не чуяли и иные, полагающие и до сих пор, что родственные или дружеские — любые личностные человеческие связи (неизбежно кончающиеся со смертью носителей своих!) могут явиться достаточным основанием прочности государств, нуждающейся в наследовании традиций и власти.

Тот, единый, кто умел глядеть далее, прозревая в грядущие века, сидел в яме в Киеве и ждал смерти.

Ратники начали рыть подкоп уже давно, но то обваливалась земля, то распространялся слух, что их выпустят, и только когда в конце ноября дошла весть о смерти князя Ивана, за дело принялись всерьез. Никто из них не ведал, что о подкопе дознались литовские дозорные и теперь ждут только окончания работы, чтобы перехватать и казнить за побег всех русичей.

Вылезать начали ночью, проломив последнюю корку мерзлой земли и снега, и тут-то, на обрыве Днепра, их всех и поимали как куроптей. Отощавшие, ослабелые люди не могли никуда уйти, и к утру все, кто полез из затвора (некоторые, по слабости или осторожности оставшиеся в узилище, уцелели), были переловлены и ежели не зарублены дорогою, то доставлены в сторожевую избу, ту самую, в которой Никита прятал осенью свою саблю. Ратников выводили по одному и за воротами лавры, в овраге, рубили головы.

Двое сторожевых, что сидели в избе, охраняя русский полон, балагурили, на дурном русском языке предлагая русичам на выбор виселицу или плаху. Никита (злость придала ему силы) словно бы взаболь захотел вешаться. Полез на стол, попросив старую веревку, и, сделав петлю, начал пихать ее концом за

балку. Вражеские ратники валялись от хохота, подавали ему советы, как ловчее прикрепить веревку. Никита наконец нащупал свою заначку. Сабля была цела. Примерил, как выхватить лезвие из ножен, и с горем понял, что не успеет: его тут же подымут на копья. Прочие русичи, испытавши и радость побега и отчаяние плена, теперь тупо ждали конца, стеснясь в углу хоромины, и крикни Никита им — вряд ли помогут ему, накинувшись, безоружные, на литовских ратников.

Но вот из-за двери прозвучал повелительный зов старшого. Оба ратника оборотились лицами к двери, и тут Никита, накинув себе на шею вместо веревки перевязь сабли и мысленно перекрестясь, вырвал саблю из-за потолочной балки и, обнажив лезвие, ринул прямо в спину ближайшего литовского ратника, доставая другого концом оружия. У него самого на миг замглилось в глазах, словно бы брызнула кровь. Он упал, вскочил и увидел яростную возню. Двое русичей, опомнясь, кинулись к литовской стороже, и сейчас свитый клубок тел бился перед ним на полу. Но сабля была в руках у Никиты! Одного он рубанул сверху по шее, когда тот подмял под себя ослабелого русича, другому погрузил лезвие сабли в бок, под кольчугу. Оба московских кметя вскочили враз и, схватя копья литвинов, ринули вослед Никите в отверстую дверь. Литовский старшой отлетел, пронзенный копьем в глаз, еще кого-то сбили с ног, вырвались. За ними уже топотали прочие опомнившиеся смертники, и все вместе, не разбирая дороги, они покатили под угор, увертываясь от стрел и пущенных всугон метательных копий, сулиц.

Никита первым узрел небольшую калитку в стене, и пока русичи, падая один за другим, отбивались от наседающей литвы, выбил ее плечом и вывалился кубарем в снег. Саблю он сжимал мертвою хваткой.

На обрыве, оборотясь, он увидел за собою лишь одного бегущего русича, прочие погибли, отбиваясь, своею смертью открывая дорогу Никите с напарником.

Они бежали, тяжко дыша, ползли, снова вскакивали. Свистели стрелы, понизу мчались литовские всадники, и беглецы опять карабкались вверх. Яснело, что днем, на свету, от погони им было не уйти. Ратник остановился, выплюнул с хрипом кровь. «Не могу

боле, ты беги!» — и пошел, качаясь, слепо уставя копье, встречу литовских стрел.

Никита вновь рванул в бег, но и у него черные круги плыли перед глазами и уже дыхания не было в груди, когда он вдруг по шею провалился в какую-то яму и, вымолвив: «Конец!», приготовился уже встретить смерть. Но ноги его не обрели твердоты, и он, вжавшись, унырнул в яму с головою, а снежный пласт, рухнувший сверху, засыпал его совсем, так что Никита сперва едва не задохся, набив снегу в нос и рот, но под ногами все было и продолжалось пустое, и он пополз по-рачьи, задом вперед, и полз, обдирая плечи, пока лаз не расширило настолько, что стало мочно перевернуться и стать на четвереньки...

Где он, что с ним, куда он попал — Никита не думал совершенно. У него одно было: скорее, скорее, скорее туда, во тьму, внутрь, где его не найдут, где могут его не найти безжалостные враги. Тем паче, убив двоих в молодечной, он мог рассчитывать теперь только лишь на самую мучительную смерть.

Сбило литовских преследователей и то, что с обрыва свалились вниз, уходя от погони, еще два русских ратника. Взявши этих двух, позабыли временем про третьего, а потом, и вспомня, говорить боярину о своей оплошке не стали, понадеявшись, что убеглого русского кметя поймают другие.

Пока собирали трупы, рубили головы, выкладывали мертвых в ряд под стеною храма и уже суетился над ними кто-то из братии, дабы пристойно отпеть мертвецов, Никита, заползая все далее и далее в темноту, оказался наконец в проходе, в коем стало мочно подняться в рост. Он обшарил руками покрытую изморозью стену пещеры и пошел во тьму, тыкая перед собою саблей — не свалиться бы ненароком в какую ямину. Он и теперь еще не понимал толком, куда попал, и толкало его вперед одно лишь — уйти как можно далее от возможной литовской погони.

То, что он находится в пещерах, прорытых в горе иноками лавры, он сообразил уже много спустя, когда под рукою открылась пустота в стене и, протянувши руку, он вдруг ощупал кость с приставшею к ней высохшею плотью; и, ощупывая далее, вдруг понял, что это не что иное, как человеческая нога, нога трупа, положенного здесь, по-видимому, много лет назад. Холодные мурашки поползли у него по коже, и он

бы закричал от ужаса, кабы не стояла смерть за спиною, кабы не должно было молчать изо всех сил. Откачнувши к стене, он долго унимал дрожь в членах, отгоняя нелепую мысль, что он уже давно находится на том свете, среди мертвецов, лишь потом наконец сообразив, что это как раз и есть пещеры с костями древлекиевских иноков и ему теперь надобно обрести тут кого-нибудь из живых. Поэтому, когда вдалеке впереди пробрезжил ему мерцающий огонек светильника, Никита не закричал и не ринулся в бег. Застыв на месте, он ждал приближения огня и все еще не знал, что ему содеять, когда впереди показался древний монах, идущий с глиняным светильником в руке прямо к Никите.

Старец подходил все ближе и ближе и все еще не видел Никиту, вернее, не мог представить себе, что тут есть кто-то еще из живых. Когда он наконец узрел незнакомого кметя, подойдя к нему почти вплоть, то едва не уронил светильник и долго смотрел молча, вопросив погодя глухим настороженным голосом:

— Кто ты?!

Рука старца, державшая светильник, приметно дрожала, в глазах трепетал ужас.

— Русич я! — отмолвил Никита.— Московит! Бежал от погони, в яму упал, заполз...

Старец продолжал разглядывать его всего с ног до головы, водя светильником. Приметил кровавую саблю в руках Никиты, истерзанный вид, исхудалость щек.

— С владыкой Алексием мы! — чтобы только не молчать, пояснил Никита.

— Иди за мной! — вымолвил старец и пошел вперед, вернее — назад, туда, откуда явился, а Никита двигался следом, теперь в колеблемом свете глиняного светильника видя ряды ниш в стенах с мощами угодников и черные отверстия ответвлений пещеры, там и сям попадавшие им по пути. Теперь уже он и сам, захоти того, не сумел бы выйти назад, к той кротовой норе, по которой заполз сюда с воли, и вырытой, верно, прежними иноками попросту для притока свежего воздуха в пещеры.

— Пожди тута! — строго бросил монах. И Никита, остоявшись на месте, остался опять в полной кромешной темноте, гадая, выдаст ли его монах литвинам или спасет.

Он постарался вытереть саблю, вложил ее в чудом уцелевшие ножны и, почуяв дрожь в ногах, уселся на холодный песок. К тому времени, когда вдали вновь замигал огонек и вернулся прежний инок, Никиту всего уже била мелкая дрожь и он с трудом поднялся с земли. Сейчас, исчерпав весь запас сил, он не мог бы уже ни бежать, ни драться.

Монах принес ему хлеб и кувшин с водою. Никита ел стоя, не чувствуя вкуса пищи, одну только смертельную усталь в теле, но все-таки доел, заставил себя доесть хлеб и выпил всю воду. Старец видел, что Никиту колотит дрожь.

— Пожди еще, чадо! — вымолвил он и снова ушел во тьму.

Никите вскоре захотелось по нужде, но он терпел, сжимая зубы и переминаясь, и дотерпел-таки до появления старца. Тот, глянув на Никиту и угадав его трудноту, бросил ему в руки монашескую зимнюю суконную манатью и повелел идти за собою. Пришли наконец в какой-то закут, и скорчившийся Никита, подняв деревянную крышку над яминой, сумел облегчить желудок, после чего старец опять оставил его в одиночестве и темноте, теперь уже очень надолго.

Никита, завернувшись в дареную сряду, приткнулся в угол и, кое-как согревшись, поджав под себя ноги, задремал и даже заснул, постанывая и всхрапывая и поминутно просыпаясь от очередного привидевшегося кошмара. То он бежал по круглому огромному шару, а его догоняли со всех сторон, то попадал в паутину гигантского задумчивого паука, который медленно притягивал его к своим огромным голубым глазам и шевелящимся зубчатым усикам, то его вели отрубать голову... Наверное, минула ночь. Старец все не приходил, и Никита, не в силах более ждать, двинулся, ощупывая стену, вдоль по проходу, не ведая сам, куда идет, пока не услышал вдали заунывного пения.

В его затуманенном мозгу, измученном непрерывною тьмой, промелькнула жестокая догадка: а ну как он уже давно умер, убит на склоне Днепра, и все это, и давешний старец тоже, ему просто снится после смерти? «Чур меня, чур!» — прошептал он и, вспомнив, что языческий оберег непристоен тут, в святых пещерах, торопливо перекрестился.

Никита пошел на пение. Ближе, ближе, вот уже

показался и свет вдалеке, и наконец перед ним открылась пещера, чуть больше прохода, по которому он шел, но приготовленная для богослужения, видимо, подземная церковь. Два невеликих столба из пятнистого камня подпирали свод, открывая каменный алтарь, а перед алтарем стояли в молитвенном наклоне пять, не то шесть монахов и пели молебный канон. Один из них оборотил лицо в сторону Никиты, и он узнал давешнего знакомого инока. Тот, похоже, погрозил ему пальцем. Никита поскорее отступил в тень, но далеко уходить не стал, так и стоял, повторяя про себя слова молитв и сожидая конца службы.

Когда служба кончилась, монах, разыскав Никиту в темноте, вновь повел его за собою к прежнему месту, строго повелев более не отлучаться никуда без повеления и не показываться никому из братии.

— Отец игумен распорядил не держать тебя тута боле трех дней! — сообщил старец. Пожевал губами, подумал.— А там пойдешь на Подол. Я тебе укажу, куда. Вот тебе хлеб. Вода тута, в кувшине. Прощай!

Вновь оставшись один, Никита потрогал пальцем песок над головою. Палец ощутил глубокий подземный холод. Несколько песчинок просыпались ему на лицо. Он поплотнее закутался и сел, прислонившись к песку.

Темнота раздвигала стены, казалась безмерною, всасывала в себя весь мир. То вновь сужалась, сдвигая громады пространств, свертывая их до тесного предела могилы.

Все живое тянется к свету и теплу. В самую темную ночь нету на земле полной, совершенной тьмы. Чуть светит небо, даже и заволоченное громадами туч, смутно мерцает земля, отдавая полученный ею дневной свет, что-то ползет и движется. А в зимнем, скованном морозом сумраке все равно смутно светится снег, все равно свет живет, присутствует в мире. Лишь подземный мрак есть мрак полный, где ни шевеления жизни, ни признака света нету совсем. И человек во мраке подземном начинает терять себя, от него уходит ощущение времени, даже себя самого он уже перестает ощущать!

Трудно во мраке! И ежели бы Никите предложили сейчас жить ли здесь, не видя света, даже того, мерцающего, скудного света светильника, жить ли здесь или подняться к свету и там принять смерть, он бы,

во́зможно, выбрал смерть заместо жизни, подобной смерти. Как выдерживали тут затворники, сами замуровывавшиеся в затворах, обрекая себя к тому же на вечное молчание?! Воистину святые отцы токмо и могут вынести такое!

А как же тот свет? Для грешников? Вечная тьма и скрежет зубовный... Вечная тьма, верно, страшнее всего! Страшнее мучений и боли! Вечная! Навсегда! А может быть, вот, как говорят мнихи, так и есть? Дьявол — это мрак, пустота, а Бог — это свет, прежде всего свет! И праведники там, за гробом, уходят к свету... Возможно, и сами превращаются в свет, сбрасывая земную оболочину свою. И Алексий... Что с Алексием? Жив ли он еще? Верно, жив, монах бы сказал о том, верно. И Алексий по успении станет светом. А я? Неужели мне за грехи вот эта тьма? И, может быть, сам Господь привел меня сюда, указуя грядущее? Почто батька в старости ушел во мнихи? И дедушков брат тоже... Бают, в затворе был. Как и я нынче! Он усмехнулся невесело. Сам понял, какой из него затворник — вопить готов, все позабыть, отчаяться за три-то неполных дня!

Он постарался жестоко, как мог, высмеять себя и тем успокоить, заставив попросту не думать ни о чем... И вновь поплыли перед его мысленными очами немые огромные миры, беззвучные в темноте безмерных просторов, безвидные и слепые, наползая, задавливая собою его маленькое мятущееся «я», растирая в порошок, во прах, в звездную пыль, исчезающую в бездонной темноте ночи. И все то был дьявол, дразнящий тленными утехами бытия, которые все — словно болотные огни, словно обманный свет гнилушек, происходящий от тления. И соблазненный кидается к ним и незримо рушит себя в бездну, уходит в вечную тьму, в царство проклятия и пустоты... А где-то есть свет, фаворский свет, немеркнущий, и к нему идут, и его взыскуют великие старцы. С того, наверно, и зарывающие себя под землей, чтобы при жизни испытать этот ад, это царство сатаны, испытать, и пройти, и выйти потом к вечному, немеркнущему свету!

Три дня, растянувшиеся затем на неделю, показались Никите вечностью. Старец являлся к нему единожды в день, принося хлеб и воду, а во все остальное время Никита или дремал, скорчившись под суконною оболочиною, или ходил взад-вперед по ко-

роткому отрезку пещеры, изученному им, подобно слепцам, касаньями рук.

Когда монах наконец вывел Никиту на свет, обрядивши его в полную монашескую сряду, Никите не надо было даже прикидываться старцем. Трясущиеся ноги едва держали его, и он немо брел, опираясь на посох, щурясь — отвычный свет и белый снег до боли резал глаза,— и только одно вопросил дорогою: указать ему, где держат владыку Алексия. Поглядел издали, моргая и щурясь, на притиснутую к стенам лавры приземистую избу под четырехскатною кровлей, крытою дранью, и побрел далее, почти ощущая себя иноком, таким же старым, как и его провожатый.

На Подоле, в путанице садов и хат, они постучались в один из запрятанных в глубине домиков и, соступивши по земляным ступеням, спустились в чисто убранную, с белеными стенами землянку, в середине которой стояла сложенная из дикого камня печь, скорее — ограда для костра, а дым подымался вверх — поскольку хата была без потолочного настила,— просачиваясь сквозь черные от сажи стреху и плотные ряды соломы.

Хозяйка хаты, старуха, крепкая еще на вид, вышла, долго о чем-то спорила со старцем. Наконец, видимо, согласилась-таки принять беглеца. Никита в свою очередь попросил инока достать ему спрятанную бронь, объяснив, как ее найти, и сообщать на будущее какие ни на есть вести. На том они и расстались. Бронь инок притащил в мешке еще через несколько дней.

Старуха уже не косилась на Никиту, который взялся и за вилы, и за топор, приладил одно, починил другое, вычистил стаю, в которой стояла до морозов корова, и, словом, держал себя так, что старуха почувствовала, что получила в дом не хлебоясть, а работника.

Озрясь и окрепнув, Никита начал понемногу выходить из дому, сторожко обходя заставы. Побывал и на торгу, и близ лавры, прикидывая, что можно содеять тут одному... Хотя одному содеять ничего было неможно. Алексиевых бояр, по слухам, развезли кого куда; тех, с которых надеялись получить окуп, увели в Литву; клирошан держали по-прежнему в затворе, в кельях, и выходило, что из всего обширного поезда владыки на воле находится только один он.

На всякий случай Никита начал забредать подале от города, разведывая пути, и тут-то и натолкнулся на своих, едва не поплатясь головою за нежданную встречу.

Кому иному не пришло бы в голову разведывать, что за купцы, чей обоз застрял в крохотной, в два двора, деревеньке в десятке поприщ от города, почти на самом берегу Днепра. Кому иному и не пришло бы... Но у Никиты выработался почти собачий нюх, он за версту чуял литовские разъезды, а тут тем же сверхчувствием травленого волка понял: нет, не литва! И вздумал прогуляться до деревушки вечером.

Его взяли за шиворот, оступив, совсем нежданно для Никиты, никак не приготовившегося к обороне, вырвали саблю из рук.

Задавленное, вполгласа «В овраг!» отрезвило Никиту. Ежели не свои — пропал, а и свои зарежут — не легче!

— Братцы, никак москва?! — выговорил он возможно более веселым голосом. В ответ ему крепко зажали рот и уже поволокли, когда знакомый голос окликнул:

— Постой! Покажь!

Никита с Матвеем Дыхно с минуту смотрели друг на друга, не узнавая. Наконец Матвей, размахнувши руки, выдохнул:

— Никита, ты?

И Никита, признавший уже Матвея и ужаснувшийся вдруг, что тот не узнает его, пал в объятия друга и зарыдал, трясясь, всхлипывая вовсе по-детски, отходя наконец от многомесячной жути, в которой пребывал до сих пор. «Свои, свои, московляне!» — повторял он, словно в бреду.

Свои, вельяминовские и феофановские, были здесь! Значит, ничто уже не страшно и надобно как можно скорей спасать теперь владыку Алексия.

На рождественскую службу Алексия все же по неотступной просьбе всей братии достали из ямы и, почистив несколько и переменив платье (от прежнего шел непереносный гнилостный дух), привели под охраною в собор.

Иноки едва не шарахались от него, видя, как страшно изменился лик Алексия, как пожелтел лоб, как

обтянуло ему все кости лица, как провалились глаза и истончились персты митрополита.

Здесь, в соборе, узнал Алексий, что великое княжение владимирское отобрано у москвичей и передано князю суздальскому.

«Бежать! Бежать немедленно, нынче же, на Москву!» — мысленно произнес он, прикрывая очи. Он с отчаянием оглядел братию, измерил нутро собора, узрел стражу у всех дверей... И все-таки надобно было бежать! Иначе — теперь это обнажилось со страшною яснотою — Ольгерд его убьет и тотчас начнет забирать московские волости одну за другой. И Каллист отдаст русскую митрополию Роману, и Русь умрет. Не сразу, нет, она еще будет бороться, быть может, еще расцветать, как береза, срубленная в соку, но все это будет смерть, начало смерти. И не состоит в веках величие Русской земли!

Нет, состоит, состоит же!

К нему подошел с поклоном, прося благословения, старый монах. Алексий безотчетно поднял руку и узнал отца Никодима, того самого, что вместе со Станятою был послан им в Константинополь.

Похищение Алексия едва не состоялось в сей самый миг, ибо отец Никодим тихо предложил Алексию в монашеской толпе, у всех на виду, перемениться с ним платьем, после чего владыку должны были увести из монастыря и умчать во влашскую землю.

Все дело порушил литовский боярин, надзиравший за Алексием. Почуяв недоброе, он взошел со стражею внутрь храма и уже не отпускал Алексия от себя ни на шаг до самого конца службы.

Впрочем, иноки надеялись, что они вскоре вновь извлекут митрополита из узилища и тогда уже сумеют его похитить, обменяв во время богослужения на иного, похожего на него мужа.

Две дружины русичей, собиравшиеся похитить митрополита и до поры ничего не ведавшие одна о другой, едва не погубили всего дела, заподозривши в противной стороне Ольгердовых тайных посланцев. Но, к счастью, спознались вовремя и тут же порешили действовать вместях.

Спор вышел нежданно, когда решали, как изымать Алексия. Никита, уведав, что в яме с владыкою сидит и Станята, наотрез отказался от похищения в церкви, поскольку тогда вытащить Станьку из узилища стало

бы невозможно совсем. Долго спорили, но Никиту поддержал Матвей Дыхно, а затем городовой боярин, посланный Вельяминовым с очередной дружиной, перешел на их сторону.

Решило дело то, что Никита сумел твердо уверить всех (да, видимо, это было в какой-то мере и правдою), что владыка без Станяты может не захотеть бежать из затзора, а главное — никому из них неизвестно, сумеют ли, и когда, печерские иноки выпросить Алексия вторично в храм. Стоит литвинам воспротивиться тому, и все их хитрые заводы тогда улетят дымом.

Да и сажать кого-то вместо владыки в узилище на верную смерть, как требовал отец Никодим, хоть он и предлагал для этого себя самого, показалось забедно ратникам.

О том же, как высадить Алексия из поруба, спорили до хрипоты еще целую ночь. В составленном наконец дерзком плане похищения должны были принимать участие и те и другие.

Никто не знал и не ведал из московитов, что к Киеву близит литовский гонец с приказом немедленно прикончить Алексия и что гонцу тому осталось добираться до Киева всего три или четыре часа. Эти часы и должны были стать последними часами жизни владыки.

Сверхчувствием, обострившимся в затворе, Алексий также уведал, что к нему приблизила смерть. Он встал перед утром и долго молился, а потом спокойно и просто повестил Станяте, что жить, или пребывать в затворе, им осталось не более одного дня.

Станька понял, что владыка говорит правду, и после краткого и пережитого им в молчании приступа бурного отчаяния укрепился духом, решивши, что «там» его встретит Никита, убитый, как мыслил он, еще в начале декабря, и... Что будет дальше, и будет ли вообще что, Станята представлял себе плохо.

Они молчали, каждый думая о своем, но понимали один другого как никогда, и потому стоило лишь Алексию про себя повторить скорбные слова: «Погибнет Русь!» — как Станята, будто подслушавши его, возразил:

— А Русь не погибнет, владыко!

— Нет? — вопросил, опоминаясь от дум, Алексий.

— Дак... поглень! Никита, покойник, да хоть и я — таковых ноне много на Руси! Кого хошь вытащим и спасем, было бы кому повести нас всех за собою! — И, не давая Алексию возразить, что, мол, вести-то и некому ныне, продолжил: — А коли мы есть, дак и тот найдется, кому вести! Хуже, когда вести некого, как вон у Кантакузина сотворило...

— Дак не погибнет Русь? — со смущением переспросил Алексий.

— Не! — отозвался Станята почти весело. Самому легче стало, как подумал про «много». Легче и умирать, когда иные идут за тобой!

Перемолчали.

— А что вот, владыко,— начал Станята со смущением,— как там-то будет, за гробом? Такие же люди или духи там, али вовсе и нет ничего, коли Бог — слово, и только?

— Не только, Леонтий! — отмолвил Алексий серьезно и устало.— Но и не с этою плотью, она изгнивает в земле.

— Точно старое платье? — подсказал Станята.

— Да! Паче всего — грешная плоть. Она — как зараза, которую должно поглотить праху, дабы очистить мир. Нетленны лишь тела праведных, у коих каждый состав тела насыщен нетлением. Оные воскреснут на Страшном суде.

— Дак и что же тогда? Вота мысли мои, вота рука, труд...

— Видишь, Леонтий, сего объяснить никому не мочно! Ребенок не ведает, каков будет он взрослым мужем, муж не догадывает о старости, а что возможем мы, земные, почуять из того вечного и нетварного мира? Борьба в мире сем идет за евангельский свет, и судьба каждого христианина, и царств, и княжеств зависит от того, насколько люди поняли, восприняли и понесли ближним свет евангельской истины, насколько каждый из нас воплотил ее в своем сердце! Старцы афонские видят нетварный свет, фаворский свет! Но и это — лишь энергии, истекающие из божества. Большего мы углядеть не в силах. Ведаем, что посланы в мир. Ведаем, что так должно и что надобно работати Господу! Видим по всякой час, что без вышней благодати, своими малыми силами, человек токмо растрачивает и губит данное ему свыше достояние. И ежели бы не влияние в ны незримых энергий, давно бы исчезло и само это тварное,

тленное и временное наше бытие! Иное — у зверей, гадов, птиц. Там нет ни греха, ни воздаяния и царства божия нету тоже! А большего и я не скажу, и никто другой! Мужество надобно мужу во всякий час, а в смертный — сугубо. Давай вместе с тобою помолим Господа! Быть может, ты и прав. Должно, что прав! Разумеется, прав! Не погибнет Русь и прославит себя в веках! Чую дыхание смерти. Но чую и веяние крыл заступника близ себя! Быть может, как жертву примирения приимет наши души Господь и тем охранит язык русский от горчайшия скорби? Давай, Леонтий, помолим Господа, да пошлет нам с тобою силы к достойному приятию его воли! И ты ободрись! Мужество потребно мужу всегда. А в смертный час — сугубо!

Поприщ за семь от Киева жеребец литовского гонца попал ногою в занесенную снегом сусличью нору и рухнул, перекинув литвина через голову. Пока подымали, заносили в хату, растирали снегом и пивом, прошло еще часа три. Был уже полный день, время приближалось к паберью, когда незадачливый вестник смерти на ином коне шагом подъезжал к воротам Киева. У него все еще мутило внутри от удара о землю, и потому добрался он до княжого двора не враз и не вдруг.

Федор, прочтя послание Ольгерда, которое было велено передать литовскому боярину, а после тотчас уничтожить, переменился ликом. Он все надеялся, что Алексий умрет как-нибудь сам, освободив его, Федора, от тяжкой обязанности совершать преступление в угоду великому князю Ольгерду. Тем паче, что за митрополита просили многие и многие, Роман вчистую устранил себя и свое окружение от дел греховных, да и сам Федор получил уже не одно угрожающее послание из Москвы... Но судьба, кажется, так и не смилостивилась над киевским князем. «И удрать этот русич не сумел!» — подосадовал он скользом, вызывая своего ближнего боярина.

Отрава Алексия не брала, пробовали уже, и не раз Тут надобен был меч или... петля. Лучше петля! Там и задавить его, в яме, решил князь про себя и уже резвее взглянул на литвина. Охрабрел, отважась на кровь.

В это самое время по дороге в лавру ехали возы с сеном и, заезжая на лаврский двор, начинали как-то

нелепо сворачивать вбок. Один, растискивая литовскую сторожу, подкатил к самому порубу, накренился, и вдруг в этом самом возу, в сене, вспыхнул огонь. Возчик взревел, круто заворотив коня, и воз, выбросив тучу огненных искр, высыпался — видимо, лопнуло вервие — к самой стене поруба. Тотчас другие возчики начали сворачивать сюда же. Поднялся крик, гам. Уже литовские ратники хлестали ременными плетями по глазам ни в чем не повинных вспятивших крестьянских коняг и по спинам бестолково суетящихся возчиков, и уже опрокинуло второй воз, а там и третий.. Невесть отколь нахлынула орущая толпа горожан и лаврских монахов с метлами и ведрами — словно бы тушить огонь. Ратные, что стояли в стороже, выбежали вон из дверей, у поруба уже загоралась кровля, и от дыму, что ел глаза, стало не продохнуть.

Возчики кинулись вилами откидывать, спасая, незатлевшее сено, бестолково нагружать его вновь на возы, немилосердно тыча остриями вил вправо и влево, так что боярский конь старшого литвина, коему угодили вилами в пах, взвился на дыбы, уронив седока на землю. Брань, вопль, визгливые голоса невесть отколь взявшихся жонок...

В это время Никита, уже опустив в яму веревку с петлей на конце, кричал, неслышный в общем гаме:

— Цепляй, владыко, это я, цепляй скорее!

А Алексий, веря и не веря, все не мог по-годному натянуть на себя петлю, пока опомнившийся Станька не продел его, взявши под мышки, после чего владыка, поднятый в шестеро рук, взмыл вверх, исчезнув в едком дыму за краем ямы.

— Теперь ты! Живее там!

— Никита?! — веря и не веря, весь в радостных слезах, кричал Станька снизу, наконец-то углядев схороненного было приятеля и от радости все не попадая в петлю.

— Я, пес твою, скорей! Эх, раззява! — Никита едва сам не спрыгнул в яму, но тут и Станька справился и так же вылетел вон, не успевши прочухаться и понять по-годному, что происходит. На них на обоих напялили возчицкие балахоны, закрывающие человека с головой, и потащили сквозь дым и огонь.

Другие в это же время бросали в телегу соломенную куклу в одежде Алексия и с криком: «Гони!» — вытолк-

нули ошалелого возницу вон из жарко пылающего костра.

— Владыка, владыка! — поднялся вопль. Вокруг телеги столпились монахи, к ней же рвались вооруженные литовские кмети с саблями наголо, а тем часом двое в балахонах свалились на дно возов, их закидывали сеном и, споро заворачивая коней, отъезжали посторонь.

Литовский гонец, показавшийся вместе с боярами князя Федора, опоздал всего лишь на полчаса.

Уже весело пылала кровля поруба, уже телегу с телом соломенного Алексия подводили к двери настоятельского покоя, заносили, теснясь, «тело» в церковь. Вездесущие бабы уже взаболь подняли вой по покойнику, и покамест разобрались, поняли, что вместо обреченного смерти митрополита перед ними нечто вроде сжигаемой на Масленице костромы,— возы с остатками сена с заполошным криком: «Пожар!» — уже миновали городские ворота.

Теперь дело решали минуты и удаль коней. Алексия со Станятой извлекли, посадили верхами, для верности привязав к седлам арканами, возы так и бросили на пути загораживать дорогу комонным. И если бы подумал Алексий еще четыре часа назад, что возможет после истомного заключения в яме проскакать без роздыху, пересаживаясь с седла в седло, с лишком полтораста верст,— никогда бы и сам себе не поверил!

Литовские кмети дважды нагоняли дружину русичей. Дважды Никита с Матвеем с утробным рычанием водили людей в сумасшедшие сабельные сшибки. И поскольку русичи защищали жизнь страны (ибо уступить тут — значило умереть Родине), литва откатывала назад, теряя порубанных людей.

В конце концов им удалось-таки оторваться от погони, запутать следы и тут только вздохнуть, поесть самим и покормить очередных коней. (Подставы были подготовлены московскою дружиною заранее, потому только и ушли от стремительной литовской конницы!)

Алексия, едва не замертво, внесли в хату. Сильно поредевшая в сечах дружина собралась вокруг. Никита сам внес тяжело раненного в последней схватке Матвея. (На лету подхватил падающее тело приятеля и мчал потом, держа перед собою, около тридцати поприщ.)

Митрополит открыл глаза, обозрел мужественные лица своих любимых русичей, горячие со скачки, иные

в ссадинах и крови, все одинаково заботные, ибо для него, ради него были и эта кровь, и труд ратный, и потери, и медленно улыбнулся иссохшим, провалившимся ртом.

— Не умру! Выдержу! — выговорил он.

Подводить их теперь, спасших его от плена, своею смертию он не мог, не имел права, и, значит, должен выжить, выдержать, выстать и доскакать. Он оборотил лицо к боярину, вопросил взором: «Куда?» И тот, до слова поняв вопрошание, отозвался кратко:

— В Смоленск! Инако — никак не мочно! Тебя в сани уложим, владыко, и раненых...

Станька с Никитою, только тут наконец сойдясь воедино, стояли, обнявшись, и плакали, не сдерживая и не скрывая слез.

До спасения было еще очень и очень далеко, и далекая им предстояла дорога — с переправами через реки, с погонями, с ночлегами в кустах и снегу, но они знали, верили, что теперь-то уже не подведут, выдержат, не выдадут врагу ни себя, ни владыку Алексия, который всем им был в эти мгновения как сама жизнь.

VII
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ ПРЕСТОЛА

У смоленского епископа, рукоположенного Алексием, оставили тяжелораненых и больных, отдохнули. И все же поезд митрополита владимирского, добравшийся до Можая, являл вид жалкий. Заморенные, обезножевшие кони, мокрые, в клокастой шерсти, с хрипом выдыхавшие воздух из надорванных легких, были страшны. Не лучше выглядели и люди, у которых на почернелых, с выступающими скулами лицах лихорадочно блестели одни лишь глаза. Оборванные, жалкие, одолевшие свой страшный поход, они шатались теперь, словно тени, и, казалось, едва-едва держались в седлах.

Четверка разномастных коней, запряженных гусем в старинный возок (дар епископа смоленского), натужно и вразнобой дергала упряжь, и возок шел неровными рывками, заваливаясь на протаявшем весеннем пути. Уже не доскакать, а доползти до Москвы чаялось изнемогшим путникам.

Боярин, имени коего не сохранила нам история, рядовой можайский боярин, служивший в городовом

полку и ничем боле не примечательный, кроме того, что волость его и господский двор стояли при пути и полумертвый поезд митрополита никак не мог проминовать невестимо его двор,— боярин тот любопытства ради посунулся сперва к оконцу, забранному потрескавшей зажелтевшею слюдой, а не разобравши, кто таков на подъезде к терему, вышел, как был, распояской, накинув лишь на плеча опашень, на высокое крыльцо и оттоле узрел подымающееся по угору скорбное шествие. Передовой, шагом подъехав к дому, не слезая с седла, попросил воды.

— Кто таков? — кинул ему с крыльца боярин в те поры, как баба, черпнув ковшом, подавала напиться усталому всмерть, с провалившими щеками ратнику.

— Батьку Алексия везем! — отмолвил тот почти без выражения, севшим от устали голосом. И, обмахнув усы и бороду тыльной стороной руки, тронул было коня.

— Постой, молодец! — крикнул ему вослед боярин и, шатнувшись — не кинуться ли в горницы сперва? — махнул рукою и сбежал с крыльца.

— Кого ни та?! — вытягивая шею, прокричал он в голос, с провизгом, и, суматошно размахивая рукою, в сползающем распахнутом опашне заспешил следом: — Кого ни та? Владыку? Самого?! Из Киева, што ль?! — И такое торопкое отчаяние прозвенело в голосе, отчаяние и испуг, что ратный неволею придержал коня. Раздвинул серые губы почти в улыбке:

— Дак уж не иново ково!

— Постой! Постой! — кричал, косолапо, вперевалку бежа за конем, боярин и, задышливо достигнув, ухватил повод, остановил комонного.— Убегом али как?

— Убегом! — возразил ратник, сожидая, что же воспоследует теперь.

— Дак ты, тово, ко мне, ко мне пожалуй! — торопливо, таща за повод лошадь ратника, поспешал боярин. Уже подскакивали слуги. Один поднял уроненный опашень боярина, накинул тому на плечи...— Сысой! Деряба! Гридя Сапог! — возвысил зык боярин, обретя силу в голосе и господскую стать.— Проводи! Кормить! Живо!

А сам с дворским тем же косолапым медвежьим пробегом порысил встречу владычного поезда.

Уже боярыня, на ходу застегивая коротель, вышла на красное крыльцо, уже выскочили ключник со старостой и огустело народом пустынное доселе около-

дворье, и уже ловили под уздцы, заворачивали на двор боярский заморенных верховых коней. Меж тем как сам, на колени повалясь и шапку сорвавши с головы, лобызал сейчас, весь в радостных слезах, сухую руку Алексия.

Возок митрополита едва не на руках внесли во двор боярина, а самого Алексия уже и точно на руках боярин с дворским заносили едва ли не бегом в хоромы, в чистую гостевую горницу.

И на настойчивые покоры Алексия — ночевать-де недосуг — боярин токмо отмотнул головою, выдохнув:

— Часом! Часом, владыко! Зато кони, коней дам, коней...

И, уже усадив, опять сунулся в ноги, лбом стукнул в пол, возрыдав, и вновь, отдавая через плечо приказы ключнику и холопам, целовал и целовал благословляющие руки митрополита московского.

С поклонами взошла боярыня. Стол обрастал снедью.

— Часом, часом! — бормотал боярин, минутами забегая и заглядывая в палату, проверяя, все ли содеяно так, как велено, как по его приказаниям надлежит.

Уже и селян набежало на двор боярский, и когда уже ратных под руки проводили к господским столам, какая-то суматошная старуха, роняя слезы и страшно торопясь, рванулась сквозь толпу глядельщиков с кринкою горячего топленого молока, отчаянно, в голос возопив:

— Молочка, молочка вареного!

И боярин, сам выскочивший в тот миг на крыльцо и поднявший было привычную длань — отогнать, отпихнуть старую, понял, вник, постиг разом и, засуетясь, вдруг схватил старуху ту и поволок за собою в горницу, и та, передав кринку, уже сама на коленях подползла к Алексию приложиться в черед к руке и кресту главного молитвенника земли.

И молоко (ратные поняли, постигли, пряча улыбки) пошло по кругу, и каждый отпивал крупно, пока не опружили кринку до конца, после чего Никита, качаясь на плохо гнущихся ногах, поднес, вернул глиняную посудину бабушке, и та, улыбаясь и всхлипывая, сама уже мелко крестила ратных, причитывая над ихнею худобой.

В бертьянице в это время стоял раззор, словно от наезда татарского. Холопы несли платье, оружие, узор-

ные седла — годами береженое боярское добро. И когда отъевшие ратные подымались из-за столов, их уже выводили переодеть, натягивали на них свежие рубахи и порты, узорные зипуны, тимовые сапоги, коих иному из ратников допрежь и носить не приходило ни разу в жизни.

А на дворе уже ждали крутошеие жеребцы под узорными седлами, в чеканной сбруе, и уже в возок митрополита запряженная шестерка карих, под масть, боярских коней рыла копытами снег, и новая волчья полсть уложена оказалась вовнутрь возка, и бобровый опашень наброшен на плечи владыки. Словом, безвестный боярин, не присевший ни на миг за все те недолгих два часа, что перебыл у него во дворе владычный поезд, успел, опустошив и бертьяницу свою, и конские стаи, заново снарядить, переодеть и переобуть, посажавши на новых коней, всю дружину Алексия. И только уж на выезде вновь рухнул в снег перед возком владычным, уже теперь не один, а с боярыней и младшим сыном (старшие оба берегли рубеж за Вереей). И Алексий, улыбаясь, благословил всю семью доброхотного жертвователя и толпу набежавших селян, которые тоже сплошь, рядами попадали на колени.

И уже проводив обоз, и когда последний верхоконный пропал за дальним увалом дороги, боярин поворотил, торжественно глянул на жену, сына и челядь, достав плат, отер увлажненные глаза и чело, сказал твердо:

— Теперя Можай не возьмут! Бог даст, и Ржеву воротим!

Задрал бороду, поглядел уже и вовсе значительным зраком и пошел важно, не косолапя уже, твердо пошел, хозяйскою поступью. И уже от крыльца, восшед по ступеням (гулять, так гулять!), повелел громко ключнику:

— Мелентий! Всех кормить и поить! Весь двор! И село! Радость вышняя! — И перекрестил себя широко, воздев очи к проголубевшему весеннему небу.

Покамест длился плен Алексия, многажды мнилось и ему о последнем, всеконечном конце. Накатит Ольгердова конница — и поминай как звали! Терем — дымом, а самого с боярынею — в полон! Так думал не он один, многие. И на селе думали так, и потому теперь гомонили радостно, и целовались, и восклицали. Все ждали владыку своего, весь народ.

Ключник посунулся было, пугливо поглядев на стадо одров, оставленное ратными.

— Что делать с има? Може, на живодерню сослать?

— Коней на овес! Выхаживать! — строго повелел боярин, скользом лишь подумав о том, что без коней ему туговато придет по весне, но тут же и отогнав невольное сожаление.— Ети кони кого спасли? Разумей! — присовокупил строго. И глазами сверкнул молодо и всхлипнувшей жене, неверно истолковав ее светлые слезы, бросил походя: — Наживем!

А та, только рукою махнув, огладила по плечу любовно хозяина своего: всю жизнь копил, собирал по крохам, скаредничал, куски считал, а тут — и не чаяла такого от него! И плакала теперь от счастья, возгордясь мужем.

...Безвестный боярин, без имени, не оставивший по себе следа ни в каких хартиях, ни в памяти ничьей, такой же, как и многие на тогдашней Руси.

В Звенигороде, перед Москвой,— где поезд владыки встречали избранные бояре, игумены московских монастырей во главе с даниловским архимандритом и купеческая старшина,— приводили себя в порядок, отмывались в бане, вычесывали, выжаривали паразитов из волос и платья. На каменке только треск стоял. Ратники, раскалясь докрасна, голые, выскакивали в снег, валялись — худые, мосластые, словно весенние отощавшие лоси, рысью убегали назад, в банный жар.

— Ета вошь — не вошь! — толковали бывалые.— Ета голодная вошь! Она, откормиссе, сама сойдет, тово! — И тут же старательно губили жемчужно-серую многоногую гадину. Истрепанные нижние порты и прелые рубахи попросту жгли вместе с паразитами. Толковали о жонках, и за солеными шутками и взаимным подзуживаньем была едва скрытая истомная тоска по дому, детям — кто успел народить, по супружнице своей, о чем у смерти на очах, в погонях, снегах да сечах, и думать даже запрещали себе.

Алексий мылся особо, со Станятою, с помочью двух служек в настоятелевой баньке в духах сорока трав, квасного настоя и распаренного березового листа.

Желтое, с обозначенными всеми связками и костями тело митрополита было простерто на выскобленной липовой лавке. Опытные служители мяли и гладили его,

прогоняя дорожную усталь и хворь. Частым костяным гребнем вычесывали волосы, умащали голову маслом.

Алексий лежал, отдаваясь рукам служителей, полузакрывши глаза. Думал. Сколько проходило: насколько смертный человек раб плоти своей! Насколько подчинены ей и разум и даже дух, плененный в этой земной оболочине! Скольких сил требует постоянное одоление ее! И полонное терпение не затем ли было уготовано ему, дабы очистить ум, явить власть духовного над скоропреходящим тварным и тленным? Скосив глаза, он видит Станяту, рубцы и незаживающие язвы на его худом, жилистом теле. Так, Господи! Истинно так! В борении — искус жизни и земного, зачастую подобного крестному пути! В непрестанном борении! И сия ныне окончившая истома — в пример и поучение тому!

Тело легчает, очищаясь от дорожной скверны, банный пар умягчает плоть, и заботы грядущие и уже оступившие его незримо вновь нисходят к Алексию, требуя, торопя, сожидая разрешения своего.

Поддайся он мелким чувствам обиды, раздражения, злобы и мести — и первым врагом ему теперь, ныне, стал бы Ольгерд. Но по разумению государственному Ольгерда следовало пока оставить в покое. Первое, главное, важнейшее всего иного было теперь — воротить московскому княжескому дому великий стол. А в замысле, столь огромном, что Алексий порою страшился додумывать его до конца,— установить такой новый образ власти, при коем великое княжение было бы неотторжимо от одной, московской династии, и сим на века упрочивалась русская земля. Неотторжимость власти! Продолженность в грядущее!

А ныне — по-прежнему изо всех сил сдерживать Тверь. В Константинополь Каллисту — послать жалобу. Суздальских князей не токмо согнать со стола владимирского, но сокрушить и единожды навсегда подчинить Москве. Тогда и все мелкие князья, ныне возмутившиеся противу дома Калиты, вновь попадут под руку... девятилетнего мальчика, Дмитрия Иваныча, судьбу коего, до возрастия, должен держать в руках он, Алексий, назначенный покойным Иван Иванычем местоблюстителем престола!

«И в твоих, и в твоих руках, Господи! Ничто днешнее не вне и не мимо тебя, податель сил и блага свету сему!

Но решение судьбы владимирского престола в руках

ханов Золотой Орды. И вот первое, главное, важнейшее! Золотая Орда и судьба ханского престола...»

Его переворачивают, скребут, моют, разминая все члены и суставы тела...

«И Сергий сейчас, уже узнавши благую весть, молит о здравии и возвращении из плена там, у себя, под Радонежем...»

И вдруг Алексий понимает, что и Сергия нет там уже, что он где-то в ином месте. Никто еще ему не повестил о том, но понимание приходит вдруг, разом и столь явственно, что Алексий тотчас верит ему, и уже новая забота нисходит в ум, забота о молитвеннике земли, забота о Сергии...

Служка машет веником, нагоняя жар к усталому телу митрополита. Второй занялся сейчас язвами Станяты. В крохотное оконце, затянутое пузырем, сочатся последние капли вечернего света. Глиняный светец у порога вздрагивает и трещит, крохотный пламень мечется в волнах пара. Тени распуганных было присутствием святителя баенников — обитателей этой единой лишенной икон хоромины человеческой — мягкими лапами обволакивают полок, словно банное, настоянное на сорока травах разымчивое тепло. Надобно отогнать все заботы, передав их грядущему дню! Алексий покорно вновь переворачивается на живот. Чуткий веник в руках служителя творит чудеса над его телом, в которое словно бы возвращаются сейчас токи жизни.

«Твое, Господи, веление и промысел твой! Благ ты и премудр, и тому, кто всечасно творит волю твою, можно ли ропотом гневить Господа своего? Каждый день, посланный тобою,— ежели ты сам прожил его как должно, как требует веление создавшего тебя и пославшего в мир,— каждый день благостен, и его надлежит кончать токмо молитвою благодарения создателю твоему!»

Алексия вытирают, одевают в чистое тонкое полотно. Он видит сияющие глаза Леонтия, уже облаченного в чистые праздничные порты. Им обоим подносят малиновый квас и чашу любимой Алексием моченой брусники, сдобренной медом и иноземными пряностями — корицею и гвоздикой, привозимыми из далекой индийской земли.

Струится палевый шелк верхнего облачения. На монастырском дворе в сумерках на белизне голубого снега сожидают с караваем хлеба на узорном полотенце,

с иконами торговые гости, бояре, старшина — токмо узреть, покланять хотя издали, пока владыка, благословляя, неспешной стопою проходит в настоятельский покой. Там, позади — смытые, выпаренные из него,— остались смрадная яма, вши, бегство, ухабистые дороги, ночлеги в снегу и в дыму курных припутных изб. Здесь встречают уже не беглеца, не скорбного странника — владыку земли, митрополита всея Руси, долженствующего вновь воссоздать величие Московского государства. Воссоздать и возвысить еще, до пределов, о коих пока, и то только смутно, догадывает один Алексий.

Москва встречала поезд Алексия колокольным звоном. Пути огустели толпами. О том, что покойный Иван оставил вместо себя правителем государства владыку Алексия, ведали все. И почтение к духовному главе Руси, ныне объединяемое с почтением к главе государства, исторгало слезы радости, повергало на колени. Срывая шапки, падали в снег, крестились и славили. Алексию, что думал было остановить у Богоявления, неволею пришло ехать прямиком в Кремник, в палаты владычные, где все уже было готово к торжественному приему хозяина: покои вытоплены, дожелта отмыты и отскоблены тесовые полы, начищенное серебро и золото божницы горело ясным огнем в мерцании лампад и свечей в высоких свечниках. Ждали принаряженные служки, ждали владычные бояре, ждал клир.

Никита, что выстраивал ратных, только что сам соскочивши с коня, неволею почуял, понял наступившее днесь нужное отдаление от владыки и, поняв, задавил в себе зряшное сожаление. В пути казалось, чуялось — на своих руках, не везут, несут, скорее, владыку в Москву! Здесь же оступили великие бояре, знать, и снова он — на низу, на месте своем, пусть и не самом низком, а все же, почитай, в холопах владычных. Не герой, не спаситель, а помилованный некогда, прощенный и забранный в число слуг под дворским мелкий вотчинник... Не то же ли чуял и дедушка, когда, спасая князей, верша ратями, доставляя грамоты, от коих зависели судьбы земли, ворочался к обыденной службе и снова был меньше любого городового боярина и только что выше мужиков из родимой деревни? Никогда допрежь подобное как-то и не приходило в Ни-

китину голову. Годы, горький опыт жизни! И со Станятой ноне не побаять путем! И друг, Матвей Дыхно, лежит в Смоленске, в тяжком бреду оставленный, и выживет ли еще? А как жена, сын? О них мало и думалось в дорогах. А теперь — словно отходящая боль — заныло воспоминанием... Поди, ушлют куда ни то и дома не побываешь!

Вечером ели без вкуса, умученные всмерть, на владычной поварне, вполуха ловя гомон и клики толпы, к ночи еще и еще огустевшей в Кремнике. Лениво думалось: о чем ныне толкуют там, наверху, бояре? Чьи сани, возки или верховые кони сейчас заполнили весь двор и околодворье владычных палат? Юных княжичей Никита тоже увидал мельком лишь, когда их выводили на красное крыльцо теремов встречу Алексию.

Ратникам, чаявшим ночлега, после столов велели всем сожидать, не расходясь. Скоро, впрочем, явились боярин Феофан с молодшими. Каждому из тех, кто спасал Алексия, выдали по серебряной гривне, назавтра кметей созывали на пир во владычные покои. Ободрившиеся, повеселевшие ратники, сбросив сон, оступили улыбающегося боярина. Тот кивал, отвечая всем сразу. Заверял, что за недужными во Смоленск уже послан обоз, что вдовам погибших назначена месячина из владычных доходов до возрастия детей, что о полоненных в Киеве уже посылано с выкупом ко князю Федору и всем вообще беглецам ныне, полонного терпения и истомы ради, дана ослаба от службы до самой Пасхи.

Никита слушал, стоя посторонь, кивал головой — к нему, владычному холопу, все это относилось мало — и только гадал: отпустит ли и его Алексиев дворский на побыв к дому или ушлет куда опять?

Он уже тронул к выходу, намеря добраться до молодечной и унырнуть в сено, в сон (от прежней многодневной устали его, как и прочих, качало на ногах), когда неведомый кметь тронул его за плечо:

— Никита Федоров?

Никита оборотил чело, подумал, глядя в лицо кметю. По сердцу прошло тревогою: а ну как кто из хвостовских и под веселую неразбериху праздничной встречи заведут куда!.. Сейчас, столь близко от дому, почуял он неведомый ему прежде испуг.

— Тысяцкой тебя зовет! Василь Василич! — повестил кметь, и Никита, переведя плечьми, все еще

сомневаясь, двинул вослед кметю. Кое-кто из своих, дорожных, оборотил к нему.

— Вельяминов созывает! — на всякий случай громко повестил Никита.— Коли что, тамо ищи...— И, кивнув независимо, туже подтянул пояс, проверивши заодно рукою добрый нож на поясе, пошел к выходу.

На улице, впотемнях, гудела радостная толпа. Проталкиваясь, Никита все думал-гадал, туда ли его ведут, куда обещано. Но вот, слава богу, двор вельяминовский. От сердца отлегло малость. Уж Василь-то Василич того не свершит!

Знакомою долгою лестницей поднимался Никита вверх по ступеням. В очи кидались рожи захлопотанных девок, снующих холопов... И чуял он после всего, что было с ним, словно из другого мира пришел, словно только узреть ему и пройти мимо, невестимо для них, днешних, точно он дух или тень, столькое осталось за спиною страшное и чужое для этой, когда-то привычной ему жизни боярского двора!

Василь Василич встал встречу с лавки, большой, с отвердевшим, словно точнее означенным ликом (иных в покое Никита не вдруг узрел). Подумалось: в пояс ли поклонить? Но боярин уже размахнул руки, и, кажись, не впервой ли довелось ему поликовать с самим Вельяминовым? Что-то горячее подступило к глазам. Тяжкий кошель новгородского серебра невестимо перешел из рук тысяцкого в калиту на поясе Никиты. Как во сне принял он чару, и к нему посунулись многие. Тут токмо увидал, что палата зело не пуста. Сыновья, родичи, челядь — все приветствовали воина, спасшего честь Москвы, а он стоял, качаясь на ногах, и не знал не ведал, сесть ли ему или, отдав поклон, идти куда ни то. А к нему тянулись, прошали, и он ничего не мог, только руки протянул: «Вота!» Глянул обрезанно светлым отчаянным взором. От крови отмыл ли, а долг сполнил свой!

— Матвей в Смоленске лежит! — отнесся к боярину.

И Василь Василич кивнул понятливо, верно, уже ведал о том.

— Ступай! — вымолвил.— Сказывать завтра будешь, а ныне радость тебя ждет!

И Никита, кивнув — от чары меда единой жаром проняло,— пошел, качаясь, следом за постельничим

боярина куда-то вверх и уже перед горницею знакомой опомнился, и глухо ударило сердце. А она уже ждала и встретила, отворив дверь. И исчез, отступил неслышимо постельничий, и девки куда-то провалились в небытие, и почти внесла в горницу, уступленную ей ныне Василь Василичем, только где-то вдали охнула затворенная дверь...

А он рыдал, сидя на постели уже и уронивши ей в колени лицо, отходя, трясясь малым дитем, заблудившим в густом бору, когда оно выйдет наконец к свету, а она гладила и гладила его поседевшие, поредевшие волосы и молчала столько, сколь нужно было смолчать, а потом подняла, мягко привлекла к себе, и он, закрывши глаза, мял, тискал ее тело, целовал, все еще мокрый от слез. Но вот и отошел, и воскрес, и тогда узрел и стол с ужином на двоих, и свечу, и услышал, как скрипнула вновь дверь, и улыбающаяся лукаво вельяминовская девка вносит накрытый платом горшок с горячей ухою, и острый запах рыбы, иноземного перца и лаврового листа лезет ему в нос. И хоть он и от столов, и там-то хлебал едва-едва, борясь с дремой и усталостью, но тут вдруг чует звериный голод и уже с нетерпением ждет, когда выйдет девка, что изпод ресниц оглядывает и хоромину, и постель, и его Наталью, смакуя про себя чужую близкую супружескую ночь.

Потом он ест торопливо и жадно, и Наталья, едва-едва черпая ложкой, только чтобы не остудить мужа, не оставить одного за столом, сказывает новости: и о том, что сын растет, бегает по избе, и о второй корове, и о том, что давеча побывала в коломенской деревне своей, которую, как приданое Натальи Никитишны, не забрали под митрополита, и потому в ней они оба, она и он, уже полные хозяева, поясняет Наталья, чуть-чуть гордясь «спасенным» (и теперь, сына ради, очень важным) добром. Никита в ответ отвязывает калиту с серебром, кидает плашью о стол. «Василь Василич!» — поясняет. «И вота!» — выкладывает рядом владычную гривну. Наталья тут же заботно убирает и то и другое в ларец: не надо чужой прислуге казать нажитое добро! Наливает меду, приговаривает вдруг тихо и беззащитно: «Много не пей...» — и сама, как давеча он, валится к нему в колени: «Соскучала... Не верила уже! Баяли, всех тамо порешили наших!» И по вздрагивающим плечам жены догадывает Никита

о ее тоске и скорби, отчаянии и днешней радости соединения, когда уже не чаяла видеть живого...

Она снимает повойник, расстегивает саян, медленно вынимает, любуя его взглядом, из ушей два золотых солнца с крохотными капельками бирюзы — давний княжеский дар, стоит перед ним, выгнувшись, в рубахе единой, мерцая дурманно-лукавым и тревожно-зовущим взором, и, поднявши руки, вынимает гребень из волос. А он сидит, босой, и смотрит, и медлит тоже, ибо счастье — это только нежданный луч солнца среди пасмурного дня, это улыбка на угрюмом лице жизни, это нечаянная встреча, это песня, прозвучавшая вдалеке... И его так хочется удержать, остановить! Хотя с годами, с возрастом приходит все ясней и яснее, что счастье неостановимо и не надо тщиться задержать его бег близ себя дольше, чем то дано судьбою и начертано на небесных скрижалях Господом...

В княжеской думной палате мерцают ряды свечей. Разряженные бояре тесно сидят по лавкам. Явились все. Бяконтовы и Вельяминовы, Акинфичи и Редегины, Кобылины и Окатьевы, Прокшиничи и Афинеевы, Зернов и молодой Иван Родионыч Квашня... Здесь и бояре, и те, кто еще будет боярином вослед отцу (как Иван Квашня). Здесь именно все! И в палате светло и торжественно, торжественно и тревожно.

На столе, на престоле, в резном креслице княжеском — девятилетний мальчик Дмитрий, таращит глаза, старается не заснуть, любопытно оглядывает бояр и синклит. Рядом, в высоком кресле, худой лобастый старец в торжественном митрополичьем зелено-палевом облачении, в белом клобуке с воскрылиями, с тяжелой узорной панагией на груди и с посохом, который он, сидя, держит перед собою, рукоятью резного рыбьего зуба вверх. Одиноко горит на рукояти зеленым огнем драгий камень, оправленный в черненое серебро. И взоры, и вопрошания — от мальчика к нему, старцу, нынешнему главе страны. А он глядит, слегка склонив голову, темнопрозрачный взгляд его остр и глубок. И каждый из председящих ему в ближайшие дни станет пред ним на исповеди, и каждый содеет все, что велит он, и содеет радостно, ибо как тяжко без него — в том уже убедились все, потерявши и сам великий стол владимирский и теперь сожидая, что и

села и волости под Костромою, под Владимиром, Юрьевом, иными ли городами по Волге и Клязьме почнет отбирать у них новый великий князь, Дмитрий Суздальский. И уже потеряны Ржева и Лопасня, и тревожен Волок Ламский, и вот-вот... И потому бояре дружно, не залезая в казну великокняжескую, дают сейчас серебро владыке Алексию: на выкуп пленных и награды ратным, на оборужение новых полков, на дары в Орду, на дары в далекий Царьград, куда вскоре поскачут владычные посланцы с жалобою патриарху, жалобою, которую должно подкрепить русским весовым серебром.

Ибо Роман днями прибыл в Тверь, куда воротился из Литвы обласканный Ольгердом Всеволод, и Василий Кашинский вновь воротил Всеволоду тверскую треть, и Роман получил от Всеволода дары, и кормы, и дани, и ежели так пойдет далее... Но далее так не пойдет! Старец в глубоком кресле с высокою резною спинкою, воротившийся ныне из плена, почитай, с того света приехавший на Москву, в силах теперь остановить безлепое наступление Литвы и вновь утвердить пошатнувшую было власть государей московских.

Алексий подымает голову, произносит сурово несколько слов. Устал ли он с тяжкого своего пути? Изнемог ли? Должен ли отдохнуть и телом и духом? Неведомо. В кресле, с узорным посохом в руках, сидит страж земли, воля коего ныне тверже твердоты драгого камня шемшира. В кресле сидит муж, отринувший от себя все земные услады ради одного, единого, что он намерил, должен и будет вершить — создания великой страны. Неможно уведать — пока неможно — предела его телесных сил, ибо он, когда уже все бояре покинут палаты и отойдут ко сну, когда уже сморенный мальчик-князь будет видеть десятый сон в своей княжеской кроватке на точеных столбиках с пологом из бухарской узорной зендяни, он еще только окончит диктовать грамоты, и примет, уже глубокой ночью, тайного гонца из Орды, и после того станет еще на молитву, дабы наконец смежить на мал час очи свои перед утром, перед светом, перед новым днем, полным трудов и борьбы.

В Константинополь по последнему санному пути московский посол Дементий Давыдович с отцом Ни-

кодимом как свидетелем бедствия и двумя архимандритами — переяславским и владимирским — повез пространную жалобу, направленную против Романа, князя Федора и Ольгерда. Перечислялись все совершенные убийства (прежде всего — духовных лиц), кража церковных сосудов и имуществ, позорный плен самого Алексия — все, уже известное нам и позже уместившееся в скупых строках соборных деяний константинопольской патриархии за 1361 год, гласящих, что Ольгерд «изымал его (Алексия) обманом, заключил под стражу, отнял у него многочисленную утварь, полонил его спутников, может быть, и убил бы его, если бы он, при содействии некоторых, не ушел тайно и, таким образом, не избежал опасности».

С грамотами в Константинополь уходят дары, очень нужные разоренной казне василевсов и беднеющей патриархии. Теперь, когда Алексий был в безопасности и стоял у власти, весы патриаршей милости должны были ощутимо склонить на его сторону (что уразумел и Каллист, пославший в следующем, 1361 году, в июне, на Русь своих апокрисиариев для разбора дела; но в конце того же года Роман умрет, и вся русская митрополия вновь воссоединится под рукою Алексия).

Иная грамота уходила в Новгород, приглашая новоизбранного новгородского владыку на поставление во Владимир. Допустить, чтобы архиепископа новгородского ставил на кафедру Роман, Алексий, разумеется, не мог.

Однако выехать во Владимир сразу же, как хотелось ему сперва, Алексий не сумел. Следовало прежде навести порядок на Москве и во владычном хозяйстве, где, что греха таить, кое-кто, видимо, понадеялся уже, что митрополита и вовсе задавят в далеком Киеве, и, поторопясь, наложил руку на церковные имущества и земли.

В таком духе наставлял он и Никиту Федорова, вызванного через два дня во владычные палаты.

Никите, чаявшему далекой дороги во Владимир, нежданно была вручена грамота с предписанием ехать в деревню, посетить такие-то и такие-то села владычной Селецкой волости, проверить в них амбары, пристрожить посельских, собрать недоданный рождественский корм и доложить, все ли готово к весенней страде.

— Приятелей дозволишь взять с собою, владыко? —

вопросил Никита, живо сообразив, что с зарвавшимися держателями владычных сел разговор будет крутой. Алексий внимательно просквозил ратника своим глубоким взором, чуть улыбнулся. Подумал, кивнул головой.

— Жонка, сын здоровы? — вопросил. Вызнал уже, что Наталья Никитишна на Москве.

— Сына не видал... Ходит уже! — зарумянясь, отмолвил Никита.

— Ратных возьмешь, потише там воюйте, не с литвой! — напутствовал его Алексий.

Выходя, Никита обернулся. Ярко узрелось: красные от недосыпа веки Алексия и его бездонный, внимательный взор. Горячею волною любви и почтительной жалости окатило сердце...

Со Станятою они, уже в нижних хоромах, крепко обнялись, облобызав друг друга. До отъезда Никиты, оба понимали, не знай, придет ли свидеться еще.

— Теперь во Владимир? — спросил Никита.

— Скоро! — возразил Станята, острожев лицом. И молчаливое, несказанное передалось, понялось вдруг Никитою: впервые за тридесяти лет Владимир был не свой, не московский, и чужой, суздальский князь сидел теперь на великом столе. И ему, Дмитрию Костянтинычу, надобно было теперь отвозить ордынский выход — его была вышняя власть в Русской земле... Дожили сраму! И еще об одном сказало строгое лицо Станяты: владыка Алексий должен будет, сумеет все это вновь изменить!

Алексий и сам думал о том непрестанно. Но понимал и другое: никакое течение дел неможно поиначить враз. А без точного знания того, что ся деет в Орде, с суздальским князем спорить было и вовсе неможно.

Он распорядил, не задерживая, отослать ордынскую дань новому великому князю и даже передать Дмитрию Константинычу часть владельческих доходов с Переяславля. Вместе с тем он намерил было писать Тайдуле и ее эмиру Муалбуге в Сарай, дабы те уговорили нового хана, выдававшего себя за сына Джанибекова, пересмотреть решение о великом столе владимирском, но вести из Орды, полученные им накануне, были нехороши, очень нехороши! На хана Навруса, по слухам, поднялся заяицкий хан из Белой Орды, Хидырь, и в степи назревала новая смута, о чем пронырливые и

вездесущие слуги церкви вызнавали много раньше княжеских послов, и потому Алексий порешил не писать, а выжидать событий, заранее готовясь к самым нежданным переменам в Сарае.

Следовало, видимо, сойтись также с новым темником, Мамаем, замыслившим, как кажется, в донских степях стать новым Нохоем.

Следовало понять, чем грозит ныне Поволжью с Востока Белая и Синяя Орды. В чем тут может выиграть или проиграть Дмитрий Константиныч? Но внутренним провидением своим Алексий знал, ведал, что на великом столе суздальскому князю долго не усидеть.

К юному Дмитрию Иванычу меж тем Алексий приставил своих наставников — учить княжича грамоте, чтению и письму, закону божию, церковному пению и счету. Алексий принял и благословил всех вдовых княгинь, собравшихся на Москве, разрешил их земельные споры, обласкал и утешил. Бояр московских, вызывая одного за другим, исповедовал, наставлял и строжил, соединяя духовную, пастырскую власть с властью государства. Успел побывать и в Переяславле, где выяснил наконец о нестроениях в обители Троицы, почему и не подивил, когда к нему явились двое молодых мнихов с Киржача, от Сергия, за владычным благословением на созидание церкви в новооснованном старцем Сергием монастыре.

Алексий внимательно разглядывал испуганных и подавленных роскошью митрополичьих владений иноков в крестьянском платье. Выслушал, покивал согласно, вручил антиминс и грамоту.

Сергий, конечно, ничего никому не скажет, подумал он. И Стефан не явился к нему. О чем угодно, только не о добром согласии свидетельствует уход Сергия в новую обитель, где все придет созидать от начала начал!

Но и тут, как и с суздальским князем, как и с Ордою, не воспретил Алексий, порешив выжидать дальнего развития событий, которые — он не сомневался в этом нимало — заставят и самого Сергия поиначить свой нынешний замысел и понудивших его уйти от Троицы приведут к раскаянию в умысле своем.

...Как только сошли снега, как только мочно стало пройти колесу по мягкой весенней дороге, Алексий выехал во Владимир.

Услюм заматерел, огустел бородою, стал вовсе мужиком, и пахло от него, как от мужика, онучами, поскониною, конским потом. Наталья сама прополоскала Услюмовы исподники и рубаху. Переодетый в чистое, брат спал теперь на полу, на пестрядинном соломеннике, закинувшись курчавым овчинным тулупом.

Задвинув полог, они лежали, тихо беседуя. Брат мирно посапывал, угревшись.

— Я уже баяла Василь Василичу! — толковала Наталья вполголоса.— Нехорошо — родной ведь тебе, не какая вода на киселе! Черным мужиком останет и он, и дети! Несудимую грамоту надобно выправить ему! У батюшки твово была и у дедушки Федора тоже!

Никита слушал и молча дивил жене. Все не мог привыкнуть к ее заботам. И вот теперь — о брате. Сам не надумал того! Беспременно надобно несудимую грамоту ему выправить! Тамо пущай и на земле сидит, а все отвечивать князю, а не волостелю какому, да и на городовое ли, дорожное дело не так станут гонять... Вымолвил:

— Завтра паду в ноги!

— И вот еще: съездим в Островое. Пока путь санный не порушило. Хочу тебя показать старосте своему, да и сам поглянешь.

Он кивает молча, плотнее притискивает к себе плечи жены. Ему отвычно и хорошо. Со стеснением прошает:

— Ослаб, поди, неловко тебе со мною?

Она тихо смеется, зарывшись лицом в его ладони. Потом разглаживает пальцами его усы, бороду. Молвит:

— Ты мне как дитя малое! Весь родной! И глупый, глупый! — И опять тихо смеется, падая ему на грудь, шепчет: — Кабы не с малым оставил, не ведаю, как и дожила, как и дождала бы! Верно, с тоски померла! Глу-у-упый! Спи, ладо! Брата проводим, поедем в Островое с тобой!

...От поездки в Натальино село осталось одно лишь: как с храпом нес конь сквозь сверканье весенних снегов в голубом, сияющем мареве, как хохотала Наталья, как потом пили пиво со старостою в крепкой, из красного леса сложенной избе и тот, не старый еще мужик, Кондрат именем, по ремествию — древоделя, все предлагал Никите срубить новую клеть на господском дворе. О том, что Никита не волен в себе, а принадлежит митрополичьему дому, здесь, понятно, не разговаривали...

Угодья, округу оглядели скользом, с саней, почитай и не запомнилось ничего. Но Наталья была довольна: показала мужа мужикам. Теперь хоть и сама одна с дитем приезжала, а знатье есть, что мужева жена!

И вновь летели сани под горячими потоками солнца по раскисающим синим снегам, проскальзывая на солнцепеках по обнажившейся, влажной матери-земле, просыпающейся к новому жизнерождению.

В Никитину деревню добрались с великим трудом. Дважды на переправе едва не утопили сани. Четверо кметей, захваченных Никитою, тоже были до пояса мокры после сумасшедших весенних переправ.

Вот и бугор, вот и речка, уже засиневшая, вспухшая, с наполовину разломанным льдом. Неистовый ор галок, курлыканье ворон, что стадом реяли над головою. И знакомый дом, все еще до конца не отыненный, хоть и начал, начал холоп ставить новую городьбу...

Вот и крыльцо, и Наталья, первая выпрыгивая из саней, бежит, выхватывая у девки из рук и прижимая к себе улыбающегося во весь беззубый рот малыша, тискает, целует, мнет; наконец, несколько успокоив сердце, передает отцу на руки, и Никита, робея, принимает незнакомого, почитай, дитятю, и тот сторожко глядит на худого дядю в полседой бороде, по материной подсказке робко тянет ручонкою, ухватывает дядю за бороду.

— Тятя, тятя твой! — подсказывает Наталья.

— Тятя! — произносит малыш, но, когда Никита прижимает его к себе, пугается и начинает реветь. Растерянный отец вновь передает ребенка матери. И тот, замолчав, только смотрит пугливо издали, повторяя, однако: — Тятя! Тятя! — и тянет ручкою, указывает сам, поворотясь к Наталье: — Тятя? — и зарывается носом ей в воротник.

Ратники спешиваются. Холоп, сияя во весь рот, встречает гостей. Проходя в избу, Никита скользом замечает округлившийся живот Натальиной девки. Наталья кивает ему, чуть лукаво поведя бровью. Бросает походя, между дела:

— Сама разрешила. Пускай живут! К осени срубят себе истобку на задах!

Ратники наполняют горницу гомоном и веселою теснотою. Холоп заводит коней. Погодя в двери просовывается староста. Его садят за стол со всеми, и с шутками, смехом, уписывая пироги, кашу и щи, выяс-

няются сами собою местные деревенские трудноты, которые и поправить-то немного стоило, был бы хозяйский глаз!

О данях сговорили просто. Никита давал две гривны новогородского серебра, староста обещал после пахоты срубить Никите клеть, второй хлев и избу на задах для холопа. Сверх всего, у того же старосты покупали на серебро хорошего коня с кобылою и телегу. Мужики, которым много бы стало иметь дело с перекупщиками, добывая те же самые гривны-новогородки, были довольны.

Уладивши во своем дому, успев вырезать из ольхового чурака коня с телегою и седоком для сынишки, чем окончательно покорил его сердце (теперь уж не то что реветь при отце, а с рук не спустить было малыша без реву), Никита, прикинув, какое оружие брать с собою (бронь все же оставил дома), во главе со своими отдохнувшими ратными — ели все четверо словно голодные волки, и уже теперь будто румянец гуще пошел на щеках,— расцеловав жену, охлопав по заднице толстую девку, всел в седло и, светлыми глазами обведя свое невеликое еще хоромное строение (как с ратными набилось народу, дак и с женою стало толком не полежать!), сплюнул, кивнул и тронул коня. Митрополичья грамота лежала за пазухой.

Весна уже шла стеною, ломая лед, руша снежные завалы, наполняя водою все овраги и ямины. Шла голубая, веселая, суматошная. И всюду меряли зерно, чинили упряжь, ладили сохи, уже загодя ячменем и овсом откармливали спавших с тела за зиму рабочих коней — скоро сев!

Перемолвив со старшим посельским, Никита сунул нос в две-три деревни, но тут не то что за саблю браться, но и голоса вздынуть не пришлось. Прослышав о возвращении митрополита, помещики винились, додавали владычное серебро, казали собранную рожь в кулях — только сойдут снега, и мочно везти! Метили скот, который пойдет на Москву своим ходом... Так было, пока не добрались до Заболотья, далекой волостки, которая когда-то принадлежала дмитровскому князю и помещик которой, похолопившийся мелкий вотчинник, на все слы волостеля отвечал молчанием или неподобною бранью.

Никита добрался туда чудом, едва не утопив одного ратного. (Мужика едва спасли, вытащив арканами, а

конь так и ушел под лед в стремнину весенней яростной воды.) Жалкое на вид посольство Никитино держатель встретил спесиво. В хоромы даже не пригласил. Вышел на крыльцо, руки в боки: как еще в Орде повернет!

— В Орде?! — ярея, возразил Никита.— Владимирский митрополит на всю Русь один!

— Ктой-та? — вопросил, лукавясь, боярин.— Не Роман ли часом?

Позади был лес и ледяная вода. Измокшие ратники дрогнули. Все были голодны, устали до предела сил. По знаку боярина начали вылезать откуда-то угрюмые плечистые мужики, кто с рогатиною, кто с дубьем. Никита, сметя дело, молча передал свой лук с колчаном мокрому ратнику. Тот понял, стал на колено, деловито налагая стрелу. Сам же Никита так же молча обнажил саблю. Лязгнула сталь, трое у него за спиной сделали то же самое.

Боярин, свирепея, взмахнул рукою. С лаем вылетели огромные, с теленка, псы. Мужики двинулись за ними стеною.

Никита, свесясь с седла, ловко развалил наполы первого волкодава, что кинулся было к горлу лошади, и ринул коня вскок. Тут и обнаружило, что оборуженный мужик — еще не ратник. Прокаленные в нешуточных сечах с литвой, многажды уходившие от смерти трое кметей Никиты стоили дороже всей толпы наспех собранных заболотских смердов. Две стрелы пронзили двух псов, третья пришила боярина к двери его собственных хором. Вырвав клок рубахи и мяса, пятная кровью крыльцо, наглый холоп окорачью полез в хоромы, а собранный им сброд, расшвыриваемый копытами коней, ринул в бега, теряя дубье и рогатины. Иные валились на землю, молили пощады. Соскочивший с седла Никита молча яро полосовал по рожам и головам татарской нагайкою. Отшвыривая двери, полез в нутро хором. Кого-то уколол саблей, кого-то опрокинул, заехав сапогом в лицо.

— Как оно повернет в Орде?! — повторял он, уже влезши в избу и круша посуду и утварь.— Как в Орде повернет? Запалю! — вопил он, вываливая из топящейся печи дрова на тесовый пол. Боярыня кинулась ему в ноги. Какие-то девки чуть не руками огребали рассыпанный жар.

— Хозяина! — рявкнул Никита. Бледные, со сведен-

ными скулами лица его ратных с саблями наголо, промаячили, словно в тумане.

Окровавленного володетеля вытащили во двор, заголив, бросили на лавку.

— Ты холоп? — прорычал Никита.— Пороть!

Те самые слуги, что давеча стеной было пошли на Никиту, теперь испуганно взирали на расправу, падали на колени. Избиваемый уже не орал, хрипел. Тоненько выла за спиною боярыня.

— Всех кормить! — устало бросил ей Никита через плечо, отшвыривая измочаленный дрын. Избитого, связав, бросили в боковушу, заперли на замок. Все еще плыло в глазах у Никиты. (Знал бы он, что когда-то его дед так же вот собирал князев корм под Владимиром!) Жрал сытное варево, отходя. Обтерев рот, отваливаясь от стола, светло, разбойно глянул на трясущуюся бабу, вымолвил:

— С дороги... Не покормив... Псами травить! — И, тратя последнее зло, швырнул пустым горшком о печь.

— Доколь серебро не возьмем, ни хлеба, ни воды не получит! — твердо пообещал хозяйке, утвердясь на ногах, стягивая распущенный к выти пояс.

Староста еще пытался словчить, пригнал крестьянскую худобу из деревни (а с нею набежала целая толпа орущих мужиков и плачущих жонок), но Никита не дался на обман. Бабам велел вести скотину назад, а мужикам — раскатывать на бревна боярский терем. Те обалдели было, но наезжие кмети глядели грозно, и мужики, хмыкнув в бороды, дружно взялись за ваги и топоры. Когда полетела с кровли первая дрань, обнажились стропила и накренилось, затрещав, рубленое чело дома, боярыня и сама не выдержала. Уже по ее приказу поволокли сундуки, укладки с добром. Никита не стал брать ни хлеба, ни скотины, ни портов. За все велел выдать серебром. Кончался уже второй день, и хозяин в затворе тихо умолк — умер ли, потерял сознание только? Но боярыня, послушав в очередную у замка, всплеснула руками и велела отрывать береженое, что доселе упорно прятала от московских данщиков.

Хозяина выволокли наконец, долго отливали водой. Он лежал смиренный и тихий. Придя в себя и узнав про взятое серебро, только покивал головою. Об Орде речи уже не заводил и глядел опасливо и жалко. А ког-

да Никита, сощурясь, спросил, не сказать ли владыке, чтобы прислали другого волостеля в Заболотье,— молча свалился с лавки и пал в ноги. «Понял наконец, чья власть!» — перевел про себя Никита, сплевывая и дивясь тому, как это мочно с такой спеси и так теперь унижать себя, валяясь в ногах! А, впрочем, со спесью всегда так происходит! Или князь, или грязь, а уж человеком быть — не в подъем... В Киеве бы такой в ногах у литвина елозил, на своих доносил... Едва не пнул холопа Никита вдругорядь в сердцах, да сдержал себя. Серебро получено, чего ж больше!

Заболотские мужики сами и показали, коим путем мочно было безопасно уехать от них в самую половодь.

Коня ратнику, заместо утоплого, Никита взял у боярина безо счету.

— Даришь?! — спросил грозно.

— Дарю, дарю, батюшко! — торопливо ответствовал тот, хоть был и старше Никиты возрастом.

— Ну, даришь, дак не забудь того, што подарил! — заключил Никита и прибавил, уже с коня оглядывая сверху вниз замотанного тряпицами, еле живого хозяина: — И впредь — не балуй больше! Внял? — И, уже не оборачиваясь, тронул коня.

В тороках всех пятерых тяжело молчали веские новгородские гривны: двухлетняя дань ордынская, владычная, княжая и плата за корм. Ехали молча. Уже когда перебрались бродом и отпустили назад заболотских провожатых, Никита, поглядев им вслед, изронил:

— Дурень. Как есть дурень! Свое промотал, в холопы записался, дак и сиди, сполняй! От твою! А он — князя корчит! Ему-де и Москва не указ! Какой же ты князь, коли не вольный человек?! — И еще раз сплюнул, зло, отчаянно. Сам был не волен теперь. Хошь и у Алексия самого... А иначе? — подумал. Иначе была бы плаха! И ни тебе жены, ни сына, ни Киева! А еще иначе: не тронь он Хвоста? Не полюби Наталью Никитишну? Не захоти стать вровень с дедом своим? Тогда и не родись, и не живи на свете! Эх, воля вольная! А тут — и я холоп, и он холоп тоже, оба единаки с им!

Он трусил впереди своей дружины и не глядел ни на красу земную, ни на поля, уже освобожденные от снегов, с первою зеленою щеткой озимых... Вот-вот по просохшей зяби ляжет первая борозда и пахарь босыми ногами, вздев пестерь на шею, пойдет по пашне,

разбрасывая твердой рукою золотое зерно. И будут волочить следом борону-суковатку, будут гонять овец по полю, будут потом ждать дождя и молить Господа об урожае — все будет как каждый год, каждый век, с того еще дальнего времени, как начал сеять зерно древний изначальный человек, в поте лица своего добывая хлеб свой... И как нынче, теперь — со стороннего погляду ежели,— становят свято-торжественны и удалены от дел суетных лица пахарей! И как все мелкое, злобное, суетное — дани, кормы, бои вотчинников и князей друг с другом — отступает посторонь перед древним делом земли, перед творением хлеба, основы всего сущего!

Да и сам Никита, исполнивши веление власти, скоро вляжет в рукояти сохи и пойдет пашнею наравне со своим холопом, ибо нет лишних рук на весенней страде и работают все, и маститый боярин, ежели и не шевельнет сам рукоятью сохи, все одно с утра — на коне, на пашне, проверяет и строжит, а боярыня сама меряет и отпускает зерно сеятелям, и потому каждый помнит, знает, ведает, что значит хлеб и коим трудом созидается основа земной жизни!

С высоты являло взору, как голубой воздух, пронизанный светом, наполняет мир. Далекие леса стояли, легчая в аэре. По луговине разливалась вода, подтопив кусты, толкалась льдинами в высокий берег.

Клали трапезную. Взъерошенные кони тянули волокушами лес. Внизу, маленький, суетился боярин, задирал руки, кричал. Сергий, воткнув секиру, начал спускаться по подмостьям. Весело, сноровисто стучали топоры.

Боярин радостно пал в ноги. Кошель с серебром Сергий, не считая, отдал брату-эконому. Прищурясь, оглядел боярина.

— Древоделей, говорю, подослать? — деловито тараторил тот, приняв благословение старца и с удовольствием оглядывая размах строительства.

Сергий, огоревавши зиму, с весны вложил все силы в созидание обители. А как только дошла весть о возвращении Алексия, почуял и к себе разом прихлынувшее внимание. Не обманывая себя, понимал: ради владыки! Но от доброхотных даров не отказывал. То, что у Троицы сотворялось годами, тут возни-

кало в месяцы. И твердо, жестко даже принимал Сергий новожилов сразу на общее житие. И было легче так. Кто шел к нему, знал, на что идет.

Убежище его троицкая братия открыла еще по осени. Не дождав игумена, пошли в разные стороны. Один из чернецов забрел на Махрище. Иноки ему в простоте повестили: «У нас!»

Потом уж приходили, винились, звали назад. О том, что было меж ним и братом (да и было ли? Стефан не ведал, разве понял потом, почто он ушел тогда), Сергий не сказывал никому. И молчал в ответ на вопрошания и призывы.

После Рождества началось понемногу бегство к нему троицкой братии. Приходили, падали в ноги. Виноватыми чли себя все приходящие. Сергий ничего не объяснял и не поминал ни о чем. Так перебежали Михей, Роман, Исаакий, Якута. Весною явился Ванята. Пришел бледный, решительный, в березовых лаптишках, с посохом. Поглядев в глаза Стефанову сыну, Сергий, ни о чем более не спросив, принял отрока.

Просящих принять в обитель было множество, и Сергий брал, испытуя, и притом далеко не всех. Зато от доброхотных дарителей на новом месте не было отбою. Приезжал Тимофей Вельяминов, Андрей Иваныч Акинфов приехал перед самой весной, дал серебро на храм, доставил целый обоз снеди, долго ходил, глядел, кивал, одобряя, обещал выслать иконы суздальских писем и напрестольное Евангелие московских, Даниловых, мастеров, когда будет сведена кровля.

Храм во имя Благовещения заложили, едва протаяла земля. Выворачивали вагами мерзлые глыбы песка, закладывали камни под углы будущей хоромины. И уже первые ряды сосновых, из осмола, венцов означили начало сооружения.

Трапезную надлежало довершить на этой неделе, и потому, даже и таких наездов ради, Сергий с неохотою оставлял секиру. Боярин высказал наконец свою просьбу. У него народился сын, и боярину жалость пала — окрестить дитятю непременно у Сергия.

— Ехать недосуг! Сюда привози! — твердо отмолвил троицкий игумен, отметая дальнейшие уговоры.— Да не простуди младеня дорогой! Крестить должен по правилу отец духовный. Советую ти, чадо, гордыню отложи и крести сына своим попом. А как отеплеет, благословить ко мне привози!

Боярин заметался глазами. Видно, не подумал о таком исходе, но, неволею постигнув правоту Сергия, не мог, однако, так вдруг изменить замысел свой.

Сергий, оставя боярина додумывать, вновь полез на подмости. Боярин задумчиво глядел снизу на строгого игумена в лаптях и посконине, который издали казал мужиком, а вблизи, глянув пронзающим светлым взором, поразил его мудростью и почти что княжеской статью.

Топоры звенели в лад, с дробным перебором, несказанною музыкой труда. И Сергий, подымаясь все выше и заглядывая в провал хоромины, стены которой тесали сразу же, кладя очередные венцы, думал о том часе, когда в прорубы окон глянет эта вот даль и эта бегучая вода, и дубовый стол станет посереди, и лавки опояшут новорубленую трапезную, и братия впервые соберется тут, а не внизу, в дымной хижине, где обедали едва не на коленях друг у друга.

Шла весна, и, еле видные издали, курились дымами деревни. Мастера, нанятые со стороны, скоро уйдут. Близит страда. Пашни, освобожденные от снегов, уже ждут, просыхая, заботливых рук пахаря... Он на миг ощутил щекотно в ладонях рукояти сохи и сощурил глаза. Ранним утром отсюда, с высоты, слышен далекий тетеревиный ток. Божий мир был прекрасен, и прекрасна жизнь, отданная труду и подвигу. И путь его был по-прежнему прям, так, словно бы и сюда, на глядень, на высоту, продутую весенним тревожным ветром, привел его за руку Господь в мудром провидении своем.

Сергий поднял секиру и, склонясь, пошел вдоль бревна, стесывая его внутреннюю сторону. Дойдя до конца, закруглил и огладил угол. До начала кровли, до «потеряй угла», оставалось всего три венца.

Тайдула очень постарела за последний год. Лицо ее казалось уже не лицом, а пергаменной маской в жарком обрамлении драгоценностей и парчи. Она сидела в своей летней ставке, названной ее именем (и позднее превратившейся в город Тулу), в роскошной юрте ханского дворца, на парчовых подушках, выпрямясь, подогнув ноги и сложив руки на коленях. Только что у нее побывал Наурус, глядел хитро и жадно, выпрашивал серебро и людей. Ей ли не знать, что все

сыновья Джанибека, все двенадцать, перебиты... И теперь изо всех них, мальчиков с оборванными жизнями, помнился почему-то самый меньшой — толстенький малыш, единственный не понявший даже, что его убивают... Будто бы сама родила, будто бы от груди отнял младенца жестокий Бердибек... с Товлубием... Оба зарезаны теперь! И ныне могут ли сказать они, зачем вершили зло, убивая детей? Вот этот — уже второй, называющий себя сыном Джанибека, а будут и другие, будут «воскресать», ибо народ, земля хочет, чтобы они воскресли! Кого убил ты, Бердибек? Себя ты убил! А я? Зачем не поверила русскому попу, зачем не надела крест на ребенка, не скрыла его, не увезла в степь? Как мало прошло времени — и словно долгие годы минули с той страшной ночи!

Муалбуга вошел, кланяясь. Сел на кожаные подушки, скрестив ноги. Едва отведал привозной хурмы и закачался, как от зубной боли, заговорил, жалуясь. Сама знала, что плохо! Пусть шлет джигитов в степь! Пусть тратит серебро на воинов! Тайдула ожесточилась и на миг стала прежней.

— Плохо, плохо, знаю сама! Помоги! Помоги Наурусу, не то придет иной! Уже идет?! — Темный ужас охолодил ее сердце.— Кто? Не ведаешь? Из Белой Орды? Пошли гонцов к Мамаю, пусть даст ратных! Не хочет? Как он может не хотеть?! Как смеет?! Погибнет сам! Говорил ты ему? Это скажи! Наурус слаб и лжив, Мамай будет над ханами хан, ежели спасет Науруса! Авдул? Какой Авдул? Он Чингизид? А кто этот Кильдибек, что называет себя опять сыном Джанибековым? Не стони! Ты воин! Князь! Мы еще сидим тут, в Орде!

Глаза царицы сверкнули молодо. В отверстые двери дворца залетали далекие запахи степных трав... Как давно, боже мой, как давно уже этой порою Джанибек вывозил ее в цветущую степь, уже отцветающую степь... И все эмиры были подвластны ей тогда, и лицо ее было молодо, и она могла родить... И могла ведь, могла не рожать на свет отцеубийцу Бердибека!

Она бы заплакала, но перед нею сидел Муалбуга и качался, как от зубной боли. Встань, пойди, сядь на коня, обнажи саблю! Куда исчезли мужи? В Орде остались одни бабы да голодная рвань!

Муалбуга встает, прощается с нею с поклонами.

(Иди! Не медли! Даже и для меня! Спасай отчизну покойного мужа моего!)

По уходе Муалбуги она велела усилить стражу дворца. В саду выпустили страшных степных собак. Рабыню, что неловко задела ее, снимая наряд, Тайдула больно, выкручивая, ухватила за ухо цепкими, не по-женски сильными пальцами. Девка скорчилась от боли, раскрыла рот, как рыба, собираясь кричать, но кричать не посмела, уползла со стоном.

Тайдула лежала, глядя в темноту, одинокая, злая, старая женщина, потерявшая все, что составляет утеху жены и матери, и теперь теряющая последнее, что у нее осталось,— власть.

Ордынская весенняя ночь была черна и тревожна. Она окликнула служанку, не ту, другую. Потребовала найти крест, подаренный Алексием. Держа в руке крохотный кусочек серебра, немного успокоилась было. Но и крест не помогал. Заливались псы. Тревога сочилась, лилась, неслышно заливала дворец. Плохой оберег вручил ей урусутский поп! Тайдула с силою швырнула крест в темноту, и в тот же миг вдалеке поднялся крик, лязг оружия, и снова крики, ржанье коней. Она поднялась с подушек, подобралась, как кошка. На мгновение захотелось бежать во тьму, в ночь, пасть на коня и скакать — неважно куда! Пересилила себя, встала, велела принести огня. Служанки долго бестолково зажигали светильники...

В юрту, не блюдя достоинства государыни, забежал сотник.

— Беда! Режутся уже в стане!

— Кто? Тагай?

— Хызр-хан!

Тайдула молча опустилась на подушки. Хызр-хан был Шейбанид и ее враг. Бежать? Куда? Дворец окружен. К Мамаю? Тайдула усмехнулась надменно. У Мамая Авдул. Хитрый темник, гурген, зять и правая рука покойного Бердибека уже нашел себе хана — Чингизида, которым будет вертеть, словно куклой.

— Ступай! Возьми всех воинов! — произнесла она, овладев собой.— Надо драться. Нам некуда бежать!

Сотник уполз. («Предаст!» — подумалось безотчетно.) Она ждала еще час и два.

Крики и ржанье коней то усиливались, то гасли, и тогда казалось, что одолевают Муалбуга и воины Науруса. Но вот шум битвы прорвался потоком, грозно

надвинувшись на молчаливую вереницу дворцов. Топот, крики уже в саду, у юрт. Тайдула сидела не шевелясь.

Нукер, отступивший от входа, спиною влез, отбиваясь, в юрту и упал, подплывая кровью, прямо к ее ногам.

В юрту ворвались незнакомые воины. Жадные руки протянулись к ее серебру.

— Назад, псы! — выкрикнула царица.— Где мой эмир Муалбуга? Где хан Наурус? — требовательно вопросила она вступившего в юрту вожака вражеских воинов.

— Оба убиты! — ответил тот, вытирая кровавую саблю, и в глазах его, сощуренных, насмешливо-холодных, Тайдула прочла свой приговор.

Ее схватили. Рвали с нее украшения. Вырывали с мясом серьги из ушей. За косы волочили по земле.

Поднятая на ноги, с разбитым лицом, она молчала. Не от гордости. Просто уже умерла в тот миг, когда простой ратник посмел, ухватив ее за косы, волочить по земле. Ее, царицу, подписывавшую ярлыки царям иноземным, ее, повелительницу Золотой Орды, которая тоже умерла, с ней умерла!

Кто-то спрашивал ее о чем-то. Быть может, сам хан Хызр, она не разбирала уже. Она должна была умереть. Сама умереть. Но у нее отобрали кинжал. И приходило ждать милосердия вражеского воина или палача, который окровавит о нее свою саблю. Почетной, бескровной смерти ей не дадут. Пусть! Никто из потомков Джанибека не получил ее. Почетных смертей теперь больше не будет в мертвой Орде!

...Палач поднял за косы отрубленную голову. Мертвые глаза царицы были отверсты и глядели надменно. Медленно капала кровь.

Резня здесь и в Сарае продолжалась весь следующий день. Избивали Муалбугину чадь, избивали последних приспешников или родичей прежних золотоордынских ханов.

Эпоха безвременья меж двух чуждых друг другу культур — степной и городской, мусульманской,— жестоко выразилась в падении всякой нравственности в Сарае, когда сын убивал отца и брат брата. В наступившей длительной замятне степь держалась «своих» ханов, а волжские города — заяицких, поскольку туда

уходили и оттуда являлись купеческие караваны и бесерменам Сарая выгоднее было не ссориться с ханами Ак-Орды.

Но кто был опаснее для Руси? История последующих лет говорит нам, что заяицкие ханы постоянно совершали набеги на Русь. Оттуда же, из Белой Орды, вышел впоследствии и Тохтамыш, а со степной Ордой Мамаевой оказался возможен союз, обеспечивший еще пятнадцать лет мира, столь нужного Руси для собирания сил. И когда Мамай спохватился и в союзе с Литвою повел на Русь свои войска, было уже, по существу, поздно. Созданное митрополитом Алексием Московское государство смогло противустать Орде как единая сила всей владимирской земли. Но чтобы угадать все это в 1361 году, нужно было провиденье гения. Каким сверхчувствием проник в грядущее Алексий, когда поддерживал одних ханов против других в жестокой ордынской замятне?

Хызр (или Хидырь, как его называли русские), тайно приглашенный эмирами Сарая из Белой Орды, торопился утвердить свою власть на крови соперников. И это был конец Золотой Орды. И был бы вовсе конец! Но полтора столетия побед, но тень Чингисхана, но обаяние власти все еще продолжали собирать степных воинов к мертвому знамени своему. Не сразу и не вдруг умер Сарай, столица Золотой Орды, ставшей ныне Белой (или Синею) Ордою. Не вдруг отступила степь от Батыевых древних знамен.

И князья русские, не решивши доселе споров своих, сами не хотели гибели столицы на Волге. И потому, едва утвердился на престоле Хидырь, потянулись в Орду князья владимирские с данью, которую некому было бы и потребовать с них в эти месяцы ордынского безвременья, за ярлыками, которые почти неведомо было, от кого и получать теперь...

Усевшись на престоле, едва стерев кровь с подошв своих сапог, хан Хидырь тотчас вручил ярлык на великое княжение тому же Дмитрию Константинычу Суздальскому. Но тут же пожаловал и ростовского князя Константина на весь Ростов, разом перечеркнувши старинную куплю Калиты. И князю Дмитрию Борисовичу воротил Галич, казалось бы, прочно отобранный у него московитами. Так что и суздальский князь получил великое княжение урезанным до его прежних размеров.

Новый хан не был глуп и понимал, что Русь надобно ослабить, дабы держать по-прежнему в узде. Токмо единого не понимал он, что не узда держит в повиновении народы, а сами они хотят или не хотят быть рабами власти, тем более — власти чужой. И что на Руси нарождаются новые силы, коим уже скоро не по норову станет ордынская узда, этого тоже не знал, не ведал захвативший Сарай Шейбанид.

Двадцать второго июня, за неделю до Петрова дня, Дмитрий Константинович торжественно въезжал во Владимир. Над кручею Клязьмы, над полями тек высокий колокольный звон.

Лето было в той поре роскошного расцвета, когда уже все раскрылось и расцвело, и травы поднялись в рост, и волнами ходит ветер по зеленым хлебам, но еще не коснулись ни того ни другого горбуша и серп и не проглянет пыльной усталости, ни редкого желтого листа в широкошумных кущах дубрав, а все еще молодо, свежо и полно зеленого блеска, как жизнь, только-только вступающая в пору возмужания своего.

Из трех сыновей покойного Константина Васильевича Дмитрий был больше всех похож на отца. Андрей недаром уступил ему первенство и великий стол владимирский. И дело было не только в том, что на Андрея, сына гречанки, якобы косились суздальские бояре. Сам Андрей передал Дмитрию Степана Александровича и иных многих бояр и всегда поддерживал брата. Но Андрей чуял, что ему не в подъем борьба за вышнюю власть на Руси. Борис, младший, был и упрям, и жаден, но не хватало в нем широты братней — того, что подвигло Дмитрия Константиныча, получивши ярлык у Навруса, не настаивать на возвращении ярлыков обиженным Калитою князьям (и потому пролегла чуть заметная трещинка меж ним и сторонниками отца). Но теперь был удоволен и Константин Ростовский, добившийся наконец возвращения своей вотчины, и Дмитрий Борисович Галицкий (хотя и Владимир Андреич, юный московский княжич, имел по роду права на галицкий стол, но... и тем паче!).

Не мог не понимать и того Дмитрий Константинович, что с сими ярлыками, выданными законным владельцам, происходит умаление власти великокняжеской, что в споре с Москвой он толкает страну назад, ко

времени уделов, едва зависимых от великого князя владимирского... И все-таки была радость! Воплощение отцовой мечты, его долгих усилий по заселению Поволжья, строительству городов... И Дионисий будет призывать его теперь и тотчас сбросить ордынское иго. Рано! Где, как не у хана Хидыря, сумел он получить бесспорную власть над Владимиром? Власть, которую можно купить и не надобно завоевывать в долгой разорительной борьбе,— она стоит ордынского выхода! Тем паче, что со времени последнего «числа» людей в княжестве прибавилось втрое, а дань идет прежняя. Можно и заплатить!

Князь, сухой, высокий, породистый, оглядывает с коня встречающих, ловит взоры — скорее любопытные, чем радостные. Колокола бьют и бьют торжественным красным звоном, но эти лица не дают ошибиться князю. Владимир принимает его потому, что так порешил хан, но будет ли поддерживать в ратном споре с Москвою? Неведомо.

Долгий поезд князя втягивается в улицы. Жара, пыль, толпы глядельщиков по сторонам.

В новоотстроенном суздальском подворье — беготня, суета. Стряпают и пекут, захлопотанные слуги то и дело выскакивают за ворота.

Едет, едет уже!

По двору до крыльца раскатывают постав красного дорогого сукна. Стража в начищенных шеломах и бронях — от зерцал колонтарей скачут веселые ослепительные зайцы, подрагивают, сверкая, широкие лезвия рогатин — становится по сторонам дорожки.

Князь Дмитрий Костянтиныч спешивается, идет, по-журавлиному переставляя долгие сухие ноги в мягких, с загнутыми носами, зеленых тимовых сапогах. Подняв голову, выставив бороду вперед, подымается на крыльцо. Как встретит его и встретит ли митрополит Алексий?

Но Алексий прибыл, встречает. Князь целует крест и притрагивается губами к руке московита... Глядит в темно-прозрачные строгие глаза Алексия. Будь он византийским василевсом, в его силах было бы сместить Алексия с кафедры, заменить... Кем? Романом? Или лучше Дионисием? Но он не василевс и не имеет права без согласия Константинополя менять духовную власть на Руси.

Алексий, который доселе сожидал прибытия на

поставленье нового новогородского архиепископа (новогородские слы только-только покинули Владимир), слегка склоняет голову. Он почти бесстрастен, вежлив и прям. Он пришел приветствовать и благословить нового великого князя, как и надлежит митрополиту всея Руси. (Будь Ольгерд христианином, он и его обязан был бы благословлять при таковой встрече.)

Он и суздальский князь несколько мгновений молча изучают друг друга. Потом Дмитрий Константиныч в свой черед склоняет чело. Через час в Успенском соборе Алексий будет венчать суздальского князя на стол великих князей владимирских. И будет торжествен чин, и клир будет сиять золотом парчовых одежд, и хор греметь достойно, вознося хвалу новому владыке русской земли. И после венчания Алексий посетит княжеский пир и будет благостен и прилеп, так что даже Дмитрий Константиныч несколько смягчит нелюбие свое к московскому митрополиту...

Все это будет днем, и все это будет творить митрополит, владыка всея Руси. И так минет день до позднего вечера. Но уже к ночи в покои Алексия на владычном дворе проводят пыльного монашка в грубой дорожной рясе, проводят кухонными дверьми, минуя любопытствующую владимирскую обслугу. В темных сенях его принимает молчаливый придверник и ведет к лестнице, на верху которой монашка ожидает Станята. Гостю дают в укромной горнице торопливо поесть с дороги, и затем тот же Станята влечет его далее, в покои митрополита — нет, уже не митрополита владимирского и всея Руси в этот час, а местоблюстителя московского стола, кровно заинтересованного в том, чтобы его стол, его княжество, дело его покойных князей не погибли в переменах земного коловращения.

В этот час у владыки уже не так прям стан и не столь бесстрастно лицо (и не от дневной усталости, от другого). И отревоженный взгляд владыки вперяет с настойчивой страстностью в невидное, в мелких морщинках лицо монашка.

В покое полутьма, Станята стоит у двери настороже: разговора, который творится сейчас, не должен слышать никто. Монашек зовет хана Хызра, поиначивая порусски, царь Кыдырь, Авдула называет Авдулем, покойного Джанибека — Чанибеком, но дело свое знает отменно, так, как никто другой. Алексию становит внятно в конце концов, что Хидырь не так уж прочен на троне и

мочно «пособить» ему трон этот поскорее потерять, что у него нелады со старшим сыном и с внучатым племянником Мурутом, что Мамай таит свои особые замыслы и теперь уже стал много сильнее других темников, что объявился уже третий самозваный сын Джанибеков, не то Бердибеков — Кильдибек, не менее кровожадный и жестокий, чем двое предыдущих, что неспокойно в Булгарах, что замышляет новый переворот хан Тагай, что ожидается по всем приметам суровая зима и, значит, возможен джут и голод в степи и что всем решительно дерущимся ханам и бекам необходимо русское серебро для подкрепления власти своей и домогательств власти.

Монашек получает устные наказы, получает заемные грамоты к русским купцам в Сарае и Бездеже, по которым возможно получить серебро для подкупа ордынских беков, и, накрыв голову и лицо широкой накидкою, удаляется в ночь.

Алексий вздыхает, сидит, понурясь, глядя в огонь свечи, почти забыв про Леонтия.

— Разваливает Орда! — нарушает наконец молчание Станька.— Стойно Цареграду грецкому!

Митрополит молчит. Станята, осмелев, продолжает:

— Скоро ордынски ярлыки будет мочно покупать, как грибы на базаре,— кадушками!

Алексий поводит головою. Улыбается бледно, одними губами. Молчит. Выговаривает погодя:

— Ты поди повались! То, что мы творим ныне, греховно, Леонтий! Но я обещал крестному, что возьму его грехи на плеча своя! Поди! Кликни мне служку со сеней!

И уже когда Станята выходит, шепчет, глядя в огонь:

— Господи, прости мне и в этот раз по великой милости твоей!

Дмитрию Константиновичу скоро пришлось вкусить не только мед, но и горечь вышней власти.

Ордынская дань от братьев-князей поступала с горем великим. Воротившие наконец свои ярлыки Константин Ростовский и Дмитрий Галицкий никак не могли собрать потребного серебра, ибо долгие годы взимание даней находилось в руках московитов. И когда вирники, мытники, данщики, делюи московского князя отъехали, всяк купец, и ремесленник, и смерд, вздохнувши в веселии сердца, помыслил, что при родимом-то князе и платить возможно помене прежнего, а то и не платить совсем.

А когда прояснело, что платить надобно не менее прежнего, и молвь, и брань, и котора восстали неподобные, и, как ни бились княжеские бояре, полного ордынского выхода собрать не могли никак.

А тут и новая пакость приключилась, да такая, о каких допрежь и слыху не было на Руси! Новгородские ушкуйники вместе с нижегородскими молодцами, поднявшись невестимо по Каме, взяли приступом ордынский город Жукотин и дочиста разграбили его. Оно бы в замятне ордынской и прошло и минуло, да на беду Хидырь сел на царство прочно и теперь требовал возмещения убытков и наказания виновных. Вместе с недоданною данью выходила совершенная неподобь...

Великому князю Дмитрию неволею пришлось собирать княжеский съезд на Костроме о жукотинском разбое. Явился Андрей Константинович из Нижнего. Не сетовал, не корил, но, поглядев в глаза брату, Дмитрий Константиныч скорей отворотил лицо. Явился Костянтин Ростовский, несчастный, изобиженный, злой, требующий от братьев Константиновичей непременного замирения с ханом. Явились мелкие князья-подручники.

Разбойников решено было выдать хану, товар — возместить. Жукотинских победителей хватали великокняжеские приставы, ковали в железа. С великою неохотою выдавал Великий Новгород своих «молодчих», которые хоть и без новгородского слова ходили в этот поход, но и у каждого из бояр было на уме и в душе: «Как, в сам дели, не пограбить Орду? Довольно они нас грабили!» Шло к тому. К Куликову полю шло.

Схваченные молодцы глядели героями. Города глухо волновались. Любви к суздальскому великому князю после выдачи разбойников не прибавилось ни у кого.

Дионисий в Нижнем прочел пламенную проповедь, взяв темою вавилонский плен Израиля от Навуходоносора-царя, после чего закованных нижегородских грабителей Жукотина провожал в Орду, на смерть, с плачем и слезами весь город, яко новых мучеников веры Христовой.

Шло дело к полю Куликову, и не раз еще придется русским князьям смирять низовую прыть той же новгородской вольницы, которой и костромской суд не воспретил выбрасывать на Волгу все новые и новые дружины охочих молодцов... Только теперь и против суздальского князя, вчерашнего друга своего, поимели зуб, и немалый, лихие ушкуйники!

Дмитрий Костянтиныч слишком поздно понял, что глупо поспешил, на горе себе, исполнить ханский приказ. Знал бы он, сколь недолго просидит Хидырь на столе!

Алексий тем часом деятельно наводил порядок в епархиях, исправлял служебный чин, устанавливая литургию по правилам Иоанна Златоуста и Василия Великого, испытывал грамотность священников, рассылал книги по церквам. Увеличенная втрое дружина писцов работала денно и нощно, сводчики переводили с греческого привезенные Алексием труды византийских мыслителей и богословов. Все новые и новые служебники, жития, октоихи, тропари, канонники расходились по монастырям и храмам.

Неслышная эта работа, раз начатая, не прекращалась уже, и рядом с громозвучными деяниями воевод, движением ратей, ухищрениями послов творился, едва видимый, ручеек книжного знания.

Инок в посконном подряснике, отложив перо, медленно растирал пальцами подглазья покрасневших, утомленных очей, взглядывал в затянутое пузырем окошко (за коим слышалось, с отстоянием, звонкое птичье: «Чивк! Чивк! Чивк!» — и теплый ветер шевелил ветви), на миг проникаясь тоскою по этой сияющей земле, по лету, по медовому запаху полей, и, встряхивая головой, шепча молитву, поправлял кожаный гайтан, стягивающий волосы — не падали б на глаза! И, выведя киноварную, украшенную заглавную букву, вновь начинал споро и стройно выставлять буковки полуустава, гласящие о горнем, о высоком, или о делах далеких веков, или воспевающие хвалу Господу, и вновь и опять уносился духом и мечтою в то далекое и вечное, ради чего единожды и навек пренебрег скоропреходящею красою обычной земной жизни...

Переписанные рукописи переплетались в обтянутые кожею «диски», мастера пилили, чеканили и узорили из меди и серебра накладки на углы книг, приделывали узорные застежки к «доскам», и темные эти, схожие с кирпичами, четвероугольные, тяжелые великие и малые, крохотные «книгы» начинали свой путь по Руси, подобный просачиванию воды сквозь почву. Ибо не бурные струи речных потоков питают корни дерев, но лишь та влага, что неслышно и невидно для взора пропитывает землю. А стремнины рек — лишь следствие, лишь исход, лишь выброс той главной потаенной влаги, напояющей мир. И — загороди реку, наставь плотин, сооруди руко-

творные моря или пророй новые русла для влаги (завоюй землю, измени власть, законы, навычаи, веру, поставь плотины духовной жизни народа, что то же самое, что и запруда на реке), что произойдет? Нарушатся невидные, малые стоки вод, пронизывающих почву. Подымет их напором влаги и вместе с солью вытолкнет наружу, содеяв неродимой пашню; опустит ли в глубины, иссушив окрестные леса и поля; насытит ли излишнею влагой жирный чернозем, и тот закиснет, загниет от изобилия, как погибает от ожирения живое существо.

Так и зримые события суть реки истории, питает которые, однако, незримая, неслышимая влага темных кожаных книг, зовущих к труду, вере и подвигу, осмысляющих само понятие, само бытие Родины как той, своей, и только своей, единственной и незаменимой ничем иным земли, за которую мочно и должно, ежели ей угрожает беда, отдать жизнь.

И пусть воеводы, стратилаты, послы, великие бояре и князья блюдут чистоту потоков речных, не позволяя заграждать их плотинами, менять русла рек, по которым течет историческая судьба народа. Но не забудем и того неслышного, незримого просачивания влаги сквозь почву, не забудем «книг, напояющих вселенную», без коих и потоки иссякнут, и камнем, сухою перстью станет земля, и исчезнет жизнь, лишенная живительного источника.

Так — в письменной, просвещенной светом учения земле. Но так и в земле бесписьменной, древней и дикой, ибо и там было слово, и текло оно от уст к устам, и точно так же пронизывало «почву» племени живительною влагой памяти и навычаев, завещанных предками потомкам.

...Писец опускает в медную чернильницу перо, берет иное, наполненное бурым железным чернилом. Ровные ряды букв ложатся на толстые листы дорогой александрийской бумаги или на еще более дорогой пергамен. Владыка Алексий сам заходит в книжарню, где работают мастера-переписчики. Молча глядит на работу. Одобряет наклонением головы. Тихо. Только скрипят гусиные перья. То, о чем здесь напишут в книгах, с миновением лет и веков изгладится из памяти поколений. Воин, совершивший подвиг! Помни о летописце, запечатлевшем для внуков деяние твое!

Немногое нужно писцу: краюха хлеба, квас, сушеная рыба... да молчаливое одобрение духовного

главы, что среди многотрудных дел находит часы, дабы перебыть тут, у истока живительного, хоть и почти незримого движения, питающего духовную силу языка русского силою слова, запечатленного и переданного грядущим векам.

И они проходят, текут, века истории! И грохочут войны, бушуют пожары, унося с собою селения и города... Но из пламени, из-под рушащихся стен выносят лишаемые всего добра, всего зажитка своего люди прежде всего — иконы и книги. Ибо дух — вечен и, сохраненный, сотворит все иное, зримое и тварное, что можно потерять и нажить вновь, ежели только не потеряна, не изгибла духовная основа жизни.

Глубокой осенью этого года в небесах явилось страшное знамение: темно-багровое, словно кровавое, облако двигалось над страною от востока к западу. Знамения повторялись вновь и вновь через всю зиму. Кроваво-огненные столпы стояли над темной землей, угрожая новою неведомою бедою языкам и странам.

Станята, тихо постучав, вступил в митрополичий покой и замер. Алексий работал со сводчиками и только кивнул рассеянно своему верному спутнику. Понимая по-гречески, Станята невольно заслушался, едва не забывши, зачем вошел. Но вот наконец Алексий отложил в сторону Дионисия Ареопагита и кивнул сводчикам, разрешая удалиться.

Оба вышли, слегка поклоня Станяте и оглядывая его с любопытством. Неизменный писец, секретарь и спутник Алексия начинал внушать невольное уважение и даже зависть многим клирошанам митрополичьего двора.

— Что там, Леонтий? — вопросил негромко митрополит.

— Троицкая братия! — повестил Станята, подходя к столу.

— Опять? — Алексий думал, разглаживая желтоватые твердые листы пергамента, исписанные греческим минускулом.

Вторично уже прибегали к Алексию ходоки — иноки Троицкого монастыря, слезно умоляя владыку помочь им вернуть к себе Сергия. О том просили и бояре, связанные так или иначе с Троицей. Алексий не отвечал ни да ни нет, думал.

— Созови! — повелел он, вздохнув.

Старцы, войдя, повалились в ноги. Алексий поднял их, расспросил строго. Получалась какая-то безлепица. Сергия хотели и на него же жаловались, ссылаясь на то, что введенные им правила противоречат заповедям святых отец и древних пустынножителей, возбранявших пременять устав иноческой жизни.

Алексий вновь обещал помыслить о том и попытаться уговорить Сергия. Отпуская старцев, удержал одного Стефана.

Стефан был угрюм и краток. На вопрос о том, кто управляет монастырем, глянул сумрачно и только склонил голову. Алексий и сам знал, что обязанности игумена исполняет Стефан, но лишь как заместитель отсутствующего брата.

Алексий давно уже не толковал со Стефаном по душе, так, как когда-то, и сейчас несколько вознегодовал за то на самого себя. Доверительной беседы никак не получалось. На прямой нетерпеливый вопрос, что же произошло в обители, почто Сергий покинул монастырь и игуменство свое, Стефан, заметно побледнев, ответил:

— Не ведаю, владыка! Многим был тягостен общежительный устав!

— Но устав сохранен?! — нетерпеливо перебил Алексий.

— С некоторыми послаблениями,— заметно дрогнувшим голосом возразил Стефан.— Книги разнесены по кельям, опричь общего служебника и напрестольных Евангелий, а такоже октоиха и ирмолая...— Начавши перечислять, он вдруг сумрачно глянул в очи Алексию прежним своим горячим, пронзающим взором, помолчал, добавил: — Невестимо ни для кого и чудесно покинул обитель: в облачении, не заходя даже в келью свою!

— Добро. Ступай! — сдался наконец Алексий и, благословив, отпустил Стефана.

Проводивший старцев Леонтий просительно остановился в дверях.

— Сядь! — приказал он Станяте и, поглядев проникновенно в очи своему верному служителю, вопросил: — Ты како мыслишь о том?

— Обидели старца! — без колебаний возразил Станята.

— Кто? — Алексий и Станята, один вопроситель-

но-повелительно, другой уверенно утверждая, произнесли одно и то же имя: — Стефан,— и долго глядели в глаза друг другу.

— А и не только! — примолвил Станята.— Обитель в славу вошла, а устав жесток. Иным и слава лакома, а твердоты Сергиевой не перенесть... Ето уже тебе, владыка, самому надлежит почистить монастырь!

— Воротит? — вопросил Алексий, молчаливо проминовавши последние Станятины слова.

Станька повел плечами, задумался.

— Или оставить Сергия на Киржаче? — продолжил владыка, выпрямляясь в кресле и прикрывая глаза, усталые от многодневных умных трудов. Без связи с предыдущим вымолвил, скупо улыбнувшись: — Никита Федоров по весне едва войны в волости не устроил, слыхал?

— Слыхал! Дак и серебро собрал!

— Все же крут... Воин! Так, мыслишь, не захочет Сергий воротить к Троице?

— Его ить обитель! — раздумчиво протянул Станята.— Чать сердце прикипело... Сам начинал... В славу вошел монастырь!

— Я и сам мыслил о том,— с отстоянием отозвался Алексий, не открывая глаз.— Надобно укреплять... Возвращать иное к месту своему... Как власть вышнюю!

— Опять свара в Орде?! — вскинулся живо Станята.

— Не ведаю. Доселе не ведаю, Леонтий! Доносят наразно! — отозвался Алексий задумчиво, но не безнадежно, словно и не ведая, догадывал о скорых переменах в Сарае.

— Крепко сидит Хидырь?

— Пока крепко, Леонтий! Надобно ехать на поклон! Ладно,— вскинулся Алексий, встрепенувшись и крепко проведя ладонями по челу и щекам.— Садись, пиши Сергию, да придет ко мне на Москву!

Солнце меркло, сквозь цветные синие и красные стекла разукрашивая владычную горницу.

Вечером, на молитве, и еще позже, укладываясь в постель, он все думал о том же: убрать, увести Сергия навсегда из Троицы — не значило ли это оскорбить, овиноватить старца, ежели не в его глазах, то в глазах всей Москвы? Сколь часто мы мира ради удаляем справедливого, оставляя на месте неправедных токмо затем, что их больше! Но что скажет сам Сергий?

И вот они сидят в келейном покое митрополичьих хором, и Алексий, как когда-то встарь, не ведает, о чем ему говорить с Сергием. По себе самому не чуешь течения времени. Но вот пред тобою бывший светлоокий отрок, ставший зрелым мужем, игуменом обители, про которого он, Алексий, уже не может сказать, что тот много младше председящего митрополита. Возраст мужества уравнивает мужей.

Вот теперь они сидят вдвоем, и Алексий украдчиво и опрятно хочет выведать у Сергия о его ссоре со Стефаном. Но Сергий отвечает нежданно неуступчиво и твердо:

— Владыка! Аз согласил оставить Троицу и сам уведаю о том, егда будет надобно, с братом своим! Оставь это нам и не прошай более!

И все. И ничего иного о споре, вызвавшем уход преподобного из монастыря.

Алексий просит Сергия приветить и благословить юного князя Дмитрия, Сергий молча кивает головою. Митрополит ныне как дед, воспитывающий внука своего. И это и трогательно, и немножечко смешно. И как сказать Алексию (да и надобно ли говорить?), что самое тревожное уже позади, что земля московская вскоре опять, и теперь уж навечно, заберет в свои руки владимирский престол?!

Говорить об этом не надобно, ибо этого еще нет, это еще надлежит содеять Алексию, а предведенье свершений никогда не есть само свершение. Излишне поверивший успеху своему может поиметь неуспех и потерять все уже в силу излишней уверенности своей. Опасный дар вручил нам Господь, наделивший смертного свободою воли!

Да и не о том теперь речь! А о чем? Вот они сидят рядом, Сергий с Алексием, и молчат. И великий митрополит — глава Руси Владимирской, муж совета и власти, пред которым ежеден проходят десятки и сотни людей, повелевающий вельможами нарочитыми, по единому слову коего великие бояре, не вздохнув, поведут полки и ратники ринут в сечу, пред коим смерд, и монах, и боярин падут на колени, прося единого мановения властно благословляющей руки,— не ведает, что говорить, и робеет, чуя, что слова не нужны, кощунственны в этот час и что не Сергий от него, а он от Сергия в молчаливый миг этот восприемлет духовную благостыню.

— Благослови мя, отче Сергие! Во мнозех гресех власти моей и земного, грешного труда! — тихонько просит Алексий, и Сергий молча благословляет митрополита. Строго, не произнося ободряющих слов. Ибо ведает, что не ложное смирение подвигло владыку на сии слова, а истина. Истина того, что власть — грешна и владеющий властью (всякий!) обязан понимать это, хотя бы для спасения своего.

Сейчас с ними третий — покойный Иван Калита, коему Алексий обещал взять княжеский крест на рамена своя. И Калита внимает, так, как умеет внимать только он, молча, почти исчезнув, почти растворясь в тишине, и уже не волен сказать хотя бы и единое слово, но он — здесь. И оба председящих косятся в сторону покойного князя.

— Вся моя надежда — в Дмитрии! — произносит наконец Алексий.

— Грешно полагать надежду земли в едином отроке,— возражает с легким упреком Сергий, и опять оба молчат.

За ними — земля, бояре, что деловито собирают рати и копят серебро, смерды, что готовят новые росчисти под пашню (земля полнеет людьми), ремесленники, что ныне уже не ропщут по недостатку дела — дел много, и от Алексия, от нынешних правителей страны все ждут свершения подвига. Земля живет, трудится, верит, и она найдет себе истинного главу. В самом деле, не в едином ребенке, который нынче едва вступает в возраст отрочества, надежда целого княжества (и не пришли пока те времена, когда исчезает воля к действию, а остается лишь — к послушанию и когда вследствие того от единого мужа, стоящего во главе, могли бы зависеть и произойти спасение или гибель всей Руси Великой).

— Земля восстает к действованию! — договаривает Сергий свою мысль.

И Алексий думает сейчас о том, что Сергий, даже не быв в Константинополе, не сравнивая и не видя, знает, чует порою много больше его, Алексия, будто бы целитель, взявший руку болящего и по ударам сердца догадывающий о скором выздоровлении или конце.

«Отче Сергие! — молча молит Алексий, которому хочется, как когда-то, простереться ниц у ног этого покорного его повелениям лесного игумена.— Отче Сергие! Будь и виждь, и пока ты с нами, земля ру-

сичей осиянна светом правды и всякое деяние на ней и для нас — во благо Господу и языку русскому!»

К приходу Сергия детей умыли, переодели в чистые рубашки, всех трех. Митя с Ваней и Володя, двоюродный их брат, ждали игумена, о котором многое уже слышали, но, главное, по суете женской, по тому, как мать, Александра (Шура Вельяминова), без конца то оправит рубашку, то крестик на груди, то пригладит волосы и не велит баловать,— по всему этому дети чуяли, что грядет что-то небывалое досель.

Вошел наконец владыка Алексий. Дмитрий, потянувши Ванюшу за руку, привычно стал под благословение своего духовного отца.

С Алексием был монах в грубой дорожной рясе из деревенской самодельной поскони. Дмитрий только скользом, через плечо, глянул на инока. Володя, тот любопытно остоялся, поднял взор на старца. Но Шура первая, узнав Сергия, рухнула на колени пред ним.

Ваня, тот как вложил палец в рот растерянно, так и замер.

Володя уже уцепился, молча и крепко, ручонкою за подол рясы инока.

— Здравствуй, великий князь! — произнес Сергий, чуть улыбаясь, и Дмитрий смущенно, только теперь поняв, кто перед ним, подошел к монаху.

Суетились няньки, слуги. Маша, вдова Андрея, мать Владимира, в свой черед опрятно подступила к троицкому игумену принять благословение знаменитого подвижника.

Дмитрий открывает было рот — сказать, что он не князь великий, оглядывает на Алексия, но тот молчит и тоже, как и все взрослые, смотрит на чудного монаха с умным лицом и какими-то завораживающими глазами. Очень неловко, смущаясь, малолетний князь целует крест и руку инока.

То, что отрок смущается перед старшими,— хорошо, отмечает про себя Сергий. Не возгордился бы излиха властию! Будь его воля, он, быть может, и вовсе удалил будущего князя из этих пышных хором с коврами и паволоками, драгою посудою и почетною стражей у дверей. Тем паче — когда подрастет! Дабы отрок принял власть, возмужав, подготовленным к подвигу, а не к похотям власти. Но, видимо, это неможно, слишком не понято будет всеми окрест...

Дмитрия уводят. Оборачиваясь, коренастый, крупный мальчик еще смотрит на игумена Сергия, тянет младшего брата за собою, а тот смеется, радостный, и не хочет уходить, тянет руки к Сергию, и лик преподобного на миг одевается тенью, он смотрит на мальчика пронзительно, запоминая, и видит, чует, скорее, неясную, серовато-пурпурно-бурую тень округ его чела.

Сергий еще не научился верить своим предвиденьям, еще не ведает, что ныне узрел лик смерти, стоящей за плечами этого второго Иванова малыша, но ему до боли становится жаль мальчика. Только на миг, на мгновение. Не должен смертный судить о господнем промысле, ибо нам не понять и не надобно понимать того, что не может зависеть от нас, смертных, что древние называли судьбою, мойрой, и что лежит по ту сторону границы, очерченной Господом для проявления нашей людской свободной воли.

Маленького Владимира Андреевича Сергий, улыбнувшись, приподымает, передавая матери, говорит:

— Вырастет воином!

Володя растет тихим, недрачливым и послушливым дитятею, хоть и здоров, и крупен — в отца. Но старцу Сергию ведомо неведомое прочим, и счастливая мать благодарно принимает в руки малыша, будущее которого днесь означил единым словом легендарный троицкий игумен.

Сергий оглядывает покой, тесный от дорогих вещей, укладок и поставцов, крестит толпу слуг и челяди, благодарно, на коленях принимающей его благословение.

Они выходят. Алексий перечисляет, чему и как учат наследника престола по его повелению. Говорит, отвечая на невысказанное Сергием, что в обиходном житии отрок обычно бывает в доме у тысяцкого Вельяминова и у Тимофея, где ездит верхом, учится владеть оружием, играет с отрочатами в лапту, рюхи и свайку. Сергий не спрашивает, понятно и так, что юный Дмитрий неукоснительно посещает все службы и уже сейчас добре знает обряд церковный и, не сбиваясь, поет псалмы и стихиры.

— Следовало тебе, владыка, сразу после Константинополя побывать в обители Троицкой! — говорит Сергий уже на дворе, и это единственный упрек Алексию. Единственный и справедливый, ибо тогда, возможно, не было бы безлепой при и ухода Сергия из

обители... Или же и она была нужна для чего-то? Хотя бы затем, чтобы восчувствовала вся братия, старцы и послушники, что без Сергия, без его твердой и непрестанной воли, им неможно, нельзя ни жить, ни быть. И когда поймут, восчувствуют, то уже не позабудут о том впредь.

Они прощаются. Алексий хотел бы задержать Сергия, оставить у себя на Москве, но видит, знает: неможно. И только с дрогнувшим сердцем целует трижды радонежского игумена. Даже тому, кто стоит на вершине власти, надобен некто, пред кем он может почуять себя меньшим, слабейшим и молодшим по духу своему. Почуять и приникнуть на миг, как путник в пустыне, в тяжком пути, приникает к источнику, дабы с новыми силами продолжить свой путь.

Леонтию-Станяте на немой вопрос последнего, когда Сергий уже ушел, Алексий ответил, подумав:

— Пошлю Сергия в Ростов созидать новый монастырь с общежительным уставом во имя Бориса и Глеба! Чаю, ему по плечу задача сия. А с троицкими старцами... Он прав! Пусть еще и вновь помыслят сами о себе. Быть может, Сергия со Стефаном и надобно развести розно!

Когда наутро другого дня Сергий подходил к горе Маковец, у него сильно билось сердце и пересыхало во рту. Он остановился и долго стоял, собираясь с духом. Его все же заметили — или знали, разочли его прибытие?

Бил колокол. Иноки вышли и стояли рядами вдоль пути, иные падали ничью.

Трое-четверо братий, хуливших Сергию и радовавших его уходу, исчезли предыдущей ночью, сами, со стыда, покинули обитель, прознав о возвращении игумена, так что и выгонять никого не пришлось.

Стефан сожидал его в келье. Когда Сергий вошел, брат стал на колени, склонил чело и глухо повестил, что понял все и теперь уходит из монастыря, ежели Сергий того восхощет. Сергий молча поднял его с колен и троекратно облобызал. Затем они оба долго молились в келье, стоя на коленях перед аналоем, меж тем как Михей за стеною в хижине готовил покой к праздничному сретению любимого учителя, а учиненный брат уже созывал братию к молебствию и торжественной трапезе.

Серебро, которое столь жестко собирал Алексий со своих волостей и со всех московских бояр, никого не минуя, надобилось ему для поездки в Орду. Весною, когда сошел лед, караван московских судов с товаром, казною, боярами и свитой, с самим Алексием, который ехал, по сказанному, лишь за церковными ярлыками к новому хану, и с княжичем Дмитрием во главе тронулся в путь.

Дмитрий должен был получить ярлык на свое княжение, сверх того, набралось спорных дел о Переяславле, Юрьеве-Польском, селах под Костромою и Владимиром, принадлежавших московским боярам, на которые теперь зарился суздальский князь, о чем предстояла обычная пря перед ханом. В Орду ехали и суздальский князь Дмитрий Константинович с Андреем, и Константин Ростовский — со слезною просьбою сбавить ордынский выход и, опять же, с жалобами на москвичей.

Было и иное, важнейшее, о чем, скоро год, творились тайные пересылы с Ордой. В Сарае жила масса христиан, русичей и обращенных татар, помнился многими триумф Алексия с излечением Тайдулы, а потому сведения, которые приносили в Москву и Переяславль к митрополиту русскому невидные, в дорожной сряде странствующие монахи, были таковы, коих не имел суздальский великий князь Дмитрий и никто другой.

Теперь в эту уже сотканную тонкую паутинную сеть интриг, подкупов, полуобещаний, многих противоборствующих воль должен был вступить сам Алексий, и он ехал, твердо отдавая себе отчет в том, что собирается воскресить ордынскую политику крестного своего, покойного князя Ивана Данилыча Калиты, в которой зачастую достодолжное трудно было отличить от преступления. Только Калита, к счастью своему, имел дело всегда с одним и тем же ханом Узбеком, характер и капризы коего изучил в тонкости. Но с кем будет нынче хитрить и торговаться он, митрополит всея Руси и наместник князя московского?

Свежая, в обновленной синеве своей отражающая высокие небеса волжская вода несет учаны и паузки московского каравана. Зеленые проходят по сторонам берега, текут облака над головою, как прежде, как всегда, отдавая земле недостающий ей высокий покой. И перед мирным величием природы жесток и жалок

кажет человек, чающий одолеть подобного себе, в вечном кипении страстей, в вечном борении плоти не ведающий меж тем ни конца своего земного, ни исхода судьбы, ни итога дел своих, их же ты, Господи, веси на том, на последнем суде!

Алексий сидит под беседкою, овеваемый ветром. Он недвижен, и бояре с клирошанами страшат подойти к нему в этот час, лишь издали наблюдая тяжкое безмолвие своего главы, устремившего взоры туда, вдаль, в грядущее, зависящее вновь и опять от его усилий.

В Нижнем ко княжескому расписному учану подошла лодья. Алексию передали несколько запечатанных грамот.

В пути, уже под Сараем, крохотный челнок, завидя караван, выплыл на середину воды. Гонца, накрывшего голову монашеским капюшоном, втянули на корабль и тут же увели к Алексию. Позднею ночью к корме учана опять подтянули челнок. Гость, провожаемый самим Алексием, так и не открывая лица, спустился по веревке в челн и, отвязав канат, взялся за весла. Отбойная волна едва не перекинула утлую посудину, но, покачавшись на темной, тускло посвечивающей воде, гость справился с веслами и начал грести к берегу, скоро слившись с тенью прибрежных кустов...

Назавтра шумный Сарай встречал караван русичей. Бояре толпились на судах, вздев праздничные одежды свои. По сходням выводили коней. Подали княжеский возок. Алексий в будничном дорожном облачении едва был заметен в сверкающей многоцветьем толпе, хотя он и уселся в возок вместе с десятилетним княжичем.

Новые эмиры нового хана с любопытством разглядывали русичей. Глазами, взглядами просили подарков. Уже тут, на встрече, почуялось днешнее обнищание Орды.

На своем подворье, усевшись за накрытые столы, бояре толковали о новостях, те, кто прибыл наперед, сказывали о морозной зиме, о джуте, что посетил степь, о ропоте простых татарских ратников, о новых несогласиях ордынских эмиров... Феофан Бяконтов внушал что-то Андрею Иванычу Акинфову, Кобылины спорили с Зерновым, Тимофей Вельяминов внимательно выслушивал Афинеева. Семен Михалыч, переживший с владыкою Царьград и потому лучше других понимавший Алексия, с беспокойством взглядывал в

закаменевший лик московского главы, то на юного княжича, разгоревшегося, румяного, восхищенного тем, что по пути к подворью видал верблюда и уже разглядел голубые изразчатые башни минаретов бесерменских церквей и теперь жаждет увидеть ханский двор, изукрашенные юрты, базар восточный... Он тянет рукою к сплетенной в толстый жгут, наподобие косы, вяленой дыне, косит глазом на сладкие финики, ему еще все интересно и все ново на земле. И Алексий на мгновение смягчает взор, оглядывая восторженного мальчика-князя, коему готовит он днесь грядущую великую судьбу.

Шатер был другой. Великий, белый, но много меньше Джанибекова. И золотой трон исчез. Хидырьбек, новый хан, сидел на парчовых подушках на возвышении и узкими глазами, чуть жмурясь, разглядывал русичей. Все было много проще, чем при Узбеке, и во всем этом уже было начало конца. Но только начало! И некого было подымать на Орду в нынешней Руси Владимирской, и некому подымать. Невольно подумалось Алексию, что при ином повороте судьбы не он, а Дионисий Нижегородский готовил бы страну к одолению на враги, и не московские, а суздальские князья повели рати противу Сарая... Мелькнуло и прошло.

Дмитрий во все глаза смотрел на хана, разглядывал шатер, мялся, видимо, как угадал Алексий, желая и не смея спросить про золотой трон. Московские бояре стояли чинно, только Федор Кошка сделал за спиною козу и показал княжичу.

— Почему раньше не приходил? — вопросил хан.

— Неспокойно было в степи! — отмолвил, подавшись вперед, Феофан Бяконтов.

Наконец, насладившись лицезрением посольства, Хидырь сделал разрешающий знак. Ярлыки будут даны! Московиты попятились к выходу. Слуги все еще носили поставы сукон, связки мехов — нескудные дары князя московского.

Вечером того же дня Алексий сидел в укромном покое одного из ордынских дворцов. С ним было всего двое спутников — Станята и престарелый Аминь, киличей покойного Семена Иваныча.

Хозяин дворца чествовал гостя, придвигая ему дорогую рыбу, потчевал иноземным ширазским вином.

Алексий ел мало, к чаре только притрагивался губами.

Разговор шел хитрыми восточными петлями, словно сложный узор испестренного глазурью айвана.

— Зачем тебе хан? — говорил хозяин, играя глазами.— Почему хан? Хан в трудах, хан стар, занят! У хана есть сын, старший сын, Темир-Ходжа! Он займет престол! Тогда ты проси, всего проси! Великий стол? Получишь и великий стол! О-о, Темир-Ходжа — батыр!

Хозяин закатывает глаза, щелкает языком, пьет. С охотою придвигает к себе даренную серебряную чару с гривнами-новгородками. Только к концу третьего часа Алексий уясняет себе, что говорить надо даже не с Темир-Ходжой (с ним лучше вовсе не говорить!), а с теми, про кого хозяин дворца старательно умалчивает.

В ближайшие дни выясняются новые подробности ордынских отношений. Мало того, что эмиры Сарая поддерживают ханов из Ак-Орды, а степь их не хочет: и в Сарае и в степи власти жаждут слишком многие, и стоит Хидырбеку упасть, настанет непредставимая смута. Темир-Ходжа посему, пытаясь упредить события, уже прямо требует денег с Алексия, обещая в случае победы великий стол передать московскому князю.

Вечером они сидят всем синклитом: Алексий со Станятою и бояре, удаливши слуг. В низком покое полутемно. И сидят тесно вокруг стола, иные — наваляясь на столешню, не как бояре в думе княжой, а как заговорщики. Во главе стола в темном облачении, склонивши лобастую голову,— Алексий. Станята примостился сбоку на кончике лавки, положив на край стола вощаницы и приготовив костяное новогородское писало. Лица строги. Ибо решают днесь коренной вопрос — о власти. Которую надобно добывать тут, в Орде. И добывать любыми средствами. Вот об этом-то, о «любых» средствах, и идет спор.

Алексий гневен:

— Я не могу поддерживать нового отцеубийцу! — почти кричит он.— Пусть это делает суздальский князь!

— Калита...— начинает было Феофан.

— Да! — прерывает Алексий.— Но я не только глава страны! Я прежде всего митрополит! Всему, даже и тому, что мы делаем здесь, должен быть предел, дальше коего идти неможно! Грех!

— Для них, бесермен,— задумчиво говорит Дмитрий Зернов,— русичи — райя, скот!

— А для католиков схизматики, православные — хуже мусульман! А для жидовинов все прочие — гои, и вовсе не люди! Да, да, всё так! И все же когда, зная это, человек отказывается вовсе от своих убеждений, когда христианин забывает о Христе... Ты понимаешь, чем это грозит нам самим? Я готов на все! Ради земли и языка своего! Но только не на то, чтобы русичи утеряли совесть и закон Христовы! Да! Я знаю, что свои — ближние, а те — враги! Не о том речь, чтобы объявить ближними все племена земные — тогда нет ни ближних, ни дальних и нелепы заповеди Христа! Я достаточно искушен в богословии. Но речь о том, чтобы, даже с врагами, не потерять себя, своего лица и своих убеждений! Ты понимаешь это? Помните вы все того рязанского князя, который, дабы укрепилась земля, зазвал на пир и уничтожил братью свою? Он бежал, да, да! От него отвернулась вся земля! Не должно христианину идти любым путем, и не всякое средство хорошо для достижения цели! И... не все употребленные средства оправдывает достигнутая цель...— Алексий уговаривает не столько их, сколько себя самого, ибо очень просто и очень соблазнительно подкупить Темир-Ходжу, дав ему серебро и закрыв глаза на то, каким путем он начнет пробиваться к престолу.

— А подкупить Хидыря? — строго спрашивает Андрей Иваныч Акинфов.

— Хидырь куплен суздальцами,— возражает Зернов,— да и... некрепок он на столе!

— Темир-Ходжа?

— Да!

— Слух есть,— подает голос Семен Михалыч,— что Темир-Ходжа просил денег у Дмитрия Костянтиныча!

— А теперь просит у нас? — подает голос, с усмешкою, Дмитрий Афинеев.

— Ищите, бояре! — устало отвечает Алексий.

— Может быть, Кильдибек? — спрашивает Семен Жеребец, тут же и добавляя: — Только брешет он, что сын Бердибека!

— Не сын, племянник!

— Сын Джанибека, бают!

— Третий самозванец на престоле?

— Не усидит! — со вздохом подытоживает Дмитрий Зернов.

— Мамай? — подает голос молодой Федор Кошка.

Мамай — правая рука покойного Бердибека, его зять, гурген, Мамай — самовластец в западной степи, Мамай, уже сейчас выставивший «своего» хана Абдаллаха (Авдула, как его называли русичи), Мамай — это было, могло быть надолго и всерьез.

— Я уже писал Мамаю! — возражает Алексий хмуро.— Мамай молчит!

— Либо хочет сам со всема сладить, либо Ольгердом подкуплен! — замечает Семен Михалыч, пошевелясь на лавке.

— Ищите, бояре! — повторяет владыка Алексий.— Ищите глубже! Не тех, кто выйдет наперед теперь и будет резать друг друга, а того, кто выждет и заберет власть!

Сам он уже давно думал о Мамае, угадав во властном темнике будущего повелителя Орды, и уже дважды посылал к нему. Но Мамай тоже выжидал, не желая связывать себя до времени обещаниями кому-либо. И, быть может, и верно, был подкуплен Ольгердом?

Глубокой ночью в покой Алексия просовывается незаметный монашек. Шепчет, загибая пальцы, называет новое имя — Мурут.

У Хызра (Хидыря) есть сын, Тимур-Ходжа (Темерь-Хозя — называет его монашек). Но есть у него и брат, Эрзен. Оба они — сыновья Сасы-Буки, праправнука Орды-Ичена, брата Батыя. Сына этого Эрзена, Чимтая, эмиры звали на сарайский трон. Чимтай послал брата, Орду-Шейха, который был вскоре убит, и на престоле утвердился Хидырь. Но у Орды-Шейха остался сын, Мурад (Мурут — называет его, переиначивая по-русски, монашек).

— Бесермена бают, что в начавшей замятне эмиры Сарая предпочтут Мурута Темерь-Хозе!

Монашек так же неслышно покидает покой. Алексий сидит, склонив чело, думает. Но вот взор его просветляется, он подымает голову и произносит негромко одно лишь слово: «Мурут!»

С Мурадом (Мурутом) сразу встретиться не удалось. Пришлось тайком ехать в степь, искать и ждать, пока наконец Мурут не явился нежданно сам к Алексию в шатер, один, без свиты, якобы случайно заблудясь на охоте.

Мурут был молод, сухощав. Глядел осторожно и недоверчиво. Алексию много сил потребовалось, чтобы его разговорить.

— У русичей был такой порядок — его называли лествица,— что старшему брату наследовал не сын, а младший брат, а когда откняжат все братья, тогда наступал черед сыновей и племянников. Порядок этот русичи переняли у степняков. И ты, хан, имеешь не меньше права на престол, чем дети и внуки Хызра!

Алексий говорил, взглядывая в настороженные черные монгольские глаза гостя, который наконец-то вовсе перестал улыбаться и глядел на Алексия не мигая, подавшись вперед. Смугло-желтая рука хана с тонкими сильными пальцами перебирала звенья наборного пояса. Рука была беспокойна, не то что лицо. Пальцы мяли кожу, нервно ощупывая серебряные накладные узоры. Дойдя до конца пояса, рука замирала и начинала свой танец вновь. Бесстрастное плосковатое лицо хана не могло обмануть Алексия. Мурут слушал, и слушал жадно, не пропуская ни слова.

— Серебро! — сказал он наконец, подымая взор на Алексия. Пальцы сжались в кулак и застыли. Теперь говорили глаза.— У меня мало воинов!

Хан не плел околичностей и, кажется, не лукавил совсем. Алексий сказал, сколько он может дать, прибавив, что, ежели великий стол вновь перейдет к москвичам, сбавлять ростовскую дань они не будут. Хан мрачновато глянул, опустил взор, поднял вновь. Сказал отрывисто:

— Мне может помешать только Мамай! Тагай не страшен, Булак-Темир не страшен, Кильдибек... тоже не страшен! Дай серебро, русич, и мои беки все станут за тебя! — Помолчав, вопросил с пронзительно загоревшимся взором: — Почему ты, урус, не даешь серебра Темир-Ходже? Он зол на тебя!

Алексий чуть заметно усмехнул.

— Потому, хан,— отмолвил он с расстановкою,— что не в обычае русичей подымать сына на отца!

— Этого прежде не было и в Орде! — помрачнев, ответил Мурут. Помолчал, поднял взор, сказал твердо: — Я верю тебе, урус!

Возвращаясь в Сарай, Алексий думал дорогою, что теперь Русь и Орда едва ли не поменялись местами. Ханам, истощающим степь во взаимной борьбе, ста-

новится русская помочь важнее, чем Руси — помочь ордынского хана.

Мысль была важная, и ее следовало додумать до конца, содеяв свои выводы. И обязательно еще раз повидать темника Мамая!

Алексий в эти дни мало и видел своих бояр. Все были в разгоне. Кто ездил по бекам ордынским, кто улаживал споры с суздальскими и ростовскими князьями. Алексий велел торопиться изо всех сил, проявив к братьям-князьям несвойственную ему уступчивость.

До Мамая сумел прежде всего добраться Федор Кошка. Младший Кобылин на глазах вырастал в нешуточного дипломата. Легко, словно в полсилы, играючи, охаживал он недоверчивых беков, всюду был вхож. К иному, думай еще: како и подступить? Ан, глядь, уж Кошка сидит у него в юрте, скрестив ноги кренделем, пьет кумыс, толкует по-татарски с хозяином, а тот весь маслено расхмылил широкое круглое лицо — рад гостю.

Воротясь на русское подворье, Федор Кошка долго, отдуваясь, пил холодный квас, насмешил всех рассказом о двух татаринах, повздоривших из-за жеребой кобылы, но главное вымолвил уже погодя в особном покое в присутствии Алексия и четверых великих бояр: Семена Михалыча, Феофана Бяконтова, Дмитрия Зернова и Тимофея Вельяминова.

— Мыслю,— скинув всякое балагурство и став словно и годами возрастнее, сказал Федор,— надо дать Мамаю охолонуть чуток! Сарай ему и без нас не дадут,— примолвил он, разбойно сверкнув глазами в сторону Алексия.— Ну а вот когда не дадут, тогда и толк поведем иной! Пущай сбавит спеси!

Бояре задумались, а Алексий, выслушав Кошку, молча согласно склонил голову. С Мамаем, и верно, следовало погодить. Алексий уже давно понял, что в этом невеликом ростом татарине таит себя немалая сила, полный исход которой еще очень и очень впереди. И тут надобно было не ошибиться и для того вовсе не спешить!

Гоняя бояр, Алексий и себе не давал пощады. Трудился денно и нощно, почти не спал, усталость побеждая волею, и только когда уже все возможное, кажется, было совершено, почуял то смертное падение сил,

которое, бывало, ощущал крестный, ворочаясь из Орды.

С суздальским князем, довершая дела, они сидели за одним столом, и Дмитрий Константиныч, подозрительно взглядывая на омягчевшего, слишком уступчивого митрополита, с неведомою доселе смертною усталостью в глазах, все не понимал, в чем обманывает его московит. И даже — обманывает ли его вовсе? Или уступил, отступил, не желая дальнейших ссор?

Дмитрий Константиныч в простоте своей ожидал, что Алексий и московиты будут спорить о владимирском столе перед ханом Хидырем, и на всякий случай всячески задарил заранее владыку золотоордынского престола, а также его старшего сына Темир-Ходжу. Но Алексий спорить не стал. Уступал он и в делах поземельных, даже пообещал за один год заплатить недоданный ростовчанами ордынский выход. Неволею приходило принять днешнее смирение москвичей, отнеся его за счет молодости московского князя.

Вечером измученный Алексий оставался один на один со Станятою. (Порою мнилось: они вновь сидят вдвоем в смрадной яме, из коей нет исхода наверх, к свободе и воздуху.)

Станята задумчиво толковал о молодости и старости народов, о своих беседах с каким-то сарацинским купцом-книгочием, называвшим арабского мудреца Ибн-Халдуна... Далекая мудрость Востока, перевидавшего десятки народов и пережившего многие тысячелетия культуры и многократные смены языков и верований, мудрость, прошедшая через многие уста и многажды поиначенная, касалась в этот час двоих уединившихся русичей.

Оба понимали уже, что, действительно, есть юность и старость народов, есть подъем и упадок духа и что старания самого сильного — ничто перед тем оскудением сил, которое охватывает уставшие жить народы. Оба видели Кантакузина, сломленного бременем невозможной задачи: спасти гибнущую Византию, которую можно было оберечь от турок, латинян, сербов и болгар, но только не от нее самой.

— Но как определить, как понять, начало или конец то, что происходит окрест? — вопрошает Станята.

— По людям, Леонтий! — задумчиво и устало отвечает Алексий, пригорбившись в ветхом креслице.— У людей начальных, первых времен — преизбыток энергии, и направлена она к деянию, к творчеству и

к объединению языка своего. У людей заката, у старых народов,— нет уже сил противустать разрушительному ходу времени, и энергия их узка, направлена на свое, суедневное. И соплеменники, ближние для них почасту главные вороги. Люди эти уже не видят связи явлений, не смотрят вдаль!

— Как Апокавк?

— Да, ежели хощешь, как Апокавк! Такие есть и у нас. Вот, Леонтий, почто я и закрыл глаза на гибель Алексея Хвоста! Он мог думать токмо о своей собине, а Василий Вельяминов — о земле народа своего. Василий не более прав в этом споре, чем Алексей Хвост, скорее — более неправ, но для земли русичей покамест не нужны Апокавки! Когда обчее дело выше личного, когда любовь к Господу своему истинно паче любви к самому себе, тогда молод народ и люди его! Когда же человек уже не видит обчего, не может понять, что есть родина, ибо родина для него лишь источник благ земных, но не поле приложения творческих сил, когда власть претворяется в похоть власти, а труд — в стяжание богатств и довольство свое видит смертный не в том, чтобы созидать и творить, обрабатывать пашню, строить, переписывать книги, при этом — принять и накормить гостя, помочь тружающему, обогреть и ободрить сирого и нагого, приветить родича, помочь земле и языку своему, а в величании пред прочими, в спеси и надмевании над меньшими себя, в злой радости при виде несчастливого, в скупости, лихоимстве, скаредности и трусости пред ликом общей беды — тогда это конец, это старость народа. Тогда рушатся царства и языки уходят в ничто...

— А мы? Отколе зачинает наша земля? — вопрошает Станята вновь и вновь.— От принятия веры? От князя Владимира? От Олега вещего или Рюрика? Отколе?

— Мыслю, Леонтий,— пошевелясь в скрипнувшем креслице, отвечает Алексий,— та Русь уже умерла! Пала, подточивши саму себя гордостию, равномыслием и стяжанием. Пото и монголы столь легко покорили себе Киевскую державу! Я ныне прошал великих бояр дать серебро для дел ордынских. Давали все, и давали помногу! Помнишь того боярина, что встретил нас под Можаем? А старуху? Селян? Смердов? Никита Федоров сказывал, что, когда он бежал из затвора, товарищи его, умирая, задерживали литвинов, дабы один изо

всех — он один! — мог уйти! Воины эти вели себя как древлие христиане, жертвуя жизнию ради спасения братьи своей. Мыслю, хоть и много средь нас людей той древней киевской поры, людей, коим «свое» застит «обчее»...

— Как Хвост?

— Да, и не он один! Мыслю все же, что растет новая Русь, Святая Русь! И мы с тобою — у истоков ее!

— И Сергий?

— Да, и сугубо Сергий! Он — духовная наша защита. Ибо я — в скверне. В этих вот трудах. Перенявши крест крестного своего, даю днесь серебро на убийства и резню в Орде! И буду паки творить потребное земле моей, ибо никто же большей жертвы не имат, аще отдавший душу за други своя! Но земле нужен святой! Нужен тот, кто укажет пути добра и будет не запятнан не токмо деянием злым, но и помыслом даже! Нужен творец добра!

— Сергий?

— Да, Сергий!

Оба затихают, представляя себе игумена Сергия в этот час в его непрестанных, невидных внешне, но таких важных для земли и языка русского трудах.

Хлопают двери. Является, волоча за собою за руку Федора Кошку, раскрасневшийся, в спутанных вихрах, княжич:

— Владыко! А он мне велит спать! А я...

— И я велю! — твердо, но с мягкою улыбкою возражает Алексий.— Завтра поедешь в степь, а ныне — спи!

— Да-а-а...

— Да, сыне! Да, именно так!

Дмитрий сникает. Владыка еще ни разу не переменил слова своего, и потому он знает: Алексия надо слушать. Он с неохотою, фыркая, разбойно поглядывая на весело подмигивающего ему Федора Кошку, идет к рукомою. Потом, пригладив волосы, подходит к божнице. Стоит рядом с Алексием и, осурьезнев лицом, повторяет слова вечерней молитвы:

— Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми! Мирен сон и безмятежен даруй ми! Ангела твоего, хранителя пошли, покрывающа и соблюдающа мя от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим...

Алексий следит за княжичем: довольно ли успокоился он — и, видя, что ребенок уже готов ко сну, завершает моление.

Дмитрий снимает верхнее платье уже с сонно посоловевшими глазами, зевая, крестит рот. Вдруг, воспомня дневное, спрашивает, подымая глаза на Алексия:

— А мне сказывали про слона! Во-о-от такой большой! И нос долгий у ево, хоботом!

— Вот и увидишь слона своего во сне! — улыбаясь, отвечает Алексий.

Дмитрий укладывается, поерзав на соломенном прохладном ложе, натягивает одеяло из ряднины и вдруг произносит ясным голосом — видимо, думал давно и ворочал в уме так и эдак:

— А я тоже буду воином! Буду рати водить! Как Владимир!

— Будешь, будешь! — отзывается Алексий.

— А почто,— уже тише вопрошает отрок,— почто тогда игумен Сергий сказал про то одному Володе?

Алексий глядит на малыша, на мальчика, которому надлежит стать великим князем владимирским, медлит, отзывается с мягкою властью голоса:

— Пото, что ты — князь! Спи!

Он еще сидит, дав знак Федору Кошке покинуть покой. Потом; когда мальчик начинает спокойно посапывать, задергивает полог из расписной зендяни и снова переходит на свое место у аналоя. Оба, он и Станята, некоторое время молчат, давая княжичу крепче уснуть.

Дневной свет, послав в окошко с вынутою ради воздуха оконницей последние кровавые капли вечерней зари, меркнет, и в сгущающейся тьме покоя ярче проявляют себя огоньки лампад. Лицо Алексия, обведенное тенью, сейчас выглядит очень старым и строгим.

— Я много ходил по свету! — вполголоса сказывает Станята.— Когда понял, что у нас, в Новом Городи, нестроение настает... Много искал! И тоже нашел вот Сергия. Но у него не смог...

— Сергий понял и сам направил тебя ко мне! — возражает Алексий.

— Да, владыко! А теперь, ныне... Верно ведь, и в Киеве, и на Москве... Ты молвишь, молодость? А я порою о себе: кто я? И что надобно мне? О себе

дак скучливо и думать! Ничто такое вот — дом, семья, зажиток — не влечет! Странник я, верно! Вот хочу понять! Не гневай, владыко! Ты вот и иные... В чем правда? Живут и живут! Ну, не станет энергий, ну, начнут думать о своем токмо... Не такие, конечно, как Апокавк, а простецы! Когда нет энергий, что ж тогда?

— Тогда разрушается все! — отвердев и осуровев ликом, отвечает Алексий.— Гибнет все сущее окрест: сама земля, вскормившая нас, скудеет, расхищаемая непристойно и жадно. И гибнет народ, и энергия оставших уходит на уничтожение сущего окрест...

— Неужто мочно уничтожить Землю? — восклицает Станята.

— Ты видел пустыни? — возражает Алексий.— Развалины древних городов? Говорят, там жили люди! Но вырубили леса, иссушили воды, разрушили пашни, и остался один песок!

Станята встряхивает головою, думает.

— А я мнил, это так же невозможно, как запрудить Волгу, как поворотить реки вспять... Зачем?

— Народ, оставленный Господом,— строго отвечает Алексий,— может токмо разрушать, убивая себя! Сам по себе человек, возгордясь своею силою, ничто! Погубит землю и погибнет сам по слову всевышнего!

Сумерки совсем сгустились.

— Ну а татары? — раздается голос Станяты из темноты.

— Татар, вернее мунгал, пришедших с Батыем, уже нет! — возражает Алексий.— Теперь подняли голову те, кого когда-то покорил Батый!

— Потому и резня?

— Потому и резня!

— Так, может...

— Нет, Леонтий! Еще нет. Русь не готова к борьбе. Пусть сплотится земля. Пусть вырастут воины. Вот этот мальчик, мню, поведет их на бой. Быть может, когда уже нас не станет на свете!

— Ну а Литва? — вновь вопрошает Станята.

— С Литвою сложнее! — отвечает во тьме голос Алексия.— Там тоже подъем, тоже молодость языка! Они бы и одолели нас. Но, мню, не уцелеют литвины-язычники меж католиками и православными!

— И любой выбор покончит с Литвой?

— Во всяком случае, приняв латинскую веру, они оттолкнут от себя всех православных, а принявши

православие... Приняв православие, Ольгерд мог бы и победить! Но он сего не свершит. После киевского нятья я в сем убедился сугубо. И еще потому не свершит, что, прими он православие, отчина его, Великая Литва, скоро бы и сама стала Русью!

Нет, Леонтий, я не зрю ныне иной укрепы православию, кроме нашей с тобою земли, кроме Руси Великой!

Сгущается ночь. Два человека в темном покое становятся перед иконами на вечернее правило. Проснутся они, поспавши совсем немного, до света, дабы приступить к новым трудам, исход которых столь далек и долог, что ни тот ни другой не мыслят даже узреть плодов насаждаемого древа, имя которому — Русь.

Алексий еще дремал, когда послышалось легкое царапанье в дверь. Станята, чумной со сна, пошатываясь, уже шел босиком отворять. Вполз давешний монашек, называвший всех ордынских князей русскою молвью. Тревожно оглянул покой. Княжич еще крепко спал. Станята понятливо исчез за дверью. Монашек откинул капюшон, обнаружив загорелое, в легких морщинках лицо, из тех, что никак не запомнишь, хоть и десяток раз повстречай на улице. Алексий уже вставал, оправляя на себе холщовую исподнюю рубаху.

— Спит! — отмолвил он на немой вопрос монашка.

— Темерь-Хозя получил заемное серебро!

— От кого? — вскинул брови Алексий.

— Должно, от Митрия Костянтиныча с братом... Вздохнув еще раз, монашек поднял светлые глаза на Алексия, вымолвил с настойчивою отчетистостью:

— Уезжай, владыко! Будет резня! И княжича увози с собой! Не медли!

Монашек исчез так же неслышно, как и появился в покое.

Через час, полностью одетый, Алексий приказывал сряжаться в путь и торочить коней. Феофан с Андреем вздумали было просить отсрочки, но, поглядев внимательнее в очи владыке, заторопились сами. Спешно довершали ордынские дела, спешно прощались. Княжеские насады с ордынским товаром решено было послать наперед, а самим ехать горою, посуху. Кмети пристегивали оружие, вздевали брони под платье.

Вечером московиты уже плавились в дощаниках на горный берег Волги. Юный Дмитрий, еще ничего не понимая, сидя верхом, крутил головою, оглядывал бояр и дружину:

— А как же степь?

— Вот и едем всема! Не горюй, князь! — весело отмолвил ему Федор Кошка и первый тронул коня.

К вечеру второго или третьего дня пути на разметанном пламени багрового степного заката привиделись вдалеке медленно ползущие по земле, точно тяжелое, вспыхивающее облако, низкие темные клубы дыма.

— Пожар словно? — тревожно переговаривали ратные.

— Степь жгут! — догадал наконец кто-то из бояр.

— Экое чудо! Не осень ведь! Ополоумели! Скотину без травы оставят...

Федор Кошка (первым сообразив, что степь об эту пору выжигать даром не станут, а только уж — дабы погубить супротивника) оборотил к Алексию побледневшее напряженное лицо, вымолвив одно только слово:

— Война!

...Потом уже, когда добрались до своих, вызналось, что замятня в Сарае началась почти тотчас после отъезда москвичей.

Дмитрий Константиныч, ссудив серебром Темир-Ходжу, не ведал все-таки, к чему это приведет. Он заботился лишь о том, чтобы старшего сына Хидыря не перекупили московиты. Поэтому, когда утром прибежал окровавленный холоп с базара с криками «Режут!», на подворье великого князя владимирского начался переполох.

Усланные ко дворцу хана боярин Радивой с дворским не возвращались, меж тем смута охватывала Сарай все шире и шире. К полудню на двор набежала, ища спасения, целая толпа русских купцов, главным образом нижегородцев и тверичей, волоча товар, гоня с собою коней и скотину. Табор этот занял весь сад и дворы, а беглого народу все прибывало. Улицу загородили телегами, мешками с песком. Все ратные вздели брони. Князь Андрей решительно взял на себя оборону подворья. (Он один был с самого начала против того, чтобы давать серебро Темир-Ходже.) Константин Ростовский бродил тенью вослед Дмитрию

Константинычу, и тот, оборачиваясь, видел неотступно молящие, испуганные глаза старика и бесился в душе, не понимая, как отец мог все прошлые годы иметь дело с таким жалким союзником.

— Вовремя удрали московиты! — зло вымолвил Степан Александрович, когда суздальцы посажались к обеденной выти. За оградой подворья глухо и грозно шумел Сарай. Купцы и молодшие закусывали прямо на дворе или в саду, у телег. Хрупали овсом кони, стригли ушами, слушая гомон города.

К рогаткам уже не раз прихлынывали орущие толпы татар в оружии. Ополдни принесли полумертвого Сарыхозю, суздальского киличея. Подплывая кровью, татарин бормотал только одно: «Беда, беда!» Потом разлепил тяжелые веки, поглядел на князя, вымолвил: «Боярин твой убит, Радивой убит...» — и забредил, мотая головой, царапая скрюченными пальцами кошму. Лекарь-армянин поднялся с колен, немо покачал головою, давая понять, что бессилен. Сарыхозя тут и умер, несколько раз выгнувшись всем телом и захрипев.

Тотчас раздались громкие крики на улице. Бояре, ратники, оба суздальских князя толпой побежали к рогаткам, пригибаясь от низко поющих над головою татарских стрел. Приступ удалось отбить, потеряв троих ратных.

К вечеру только вызнали, что Темир-Ходжа поднял восстание, подкупив эмиров отца, что многие беки и князья бежали из Сарая, Мамай отошел в степь, дворец Хидыря окружен и резня идет прямо в улицах, причем кто с кем режется, понять невозможно.

Ночью почти не спали. Какие-то раненые татары подползали к рогаткам, плакали, просили пустить. Кое-кого ратные по приказу Андрея заволакивали внутрь двора. Но и от них нельзя было добиться, что же все-таки происходит в городе. Передавали, что грабят купцов, жгут базар, что разграбили многие дворцы вельмож ордынских.

Так прошел и второй день, и третий. Крики, топот, лязг оружия, стоны, толпы ополоумевшей оборуженной татарвы, с воплями и руганью подступавшей к русскому подворью. Трясущиеся беглецы, жонки в долгих ордынских рубахах, прижимающие к себе чумазых детей, какие-то старухи с овцами на веревочном поводу... То сказывали, что убит Хызр-хан, то, напротив, что убили Темир-Ходжу.

Наконец в исходе третьего дня к укрепу русичей шагом подъехали несколько богато одетых татар в оружии и с вооруженной свитой. Им разгородили ворота. Главный татарин спешился, увидев великого князя, приложил руки к сердцу:

— От Темир-Ходжи!

Скоро русские князья со своею и татарской охраною выехали, направляясь к ханскому дворцу. На улице, в пыли, там и сям лежали неубранные трупы. Бродячие псы дрались над падалью, и коршуны едва приподымались на тяжелых крыльях, чтобы тотчас, пропустив верхоконных, рухнуть опять к черным, густо обсаженным шевелящимся мушиным месивом трупам.

Дворец был разгромлен. Темир-Ходжа сидел в изломанном саду на кошмах. Подвигав кадыком и страшновато закатывая белки глаз, предложил русичам присесть.

Из кожаного мешка извлекли и показали русичам головы хана Хидыря и Кутлуя, его сына, младшего брата Темир-Ходжи. Дмитрия Константиныча при виде этого зрелища слегка замутило. Хоть после Бердибековых злодейств любое преступление стало возможным в Орде, но такого, чтобы разом покончить с отцом и братом, не ожидал от «Темерь-Хози» даже и он.

Новый хан опять потребовал от русичей серебра. Обещал, что завтра торжественно сядет на ханский трон. О беглецах-эмирах хан отозвался пренебрежительно: «Приползут сами, псы!»

Резня и в самом деле утихла. Ночью начали собирать трупы с улиц.

Как только новый хан воссел на престол, Андрей заявил, что он немедленно покидает Сарай (ему уже не верилось — и не зря,— что новый отцеубийца долго просидит на ханском троне). Дмитрий Константиныч, положась на договор с Темир-Ходжой и свое великокняжеское достоинство, порешил остаться в Сарае. Ростовский князь, поглядывая то на одного, то на другого брата, не ведал, что предпочесть. В конце концов, не уехав с Андреем, он еще через три дня в панике, едва простясь с Дмитрием Константинычем, в свой черед устремил вон из города.

Меж тем бежавшие эмиры и князья не спешили возвращаться в Сарай.

Степь глухо гудела от тысяч копыт оборуженных

ратников. Горели пастбища. Дымные тяжелые столбы текли над землей.

Тагай захватил всю землю от Бездежа до Наручади и объявил себя ханом на мордовских и татарских землях. Булактемир взял Булгары, перекрыл волжский путь и тоже объявил себя ханом. Темник Мамай держал своего хана, Абдаллаха, а в степи объявил о своем ханском достоинстве Кильдибек, самозваный сын Бердибека. И так в Орде явилось разом уже пять царей, оспаривавших друг у друга власть.

Неприбранные, обгорелые трупы в степи с тучами стервятников над ними ни у кого уже не вызывали ужаса, не привлекали даже и внимания. На выжженных пастбищах умирал скот. Грозный лик голодной беды уже нависал над Ордой.

Андрей Константиныч, князь нижегородский, повстречал ватагу Арат-Хози на шестой день пути. Был страшный миг, когда растерявшиеся ратники готовы были сложить оружие. Но Андрей, не пожелавший драться за великий стол, трусом не был. С похолодевшим лицом он первым обнажил оружие.

Обоз взяли в кольцо, и, прикрываясь щитами (был дан приказ держаться кучно, не отрываясь от своих), русичи — едва ли не впервые в степи — пошли на прорыв. Татары скакали россыпью, не сожидая от урусутского князя отпора. Туча русских стрел и согласный напор конной лавы перемешали их строй. Посеченные валились с седел. Неразличимое «А-а-а-а!» прокатывалось по увалам. Князь Андрей скакал первым и с одного удара сумел развалить наполы татарского сотника. Почти не потерявши людей, отбили первый приступ.

Нахлынула новая толпа татар. Арат-Хозя, видимо, был плохим воеводою или боялся чего, и нижегороды, одушевленные мужеством князя и своею победой, отбили и этот второй приступ. Третий раз их смяли бы, но Андрей, первым углядев начало глубокого оврага, сумел так перестроить свою дружину, что бо́льшая часть татар осталась на той стороне. И снова отбились, пройдя сомкнутым строем сквозь нестройную, редко разбросанную по степи толпу орущих татарских ратников, словно нож через масло. В сгустившихся сумерках Арат-Хозя прекратил преследование, и русичи, пересев

на поводных лошадей, сумели оторваться от погони...

Константин Ростовский, пошедший степью через три дня после Андрея, со всею своею дружиною и казной угодил в полон. Русичей, невзирая на ханский ярлык, раздели и ограбили дочиста. Только что не забранные в полон, разволоченные кто до исподних порт, кто и донага, ростовчане, стыдясь самих себя, пешком добрались до берега какой-то речушки. Сидели в кустах, сраму ради, до вечера. Князь, с коего сняли исподние порты, тряссь, босой, в чужой рубахе, исходя мелкими слезами злобы и стыда.

Так и пробирались потом, кормясь Христовым именем, от одного до другого редкого становища бродников. А какой-нибудь местный, загорелый до черноты, с серьгою в ухе, не то разбойник, не то рыбак, накормив беглецов ухою, долго с недоверием глядел им вслед, веря и не веря, что бредущий в рубище и самодельных лыковых лаптях середи своей полуодетой дружины высокий раскосмаченный старик — русский князь.

В июле до Москвы дошла весть, что Темир-Ходжа, прогнанный Мамаем, бежал из Сарая в степь, где был настигнут, схвачен и казнен, а в Сарае на трон воссел Ардамелик, но и его через месяц свергли с престола и убили.

В конце августа наконец пришла на Москву долгожданная весть: сарайские эмиры провозгласили ханом Мурида (Мурута), с которым весною сговаривался сам Алексий, а Мамай с царицами и двором перебежал за Волгу.

В Орде по-прежнему шла война. И Василий Кашинский, отправившийся было ближе к осени в Сарай, доехал только до Бездежа, где оставил казну и товары, а сам, спасая жизнь, ушел налегке, загоняя коней, назад, в Русь. По-прежнему было пять царей, но один из них, и именно тот, на кого мог опереться Алексий, держал ныне власть в Сарае.

Получивши известие, в тот же день к вечеру Алексий тайно отослал своих киличеев с заемными грамотами в Орду. На колеблющиеся ордынские весы вновь легло тяжелое русское серебро.

Ольгерд, воспользовавшись замятнею, разбил татарских князей, кочевавших в низовьях Днепра, и захватил всю Подолию до самого Русского моря. Отбивать

захваченные волости, подымать Орду на Литву было некому.

Кому везти выход? Кому платить? Кому подчиняться — не ведал уже никто. Великий князь Дмитрий Константиныч в свой черед едва сумел выбраться из Сарая.

Глубокой осенью Кильдибек, собрав все свои силы, подступил к столице Золотой Орды. Тяжко гудела от тысяч копыт промерзшая седая земля. В снежной крупе выныривали, как тени из тумана, узкоглазые воины в мохнатых шапках. Мурут ехал под ханским бунчуком, в мисюрке и русской кольчуге, диковато взглядывая из-под ресниц. Он только что окровавил саблю — только что с режущим уши визгом кидались на его нукеров вражеские воины, и вот снова бой отдалил от него, и там, неразличимые в снежной метели, режутся воины, а ветер доносит только глухой гул от множества конских копыт.

Русское серебро пришло вовремя. У него было больше воинов, и он знал, что победит. К тому же наследник кровавого Бердибека никого не радовал в Сарае... И все-таки это было неправильно! И тревожно! Русичи должны платить дань, а не покупать на серебро ханов Золотой Орды! Но воины нынче идут в бой за плату, и без поповского серебра ему не победить никого! Бесерменские купцы в Сарае дают мало. Они не могут содержать своего хана, хотя и могут предавать ханов одного за другим! И все же без них ему тоже не усидеть на столе...

Русский поп, почему ты не сам, почему не твои воины режутся сейчас в споре за власть?!

Из серо-белой пелены густо пошедшего снега вынырнул вестоноша. Мурут выслушал, кивнул. Мимо на рысях двинулся запасной полк. «Нет, не устоять Кильдибеку!» — подумал он вновь, пропуская мимо себя запорошенных снегом воинов. (Чем кормить их, когда угаснет война?)

Близил миг — и его нельзя упустить! — когда надобно бросить в бой все запасные рати и самому повести их на врага. Кильдибек упорен! Один из нас не уйдет отсюда живым, подумал Мурут, вытирая и вбрасывая в ножны тонкое лезвие хорезмийской сабли. Он глянул назад. Кучка сарайских эмиров, в окружении ханских нукеров, трусила следом, послушная его воле. Кто из них в свой черед захочет поднять кинжал

на него? Мурут поморщил чело от этой сторонней мысли и сжал ременную плеть тонкою смуглой сильной рукой. Вдали перекатывал, словно волны степного пожара, бой. Кильдибек начинал наконец пятить. Близил миг, когда он сам поведет ратных в сечу!

Как только до Москвы дошла весть о том, что Кильдибек разбит и убит под Сараем, Алексий тотчас направил киличеев в Орду, к Муруту, но теперь уже не отай, а прилюдно, с дарами и просьбою о ярлыке на великое княжение владимирское ребенку Дмитрию.

Мурут (или Амурат) честно заплатил свой долг русскому митрополиту. Весной 1362 года киличеи вынесли из Орды, от хана, ярлык на великое княжение Дмитрию Московскому. Одиннадцатилетний мальчик победил взрослого мужа.

Это была первая большая победа Алексия.

Вторая произошла сама собою. Каллист еще в июле послал своих послов, апокрисиариев, для разбора жалобы Алексия, но Роман умер в конце того же 1361 года или в самом начале 1362-го, и митрополия, столь долго разорванная надвое, снова воссоединилась под рукою Алексия.

Шла новая весна, весна 1362 года. Суздальский князь, упершись, не хотел добром уступать власть московитам. Полки выходили в поход.

В Кремнике суета. Москва вся переполнена ратными. Над головами, над кровлями полощут радостные колокольные звоны. Весь посад вышел на улицы. Жонки целуют ратников. Мастера, оторвавшиеся на час от огненной работы своей (день и ночь ковали шеломы, брони, оружие), машут руками, кричат проходящим кметям:

— Нашего оружия не позорь!

— За нами не пропадет! — орут в ответ краснорожие веселые молодцы. Звучат дудки, поют рога. Конница на кормленых, выстоявшихся конях изливает потоком из ворот Кремника. Вельяминов в шишаке, с поднятой стрелою забрала, облитый узорною бронею, на гнедом широкогрудом жеребце пропускает рать.

Митрополит Алексий благословляет воинов. Завидя владыку, ратники снимают шеломы и шапки. Твердым

наступчивым шагом проходят полки пешцев, колышет положенный на плечи лес склоненных рогатин и копий. И тут вездесущие жонки со смехом, плачем и возгласами подбегают, влезают в ряды, суют узелки со снедью, с румяными, еще горячими калачами и шаньгами. Старухи крестят проходящих воинов. Красным звоном гудят колокола. Шагом на конях проезжают во главе полков городовые бояре. Москва идет отбивать великий стол.

У княжеских теремов суета. Шура, нарушая чин и ряд, схватывает в охапку, целует Ваняту с Митей. Юный князь хмурит светлые брови. Стыдно! Бояре же! Володя, разгоревшись лицом, уже на коне. Дмитрий старается грозно сдвинуть брови — получается очень смешно, и воеводы прячут улыбки в бороды.

Здесь все великие бояре Москвы. В поход выходят Вельяминовы — сам Василий Василич, тысяцкий, с сыновьями Иваном и Микулою, братья тысяцкого; Федор Воронец (ускакавший наперед вместе с Тимофеем), Юрий Грунка. Тут трое Бяконтовых — Матвей и Константин с Александром (Феофан оставлен беречь Москву). Здесь целая дружина Акинфичей — Андрей Иваныч с сыновьями, Роман Каменский, Михаил. Здесь и все взрослые сыны Александра Морхинина — Григорий Пушка, Владимир Холопище, Давид Казарин и Александр. Здесь Тимофей Волуй и Семен Окатьич, Дмитрий Минич, Александр Прокшинич и Дмитрий Васильич Афинеев. Здесь и Семен Михалыч. Старику в чине окольничего поручены обозы и продовольствование ратей. Его дети Иван Мороз и Василий Туша руководят полками, брат Елизар услан стеречь Переяславль. Дмитрий Зернов тоже привел сыновей — Ивана Красного и Дмитрия. Кобылины, все пятеро, тут же, рослые, на рослых конях,— Семен Жеребец, Александр Елка, Василий Пантей, Гавша и Федор Кошка, недавно примчавший из Орды. Кобылины выступают с главным полком. Здесь молодой сын Родиона и Клавдии Акинфичны — Иван Квашня. Это его первый поход. За спиною бело-румяного, застенчивого молодца лес копий кованой дружины Родионовой, дети и внуки тех воинов, что когда-то дрались под Переяславлем против Акинфа Великого.

Подходят рати из Красного, из Звенигорода, Рузы, Можая. С рязанского рубежа подходит грозный коло-

менский полк. И Спасов лик реет над рядами воинов с тяжело хлопающих боевых знамен.

Проходят полки, проносят знамена. На рысях, приторочив брони к торокам, выслав вперед дозоры, уходит по Владимирской дороге конница. Тяжелым разгонистым дорожным шагом проходят пешие полки в кожаных коярах, в простеганных ватных тегилеях, в железных шапках, неся на плечах долгие копья. Катят тяжело нагруженные оружием, ратною справою и припасом возы. А окольными дорогами пробирается, спеша вослед войску, обитый кожею возок, малозаметный в этом море телег и возов, в вереницах полковых обозов. И старец в монашеской сряде, что сидит внутри возка, лишь иногда украдкою, не являя себя, выглядывает в окно. В Переяславле, загородив дорогу суздальцам, ожидает владыку митрополичий полк. Уступленное в Орде по миру пред ханом Хидырем Москва намерена отобрать сегодня с бою.

В Переяславле Алексия ждут важные грамоты, ждет посол из Мамаевой Орды. Владыка, проводивши московскую рать, уже не сомневается в победе. Но его тревожит теперь грядущее: долго ли усидит хан Мурут на ордынском столе? Он почти произносит это вслух, и Станята тотчас придвигается к Алексию. Но в возке — клирошане, слуги. Неподобно говорить при всех! Алексий слегка, чуть заметно, благодарно кивает Станяте. Молчит, Тарахтят кованые колеса. Возок кренит то туда, то сюда.

— Никита Федоров там? — прошает под стук колес Станята, кивая головою в ту сторону, где вот-вот уже должен появиться Переяславль. Алексий молча кивает в ответ. Возок, проминовавши долгий обоз, начинает спускаться под угор. За вторым перевалом отсюда покажется Переяславль!

«Счастлив ли владыка? Доволен ли?» — гадает Станята про себя. Лик Алексия заботен и хмур. Сейчас, в час всеобщего радостного подъема, он думает о дальнейшем, весит в уме труды послезавтрашнего дня. Кто скажет, настанет ли тот час, тот миг, который Алексий восхощет задержать, остановить? Нет, видимо, не настанет! Вся его жизнь — только труд до предела сил, с постоянною чередой одолений: себя, плоти своей; Ольгерда, до которого просто не дошла очередь; хана; теперь, нынче — суздальского соперника. А будет — будет великая страна, когда уже кости Алексия из-

гниют, вернее — когда лишь связь костей останет в чтимой Русью могиле.

Вот и последний перевал. Открывается город. К возку подскакивает всадник с рукою на перевязи. Станята, высунувшись из возка, машет рукой.

— Никита! Как ты?

— Дочерь народилась!

— А сам-то как, цел?

— Рука-то? Да так, сшибка вышла, пятерых потеряли... А теперь, как Тимофей Василич с ратью прикатил, так и совсем отходят, кажись, суздальцы!

Никита слегка бледен от раны, но глаза горят и на коне сидит лихо, хоть и правит одною рукой. Сплевывает, цыркает сквозь зубы по давней мальчишеской привычке своей. Сейчас сказывать, как отчаянно рубились позапрошлою ночью, когда такая громада полков подвалила, навроде и стыдно! Эка невидаль! Одного боится теперь Никита: как бы из-за раны не отстать от полков, потому и сидит в седле, лихо откинувшись, потому и цыркает слюной. Алексий милостиво кивает своему воину, оглядывает, понимает все без слова. Велит посетить его в Горицах, прикидывая уже, чем и как помочь раненому. Загноит рука — лежать Никите Федорову опять пластом!

Никита едет рядом с возком митрополита, на ходу сказывает, чем отличил себя владычный полк.

Трубят боевые рога. На стенах Переяславля реют московские стяги. Возок обгоняет конница, и Никита, махнув здоровой рукою Станьке, припускает рысью.

Дмитрий Константиныч, которому ни братья, ни младшие князья, прослышавшие о ханском ярлыке, не прислали помочи, спешно оттягивал полки от Переяславля. Московские рати, выливаясь из лесов на просторы Владимирского ополья, двигались следом за ним. Юрьев миновали с ходу. На пятый день похода конные дружины уже подходили к Владимиру.

Дмитрий Константиныч, сметя силы, не стал оборонять города, отошел к Суздалю. Московские рати неотступно следовали за ним по пятам.

Из Суздаля князь прислал посольство о мире, отступаясь великого стола.

Во Владимире, переполненном ратными, Никита, застрявший в Горицах, долго искал своих. В городе

творилась веселая кутерьма. Князь Дмитрий Иваныч уже венчался на стол великих владимирских князей, и теперь не бывшие в деле, но одержавшие полную бескровную победу ратники лихо гуляли, выплескиваясь из дворов на стогны города. Плясали, орали песни. Бочки с пивом были выставлены прямо в улицах — пей, не хочу! Никиту, признав, лапали, мяли, били по спине, лезли к нему, расплескивая хмельное темное пиво.

— Наша взяла! Наша! Наш-то князь! Эко! Мал, да удал! Эх! Гуляй!

Две недели праздновал Владимир, гудя колоколами всех своих соборов и церквей. Две недели веселились ратные, а затем начали уходить домой, растекаясь ручейками малых ратей. Владычный и коломенский полки уходили последними.

Так закончился этот поход, увенчавший одиннадцатилетнего мальчика короною Владимирского государства. Но не закончилась еще борьба с Суздалем, не закончилась и сложная ордынская игра тавлейная, затеянная местоблюстителем московского престола, который поставил перед собою великую цель и шел к ней неуклонно, сметая одну за другой преграды чуждых желаний и воль.

Наталья нашарила впотьмах край колыбели, босыми ногами соступив на пол, покрытый ряднинными половиками, подняла маленькую, огладив, приложила к груди. Сын спал, разметавшись, разбросав руки и ноги, и Наталья, садясь на постель, тихонько, стараясь не разбудить, отодвинула малыша. Девчушка чмокала, и молоко, распиравшее грудь до того, что становило тесно дышать, отливало и отливало. Наталья переменила руку, сунув девочке в рот второй сосок. Та недовольно покрутила головкой, но снова въелась и зачмокала удоволенно. Спалось, голова клонилась и клонилась ниже, и Наталья, не в силах сидеть, прилегла на постель. Девочка все чмокала, и Наталья так и заснула с дитятею у груди. Проснулась, когда теплая струйка потекла ей на руку. Обтерев дитятю и постель мягкой ветошкой, Наталья, ругая себя за то, что заснула, переложила маленькую в колыбель, сменив ей мокрый свивальничек на сухой. Все делала ощупью, не зажигая огня. Наконец уложила дитятю и улеглась сама. Сон сошел, долго маялась, перекатывая голову по взголовью,

встала, испила квасу, стало будто легче. Только опять задремала — запел петух.

Подумалось: встать или не встать? Коровы зашевелились в хлеву. Холоп, как оженила его на своей девке да отселила на зады (что ж, в сам деле, дитя родит невенчанною, грех!) стал позже вставать, да и холопка, разрывавшаяся меж своим дитятею и работой по дому, не так проворно сполняла обряднюю. Надобно пристрожить! Не то Никита воротит — снедовольничает, что распустила прислугу... Все же, полежав, решила вставать. Запалила от лампады свечу, осветила горницу. Умылась, кратко помолясь. Наложила печь. Дрова были занесены с вечера и сохли на шестке. Наладила щи и только срядилась доить, как Ониська с охами явилась в горницу (узрела дымок над кровлей, поняла, что госпожа уже встала и готовит обряднюю). Все же переменять не стала — повелев, что сделать в избе, сама вышла в хлев.

Коровы тыкались влажными мордами. Наталья, огладив и ощупав каждую, впотемнях обмыла вымя Пеструхе теплой водой из кувшина, бросила в ясли клок сена — Пеструха иначе не стояла, могла разлить молоко. И, утвердив бадейку меж ног, ощущая плечом теплый коровий бок, стала отжимать соски. Скоро пенистые теплые струйки перестали ударять в пустое дно бадейки, а с бульканьем уходили в нарастающую толщу сытной белой вологи. Наталья любила этот миг ощущаемой полноты. Корова вздыхала, переминаясь. Наталья все отжимала и отжимала соски. Тугие поначалу, они начинали опадать, мягчели. Вот уже она перебралась руками ко второй паре сосков. Иные жонки век с коровами, а не ведают, как и доить, тянут соски, и корове больно, и сухими руками нипочем не выдоишь! А так-то куда способнее! Маленькую ее учила старуха скотница: «Возьми титьку-то, обними долонью, и сперва первым перстиком прижми, указательным, потом средним, потом безымянным, потом мизинным, молоко-то и вытечет, а после снова ручку раскрой и опять пальчиками переберишь эдак, и никоторой порухи корове не сделашь, не растянешь тово, так и пораненную чем корову выдоить мочно!» Теперь пальцы словно играли, сами шли перебором, мягкой волной, незадумчиво представить, так словно бы и всеми перстами сразу отжимашь — рука уже знает сама!

Выдоив Пеструху, сцедив последние капли — в них-то

главный жир! — пересела ко второй.. Беляна стояла смирно, и ей можно было загодя сена не давать.

Выдоив обеих коров, подняла с натугою тяжелую бадью, сторожко, чтобы не расплескать, занесла по ступеням. В сенцах скинула хлевные чёботы. Босиком вошла в горницу, полную веселого света из устья печи и дыма, что колыхался серыми клубами, трудно разыскивая отверстие дымника. Ониська домывала пол, стояла, раскорячив босые ноги, подоткнувши подол и белея полными икрами. Скоро встанет холоп, вычистит хлев, напоит коня и задаст корм коровам. По ведру пойла давали по приказанию Натальи дойным коровам через все лето. Да и домой из стада коровушки, зная, что вечером получат корм, охотнее шли.

Издали послышалось громкое щелканье пастушеского бича, затем переливчатый голос рожка. Сенька Влазень со скрипом отворил ворота хлева. Вышла Пеструха, за нею Беляна, за нею бык — молодой, он все еще ходил за коровами,— за быком Пеструхина телка, за нею маленький бычок. Самым последним вышел конь, поглядел, фыркнул, раздувая ноздри, коротко и громко взоржал, ему отозвались крестьянские кони из стада. За конем выбежал недавно купленный жеребенок.

Коневое и скотинное стадо тут паслось вместе, а овцы, выпускаемые спустя время, когда пройдет стадо на выгон, и вовсе паслись невдали от дома, в кустах.

Никита обещал воротить к покосу, да все нет и нет! Наталья велела холопу начинать окашивать усадьбу и ближний лужок, не сожидая хозяина.

Дети, как зашла в избу, уже проснулись, и младшенькая отчаянно ревела, не увидя матери. Печь дотапливалась, рдели уголья, дым уже поредел. Скоро можно будет выгребать и ставить хлебы. Каша сварилась на шестке, и щи уже доходили.

Торопливо покормив малую, Наталья, засучив рукава, взялась за хлебы. Надо было вымесить поставленную с вечера дежу и слепить караваи. Холопка села сбивать масло. Мутовка стукала в лад, баюкая, и девочка вновь уснула. Сын, уже умытый, пил, давясь и захлебываясь, парное молоко.

Подоенное разлили по кринкам и вынесли в холодную клетушку на сенях, куда складывали снедь и печеный хлеб на неделю. Здесь молоко отстаивалось. Пока готовила хлебы, поставила в печь творог и едва

не сожгла, но вовремя спохватилась вытащить ухватом глиняную корчагу. Горячий творог вывалили в решето, поставили стекать. Угли уже выгребли, опахали печь можжевеловым помелом, и Наталья принялась сажать хлебы на деревянную лопату, пёкло, и метать в печь.

Сын, постояв на ножках и сделав несколько шагов по избе, в конце концов опустился на четвереньки и пополз, выставив заднюшку, косолапо перебирая толстыми, в перевязочках, ножками. У порога вновь встал, просительно глядя на дверь. Наталья кинула последнюю ковригу на горячий под, заволокла устье печи деревянной заслонкою (в окна уже светло протянулись солнечные лучи) и, подхватив малыша под руку, вышла в утреннюю сырь двора. Овцы грудились у крыльца, и сын потянулся сразу к ним — потрогать курчавую шерсть и теплые морды овец, что незастенчиво обнюхивали малыша, тычась в него своими черными горбатыми носами. Наконец овцы отошли от крыльца, и гуси друг за другом спустились под гору, к реке. Пестрые куры рылись в сору, и Наталья отнесла сына подальше от них и от наседки, что могла выклевать глаза маленькому, посадила на теплый пригорок, на траву. Сама прошла в огород; поглядывая на маленького, выполола грядку моркови — остальные Онисья доправит! Отерла потный лоб, прошла в отверстые хлева, проверила, хорошо ли Сенька вычистил стойла. Сменив Онисью за горшком со сливками, отправила бабу за водой. Та уже и своего малыша затащила в корзине в горницу.

Скоро все сели за кашу с топленым молоком. Густой дух поспевающего ржаного хлеба тек по горнице. Наталья сама прочла «Отче наш» перед трапезой. Отрезая хлеб, холоп уронил нож — придет жданный кто! Так и подумалось о Никите.

Сенька ушел косить до обеда. Ониська отправилась в огород, а Наталья, сбивши масло и промыв его ключевою водой, уложила круглые фунтовые масляные колобы в берестяной туес, вынесла в кладовушку на сени, отжала творог и тоже вынесла из избы, слила сыворотку в коровью бадейку — бычку с телушкой, как придут с поля, так и дать — и, проверив всех троих детей (сына занесла все-таки в горницу, а то его уже облизала собака на дворе, и он ревел, сидя на траве раскорякою), села прясть. Стучало веретено, которое Наталья то и дело пускала волчком, тек по

избе сытный дух поспевающего хлеба, и она стала напевать сперва про себя, потом громче и громче грустную — взгрустнулось чего-то, — и дети заслушались, даже и «медвежонок» (редко звала сына крестильным именем Иван, а все больше прозвищами) прилез, уместился у ног, приник к ней, посапывая.

Топот во дворе застал Наталью врасплох. Она только-только начала вынимать хлебы из печи. Засуетилась, упало сердце: «Он!» Кинулась к порогу, к печи, махнула рукой, все бросив, выбежала вон.

Никита с подвязанной рукою неловко слезал с седла. (Как ни рада была мужу, а тотчас подумалось про покос: холопу одному не сдюжить, эстолько сенов на́добно!) Второй, невысокий, жилистый, тоже слезавший с седла, был незнакомый, однако по строгому виду и по внимательному, полному мысли взору (кабы не в мирском платье, дак и принять за инока мочно!) угадала, что не простой кметь.

Обнявши левою, здоровой рукою (пахло конем, потом, пылью, дорогой и родным, своим запахом, который узнала бы среди тысячи в темноте), Никита охлопал ее по спине, чуть грубовато, стесняясь перед гостем, подвел. Дрогнув голосом, повестил:

— Станята! Баял про ево! Владычный писец! — И тише добавил: — Радость нам с тобою привез!

— А хлебы ти! — всплеснула руками Наталья. Ониська, впрочем, спохватилась первая. Пока госпожа встречала гостя и мужа, забежала в горницу и, сообразив дело, покидала из печи готовые хлебы, застелила рядном, вдвинула ухватом в печь щи, прикрыла заслонкою и уже разоставляла на столе глиняные мисы и деревянные тарели.

Пока мужики мылись во дворе, поливали один другому на спину, снявши рубахи, до пояса голые, стол обрастал закусками. Явились рыжики, и масло, и хлеб, и сущик, и горка зеленого лука, укропа и сельдерея, и блюдо земляники, собранной давеча за рекою, явилось на стол, и третьеводнишние пироги с капустою, и тертая редька, и квас.

Никита, усевшись за стол, морщась, пошевелил пальцами увечной руки, крякнув, взял деревянную ложку в левую руку. Пора была обедошняя, и холоп скоро явился, к самой выти.

Стол наполнился. Закусив рыжиками и чесноком, выпили по чаре береженого меду, въелись затем в

огненные щи, за которыми воспоследовали пироги и пшенная каша. Ели на заедки творог, щедро политый сметаною и медом, жевали хрусткие домашние коржи, сотворенные на патоке. Пили пиво и квас.

Новость была действительно утешная. Владыка мог по закону забрать под себя и Натальину деревню, поскольку Никита заложился за митрополита со всем родом, но не только не сделал этого, а напротив, выдал грамоту, по которой деревня под Коломною оставалась вчистую за Натальей Никитишной и могла быть передана ею любому родичу, а сын Никиты волен был не служить митрополичьему дому, и тогда коломенская деревня Натальи переходила к нему. Лучшего подарка, в самом деле, пожелать было бы и неможно.

— Вот, малыш! — говорил Никита, прижимая к себе сынишку здоровой рукой.— Вырастешь, станешь вольным мужем!

Мальчик, еще ничего не понимая, только таращил глаза на отца и силился что-то сказать, совсем пока неразборчивое... Станята тем часом тихо беседовал с Натальей, вызнавая беды и радости в семье друга.

В ближайшие три дня утрами сходил на покос, смахнул порядочный лужок хорошо отточенною горбушей, смотался к старшему посельскому и от имени митрополита выпросил на неделю двоих работников. Словом, покос был Станятою спасен.

В день отъезда Станяты мужики сидели, пили кислый мед на расставании. Никита все спрашивал, что надумал делать Алексий. Станята, не хотя врать другу и не будучи волен повестить владычные тайности, отмалчивался, только единожды намекнув, что идут пересылы с Мамаевой Ордой.

— А Ольгерд? — спрашивал Никита с напором.— Он же, бают, уже и Киев под себя забрал, сына там посадил, и весь юг, до самого Русского моря! Почитай, и всю Киевскую державу под себя полонил, эко! Неуж стерпим?

— Пока стерпим! — отвечал Станята.— Надо терпеть! Придет и Ольгердов час... Добро, что митрополию отстояли!

— А снова Ольгерд кого поставит там, у себя?!

— Пока не слыхать! Каллист изобижен, не позволит! Кабы крестилась Литва, ино бы дело повернуло...

Друзья сидят, думают. У того и другого в глазах киевское сидение, но о том — ни слова.

— Ты поправляйся скорей! — просит Станята друга, и Никита кивает серьезно, без улыбки на челе, словно и болесть в воле людской, ежели, конечно, есть воля. Друзья пьют, думают. У них нет той власти, что у владыки Алексия, и не будет никогда, но думают они о том же самом и хотят того же, и потому только и может Алексий там, на вершине власти, вершить дело свое и побеждать там и в том, в чем греческий василевс Кантакузин терпел поражение за поражением.

Мурид-Амурат (или Мурут, как его называли русичи) оказался талантливым полководцем. Он не был искушен в тайной возне противоборствующих сил, в изменах, подкупах, обманах (во всем том, в чем был искушен темник Мамай,— и потому был вскоре зарезан в Сарае своим первым эмиром, Ильясом), но древняя наука Темучжина — умение побеждать — жила в нем, казалось, с самого рождения. Теперь, сейчас в это уже можно стало поверить.

Истоптанная степь пахла снегом, конской мочею и кровью. Мамай спешно оттягивал свои разбитые войска. Он не понимал, как его мог победить этот пришелец из Ак-Орды, и потому был в бешенстве. Но полки, растянутые для охвата противника, отрывались от своих и отступали, но собранные в один кулак силы главного удара откатывали назад, словно волны от железной преграды, но стремительные сотни врага, посланные Муридом, точно меткие стрелы, опрокидывали Мамаевы дружины одну за другой, и после целодневной битвы в виду Сарая Мамаю приходило, дабы не погибнуть самому и не потерять рать, уводить назад в степь свои потрепанные полки.

Мамай и сам не ведал, что нынче под Сараем древняя тактика монгольской орды, тактика победителей полумира, еще раз показала свое превосходство над рыхлою нестройною лавой половецкой конницы. Впрочем, Мамай никогда и не был талантливым полководцем. Он был талантлив в другом. И потому, разбитый под Сараем, отступив в степь, он тотчас отправил послов во Владимир к митрополиту Алексию.

Талант противника, стратегия Темучжина и Батыя: стремительные удары скованной железною дисцип-

линой конницы, маневренность, «сила огня» (дальнобойность и меткость монгольских лучников), умение мгновенно перебрасывать полки в направлении главного удара, умение рассечь войско противника, обойти и уничтожить по частям — все то, что сделало непобедимой немногочисленную монгольскую конницу и чему еще только предстояло через века научиться европейцам,— все это было вовсе непонятно Мамаю. Собрать возможно больше войска и бросить его кучею на противника — вот и вся стратегия знаменитого темника. Но кого и когда подкупить и кого и в какой момент прирезать — это Мамай знал твердо и потому, разбитый Мурутом, сообразил, понял одно лишь — русское серебро!

Год назад всячески увиливавший от любых соглашений с Алексием, он теперь сам послал к нему скорого гонца, предлагая князю Дмитрию Иванычу ярлык на владимирский стол от имени своего хана Авдула. (С ярлыком, естественно, разумелось, что русское серебро, «ордынский выход», пойдет теперь не хану Муруту, а ему, Мамаю, и поможет одолеть упрямого белоордынского соперника.)

Но Алексий медлил. Выдвинул свои требования, среди коих было одно, не показавшееся слишком важным Мамаю, и второе, задевшее его кровно. Второе — это был размер дани, «выхода», который Алексий предлагал снизить почти вдвое, а неважным было то, что русский митрополит потребовал от Мамаева ставленника, хана Абдуллы, признать владимирское великое княжение вотчиною малолетнего князя Дмитрия.

Вотчиной у русских считалось наследственное, родовое владение, переходящее от отца к сыну. Пока московские князья сидели на владимирском столе, так оно и было на деле. На деле, но не по грамотам! Мамай понимал хорошо, что грамота, не подкрепленная воинскою силой, мало что значит (а силу законности у русичей он явно недооценивал), и потому, подумав, решил согласиться на это требование московита, объяснявшего свою просьбу тем, что ежели Владимир не почесть вотчиною князя московского, то любой из ханов-соперников теперь начнет выдавать ярлыки на него прочим русским князьям, возникнут пря и раздрасие, при коих никакой «выход ордынский» собирать станет неможно. Это темник Мамай мог понять и понял. И потому, в чаянии рус-

ского серебра, согласился на просьбу Алексия. Приходилось после разгрома под Сараем соглашаться и на второе, чего Мамаю не хотелось допустить совсем,— на сокращение дани.

Оговоримся. Об этих двух важнейших уступках — сокращении дани и признании владимирского великого княжения отчиною князя московского — ничего не сказано в летописях и грамотах той поры. Только по отсылкам позднейших договорных хартий устанавливается, что с 1363 года московский князь начал считать владимирский стол своею отчиной. И только из требования Мамая в 1380 году выплачивать ему дань «по Джанибекову докончанию» устанавливается, что когда-то (когда?) дань была значительно снижена.

Ранней весною 1363 года во Владимир вновь двинулись московские воеводы, ведя за собою юного Дмитрия с братьями. Московский мальчик-князь венчался вторично великокняжескою шапкою в том же Успенском храме стольного города владимирской земли, но теперь уже по ярлыку хана Авдула, присланному из Мамаевой Орды.

Отпустивши ордынского посла, князь Дмитрий отправился в Переяславль, где его ждал духовный отец, владыка Алексий, совершивший ныне то, что не удавалось никому прежде и о чем юный Дмитрий даже не подозревал, пока ему не объяснили, уже подросшему, что теперь, с часа сего, он волен считать великий стол владимирский своею неотторжимою вотчиною, и, следовательно, в холмистом и лесном Владимирском Залесье явилось государство нового типа, и с даты этой, едва отмеченной косвенными указаниями позднейших грамот, надобно считать возникшим Московское самодержавное государство, Московскую Русь, заменившую собою Русь Владимирскую.

Этому государству еще долго предстоит биться за право быть на земле, долго заставлять соседей и братьев-князей признать себя существующим, ему предстоит выдержать страшную битву с Ордою и устоять, но создано оно было сейчас, теперь, ныне.

Алексий сидит, чуть утомленно склонив плечи, смотрит на дело рук своих. Мальчик-князь, разгоревшийся на холоде, весь еще в восторге торжеств во Владимире, вертит головой, ему не сидится в креслице

на почетном месте во главе стола. Но бояре необычайно торжественны, и ему, Дмитрию, приходит смирять свой еще детский норов. Да и глядят на него столь значительно все эти взрослые, сильные, хорошо одетые мужи, которым почему-то потребовалось венчать его вновь, по ярлыку от иного, разбитого Мурутом хана...

Спросим опять себя (ибо сведения летописей и грамот лишь косвенны и историкам много труда пришло, дабы установить эту дату: 1363 год, а относительно снижения дани единого мнения не выработано и до сих пор), зачем понадобился второй ярлык на владимирское княжение Алексию? (Причем от темника Мамая и его хана Авдулы!) Ярлык, разъяривший Амурата, ярлык, из-за которого могла бы начаться война, ежели бы Амурат вскоре сам не пал от руки убийц? Даже допуская, что Алексий знал о близкой гибели хана Мурута... Зачем? И почему Мамай от имени своего хана сам шлет посла к Алексию? Чего добивается он?

О чем говорил, о чем спорил с Алексием ордынский посол? О чем молчат летописи? Почему, наконец, двинув через семнадцать лет на Москву все силы Орды, Мамай потребовал от князя Дмитрия ордынской дани по прежнему, Джанибекову докончанию?!

Вот и ответ! Значит, дань была мала, и меньше настолько, что, дабы повысить ее до прежнего уровня, потребовалось вооружить и двинуть на Русь триста тысяч воинов!

Когда могли настолько уступить русичам татары? Только теперь. Только в тот час, когда Мамай, ведя степную войну, нуждался в поддержке урусутов больше, чем они в его поддержке, ибо тот хан или бек, коего поддерживал русский улус, тотчас вырастал в значении своем и силе, да и русское серебро было достаточно тяжким доводом на весах ордынской судьбы.

— Великий ходжа Алексий! — говорил посол, сдвигая брови. Урусутский главный поп сидел перед ним непроницаемо важный.— Мамай верит тебе, будь же и ты другом нашему господину!

— Из Бездежа пришла чума...— чуть рассеянно отвечает Алексий.— Мертвые смерды не могут платить даней! Это твой повелитель должен понять нас, русичей, и сбавить ордынский выход! Мурут готов уступить...

— Не говори о Муруте! — взрывается посол.— Чужаков из Ак-Орды не потерпит народ! Они не ведают наших обычаев! Они погубят и нас и вас! Ты лечил Тайдулу, а Мурут — брат ее убийцы!

— Нам ведомо, что Мамай силен! — отвечает Алексий раздумчиво.— Но сколько ханов уже сложило головы в этой борьбе! И каждый из них был как-никак Чингизид!

— Ты тоже не княжеского рода, а правишь! — насупясь, перебивает посол.— Решают везде и всегда люди длинной воли!

— Мамай был всегда врагом Чингизидов! — возражает Алексий.— Его предок, Се́чэ-Би́ки из Кыят-Юркин, был убит Чингисханом два века назад, и с тех пор Кыя́ны выступали всегда против Чингизи́дов. Иные из них ушли к половцам. Мамай из рода Кыян, и хотя он стал темником, но его друзья — половцы, а не татары. Можешь ли ты обещать, что его поддержит вся степь?

Посол тускнеет. Урусутский поп явно знает столько, что с ним почти невозможно спорить.

— Сколько же ты можешь дать? — спрашивает посол.

И начинается торг, при коем послу не раз приходит хвататься за рукоять сабли, а Алексию — за крест, клятвенно уверяя, что больше при всем желании заплатить русская земля не может.

Треть или половину дани скостил Алексий в этом необъявленном торгу — неведомо, но из-за малой уступки не стал бы Мамай через семнадцать лет подымать против московского князя всю Орду. Во всяком случае, уступка была сделана, и русское серебро, уже в половинном размере, пошло теперь на поддержку Мамаевой Орды против Мурутовой.

Разгневанный ордынский хан послал в ответ на Русь белозерского князя Ивана, который выпрашивал в Орде ярлык на свое княжение, и с ним тридцать татаринов, дабы передать владимирский ярлык вновь суздальскому князю Дмитрию Константинычу... Наверно, Мамай рассмеялся, узнав об этом посольстве.

Во Владимире суздальский князь просидел всего лишь неделю. Именно столько времени потребовалось москвичам, чтобы вновь бросить на Владимир московские рати «в силе тяжце». Полки подошли к Суздалю, и через несколько дней, не доводя дело до боя, Дмит-

рий Константиныч взял мир с московским князем, вторично отрекаясь от великокняжеского стола. Но теперь солоно пришлось не только Дмитрию Константинычу, но и его союзникам. Со своих столов были согнаны галицкий князь Дмитрий, Константин Ростовский и Иван Стародубский. Волости названных князей предпочли платить уменьшенную дань под рукою Москвы, чем полную при своих законных владельцах.

Дмитрий Константиныч поехал в Нижний Новгород к брату, и все изгнанные Москвою володетели собрались к нему туда же, «скорбяще о княжениях своих»...

На следующий год, зимою 1364-го, когда очередной ярлык от очередного ордынского хана привез Дмитрию Константинычу его старший сын, Василий Кирдяпа, суздальский князь наконец понял, что его не сгонят в третий раз с великого княжения попросту потому, что не пустят на него.

Алексию еще предстояла нелегкая задача заставить суздальских князей вовсе отказаться от своих прав на великое княжение владимирское за себя и за своих потомков, но это уже другая речь и о других событиях, коим и место в книге иной.

ЭПИЛОГ

Так возникла на Руси осуществленная мечта, бродившая по всему Востоку,— мечта о православном царстве легендарного «Пресвитера Иоанна», мечта, пронесенная несторианами до далеких степей древней Монголии, мечта, отразившаяся в сказаниях, слухах и повестях, мечта, как и бывает зачастую с легендами, более реальная, чем сущие в пору ту царства и земли, впоследствии позабытые и без наследка утонувшие в веках... Мечта о православной стране во главе с духовною властью, без зримых печатей гибели поздней Византии, мечта, которая так бы и осталась преданием и мечтою, не воплоти ее митрополит Алексий в зримом создании своем — Московской Святой Руси. Сюда, в это новое государство, новое «царство попа Ивана» перешли здоровые силы погибшей монгольской державы и перейдут силы Литвы, откачнувшейся к католичеству. Здесь греческая культура и мысль гибнущей Византии найдут почву для продолжения

своего и воссоздания в новом облике культуры Московии. И этому государству еще долго жить! Пока не станет оно иным, пока светская власть не совлечет покрова духовности и не обнажит тем самым жестокости власти с неизбежными ее спутниками — насилием, угнетением меньших, рознью и гибельною роскошью знати. Но до того — века!

Митрополит Алексий, создавший Московскую Русь, заложивший основы единодержавной власти в стране, утвердивший династию государей московских и спасший русскую церковь и саму Русь от поглощения ее латинским, католическим Западом, наконец, явивший миру подвижника Сергия Радонежского, спит в могиле, упокоившись после трудов и свершений своих, после бурно и славно прожитой жизни. Он всего двух лет не дожил до Куликова поля и не переставал тревожиться о грядущей судьбе страны даже и пред самою кончиной. Родина почтила героя своего, объявивши его святым. Можем ли мы теперь хоть одним словом упрекнуть его за что-либо из свершенного им ради нашего существования в этом мире? Не можем! Преклоним же наши колени у славных могил создателей Великой Руси, нашей дорогой Родины!

Балашов Д. М.
Б 20 Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. Ветер времени: Роман.— М.: Худож. лит., 1993. 575 с.

ISBN 5-280-02038-9 (Т. 5)

В пятый том Собрания сочинений вошел исторический роман Дмитрия Балашова из серии «Государи Московские» — «Ветер времени». В нем повествуется о жизни и деятельности русского митрополита Алексия (1293(?)—1373), который фактически возглавлял Московское правительство в период княжения Ивана Ивановича Красного и малолетства князя Дмитрия Донского.

Б $\frac{4702010201\text{-}104}{028(01)\text{-}93}$ Подписное **ББК 84Р6**

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ БАЛАШОВ

Собрание сочинений в шести томах

Том пятый

Редактор **Т. Шурыгина**

Художественный редактор **Е. Ененко**

Технический редактор **А. Кашафутдинова**

Корректор **И. Лебедева**

ИБ № 6721

Сдано в набор 15.04.91. Подписано в печать 30.03.93. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 32,42. Тираж 50 000 экз. Изд. № III-4242. Заказ № 2437. «С»-030.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Государственное ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московское предприятие «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации Российской Федерации. 113054, Москва, Валовая, 28